В. ВЕРЕСАЕВ

5

В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

5
ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Подготовка текста
и примечания
В. М. Нольде
и
Ю. У. Бабушкина

ВОСПОМИНАНИЯ

Памяти отца моего
Викентия Игнатьевича
СМИДОВИЧА

И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
О, мой отец, подвигнут я тобою,
Во мне возжег живую душу ты.

I. В ЮНЫЕ ГОДЫ

Краткую свою автобиографию Юм начинает так: «Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия». Это верно.

Но то, что я тут описываю, было пятьдесят лет назад и больше. Совсем уже почти как на чужого я смотрю на маленького мальчика Витю Смидовича, мне нечего тщеславиться его добродетелями, нечего стыдиться его пороков. И не из тщеславного желания оставить «потомкам» описание своей жизни пишу я эту автобиографию. Меня просто интересовала душа мальчика, которую я имел возможность наблюдать ближе, чем чью-либо иную; интересовала не совсем средняя и не совсем обычная обстановка, в которой он рос, тот своеобразный отпечаток, который наложила на его душу эта обстановка. Буду стремиться только к одному: передавать совершенно искренно все, что я когда-то переживал,— и настолько точно, насколько все это сохранилось в моей памяти. Встретится немало противоречий. Если бы я писал художественное произведение, их следовало бы устранить или согласовать. Но здесь,— пусть остаются! Помню я так, как описываю, а присочинять не хочу.

Я сказал: для меня этот мальчик теперь почти совсем чужой. Пожалуй, это не совсем верно. Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко

в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я — «писатель», «доктор», что мне скоро шестьдесят лет,— все это только нарочно; немножко поскрести,— и осыплется шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха.

9 сентября 1925 г.

Я родился в Туле, 4/16 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная: мать отца была немка, дед моей матери был украинец, его жена, моя прабабка,— гречанка.

Мой отец, Викентий Игнатьевич Смидович, был врач. Он умер в ноябре 1894 года, заразившись сыпным тифом от больного. Смерть его вдруг обнаружила, какою он пользовался популярностью и любовью в Туле, где всю жизнь работал. Похороны его были грандиозные. В лучшем тогда медицинском еженедельнике «Врач», выходившем под редакцией проф. В. А. Манасеина, в двух номерах подряд были помещены два некролога отца, редакция сообщала, что получила еще два некролога, которых за недостатком места не печатает. Вот выдержки из напечатанных некрологов. Тон их — обычный слащаво-хвалебный тон некрологов, но по существу все передается верно. Один из некрологистов писал:

Кончив в 1860 г. курс в Московском университете, Викентий Игнатьевич начал и кончил свою общественную службу в Туле. Высокообразованный и человечный, в высшей степени отзывчивый на все доброе, трудолюбивый и до крайней степени скромный в своих личных требованиях, он всю свою жизнь посвятил служению городскому обществу. Не было ни одного серьезного городского вопроса, в котором бы так или иначе Викентий Игнатьевич не принимал участия. Он был в числе учредителей Общества тульских врачей. Ему же принадлежит мысль об открытии городской лечебницы при О-ве врачей,— этого единственного в городе всем доступного учреждения. Все помнят Викентия Игнатьевича как гласного Городской думы: ни один серьезный вопрос в городском хозяйстве не проходил без его деятельного участия. Но наибольшая его заслуга, это — изучение санитарного состояния города. Метеорологические наблюдения, изучение стояния грунтовых вод и их химического состава, исследование городской почвы, направления стоков,— все это велось одним Викентием Игнатьевичем с удивительным постоянством и настойчивостью. Он принимал

деятельное участие и в работах Статистического комитета, провел мысль о необходимости однодневной переписи и разработкою ее с санитарной точки зрения положил прочное начало санитарной статистике в Туле. Он устроил Городскую санитарную комиссию и до самой смерти был главным ее руководителем и работником.

Во всех общественных учреждениях, в которых он участвовал,—пишет автор другого некролога,— Викентий Игнатьевич пользовался большим уважением и авторитетом, благодаря своему уму, твердости убеждений и честности. Везде он был самым деятельным членом, везде много работал,— больше, чем казалось бы возможным при его обширной и разнообразной деятельности... Он пользовался в Туле обширною популярностью не только как врач, но и как хороший человек. Как пояснение отношения к нему населения я могу привести, между прочим, следующий характерный факт: католик по вероисповеданию, он был выбран прихожанами православной Александро-Невской церкви в члены приходского попечительства о бедных. В. И. был широко образованный человек, и не было, кажется, такой научной области, которою бы он не интересовался. В доме своем он имел недурно обставленную химическую лабораторию, которую с готовностью отдал Санитарной комиссии, не имевшей вначале собственной лаборатории. Викентий Игнатьевич оставил после себя хорошее минералогическое собрание и обширную библиотеку по самым разнообразным отраслям знания... Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, вместе с природным недюжинным умом, обладают обширным образованием, добрым сердцем, благородным характером и скромностью истинного философа .. Вне сомнения,— замечал один из некрологов,— в ближайшее время появится подробная биография этого замечательного человека *(«Врач», 1894, №№ 47 и 48)*.

Таков он был. И до последних дней он кипел, искал, бросался в работу, жадно интересовался наукою, жалел, что для нее так мало остается у него времени. Когда мне приходилось читать статьи и повести о засасывающей тине провинциальной жизни, о гибели в ней выдающихся умов и талантов, мне всегда вспоминался отец: отчего же он не погиб, отчего не опустился до обывательщины, до выпивок и карт в клубе? Отчего до конца дней сохранил свою живую душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства?

Помню,— это уже было в девяностых годах, я тогда был студентом,— отцу пришлось вести продолжительную, упорную борьбу с губернатором из-за водопровода. Тульским губернатором в то время был Н. А. Зиновьев, впоследствии правый член Государственного Совета по назначению. В Туле сооружался водопровод. Был под городом рогоженский колодезь с прекрасной водой. За эту воду энергично высказалось общество тульских врачей с его председателем, моим отцом, во главе. Но губернатор почему-то остановил свой выбор на надеждинском колодце.

Из самодурства ли, по каким ли другим причинам, но он упрямо стоял на своем. Между тем надеждинский колодезь давал воду очень жесткую, вредную для труб, расположен был на низком месте, невдалеке от очень загрязненной рабочей слободы. Два года тянулась борьба отца с губернатором. Отец выступал против него в городской думе, в санитарной комиссии, в обществе врачей; конечно, потерял место домашнего его врача. Всемогущий губернатор одолел, и Тула получила для водопровода плохую надеждинскую воду.

Отец мой был поляк и католик. По семейным преданиям, его отец, Игнатий Михайлович, был очень богатый человек, участвовал в польском восстании 1830—1831 годов, имение его было конфисковано, и он вскоре умер в бедности. Отца моего взял к себе на воспитание его дядя, Викентий Михайлович, тульский помещик, штабс-капитан русской службы в отставке, православный. В университете отец сильно нуждался; когда кончил врачом, пришлось думать о куске хлеба и уехать из Москвы. Однажды он мне сказал:

— Сложись для меня тогда обстоятельства иначе,—

Я мог бы быть в краю отцов
Не из последних удальцов.

Отец поселился в Туле, в Туле и женился. Сначала служил ординатором в больнице Приказа общественного призрения, но с тех пор, как я себя помню, жил частной врачебной практикой. Считался одним из лучших тульских врачей, практика была огромная, очень много было бесплатной: отец никому не отказывал, шел по первому зову и очень был популярен среди тульской бедноты. Когда приходилось с ним идти по бедняцким улицам — Серебрянке, Мотякинской и подобным,— ему радостно и низко кланялись у своих убогих домишек мастеровые с зеленоватыми лицами и истощенные женщины. Хотелось, когда вырастешь, быть таким же, чтобы так же все любили.

Раз был такой случай. Позднею ночью отец ехал в санках глухою улицей от больного. Подскочили три молодца, один схватил под уздцы лошадь, другие двое стали сдирать с папиных плеч шубу. Вдруг державший лошадь закричал:

— Эй, ребята, назад! Это доктор Смидович! Его лошадь!

Те ахнули, низко поклонились отцу и стали извиняться. И проводили его для безопасности до самого дома.

Папа, смеясь, говаривал:

— Мне по ночам ездить не опасно: все тульские жулики мои приятели

Жизнь он вел умеренную и размеренную, часы еды были определенные, вставал и ложился в определенный час. Но часто по ночам звонили звонки, он уезжал на час, на два к экстренному больному; после этого вставал утром с головною болью и весь день ходил хмурый.

Жизнь он видел в мрачном свете и всегда ждал от нее самого худшего. Наши детские выходки и прегрешения он воспринимал очень остро и делал из них заключение о нашем совершенно безнадежном будущем. Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, новая, постоянно грызущая душу боль вошла в жизнь отца, это — постепенный, все увеличивавшийся упадок практики. Когда отец приехал в Тулу, врачей на весь город было человек пять-шесть. Теперь было уже двадцать—тридцать врачей, и то и дело приезжали и селились новые молодые врачи. Отец встречал их очень радушно, помогал советами, указаниями, всем, чем мог. Но естественным результатом увеличения количества врачей было то, что часть практики переходила к новоприбывшим. А семья наша была большая, детей нас было восемь человек, мы росли, расходы увеличивались. Часто, по-видимому, отцом овладевало отчаяние, что он не сможет сам поставить на ноги всех детей,— и иногда он говорил нам, старшим двум братьям:

— Я воспитал вас,— а ваше дело будет, когда я умру, воспитать младших братьев и сестер

Должно быть, очень глубоко мне тогда вошло в душу настроение отца, потому что я и теперь часто вижу все один и тот же сон: мы все опять вместе, в родном тульском доме, смеемся, радуемся, но папы нет. То есть, он есть, но мы его не видим. Он тихонько приезжает, украдкою пробирается в свой кабинет и там живет, никому не показываясь. И это оттого, что у него теперь совсем нет практики, и он стыдится нас. И я вхожу к нему, целую его милые старческие руки в крупных веснушках, и горько плачу, и убеждаю его, что он много и хорошо поработал в своей жизни, что ему нечего стыдиться и что теперь работаем мы. А он молча на меня смотрит,— и отходит, и отходит, как тень, и исчезает.

Дела у отца было по горло. Помимо врачебной практики и общественной городской деятельности, у него всегда была масса работ и начинаний. Из года в год он вел метеорологические наблюдения. Три раза в день записывались показания барометра, максимального и минимального термометра, направление и сила ветра. На дворе стояла деревянная колонка с дождемером, в глубине двора, у навеса, вздымался высоченный шест с флюгером. Записи, впрочем, больше вела мать; часто они поручались и нам. Отец вел широкие статистические работы; я помню его кабинет, весь заваленный стопочками разнообразных статистических карточек. В их сортировке и подсчете отцу помогали и мать и мы. Ряд статистических работ отца был напечатан в журналах. Вышла и отдельная книга: «Материалы для описания города Тулы. Санитарно-экономический очерк».

Когда я еще был совсем маленьким, отец сильно увлекался садоводством, дружил с местным купцом-садоводом Кондрашовым. Иван Иваныч Кондрашов. Сначала я его называл Ананас-Кокок, потом—дядя-Карандаш. Были парники, была маленькая оранжерея. Смутно помню теплый, парной ее воздух, узорчатые листья пальм, стену и потолок из пыльных стекол, горки рыхлой, очень черной земли на столах, ряды горшочков с рассаженными черенками. И еще помню звучное, прочно отпечатавшееся в памяти слово «рододендрон».

На все, что кругом, отец не мог смотреть, не пытаясь вложить в это своих знаний и творчества. Помню, под его руководством печники клали печку в столовой. Они разводили руками и доказывали, что ничего из этой печки не выйдет. Но отец, приезжая от больных, каждый день проверял их работу, намечал, что делать дальше, и добродушно отшучивался на их предсказания о никчемности всей их работы. Печку сложили, затопили; оказалась великолепная; самым небольшим количеством дров нагревалась замечательно, вентилятор в ней действовал превосходно. Печники чесали за ухом и удивленно разводили руками.

Очень любил отец изобретать для себя новую мебель; был для этого у него столяр, которому он ее заказывал. То и дело появлялось у нас в доме какое-нибудь мебельное сооружение вида самого неожиданного. Помню деревянную двухспальную кровать со столбиками, поддерживавшими деревянную настилку, на которую можно было ставить что

угодно. Через год-другой кровать была ликвидирована Помню огромный двускатный письменный стол у отца в кабинете, заниматься за ним можно было только стоя; если сидя, то на очень высокой табуретке. По бокам стол был обтянут зеленым коленкором, а внутри стола была устроена кровать: на ней отец спал года два. Воображаю, какая была духота! И это сооружение вскоре было ликвидировано. Вообще, не скажу, чтобы мебельные фантазии отца были особенно удачны: после годовой-двухгодовой жизни каждая из них отправлялась доживать свой век в амбаре или кладовой.

Странное дело! Отец был популярнейшим в Туле детским врачом, легко умел подходить к больным детям и дружить с ними, дети так и тянулись к нему. Много позже мне часто приходилось выслушивать о нем восторженнейшие воспоминания бывших маленьких его пациентов и их матерей. Но мы, собственные его дети, чувствовали к нему некоторый почтительный страх; как мне и теперь кажется, он был слишком серьезен и ригористичен, детской души не понимал, самые естественные ее проявления вызывали в нем недоумение. Мы его стеснялись и несколько дичились, он это чувствовал, и ему было больно. Только много позже, с пробуждением умственных интересов, лет с четырнадцати — пятнадцати, мы начинали ближе сходиться с отцом и любить его.

Другое дело — мать. Ее мы не дичились и не стеснялись. Первые десять — пятнадцать лет главный отпечаток на наши души клала она. Звали ее Елизавета Павловна. В самых ранних моих воспоминаниях она представляется мне — полная, с ясным лицом. Помню, как со свечою в руке перед сном бесшумно обходит все комнаты и проверяет, заперты ли двери и окна,— или как, стоя с нами перед образом с горящею лампадкою, подсказывает нам молитвы, и в это время ее глаза лучатся так, как будто в них какой-то свой, самостоятельный свет.

Она была очень религиозна. Девушкою собиралась даже уйти в монастырь. В церкви мы с приглядывающимся изумлением смотрели на нее: ее глаза сияли особенным светом, она медленно крестилась, крепко вжимая пальцы в лоб, грудь и плечи, и казалось, что в это время она душою не тут. Веровала она строго по-православному и веровала, что только в православии может быть истинное спасение.

Тем удивительнее и тем трогательнее была ее любовь к мужу,— католику и поляку; больше того,— во время женитьбы отец даже был неверующим материалистом, «нигилистом». Замужество матери возмутило многих ее родных. И произошло оно как раз в 1863 году, во время восстания Польши. Двоюродный брат мамы, с которым она была очень дружна, Павел Иванович Левицкий, богатый ефремовский помещик, тогда ярый славянофил (впоследствии известный сельский хозяин), совершенно даже прервал с мамой всякое знакомство.

С тех пор, как я себя помню, отец уже не был нигилистом, а был глубоко верующим. Но молился он не так, как мы все: крестился не тремя пальцами, а всею кистью, молитвы читал по-латыни, в нашу церковь не ходил. При молитве глаза его не светились таким светом, как у мамы; он стоял, благоговейно сложив руки и опустив глаза, с очень серьезным и сосредоточенным лицом. На большие праздники в Тулу приезжал из Калуги ксендз,— и тогда папа уходил в ихнюю, католическую церковь. И постился он не так, как мы,— с молоком, с яйцами. Но когда я был уже в гимназии, папа перешел на общий с нами православно-постный стол,— без яиц и молока, часто без рыбы, с постным маслом. Мама в душе глубоко верила, что как папа от безбожия пришел к вере, так от католичества придет к православию. Папа к обрядам относился равнодушно, видел в них только воспитывающее душу значение, но в православие не переходил. Когда он умирал, мама заговорила с ним о переходе в православие. Но он в смятении и муке ответил:

—Лизочка, не требуй от меня этого. Как ты не понимаешь? Когда наш народ и наша вера угнетены, отречься от своей веры — значит отречься от своего народа.

У мамы был непочатый запас энергии и жизненной силы. И всякую мечту она сейчас же стремилась воплотить в жизнь. Папа же любил просто помечтать и пофантазировать, не думая непременно о претворении мечты в жизнь. Скажет, например: хорошо бы поставить у забора в саду беседку, обвить ее диким виноградом. Назавтра в саду уже визг пил, стук, летят под топорами плотников белые щепки.

— Что это?

— Беседку строят.

— Какую беседку?

— Ты же сам вчера сказал.

— Так это же я так только...

Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек: горничная, няня, кухарка, прачка, кучер, дворник. Но для мамы как будто мало было всех хлопот с детьми и по хозяйству. Она постоянно замышляла какое-нибудь весьма грандиозное дело. Когда мне было лет шесть-семь... Счисление я буду вести по своему возрасту, это — единственное счисление, которое применяет ребенок. Так вот, когда мне было лет шесть-семь, мама открыла детский сад (предварительно пройдя в Москве курсы фребелевского обучения). Он пошел хорошо, но дохода не давал и поглощал весь папин заработок; пришлось его закрыть. Когда мне было лет четырнадцать, куплено было имение; мама стала вводить в хозяйство всевозможные усовершенствования, все силы положила в него. Но имение стало поглощать весь папин заработок. Через три-четыре года его продали с убытком. И всегда, во всяком из маминых предприятий, было какое-то мученичество и жертвенный подвиг: работа до крайнего изнеможения, еда кое-как, недоспанные ночи, душевные муки, что все идет в убыток, старание покрыть его сокращением собственных потребностей.

Теперь, восстанавливая все в памяти, я думаю, что эта потребность превращать работу в какое-то радостно-жертвенное мученичество лежала глубоко в маминой натуре,— там же, откуда родилось ее желание поступить в монастырь. Когда кончались трудные периоды ведения детского сада или хозяйничания в имении, перед мамой все-таки постоянно вставала,— на вид как будто сама собой, совсем против воли мамы,— какая-нибудь работа, бравшая все ее силы. Папа как-то сказал:

— Вот какая масса у нас журналов, как много в них интересных статей и рассказов. Как бы хорошо сделать им систематическую роспись,— чтоб только что понадобилось, сейчас и найдешь.

И мама многие недели работала над систематическою росписью все свое свободное время. Ночь, тишина, все спят, а у книжных шкафов горит одинокая свеча, и мама с кротким усталым лицом пишет, пишет...

Помню еще, к папиным именинам мама вышивала разноцветною шерстью ковер, чтобы им завешивать зимою балконную дверь в папином кабинете: на черном фоне широкий лилово-желтый бордюр, а в середине — рассыпные

разноцветные цветочки. В воспоминании моем и этот ковер остался как сплошное мученичество, к которому и мы были причастны: сколько могли, мы тоже помогали маме, вышивая по цветочку-другому.

И вместе с тем была у мамы как будто большая любовь к жизни (у папы ее совсем не было) и способность видеть в будущем все лучшее (тоже не было у папы). И еще одну мелочь ярко помню о маме: ела она удивительно вкусно. Когда мы скоромничали, а она ела постное, нам наше скоромное казалось невкусным,— с таким заражающим аппетитом она ела свои щи с грибами и черную кашу с коричневым хрустящим луком, поджаренным на постном масле.

Отношения между папой и мамой были редко-хорошие. Мы никогда не видели, чтоб они ссорились, разве только спорили иногда повышенными голосами. Думаю,— не могло все-таки совсем быть без ссор; но проходили они за нашими глазами. Центром дома был папа. Он являлся для всех высшим авторитетом, для нас — высшим судьею и карателем.

Тихая Верхне-Дворянская улица (теперь Гоголевская), одноэтажные особнячки и вокруг них сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаке пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются каждая у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине — город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен. Там дома друг на друге, пыль, вонь сточных канав, болотные испарения и вечная малярия. У нас наверху — почти полевой воздух, море садов и весною в них — сирень, гулкие раскаты соловьиных трелей и щелканий.

У папы на Верхне-Дворянской улице был свой дом, в нем я и родился. Вначале это был небольшой дом в четыре комнаты, с огромным садом. Но по мере того как росла семья, сзади к дому делались все новые и новые пристройки, под конец в доме было уже тринадцать — четырнадцать комнат. Отец был врач, притом много интересовался санитарией; но комнаты,— особенно в его пристройках,— были почему-то с низкими потолками и маленькими окнами.

Сад вначале был, как и все соседние, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Всё росли и ширились крепкие клены и ясени, всё больше ввысь возносились березы большой аллеи, всё гуще делались заросли сирени и желтой акации вдоль заборов. Каждый кустик в саду, каждое деревцо были нам близко знакомы; знали мы, что в мрачном углу под стеною соседней конюшни Бейера растет кустик канупера, что на кривой дорожке — не́клен, а на круглой куртине — конский каштан. Да не только кусты и деревья и не только в саду. Все закоулки в саду, на дворе и на заднем дворе были близко знакомы, обгляжены до всякой щели в заборе, до всякой трещины в бревне. И были превосходнейшие места для всяких игр; под папиным балконом, например: темное, низкое помещение, где нужно было ходить нагнувшись, где сложены были садовые лопаты, грабли, носилки, цветочные горшки и где в щели меж досок ярко светило с улицы солнце, прорезывая темноту пыльно-золотыми пластинами. Много в этом подземельи было совершено злодейств, много укрывалось разбойничьих шаек, много мучений пережито пленниками...

Это все — для общего понимания последующего. А теперь прекращаю связный рассказ. Буду в хронологическом порядке передавать эпизоды так, как они выплывают в памяти, и не хочу разжижать их водою для того, чтобы дать связное повествование. Мне нравится, что говорит Сен-Симон: «То здание наилучшее, на которое затрачено всего менее цемента. Та машина наиболее совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собою».

Кажется, самое раннее из моих воспоминаний,— вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком,— несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с полблюдечка,— густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверное, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!

Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.

Сижу у себя в кроватке и реву. Она подходит и унимает меня:

— Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!

— А-на-ка-на!.. Я твой барин!

— Ты мой барин, ты мой барин!

— Я твой барин,— повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.

— Мой барин, мой барин... Спи!

Когда со старшим моим братишкой Мишей мы садились завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:

— Mischenka, Mishenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen! [1]

В доме у нас большим почетом и уважением пользовался дедушка Викентий Михайлович; он иногда приез-

[1] Мишенька, Мишенька, ешь поскорее, а то этот пузырь все съест! *(нем.)*

жал к нам в Тулу из своего имения, села Теплого. Был он вдовец, штабс-капитан в отставке, с очень длинною и совершенно седою бородою, худощавый. Он был не родной нам дедушка, а папин дядя, брат его отца. У него папа воспитывался в детстве. По отдельным, случайно вырывавшимся у отца признаниям я заключаю, что жилось ему там очень несладко: жена дедушки, Елизавета Богдановна, была с самым бешеным характером; двух родных своих сыновей, сверстников отца, баловала, моего же отца жестоко притесняла,— привязывала, в виде наказания, к ножке стола и т. п. А дедушка, сколько мог, заступался за отца, ласкал его и шептал на ухо:

— Ты не обращай внимания на эту ведьму!

Папа относился к дедушке с глубокою почтительностью и нежною благодарностью. Когда дедушка приезжал к нам,— вдруг он, а не папа, становился главным лицом и хозяином всего нашего дома. Маленький я был тогда, но и я чувствовал, что в дом наш вместе с дедушкою входил странный, старый, умирающий мир, от которого мы уже ушли далеко вперед.

Папа,— взрослый человек, доктор, отец большой семьи,— перед тем, как ехать на практику, приходил к дедушке и почтительно говорил:

— Дядя, мне нужно ехать к больным. Вы позволите?

И дедушка разрешал:

— Поезжай, мой друг!

Вообще он держался во всем не как гость, а как глава дома, которому везде принадлежит решающее слово. Помню, как однажды он, в присутствии отца моего, жестоко и сердито распекал меня за что-то. Не могу припомнить, за что. Папа молча расхаживал по комнате, прикусив губу и не глядя на меня. И у меня в душе было убеждение, что, по папиному мнению, распекать меня было не за что, но что он не считал возможным противоречить дедушке.

Иногда из Теплого приезжала толстая и румяная экономка, Афросинья Филипповна. У нее была дочь со странным именем Католя. По почтительному отношению папы и мамы к Афросинье Филипповне мы чувствовали, что она — не просто служащая у дедушки. Но когда мы добивались узнать, кто же она такая, мы не получали ответа. Чувствовалось, что в отношениях к ней дедушки есть что-то неладное и стыдное, о чем папа с мамой, уважая и любя де-

душку, не могли и не хотели рассуждать. И потом, когда дедушка умер, Теплое было продано наследниками, и Афросинья Филипповна переселилась с дочерью в Тулу, отношение к ней осталось по-прежнему родственным и теплым.

В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:

— Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек.

Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная. Я согласился.

Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а случалось вспомнить,— такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь.

Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:

— Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь,— можешь, если хочешь, продолжать.

Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:

— Чего ты, Витя?

— Ты же сама сказала, что после обеда можно.

Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:

— Ну, Витя, теперь можно,— реви!

Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали

Были мы на елке у Свербеевых, папиных пациентов. Помню, была у них очень хорошенькая дочь Эва, с длинными золотыми волосами по пояс. Елка была чудесная, мы получили подарки, много конфет. Мне досталась блестящая медная складная труба, лежавшая среди стружек в белой коробке.

Когда мы одевались в передней, г-жа Свербеева спросила меня:

— Ну, что, Витя, весело тебе было?

Я подумал и ответил:

— Нет.

Еще подумал и прибавил:

— Очень было скучно.

Собственно говоря, очень было весело. Но я вдруг вспомнил один момент, когда все пили чай, а я уже напился, вышел в залу и минут пять в одиночестве сидел перед елкою. Вот в эти пять минут, правда, было скучно.

Наша немка, Минна Ивановна, была в ужасе, всю дорогу возмущалась мною, а дома сказала папе. Папа очень рассердился и сказал, что это свинство, что меня больше не нужно ни к кому отпускать на елку. А мама сказала:

— Собственно говоря, за что же бранить ребенка? Спросили его,— он сказал правду, что действительно чувствовал.

Помню в детстве отшатывающий, всю душу насквозь прохватывающий страх перед темнотой. Трусость ли это у детей — этот настороженный, стихийный страх перед темнотой? Тысячи веков дрожат в глубине этого страха,— тысячи веков дневного животного: оно ничего в темноте не видит, а кругом хищники зряче следят мерцающими глазами за каждым его движением. Разве не ужас? Дивиться можно только тому, что мы так скоро научаемся преодолевать этот ужас.

К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть. Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас и прислуги. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму:

— Обязательно нужно, чтобы все простили?

— Обязательно.

У меня начинали шевелиться шантажные вожделения.

— А что будет,— вдруг я возьму и не прощу тебя?

Мама серьезно отвечала:

— Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение.

Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раз-

думывал: нельзя ли бы на этом заработать пару карамелек? Мама придет ко мне просить прощения, а я: «Дай две карамельки, тогда прощу!»

Мы причащались. Подошла к причастию молодая дама в белом платье с большим квадратным вырезом на груди. Сестра Юля с удивлением мне прошептала:

— Витя, посмотри-ка. Зачем у нее впереди голое? Наверно, не хватило материи.

Я презрительно ответил:

— Вот глупая! Вовсе не потому. А просто, чтобы легче было чесаться, когда блохи кусают. Ничего не расстегивать. Засунул руку и чешись.

— А-а...

Всегда у нас в комнатах жили собаки,— то огромный ньюфаундленд, то моська, то левретка. И блохи были нашей всегдашнею казнью.

Сестра Юля была на полтора года моложе меня. Она догоняла меня ростом и догнала. Дедушка даже уверял, что перегнала, но я с азартом доказывал, что это неправда, что это только так кажется: у Юли в волосах гребешок, гребешок топорщит волосы, а я стриженый. Но дедушка стоял на своем.

Я родился в январе, Юля — в июле. Мне было семь лет, Юле пять. Настал июль. Юле стало шесть лет. Дедушка спросил:

— А тебе, Витя, все еще только семь?

Я опешил:

— Да.

— Смотри-ка, Юля и годами тебя начинает догонять. Скоро перегонит, станет старше.

Факт был налицо. Я долго потихоньку плакал от обиды.

Один единственный случай, когда меня выпороли. Папа одно время очень увлекался садоводством. В большом цветнике в передней части нашего сада росли самые редкие цветы. Было какое-то растение, за которым папа особенно любовно ухаживал. К великой его радости и гор-

дости, после многих трудов, растение дало, наконец, цветы.

Однажды вечером папе и маме нужно было куда-то уехать. Папа позвал меня, подвел к цветку, показал его и сказал:

— Видишь, вот цветок? Не смей не только трогать его, а и близко не подходи. Если он сломается, мне будет очень неприятно. Понял?

— Понял.

Поздно вечером они воротились, и папа сейчас же пошел с фонарем в сад взглянуть на цветок. Цветка не было! Ничего от него не осталось,— только ямка и кучка земли.

На утро мне допрос:

— Где цветок?

— Я его пересадил.

— Как пересадил?!

— Ты же мне вчера сам велел.

И я показал, куда пересадил. Пересадил, конечно, подрезав все корни, и цветок уже завял.

Такое явное и наглое неповиновение мое,— «ведь нарочно приводил тебя к цветку, просил!» — заставило папу преодолеть его отвращение к розге, и он высек меня. Самого наказания, боли от него, я не помню. Но ясно помню, как после наказания сидел на кровати, захлебываясь слезами и ревом, охваченный ощущением огромной, чудовищной несправедливости, совершенной надо мною. Утверждаю решительно и определенно: я понял папу именно так, что он мне поручил пересадить цветок. И я очень был польщен его доверием и совершил пересадку со всею тщательностью, на какую был способен.

Я уже говорил: мама в течение нескольких лет содержала детский сад,— совершеннейшая тогда новинка, в Туле небывалая. Мама перед тем специально ездила в Москву и прошла там курс фребелевских наук. Предприятие кончилось, как все многочисленные мамины предприятия: она с такою энергиею и добросовестностью отдалась делу, настолько все старалась завести самое лучшее, что предприятие не только не окупалось, но на него уходил и весь папин заработок. Да и домашнее хозяйство и воспитание собственных детей от этого страдали. Папа, нако-

нец, запротестовал, и, ко времени моего поступления в гимназию, детский сад был закрыт.

Так вот, для этого сада папа в свободное время смастерил огромное сооружение аршина в два длины и полтора ширины, по которому учащиеся наглядно могли знакомиться с тем, что такое залив, остров, мыс, ущелье и т. д. В заднем левом углу поднимались высокие горы с белыми главами, среди моха тек с высоты настоящий ручеек, в зеленых долинах паслись оловянные стада, впереди слева вертикальный разрез представлял геологические пласты земли. Передняя правая сторона была занята морем из настоящей воды — с заливами, проливами, бухтами, с коралловым островом в середине; сквозь стекло спереди можно было видеть дно моря, коралловое основание острова, морские звезды на песчаном дне. Гордостью и красою всего сооружения была огнедышащая гора в заднем углу справа, за морем. Иногда по вечерам папа устраивал настоящие извержения из нее: из кратера взрывами бил огонь, по отрогам с шипением ползли ярко-красные и зеленые огни, отражаясь в море. Это было большим праздником для детей.

Для других детей, но не для меня. Недавно мне жаловался старик-отец на своих сыновей-футболистов, возвращающихся домой с разбитыми лбами и рваною обувью: «Другим удовольствие, а мне один разрыв сердца!» Вот так тогда и мне было: другим удовольствие, а мне один разрыв сердца. Я с беспокойством спрашивал маму:

— Может от этого быть пожар?

Мама не любила испытывать судьбу.

— Наверное никогда ничего нельзя сказать. Все может быть.

Приятно услышать...

Начиналось представление. Дети глядели на огненные взрывы, цветные бенгальские огни и в восторге ахали. Я сидел на стуле сзади всех, беспокойно насторожившийся, давил внутреннюю дрожь и ощупывал оттопырившиеся карманы: в одном было два куска булки,— питаться нам всем первое время после пожара, в другом — куча вырезанных из бумаги и раскрашенных мною солдатиков: если наш дом сгорит, я буду продавать на улице этих солдатиков и таким образом кормить семью. Самый для меня радостный был момент, когда извержение кончалось и нашему дому переставала грозить опасность.

Родился я преждевременно, на восьмом, кажется, месяце, и родился «в сорочке». Однако вообще был мальчишка здоровый, да и теперь на физическое здоровье пожаловаться не могу. Но однажды,— мне было тогда лет семь,— когда у нас кончились занятия в детском саду, вдруг я с пронзительным криком, без всякого повода, упал, начал биться в судорогах, потом заснул. И проспал трое суток.

Помню, как я проснулся в темноте, вышел в столовую. Уже отобедали, дети с немкою Минной Ивановной ушли гулять, в столовой сидела одна мама. Горела лампа, в окнах было темно. Я с затуманенной головой удивленно смотрел в окно и не мог понять, как же в этакой черноте может кто-нибудь гулять.

Плюшкин магазин.— Мама требовала, чтобы вечером, перед тем как ложиться спать, мы не оставляли игрушек где попало, а убирали бы их. Конечно, мы постоянно забывали. Тогда мама объявила, что все неприбранные игрушки она вечером будет брать и прятать, как Плюшкин. И рассказала про гоголевского Плюшкина, как он тащил к себе все, что увидит.

Так и стала делать. Неприбранные игрушки исчезали. Иногда бывало, что мы их и не хватимся и забывали о них, иногда хватишься, да уже поздно. Раза два в год происходила торжественная разборка «Магазина Плюшкина»,— мы его сокращенно называли «Плюшкин магазин». Мама отпирала шкаф, мы нетерпеливо толпились вокруг, она вынимала по одной вещи, выясняла ее владельца, и он получал ее обратно. Много тут было радостей и много неожиданностей,— обретались богатства, о которых давно уже было забыто. Старые, надоевшие игрушки становились как новые.

Жил у нас в то время нахлебником смешной толстенький бутуз, Анатолий Коренков. Мама объявила, что сегодня вечером она будет разбирать Плюшкин магазин. Мы все обрадовались, в восторге сообщали друг другу:

— Сегодня вечером — Плюшкин магазин!

Анатолий Коренков ничего про это учреждение не знал, но, видя нашу радость, и сам очень обрадовался. Выскочил в залу, стал приплясывать и щелкать пальцами:

— Сегодня вечером у нас будет Булкина лавка!

Это я давно заметил, и это было верно. Стоило заметить только раз, а потом никаких не могло быть сомнений: вещи любят дразнить человека и прятаться от него; чем их усерднее ищешь, тем они дальше запрятываются. Нужно бросить их искать. Им тогда надоест прятаться,— вылезут и сядут совершенно на виду, на каком-нибудь самом неожиданном месте, где уж никак их нельзя было не заметить.

Из этого выходило: потерялась вещь — поищи; не находится — перестань искать: через день-другой выскочит сама (конечно, если не попала к маме в Плюшкин магазин: ну, тогда жди разборки магазина, раньше не получишь).

Меня называли «Витя», папа выговаривал по-польски, и у него звучало «Виця»; так он всегда и в письмах ко мне писал мое имя. Ласкательно мама называла меня «Тюлька». Раз она так меня позвала, когда у нее сидела с визитом какая-то дама. Когда я ушел, дама сказала маме:

— Какой ваш Тюльпанка хорошенький!

Я потом часто всем это рассказывал и притворялся, что рассказываю потому, что вот как смешно: вместо «Тюлька» — собачье имя Тюльпанка.

Мне хотелось спать, я поужинал с маленькими и лег в девять часов. А было воскресенье, и были гости. И за ужином у больших были блинчики с дынным вареньем. Ели их и Миша и Юля. Я про это узнал только утром и горько заплакал. И спрашивал Юлю:

— Вкусные были?

Юля виновато отвечала:

— Очень вкусные.

И я плакал еще горше. Потом стал рассуждать так: я вчера вечером блинчиков не ел. Миша и Юля ели. Ну и что ж? Теперь-то, утром,— не все равно? Иначе бы я себя теперь чувствовал, если бы вчера ел блинчики? Приятнее сейчас Юле? Вовсе нет. Одинаково у всех троих ничего сладкого.

И это меня утешило.

Папа лечил у доктора Ульянинского его сына Митю. Он был с Ульянинским в очень хороших отношениях. Улья-

нинский даже крестил сестру мою Юлю; при серьезном взгляде родителей на религию это были не пустяки. Когда сын выздоровел, Ульянинский прислал папе в подарок очень ценный чайный сервиз. Папа отослал его обратно с письмом, что считает совершенно недопустимым брать плату за лечение детей своего товарища, а присланный подарок — та же замаскированная плата.

После этого Ульянинский стал сторониться папы, и отношения их совершенно испортились.

Папа никогда не давал ложных медицинских свидетельств. Однажды,— это было, впрочем, много позже, когда мы со старшим братом Мишею уже были студентами,— перед концом рождественских каникул к брату зашел его товарищ-студент и сказал, что хочет попросить папу дать ему свидетельство о болезни, чтоб еще недельку-другую пожить в Туле. Миша лукаво сказал:

— Что ж, пойди; папа, кстати, сейчас принимает. Попроси его.

Тот вошел к папе, объяснил, что ему надо.

— А вы, молодой человек, чем же больны?

— Я, собственно, ничем не болен, но хотелось бы остаться еще на некоторое время в Туле.

— Так, значит, вы хотите, чтоб я, старик, дал вам фальшивое свидетельство, чтобы лгал в нем, будто вы чем-то больны, и в удостоверение своей лжи дал свою подпись...

Так его отчитал, что студент выскочил красный и потный, к большой нашей потехе.

Никогда не мог понять, что интересного в «Робинзоне Крузо». Козлики какие-то; шьет себе одежды из звериных шкур, надаивает молоко, строит дом... Интересно было только в конце, где Робинзон и Пятница сражаются с дикарями.

В конце сада, около большой аллеи, росла вишня; вся она густо была покрыта черными ягодами. Мама дала нам с Юлею корзинку и велела обобрать вишню.

— Мамочка, а можно будет некоторые есть?

— Ну, какая уж очень будет проситься в рот, ту съешьте.

Пошли. Через час приносим маме корзинку. На ее дне горсть красных ягод.

— Только-то? Где же все ягоды?

Мы сами недоумевали. И ответили сконфуженно:

— Очень уж просились в рот.

Когда мне было восемь лет, я поступил в приготовительный класс гимназии. Синяя кепка, мышино-серое пальто до пят, за плечами ранец с книгами.

Взрослые забыли и потому не знают, с какими опасностями сопряжено путешествие по мирным улицам города для маловозрастных людей. Чтобы благополучно ходить по улицам, от маленького человека требуется сила, смелость, ловкость, находчивость,— качества, которые когда-то требовались от всех людей; теперь они, к счастью, все еще требуются, по крайней мере от людей маловозрастных. Горе на улице и в школе маменькиным сынкам, для которых единственною защитою служит их благонравие и вера в то, что все обязаны вести себя прилично!

Каждое утро, когда я шел в гимназию, на Верхне-Дворянской улице, около извозчичьей биржи, мне встречался мальчишка из уездного училища. Он бросался на меня и начинал лупить. За что? Не знаю. Никогда я ничем его не задел, ничем не обидел. В первый раз, когда он напал на меня, я больше всего был потрясен не столько даже самим нападением, сколько отношением к нему всех кругом. Я испуганно таращил глаза и втягивал голову в плечи, мальчишка бил меня кулаком по шее, а извозчики,— такие почтительные и славные, когда я ехал на них с папой или мамой,— теперь грубо хохотали, а парень с дровами свистел и кричал:

— Бей! Так его! Покрепче!.. Ха-ха-ха!

Постоянно мы встречались, и постоянно он меня лупил и с каждым разом распалялся все большею на меня злобою; должно быть, именно моя беззащитность распаляла его. Дома ужасались и не знали, что делать. Когда было можно, отвозили нас в гимназию на лошади, но лошадь постоянно была нужна папе. А между тем дело дошло уже вот до чего. Раз мой враг полез было на меня, но его отпугнул проходивший мимо большой гимназист. Мальчишка отбежал на улицу и крикнул мне:

— Ну, брат, счастье твое! А то бы я тебя угостил!

И вытянул из рукава руку,— в ней был раскрытый перочинный нож.

Мама, как узнала, пришла в ужас: да что же это! Ведь этак и убить могут ребенка или изуродовать на всю жизнь! Мне было приказано ходить в гимназию с двоюродным моим братом Генею, который в то время жил у нас. Он был уже во втором классе гимназии. Если почему-нибудь ему нельзя было идти со мной, то до Киевской улицы (она врагу моему уже была не по дороге) меня провожал дворник. Мальчишка издалека следил за мною ненавидящими глазами,— как меня тяготила и удивляла эта ненависть! — но не подходил.

Раз идем мы с Генею. Нам навстречу этот мальчишка, а с ним другой, побольше, длинноносый и рыжий. Мой враг что-то шепнул своему спутнику. Поровнялись. Вдруг рыжий изо всей силы толкнул Геню плечом.

— Ты что?

— А ты что?

— В морду захотел?

— Попробуй!

Сжимая кулаки, они стояли друг против друга в напряженной позе петухов и слегка подталкивали друг друга плечом. Геня свистнул рыжего в ухо. Начался мордобой. Мой враг бросился на меня. Геня крикнул:

— Бей его, Витя! Чего боишься? В морду!

Я сунул его кулаком в морду, перешел в наступление и стал теснить. Испуг и изумление были на его красивом круглом лице с черными бровями, а я наскакивал, бил его кулаком по лицу, попал в нос. Брызнула кровь. Он прижал ладони к носу и побежал. Пробежал мимо и рыжий, а Геня вдогонку накладывал ему в шею...

Позор, позор! Целых полгода враг мой лупил и гонял меня, а я, оказывается, был и сильнее и ловчее его!..

В приготовительном же классе. Рядом со мною сидел на парте рыжий и крупный немчик Ган, добродушный и покорный, с которым можно было делать что угодно. Я написал на его транспаранте:

Сей транспарант принадлежит
И сам не убежит;
Кто возьмет его без спросу,
Тот останется без носу;

А кто возьмет его с спросом,
Тот будет с пузом.

Это я так переделал обычную у школьников надпись на книгах:

Эта книга принадлежит
И сама не убежит,
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу.

Транспарант увидел у Гана наш классный наставник, Петр Степанович Глаголев.

— Это ты написал?

Ган ухмыльнулся широко и глупо.

— Нет. Это мне написал Смидович.

— Смидович! Это что такое? В угол!

Я обомлел. Я был первый ученик, поведения примерного, никогда наказаниям не подвергался; Петр Степанович ко мне благоволил, к тому же, кажется, он был папиным пациентом.

— Что ты стоишь? Сейчас же в угол!

Я заревел благим матом:

— Ай, нет, не пойду!

Петр Степанович сердился и смеялся, приказывал, но я заливался слезами и не шел. Так и не пошел.

Меня «оставили» на час в гимназии. За что? До сих пор не могу понять. А транспарант послали с Генею папе. Голодный, одинокий и потрясенный, я просидел час в пыльном классе и ревел все время, не переставая, изошел слезами.

Дома был разговор с папой.

— Скажи, пожалуйста, что ты, собственно, хотел этим сказать? «Тот будет с пузом». Какая пошлость! Да неужели ты находишь это остроумным?.. И написал-то еще на чужой вещи, не своей!

Назавтра в гимназии, на перемене, Петр Степанович подсел ко мне, обнял за плечи и лукаво спросил потихоньку:

— Что, брат, здорово тебя вчера выпороли?

Меня удивил вопрос, и вдруг я почувствовал, что Петр Степанович живет в каком-то совсем другом, чуждом мире, жестоком и грубом; и его лицо показалось мне вульгарным и непочтенным. Я ответил:

— Папа нас никогда не порет.

Он засмеялся и махнул рукою,— меня, мол, не проведешь. И, наверное, он уж совсем бы мне не поверил, если бы я ему сказал, что предпочел бы порку вчерашнему объяснению с отцом.

Что из всего чтения произвело на меня самое сильное впечатление в детстве: сказка в стихах «про воробья, который делал в жизни все, что мог». Она была напечатана в детском журнале «Семья и школа» (мы получали этот журнал). Молодой воробей услышал, как поет соловей, как все им восхищаются, потом увидел красавца-павлина,— тоже всех приводил в восторг. Грустный прилетает воробей домой и жалуется матери: нет у него ни голоса хорошего, ни красоты, ни для кого он не привлекателен. Мать ему отвечает, что внешние дары — не в нашей власти, но что всякий может, если хочет, делать окружающим добро, и тогда все будут его любить. И вот: сидит в чердачной своей комнате швея, грустно задумалась о своей жизни и плачет. Молодой воробей сел на подоконник, стал весело чирикать. Швея взглянула, улыбнулась сквозь слезы, утерла глаза, стала слушать и забыла о своем горе. Так молодой воробей и начал жить и везде, где только мог, делал всем добро: выкармливал выпавших из гнезда птенцов, носил еду больным птицам, пел песни обездоленным.

Но увы! однажды съел он
Ядовитое зерно.

И умер. И вот его хоронят. Все птицы идут за гробом. И сам соловей,— гордый, великолепный соловей,— говорит над его могилою речь: умерший не выделялся красотою, не было у него звонкого голоса, но он был лучше и достойнее всех нас, у него было то, что дороже и красоты и всяких талантов:

Он был добр, он был полезен,
Делал в жизни все, что мог...

Сколько раз я эту сказку ни перечитывал, и каждый раз, при описании похорон и речи соловья, истекал, захлебывался слезами. И когда больно бывало от чего-нибудь самолюбию, когда чувствовал я себя серым и никому не интересным, у меня вставала мысль: этой возможности, какая была у воробья, никто не сможет отнять и у меня.

Когда буду идти из гимназии, мама сказала,— зайти в библиотеку, внести плату за чтение. Я внес, получил сдачу с рубля и соблазнился: зашел в магазин Юдина и купил пятачковую палочку шоколада. Отдаю маме сдачу.

— Пяти копеек не хватает.

Я сказал беспомощным тоном ребенка, которого немудрено обсчитать:

— Я не знаю, мне столько дали.

Мама сомнительно покачала головою, но ничего не сказала.

Мне было стыдно. После обеда я попросил у мамы работы в саду. Кому из нас очень нужны бывали деньги, тот мог получить у мамы работу в саду или на дворе. Но работа, по нашим силам, была не пустяковая, а оплата не бог весть какая щедрая, поэтому мы брались за такую работу при очень уж большой нужде в деньгах. Мама поручила мне (за пятачок) очистить от травы и сучков площадку под большой липой. Я проработал часа четыре, вспотел порядком. Когда пришлось получать плату, я сознался маме, что утром проел пятачок на шоколад и что пусть она зачтет мою плату за этот пятачок. Я ждал, что мама придет в умиление от моего благородства, горячо расцелует меня и возвратит заработанный пятак. И, должно быть, лицо мое неудержимо сияло скромною гордостью. Но мама только сказала, сдержанно и печально:

— Пожалуйста, больше никогда так не делай.

Директором гимназии нашей был Александр Григорьевич Новоселов. Небольшого роста, с седыми бачками, с крючковатым носом, в золотые очки смотрят злобные глазки. В нас, мальцах, он вызывал панический ужас, и для меня он являлся олицетворением грозного, взыскательного и беспощадного начальства.

Раз за обедом папа рассказывал маме:

— ...директор Новоселов, Александр Григорьевич, входит в кондитерскую Вальтера, споткнулся — и вдруг растянулся на пороге...

У меня разгорелись глаза, я с одушевлением спросил:

— Нарочно?!

Папа в изумлении замолчал, с безнадежностью оглядел меня и тяжко вздохнул.

— Виця! Ну, что ты такое говоришь! Подумай хоть

немножко! Директор гимназии — и нарочно растянулся на пороге!

Я сконфузился. Но мне вдруг таким человечным, таким близким показался было этот злобный старичок, способный выкинуть такую чудесную штуку!

К троице нужно было убрать сад: граблями сгрести с травы прошлогодние листья и сучья, подмести дорожки, посыпать их песком. Наняли поденщика,— старый старик в лаптях, с длинной бородой, со старчески-светящимся лицом. Мама, когда его нанимала, усомнилась,— сможет ли он хорошо работать. И старик старался изо всех сил. Но на побледневшем лице часто замечалось изнеможение, он не мог его скрыть, и беззубый рот устало полуоткрывался.

Мама расспрашивала старика про его жизнь. Деревня их за восемьдесят верст от Тулы, хозяйство ведет его сын. Старик мечтал, как купит на заработанные деньги гостинчиков для внучки,— башмаки и баранок, и сокрушался, что не поспеет домой к празднику: в субботу кончит работу, а до дому идти два дня,— больше сорока верст в день не пройти. Мне странно было слышать, что можно в качестве гостинчиков приносить такие скучные вещи, как башмаки и баранки, и еще страннее,— что он такую дальнюю дорогу сделает пешком,— такой старик!

Он шамкал ртом, и глаза его светились мягкою радостью, когда он говорил о внучке.

Мама вечером вдруг сказала:

— Хотите, дети, отпустим старика домой завтра, в четверг, чтоб он поспел домой к воскресенью? Заплатим ему, что он заработал бы до воскресенья, а вы за него уберете сад.

Мы с восторгом согласились,— очень уж радостно было себе представить, как это будет приятно старику. И еще радостнее и умиленнее стало назавтра, когда мама подошла к работавшему старику, отдала ему деньги до воскресенья и сказала, что он может отправляться домой. Старик сначала не разобрал, голова его задрожала,— он понял, что ему отказывают от работы. Мама ему показала деньги, что заплачено до воскресенья, а что сад за него уберем мы. И помню я, как он упал на колени, и седая борода его тряслась, и как мама, взволнованная, с блестящими глазами, необычно быстро шла по дорожке к дому.

Мы три дня с одушевлением работали и убрали-таки сад к празднику,— старший мой брат Миша, я, двоюродный брат Геня, и помогала сестра Юля.

С этим воспоминанием связано у меня и другое,— о столкновении во время этой работы с Генею. Не помню, из-за чего мы поссорились. Ярко помню только: стою на дворе с железным заступом в руках около песочной кучи, тачка моя наполнена песком, рядом Генина тачка. Я воплю неистово, исступленно, и в голове моей мелькает:

«Он довел меня до бешенства, я теперь не могу отвечать за себя. И теперь я не виноват, если сделаю что-нибудь ужасное!»

Этакий таракан! Был я тогда приготовишкой, а идею о невменяемости усвоил уже недурно!.. И я изо всей силы ударяю Геню железным заступом по ноге. Не могу вспомнить, что было дальше и чем кончилось.

Майские жуки приносят большой вред растительности. Их личинки обгрызают под землею нежные мочки корней трав и кустов... И так дальше.

Весна. Березы только что развернули узорные, веселозеленые листочки. Майские жуки с деловитым жужжанием носятся вокруг берез, а мы внизу суетимся,— потные, задыхающиеся, с вылезающими на лоб глазами.

Подпрыгнул, махнул кепкой,— уп! И сел на корточки и прижимаешь кепку к земле, осторожно заглядываешь в нее: там! есть! Ошалело сидит и удивленно перебирает лапками. Берешь,— на дорожку,— подошвой: хрясть! Белое молоко, в нем мелкие черные пластинки. В душе — гадливая дрожь от совершенного убийства. Но уж опять смотришь вверх. Из соседнего сада пулею летит огромный жук,— зумм... И мимо берез к ясеням, в середину сада. Мчишься следом,— он пропал за елкой. Смотришь во все стороны,— нету. А он бесшумно вьется около березовой ветки, совсем низко. Готово! В кепке! Возьмешь в руку, рассматриваешь. Он неподвижно сидит, потом приходит в себя: начинает по-особенному пыхтеть,— накачивается воздухом. Сейчас полетит. Как серьезен! И как красив! Но нельзя отпустить. И казнишь под подошвой за его вредную для мира деятельность.

Приходили мы к ужину усталые, потные, но удовлетворенные сознанием добросовестно исполненного граж-

данского долга. Никогда впоследствии ничто не наполняло меня такою гордостью за совершенное мною полезное дело, как эта борьба с майскими жуками.

Мой старший брат Миша играть не любил. Он больше интересовался лошадьми и все свободное время проводил в конюшне с кучером Тарасычем. Играл я обычно с сестрою Юлею, моложе меня на полтора года. Вот как мы с нею играли.

У папы была большая электрическая машина для лечения больных: огромный ясеневый комод, на верхней его крышке, под стеклом, блестящие медные ручки, шишечки, стрелки, циферблаты, молоточки; внутри же комода, на полках,— ряды стеклянных сосудов необыкновенного вида; они были соединены между собою спиральными проволоками, обросли как будто белым инеем, а внутри темнели синью медного купороса. Мы знали, что эти банки «накачивают электричество».

Содержанием наших с Юлею игр были разнообразные приключения индейского характера (я тогда жадно поглощал романы Майн-Рида, Густава Эмара и Купера), но началом приключений, исходною их точкою, всегда являлось одно и то же. Мы с Юлею,— брат и сестра,— рабы, заключены в мрачном подземелье и работаем на какого-то «доктора». В конце нашего сада была большая площадка, а на ней — «гимнастика»: два высоких столба с поперечною балкою; в середине — вертикальная лестница наверх, по бокам — висячие шесты для лазания, узловатая веревка, трапеция. Мы с Юлею, изможденные непосильным трудом, обливаясь пòтом, медленно двигаем висящие на крюках шесты и этим «накачиваем электричество» наверх, доктору. От времени до времени, по вызову доктора, я взлезаю к нему по лестнице наверх; он ругает меня, бьет бичом по голым плечам и прогоняет назад в подземелье. Терпеть такую жизнь было свыше сил человеческих. Мы подпиливали зазубренною шпилькою решетку на окне или вырывали ногтями подземный ход длиною сажени в две и убегали из подземелья. И тогда начинались разнообразнейшие приключения. Я намечал общий план, а потом уж каждый из нас импровизировал, что хотел.

Однажды, после многих приключений в разных концах сада, мы с сестрой Арабеллой попали в плен к индейцам

(я был Артур, Юля — Арабелла). Индейцы связали нас, созвали военный совет и решили завтра утром нас казнить, а сами устроили пир и с радости перепились. Дело происходило в большой беседке, в конце сада: это был настоящий дощатый домик, выкрашенный в зеленую краску, с железною крышею, с тремя окнами и дверью. Когда индейцы заснули, я решил освободиться. Перегрызть зубами веревку, прикреплявшую меня к кольцу, подкатиться к костру и на его углях пережечь ремни, стягивавшие мне локти, было для меня делом одной минуты. Я вскочил на ноги и освободил сестру. Выбрал себе пару самых лучших карабинов, засунул за пояс нож и, сдвинув тонкие брови, взял в руки томагавк. Сестра побледнела, как полотно.

— Брат! Что хочешь ты делать? — спросила она трепещущим голосом.

— Убить их всех! — твердо отвечал я.

— Брат, не убивай! — кротко молила Арабелла.— Помни, мы — христиане! Иисус Христос сказал: «Любите врагов ваших!»

Я сардонически улыбнулся.

— Сестра! Ты не понимаешь, чего ты просишь: они проснутся и догонят нас.

— Они пьяны, спят крепко, и когда проснутся, мы будем уже далеко.

Я, Витя, в душе весело засмеялся: мне представилась великолепнейшая комбинация, которую я разовью из создавшегося положения. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я, Артур, зловещим голосом проговорил:

— Сестра, будь по-твоему. Но, если что случится, да падет моя кровь на твою голову!

Мы осторожно вылезли в окошко и с быстротой змеи, устремляющейся на добычу, пустились бежать в девственный лес.

Бежали всю ночь и весь день. К вечеру сделали привал на ступеньках папиного балкона. Стали жарить на костре убитую мною серну. Вдруг я насторожился, как антилопа, почуявшая запах льва.

— Сестра! Ты слышишь конский топот?

— Нет.

Я припал ухом к земле, потом поднялся, приложил палец к губам и, как ящерица, бесшумно скользнул в кусты. Раздвинул ветки жасмина — и остановился, как вкопанный. Взгляд мой окаменел от ужаса: по равнине, вдо-

гонку за нами, мчалось тридцать тысяч краснокожих всадников.

Я подбежал к сестре и, задыхаясь, крикнул:

— Скорей! Погоня! Бежим!

Мы бегом обогнули выступ дома, черную бочку с дождевой водой, вдоль стены конюшни побежали к большой липе. Вдруг враги заметили нас и устремились вдогонку.

Залегши в непроходимых бамбуковых зарослях, около грядки с луком, я на выбор бил из своих штуцеров по краснокожим, а сестра заряжала и подавала мне. Тысячи три трупов уже устилали равнину. Враги направляли в нас тучи стрел и, испуская кровожадные крики, делали вид, что собираются броситься на нас. Но этим они прикрывали адский замысел, которого я — увы! — не разгадал. Пятьсот отборных воинов с гибкостью пантеры пробрались к нам в тыл, к скамейке под большой липой, и с диким воем бросились на нас сзади. И со всех сторон устремились враги. Я бился прикладом, индейцы грудами валились с размозженными головами. Но, наконец, побежденный численностью, весь израненный, я упал. Как стая коршунов, дикари устремились на меня, связали и отвели с сестрою в ту же беседку, из которой мы сутки назад убежали.

И вот — начали меня истязать. Все изощреннейшие пытки, какие только описаны у Майн-Рида и Густава Эмара, были применены ко мне: мне вырезывали из кожи ремни, жгли подошвы углями, выковыривали гвоздями глаза. Я глухо стонал и говорил:

— Так вот, сестра, что такое твой христианский бог! Он приказывает щадить врагов для того, чтоб они потом могли предавать таким адским мучениям твоих братьев?.. Спасибо тебе, сестра!.. Оо-о!.. Если бы я тебя тогда не послушался, мы были бы теперь свободны, были бы на родине... Ооооооо!..

И сестра,— уже не фантастическая сестра Арабелла, а настоящая сестра Юля,— заливалась самыми настоящими слезами, и это мне еще больше поддавало жару.

Индейцы взрезали мне живот и стали наматывать мои кишки на колесо, усеянное остриями. При такой пытке человек испытывает ужаснейшие страдания, а между тем непрерывно хохочет душу раздирающим хохотом, потому что в человеке есть такая смеятельная кишка, и если за нее тянуть, то человек смеется, хочет — не хочет.

И я, корчась, хохотал ужасным смехом, а в промежутках между смехом стонал и говорил:

— Теперь, сестра, я хорошо запомню, что такое твой христианский бог... Хха-хха-хха!.. Проклятие тебе! Да падет моя кровь на твою голову! Хха-хха-хха-хха-хха-хха-хха!!.

И я хохотал леденящим кровь смехом, а Юля истекала самыми подлинными слезами.

Некоторые свои знания я приобретал совершенно неизвестно откуда,— вернее всего, черпал из собственного воображения. Однако они почему-то очень прочно сидели в памяти, и я глубоко был убежден в их правильности. Так было, например, со смеятельною кишкою. Помню еще такой случай.

У сестренки Мани было расстройство желудка, после обеда ей не дали яблока. Она очень была недовольна. Надулась и ворчала:

— Ну, ведь все равно, уж есть понос. Какая же разница? Ну, съем яблоко,— понос был и останется, больше ничего.

Я важно стал ей объяснять:

— Как ты не понимаешь? Ты думаешь, он так на одном месте и остановится? Он будет идти все дальше и дальше,— в руки, в ноги, в голову. Порежешь руку, и из нее потечет понос; начнешь сморкаться,— в носовом платке понос.

Маня широко раскрыла глаза и замолчала. Это ее вполне убедило. Папа еще сидел за столом и дочитывал «Русские ведомости». Он вслушался в мои объяснения и изумленно опустил газету.

— Виця! Что ты за вздор такой городишь?

— Как? Нет, правда!

— Правда?

Папа в безнадежном отчаянии махнул рукою, молча встал и вышел.

Часто мы делали друг с другом так. Одной рукой за горло, другая заносит над грудью невидимый кинжал.

— Проси пощады!

— Прошу пощады!

— Нет!

И кинжал вонзался в грудь.

Вообще, вспоминая детство, удивляюсь: как мало все эти игральные свирепства грязнили душу, как совершенно не претворялись в жизнь.

Сербское восстание и русско-турецкую войну я помню ясно,— я тогда был в первом и втором классах гимназии. Телеграммы: «Русские войска переправились через Дунай», «перешли Балканы», «Плевна взята». Ур-ра-а-а!.. Восторг, кепки летят вверх. Молебен, и распускают по домам.

Какие мы молодцы! Весь мир на нас удивляется. Русские, как львы, идут вперед, ничего не может их остановить — ни реки, ни горы, ни снега! И все иностранные страны со страхом и завистью смотрят. «Кто разрешит восточный вопрос?» На бумажке четыре портрета — английской королевы Виктории, германского императора Вильгельма I, австрийского — Франца-Иосифа и турецкого султана Абдул-Гамида. Сложить бумажку по пунктирам,— и из лба Виктории, подбородка Абдул-Гамида, бакенбард Франца-Иосифа и затылка Вильгельма вдруг получается — портрет нашего царя Александра Второго... Замечательно! Сам, значит, бог заранее решил!

Немцы и австрийцы очень нам завидуют, всячески стараются мешать нам и помогать туркам. Только мы их не боимся.

Шли как-то немец с турком,
Зашли они в кабак.
Один тут сел на лавку,
Другой курил табак.
А немец по-немецки,
А турок по-турецки.
А немец-то: «а-ля-ля!»
А турок-то: «а-ла-ла!»
Но русский, всех сильнее,
Дал турку тумака,
А немец похитрее,—
Удрал из кабака.

Вот мы какие молодцы! Так мы войну и кончим,— придется немцу с конфузом удирать. Только вот горе,— я просто в отчаяние приходил: всех турок перебьют! Когда вырасту большой,— мне ничего не останется!

Герой.— Это был настоящий, самый несомненный герой с георгиевским крестом. Был на турецкой войне, брал Плевну. Он к нам поступил дворником. Григорий. Строгое, надменное лицо, презрительные глаза. Говорил с нами, мальцами, как будто большую нам честь делал. Любимое его присловье было:

— Дам четыре раза по шее,— жизнью пожертвую!

Когда его спрашивали:

— Верно?

Он с шиком отвечал:

— Нет, не верно, а *вереятно*, справедливо, окончательно и даже натурально!

Я жадно расспрашивал его про войну. Как вы ходили в штыковые атаки? Скакал перед вами Скобелев на белом коне? У меня был листок с отпечатанным портретом Скобелева, и под ним длинные стихи,— начинались так:

> Кто скачет, кто мчится на белом коне
> Навстречу свистящих гранат?
> Стоит невредимым кто в адском огне
> Без брони, без шлема, без лат?
> Кто в кителе белом, с крестом на груди,
> Мишенью врагам нашим служит?..

И еще я спрашивал: было у вас, что нашего солдата отрезали турки от своих, а он проложил себе назад дорогу прикладом сквозь три батальона турок? Сколько турок ты посадил на штык?

А Григорий вместо этого рассказывал такие вещи:

— Пришли мы в место одно, называется Казанлык. Там масло делают розовое,— до чего же духовитое! Цены ему нету. Сто рублей капля одна! Чтобы каплю одну такую добыть, нужно, может, целую десятину роз изничтожить. Вот пришел нам приказ уходить... Что с этим маслом делать? Брали помазком да сапоги себе мазали.

Я ахнул:

— Сапоги?!

— Что же с ним делать? Не им же оставлять!

— Отчего же не оставить? Ведь они невооруженные, наверно, были.

— Нешто можно!

Я не мог понять, почему было нельзя. Настоящий герой, мне казалось, не стал бы этого делать.

Или еще:

— Девки турецкие и бабы ходят закрымши лицо,—

вроде как бы занавеска висит с головы, только глаза в щелку глядят, да нос оттопыривается. Ну, конечно, подойдешь, подымешь занавеску у ней, поглядишь. И, конечно, вообче...

— Что вообще?

— Вообче, значит... Ну, как сказать? Понятное дело. Как говорится,— натурально!

Мне было непонятно, но чуялась под этим какая-то большая гадость. И я задумывался иногда: да правда ли он герой?

Случился пожар на Верхне-Дворянской, наискосок от нас, в мелочной лавке Окорокова. Лавка стояла отдельным домиком. Когда я прибежал, она вся пылала. Толпился народ. Толстый лавочник кубарем вертелся вокруг пылающей лавки и только повторял рыдающим голосом, хватаясь за голову:

— Укладочку, укладочку мне вытащить, ах, ты, боже мой! В задней горнице стоит под кроватью!.. Господи, г-господи! Пустите же меня!..

Бабы выли и держали его за полы, чтоб он не бросился в огонь. Быстро вышел вперед наш Григорий. Глаза горели особенным лихим блеском.

— Где, говоришь, укладочка?

Через разметанный забор подошли к задней двери лавчонки, она была заперта изнутри. В окно лавочник стал показывать и объяснять, где стоит укладка. Густой сизый дым в комнате окрашивался из горящей лавки дрожащими огненными отсветами.

Вдруг Григорий вышиб кулаком оконце, закрыл глаза ладонью и, головой вперед, бросился через окно в комнату. Все замерли. В дыму ничего не было видно, только шипело и трещало пламя. Из дыма вылетел наружу оранжевый сундучок, обитый жестью, а вслед за ним показалась задыхающаяся голова Григория с выпученными глазами; он высунулся из окна и кулем вывалился наружу. Сейчас же вскочил, отбежал и жадно стал дышать чистым воздухом.

Я был в бешеном восхищении от его подвига. Дома, когда он воротился, все окружили его, любовно смотрели, восторгались. А он встряхивал волосами и хвастливо передавал подробности.

Лавочник дал ему десять рублей и вечером повел в трактир. А в десятом часу прибежала к нам наверх гор-

ничная Параша и испуганно сообщила, что Григорий пришел пьяный-распьяный, старик-кучер Тарасыч спрятался от него на сеновал, а он бьет кухарку Татьяну. Помню окровавленное, рыдающее лицо Татьяны и свирепо выпученные глаза Григория, его страшные ругательства, двух городовых, крутящих ему назад руки.

Григория рассчитали. Жизнь в настоящем виде прошла передо мною. И в первый раз мне пришла в голову мысль, которая потом часто передо мною вставала. «Герой», храбрец... Такая ли уже это первосортная добродетель? И так ли уж она сама по себе возвышает человека?

Двенадцать часов. Далеко, на оружейном заводе, протяжный, могучий, на весь город гудок, сейчас же вслед за ним звонок у нас по коридорам. Большая перемена. Несемся по узорным ступеням чугунных лестниц вниз, на просторный гимназический двор. Наскоро прожуешь завтрак — и на сшибалку. Это длинное отесанное бревно, укрепленное горизонтально на двух столбах, на высоте с аршин над землею. Две партии. Передние в каждой партии стоят посреди бревна, раздвинув ноги как можно шире. За их спиною густо теснятся один за другим остальные. Нужно сшибить противника с бревна; когда он слетит, стараешься продвинуться ногой вперед сколько успеешь,— тот, кто стоял за слетевшим, тоже спешит захватить побольше места. Строго запрещается давать подножки и на лету хвататься за противника, чтобы его стащить с собою. Побеждает та партия, которая до конца займет вражескую половину бревна.

В борьбе много самых разнообразных приемов, более слабый легко может сшибить более сильного. Можно даже сшибить самым легким прикосновением руки: сильно размахнешься правой рукой,— противник машинально подается телом навстречу удару, но удара ты не наносишь, а левой рукой с противоположной стороны чуть его толкнешь — и он слетает.

Ужасно интересно. Вот против нас — силач Тимофеев, первый боец сшибалки. Молчаливый, с нависшим на глаза лбом и тупым лицом. Бараньими глазами он смотрит прямо вперед, и от каждого его удара наотмашь слетает противник, и он продвигается все вперед. Я, волнуясь, жду своей очереди,— у меня есть против Тимофеева свой

прием. Вот слетел стоявший передо мною, я спешу раскорячиться и занять побольше места. На меня надвигается Тимофеев, размахнулся чугунною ладонью, я моментально пригибаюсь к самому столбу, удар проносится по воздуху, Тимофеев теряет равновесие и слетает наземь, а я, под «ура» товарищей, продвигаюсь вперед. Дальше идет мелкота, мы снова отвоевываем забранное Тимофеевым пространство. Вот опять надвинулась сзади очередь Тимофеева. Он не разнообразен на приемы. Прямо глядя тупыми глазами, он еще сильнее бьет меня наотмашь,— я откидываюсь назад, и он опять слетает. Один я, ни разу не слетев, под «ура» товарищей, завоевываю всю сшибалку до самого конца. Потом, дома, с упоением всем рассказываю про свою победу. И странно и обидно,— никто хорошенько не чувствует, как это важно и великолепно. Ведь против меня сам Тимофеев был, и я его два раза сшиб!

Хорошая игра. И полезная. Бывали, конечно, несчастные случаи: мальчик падал на бревно спиной или низом живота, расшибался. Но это бывало от подножек или вообще от неправильной игры. Зато игра эта вырабатывала большую устойчивость и крепость в ногах, уменье удержаться на них в самых трудных положениях. Не раз впоследствии—при гололедице или просто, когда оступишься,— удавалось не упасть при таких положениях, где иначе обязательно расшиб бы себе затылок или сломал ногу. И каждый раз добром помянешь сшибалку и скажешь: это только благодаря ей!

Мы очень ею увлекались. Занята сшибалка большими, нас не пускают,— сшибаемся просто на земле, воображая себе полосу бревна. Идем из гимназии по улице, увидим, лежит бревно,— сейчас же сшибаться, пока не сгонит дворник. Совсем как теперь с футболом.

В детстве фантазия у меня была самая необузданная. Действительность давала толчок,— и в направлении этого толчка фантазия начинала работать так, что я уже не отличал, где правда и где выдумка; мучился выдумкою, радовался, негодовал, как будто это все уже случилось взаправду. Раз шел из гимназии и вдруг представил себе: что, если бы силач нашего класса, Тимофеев, вдруг ущемил бы мне нос меж пальцев и так стал бы водить по клас-

су, на потеху товарищам? И всю дорогу домой я страдал, как будто это правда случилось, и искал, и не находил путей, как бы отомстить обидчику.

Ко всякому действию, ко всякой работе спешила прицепиться фантазия и пыталась превратить их в завлекательную игру. Например, есть ложкою клюквенный кисель. Это была история тяжелой и героической борьбы кучки русских с огромной армией турок. Русские (ложка) врезываются в самую гущу турок, пробиваются до другого конца,— но сейчас же за их спиною враги смыкаются. Русские повернули опять в самую гущу. Долго тянется бой. Все жиже становится красная гуща врагов, все ленивее смыкается за кучкой героев. Наконец силы ее истощились. Русские проносятся из конца в конец,— за ними остаются широкие белые полосы, и они уже не смыкаются. И уже русские шарят по всей долине, и захватывают, и беспощадно уничтожают жалкие остатки турок...

— Ура! Победа!

Взрослые удивленно смотрят,— передо мною только пустая тарелка из-под клюквенного киселя.

— Чего это ты, Витя?

— Всех турок победил! С маленькою горстью русских!

И я с торжеством показываю свою ложку.

— А, чтоб тебя бог любил!

Это любимая мамина поговорка. Мама смеется и машет рукою: она привыкла к моим фантазиям.

Или вот. Учить наизусть латинские исключения. Это была интереснейшая игра.

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis,
Fustis, vectis, vermis, mensis,
Postis, follis, cucumis,
Cassis, callis, collis,
Sentis, caulis, pollis.

— Воины! За мной!

Страшная, неприступная крепость. Враги валят на нас со стен камни, льют кипяток, расплавленную смолу, мечут копья, осыпают стрелами. Мы, закрывшись щита-

ми, ползем по обрывистым скалам, приставляем к отвесным стенам лестницы...

Panis, piscis, crinis, finis...

Молодцы! Уже взлезли на стену!

Ignis...

А дальше как? Дальше, дальше как?

cinis,
canalis,
annalis ..

Валятся, валятся! Сколько перебито! И никто дальше не подходит на помощь. А тех, кто уж наверху, враги теснят, напирают на них, сбрасывают щитами в пропасть. Полный разгром! Жалкие остатки отрядов сбираются ко мне...

— Вар, Вар! Отдай мне назад мои легионы!

Формирую новую армию, стараюсь ее вооружить покрепче: ignis, l a p i s — l a p i s — l a p i s, p u l v i s — p u l v i s, cinis!

— Воины! Вперед! Отомстим за наш позор!

Первые ряды дружно одолевают все препятствия, вот они уже на зубцах стен. Бегут ряд за рядом....

Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis...

Вдруг заколебались подходящие ряды. Сверху призывные крики:

— Скорее! На помощь!

Как? Как там?.. Fascis... Fascis... А дальше? А дальше как? Господи!

Поддержки нет. Бешено бьются на стене герои, окруженные полчищами врагов. Но иссякают силы. И вот мы видим: вниз головами воины летят в пропасть, катятся со стонами по острым выступам, разбитые доспехи покрыты кровью и пылью... О позор, позор!

Я лихорадочно шагаю по большой аллее, готовлю легионы к новому приступу. Вот особенно эта когорта ненадежна. Fascis, axis — axis — axis... Funis, ensis... Funis, ensis...

И опять в бой. Правы оказались мои опасения. Не вы-

держала ненадежная когорта: на ней враги разрезали нашу армию пополам и отбросили от крепости.

И опять и опять обучение войска. И наконец — торжество! Нигде не поколебались, ни одного шага никто не сделал назад. Ура! Ура! — несется по всему саду. Крепость взята.

— Ур-ра-а-а-а-а-а-а!!!

— Витя, что ты кричишь! Папа спит!

Потише:

— Ура-а-а-а!

Не надо терять времени. Побольше забрать крепостей, пока враги еще не пришли в себя. Подходим к следующей:

Panis, piscis, crinis, finis...
Ignis, lapis, pulvis, cinis...

Стройными рядами, блестя шлемами и щитами, устремляются на крепость мои грозные когорты. Нигде никакого замешательства. Крепость взята одним ударом! До вечернего чая мною завоевано десять крепостей,— и выучен трудный, огромный урок, беспощадно заданный учителем латинского языка, грозным Осипом Антоновичем Петрученко.

Завтра утром иду в гимназию. Опять веду своих ветеранов на приступ вражеской крепости. И вдруг — о ужас! — опять подвела та же самая когорта! Опять осаждающую нашу армию разрезали пополам и отбросили! Glis, annalis... А дальше как? Пустое место!

Сажусь на уличную тумбу, снимаю ранец, вынимаю толстенького Кюнера. Ах, да: Fascis, axis, funis, ensis!

— Fascis, axis, funis, funis...

Завоевывается еще десяток крепостей, и в гимназию прихожу триумфатором, предводителем закаленных в бою, непобедимых легионов.

Товарищи с унылым отвращением сидят над Кюнером и тупо твердят:

Panis, piscis, crinis, finis...

Входит Петрученко.

— Преферансов!

— Тимофеевский!

— Кепанов!

Двойки, единицы так и сыплются. Петрученко возмущенно крутит головою.

— Ну-ка... Смидович!

И мои испытанные когорты весело, легким шагом, без единой запинки устремляются в бой:

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis...

Петрученко с наслаждением слушает, как самые благозвучные пушкинские стихи, кивает в такт головою и крупно ставит в журнале против моей фамилии — 5.

А вот с арифметикой и вообще с математикой было очень скверно. Фантазии там приложить было не к чему, и ужасно было трудно разобраться в разных торговых операциях с пудами хлеба, фунтами селедок и золотниками соли, особенно, когда сюда еще подбавляли несколько килограммов мяса. Иногда сидел до поздней ночи, опять и опять приходил к папе с неправильными решениями и уходил от него, размазывая по щекам слезы и лиловые чернила.

Это была работа трудная и долгая: клался в рот кусок черной резины, и эту резину нужно было жевать — целый месяц! Все время жевали, только во время еды и на ночь вынимали изо рта. Через месяц из жесткого куска резины получалась тягучая черная масса. Называлось: съемка. Ею очень удобно было стирать карандаш на уроках рисования и черчения. Но не для этого, конечно, брали мы на себя столь великий труд: стирать можно было и простой резинкой. Главное удовольствие было вот какое: из черного шарика можно было сделать блин величиною с пятак, загнуть и слепить края, так что получался как бы пирожок, наполненный воздухом. Тогда пирожок сжимался между пальцев, он лопался, и получалось:

— Пук!

Для этого удовольствия мы и трудились целый месяц. И у кого не было съемки, кто был ленив на работу, тот униженно просил дать ему на минуту съемочку, делал два-три раза «пук!» и с завистью возвращал владельцу. Если бы такую вещь можно было за две копейки купить в магазине,— думаю, никто бы ею не интересовался.

Иногда бывало: Геня, Миша, я и Юля сойдемся с таинственными лицами в укромном углу сада в такое время, когда никого из больших в саду нет.

— Никого не видно?

— Никого.

Геня говорил:

— Идем!

Он был старший среди нас. Мы шли, воровато оглядываясь. Шли на общий, коллективный грех, заранее ясно говоря себе, что идем на грех.

В саду у нас много было яблонь,— и грушовки, и коричневые, и боровинки, и антоновки. Каждую мы, конечно, хорошо обглядели, знали наперечет чуть не каждое яблоко и часто с вожделением заглядывались на них. Но яблочный спас был еще впереди; значит, во всех отношениях есть яблоки было вредно: для души,— потому что они были еще не освященные, для желудка,— потому что они были еще зеленые. Но теперь мы сознательно шли на грех. Сбивали длинными палками самые аппетитные и румяные яблоки и ели. Под алой кожицей мясо было белое, терпко-кислое, деревянистое. Но сладко было есть, потому что — нельзя, а теперь вдруг стало можно! И мы переходили от дерева к дереву и действиями своими радовали дьявола.

Наедались. Потом, с оскоминой на зубах, с бурчащими животами, шли к маме каяться. Геня протестовал, возмущался, говорил, что не надо, никто не узнает. Никто? А бог?.. Мы только потому и шли на грех, что знали,— его можно будет загладить раскаянием. «Раскаяние — половина исправления». Это всегда говорили и папа и мама. И мы виновато каялись, и мама грустно говорила, что это очень нехорошо, а мы сокрушенно вздыхали, морщились и глотали касторку. Геня же, чтоб оправдать хоть себя, сконфуженно говорил:

— А я яблок не ел: надкушу, а когда вижу, никто не смотрит,— выплюну, а яблоко заброшу в кусты.

Но от касторки это его не спасало.

Нам говорили, что все люди равны, что сословные различия глупы,— смешно гордиться тем, что наши предки Рим спасли. Однако мы знали, что наш род — старинный дворянский род, записанный в шестую часть родословной

книги. А шестая часть — это самая важная и почетная; быть в ней записанным — даже почетнее, чем быть графом.

— Ну! Графом все-таки быть приятнее. Граф Смидович! А так никто даже не знает.

— Приятнее — да. А почетности такой уж нет.

И герб свой мы знали: крестик с расширенными концами, а под ним охотничий рог. Сначала был просто крестик, но один наш предок спас на охоте жизнь какому-то польскому королю и за это получил в свой герб охотничий рог. Старший брат папин, дядя Карл, говорил нам:

— Наши предки не были королями, но они были поважнее: они сами выбирали королей.

В младших классах гимназии я был очень маленького роста, да и просто очень молод был для своего класса: во втором классе был десяти лет.

Вот раз иду из гимназии. Ранец за плечами тяжело нагружён книгами, шинель до пят, сам с ноготок. На Барановой улице навстречу мне высокий господин с седыми прокопченными усами, в медвежьей шубе. Он изумленно оглядел меня.

— Такой маленький — и уж в гимназии! Вот потеха! В каком вы классе, молодой человек?

— Во втором.— Я скромно потупился и прибавил: — И первый ученик.

Господин уж совсем изумился:

— Да что вы говорите?! Не может быть!.. Как ваша фамилия?

— Смидович.

— Не сынок ли доктора Викентия Игнатьевича?

— Да.

— Да что вы? Очень, очень приятно видеть таких детей...— Своею теплою большою рукою он пожал мне руку.— Передайте мой поклон Викентию Игнатьевичу!

Я шел дальше. Очень было гордо на душе и приятно. И неожиданно в голову вскочила мысль:

«Вдруг бы он сказал: «Очень, очень приятно видеть таких детей! Вот вам за это — рубль!» Или нет, не рубль, а — «десять рублей»!

Десять рублей. Я стал соображать, что бы я купил на эти деньги. Коробочка оловянных солдатиков стоит сорок копеек. Куплю на шесть рублей,— значит... пятнадцать ко-

робочек! Русская пехота, русская кавалерия, немецкие гусары в красных мундирах и голубых ментиках, потом — турки в синих мундирах стреляют, а сербы в светло-серых куртках бегут в штыки. Таких сразу пять коробок, чтобы много было турок. Три коробки артиллерии. Артиллерия — шестьдесят копеек коробка. Всего семь восемьдесят. Остается два двадцать. На это — шоколаду. Палочка шоколаду — пятачок. Всего сколько? Со... *Сорок четыре палочки!* Сорок четыре! Из шоколаду — ложементы; нет — столько шоколаду — можно целую крепость. Из-за брустверов стреляют турки, торчат дула пушек. На турок в штыки бегут сербы, за ними русская пехота и всякая кавалерия.

Потом стал думать о другом. Подошел к дому, вошел в железную, выкрашенную в белое будку нашего крыльца, позвонил. Почему это такая радость в душе? Что такое случилось? Как будто именины... И разочарованно вспомнил: никаких денег нет, старик мне ничего не дал, не будет ни оловянных армий, ни шоколадных окопов...

Было мне тогда десять лет, был я во втором классе гимназии, и тогда вот я в первый раз — полюбил. Но об этом нужно рассказать поподробнее.

Первая моя любовь

Перед этим целый год у нас в Туле жил нахлебником Володя Плещеев, сын богатой крапивенской помещицы, папиной пациентки. Он учился в первом классе реального училища, я — в первом классе гимназии.

Володя этот был рыхловатый мальчик, необычно большого роста, с неровными пятнами румянца на белом лице. Мы все — брат Миша, Володя и я — помещались в одной комнате. Нас с Мишею удивляло и смешило, что мыло у Володи было душистое, особенные были ножнички для ногтей; волосы он помадил, долго всегда хорошился перед зеркалом.

В первый же день знакомства он важно объяснил нам, что Плещеевы — очень старинный дворянский род, что есть такие дворянские фамилии — Арсеньевы, Бибиковы, Воейковы, Столыпины, Плещеевы,— которые гораздо выше графов и даже некоторых князей. Ну, тут мы его срезали. Мы ему объяснили, что мы и сами выше графов, что мы записаны в шестую часть родословной книги. На это он ничего не мог сказать.

После экзаменов, в начале июня, Володя поехал к себе в деревню Богучарово; мы поехали вместе с ним: его мать, Варвара Владимировна, пригласила нас погостить недельки на две.

Станция Лазарево. Блестящая пролетка с парой на отлете, кучер в синей рубашке и бархатной безрукавке, в круглой шапочке с павлиньими перьями. Мягкое покачивание, блеск солнечного утра, запах конского пота и дегтя,

в теплом ветре — аромат желтой сурепицы с темных зеленей овсов. Волнение и ожидание в душе.

Зала с блестящим паркетом. Накрытый чайный стол. Володя исчез. Мы с Мишей робко стояли у окна.

Одна из дверей открылась, вошла приземистая девочка с некрасивым широким лицом, в розовом платье с белым передничком. Она остановилась посреди залы, со смущенным любопытством оглядела нас. Мы расшаркались. Она присела и вышла.

За дверью слышалось быстрое перешептывание, подавленный смех. Дверь несколько раз начинала открываться и опять закрывалась. Наконец открылась. Вышла другая девочка, тоже в розовом платье и белом фартучке. Была она немножко выше первой, стройная; красивый овал лица, румяные щечки, густые каштановые волосы до плеч, придерживаемые гребешком. Девочка остановилась, медленно оглядела нас гордыми синими глазами. Мы опять расшаркались. Она усмехнулась, не ответила на поклон и вышла.

Я в восхищении прошептал Мише:

— Вот красавица!

Миша согласился.

Подали самовар. Пришла Володина мать, Варвара Владимировна, пришли все. Володя представил нас сестрам: старшую, широколицую, звали Оля, младшую, красавицу,— Маша. Когда Маша пожимала мне руку, она опять усмехнулась. Я в недоумении подумал:

«Чего она все смеется?»

Пришли с охоты старшие мальчики — восьмиклассник Леля, брат Володи, и семиклассник Митя Ульянинский, племянник хозяйки. Митю я уже знал в Туле. У него была очень узкая голова и узкое лицо, глаза умные, губы насмешливые. Мне при нем всегда бывало неловко.

Мы с Мишей сидели в конце стола, и как раз против нас — Оля и Маша. Я все время в великом восхищении глазел на Машу. Она искоса поглядывала на меня и отворачивалась. Когда же я отвечал Варваре Владимировне на вопросы о здоровьи папы и мамы, о переходе моем в следующий класс,— и потом вдруг взглядывал на Машу, я замечал, что она внимательно смотрит на меня. Мы встречались глазами. Она усмехалась и медленно отводила глаза. И я в смущении думал: чего это она все смеется?

После чая я отвел Мишу в сторону и взволнованно сообщил, что мне нужно ему сказать большой секрет: когда я вырасту большой, я обязательно женюсь на Маше.

Миша под секретом рассказал это Володе, Володя без всякого секрета — старшим братьям, а те с хохотом побежали к Варваре Владимировне и девочкам и сообщили о моих видах на Машу. И вдруг — о радость! — оказалось: после чая Маша сказала сестре Оле, что, когда будет большая, непременно выйдет замуж за меня.

Красный и растерянный, я слушал, как все хохотали. Особенно потешался Митя Ульянинский. Решили сейчас же нас обвенчать. Поставили на террасе маленький столик, как будто аналой. Меня притащили насильно. Я отбивался, выворачивался, но меня поставили,— потного, задыхающегося и взъерошенного,— рядом с Машей. Маша, спокойно улыбаясь, протянула мне руку. Ее как будто совсем не оскорбляло, а только забавляло то шутовство, которое над нами проделывали, и в глазах ее мелькнула тихая, ободряющая ласка.

Митя надел, как ризу, пестрое одеяло и повел нас вокруг аналоя, Миша и Володя шли сзади, держа над нами венцы из березовых веток. Остальные пели «Исаие, ликуй!» Дальше никто слов не знал, и все время пели только эти два слова. Потом Митя велел нам поцеловаться. Я растерялся и испуганно взглянул на Машу. Она, спокойно улыбаясь, обняла меня за шею и поцеловала в губы.

Потом хотели устроить свадебный пир, принесли конфет и варенья. Но я убежал и до самого обеда скрывался в густой чаще сада. Было мне горько, позорно. Как будто грязью обрызгали что-то нежное и светлое, что только-только стало распускаться в душе.

Жизнь шла — во многом очень отличная от той, какая была у нас дома. Комнаты, полы, мебель были блестящее, столовое белье чище, чем у нас. Дети говорили матери «мамаша» и «вы», целовали у нее руку. Мне это казалось унизительным, у нас было лучше: мы целовали родителей в губы, говорили «ты», «папа», «мама». За едою прислуживал лакей в белых нитяных перчатках, он каждому подносил блюдо. Это очень стесняло. Если блюдо на столе,— взял и подложил себе еще. А тут,— почему-то,— никогда

меня лакей не слышал, когда я подзывал его. А раз подозвал вторично,— он неохотно поднес блюдо и сказал сиплым шепотом, скривив губы:

— Берите, барин, поменьше, а то мне ничего не останется.

Я сконфузился и взял две картофелины.

Жизнь была гораздо более веселая и легкая, чем у нас. Нам дома строго говорили: «Сделай сам, зачем ты зовешь горничную?» Здесь говорили: «Зачем ты это делаешь сам? Позови горничную».

Жил у них в доме отдаленный их родственник, Николай Александрович, слепорожденный,— худощавый молодой человек в черных очках. Он обыкновенно сидел в диванной комнате, там у него было свое особое кресло. Когда думал, что его никто не видит, он все время играл лицом, хитро подмигивал себе, улыбался, кивал головою. Часто кто-нибудь, подкравшись, водил травинкою по шее Николая Александровича или крал у него носовой платок, и он растерянно шарил у себя по всем карманам. И опять-таки у меня было некоторое радостное недоумение, что зачинщиками таких шуток были старшие мальчики, гимназисты старших классов, почти студенты,— что видела это и сама Варвара Владимировна и только улыбалась. Значит, все это здесь не считается скверным. Какие-то развязывались путы, какие-то запреты падали, и я с упоением делал то, что дома мне бы и в голову не пришло.

Раз я подкрался к слепцу и стал ему щекотать травинкою лоб; он мотнул головою; я отдернул травинку, потом провел ею по его носу. Вдруг Николай Александрович быстро вытянул руки и схватил меня. Он так сжал мои кисти, что я закричал:

— Ай, больно!

А он, со своею хитрою улыбкою про себя, все крепче сжимал мои руки, пока я не заплакал отчаянно. Тогда он выпустил меня и, мигая и хитро улыбаясь, слушал мой утихающий плач.

После этого я перестал его дразнить. Испугался его? Нет. Стало стыдно за то, что я проделывал. А не попался бы — не было бы и стыдно. Пойми, кто может.

К Маше я пылал непрерывным восхищением. Дикая застенчивость мешала мне легко разговаривать с нею. Сло-

ва были напряженные и неестественные. Но хотелось все смотреть, смотреть на нее, не отрывая глаз. Чтобы не было неловко, я придумал так. За столом сидел я как раз против Маши. И вот я стал передразнивать все ее движения. Она положит руку на стол — и я, она почешет нос — и я. Миша, Володя, Оля заметили это, стали посмеиваться, заметила и сама Маша. И весь обед я передразнивал ее и мог, значит, не отрываясь, смотреть на нее.

Раз за столом Маша сказала на ухо сестре:

— Меня очень удивило, что Витя...

Миша не расслышал дальше и повторил громко:

— ...что Витя не умеет держать — голову?

— Нет, не голову.

— А что?

Маша поколебалась.

— Вилку и ножик не умеет держать.

Я очень сконфузился. Стал приглядываться. Верно! Все держат вилку и ножик концами пальцев, легко и красиво, и только мы с Мишею держим их в кулаках, как будто собираемся резать крепкую подошву.

После обеда, когда я остался с Володею наедине, я попросил его научить меня, как нужно держать ножик и вилку. Он показал и пренебрежительно прибавил:

— Вы вообще, как мещанские дети,— совсем невоспитанные.

Я разозлился:

— Вот и врешь!

— Нет, не вру. У вас, например, всё едят с ножа. И потом — вы режете ножом и котлеты и рыбу.

Я опешил.

— А как же их резать?

— Никак. Одной вилкой нужно есть.

— Вот ерунда какая!

Володя поучающе сказал:

— Нет, не ерунда. Аристократически воспитанного человека сразу можно узнать по тому, что он никогда не ест с ножа и рыбу ест одной вилкой. Просто по тому даже можно узнать, как человек поклонится, как шаркнет ногой. А вы и этого не умеете.

— Очень нужно! А зато у меня по всем предметам пятерки, только по арифметике четверка, а у тебя одни тройки. Только по французскому пятерка. Подумаешь! Необязательный предмет!

Но в душе меня это мало утешало. Не просто, не слу-

чайно я не умел держать ножик и вилку. Значит, я вообще не умею ничего делать, как они. Это я уже и раньше смутно чувствовал,— что мы тут не свои. Но как же тогда Маша может меня любить? «Невоспитанные»... Нужно будет приглядываться повнимательнее, как люди живут по-аристократически.

За рощею был вал и канава. И на склоне этой канавы, за густым черемуховым кустом, я набрел на целый ковер спелой земляники. Сухая потрескавшаяся земля, мелкие желтеющие листья земляники и яркие крупные ягоды. В роще звонко перекатывалось «ау!». Вижу из-за куста,— по валу идет Маша. Я позвал ее шепотом:

— Идите скорей сюда! Тут много, много ягод!

Она огляделась и бесшумно подбежала к канаве. Руку я не догадался ей протянуть и сказал только:

— Прыгайте сюда!

Мы стали есть. Я шептал:

— Правда, как много? Только потише будем, чтоб никто не увидал.

За валом, в кустах орешника, прошел Володя, крича «ау!». Мы притаились в низу канавы, переглядывались, как сообщники, и молчали. Близко-близко от меня были каштановые кудри и алый овал щеки.

Володя ушел, мы опять стали рвать ягоды. Я покраснел, сердце мое затрепыхало, и я вдруг сказал:

— Маша! Я вам давно хотел сказать, да все позабывал. Вот уж сколько лет я живу — целых десять лет. И во всю свою жизнь я никогда не видал такой красавицы, как вы.

Маша чуть-чуть покраснела и улыбнулась:

— Витя, я вам скажу всю правду: сразу, как только я вас увидела, вы мне так понравились! Никто никогда мне так не нравился.

Я неестественно засмеялся, зашвырнул самодельную свою палку в черемуховый куст и сказал озабоченно:

— А кажется, все уж пошли домой. Не опоздать бы нам к обеду.

На тропинке мы столкнулись с Олей. Она внимательно поглядела на нас и лукаво улыбнулась.

Вечером, после ужина, мы стояли в зале у открытого окна — Маша, Оля и я. Над черными липами сиял пол-

ный месяц. Что-то вдруг случилось с утра,— стало легко, просто, вдруг все, что мы говорили, стало особенным, значительным и поэтичным. Я прямо и просто смотрел в глаза Маше, голоса наши ласково и дружески разговаривали друг с другом помимо слов, которые произносили.

Маша важно рассказывала:

— Когда Каин убил Авеля, это было ночью. Никто в мире ничего не видал, видал только месяц. И на нем отпечаталось, как Каин убивает Авеля.

Я сказал:

— А я вижу: стоит охотник безголовый и из ружья выстрелил в медведя, медведь перед ним стал на дыбки.

— Где? Где?

— А вот, смотрите. Куда мой палец показывает, это охотник.

— Да ваш палец даже не на месяце.

— А вы ближе. Вот смотрите....

Машина щека близко была от моего лица, ее кудри щекотали мое ухо. Потом Оля смотрела. Мы шутили, смеялись. Я с откровенным восхищением прямо смотрел на Машу, не отрывая глаз от ее милого лица, освещенного месяцем. Оля лукаво улыбнулась и сказала:

— Знаете что? Давайте друг другу говорить «ты». «Вы» — так нехорошо! Кстати, вы муж и жена. А разве муж говорит жене «вы»?

Я в замешательстве молчал.

— Что ж, я готов. Только, может быть, Маша не хочет?

— Ах, Витя! Почему... *ты* так думаешь? Конечно, и я хочу.

Две недели скоро прошли. Мы с Мишею уехали. Но впереди была большая радость. Оля и Маша осенью поступали в гимназию, это — не мальчики, их Варвара Владимировна не считала возможным отдавать в чужую семью. И Плещеевы всею семьею переезжали на зиму в Тулу.

Дома у нас мне показалось и тесно, и грязно, и невкусно. Коробило, как фамильярно держится прислуга. И в то же время за многое, что,— мне вспоминалось,— я делал в Богучарове, мне теперь было смутно-стыдно.

Сейчас же, как приехал, я сообщил Юле, что я влюблен и влюблен в замечательную красавицу, какой даже нет у Майн-Рида. И не уставал рассказывать Юле про Машу. Впервые тогда познал я тоску любви. Раньше я целиком

жил в том, что вокруг. Теперь чего-то в окружающем не хватало, как будто из него вынули какую-то очень светлую его часть и унесли далеко. Было сладко и тоскливо.

В августе Плещеевы приехали в Тулу. В воскресенье мы были у них в гостях.

С Машею встреча была неловкая и церемонная. Я почтительно расшаркался, она холодно подала мне руку. Про «ты» забыли и говорили друг другу «вы». За лето волосы у Маши отросли, она стала их заплетать в толстую и короткую косу. Вид был непривычный, и мне больше нравилось, как было.

Володя увел нас с Мишею в свою комнату. Между прочим, он со смехом рассказал, что вчера зашел в комнату девочек и нашел на столе четвертушку бумаги; на ней рукою Маши было написано несколько раз: «Милый Витечка, скоро тебя увижу». Миша и Володя смеялись, я тоже притворялся, что мне смешно, в душе же была радость и гордость.

А за чаем Маша не смотрела на меня, оживленно разговаривала с другими, а меня как будто и не было. Я тоже стеснялся.

Пришли еще гости. После чаю были танцы. Мы дома учились танцам, умели танцевать и кадриль, и польку, и вальс. Однако в гостях танцевать нам еще ни разу не приходилось. Но все шло хорошо. Одно только меня удивило: первая же девочка, с которою я протанцевал польку, сказала мне: «Мерси!» Как будто я ей сделал какое одолжение. Как вежливый и воспитанный молодой человек, я ей, конечно, ответил: «Не стоит благодарности!» И все другие дамы, протанцевав со мною, благодарили меня, и я с снисходительным видом заверял их, что благодарить меня не за что. Наконец решился пригласить на вальс Машу. И она после вальса сказала: «Мерси», и ей в ответ я: «Не стоит благодарности». Маша удивленно оглядела меня и рассмеялась... Чего она?

Объявили кадриль. С замирающим сердцем я пригласил Машу. Разговаривали чуждо, в голосе Маши была задорная насмешка. И вдруг она меня спросила:

— Ну что, научил вас Володя держать вилку и ножик?

Я сконфузился, покраснел и глупо ответил:

— Научил. (Вот подлец! Рассказал ей!)

Она рассмеялась и спрятала лицо в носовой платок.

Встретившись с Юлей, я спросил, как ей понравилась Маша. Юля была от нее в восторге. Они уже сдружились.

— Правда, красавица?

— Да.

— Летом она была еще красивее: тогда волосы у ней были распущены, это к ней гораздо больше шло. В косу ей не так красиво.

— И как она тебя любит! Она прямо сказала, что любит тебя больше, чем всех своих братьев и сестер. Только вот что она тебе велела передать. Когда дама говорит кавалеру «мерси», он тоже должен ей говорить «мерси», а не «не стоит благодарности».

Я покраснел.

Через четверть часа Маша появилась в зале с распущенными волосами. Варвара Владимировна недовольно сказала:

— Зачем ты, Маша, волосы распустила?

— Очень, мамаша, жарко,— так прохладнее.

И она прошла мимо меня, обмахиваясь носовым платком, и громко повторила, чтоб я слышал:

— Какая несносная жара!

Перед ужином все мальчики были в комнате Володи. Володя сказал:

— Витя, давай Машу испугаем. Мы пошлем к ней сказать, что ты себе разбил голову.

— Ладно!

Коля, младший братишка Володи, побежал к девочкам, а я сел к окну, спиною к комнате, и обеими руками схватился за голову.

Толпою вбежали девочки. Я вскочил и захохотал. Маша стояла с блестящими глазами и удивленно смотрела. А я хохотал ей в лицо и восклицал:

— Ага! Что? Испугались!

Ужасно вышло глупо.

Дома я подробно расспросил Юлю, о чем она с Машей разговаривала, что ей говорила Маша про меня. Между прочим, когда девочки воротились к себе после мнимого со мною несчастия, Маша сказала Юле:

— На окне лежал мой серебряный наперсток. Когда я увидела, что Витя держится за голову, я поверила, что он, правда, расшибся. И я подумала: вот бы было хорошо, если бы его слезинка упала в мой наперсток! Как бы я тогда этот наперсток берегла!

Я был очень польщен.

С удивлением вспоминаю я этот год моей жизни. Он весь заполнен образом прелестной синеглазой девочки с каштановыми волосами. Образ этот постоянно стоял перед моими глазами, освещал душу непрерывною радостью. Но с подлинною, живою Машею я совсем раззнакомился. При встречах мы церемонно раскланивались, церемонно разговаривали, она то и дело задирала меня, смотрела с насмешкой.

Всю же восторженную влюбленность, нежность и восхищение мы изливали друг другу через Юлю. Мне Юля рассказывала, с какою любовью Маша говорит обо мне, как расспрашивает о всех мелочах моей жизни; Маше сообщала, как я ее люблю и какие подвиги совершаю в ее честь.

А подвиги я совершал замечательные.

Однажды взобрался я на крышу беседки, была она аршин с пять над землей. Брат Миша шутливо сказал:

— Ну-ка, если любишь Машу,— спрыгни с беседки.

Он мигнуть не успел, я уж летел вниз. Не удержался на ногах, упал, расшиб себе локоть. Миша в ужасе бросился ко мне, стал меня поднимать и сконфуженно повторял:

— Ах, ты, чудак! Я пошутил, а ты вправду!

— Вот ерунда! Ничего мне не больно! — И я засмеялся.

Когда Плещеевы пришли к нам, Юля показала Маше беседку и рассказала, как я спрыгнул с нее в честь Маши. С ликованием в душе я после этого поймал на себе пристальный удивленный взгляд Маши.

Или еще так. Кактус на окне. Кто-нибудь из сестер скажет:

— Если любишь Машу, сожми кактус рукой.

И я сжимаю кактус и потом, на глазах благоговейно потрясенных сестер, вытаскиваю из ладони колючки и сосу кровь. Конечно, об этом при первой встрече передавалось Маше.

Иногда моею любовью пользовались даже с практическими целями. Раз Юля забыла в конце сада свою куклу, а было уже темно. Юля горько плакала: ночью мог пойти дождь, мальчишки из соседних садов могли украсть. Двоюродная сестра Констанция сказала:

— Если любишь Машу,— принеси Юле куклу.

И я пошел в сад, полный мрака, октябрьского холода

и осенних шорохов, и принес куклу. И замечательно: просто бы пошел,— все бы казалось, вот из-за куста выступит темная фигура жулика, вот набежит по дорожке бешеная собака. А тут — идешь, и ничего не страшно: в душе только гордая и уверенная радость.

На груди, на плечах и на бедрах я вывел себе красными чернилами буквы М. П. и каждый день возобновлял их. Товарищи мои в гимназии все знали, что я влюблен. Один, очень умный, сказал мне, что влюбленный человек обязательно должен читать про свою возлюбленную стихи. Я не знал, какие нужно. Тогда он мне добыл откуда-то, я их выучил наизусть и таинственно читал иногда Юле. Вот они:

Дни счастливы миновались,
Дни прелестнейшей мечты,
В кои чувства услаждались,
Как меня любила ты
Как ты радостно ходила
В том, что я тебя любил!
«Дорогой,— мне говорила,—
Ты по смерть мне будешь мил.
Прежде мир весь изменится,
Чем любовница твоя,
Прежде солнца свет затмится,
Чем тебя забуду я!»

Маша через Юлю пожелала ознакомиться со стихами, но мне хотелось подразнить любопытство Маши, я не давал. Сказал только, что стихи начинаются так: «Дни счастливы».

На рождество я послал Маше по почте письмо. На именины свои, 11 ноября, я, между прочим, получил в подарок «папетри» — большой красивый конверт, в котором была разноцветная почтовая бумага с накрашенными цветочками и такие же конверты, тоже с цветочками, чистые визитные карточки с узорными краями. На серо-мраморной бумаге с голубыми незабудками я написал:

МАШЕ ПЛЕЩЕЕВОЙ

Дни счастливы
Дни

. . . .
. . . .
. . . .
Прежде . . . .
Чем . . . .
Прежде . . . .
Чем . . . .

Примите и пр.

N. N.

24 декабря 1877 г.

В этот же конверт я вложил узорно-каемчатую визитную карточку и на ней красиво вывел печатными буквами:

Викентий Викентьевич

СМИДОВИЧ

ученик II класса Тульской Классической Гимназии

Все письмо мне очень понравилось своею дразнящею загадочностью, больше же всего нравилась подпись: «Примите и пр.». Что такое «пр.», я не знал, но, конечно, это было что-нибудь значительное и совершенно взрослое: такую подпись я часто встречал в газетах, под «письмами в редакцию», когда отыскивал интересовавшие меня «несчастные происшествия».

Маша, наконец, настояла на своем, и я передал ей через Юлю стихи. Они ей совсем не понравились. Через Юлю Маша предложила прислать мне другие стихи, более подходящие, чтобы я их читал про нее. Меня это предложение покоробило, и я отказался.

В детстве мы молились с мамой так:

«Боже! Спаси папу, маму, братьев, сестер, дедушку, бабушку и всех людей. Упокой, боже, души всех умерших. Ангел-хранитель, не оставь нас. Помоги нам жить дружно. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь».

Когда мы подросли, с нами стали читать обычные молитвы: на сон грядущий, «Отче наш», «Царю небесный». Но отвлеченность этих молитв мне не нравилась. Когда нам было предоставлено молиться без постороннего руководства, я перешел к прежней детской молитве, но ввел в нее много новых, более практических пунктов: чтоб разбойники не напали на наш дом, чтоб не болел живот, когда съешь много яблок. Теперь вошел еще один пункт, такой:

— Господи сделай так, чтоб Маша меня всегда люби-

ла, и чтоб я ее всегда любил, и чтоб она за меня замуж вышла.

Впрочем, на бога я мало рассчитывал. Бог — это была власть официальная; ей, конечно, нужно было воздавать почет, но многого ждать от нее было нечего. Была другая сила, темная и злая, гораздо более могущественная, нежели бог. Молиться ей было глупо, но можно было пытаться надуть ее.

Давно уже я заметил, если скажешь: «Я, наверно, пойду завтра гулять», то непременно что-нибудь помешает: либо дождь пойдет, либо нечаянно нашалишь, и мама не пустит. И так всегда, когда скажешь «наверно». Невидимая злая сила внимательно подслушивает нас и, назло нам, все делает наоборот. Ты хочешь того-то,— на ж тебе вот: как раз противоположное!

На этом я и основал свой маневр. Помолившись, я закутывался в одеяло и четко, раздельно произносил мысленно:

— Наверно, Маша меня разлюбит, и я ее разлюблю; наверно, я завтра из всех предметов получу по единице; наверно, завтра папа и мама умрут; наверно, у нас будет пожар, заберутся разбойники и всех нас убьют; наверно, из меня выйдет дурак, негодяй и пьяница; наверно, я в ад попаду.

Наверно, наверно, наверно...

Соображения мои были вот какие: если все это сбудется, то,—

ЗНАЧИТ, Я ПРОРОК!

Я формулировал это весьма вызывающее: «Да, значит, тогда я пророк!» Но я нисколько не сомневался, что враждебная сила ни за что не потерпит, чтобы я, Витя Смидович, вдруг оказался пророком. Вроде Исаии или Иеремии! Да ведь и, правда, странно бы: пророки Исаия, Иезекииль, Илия, Елисей, Витя Смидович. Ни за что бы судьба этого не допустила! Назло мне, она возьмет и все сделает как раз наоборот.

И с вызовом, все так же четко и раздельно, я повторял:

— Наверно, наверно, наверно...

Обязательно нужно было твердить «наверно», пока не заснешь. Тогда я чувствовал свое дело вполне обеспеченным.

В Туле у нас нередко выступал с концертами «народный певец» Д. А. Славянский со своею «капеллою».

Белоколонный зал Дворянского собрания. На эстраду выходят мальчики и взрослые мужчины, расстанавливаются полукругом. Долго все ждут. И вот выходит он. Крупный, с большой головой, на широком купеческом лице кудрявая бородка, волосы волнистым изгибом ложатся на плечи; черный фрак и белый галстук на широкой крахмальной груди. Гром рукоплесканий. Он раскланивается, потом, не оглядываясь, протягивает назад руку в белой перчатке. Мальчик почтительно вкладывает в нее дирижерскую палочку из слоновой кости. Все замолкает. Он поднимает палочку.

Хор у него был прекрасный. Исполнялись русские народные песни, патриотические славянские гимны и марши,— «Тихой Марицы волны, шумите» и др.; в то время как раз шла турецко-сербская и потом русско-турецкая война. Помню такой марш:

Мы дружно на врагов,
Друзья, на бой спешим,
За родину, за славу,
За честь мы постоим!

Пусть наше оружье
Смирит врагов славян,
Пусть знает рать вражья,
Как силен наш народ!

Запевал всегда сам Славянский,— жидким и сладким тенорком. Пел он и один. Высоко поднимет голову и нежно, протяжно заведет:

А-а-а-а-а-ах, ты...

Потом вдруг нахмурит брови, мотнет лбом:

...тпруська, ты тпруська-бычок!
Молодая ты говядина!..

И бешеный хохот по всему залу. Очень еще публика любила другую его русскую песню,— про Акулинина мужа. Пел он и чувствительные романсы,—«А из рощи, рощи темной, песнь любви несется...» Никогда потом ни от чьего пения, даже от пения Фигнера, не переживал я такой поднимающей волны поэзии и светлой тоски. Хотелось подойти к эстраде и поцеловать блестяще начищенный носок его сапога. Тульская публика тоже была в восторге от Славянского, и билеты на его концерты брались нарасхват.

Мы наизусть знали все любимые номера Славянского и дома постоянно пели «Мы дружно на врагов», «Тпруську-бычка» и «Акулинин муж, он догадлив был». Теперь я то и дело стал распевать такой его романс:

Твоя милая головка
Часто спать мне не дает
И с ума меня, я знаю,
Окончательно сведет.

Твоя шейка, твои глазки
Всё мерещатся во сне
И своею негой страстной
Зажигают кровь во мне.

И во сне я их целую,
Не могу свести с них глаз...
О, когда же наяву я
Поцелую их хоть раз!

Пел я романс так часто и с таким чувством, что мама сказала: если она еще раз услышит от меня эту песню, то перестанет пускать к Плещеевым.

И совершенно напрасно. Никакой страстной негой моя кровь не кипела, во сне вовсе я не целовал ни шейку Маши, ни глазки и даже не могу сказать, так ли уж мне безумно хотелось поцеловать Машу наяву. «Милая головка» — больше ничего. Пел я про страстную негу, про ночные поцелуи,— это были слова, мысль же была только о милой головке, темно-синих глазах и каштановых кудрях.

А между тем темно-сладострастные картины и образы голых женщин уже тяжко волновали кровь. С острым, пронзающим тело чувством я рассматривал в «Ниве» картинки, изображавшие турецкие зверства и обнаженных болгарских девушек, извивающихся на седлах башибузуков. Но ни к одной живой женщине, а тем более к Маше, никакого сладострастного влечения не чувствовал.

Плещеевы одну только эту зиму собирались прожить в Туле. Весною старший их брат, Леля, кончал гимназию, и к следующей осени все Плещеевы переезжали в Москву.

Я решил сняться и обменяться с Машею фотографиями. У них в альбоме я видел Машину карточку. Такая была прелестная, такая похожая! Но у меня моей карточки не было. Зашел в фотографию Курбатова на Киевской улице, спросил, сколько стоит сняться. Полдюжины карточек ви-

зитного формата — три рубля. У меня дух захватило. Я сконфузился, пробормотал, что зайду на днях, и ушел.

Но от намерения своего не отказался. От именинного рубля у меня оставалось восемьдесят копеек. Остальные я решил набрать с завтраков. Мама давала нам на завтрак в гимназии по три копейки в день. Я стал теперь завтракать на одну копейку,— покупал у гимназической торговки Комарихи пеклеванку,— а две копейки опускал в копилку.

Наконец набрал три рубля. Снялся. С пристальным любопытством рассматривал белобрысую голову с оттопыренными ушами. Так вот я какой!

Но обменяться карточками нам не позволили. Варвара Владимировна сказала: обмениваться, так уж всею семьею, а одной Маше с Витею,— это неприлично.

Неприлично! Было мне одиннадцать, а ей — десять лет.

Карточки Машиной мне не пришлось получить. Но у меня были ее волосы: через Юлю мы обменялись с нею волосами. И до сих пор не могу определить, что в этой моей любви было начитанного и что подлинного. Но знаю, когда я в честь Маши прыгал с беседки, в душе был сверкающий восторг, смеявшийся над опасностью; и когда я открывал аптечную коробочку с картинкой и смотрел на хранившуюся в ней прядь каштановых волос,— мир становился для меня значительнее и поэтичнее.

Но и волос этих я лишился. Мы обещались на Машины именины, первого апреля, прийти к Плещеевым. Но у Юли было много уроков, а одного меня мама не пустила,— неудобно: мальчик один на именины к девочке!

Между тем Маша как раз загадала: если Витя сегодня придет,— значит, он меня, правда, любит, а не придет — значит, не любит. Я не пришел, и она в гневе сожгла мои волосы.

Узнал я об этом и ужасно разозлился, самолюбиво-обиженно разозлился. Мало ей, что я в ее честь прыгаю с высоких крыш, сжимаю рукою колючие кактусы! Многие ли бы стали это делать? А она мои волосы жечь!.. Ладно же! Очень надо! Вынул из хорошенькой коробочки прядь каштановых волос, обмакнул в стеарин горящей свечи и сжег.

Потом жалел до отчаяния.

Тетя Анна сказала:

— Вот, мы теперь смеемся. А может быть, вырастут — и вправду женятся.

Мама серьезно возразила:

— Они друг другу совсем не пара. Маша — дочь состоятельных родителей, привыкла к богатой жизни, а Витя должен будет жить своим трудом.

Я начал делать у себя тщательный боковой пробор на голове, приглаживал мокрою щеткою волосы, чтоб лежали, как я хотел; из-за серебряно-позументного воротника синего мундирчика стал выпускать крахмальный воротничок. На собственные деньги купил маленький флакон духов и надушил себе платок.

Проходил мимо папа, потянул воздух носом.

— Что это, Виця? Надушился ты, что ли?

— Ммм... Собственно...

— Надушился? — Он понизил голос, как бы говоря о чем-то очень секретном и позорном.— Да разве ты не знаешь, кто душится?

— Кто?

— Тот, конечно, от кого воняет. Чтоб заглушить вонь, которая от него идет. Неужели ты хочешь, чтоб о тебе думали, что ты воняешь?

Этого-то я не хотел, душиться перестал. Но на флакончик свой поглядывал со скорбью.

У всех шли экзамены. Целый месяц мы с Плещеевыми не виделись. И только в конце мая, перед отъездом своим в Богучарово, они пришли к нам. Прощаться. Навсегда. Я уже говорил: осенью Плещеевы переезжали в Москву.

Девочки с гувернанткою уже пришли. Я слышал в саду их голоса, различал голос Маши. Но долго еще взволнованно прихорашивался перед зеркалом, начесывал мокрою щеткою боковой пробор. Потом пошел на двор, позвал Плутона и со смехом, со свистом, с весело лающим псом бурно побежал по аллее. Набежал на Плещеевых,— удивленно остановился, как будто и не знал, что Плещеевы у нас,— церемонно поздоровался.

Стали расхаживать, как большие, и чинно беседовали. Юля захотела показать девочкам щенков Каштанки, но ка-

литка на двор оказалась запертой. Была она гладкая, в сажень высоты. Юля собралась бежать кругом через кухню, чтоб отпереть калитку. Я сказал:

— Не надо. Я так открою.

Разбежался, с маху схватился за верх калитки, быстро подтянулся на руках и сел на нее верхом. Увидел изумленные глаза Маши. Такой пружинистый, напряженный восторг был в теле,— право, кажется, оттолкнулся бы для Маши от земли и кувырком понесся бы в мировые пространства.

Пришел Володя Плещеев. Он стал высокомернее, все говорил о Москве и о своей радости, что уезжает из этой дыры (Тулы. Почему дыра? Где в ней дыра?).

Постепенно застенчивость моя исчезла. Мы много бегали, играли.

В сумерки Плещеевы собрались уходить. Мы все стояли в передней. Я делал грустные глаза, смотрел на Машу и тихонько говорил себе: «навсегда!» Она поглядывала на меня и как будто чего-то ждала.

Распрощались. Они ушли. Я жадно стал расспрашивать Юлю про Машу. Юля рассказала: перед тем как уходить, Маша пришла с Юлею под окно моей комнаты (оно выходило в сад) и молилась на окно и дала клятву, что никогда, во всю свою жизнь, не забудет меня и всегда будет меня любить. А когда мы все уже стояли в передней, Маша выбежала с Юлею на улицу, и Маша поцеловала наш дом. Юля отметила это место карандашиком.

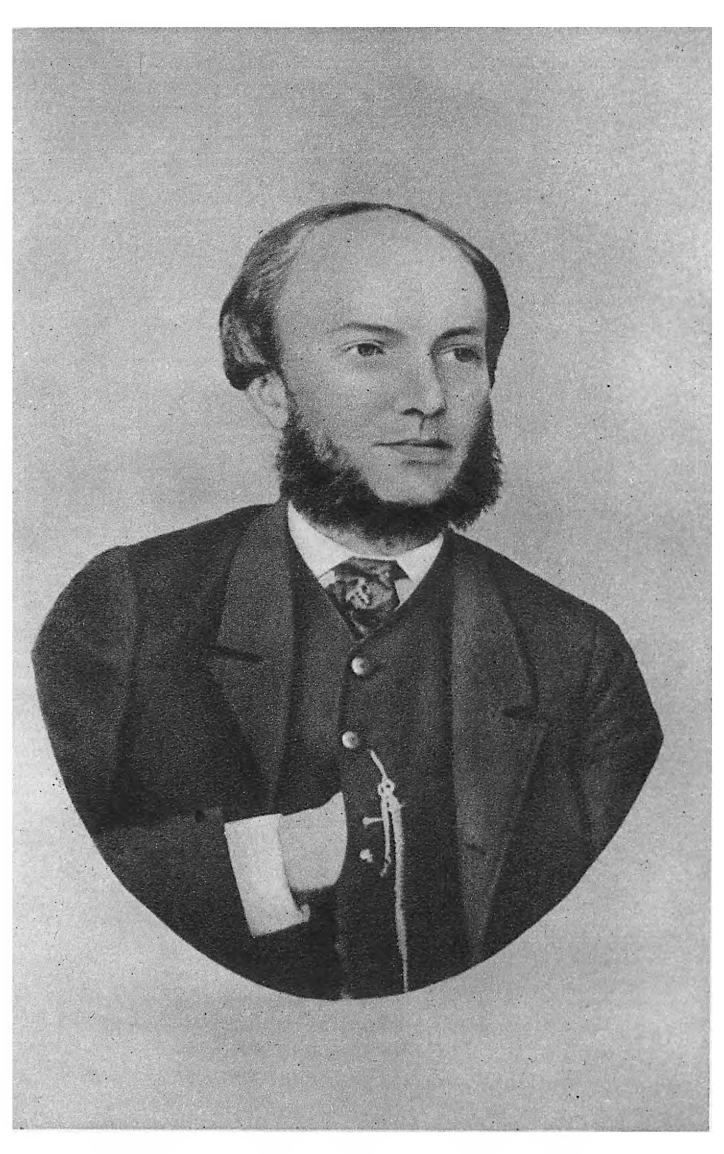
— Пойдем, покажи!

Вышли на улицу, белую в майских сумерках, с улегшеюся пылью. Около первого окна, близ крыльца, Юля отыскала свой карандашный кружочек. Я с трепетом и радостною грустью поцеловал это место.

И после я часто в сумерки выходил на улицу и крепко целовал обведенное карандашиком место, к которому прикоснулись Машины губки.

За вечерним чаем я объяснял Юле и двоюродной сестре Констанции, что такое «ускок». Качели должны были изображать галеру, Юля — богатую венецианскую девушку, Констанция — ее няню, я — атамана ускоков.

— Вы раскачайтесь повыше, а я подкрадусь из-за кустов, вскочу на корабль, и произойдет битва.



Викентий Игнатьевич Смидович, отец писателя.
(Публикуется впервые.)



Елизавета Павловна Смидович, мать писателя.
(Публикуется впервые.)

Папа разговаривал с мамой. Я услышал: «Плещеевы», «Маша». Мы прислушались.

— Так что все уже уехали в Богучарово, а Варваре Владимировне пришлось остаться с Машей в городе...

— Папа, почему Маша осталась?

Оказалось: Маша вчера на улице споткнулась о тумбу, упала и сильно расшибла себе ногу, так что ее на извозчике отвезли домой, и она до сих пор лежит.

Девочки с сочувствием глядели на меня. Я молча встал и ушел в сад.

В заднем углу сада, за густою бузиною, я прислонился локтем к забору, лоб положил на локоть и собрался плакать. Но слезы почему-то не шли. Мне было стыдно, я повторял себе:

— Бедная Машечка!

Представлял себе, как она лежит на тротуаре, как кровь ручьем хлещет из разбитой ноги, как она стонет...

— Бедная, бедная моя Машечка!

Но слезы не являлись. Я тер кулаком глаза, сопел носом,— никакого результата.

Из-за кустов доносился скрип качелей, смех девочек. Я для проформы высморкался, достал из кармана деревянный кинжал и осторожно пополз меж кустов к венецианской галере.

— Братцы! За мной!

Во главе невидимых товарищей я одним махом вскочил на высоко взлетавшие качели. Галера села на мель. С ножом в зубах я бросился к венецианской красавице.

Юля с укором смотрела на меня и качала головою:

— Маша ногу себе расшибла, а ты играешь и смеешься!

Я опешил. Вынул из зубов кинжал, спрятал в карман, помолчал и плаксивым голосом сказал:

— Я старался рассеяться. Все время плакал, насилу утешился. А ты мне опять напомнила!

Заморгал глазами, потянул в себя носом и, волоча ноги, побрел к себе за бузину. Опять попытался плакать. Ни слезинки! Делать нечего. Воровато огляделся, послюнявил пальцы. По щекам протянулись две широкие мокрые полосы. Я пошел к девочкам и спросил Юлю, сердито всхлипывая:

— Ну, что? Довольна ты теперь?

Юля в раскаянии стала просить у меня прощения. Они с Констанцией стали меня утешать, что Маша не очень больно расшиблась, что, наверно, она скоро поправится.

Я всхлипывал все сильнее. Юля переглянулась с Констанцией.

— Витя, ну, ведь все равно, Маше не станет легче, что ты об ней плачешь... Пожалуйста, пойдем играть в ускоки!

— Не хочу!

И вдруг я заплакал, и настоящие слезы хлынули из глаз. И, сладко плача, я пошел за бузину.

Вот и все. Осенью Плещеевы уехали в Москву. От Володи мы с Мишею получили коротенькое письмецо. Кончалось оно так:

«Извините, что пишу так мало. Некогда: спешу на аристократический бульвар, на rendez-vous [1] с одним молодым человеком из хорошего семейства».

Маши я больше никогда не видел. Слышал, что она была замужем за губернатором и выдавалась своею красотою.

---

[1] Свидание (*франц.*).

Бабушка мне подарила новенькую полушку. Блестящая крохотная монетка, на ней написано: «1/4 копейки». Полюбовался. Стал думать,— что с нею делать. Опустить в копилку? Не стоит. На четверть копейки больше, меньше,— не все равно? И что на нее купишь?

Решил отдать нищему.

Как раз в этот же день увидел в окошко: на приступочке крыльца, через улицу, сидит старик-нищий, опустил седую голову, медленно пожевывает беззубым ртом.

Я достал свою полушку, пошел и спешил вспомнить, за кого чтоб молился нищий: за меня, конечно, и за Машу Плещееву; за папу и маму; за бабушку,— ведь она мне дала полушку; потом за упокой души дедушки Викентия Михайловича и другого дедушки, маминого отца, Павла Васильевича.

Подошел к нищему, подал монетку и благочестиво заговорил:

— Молись, дедушка, за здравие Викентия и Марии, Викентия и Елизаветы, Анисии, потом за упокой души...

Я ждал благодарно-внимательного взгляда старика. Но он посмотрел на свою ладонь с моей монеткой и, не дослушав, деловито сказал:

— Полушка... А копейки, малый, не найдется? Не хватает у меня на два фунта хлеба...

Я сконфузился.

— Копейки? Кажется, есть. Сейчас посмотрю.

— Поди погляди.

У меня было три копейки на завтрашний завтрак в гимназии,— нам каждый день выдавали на это по три копейки. Пошел домой, достал из своего стола копейку и дал стари-

ку. И уж не посмел заикнуться о своем и Маши Плещеевой здравии. Старик равнодушно сказал:

— Спасибо.

И спрятал копейку. И даже не переспросил, о чьем здоровьи поручено ему позаботиться на этом свете и сколько душ спасти на том.

Полицмейстер у нас был очень замечательный и глубоко врезался мне в память. Александр Александрович Тришатный. Невысокий, полный, очень красивый, с русыми усами, с тем меланхолически-благородным выражением в глазах, какое приходилось наблюдать только у полицейских и жандармских офицеров. Замечателен он был в очень многих отношениях.

Во-первых. Один во всей Туле он разъезжал в санках, запряженных в «пару на отлете»: коренник, а с правой стороны, свернув шею кольцом,— пристяжная. Мчится, снежная пыль столбом, на плечах накидная шинель с пушистым воротником. Кучер кричит: «поди!» Все кучера в Туле кричали «берегись!», и только кучер полицмейстера кричал «поди!» Мой старший брат Миша в то время читал очень длинное стихотворение под заглавием «Евгений Онегин». Я случайно как-то открыл книгу и вдруг прочел:

> ...в санки он садится,
> «Поди! поди!» — раздался крик;
> Морозной пылью серебрится
> Его бобровый воротник.

Я даже глаза вытаращил от радости и изумления: наш Тришатный! Сразу я узнал. Наверно, сочинитель бывал у нас в Туле.

Во-вторых, на всех афишах и объявлениях внизу мелким шрифтом печаталось: «Печатать разрешается. Полициймейстер А. Тришатный». И не «полицмейстер», а на каком-то неизвестном языке: «полицийместер». По-немецки,— я отлично знал,— будет «полицеймейстер».

Потом еще сама фамилия Тришатный. Три, а чего три,— никому не известно. Мещане и мужики называли его «Триштанный».

Но самое замечательное, самое непонятное и всего больше поражавшее мой ум было в нем то, что он только очень редкие фразы говорил по-русски, больше же всего говорил на великолепном французском языке, хотя кругом ни одного

француза не было. Помню, упал человек на углу Киевской и Посольской и лежал боком, тяжело хрипя, со странным лицом, темным, как мокрый снег. Подкатил в своих санках Тришатный, соскочил, толпа перед ним раздалась. Он на русском языке велел городовому привести извозчика, а потом быстро заговорил по-французски, устремив взгляд куда-то поверх наших голов. Бабы, разинув рты, смотрели ему в усы, я оглядывался: с кем это он? Никого подходящего не было. А он все говорил и говорил: «Voyons! N'est ce pas? Eh bien!» [1]. Очень это большое во мне вызывало к нему уважение. И я думал: «Наверно, он всегда живет в самом аристократическом обществе!»

Шел из гимназии и встречаю на Киевской Катерину Сергеевну Ульянинскую,— она была у нас раза два-три в год. Шаркнул ногой и протянул руку. Она, не вынимая рук из муфты, посмотрела на мою протянутую руку и любезно сказала:

— Здравствуйте, Витя!.. Как здоровье мамы?

Ух, как помню я свою красную от мороза, перепачканную чернилами руку,— как она беспомощно торчала в воздухе, как дрогнула и сконфуженно опустилась. Катерина Сергеевна поговорила минутки две, попросила передать ее поклон папе и маме и, все не вынимая рук из муфты, кивнула мне на прощанье головой.

С тех пор я хорошо помню, что нельзя первому подавать руку дамам.

И еще был один такой урок, который тоже запомнился мне на всю жизнь.

Мама велела мне зайти после всенощной в Петропавловскую аптеку и взять лекарство. Папа был популярный в городе врач, и в аптеке ко мне относились очень ласково. Раз, помню, для каких-то моих дел (кажется, чтобы спрятать волосы Маши Плещеевой) мне очень было нужно красивую, с картинками, коробочку от лекарств. Я зашел в Петропавловскую аптеку и спросил, конфузясь: можно у них купить коробочку одну, без лекарств? У аптекаря были длинные черные усы, они торчали прямо в стороны. Он улыбнулся, вышел в другую комнату и вынес мне сверточек.

— Сколько стоит?

---

[1] Послушайте! Не так ли? Хорошо! *(франц.)*

— Ничего.

Пришел домой. Развернул. Вот радость! Большая зеленая коробочка с альпийским видом и в ней что-то еще. Открываю,— другая коробочка, красная, на картинке два кролика. В ней — синяя, с девочкой. Еще и еще, все меньше,— так всего восемь коробочек!

Так вот зашел я теперь в аптеку. Была метель, на гимназической моей фуражке и плечах шинели пластами лежал снег. Я подошел к конторке, протянул рецепт аптекарю,— тому самому, с усами. Он сурово оглядел меня и вдруг резко сказал:

— Потрудитесь снять шапку!

Я густо покраснел и снял. Аптекарь стал писать ярлычок, а я ждал: вот он сейчас увидит, что рецепт для доктора Смидовича, улыбнется и попросит у меня прощения. Но он так же сурово протянул мне ярлычок и отвернулся к другому покупателю.

Я долго взволнованно ходил по улицам, под ветром и снегом. До сих пор мне странно вспомнить, как остро пронзало мне в детстве душу всякое переживание обиды, горя, страха или радости,— какая-то быстрая, судорожная дрожь охватывала всю душу и трепала ее, как в жесточайшей лихорадке. С горящими глазами я шагал через гребни наметенных сугробов, кусал захолодавшие красные пальцы и думал:

«Вот бы хорошо, если бы я был полицмейстер Тришатный! Так бы в санках, в паре на отлете, я подлетаю к Петропавловской аптеке. Вошел, протянул указательный палец:

— В двадцать четыре часа вон из Тулы!

Аптекарь побледнел, испуганно стал спрашивать:

— За что?

— Ты знаешь за что! В двадцать четыре часа вон!

И больше ничего не стал слушать. Повернулся — и назад в санки свои. Кучер кричит: «Поди! поди!» Морозной пылью серебрится мой бобровый воротник».

И отлегало от души, и дрожь в ней затихала. Я уже колебался: не оставить ли аптекаря, так и быть, в Туле? И вдруг опять острая боль пробивала душу, и я вспоминал: вовсе я не Тришатный, аптекарь спокойно стоит себе за конторкой и совсем не раскаивается в том, что так меня обидел. И я дальше, дальше шел в вьюжную темноту и курящиеся сугробы.

Лет через двадцать пять, в Париже, я зашел в магазин

купить себе галстук — и машинально поспешил снять шляпу. Приказчик с сконфуженным, страдающим за меня лицом потихоньку сказал:

— Мосье! Наденьте шляпу.

Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, жизненное мое призвание определилось для меня с полной точностью. Я прочел роман «Морской волк»,—кажется, Купера,— несколько романов Жюля Верна и бесповоротно убедился, что я рожден для моря и морской службы. К тому же я случайно увидел на улице кадета морского корпуса. Мне очень понравилась его стройная фигура в черной шинели с белозолотыми погонами и особенно — бескозырная шапка с ленточками.

Но всякому, читавшему повести в журнале «Семья и школа», хорошо известно, что выдающимся людям приходилось в молодости упорно бороться с родителями за право отдаться своему призванию, часто им даже приходилось покидать родительский кров и голодать. И я шел на это. Помню: решив окончательно объясниться с папой, я в гимназии, на большой перемене, с грустью ел рыжий треугольный пирог с малиновым вареньем и думал: я ем такой вкусный пирог в последний раз.

Вечером я решительно вошел к папе в кабинет и, задыхаясь от волнения, сказал:

— Папа, мне с тобой нужно очень серьезно поговорить.

Папа оторвался от книги и внимательно посмотрел на меня поверх очков.

— Пожалуйста. В чем дело?

— Вот что.— Я потерял дыхание, поймал его и продолжал.— Я долго думал и пришел к окончательному выводу, что мое настоящее призвание есть... морская стихия.

— Какая стихия?

— Мо... морская. То есть, значит, море.

— Море?

— Да.

— Угу!

— И мое решение непоколебимо. Я решил бросить гимназию и поступить в морской корпус. Не отговаривай меня, это дело решенное, я не могу противиться моему призванию.

Папа все так же внимательно и серьезно смотрел на меня поверх очков.

— Раз ты чувствуешь, что это твое призвание, то противиться ему, конечно, не следует. Хорошо, будь моряком. Но ты кем хочешь быть,— матросом, чтобы только мыть шваброй полы на корабле, или капитаном, чтобы управлять кораблем?

— Я бы лучше хотел быть капитаном.

— Вот видишь. А теперь, чтобы стать капитаном, нужно быть очень образованным человеком: нужно знать высшую математику, астрономию, географию, метеорологию... Мы, значит, сделаем так: ты кончишь гимназию и тогда сейчас же поступишь в морской корпус. Раз это, действительно, твое призвание, то к нему необходимо отнестись самым серьезным образом.

Я вышел от папы с облегченным сердцем и с чувством победителя. И только одно было горько: как долго еще ждать — целых пять лет!

Когда я был в приготовительном классе, я в первый раз прочел Майн-Рида, «Охотники за черепами». И каждый день за обедом в течение одной или двух недель я подробно рассказывал папе содержание романа,— рассказывал с великим одушевлением. А папа слушал с таким же одушевлением, с интересом расспрашивал,— мне казалось, что и для него ничего не могло быть интереснее многотрудной охоты моих героев за скальпами. И только теперь я понимаю,— конечно, папа хотел приучить меня рассказывать прочитанное.

В 1879 году в Сиднее, в Австралии, должна была открыться всемирная выставка. Однажды, в субботу, за ужином, папа стал мечтать. Первого января тираж выигрышного займа. Если мы выиграем двести тысяч, то все поедем в Австралию на выставку. По железной дороге поехали бы в Одессу, там сели бы на пароход. Как бы он пошел? Через Константинопольский пролив... «Принеси-ка, Виця, географический атлас!»

Мы обсели атлас, жадно следим, как пароход пойдет через Мраморное море, через Эгейское. Остановка в Смирне... «Где Смирна, ну-ка? Вот она... Через Суэцкий канал. Доехали до Австралии. Что нам там смотреть?» Папа принес какие-то книги, читаем, как открыли Австралию, про климат, про фауну и флору... А что такое фауна? Папа, надев

очки, читает про зверей Австралии. Вот потеха! Сумчатые животные. Оказывается, не только кенгуру, а самые разные животные в Австралии — все двуутробки, с сумками на животах! И мыши, и куницы, и летучие мыши, и даже волки!.. Растения. Фикусы,— вот те самые, которые у нас возле окон,— оказывается, они из Австралии! Целые огромные рощи вот из таких фикусов! Мы будем в них гулять! В роще из фикусов! И еще, оказывается, из этих фикусов добывается каучук,— тот самый каучук, из которого делают резину для мячиков, резинок и девочкиных подвязок. Вот потеха!

Немного откинув назад голову, папа читает сквозь очки:

«Случающиеся по временам засухи составляют для колонистов, страдающих от них каждые 10—12 лет, самое тяжкое бедствие: они губят и хлеб и скот. Только Виктория и Южная Австралия не посещаются этими бичами...»

Горя глазами, я жадно расспрашиваю:

— Бичами?.. А в других местах колонистов бьют бичами? Кто их бьет?..

Поздно вечером мы расходимся спать и долго еще говорим про Австралию,— благо, завтра воскресенье, можно спать сколько угодно. Значит, скоро поедем... И ах! Только утром, проснувшись с протрезвившимися головами, мы соображаем, что для всего этого требуется еще один маленький пустячок: выиграть двести тысяч!..

Но географию Австралии мы за один вечер совершенно незаметно прошли так, как не прошли бы, заучивая уроки о ней, в течение недели.

Как я читал «Мертвые души».— Папа мне сказал:

— Что ты все читаешь эту дрянь, Майн-Рида твоего, Эмара? Почитай «Мертвые души».

И привез мне их. Я прочел с увлечением, мне очень понравилось. В разговоре я так и сыпал гоголевскими выражениями: «с ловкостью почти военного человека», «во фраке наваринского дыма с пламенем» и т. п. Как-то за обедом папа спросил:

— Ну, что, Виця, прочел «Мертвые души»?

— Да.

— Как тебе понравился Плюшкин?

— Плюшкин? Такого там нет.

Папа расхохотался.

— Как нет? Ну, а Ноздрев, Собакевич, Манилов?

Я с недоумением ответил:

— И таких нет.

— Вот потеха! Кто же есть?

— Чичиков есть, Тентетников, генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух...

Конфуз получился большой. Папа безнадежно вздохнул и махнул рукою.

В чем же дело? До сих пор не могу понять, как это случилось,—но всю первую часть книги я принял за... предисловие. А это я уже и тогда знал, что предисловия авторы пишут для собственного удовольствия, и читатель вовсе их не обязан читать. И начал я, значит, прямо со второй части...

Вообще, много неприятностей доставили мне эти «Мертвые души». В одном месте Чичиков говорит: «это полезно даже в геморроидальном отношении». Мне очень понравилось это звучное и красивое слово — «геморроидальный». В воскресенье у нас были гости. Ужинали. Я был в ударе. Мама меня спрашивает:

— Витя, хочешь макарон?

— О да, пожалуйста! Это полезно даже в геморроидальном отношении!

Я с шиком выговорил это слово, и оно звучно пронеслось по столовой, вызвав момент всеобщей тишины. Взрослые гости наклонили лица над тарелками. Папа опустил руки и широко открытыми глазами взглянул на меня:

— Виця! Как же ты употребляешь слова, которых не понимаешь?

После ухода гостей он мне основательно намылил голову и объяснил, что значит это звонкое слово.

С Лермонтовым я познакомился рано. Одиннадцати-двенадцати лет я знал наизусть большие куски из «Хаджи-Абрека», «Измаил-Бея» и «Мцыри». В «Хаджи-Абреке» очень дивила меня несообразительность людская. Хаджи-Абрек, чтоб отомстить Бей-Булату за своего брата, убил возлюбленную Бей-Булата, Леилу, и сам ускакал в горы. Через год в горах нашли два окровавленные трупа, крепко сцепившиеся друг с другом и уже разложившиеся.

Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал;
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.

А я вот узнал. Сразу, без малейшего труда узнал: второй был Хаджи-Абрек. А как же там никто не догадался?!

Знал я наизусть и «Бородино». Одну из строф читал так:

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали.
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры?
О, русские штыки!»

Соображая теперь, думаю, что больше в этом виноват был Лермонтов, а не я. Какая натянутая, вычурная острота. Совершенно немыслимая в устах старых солдат: «Не смеют что ли командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?»

Очень увлекался я книжкою Грубе «Очерки из истории и народных сказаний», мне ее подарили на именины, когда я был в первом классе. Красивый коленкоровый ярко-голубой переплет с золототисненным заглавием и на корешке мои инициалы: В. С. Очерки древнегреческой мифологии, греческой и римской истории. Я хорошо эту книжку знал, был великолепно ориентирован во всех греческих богах, греческих и римских героях. Очень раз отличился в классе. Во втором классе история еще не проходилась. И вдруг я, на уроке русского языка, в упражнениях на условные предложения, написал такую фразу: «Если бы Марий не разбил кимвров и тевтонов, то Рим, может быть, навсегда бы погиб».

— Смидович! Что это ты написал? Что ты знаешь про кимвров, тевтонов и Мария?

Я с одушевлением стал рассказывать о вторжении диких германских варваров в Италию, о боях с ними Мария, о том, как жены варваров, чтобы не достаться в руки победителям, убивали своих детей и закалывались сами. Учитель, задавший мне свой вопрос с ироническим недоверием, слушал, пораженный, и весь класс слушал с интересом. Я получил за свою работу пять с крестом,— у нас отметка небывалая.

Слава о моем превосходном знании древней истории и особенно греческой мифологии понемногу стала очень прочной. Однажды в воскресенье, когда у нас были гости, папа сказал Докудовскому, председателю земской управы, указывая на меня:

— Вот — знаток греческой мифологии: про любого греческого бога расскажет самым обстоятельным образом. Спросите-ка его что-нибудь.

Я скромно и горделиво ждал. Он с любопытством повернулся ко мне, оглядел умными насмешливыми глазами.

— Посмотрим! Ну-ка, молодой человек, скажите мне, кто такая была Геката?

Геката... Про нее ничего у Грубе не говорилось. Я растерянно молчал.

— Ну, или вот — Ламия?

И про Ламию ничего не было у Грубе... Мама, чтоб оправдать меня, сказала:

— Сконфузился!

Я поспешил исчезнуть.

Как я узнал про тайну происхождения человека.— Кажется, был я тогда в третьем классе. Не помню, в сочинении ли, или в упражнениях на какое-нибудь синтаксическое правило, я привел свое наблюдение, что петух — очень злая птица: часто вдруг, ни за что, ни про что, погонится за курицей, вскочит ей на спину и начнет долбить клювом в голову. Класс дружно захохотал, а учитель, стараясь подавить улыбку, наклонился над классным журналом. Я был в большом недоумении.

Потом долго товарищи подтрунивали надо мною и сочувственно спрашивали:

— Ну, так как, Смидович, правда, какая злая птица — пётух?

И хохотали. Но никто почему-то не соблазнился желанием объяснить мне, в чем дело. И я продолжал недоумевать.

Уж через год товарищ Зейлер открыл мне тайну зачатия живых существ. Было это в нашем саду, раннею весною; среди веток с набухшими почками прыгали скворцы, ярко-зеленые стрелки пробуравливали бурые прошлогодние листья, от земли несло запахом здоровой прели. Меня ужасно удивило и рассмешило то, что Зейлер мне рассказал, и я долго не мог поверить, что это вправду так. Не на-

полнило меня это ни ужасом, ни сладострастным чувством. Всего мне было удивительнее: неужели взрослые, серьезные люди могут заниматься таким неприличным озорством? Потеха! Ей-богу, даже и мы, мальчишки, этакой штуки не придумали бы!

Воротился из гимназии, пошел домой двором, через кухню. Акулина жарила картошку. Очень вкусная бывает картошка, когда только что поджарена. Я стал есть со сковороды. Окна кухни выходили в сад,— вдруг слышу, папа с террасы кричит:

— Миша, Виця, Юля! Идите сюда! Скорей, скорей!

Таким тоном, что нас ждет что-то очень приятное. Он привел нас к себе в кабинет, усадил и стал читать.

У новгородской посадницы сидит важная боярыня Мамелфа Дмитриевна, потом приходит молодец Василько; говорят о том, что на вече выбрали нового воеводу... Картошка какая вкусная! Поспею еще в кухню?

Приходит посадник. Василько проговаривается, что затеял с товарищами этою ночью вылазку из осажденного Новгорода. Посадник в негодовании выясняет ему всю преступность их затеи в такое время, когда важен всякий лишний человек... Я прикидывал глазом,— много ли остается чтения? Много. Эх, не поспею в кухню. Акулина поставит картошку в духовку,— тогда уж не даст. А за обедом совсем уж другой вкус у картошки.

Василько говорит, что сам теперь видит, не дело затеял, да уж нельзя отступаться: товарищи назовут трусом.

Посадник

Ты разве трус?

Василько

Ты знаешь сам, что нет.

Посадник

А коль не трус, о чем твоя забота?
Не пред людьми, перед собой будь чист!

Василько

Так, государь, да не легко же...

Посадник

Что?
Чужие толки слушать? Своего,
А не чужого бойся нареканья.—
Чужое — вздор!..

Не видать мне больше картошки. Ну, да не беда! Хорошо!.. Папа читал строго, веско, с проникновенностью,— вот так он всегда и сам говорил нам такое. И сливался папа с посадником, и я не мог себе представить, чтоб посадник выглядел иначе, чем папа. Над душою вставало что-то большое, требовательное и трудное, но подчиняться ему казалось радостным

Это была драма Алексея Толстого «Посадник». По воскресеньям у нас собирались «большие», происходили чтения. Председатель губернской земской управы Д. П. Докудовский, лысый человек с круглой бородой и умными насмешливыми глазами, прекрасный чтец, привез и прочел эту драму. Папа был в восторге. Весь душевный строй посадника действительно глубоко совпадал с его собственным душевным строем. Он раздобыл у Докудовского книжку и привез, чтоб прочесть драму нам.

11 ноября были мои именины, и я получил в подарок от папы и мамы собрание стихотворений Ал. Толстого, где находилась и драма «Посадник». Красивый том в коленкоровом переплете цвета какао, с золототисненным факсимиле через всю верхнюю крышку переплета из нижнего левого угла в верхний правый: «Гр. А. К. Толстой». И росчерк под подписью тоже золототисненный.

На первой за переплетом чистой странице было написано фиолетовыми чернилами:

1879 года

Может быть, в свете тебя не полюбят,
Но, пока люди тебя не погубят,
Стой,— не сгибайся, не пресмыкайся,
Правде одной на земле поклоняйся!..
Как бы печально ни сделалось время,
Твердо неси ты посильное бремя,
С мощью пророка, хоть одиноко,
Людям тверди, во что веришь глубоко!
Мало надежды? Хватит ли силы?
Но до конца, до грядущей могилы,
Действуй свободно, не уставая,
К свету и правде людей призывая!

Завещание Вице от { *В. Смидович.* / *Е. Смидович.* }

Это стихотворение взято у А. Навроцкого, автора известной песни «Утес Стеньки Разина» (Есть на Волге утес...). Он в то время издавал либерально-консерватив-

ный журнал «Русская речь». Папа выписывал этот журнал, и он ему очень нравился.

После «Сказки про воробья», о которой я рассказывал, ничего у меня так не отпечаталось в душе, как это завещание.

Мы наряжались на святках. Когда стали перед обедом переодеваться, я залюбовался собою в зеркало: с наведенными китайскою тушью бровями и карминовым нежно-красным румянцем на щеках я был просто очарователен. Вечером мы ехали на детский бал к Ладовским. И у меня мелькнуло: брови-то необходимо смыть,— сразу заметят, а румянец на щеках оставлю. Кто заметит? Ну, а заметят,— скажу:

— Черт знает, что такое! Днем мы наряжались, не успел хорошенько смыть!

Так и поехал на бал нарумяненным; да и брови-то смыл не особенно тщательно,— были не черные, а все-таки много темнее обычного. Сначала все шло хорошо,— никто ничего не замечал. Но начались танцы. Было жарко, душно; я танцевал с упоением в своем суконном синем мундирчике с серебряными пуговицами. В антракте вошел в комнату для мальчиков. Гимназисты увидели меня и стали хохотать:

— Господа! Посмотрите, как Смидович намазался!

Я сунулся к зеркалу,— позор! Разгоряченное мое лицо было великолепнейшего темнокирпичного цвета, и на нем предательскими пятнами алел на щеках нежно-карминовый румянец.

Я было начал:

— Черт знает, что такое! Наряжались сегодня, не успел смыть...

— Не успе-ел! Как девчонка намазался!

Не поверили, подлецы.

Я взял из гимназической библиотеки роман Густава Эмара «Морской разбойник». Кто-то из товарищей или еще кто-то взял у меня книгу почитать и не возвратил. А кто взял, я забыл. Всех опросил,— никто не брал. Как быть? Придется заплатить за книгу рубль — полтора. Это приводило меня в отчаяние: отдать придется все, что у меня есть, останешься без копейки. А деньги так иногда бывают нужны!

Выдачею книг заведывал наш учитель греческого языка, Оттон Августович Дрейер. Близорукий, рыжий, с красным лицом. Стоя перед шкафом, он записывал взятые учениками книги и вычеркивал возвращаемые, а ученики толпились вокруг шкафа, брали с полок книжки, просматривали, выбирали. Раз стою я так, читаю корешки книг на полках и вдруг вижу: Ф. Купер. «Красный морской разбойник». Я побледнел и задохнулся, сердце мое застучало в грудь короткими грубыми толчками. Взял книгу с полки, долго ее перелистывал, украдкой поглядывал на товарищей, переходил с места на место. Потом подошел к Дрейеру.

— Вот, Оттон Августович, я книгу сдаю,— «Морской разбойник».

Дрейер мельком взглянул на корешок возвращаемой книги, стал вычеркивать, на секунду поднял брови,— его как будто удивило, что в его записи фамилия автора другая, чем на книжке. Он спросил:

— «Морской разбойник»?

— Да.

— Густава Эмара?

Я с твердым удивлением ответил:

— Нет, Фенимора Купера.

— Угу!

Больше ничего не сказал и вычеркнул. Бледный, трудно переводя дыхание, я вышел в коридор.

Другой раз было со мною так. Мы рядами стояли в гимназической церкви у обедни. Мой сосед со смехом сунул мне в руку три копейки.

— Передай дальше!

— Кому? На что?

— Я почем знаю! На свечку, что ли!

Я передал дальше. Через пять минут монета опять пришла ко мне. Гимназисты от скуки забавлялись тем, что не давали этим трем копейкам достигнуть своего назначения. Я в это время собирал на что-то деньги и опускал их в копилку. Зажал монету в руке и стал ждать, скажет ли мой сосед: «Что ж не передаешь дальше?» Никто ничего не заметил. Я спустил деньгу в карман, а дома бросил в копилку.

Странно, когда теперь вспоминаешь молодость: как тогда глубоко и больно вжигались в душу все переживания! Очень мне не нравился один гимназист, на два класса моложе меня, Щербаков Александр. Знаком я с ним не

был. Но неистово ненавидел в нем все: как он ходил,— очень, мне казалось, гордо; как смотрел на меня,—ужасно высокомерно. Был лупоглазый какой-то и вообще противный. Главное, никак нельзя было понять,— чем ему передо мной гордиться? По классам он был меня моложе, ростом не выше (даже чуть-чуть ниже), учился средне, на сшибалке совсем плохо сшибался. И был не князь, не граф: отец его держал железную лавку внизу Остроженской улицы,—просто, значит, был сын купца. Подумаешь! Что у них свой дом на Ново-Дворянской? Так и у нас на Верхне-Дворянской свой дом, еще даже лучше ихнего.

Все, что он делал, он делал, казалось мне, нарочно и мне назло. Стоило мне случайно увидеть его в гимназии или на улице,—и весь мой остальной день был отравлен воспоминанием о нем. На его глазах я из кожи лез, чтоб отличиться; больше бы не мог стараться, если бы смотрела сама Маша Плещеева. На сшибалке, например, когда он подходил и смотрел,—молодецки сшибаю одного за другим, продвигаюсь вперед; украдкой взгляну на него,—а он уж равнодушно идет прочь, ничуть не прельщенный моими подвигами.

Раз у нас оказался пустой урок, а их класс был рядом с нашим. От нечего делать я смотрел в дырочку дверного замка. Вижу, вызвал учитель Щербакова. Он путает, краснеет,—урока не знает! Я злорадно следил за ним, как он сел, бледный, взволнованный, а учитель со зловещей улыбкой поставил ему в журнал,—уж, конечно, не больше двойки. После уроков, в раздевалке, я столкнулся с Щербаковым лицом к лицу и весьма иронически поглядел на него. А он,— он окинул меня тем же высокомерно-равнодушным взглядом и прошел мимо.

Весь вечер я с сосущей болью думал о нем и мечтал: так вознесусь, что и он, наконец, взглянет на меня с почтением. Во главе победоносных войск, на белом коне, въезжаю в Тулу. Граф Стамбульский, светлейший князь Смидович-Всегерманский! Взял Константинополь, завоевал всю Германию! Совсем еще молодой, а на плечах— генеральские эполеты с золотыми висюльками, на шее большой белый крест Георгия первой степени, правая рука на черной перевязи. Гремит музыка, склоняются знамена. «Ура!!» И в толпе смотрит Щербаков. Я презрительно окидываю его взглядом и проезжаю мимо.

Мы как будто получали воспитание демократическое, папа и мама не терпели барства, нам очень часто приходилось слышать фразу: «Подумаешь, какой барин!» К горничной нам позволялось обращаться только за самым необходимым. Но, должно быть, общий уж дух был тогда такой,— барство глубоко держалось в крови.

Папа несколько раз пытался завести, чтобы мы сами убирали свои постели и вообще свои комнаты. Но ничего не выходило. Во-первых, все утром спешили в гимназию, еле даже успевали чаю напиться. Но главное — совершенно было невозможно сломить упорное внутреннее сопротивление, какое мы этому оказывали. «Сам себе стелет постель!» Идет по улице гимназист четвертого класса,— четвертого уже класса! — и если бы знали прохожие: «Он сам себе сегодня стелил постель!» А уж ночную посуду самому за собою вынести — это был бы такой позор, которого никак нельзя было бы претерпеть. Даже если бы в это время никого не было во всем доме,— перед самим собою было бы стыдно и позорно!

Иногда, когда выяснялись непомерно большие траты по дому, у нас начинала во всем проводиться экономия. К утреннему и вечернему чаю нам выдавали только по четвертушке пятикопеечной французской булки, а там, если голоден, ешь черный хлеб. Черный хлеб был румяный, вкусный филипповский хлеб (в Туле у нас было отделение московской филипповской булочной). Но все-таки после белого было невкусно, а главное—если бы знали: «Этот гимназист ест за чаем только маленькую четвертушечку белого хлеба, а остальное, как дворник, доедает черным хлебом!» Или: «Идет в сапогах, которые сам себе начистил». Щербаков Александр, например,— если бы знал!

За дом от нас, пересекая нашу Верхне-Дворянскую, шла снизу Старо-Дворянская улица. На ней, кварталом выше нас, стоял на углу Мотякинской старенький серый домик с узкими окнами наверху и маленькими квадратными окнами на уровне земли. Здесь жила наша бабушка, мамина мать, Анисья Ивановна Юницкая, с незамужнею своею дочерью, маминой сестрою, Анной Павловной,— тетей Анной.

Домик бабушки стоял на границе культурной части

города. Около домика кончалась на Старо-Дворянской мостовая, кончалось освещение. Дальше улица была немощеная, заросшая гусиной гречей, пересекалась большим оврагом, где под доской, переброшенной для пешеходов, в черной тинистой воде извивались жирные пиявки. А за оврагом было поле. Осенью в этих местах была непролазная грязь, а ночью в жуткой темноте не светилось ни одного огонька... Ох, страшна эта уличная темнота! Ничего в детстве я не знал страшнее. Особенно там, за бабушкиным домом, где в черной темноте овраг с пиявками, а в углублении каждой калитки, наверное, прячется жулик.

Домик бабушки был очень ветхий, и все надворные постройки—такие же: тес серый, почти черный, от старости покоробился лодочкою. В глубине заросшего двора—очень глубокий колодезь и покосившийся флигелек, за двором—сад, сплошь фруктовый и ягодный; ягоды у бабушки были очень большие, яркие и жирные,—и клубника, и малина, и смородина, и крыжовник. Яблони и груши—старые, развесистые.

Бабушка — сухая старушка, серьезное лицо с поджатыми губами светится хорошим старческим светом. Она ужасно всегда боялась кого-нибудь стеснить собою, доставить лишнюю работу или беспокойство. Раз она тяжело заболела крупозным воспалением легких, была почти при смерти. Разослали телеграммы сыновьям: один хозяйничал в своем рязанском именьице, другой служил акцизным в Ефремове, младший, пехотный офицер, стоял с полком в Польше. А бабушка взяла да в два дня и выздоровела. Взволнованная, сконфуженная, она выходила навстречу каждому из приезжавших сыновей и говорила виновато:

— Ты прости меня... Я поправилась!

Это серьезнейшим образом. Долго потом все с любовным смехом вспоминали, как бабушка выходила к сыновьям и извинялась, что не умерла.

Была очень добрая. Жила, во всем себя ограничивая, и помогала направо и налево. В подвальном этаже дома и в надворном флигеле жила беднота, платила плохо, а часто и совсем не платила, иногда годами. Ну, что тут поделаешь! Не выгонять же их на улицу! На именины бабушки в большом количестве являлись плохо одетые старушки с льстивыми глазами, отставные мелкие чиновники с красными носами. Пили апельсиновую водку, ели пирог с капустой и рассказывали о разных своих злоклю-

чениях. Несколько лет подряд являлся здоровенный детина в форме сербского добровольца, с рукою на черной перевязи. Меня удивляло, что иногда за едою он вдруг очень свободно начинал работать раненою рукою.

Прислуга у бабушки жила не такая, которая знала свое дело, а которая была очень несчастная. Кухаркой служила бывшая наша молодая няня, Катя. Она была даровитая девушка, выучилась у нас говорить по-немецки, читать и писать. Вышла замуж за нашего кучера Петра. Он вскоре спился и был крючником на Волге. Иногда вдруг являлся, жил на хлебах у жены, пьянствовал, бил ее зверски и, обрюхатив, исчезал. Всегда она была беременная, больная, задыхающаяся, с кучей ребят. Работала усердно, но сил было мало. Смешно было подумать, чтоб бабушка могла ей отказать; куда же она денется?

Дворником был дурачок Петенька. Лет под сорок, редкая черная бороденка, очень крутой и высокий лоб уродливо навис над лицом. Говорил косноязычно и в нос, понимать было трудно. Самую черную работу он еще мог делать,—рубить дрова, копать землю в саду, но уж поручить ему печку протопить было опасно,—наделает пожару. И опять: как такому отказать? Куда он денется?

Однажды Петр, Катин муж, пьяный, долго и жестоко колотил Катю, потом тут же в кухне, сидя, заснул, положив голову на стол. Петенька решил избавить Катю от этого зверя. Взял полено, подкрался и с размаху ударил Петра по голове. Петр вскочил, бросился на Петеньку, Петенька испугался и убежал, а Петр с залитым кровью лицом опять заснул.

Бабушка потом говорила Петеньке:

— Как же это ты так, Петенька? Ты—маленький, он—большой и сильный, а ты его вдруг поленом. Ведь он бы тебя убить мог.

И Петенька рассказывал всем своим бормочущим, гнусавым голосом:

— Бабушка мне сказала: он большой, а ты его маленьким поленом убить хотел. Побольше нужно было взять!

У бабушки доброта была гармоничная и умиляла. У жившей с нею тети Анны доброта эта переходила всякие пределы и больше раздражала.

Вот—праведница, которая, умирая, наверное, моли-

лась об одном: чтобы ей в аду было присуждено место не слишком горячее. И Христос сказал бы ей на страшном суде: ты губила душу свою и тем спасла ее!

Худая, с птичьим личиком, но с не-птичьими, медленно-степенными движениями. Она была учительница музыки, у нее учились музыке сестры и все наши знакомые барышни. За уроками лицо ее было строго, серьезно и торжественно. Но учительница она была очень плохая. Всем ее ученицам, сколько-нибудь способным, приходилось потом переучиваться; чуть ли не на второй или третий год ученики ее уже начинали отхватывать Бетховена и Шопена. У нее самой рояль был плохонький, рыжего цвета, и звучал, как слабо натянутый барабан. Я никогда не слышал, чтоб она сама что-нибудь играла,—только кадрили и польки, когда мы танцевали.

Всегда она была в хлопотах. Всегда у нее было какое-нибудь ужасно бедное семейство, которое нужно было накормить, ужасно несчастный человек, которого нужно было пристроить. Она обходила знакомых, собирала деньги, выпрашивала место. Собранные деньги главою несчастного семейства пропивались; несчастный человек, получивший место, оказывался прохвостом или пропойцей. И уже давно никто не верил рекомендациям тети Анны.

Несчастие другого человека не давало ей покоя, не давало жить. Вернее, даже не так, а вот как: свою жажду помощи ее тянуло утолить с тою же неодолимою настойчивостью, с какою пьяницу тянет к вину. Знает, что денег не пожертвуют:

— Дайте мне взаймы двадцать рублей. Через три дня я получу в женском епархиальном училище за уроки музыки,—отдам.

— Ну, смотрите,—только на три дня даю! Если не отдадите, поставите меня в безвыходное положение.

— Ну, конечно же, отдам!

И не отдавала. Не потому, что не хотела, а не донесла. Встретилось новое горе,—и отдала туда. Резкие письма с упреками и прямыми оскорблениями, грозные требования, тяжелые объяснения с клятвами сейчас же отдать при первой возможности, озлобленно-виноватые глаза, боязнь встретиться на улице... А завтра опять то же самое. Вся она была в долгах, все у нее было заложено, ростовщикам платила ужасные проценты. Раз зашел у нас разговор, кто бы что сделал, если бы выиграл двести тысяч (частые

везде у нас разговоры,—приятно помечтать о богатстве, когда выигрышный билет делает богатство возможным). Тетя Анна с загоревшимися глазами заявила, что она открыла бы тогда... кассу ссуд! Все изумились, а тетя Анна горячо стала доказывать, что это было бы самым большим благодеянием для бедняков,—давать под залог деньги из десяти—двенадцати процентов в год. Сколько же процентов она, бедная, платила сама!

При жизни бабушки ей все-таки приходилось несколько сдерживаться. Но когда бабушка умерла и домик перешел в ее владение, тетя Анна совсем запуталась. Домик сейчас же был заложен, потом перезаложен. Деньги немедленно уплыли. А заработок ее все уменьшался. Появились новые учительницы музыки, более молодые и талантливые, уроков все становилось меньше.

Тетя Анна решила открыть учебное заведение для мальчиков и девочек. Родные и друзья ссудили ее на это деньгами. Открыла. В учительницы были набраны не возможно лучшие, а самые несчастные, давно сидевшие без места. В ученики столько было напринято даровых, что и богатая школа не выдержала бы. Конечно, через год-два пришлось дело прикрыть, и оно еще больше прибавило долгов.

Под конец жизни тетя Анна жила в большой нужде в своем доме, приходившем все в большее разрушение. Сарай грозил обрушиться, подгнившие переметы еле держались. Но тетя доказывала, что это не опасно: дверь открывается внутрь и поддержит перемет, если он обвалится в то время, когда в сарае человек. Помогать ей было так же трудно и бесплодно, как запойному пьянице. Пошлешь ей к пасхе пятьдесят рублей. Ответ: «Милый Витя! Большое тебе спасибо за присланные деньги. На рубль я купила себе кулич, пасху, яичек и разговелась. Пять рублей дала разговеться на праздники Козловым. Купила башмаки Лидочке Лочагиной,—они у ней совсем дырявые, и она постоянно простужается», и т. д. в таком же роде. Кончалось: «Вот видишь, скольким людям ты доставил радость присланными деньгами».

Меня это, признаюсь, нисколько не радовало.

Учителем математики у нас был Глаголев, Геннадий Николаевич. На длинных, тощих ногах; ходил, ступая но-

сками прямо и странно подпрыгивая на ходу; каштановая борода и умные черные глаза. У него был верхушечный процесс, и он часто покашливал особенным каким-то образом, вздергивая голову вверх, растягивая звук кашля и вдруг обрывая его более низкой нотой. Когда мы, мальчишки, изображали его, то обязательно с этим кашлем.

Был у меня товарищ Бортфельд Александр,—лихой парень, забияка; он потом, не кончив курса, поступил в кавалерийское училище и вышел в гусары. Раз, во время урока математики,—были мы тогда в четвертом классе,— Бортфельд дерзко стал передразнивать Геннадия Николаевича самым откровенным образом. Глаголев ходил по классу, объясняя урок, и то и дело:

— Кха-ха-à!

И сейчас же вслед за ним, с таким же подергиванием головы, и Бортфельд:

— Кха-ха-à!

Весь класс, изумленный лихою дерзостью Бортфельда, настороженно ждал, что будет. Геннадий Николаевич замолчал и раза два прошелся по классу.

— Бортфельд!

Бортфельд медленно поднялся, готовый к бою.

— Я человек больной, Бортфельд. У меня хроническое воспаление легких, поэтому мне часто приходится кашлять. Я никак не могу понять, что вы находите в этом забавного и какое вам может доставлять удовольствие передразнивание моего кашля.

Бортфельд плаксиво-возмущенным голосом начал:

— Что же это такое, и кашлянуть нельзя в классе, я не могу сдержать кашля, у меня самого...

— Бортфельд, пожалуйста, оставьте все это! Я вас не собираюсь ни наказывать, ни тащить к инспектору... Если вам это нравится,— продолжайте! Пожалуйста!

Он презрительно пожал плечами и стал продолжать объяснение урока. Бортфельд сел на место, как оплеванный. И показался мне вдруг лихой этот парень пошлым и совершенно непривлекательным болваном.

У этого же Геннадия Николаевича Глаголева был обычай вызывать к отвечанию урока всегда самых плохих учеников. Хороших он тревожил редко и только тогда, когда урок был особенно трудный. Часто бывало даже,

что хорошему ученику он выводил за четверть общий балл, ни разу его не спросив.

В четвертом классе. Первый урок геометрии. Геннадий Николаевич объяснил, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, что круг есть то-то, а треугольник то-то. Дома я просмотрел урок. Что ж тут учить? Все само собою понятно.

На следующий день, только что Геннадий Николаевич сел за учительский стол, вдруг:

— Смидович!

Я изумился: был я первый ученик и совершенно не привык, чтоб меня тревожили по пустякам. Вышел к доске.

— Скажите,—что такое круг?

Я помолчал, взглянул на Геннадия Николаевича и широко ухмыльнулся: очевидно, Геннадию Николаевичу вздумалось пошутить, и я, конечно, сразу понял, что это шутка.

— Отчего вы не отвечаете?

Я смешался, пожал плечами и, глупо улыбаясь, мелом нарисовал на доске круг.

— Вот круг.

Глаголев строго и раздельно сказал:

— Я вас спрашиваю,— что такое круг? Не знаете?

Я растерянно молчал.

— Ну, можете идти.

Он обмакнул перо в чернильницу, протяжно кашлянул, дернув головою, и поставил мне в журнале огромнейший кол. Невероятно! Не может быть!.. В жизнь свою я никогда еще не получал единицы. Уже тройка составляла для меня великое горе.

Стыдно и теперь вспомнить, что разыгралось. Я заливался, захлебывался слезами, молил Геннадия Николаевича зачеркнуть единицу, вопил так, что в дверное окошечко обеспокоенно стали заглядывать классные надзиратели. И было это уже в четвертом классе! Правда, мне тогда было всего двенадцать лет. Конечно, Глаголев остался тверд и единицы не зачеркнул.

Когда я был в младших классах гимназии, директором у нас был Александр Григорьевич Новоселов,—немножко я об нем уже писал. Маленький, суетливый, с крючковатым носом и седыми бачками, с одного виска длинные

пряди зачёсаны на другой висок, чтоб прикрыть плешивое темя; рысьи глазки злобно и выглядывающе поблескивают через золотые очки. В дверях каждого класса, на высоте человеческого роста, у нас были прорезаны маленькие оконца для подглядывания за учениками. Новоселов очень любил подглядывать, но был маленького роста и мог глядеть в оконце, только поднявшись на цыпочки и задравши нос. Когда мы из класса замечали за стеклом оконца крючковатый нос и поблескивающие золотые очки, трепет пробегал по классу, все незаметно подтягивались, складывали перочинные ножи, которыми резали парты, засовывали поглубже в ящики посторонние книжки.

Последнее мое воспоминание об этом директоре такое.

Должен был приехать в Тулу министр народного просвещения Сабуров. Уже за неделю до его приезда Новоселов во время уроков заходил в классы и учил нас, как держаться перед министром, что ему отвечать.

— Руки держите вдоль корпуса, вот так! Стойте прямо, глядите в глаза господину министру! Когда он вам скажет: «Здравствуйте!», то хором, все сразу, отвечайте: «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!» Ну, вот, я вам, как будто господин министр, говорю: «Здравствуйте, дети!»

И, вытянувшись, как солдаты, мы галдели хором:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

В душе были злорадство и смех. Мы отлично видели: этот грозный Новоселов трусит,— да, да, трусит министра! Одним боком — страшный, а другим—смешной и боящийся.

И, наконец,— приехал министр. Вдали — суетня, хлопанье дверей. А в классах везде — тишина. Учителя — еще бледнее и испуганнее, чем мы, сейчас они с нами вместе — подответственные школьники, уроки выслушивают невнимательно, глаза, прислушивающиеся, бегают.

Громкий, властный топот шагов. Все ближе. Двери настежь. Вошел министр. Высокий, бритый, представительный, за ним — попечитель учебного округа Капнист, директор, инспектор, надзиратели. Министр молча оглядел нас. Мы, руки по швам, выпучив глаза, глядели на него.

Он сказал:

— Ну, вам мне особенного говорить нечего. Все, что нужно, я сказал господам преподавателям... Прощайте.

Мы в ответ дружно гаркнули:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

Министр с недоумением оглядел нас и покраснел. Когда он выходил из класса, Новоселов отстал, обернулся и с злобным упреком сверкнул на нас стеклами очков.

Когда я был в пятом классе, прежнего директора сменил новый,— Николай Николаевич Куликов. Это был совсем другой. Высокий, представительный, с неторопливыми движениями, с открытым благожелательным лицом. И время становилось как будто другим. Был 1880 год, во главе правительства стоял Лорис-Меликов. Министра народного просвещения, всеми проклинаемого гр. Д. А. Толстого, сменил Сабуров,— тот самый, о котором я сейчас рассказывал. В нашей гимназии, в беседе с нашим начальством, он решительно высказался против принудительного хождения учеников в церковь,— это, по его мнению, только убивает в учениках всякое религиозное чувство. Начальство было поражено и прямо-таки не посмело исполнить его распоряжения,— мы продолжали обязательное посещение гимназической церкви. От нового нашего директора веяло тем же новым духом.

На гимназическом акте он сказал речь к собравшимся родителям учеников, часто и красиво повторяя в ней:

— Мы — к вам, вы —к нам!

А потом произнес речь о Пушкине, четко и певуче читал стихи Пушкина, и чувствовалось, как сам он наслаждался их музыкой:

> Поэт! Не дорожи любовию народной!
> Восторженных похвал пройдет минутный шум,
> Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
> Но ты останься нем, спокоен и угрюм...

Года через два-три, когда я прочел Писарева, я был преисполнен глубокого презрения к Пушкину за его увлечение дамскими ножками. Но я вспоминал волнующие в своей красоте пушкинские звуки, оглашавшие наш актовый зал,— и мне смутно начинало казаться в душе, что все-таки чего-то мы с Писаревым тут недооцениваем, несмотря на все превосходство нашего миросозерцания над образом мыслей Пушкина.

Обращение Куликова с гимназистами было для нас совершенно невиданное. Обнимет какого-нибудь ученика

и ходит с ним по коридору и разговаривает. Когда я был в шестом классе, три моих товарища, Мерцалов, Буткевич и Новиков, попались в тяжком деле: раздавали революционные прокламации рабочим Тульского оружейного завода. При Новоселове их, конечно, немедленно бы исключили с волчьими паспортами. Куликов выставил дело как ребяческую шалость. Виновные отделались только тем, что отсидели в карцере по два часа в день в течение месяца и раз в неделю должны были ходить на душеспасительные собеседования с нашим законоучителем, протоиереем Ивановым, который текстами из библии и евангелия доказывал им безбожность стремлений революционеров.

Воспоминание о себе Куликов оставил у нас хорошее. У меня в памяти он остался как олицетворение краткой лорис-меликовской эпохи «диктатуры сердца». Года через два Куликов ушел со службы. Не знаю, из-за либерализма ли своего или другие были причины. Слышал, что потом он стал драматургом (псевдоним — Н. Николаев) и что драмы его имели успех на сцене. Он был сын известного в свое время водевилиста и актера Н. И. Куликова.

Я был самый молодой и самый маленький в классе. И всегдашнее воспоминание мое о классной жизни — чувство неограждённости от обид, зависимости от настроения духа любого сильного дурака. Помню, случилось это, когда я был в пятом классе. Мне было тринадцать лет, и большинство товарищей уже говорило полубасом, а некоторые и брились. Почему-то не взлюбил меня один из одноклассников — Шенрок Максимилиан, очень худой и длинный, с красными веками и скользкой, увилистой улыбкой. Ни с того, ни с сего вдруг толкнет плечом так, что отлетишь на три шага; а он идет дальше с самым невинным видом. Или шагает сзади и нарочно старается наступать носками на задки моих сапог (в то время ботинок не носили, а даже при брюках навыпуск носили сапоги с тонкими и невысокими голенищами). Обернешься, сердито скажешь:

— Что ты на меня наступаешь?

Он улыбается своею неприятною улыбкою и молчит. Идешь дальше,— он опять наступает носками на пятки, обрывая брюки.

Раз перед началом последнего урока я с одушевлением

рассказывал своим соседям по парте про Святослава, князя Липецкого («Исторические повести» Чистякова,— чудесная книга!). Я из этих повестей мог жарить наизусть целые страницы.

— «Наши столпились у ворот укрепления. Святослав стоял впереди с огромным бердышом. Одежда его была вся изорвана, волосы всклокочены; руки по локоть, ноги по колено в крови; глаза метали ужасный блеск. Татары, казалось, узнали его и хлынули, как прорванная плотина. «Умирать, братцы, всем! Славно умирать!» — крикнул он, бросился в гущу татар и начал крошить их своим страшным оружием...»

Вдруг вижу: через две скамейки спереди, по партам, вытаращив глаза, ползет на четвереньках Шенрок. Протянул длинную руку, схватил меня за волосы, больно дернул в одну сторону, в другую и воротился к себе. Вошел учитель.

Весь урок я волновался, думал,— как отомстить Шенроку, как защитить себя. Дальше так продолжаться не могло. Кончился урок. Ученики, с ранцами на плечах, выходили из класса. Я свой ранец оставил на скамейке, разбежался и изо всей силы ударил обоими кулаками Шенрока в ранец (в ранец! Хоть бы в спину!). Он обернулся, вытаращил круглые глаза и с серьезным, неулыбающимся лицом сложил ранец на скамейку. Я стоял, сжав кулаки. Шенрок бросился на меня. В памяти у меня осталось впечатление от железных рук, охвативших меня, боль от тяжелого удара по голове, отчаянный мой вопль... Пришел я в себя на извозчике,— гимназический сторож отвозил меня домой. Он рассказал мне, что бил меня Шенрок долго и жестоко, что гимназисты и сторожа еле отняли меня от него.

Шенрока исключили из гимназии. Отец его был лесничий, хорошо был знаком с папой. Мать его от этой истории заболела с огорчения. А мальчик злобно заявлял, что когда он теперь со мною встретится, то расправится уж не так. Страшный этот возраст мальчиков между четырнадцатью и шестнадцатью годами: в эти годы как будто все черти в душе срываются с цепей, а все добрые гении сконфуженно отлетают прочь. Две недели родители не пускали меня в гимназию,— боялись, чтоб меня где-нибудь не подстерег Шенрок. Вскоре его родители увезли его из Тулы.

Очень меня тоже обижал Марчевский Михаил. Раз этого самого Марчевского здорово потрепал силач нашего класса, Кулин Василий. Схватил его за шиворот, наклонил под прямым углом лицом вниз и так стал водить по всему классу. Мне ужасно приятно было смотреть на такое унижение моего всегдашнего обидчика. Я прыгал вокруг и злорадно хохотал. Кулин, наконец, отпустил Марчевского. Марчевский выпрямился, с красным лицом и злыми, униженными глазами, кинулся на меня и обоими кулаками ударил в живот. Я покатился под парту и долго лежал, стараясь вздохнуть, и никак не мог. С трудом отдышался.

Папа очень любил повторять такие стихи (кажется, Федора Глинки):

Чтобы жить было легко
И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.

Очень он еще любил и часто повторял языковское переложение одного псалма:

Кому, о господи, доступны
Твои Сионски высоты?
Тому, чьи *мысли* неподкупны,
Чьи целомудренны *мечты*,
Кто дел своих ценою злата
Не взвешивал, не продавал,
Не ухищрялся против брата
И *на врага* не клеветал...

— Именно,— *мысли* неподкупны, целомудренны *мечты!* Кто *на врага своего* не клеветал! Это невеликая заслуга — быть неподкупным и целомудренным на деле, не клеветать на своего друга. Будь даже в мыслях неподкупен, будь целомудрен в самых своих тайных мечтах, не клевещи даже на самого твоего жестокого врага,— вот тогда ты, действительно, достоин приблизиться к богу.

Анекдоты он любил рассказывать такого рода:

Один англичанин решил разобрать у себя в саду кирпичную стену, остаток прежней оранжереи. Сын его просил сделать это непременно при нем. Отец дал ему слово. Но, когда пришли рабочие, он забыл про свое обещание, и стену разобрали в отсутствие сына. Сын напомнил

отцу про данное ему слово. Тогда отец велел опять сложить стену и разобрать ее в присутствии сына. Отцу говорили:

— Какая нелепость! Какой бессмысленный расход! Может же мальчик понять, что тут не было злого умысла, что отец просто забыл.

Англичанин ответил:

— Пусть лучше я потерплю убыток, но пусть мой сын знает: нет таких причин, которые бы могли оправдать нарушение раз данного слова!

Очень меня раз папа удивил,— такой он высказал неожиданный взгляд по вопросу, для меня совершенно бесспорному, во всех Майн-Ридах решавшемуся совершенно одинаково. Я однажды сказал брату:

— Месть — благородное дело!

Папа услышал.

— Месть благородное дело? Друг мой! Мстят — лакеи! В мщении всегда заключено что-то глубоко лакейское, оно всегда страшно унижает того, кто мстит

Несколько десятков лет уже прошло с тех пор. И только теперь я соображаю, как упорно и как незаметно папа работал над моим образованием и как много он на это тратил своего времени, которого у него было так мало.

Когда я был в пятом классе, папа предложил мне прочесть вместе с ним немецкую книгу «Richard Löwenherz» — переложение романа «Айвенго» Вальтер-Скотта. Красивая книга с великолепными раскрашенными картинками: турнир с опрокинутыми на песок железными рыцарями, красавица-блондинка возлагает лавровый венок на голову преклонившего колени рыцаря, красавица-брюнетка готовится выброситься из окна перед наступающим на нее рыцарем-тамплиером. Мы с детства знали немецкий язык, но, когда подросли, начали его забывать. И вот папа предложил мне читать с ним по вечерам немецкую книгу и сказал, что когда мы ее всю прочтем, он мне даст три рубля. Три рубля! У меня дух захватило от такой огромной суммы. Способности у меня были очень хорошие, память великолепная, гимназические уроки я готовил легко и быстро, времени свободного было достаточно.

И вот каждый вечер, часов в девять, когда папа возвращался с вечерней практики, мы усаживались у него в кабинете друг против друга на высоких табуретках за

тот высокий двускатный письменный стол-кровать, о котором я рассказывал. Я читал и отыскивал в словаре незнакомые слова, папа их записывал в тетрадку. К следующему дню я должен был эти слова выучить,— и чтение это начиналось с того, что папа у меня спрашивал слова. Потом читали дальше. И здесь опять папа с напряженнейшим интересом следил за подвигами таинственного рыцаря с опущенным забралом, за любовью Дю Буа Жильбера, за силачом Фрон де Бефом.

Он садился на свою табуретку и, потирая руки, говорил:

— Ну-ка, ну-ка, как у Дю Буа Жильбера пойдет дальше с этою Ревеккою?

Я вполне был убежден,— папа читает со мною потому, что и ему самому все это было ужасно интересно. А теперь я думаю: сколько своего времени он отдавал мне,— и как незаметно, так что я даже не мог к нему чувствовать за это благодарности!

Кажется, чуть не год целый мы читали книгу. Последние две страницы. Кончили, наконец. Я уж собирался получить долгожданные, с таким трудом заработанные мною три рубля. Но тут папа совершил некоторое предательское,— для него совершенно необычное,— нарушение договора. Он потребовал, чтобы я сдал ему еще все выписанные при чтении в тетрадку слова, и не два-три десятка слов одного урока, а все слова сразу! Их было тысячи две. И я этот кунштюк преодолел,— сдал все слова: папа спрашивал меня то с немецкого на русский, то с русского на немецкий, и слова, которые я знал, вычеркивал из списка, остальные я должен был сдать еще раз. Все слова я сдал в три приема и только тогда, наконец, получил мои три рубля.

По Тульской губернии у нас много жило родственников-помещиков — и крупных и мелких. Двоюродные дедушки и бабушки, дядья. Смидовичи, Левицкие, Юницкие, Кашерининовы, Гофштетер, Кривцовы, многочисленные их родственники. Летом мы посещали их, чаще всего с тетей Анной. Мама была домоседка и не любила выезжать из своего дома. Тетя Анна все лето разъезжала по родственникам, даже самым дальним, была она очень родственная.

Прежде всего встают в воспоминании полевые просторы, медленные волны по желтеющим ржам, пыльная

полынь и полевая рябинка по краям дороги, прыгающие перед глазами крупы лошадей, облепленные оводами. И запах луговых цветов, конского пота и дегтя,—этот милый запах летней дороги. И вольный теплый ветер в лицо.

Мы ехали в тележке с дядей Сашей в Каменку, имение моей крестной матери, «бабы-Насти». Дядя в это время управлял ее имением. Брат Миша сидел на козлах тележки и правил. Широкий большак, заросший муравкою, с огромными корявыми ветлами по бокам. Дорога разделялась надвое. Миша спросил дядю:

— Куда ехать? Направо или налево?

Я сказал:

— Я знаю!

Дядя поглядел на меня насмешливыми своими глазами.

— Ну-ка, куда?

— Направо.

— Как ты узнал? — удивленно воскликнул дядя.

— А вот узнал!

— Нет, серьезно, скажи,—как? Ведь ты тут никогда не бывал

— Не бывал, а знаю!

— У-д-и-в-и-т-е-л-ь-н-о!

Миша спросил:

— Направо, значит, поворачивать?

Дядя Саша деловым тоном ответил:

— Налево.

Помнятся усадьбы дворянские. Разные: одни с просторными комнатами и блестящими полами, широкие каменные террасы, заросшие диким виноградом, липовые аллеи и цветники; другие усадьбы — с маленькими домиками, крытыми тесом, с почерневшими и шаткими деревянными террасами, с дворами, густо заросшими крапивою. Но везде одинаково — ощущение своего барственного происхождения и непохожести своей на мужиков.

Я родился через шесть лет после освобождения крестьян,— значит, крепостного права не застал. Но когда вспоминаю деревню в мои детские годы, мне начинает казаться, что я жил еще во время крепостного права. Весь дух его целиком еще стоял вокруг.

Едем в тарантасе по дороге. Мужики в телегах сворачивают в стороны и, когда мы проезжаем мимо, почтительно кланяются. Это вообще все встречные мужики, ко-



В. Вересаев (слева) со старшим братом Мишей. 1872 год.



В. Вересаев — студент Петербургского университета. 1885 год.

торые никого из нас даже не знали,— просто потому, что мы были господа. К этому мы уж привыкли и считали это очень естественным. И если мужик проезжал мимо нас, глядя нам в глаза и не ломая шапки, мне становилось на душе неловко и смутно, как будто это был переодетый мужиком разбойник.

И когда я жил у наших родственников-помещиков, я всегда чувствовал это почтительное отношение к себе мужиков и дворни. Звали «барин», смотрели ласковыми глазами, умиленно улыбались на мои ребяческие выходки. А тут же рядом, если то же самое сделает их собственный мальчишка,— грубый окрик или подзатыльник. Создавалось ощущение, что я сам по себе какой-то очень хороший, что мы особенная порода, не то что эти мальчишки с сопливыми носами и вздутыми, как шары, животами, в грязных холщовых рубашках, пахнущих дымом. Я, конечно, был великодушен и снисходителен, разговаривал с ними, играл. Но и они меня искренно считали каким-то как бы высшим существом, и я также искренно считал их существами низшими. Все они были очень милые,— и ребятишки, и бородатые их отцы, и рано постаревшие матери, но, конечно, все они стояли где-то там, далеко внизу, и была к ним нежно-задумчивая, приятная душе жалость.

Но часто случалось,— вдруг это самопочитание начинало колебаться и уплывать, и охватывал стыд за себя, и я казался себе ниже стоящим и презренным. Это было во время работ: когда длинною цепью косцы двигались по лугу, жвыкая косами, в крепком запахе свежесрезанной травы, или когда сметывались душистые стога, под шуточки парней и визги девок, или в золотисто-полутемной риге, под завывание молотилки, в веселой суете среди пыли и пышных ворохов соломы. Все — загорелые, пахнущие здоровым потом, исполненные величавой надменности и презрительности к неработающим. В чистенькой своей рубашечке, с безмозольными руками, я с завистью и подобострастием глядел на них, и было чувство щемящего одиночества, отчужденности, недостойности своей быть с ними наравне. За работами наблюдал дядя в парусиновом пиджаке или тетка в синей блузе. Мне казалось, что и на их лицах я в такие минуты читаю то же чувство некоторой приниженности и конфуза. И вдруг странно становилось: этот толстый неработающий человек в парусиновом пид-

жаке,— ему одному принадлежит весь этот простор кругом, эти горы сена и холмы золотистого зерна, и что на него одного работают эти десятки черных от солнца, мускулистых мужчин и женщин.

Отрочество, это тот хороший возраст, когда хорошую книгу хочется перечитать десять, двадцать раз, когда с каждым разом читать ее все приятнее. Мне счастье было: у нас много было хороших книг своих, их не нужно было на две недели брать из библиотеки и спешить прочесть, они всегда были под рукою. У брата Миши был подарочный Лермонтов, у меня накопились подарочные Гоголь, Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Помяловский. Накопил денег и купил себе полного Пушкина. У папы были подаренные ему пациентами сочинения Тургенева, Некрасова (хорошее четырехтомное издание с подробнейшими примечаниями,— я такого потом нигде не встречал). Этих писателей я читал и перечитывал, знал наизусть множество стихов, знал наизусть и целые куски прозы, например:

Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человек только осталось от всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки...

Или из «Записок охотника», как состязаются певцы и как в воздухе, наполненном тенями ночи, звучит далекое: «Антропка-а-а!» И много еще. Но не было у нас Льва Толстого, Гончарова, Достоевского, не было Фета и Тютчева. Их я брал из библиотеки, и они не могли так глубоко вспахать душу, как те писатели, наши.

Постоянно были у меня на столе — тоже кем-то подаренные папе — издания Гербеля: «Русские поэты в биографиях и образцах», «Немецкие поэты», «Английские поэты» — три увесистых тома. Откроешь наудачу и читаешь,—сегодня Баратынского или Клюшникова, завтра Ленау или Аду Кристен, там — Теннисона или Крабба. Незаметно, камешек за камешком, клалось знакомство с широкой литературой.

Я родился и вырос в Туле,— она входит в район московского говора, в район образцового русского языка. Казалось бы, язык у меня естественно должен быть хорошим. Но этого нет. Особенно с ударениями плохо. Всю жизнь приходилось отвыкать от неправильных ударений. Боярышник, ольха, взбешенный, новорожденный. Причина вот какая: в живом общении с людьми, из живой речи усвоена была только очень небольшая часть словесного запаса. Остальное было воспринято из немого чтения книги в одиночку. Мы росли сначала—на плохом литературном языке детских рассказов, потом — на хорошем литературном языке классиков.

Мы были знакомы с Конопацкими и раньше.

Мать их, Мария Матвеевна Конопацкая, держала лучшую в Туле частную школу и пансион. Школа готовила мальчиков и девочек к вступлению в казенные учебные заведения, репетировала живших пансионерами тут же, при школе, реалистов и гимназисток. У Конопацких был обширный дом на углу Старо-Дворянской и Площадной улиц. Марии Матвеевне помогали в занятиях по школе три ее девушки-сестры. Муж ее, бывший инспектор народных училищ, тоже преподавал в школе, был ее инспектором и грозою для мальчиков, не подчинявшихся женскому руководству.

Мы встречались с Конопацкими по праздникам на елках и танцевальных вечерах у общих знакомых, изредка даже бывали друг у друга, но были взаимно равнодушны: шли к ним, потому что мама говорила,— это нужно, шли морщась, очень скучали и уходили с радостью. Чувствовалось,— и мы им тоже неинтересны и ненужны.

На святках 1880—1881 года был танцевальный вечер у кого-то из знакомых. Были мы, были три старшие девочки Конопацких,— Люба, Катя и Наташа. Я пригласил Катю на вальс. В то время вальс танцевали не в три, а в два па,— это давало очень быстрое кружение. Не со всеми танцуется одинаково; с некоторыми бывает особенно как-то ловко и ладно танцевать,— когда без перебоев, легко и вольно кружится пара, как будто движимая однюю волею. Так оказалось с Катею. Она была рыжая, я к ней по этому поводу испытывал некоторое снисходительное сострадание. Но так было приятно с нею танцевать.

что я то и дело стал подходить к ней. И вдруг увидел, чего раньше не замечал,— что она поразительно хорошенькая! Милое матово-белое, легко краснеющее лицо, лукавые глаза и совсем особенная, медленная улыбка. И глаза эти приветливо уже смеялись мне навстречу, когда я уверенно подходил к Кате и кланялся. Она вставала, я обнимал ее тонкий стан подростка, она клала свою ручку на мое плечо,— и мы начинали кружиться по паркету. Опьяняло душу это наслаждение быстрого, беструдного и слитного кружения, похожего на совместный полет в ритмически-колеблющихся, музыкальных пространствах.

Да! Как же я раньше этого не замечал? Удивительно милая. Мы сидели рядом, весело разговаривали, смеялись. Удивительно милая. И к лицу ее больше всего идут именно рыжие волосы,— только не хотелось употреблять этого слова «рыжий». Густая, длинная коса была подогнута сзади и схвачена на затылке продолговатою золотою пряжкой. Это к ней очень шло. Я это ей сказал: как будто золотая рыбка в волосах, и сказал, что буду ее называть «золотая рыбка».

Катя была вторая из сестер, на три года моложе меня. Старшая, Люба, на полгода меня старше, была уже взрослая, полногрудая, с нею танцевали старшие гимназисты и студенты, за нею явно ухаживал и все время танцевал с нею гимназист-дирижер Филипп Иванов. Мне танцевать с нею было неловко: она была для меня слишком тяжела и громоздка, и смущал ощущавшийся под рукою твердый корсет. Но и она,— я теперь увидел,— тоже была хороша: с темной косою до пояса, круглым румяным лицом и синими глазами навыкате. Ах, очень даже хороша,— настоящая русская красавица. Только я казался себе слишком для нее мальчишкою. Очаровательна была и третья, Наташа, очень светлая блондинка с ясными глазами, веселая хохотушка. Танцевать с нею было хорошо, почти даже так, как с Катей.

Как будто кто-то пленку снял у меня с глаз. Как это вдруг и почему случилось? Скучные, официально знакомые девочки преобразились и засияли поэзией и очарованием.

Я спросил Катю, будут они завтра на балу у Занфтлебен? Она сказала,— будут. Я пригласил ее на первую кадриль, а Наташу на вторую. И каждый день почти мы стали с ними видеться. И стали они все три для меня не просто знакомыми, даже не просто хорошенькими, а милыми, близ-

кими. Когда они были в танцевальной зале, все становилось светлым, значительным и радостным.

Они пригласили меня прийти к ним днем. Я провел у них целый день до позднего вечера. Мне было очень хорошо. Когда, провожая меня, все стояли в передней, Катя вдруг сказала:

— Приходите завтра опять к нам.

И все подхватили:

— Правда, приходите!

Начался для меня какой-то светлый, головокружительный, непрерывный праздник. Каждый раз, когда я вечером прощался, они меня приглашали к себе на завтра, и я совсем исчез из дому. Но теперь были праздники, а у нас дома смотрелось на это так: праздники — для удовольствий, в это время веселись вовсю. Зато будни — для труда, и тогда удовольствия только мешают и развлекают. А теперь были праздники.

Очень большая, темноватая гостиная с полированными восьмигранными деревянными колоннами. Колонны на середине высоты охвачены венками из резных дубовых листьев. Стрельчатые окна, вверху их — разноцветные мелкие стекла, синие, красные, зеленые, желтые. Мария Матвеевна, полная, с доброй улыбкой, сидит в кресле и расспрашивает меня о здоровьи папы и мамы, о моих гимназических делах, о бабушке и тете Анне. Муж Марии Матвеевны, Адам Николаевич, высокий, плотный и бритый, молча расхаживает по гостиной и только изредка, посмеиваясь, вставляет в разговор слово. Тут же и сестры Марии Матвеевны и девочки, конечно.

Эти все разговоры — так, введение только. Потом мы остаемся в своей компании — Люба, Катя, Наташа, я,— и с нами неизменно Екатерина Матвеевна, тетя Катя, сестра Марии Матвеевны, с черными смеющимися про себя глазами, очень разговорчивая. Ей не скучно с нами, она все время связывает нас разговором, когда мы не можем его найти. Как теперь догадываюсь,—конечно, она неизменно с нами потому, что нельзя девочек оставлять наедине с мальчиком, но тогда я этого не соображал.

Увлечение мое морской стихией в то время давно уже кончилось. Определилась моя большая способность к языкам. Папа говорил, что можно бы мне поступить на факультет восточных языков, оттуда широкая дорога в дипломаты на Востоке. Люба только что прочла «Фрегат Пал-

ладу» Гончарова. Мы говорили о красотах Востока, я приглашал их к себе в гости на Цейлон или в Сингапур, когда буду там консулом. Или нет, я буду не консулом, а доктором и буду лечить Наташу.

— Наташа, покажите язык!

Она отказывается, хохочет. Я рисую на бумаге Наташу с высунутым длинным языком и себя рисую,— стою перед нею и держу ее за язык.

Катею я все время исподтишка любовался и не мог понять,— почему я давно не заметил, какая она красавица. Лицо было чудесного бело-матового тона, легко красневшее нежным румянцем; медленный взгляд глаз в сторону; и эта ее улыбка. Мне и теперь кажется, что Катя была исключительною красавицею, с удивительно тонкими и изящными чертами лица. Много позже, когда я в Лувре смотрел на портрет Монны-Лизы,— что-то в ее загадочной улыбке мне было знакомое,— ее я видел у Кати. И еще мне напомнил Катю портрет возлюбленной Пушкина, графини Воронцовой, где она стоит около органа, в берете со страусовым пером.

4 января, в день моего рождения, был, по обыкновению, танцевальный вечер у нас,— были и Конопацкие. 5 января — пост, и в гости нельзя. Шестое — последний день праздников — провел у Конопацких. Я их пригласил прийти весною к нам в сад. Простились. И — трах! — как отрезано было ножом все наше общение. Началось учение,— теперь в гости нельзя ходить; это слишком развлекает. Но в душе моей уж неотступно поселились три прелестных девических образа.

Это проводилось у нас очень строго: делу время, а потехе час. В учебное время — никаких развлечений, никаких гостей. Даже если очень какой-нибудь интересный был концерт или спектакль, мама отпускала нас неохотно, и это всегда было исключением. Даже в воскресенья и праздники во время учения — все равно: зачем в гости? Мало братьев и сестер? Играйте между собою, сколько угодно. Мы росли, как в монастыре, и совсем отвыкали от общения с людьми,— только с товарищами виделись в гимназии. Тетя Анна возмущалась таким воспитанием, доказывала маме, что мы растем настоящими дикарями, что

так девочки никогда ни с кем не познакомятся и не выйдут замуж. Мама возражала:

— Э! Все в божьей воле! Я вот сама никогда ни с кем не знакомилась, собиралась в монастырь,— а вот вышла же за папочку. Господь захочет,— все будет так, как надо.

По-видимому, родители очень боялись, чтобы из нас не вышли светские щелкуны и бездельники. Такими мы не вышли. Но большинство из нас на всю жизнь остались неразговорчивыми домоседами-нелюдимами.

Карты считались очень опасным развлечением, в них дозволялось играть только на святки и на пасху. Зато в эти праздники мы с упоением дулись с утра до вечера в «дураки», «свои козыри» и «мельники». И главное праздничное ощущение в воспоминании: после длинного предпраздничного поста — приятная, немножко тяжелая сытость от мяса, молока, сдобного хлеба, чисто убранные комнаты, сознание свободы от занятий — и ярая, целыми днями, карточная игра.

Однажды на этой почве произошло большое недоразумение. Младший мой братишка Володя увидал, что сестры в будни играли в «дураки», и начал их стыдить:

— Как вам не стыдно? Разве не знаете, что карты — святая игра? В них можно играть только в очень большие праздники!

Была такая хрестоматия Ходобая и Виноградова,— с разными отрывками и рассказцами для перевода с латинского на русский и с русского на латинский. Попался мне там один рассказец: «Геркулес на распутьи». И вдруг вздумалось мне переложить его в стихи.

До тех пор никаким сочинительством я не занимался. Раз только, когда мне было лет девять, я сшил себе хорошенькую тетрадку, старательно ее разлиновал, на первую страницу «свел» очень красивый букет из роз,— сводные картинки у нас почему-то назывались хитрым и непонятным словом «деколькомани»,— надписал заглавие: «Сказка» и дальше стал писать так:

Наступил вечер. В кустах сидел мальчик небольшого роста и ел яблоки. Вдруг из ямки выскочил один оборванный мальчик и сказал:
— Мальчик, хочешь, я тебе расскажу сказочку, а?

Но дальше ничего не мог придумать.

Теперь мне неожиданно захотелось переложить в стихи рассказ из хрестоматии Ходобая. Когда сочинилось четыре стиха с рифмами, я подбодрился и стал сочинять дальше. С неделю сочинял. Старался, потел, падал духом и опять подбадривался. Оживить рассказ не хватало фантазии, и я рабски старался держаться подлинника. В результате всех трудов получилось следующее замечательное произведение:

НА РАСПУТЬИ

Алкида некогда, с которым в силе
Никто б равняться не посмел,
Богини две, явившися, спросили,
Какой себе желает он удел.
Одна из них была почти совсем нагая,
Со взором наглым и живым;
Себя самодовольно озирая,
Она явилася пред ним.
«Если бы,— она сказала,—
Ты последовал за мной,
То тебе б я показала,
Как приятен мой покой.
Ты примеру большей части
Человеков подражай,
И в несчастьи, как и в счастьи,
Лишь меня ты призывай».

— Какую ж долю ты мне предлагаешь? —
Спросил Геракл, оборотяся ко другой,
Которая пред ним стояла
Во всем величии своем.
Она была не так прекрасна,
Как Сладострастье, но зато
К себе всех смертных привлекало
Ее спокойное лицо.
На Геркулеса посмотревши,
Она сказала: «Если ты
Захочешь следовать за мною,
То брось все сладкие мечты.
Не предаваяся покою,
Не испугавшися труда,
Ты должен трудною дорогой
Идти без страха и стыда.

За мной идут немногие,
Но всё великие мужи,
Которые безропотно
Несут тяжелые труды.
Но я веду их всех к бессмертию,
Введу в собрание богов,
И будет слава их бессмертная
Блистать в теченье всех веков».

Тогда-то, свыше вдохновенный,
Воскликнул юноша: «Тебя
Я избираю, Добродетель,
Во всех делах вести меня.
Пускай другие предаются
Тому презренному покою,
А я тебе тобой клянуся
Всегда идти лишь за тобою!»

Тула
Января 1881 г.

Я был весьма доволен своим трудом. Сшил тетрадку в осьмушку листа и на первой странице красиво переписал начисто это стихотворение. А потом: «1881 г. 9 января. Вот я сегодня переписал набело первые мои стихи..» И начал дневник, который вел довольно долго.

Свершив описанный геркулесовский подвиг, стихотворческий гений мой почил на весьма продолжительное время — на полтора года.

Сестренки Маня и Лиза сидели на зеленом диванчике в углу классной. Лиза, содрогаясь, слушала, а Маня, горя глазами, высоко подняв голову, вдохновенно рассказывала про какого-то героя, переживавшего великие душевные муки:

— Он был бледен, как драная корова, он дрожал, как засаленный колпак, из глаз его текла смола...

Я услышал и расхохотался, и поднял Маню на смех. И всем рассказал, и навсегда в нашей семейной памяти остался этот отрывок из Маниного рассказа

Уже взрослою Маня не раз вспоминала, как больно ей было и обидно, что я так подсек ее рассказчицкое вдохновение. Ей казалось, что описание мук героя было потрясающее, и Лиза подтверждала: да, она слушала и содрогалась и ужасно была поражена: что мне тут показалось смешным?

---

2 марта мы узнали, что царь убит в Петербурге бомбой. Все большие события, и радостные и печальные, на гимназической нашей жизни прежде всего отзывались

тем, что вместо уроков нас вели на благодарственный молебен или на панихиду и потом отпускали по домам. Так что нам всегда было удовольствие.

Отслужили панихиду по Александру II, молебен о вступившем на престол Александре III и отпустили домой. Я шел по Площадной улице. Вдруг вижу, от Красноглазовского переулка, впереди меня, переходит улицу Люба с книгами в ремнях; тоже после панихиды распустили. У нее была совсем особенная, мне очень нравилась, плывущая походка,—как будто бы лодка качается на тихой волне. И совсем уже взрослая барышня. Большие синие, выпуклые глаза,— она шла впереди меня, но мне казалось,— она меня видит и позади этими глазами. Выражение лица было застенчиво-ожидающее. Да, она видит меня, это несомненно. Видит и ждет, что я нагоню ее, заговорю с ней.

Я стал краснеть, краснеть, сердце забилось медленными крепкими толчками, дыхание сперло. Я притворился, что не вижу Любы, лихим, беззаботным шагом быстро прошел по тротуару,— раньше, чем она взошла на него с улицы. И тем же молодецким манером зашагал вверх по Ново-Дворянской улице. Около дома Щегловых оглянулся. Люба уже скрылась за углом Площадной. Но перед глазами все еще были и ее чудесная густая коса ниже пояса, и синие глаза, и застенчиво заалевшая щека... Пропустил! Отчего же я не подошел?! К-а-к-о-й б-о-л-в-а-н! Ох, какой непроходимый болван!

И дома все время стояла перед глазами Люба, светло было, радостно на душе, и думалось: да, она ждала, что я подойду к ней, ей хотелось этого!

Любимым политическим деятелем папы был Гладстон, кабинетный его портрет стоял у папы на письменном столе. С горячим сочувствием он следил за деятельностью Лорис-Меликова и говорил, что долг русского общества— тактичным своим поведением облегчить ему осуществление его стараний дать России конституцию. В это время по всей Руси гремели взрывы революционеров, устроивших форменную охоту за Александром II. Папа страшно возмущался, говорил о том, как это тормозит работу Лорис-Меликова, как это на руку темным силам, с Катко-

вым во главе, которые отговаривают царя от либеральных реформ.

1 марта особенного впечатления на меня не произвело. Больше всего тут занимало, что будет царь не Александр II, а Александр III, и что в церковной службе теперь все изменится: «благочестивейшим, самодержавнейшим» будет Александр Александрович, цесаревна Мария Федоровна будет императрицей, а великий князь Николай Александрович — «благоверным государем-цесаревичем».

Вообще же убийство царя произвело, конечно, впечатление ошеломляющее. Один отставной военный генерал,— он жил на Съезженской улице,— был так потрясен этим событием, что застрелился. Папа возмущенно сообщал, что конституция была уже совсем готова у Лорис-Меликова, что царь на днях собирался ее подписать,— и вдруг это ужасное убийство! Какое недомыслие! Какая нелепость!

Пришел очередной номер журнала «Русская речь»,— папа выписывал этот журнал. На первых страницах, в траурных черных рамках, было напечатано длинное стихотворение А. А. Навроцкого, редактора журнала, на смерть Александра II. Оно произвело на меня очень сильное впечатление, и мне стыдно стало, что я так легко относился к тому, что случилось. Я много и часто перечитывал это стихотворение, многие отрывки до сих пор помню наизусть. Начиналось так:

На острове низком, за крепкой оградой,
Омытой волнами Невы,
Во граде Петровом, давно уже ставшем
Столицею после Москвы,
Под сенью соборного храма, в могиле,
Среди тишины гробовой,
Лежит государь, император России,
Сраженный злодейской рукой.
Сожжен, искалечен ужасным снарядом,
Лежит его царственный прах
С улыбкою горькой немого укора
На полуотверстых устах...

Каждый раз, когда я доходил до этого места, рыдания подступали к горлу, и сквозь пленку слез буквы в книге двоились и расплывались. *С улыбкою горькой немого укора!*

Подлинная выписка из тогдашнего моего дневника:

Вторник 19 мая (1881 г.).

Сегодня у нас был греческий экзамен; я через два часа после начала попросился выйти: пришедши в сортир, я увидел, что там на окне лежат греческие этимология и синтаксис. Я сначала не хотел туда заглянуть, но уж очень мне хотелось знать, с чем ставится phthonéo [1],— с дательным или винительным? Я в переводе поставил с дат.; посмотревши в синтаксис, я увидел, что нужно с винит.; пришедши в класс, я поправил мою ошибку; но потом мне сделалось совестно («плутовство! плут!»— думал я); я долго колебался, но, наконец, зачеркнул правильную форму и сделал прежнюю ошибку,— ведь если бы я не сплутовал, то все равно стояло бы так.

Только что кончились переходные экзамены из пятого класса в шестой. Было то блаженство свободы, отсутствия нависшей угрозы, заслуженного права на отдых, какое бывает только после экзаменов. Да еще в первый раз я получил награду первой степени. До тех пор я переходил из класса в класс с наградой второй степени,—похвальным листом. Теперь я должен был получить какую-нибудь хорошую книгу в красивом переплете.

Стоял май, наш большой сад был, как яркое зеленое море, и на нем светлела белая и лиловая пена цветущей сирени. Аромат ее заполнял комнаты. Солнце, блеск, радость. И была не просто радость, а непрерывное ощущение ее.

Под вечер сидел я на балконе и читал. Вдруг горничная:

— Викентий Викентьевич, пришла какая-то дама с барышнями, спрашивают вас.

Я разом задохнулся, сердце екнуло от радости и смущения. Я сейчас же догадался, что это—Конопацкие. Они еще на святках обещались мне прийти к нам в сад, когда кончатся экзамены. Я бросился в переднюю, неприятно чувствуя, что совершенно красен от смущения.

---

[1] Завидую *(греч.)*.

Да! Девочки Конопацкие с их тетей, Екатериной Матвеевной. И Люба, и Катя, и Наташа! Я повел гостей в сад... Не могу сейчас припомнить, были ли в то время дома сестры, старший брат Миша. Мы гуляли по саду, играли,— и у меня в воспоминании я один среди этой опьяняющей радости, милых девичьих улыбок, блеска заходящего солнца и запаха сирени.

У Конопацких не было сада. Я наломал им в нашем саду огромные букеты сирени. В сумерках они собрались уходить. Я пошел их проводить. Прозрачные, слабо светящиеся майские сумерки, тихие белые улицы, запах душистых тополей из садов. Давно исчезло смущение, которое было вначале, чувствовалось с Катею легко и свободно. Она продела свою руку мне за локоть, и я повел ее под руку; это у нас не было принято, это была как будто игра, и в то же время было доверчиво-интимно. У их ворот, на углу Площадной и Старо-Дворянской, мы долго еще стояли, прощаясь. Я разговаривал с Екатериной Матвеевной, а Катя лукаво смеющимися глазами смотрела на меня и не выпускала из своих ручек моей правой руки, изредка пожимая ее.

Долго я ходил по улицам, пьяный светлым, блаженным хмелем. Благодарный и торжествующий смех подступал к груди, когда я вспоминал Катин взгляд и как она держала в своих руках мою руку. Была в этом рукопожатии детская, товарищеская чистота — и в то же время пробуждавшаяся девичья любовь. Так полна была душа, так радостно все в ней сверкало, билось и пело, что хотелось кому-то принести эту невместимую радость, благодарственною жертвою сложить к чьим-то ногам и молиться и широко простирать руки... Как хорошо! Как все хорошо в мире!

Сошел я вниз, в комнату, где жил с братом Мишею. Зажег лампу. И вдруг со стены, из красноватого полумрака, глянуло на меня исковерканное мукою лицо с поднятыми кверху молящими глазами, с каплями крови под иглами тернового венца. Хромолитография «Ecce homo!» [1] Гвидо Рени. Всегда она будила во мне одно настроение. Что бы я ни делал, чему бы ни радовался, это страдающее божественною мукою лицо смотрело вверх молящими глазами и как бы говорило:

«Отче! Прости ему! Не ведает бо, что творит!»

[1] «Вот человек!» *(лат.)*

И становилось стыдно, блекнул блеск, обесцвечивалась радость, глаза виновато опускались. Чтоб это лицо не укоряло, нужно было быть серьезным, строгим и скорбным.

И теперь, из окутанного тенью угла, с тою же мукою глаза устремлялись вверх, а я искоса поглядывал на это лицо,—и в первый раз в душе шевельнулась вражда к нему... Эти глаза опять хотели и теперешнюю мою радость сделать мелкою, заставить меня стыдиться ее. И, под этими чуждыми земной радости глазами, мне уже становилось за себя стыдно и неловко... Почему?! За что? Я ничего не смел осознать, что буйно и протестующе билось в душе, но тут между ним и мною легла первая разделяющая черта.

У дедушки Викентия Михайловича, папиного дяди,— я об нем уже рассказывал,— было два сына. Один, Николай, получил от отца в наследство село Теплое, вскоре продал его и жил где-то в Минской губернии. Его и семью его мы почти не знали. Другой, Гермоген Викентьевич, жил в Рогачеве Могилевской губернии, служил там в акцизе. У него была тетка по матери, Ольга Богдановна Курбатова, богатая тульская помещица, он был ее любимый племянник. Она оставила ему в наследство два из своих многочисленных имений, разбросанных по Тульской губернии,— Зыбино и Щепотьево, верст за восемь одно от другого, в общей сложности десятин пятьсот. В Зыбине — огромный барский дом, где жила и умерла она сама.

Известно, что у нас на Руси было два дела, для которых не считалась нужною никакая предварительная подготовка,— воспитание детей и занятие сельским хозяйством. Гермоген Викентьевич подал в отставку и приехал в Зыбино хозяйничать. Он был хорошим и исполнительным чиновником, но хозяином оказался никуда не годным. На наших глазах все постепенно ветшало, ползло, разваливалось. Оборотного капитала не было: чтобы жить, приходилось продавать на сруб лес и — участками — саму землю.

С его семьею жизнь наша переплелась самым тесным и многообразным способом, и долгие годы мы жили почти как одна семья.

Закрываю глаза,—и так мне представляется тогдашнее Зыбино. Прежде всего — ярко-солнечная зелень огромного сада; вся она полна птичьим стрекотанием, свистом, чириканьем; особенно выдается своею необычностью (у нас в Туле я никогда не слыхал) гулкое воркование горлинок. Почему-то их всегда было в Зыбине очень много. Липовые аллеи, густые черемуховые и вишневые заросли, древние плакучие березы-великаны с какою-то особенною травою под ними,— длинною, редкою и шелковистою. Тихая речка Вашана под горой, полная до краев: за полверсты ниже нее — плотина и мельница.

Огромный старинный барский дом с несчетным количеством комнат. Полы некрашеные, везде грязновато; в коридоре пахнет мышами. На подоконниках огромных окон бутылки с уксусом и наливками. В высокой и большой гостиной — чудесная мебель стиля ампир, из красного дерева, такие же трюмо, старинные бронзовые канделябры. Но никто этому не знает цены, и мы смотрим на все это, как на старую рухлядь.

В просторном кабинете, за широким письменным столом, сгорбившись, сидит в халате Гермоген Викентьевич, дядя Геша,— очень толстый, с выпуклыми близорукими глазами. На стене портреты в рамках, среди них много дагерротипов: слепое серебряное поле, и только если смотреть сбоку, то видны дамы в буклях и кринолинах, мужчины во фраках, с маленькими бачками. Стекла больших окон — пыльные, засиженные мухами. Посмотреть в окно,— за кучами валежника треплется под ветром крапива, а дальше — кирпичные развалины. Работник Николашка, рассчитанный за пьянство, поджег службы, сгорели амбар, сарай, конюшни, остались от них только кирпичные стены; внутри — груды кирпичей, густая крапива и кусты бузины.

Звонко по дому и по двору разносится голос тети Марии Тимофеевны,— всегда она кого-нибудь распекает, и за горелым сараем четко отдается: та-та-та-та-та!

Семья у них тоже, как у нас, была большая — семь человек детей. Две старшие девочки, Оля и Инна, были года на три, на четыре моложе меня, потом шел сын Викентий, мой тезка; меня звали Витя-Большой, его Витя-Малый. Дальше шла мелюзга, которою я еще не интересовался.

В 1880 году Оля и Инна поступили в тульскую жен-

скую гимназию. Родители продали на сруб щепотьевский лес и купили в Туле двухэтажный дом на Старо-Дворянской улице, за угол от нас кварталом выше, наискосок от дома бабушки. В нижнем этаже поселились сами, верхний отдавали внаймы.

С этой поры началось тесное сближение двух наших семей. Родственники мы были довольно отдаленные,— троюродные друг другу братья и сестры, но росли почти как одной семьей и чувствовали себя друг с другом ближе, чем с многочисленными двоюродными братьями.

У нас больше были блондины, у них брюнеты. И прочно установилось название: Смидовичи белые — мы; Смидовичи черные — они. Различались мы не только цветом волос: дух семей, темпераменты, жизнеотношение — все было совершенно различное. Характерные семейные особенности: у черных — бесстрашие перед жизнью, большая активность, всегда ожидание всего самого лучшего, организаторские способности, уменье легко сближаться с людьми; с другой стороны,— неразборчивость в средствах, грубость в обращении с людьми, самоуверенность. У белых Смидовичей: культурность и корректность, щепетильная честность, большая деликатность,— даже выражение у нас было: «чисто-белая деликатность!» С другой стороны,— отсутствие активности и инициативы, полное неверие в свои силы, ожидание от жизни всего самого худшего, поэтому робость перед нею, тугость в сближении с людьми, застенчивое стремление занять везде местечко подальше и поскромнее. Несмотря на такое различие, мы жили очень тесно и дружно. Влияние друг на друга было сильное и многообразное.

Летом мы жили у них в Зыбине, зимою постоянно видались в Туле. Основная наша компания была: Оля и Инна, мои родные сестры — Юля, Маня, Лиза и Витя-Малый. В этой, преимущественно девичьей, компании я был самым старшим, самым развитым и властвовал над нею безраздельно. Был организатором игр, прогулок, состязаний,— как старший, везде, конечно, первенствовал, и во всех играх все рвались быть в моей партии,— в городках, в крокете, в лапте. Я очень любил рассказывать, а они слушать меня. Во время летних прогулок — на копне сена или на обрыве над речкой Выконкой, в дождливые дни — в просторной гостиной, на старинных жестких диванах красного дерева,— я им долгие часы рассказывал

или читал, сначала сказки Гоголя и Кота-Мурлыки, «Тараса Бульбу», исторические рассказы Чистякова, потом, позже,— Тургенева, Толстого, «Мертвые души», Виктора Гюго. Все жадно теснились ко мне, старались сесть поближе, ловили каждое мое слово. Это было сладко и радостно. И часто я недоумевал: почему так легко и вдохновенно говорится мне в нашей зыбинской компании,— и часто так трудно, так напряженно вяжется разговор у Конопацких. Когда я приезжал в Зыбино, я с головою окунался в атмосферу общей любви, признания и скрытого восхищения. И я очень любил бывать в Зыбине. Раз шел с купанья домой, с простыней на плече. Сгущались зеленоватые июньские сумерки, чаща сада темнела, сквозь ветки горела вечерняя звезда; дом сиял огромными освещенными окнами, смех, звон посуды, звуки рояля из гостиной. Бодрая крепость в теле, ощущение прочной чистоты от частого купанья, сейчас вкусный ужин, все тебя любят, все тебе рады. И странно мне стало: как это Фауст не нашел в своей жизни ни одного мгновенья, чтобы сказать: «Остановись, ты прекрасно!»

Больше всего в то время я дружил с Витькою-Малым. Он был на пять лет моложе меня,— мальчишка приземистый, очень сильный, с насупленными бровями.

Если стать на дворе перед домом, то слева и справа высились белые каменные столбы ворот. Левые ворота вели в широкую липовую аллею сада. Правые тоже вели в сад,— он назывался Телячий сад, потому что в нем пасли телят. Не было тут ни аллей, ни дорожек; только разбросанные группы деревьев и огромные одиночные липы с ветками, спускавшимися до земли. От двора Телячий сад отгораживали кирпичные развалины горелого сарая, под растрескавшимися его стенами росла темнолистная бузина и высоченнейшая крапива; густые армии этой же крапивы тянулись от развалин в глубину Телячьего сада.

Сколько тут было боев с поляками, сколько посечено казацкими шашками ляшских голов! Я был Тарас Бульба, Витя-Малый — Кукубенко, невидимо присутствовали и Остап, и Андрий, и Мосий Шило, и Демид Попович. У нас были вырезанные мною из дерева шашки, ружья, кинжалы. Мы бешено врубались в крапиву и проклады-

вали себе дорогу сквозь гущу ляхов и лихо сбивали головы их начальникам,— красноголовым репейникам-татарникам.

Потом мы решили построить себе курень. Выбрали укромное место в канаве старого сада, густо заросшее лозняком и черемухой. Расчистили дно и стенки, устроили стол, в откосах канавы вырыли сиденья и погреб для припасов, развесили по сучкам свое оружие. Отсюда мы делали набеги на ляхов, сюда скрывались от их преследования.

За обедом мы потихоньку заворачивали в бумагу куски еды. Девочки это заметили, заметили также, что мы на целые часы исчезаем куда-то. И вот однажды сидим мы в своем курене, распиваем горилку,— сахарную воду с малиновым соком,— вдруг слышим невдалеке говор, треск сучьев. Подкрались: в десяти шагах от нас, в нашей же канаве, Инна и Маня лопатами расчищают себе совсем такое же убежище, как наше. Мы на них налетели: какое они имеют право? Здесь мы играем! «Мы вам не мешаем,— играйте, пожалуйста! А канава не ваша!»

Долго мы препирались, подошли другие девочки. Я требовал, чтоб они тут не делали дома,— стройте в Телячьем саду или на другом конце сада. Но девочки видели наш прекрасный дом и не могли себе представить, как можно такой дом построить в другом месте, а не в этой же канаве. Меня разъярило и то, что наше убежище открыто, и еще больше, что задорные Инна и Маня не исполняют моих требований, а за ними и другие девочки говорят:

— Кто же вам подарил всю канаву?

Я разозлился и сказал угрожающе:

— Ну, вот что! Подарил кто или не подарил, а знайте,— заранее вас предупреждаю: если мы кого из вас застанем здесь, в канаве, то поднимем той юбочку и всыплем таких горячих, что долго будет помнить!

Девочки не испугались и стали строить свой дом. Мы тогда охладели к своему и бросили его. Тогда и девочкам стало неинтересно, и они перестали строить дом. Я их обличал и стыдил и обливал презрением:

— Видите! Только, чтоб назло! Добились своего, заставили нас бросить — и сами перестали... Никогда вам за это не стану ничего рассказывать!

И часто нарочно, чтоб они слышали, вставал и говорил Вите:

— Ну, Витька, пойдем дальше рассказывать. Мы, значит, остановились на том, как пан Данило ехал с хлопцами по Днепру на лодке и как мертвецы на кладбище подымались из могил...

И мы уходили, и девочки с горем и завистью провожали нас глазами.

Наконец, мы помирились с девочками и в той же канаве сообща стали строить большой дом. Выстроили, целых две недели пользовались им, до нашего отъезда.

Сестры уехали в Тулу раньше, а я после них через три дня. Приехал домой. Как всегда после Зыбина, комнаты нашего дома показались мне странно маленькими, потолки низкими, давящими душу. Бросился целоваться с папой,— он сухо ответил на мой поцелуй и молча отвернулся. Мама тоже встретила холодно. В чем-то, значит, проштрафился! Всегда, когда я откуда-нибудь приезжал домой, я мог неожиданно встретить строгое, укоризненное осуждение, потому что нигде к нам не предъявляли таких несгибающихся моральных требований, как дома.

На следующий день мама с возмущением заговорила со мною об угрозе, которую я применил к девочкам в нашей ссоре за дом. Рассказывая про Зыбино, сестры рассказали маме и про это. А папа целый месяц меня совсем не замечал и, наконец, однажды вечером жестоко меня отчитал. Какая пошлость, какая грязь! Этакие вещи сметь сказать почти уже взрослым девушкам!

— Да я бы этого, правда, не сделал. Я только попугать. Зачем же они...

— Правда, не сделал бы! Да если бы ты это, *правда*, сделал, я бы тебя сейчас же выгнал вон из дома, навсегда бы отрекся от тебя. Так позволить себе обращаться с девушкой! Ни минуты не потерпел бы у себя такого негодяя.

Как я начал курить.— Отец мой курил. Сколько мне приходилось наблюдать, легче всего привыкают курить и труднее всего отвыкают от курения люди, родители которых курили. Может быть, тут уже наследственно, с кровью, передается склонность к курению (передается же склонность к пьянству); несомненно, что организм детей приучается с раннего детства к никотину, потому что они все время вдыхают табачный дым курящего отца.

И, наконец,— для ребенка в большинстве случаев именно отец его является олицетворением «взрослости», а ребенку всегда нравится казаться взрослым.

Был я тогда, помнится, в шестом классе. Многие мои товарищи давно уже курили. На переменах, в уборных, торопливо затягивались раз за разом и пускали дым в отдушники и возвращались с противным запахом дешевого табаку. Мне очень хотелось курить. Во-первых, потому что это запрещалось и у того, кто курил, был особый оттенок лихости. А главное, это делало взрослым. Голос у меня уже ломался, на верхней губе, если внимательно вглядеться, пушок был гуще и длиннее, чем на лбу или щеках. Но это все еще можно было оспаривать. Папироса же во рту,— это был факт, против него ничего уж не возразишь.

Стояла поздняя осень, когда балконные двери уже законопачены и обмазаны замазкою и когда в сад можно пройти только через кухню и двор. В саду холод, безлистный простор, груды шуршащих листьев под ногами, не замеченная раньше пара красных китайских яблочек на высокой ветке, забытая репа в разрытой огородной грядке. Есть это было особенно вкусно.

Мы с товарищем Фомичевым ушли подальше в большую аллею, чтоб нас нельзя было увидеть из окон дома. Я вынул из кармана коробочку папирос,— сегодня купил: «Дюбек крепкий. Лимонные». Взяли по папироске, закурили. Фомичев привычно затягивался и пускал дым через нос. У меня кружилась голова, слегка тошнило, я то и дело сплевывал. Фомичев посмеивался:

— Ишь, как побледнел!

Пробыли в саду, пока не стало темнеть. Коробочку с папиросами я спрятал в щель под большой беседкой. Уходя домой, Фомичев мне посоветовал:

— Прополощи хорошенько рот. А то будет пахнуть,— узнают.

Пополоскал. Совестно глядеть папе и маме в глаза. Противно, что прячешься. На следующий день сделал над собою усилие, подошел к папе и рассказал, как мы вчера курили.

У папы потемнело лицо от печали, он оперся лбом о ладонь и долго молчал. Потом грустно сказал:

— Если ты будешь курить потихоньку, прячась в сортире и за кустами, то уж лучше кури открыто.

Мне было совестно. И жалко папу. Но все это покрылось совершенно мною не ожиданной радостью: *кури открыто*.

Я виновато вздохнул, опустил голову и медленно вышел из кабинета. Потом радостно побежал к сестрам и объявил:

— Знаете, папа мне позволил курить!

— Неправда!

— Ч-честное слово!

И вот после обеда я торжественно закурил папиросу. «Лимонные. Дюбек крепкий». Принес из сада. Девочки стояли вокруг и смотрели. Я смеялся, морщился, сплевывал на пол. Папа молча ходил из столовой в залу и назад,— серьезный и грустный, грустный. Иногда поглядит на меня, опустит голову и опять продолжает ходить.

У меня щемило на душе, я старался на него не смотреть,— и плевал в угол, и говорил:

— Какая, в сущности, гадость!

И опять втягивал дым в рот.

До шестого класса гимназии я искренно и полно верил в православного бога. Одно время, с полгода,— помнится, было это в четвертом классе,— я переживал период аскетизма: постился с умилением, ходил на все церковные службы, перед гимназией заходил к Петру и Павлу к ранней обедне, молился перед сном горячо и подолгу.

Но это скоро кончилось. Бог стал для меня — несомненно, конечно, существующим — высшим начальством: критиковать это начальство было грешно, и за ослушание оно наказывало жестоко. Иногда вечером, когда ляжешь спать,— мягко, тепло, в теле истомное блаженство от уверенно наплывающего молодого сна,— и вдруг в голову мысль:

«Тебе сейчас хорошо. А что будет на том свете? Шалишь, грешишь, о смерти не думаешь... Тогда пожалеешь! Неужели не выгоднее как-нибудь уж потерпеть тут, на этом свете,— всего ведь несколько десятков лет. А зато там — безотменное блаженство на веки вечные. А то вдруг там тебе — ад! Ужаснейшие муки,— такие, какие даже представить себе трудно,— и навеки! Только подумать:

на веки вечные!.. Эх-эх-эх! Не забывай этого, Витя! Пожалеешь, да поздно будет!»

Всегда умиляло и наполняло душу светлою радостью то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Он невидимо стоит около меня, радуется на мои хорошие поступки, блистающим крылом прикрывает от темных сил. Среди угодников были некоторые очень приятные. Николай-угодник, например, самый из всех приятный. Ночью под шестое декабря он тайно приходил к нам и клал под подушку пакеты. Утром проснешься — и сейчас же руку под подушку, и вытаскиваешь пакет. А в нем пастила, леденцы, яблоки, орехи грецкие, изюм.

В семье нашей царил очень строгий религиозный дух. Мы постились сплошь все посты: великий (семь недель) — весною, петровский (с месяц) — летом, успенский (две недели) — осенью и филипповский (шесть недель) — зимою, перед рождеством. Кроме того, постились каждую среду и пятницу. Очень от этих постов приходилось тяжко, и, думаю, много они принесли нам вреда, особенно тем из братьев и сестер, которые были не так крепки, как я. Было непрерывное ощущение голода, чисто физическая тоска в теле и раздражение, тупая вялость в умственной работе. А работа умственная требовалась колоссальная: пять часов продолжались уроки в гимназии; придешь домой,— обед, час-два отдыха; от пяти до шести — занятия с гувернанткою нашей Марией Порфирьевной, один день немецким языком, другой день французским; потом уроки учить часов до одиннадцати. Часов десять умственной работы! Это у ребят одиннадцати, двенадцати лет! И как мы все от этой умственной работы не сделались идиотами! И вот, при такой-то работе: утром—пустой чай без молока, на большой перемене в гимназии — пара пеклеванок или половина французской булки; идешь домой,— по всему телу расходится молодой, здоровый аппетит. И на этот аппетит — обед: картофельная похлебка, политая постным маслом, и рисовые котлеты с грибным соусом. Встаешь из-за стола, как будто не ел. Первые тут начались душевные бунты:

«Какое удовольствие Иисусу Христу или богу-отцу, что я такой голодный и несчастный?»

Каждое воскресенье и каждый праздник мы обязательно ходили в церковь ко всенощной и обедне. После всенощной и на следующий день до конца обедни нельзя

было ни петь светских песен, ни танцевать, ни играть светских пьес на фортепиано (только гаммы и упражнения). Слава богу, хоть играть можно было в игры. Говорить слово «черт» было очень большим грехом. И например, когда наступали каникулы, школьники с ликованием пели известную песенку:

Ура! Ура! Ура!
На каникулы пора!
Птички райские запели,
Книжки к черту полетели,
А тетради уж давно
Полетели за окно!

У нас слово «к черту» заменялось «в печку».

Бунт против бога начался с постов,—да еще с посещения церкви. Я маму спрашивал: для чего нужно ходить в церковь? Ведь в евангелии сказано очень ясно: «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне... А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многоглаголании своем будут услышаны».

Мама возражала:

— Это не относится к посещению церкви. Сам господь сказал: «Где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них».

— Ну, а многоглаголание-то, многоглаголание? Неужели бог скорее нас услышит, если мы ему пятьдесят раз скажем: «Господи помилуй! Оспо помил! Оспо помил! Оспомилос! Помело-с! Помело-с!» Или ектеньи,— чуть не по десять раз в одной службе одно и то же!

С папой спорить было много труднее.

— Какое удовольствие Иисусу Христу, что я голодаю?

— Иисусу Христу никакого от этого удовольствия нет, и ты это делаешь не для него, а для себя,—чтобы приучиться не зависеть от своего тела, стоять выше его требований, побеждать их силою своего духа.

— Почему собираться вместе в церковь?

— Потому что, когда люди вместе, у них легче создается общее молитвенное настроение; церковная служба, пение, каждение, восковые свечи перед иконами—все это помогает вызвать у людей это молитвенное настроение.

— Да ведь сам же Христос сказал: «Запритесь в комнате».

— Это относится к одиночной молитве. И сам Хри-

стос,—неужели ты этого не знаешь? — постоянно посещал храм, выгнал из него торгующих, называл его домом молитвы, домом Отца моего.

Я уходил побежденный. Но по мере того как я рос и развивался, схватки с папой становились чаще, продолжительнее, горячее.

На святках были опять танцевальные вечера, опять мы часто виделись с Конопацкими, и они окончательно завоевали мое сердце. Все три — Люба, Катя и Наташа. Но особенно —Катя.

Конопацкие— это стало как бы мое личное знакомство. Раз в год они официально бывали у нас на танцевальном вечере, который у нас устраивался на святках, 4 января, в день моего рождения, раз в год, и мы у них бывали на святочном танцевальном вечере. Но у наших девочек знакомство с ними не ладилось. Конопацкие прекрасно говорили по-французски, имели изящные манеры, хорошо одевались, были очень тонные. Нашим все это было не по нутру. Бонтонность стесняла. Сестры восхищались красотою и изяществом Конопацких, но скучали с ними. Для меня же все там было, как в раю. И я опять все праздники пропадал у них.

Еще сильнее и глубже, чем с Машей Плещеевой, я познал то чувство, для обозначения которого было не совсем удовлетворявшее меня слово «тоска». Заключалось это чувство в следующем: без Конопацких могло быть приятно, хорошо, весело, но всегда часть жизни,— и самая сладостная, поэтическая часть,— была там, двумя кварталами ниже нашего дома, на углу Старо-Дворянской и Площадной. Туда все время неслись мысли, там была вся поэзия и красота жизни. В душе непрерывно жила светлая, задумчиво-нежная тоска и недовольство окружающим. Часто по вечерам, когда уже было темно, я приходил к их дому и смотрел с Площадной на стрельчатые окна гостиной, как по морозным узорам стекол двигались смутные тени; и со Старо-Дворянской смотрел, перешедши на ту сторону улицы, как над воротами двора, в маленьких верхних окнах антресолей,— в их комнатах,— горели огоньки. И, умиленный, удовлетворенный, я возвращался домой. Когда же я бывал с Конопацкими, мне больше ничего не было нужно, все было тут.

Очень мне у Конопацких нравилась одна игра Называлась: «Врёшеньки-врёшь». Каждый играющий был каким-нибудь цветом,— красным, зеленым, голубым. Один из играющих,—скажем, Люба,— заявлял, что зеленый цвет нехорош. Я — зеленый цвет—ей возражал:

Врешеньки-врешь,
Любочка, врешь,
Мой цвет очень хорош,
А нехорош голубой

Катя— голубой цвет—отвечала мне:

Врешеньки-врешь,
Витечка, врешь,
Мой цвет очень хорош,
А нехорош черный.

И так дальше... Очень приятная была игра. Приятно было из уст Любы слышать «ты» и «Витечка», приятно было говорить Кате: «Ты, Катечка, врешь». Я в восторге пришел домой, стал обучать игре братьев и сестер. Они с недоумением выслушали.

— И больше ничего? Врешь, что мой цвет плох, только? Ну, очень скучно!

— Да нет, вот давайте, попробуем! Увидите— ужасно интересно!

Настоял. Стали играть. Но и самому было скучно говорить Мише «врешь» и от сестры Юли слышать «Витечка, ты». Совсем оказалась неинтересная игра. Как же я этого сразу не заметил? Очень я был сконфужен.

Любу, старшую из сестер, я любил почтительною, несмеющею любовью: я представлялся себе слишком для нее мальчишкою. Притом мне казалось, она увлекается нашим обычным бальным дирижером, Филиппом Ивановым, гимназистом старше меня. А у меня всегда была странная особенность: если я видел, что женщина увлекается другим,— я спешил немедленно устраниться и тушил начинавшую разгораться любовь. Вроде как улитка: вытянула щупальцы, водит вокруг, коснулась чужого предмета — и тотчас щупальцы в себя! Помню, я раз передал Любе восторженный отзыв о ней Филиппа. Люба рядом со

мною облокотилась о черную крышку рояля и отрывисто сказала, глядя вдаль:

— Расскажите подробнее!

И я рассказал, как Филипп восхищался ее красотою, ее изяществом и умением танцевать, ее длинною и густою косою. Ее глаза радостно светились, и мне приятно было.

Через год отец Филиппа, акцизный чиновник, был переведен в Петербург, и они всею семьею уехали из Тулы.

Я держался от Любы отдаленно, мне стыдно было навязываться. Наверно, она все время думает о Филиппе,— чего я к ней буду лезть? В первый раз, когда я ее обогнал на Площадной и не поклонился и она взволнованно покраснела, у меня мелькнуло: может быть, и я ей нравлюсь?

Потом раз, уже под самый конец вечера, на балу у них я решился пригласить Любу на польку. В то время, когда мы танцевали, она спросила меня,— и это у нее вышло очень просто и задушевно:

— Витя, почему вы меня никогда не приглашаете на танцы?

Я сконфузился.

— Мне кажется, вам со мною неинтересно и неловко танцевать. Вы совсем уже взрослая! Я для вас слишком мальчик.

— Ах, Витя, что вы говорите! Напротив, мне очень ловко с вами танцевать и очень приятно: вы так твердо и уверенно кружите даму au rebours, устремляетесь в самую толкотню и никогда никого не заденете. Совсем какое-то особенное чувство: вполне вам доверяешься и ничего с вами не боишься.

Я посадил ее, запыхавшуюся, сел на свободный стул рядом. И весь конец вечера мы проговорили.

После этого я не так уж стал бояться Любы. Мы начали сходиться ближе. У нее был удивительно задушевный голос, и с нею больше было общего разговора, чем с Катей: с Любой мы были однолетки, Катя была на три года моложе. Кроме того, Катя была очень гордая. Когда я неожиданно встречал ее на улице и кланялся, она хмурилась, еле кивала мне в ответ головою и, покраснев, отворачивалась. То же и в гостях, когда где-нибудь встречались, она сначала еле разговаривала, сдвигала брови, как будто я ее чем-нибудь обидел, и только постепенно

становилась милой и ласковой. Теперь я соображаю, что это у нее было от застенчивости, но тогда был уверен, что все это — гордость, и не мог понять, почему она со мною так держится, когда я ей как будто нравлюсь.

Люба с самого начала держалась просто и приветливо, и с нею было хорошо разговаривать. Иногда я не смел о ней думать, иногда ликующая мысль врывалась в душу, что и она меня любит. Раз она мне сказала своим задушевным голосом:

— Ах, Витя, как я вам завидую! Вас все так любят, все так вами восхищаются!

Я долго мучился вопросом: что она хотела сказать? Сама-то она,— только завидует мне, или — раз все, то значит... Умом я себе говорил: конечно, первое! А в душе были ликование и умиление.

Небывалое дело. Директор наш Куликов устроил на масленице в гимназии бал,—с приглашенными гимназистками, с угощением, с оркестром музыки. Необычно было видеть знакомые коридоры, по которым двигались разряженные барышни, видеть классы с отодвинутыми партами, превращенные в буфеты, курительные, дамские комнаты.

Конопацких не было, значит, настоящего веселья, упоения душевного быть не могло. Но повеселиться все-таки можно было, были хорошенькие дамы, меня представили дочерям директора,— одна была стройная, с косою и немножко напоминала наружностью Машу Плещееву. Но увы! На руках моих были белые замшевые перчатки, которые сделали для меня веселье совершенно невозможным. Накануне я долго и старательно чистил их бензином. Они, пожалуй, были белые, но белизной какой-то подозрительной, с переливом в желтизну разных оттенков; на концах пальцев оставались сплющенные кончики, которые никак не хотели налезать на пальцы. Мне казалось,— все смотрят на мои перчатки и тайно смеются; перчатки эти лишали меня развязности, лишали разговора, я ухмылялся напряженно и глупо, говорил таким тоном, что никому не хотелось мне отвечать (бывает такой тон). Танцевал, как мешок на ножках... Какая мука!

И вдруг осияла меня мысль: дома у меня есть два рубля с лишним, лайковые перчатки стоят три рубля; де-

вятый час; если съезжу домой на извозчике, то еще поспею в магазин. И помчался на извозчике домой. Рассказал маме, умолил ее дать мне рубль взаймы. Поскакал назад по Киевской. Опоздаю в магазин или нет? Пропали тогда деньги, потраченные на извозчика! Гаснут в витринах огни, магазины запираются один за другим... Ура! Во французском магазине «A bon marché» свет,— еще отперто! Купил чудесные белые лайковые перчатки. Приехал назад. Вошел в бальную залу. Перчатки — изящные, ослепительно белые, плотно охватывают всю кисть и каждый палец. И как будто волшебство случилось: вдруг я стал приятно-развязен, остроумен, жив, в танцах явилась грация, в приглашении дам — смелость и уверенность. И началось веселье.

В одиннадцатом часу все толпились у окон и смотрели. Где-то высоко наверху,— гимназия была на Старо-Никитской, недалеко от Кремля, в самой котловине,— где-то вверху на горе пылал дом. Как будто в нашей местности. Приехала лошадь за моим одноклассником Добрыниным,— горел их дом вверху Старо-Дворянской улицы, за углом на полквартала выше нашего дома. Поглядели, как на горизонте огромным факелом вздымался огонь, переходя в огненно-светящийся дым, как полоса этого дыма, все чернея, уходила над крышами и садами вдаль. Потом опять пошли танцевать.

В третьем часу ночи я возвращался домой, полный впечатлений от знакомства с директорской дочкой, похожей на Машу Плещееву, от конфетных угощений и главное: все учителя напились пьяные! Никогда я их в таком виде не видал. Томашевич размахивал руками, хохотал и орал на всю залу; Цветков танцевал кадриль и был так беспомощен в grand rond, что гимназист сзади держал его за талию и направлял, куда надо идти, а он, сосредоточенно нахохлившись, послушно шел, куда его направляли.

Не заходя домой, я сбегал еще посмотреть на пожар. Вместо дома Добрыниных была дымящаяся груда развалин, пахло гарью, в дыму факелов блестели каски пожарных. Тут был уютный двухэтажный домик с маленькими окнами; весною из этих окон неслись нежные звуки рояля; стройная и высокая красавица, сестра моего товарища, играла Шопена. В толпе зевак говорили, что Добрынин — богатый купец, член городской управы —давно со-

бирался построить себе дом побольше и поджег этот, чтобы очистить место и получить страховую премию.

Я в ужасе возражал:

— Но ведь могли загореться соседние дома!

— Ну-к что ж! А ему до того какое дело!

— Штраховку получит полностью, везде други-приятели сидят.

Дверь мне отворила мама. Папа уже спал. Я с увлечением стал рассказывать о пьяных учителях, о поджоге Добрыниным своего дома. Мама слушала холодно и печально. В чем дело? Видимо, в чем-то я проштрафился. Очень мне было знакомо это лицо мамино: это значило, что папа чем-нибудь возмущен до глубины души и с ним предстоит разговор. И мама сказала мне, чем папа возмущен: что я не приехал домой с бала, когда начался пожар.

Папа утром прошел мимо меня, как будто не видя. И несколько дней совсем не замечал меня, в моем присутствии его лицо становилось каменно-неподвижным. Наконец, дня через четыре, когда я вечером пришел к нему прощаться, он, как все эти дни, холодно и неохотно ответил на мой поцелуй и потом сказал:

— Мне с тобой, Виця, нужно поговорить.

И отчитал меня. Когда мне понадобились перчатки, я сейчас же помчался домой, чтобы взять деньги, а когда так близко от нашего дома случился пожар, я пальца о палец не ударил и продолжал себе танцевать.

— Да я знал, что пожар у Добрыниных, что это далеко.

— Как далеко? Всего полквартала, ветер был как раз в нашу сторону. Да и как ты вообще мог оттуда судить, нужен ты или не нужен? Всякий чуткий мальчик, не такой черствый эгоист, как ты, сейчас же бы бросился домой, сейчас же спросил бы себя,— не беспокоятся ли мама с папой, не понадоблюсь ли я дома? А у тебя только и заботы, что о белых лайковых перчатках.

Взвешивая теперь все обстоятельства, я думаю: совсем не к чему было мне приезжать с бала; я вправду вовсе не был нужен дома,— а просто я должен был проявить чуткость и заботу, тут больше была педагогия. Но тогда мне стало очень стыдно, и я ушел от папы с лицом, облитым слезами раскаяния.

Через полтора года на месте добрынинского пожари-

ща вырос просторный двухэтажный дом с огромными окнами, весною они были раскрыты настежь, и из них далеко по тихой улице опять неслись нежные и задумчивые мелодии Шопена.

Поэтический мой гений, создав первый стихотворный продукт, о котором я уже рассказывал, опочил на целых полтора года. Снова пробудился он 28 мая 1882 года.

Если первое мое стихотворение было плодом трезвого и очень напряженного труда, то второе было написано в состоянии самого подлинного и несомненного вдохновения. Дело было так. Я перечитывал «Дворянское гнездо» Тургенева. Помните, как теплою летнею ночью Лаврецкий с Леммом едут в коляске из города в имение Лаврецкого? Едут и говорят о музыке. Лаврецкий уговаривает Лемма написать оперу. Лемм отвечает, что для этого он уже стар.

— Но если б я мог что-нибудь сделать,— я бы удовольствовался романсом: конечно, я желал бы хороших слов...

Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.

— Например,— проговорил он, наконец: — что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы чистые звезды!..

Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.

— Вы, звезды, чистые звезды,— повторил Лемм.— Вы взираете одинаково на правых и виновных... но одни невинные сердцем,— или что-нибудь в этом роде... вас понимают, то-есть, нет,— вас любят. Впрочем, я не поэт,— куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.

Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.

— И вы тоже,— продолжал он постепенно утихавшим голосом: — вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить... Нет, это все не то! Я не поэт,— промолвил он: — но что-нибудь в этом роде...

— Мне жаль, что и я не поэт,— заметил Лаврецкий.

— Пустые мечтанья! — возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.

Прошло несколько мгновений... Лаврецкий прислушался... «Звезды, чистые звезды, любовь»,— шептал старик.

Лемм чувствовал, что он не поэт, и Лаврецкий то же самое чувствовал. Но я — я вдруг почувствовал, что я поэт! Помню, солнце садилось, над серебристыми тополями горели золотые облака, в саду, под окнами моей комнаты, цвели жасмин и шиповник. Душа дрожала и сладко плакала, светлые слезы подступали к глазам. И я выводил пером:

ЗВЕЗДЫ

Звезды, вы, звезды,
Вы, чистые звезды!
Скажите мне, звезды,
Зачем вы блестите
Таким кротким светом,
Таким тихим светом,
Прекрасным огнем?

Звезды, вы, звезды!
Широко, привольно,
Прекрасно, просторно
Вам там, в небесах!
Скажите ж мне, звезды,
Зачем вы сияете,
Будто бы что-то
Мне тут обещаете?..

И много еще, много шло строф... Если бы тогда у Лемма были эти мои стихи, он, наверно, написал бы прекраснейший романс.

Никогда я ничего впоследствии не писал в состоянии такого поэтического волнения и почти экстаза. И я в то время искреннейшим образом думал, что это было — *мое* вдохновение.

Я сшил тетрадку, на первой странице написал:

Полное Собрание стихотворений

БОРИСА ГРОЗИНА

(псевдоним)

и переписал в нее оба стихотворения.

Кончились переходные экзамены из шестого класса в седьмой. Это были экзамены очень трудные и многочисленные,— и письменные и устные. Сдал я их с блеском и в душе ждал, но боялся высказать громко: дадут награду первой степени. Очень хотелось, как в прошлом году, получить книги, да еще в ярких, красивых переплетах.

31 мая был последний экзамен, по истории. Наш классный наставник и учитель латинского языка, Осип Антонович Петрученко, объявил нам, что о результатах экзаме-

нов мы узнаем 2 июня, что тогда же будут выданы и сведения. И прибавил:

— Господа! Вы за время экзаменов очень отрастили себе волосы. Извольте подстричься. Кто придет второго июня с длинными волосами, не получит сведений.

Осип Антонович был очень строгий, и мы перед ним трепетали. Но этого его приказания никто, конечно, не принял всерьез. Я имел неосторожность рассказать дома при папе про его слова. Папа сказал:

— Обязательно подстригись.

— Ну, папа, вот еще! С какой стати! Все равно, наступают каникулы, мы на днях уезжаем в деревню... Зачем это?

— Да отчего же тебе не подстричься, раз классный наставник велел? Распоряжение вполне разумное...

— Да, наконец,— смешно. Подумают,— я испугался, что не дадут награды, и подстригся, чтоб угодить начальству...

— Подумают? А тебе что до этого? Вспомни «Посадника»:

> Своего,
> А не чужого бойся нареканья,—
> Чужое — вздор!..

И убедил-таки меня. То есть скорее,— силою морального своего давления заставил меня подстричься. Да как подстричься! У парикмахера я смог бы соблюсти красоту, но папа стриг нас сам. И остриг он меня под гребешок, догола!

Пришел я в гимназию с мукою и стыдом. Конечно, никто, кроме меня, не остригся. Меня оглядывали с усмешкой: пай-мальчик, поспешивший исполнить приказание начальства.

Пришел Петрученко, стал читать результаты экзаменов и раздавать сведения,— кто переведен, кто оставлен, кому поверочные испытания. Дошел до меня.

— Смидович... *без* поверочных испытаний,— протянул он. Помолчал, помучил меня ожиданием и закончил с шутливою торжественностью: — и, в награду за его великие заслуги, переводится в седьмой класс с наградою первой степени.

Я подошел к столу получить сведения. Петрученко взглянул на меня, изумленно поднял брови и усмехнулся в пушистую бороду.

— Вот острится!.. Какое образцовое послушание!
Глаза смотрели насмешливо, и весь класс захохотал.

Когда я был в шестом классе, родители мои купили имение Владычня, за версту от станции Лаптево, Московско-Курской железной дороги, в тридцати верстах от Тулы. Сто десятин.

Покупка раньше долго обсуждалась. Папе рисовались самые блестящие перспективы: имение — два шага от станции, можно развить молочное хозяйство, широко заложить огороды, продукты доставлять в Тулу. Здоровый летний отдых для детей. Купили за десять тысяч,— все, что у папы было сбережений.

Наперед скажу: предприятие, как все наши коммерческие начинания, дало жестокие убытки. С самого начала все заведено было самое лучшее,— инвентарь живой и мертвый. С самого начала стали делаться всякие нововведения, вычитанные в сельскохозяйственных книгах. А собственного опыта в сельском хозяйстве не было никакого. Засеяли полдесятины маком. Очень выгодный продукт. Зимою мы с ним все сильно мучились,— высеивали из головок семя. Не знаю только, оказалось ли выгодным: больше мака не сеяли. Помню еще огромные, в сажень высоты, растения с жирными длинными листьями — «конский зуб», особый сорт несъедобной кукурузы. Ее пластами складывали в ямы, пересыпая солью. Называлось — *силос*. Великолепный зимний корм для скотины. Опять-таки не знаю, оказался ли он великолепным. Помню только,— он очень противно пахнул плесенью, скотина ела его с отвращением. Из мужиков, видевших этот корм, никто не соблазнился его перенять, да и мы больше не повторяли опыта. Все обходилось очень дорого, потому что все покупалось самое лучшее. Рабочим платилось хорошее жалованье, кормили их очень хорошо.

Через три года папе стало совершенно невмоготу: весь его заработок уходил в имение, никаких надежд не было, что хоть когда-нибудь будет какой-нибудь доход; мама почти всю зиму проводила в деревне, дети и дом были без призора. Имение, наконец, продали,— рады были, что за покупную цену,— со всеми новыми постройками и вновь заведенным инвентарем

Когда вспоминаю Зыбино: сладкое безделье в солнечном блеске, вкусная еда, зеленые чащи сада, сверкающая прохлада реки Вашаны, просторные комнаты барского дома с огромными окнами. Когда вспоминаю Владычню: маленький, тесный домик с бревенчатыми стенами, плач за стеною грудной сестренки Ани, простая еда, цветущий пруд с черною водою и пиявками, тяжелая работа с утренней зари до вечерней, крепкое ощущение мускульной силы в теле.

Было у нас три работника, и я с ними был четвертый. Вместе с ними вставал, с ними пахал, косил, возил сено и снопы. Приятно было обучиться всему простому, что знает всякий мужик и перед чем барин стоит в полной беспомощности. Приятно было уверенно надвигать на морду лошади хомут, оправлять шлею, приладив к гужам дугу, стягивать супонью хомут, упершись в него ногой. И приятно было теперь не чувствовать к себе того презрения, какое я ощущал в поместьях моих дядей-помещиков, когда праздно смотрел на работающих.

И так сладостно помнится: косим с работниками и поденными мужиками лощину. Медленно спускаемся по откосу один за другим в запахе луговой травы, коса жвыкает, сзади у пояса позвякивает в бруснице брусок, спереди и сзади шипят соседние косы. Потом, внизу, резкий запах срезаемой резики и осоки, из-под сапог выступает ржавая вода. И, закинув косы на плечи, с ощущаемой на спине мокрой рубахой, гуськом поднимаемся вверх.

— Ребята, курить!

Вынимаем кисеты, закуриваем трубки. За дубовыми кустами, над желтеющею рожью поднимается темно-синяя туча. Дует в потное лицо прохладный, бодрящий ветер, стоишь ему навстречу и жадно дышишь... Ах, хорошо!

Или едем на двух телегах с приятелем моим Герасимом за снопами на дальние десятины. Сидим, болтаем, курим в передней телеге, задняя идет порожнем. Навиваем снопы. Герасим на телеге принимает, я глубоко всаживаю деревянную двурогую вилку в сноп под самым свяслом, натужившись, поднимаю сноп на воздух,— тяжелые у нас вяжут снопы! — и он, метнув в воздухе хвостом, падает в руки Герасиму, обдав его зерном. Во рту прелестная, особенная горечь ржаной пыли. Увязываем возы. Вокруг желтая щетина жнивья, уставленная крестцами ко-

пен, в голубой дали — рощи и деревни, белые церкви; поезд, как червяк, ползет от горизонта по далеким овсам. И едем, развалившись на снопах наверху колыхающихся возов.

Сумерки. Распряжешь и напоишь свою лошадь, уберешь упряжь, выкупаешься в верхнем пруду и идешь домой ужинать. Тело, омытое от пота и пыли, слегка пахнет прудовою тиною, в мускулах приятная, крепкая истома. Мама особенно ласково смотрит.

— Ах ты, мой работничек!

Ужинаем на террасе. Выпиваю рюмку водки,— и так потом вкусно есть и подогретый суп, оставшийся от обеда, и ячневую кашу со сливочным маслом. А если еще мясо, так уж прямо райское блаженство. И потом чай пить. Ложишься спать,— только прикоснешься головою к подушке и проваливаешься в мягкую, сладостную тьму.

Герасим — стройный парень, высокий и широкоплечий, с мелким веснущатым лицом; волосы в скобку, прямые, совсем невьющиеся; на губах и подбородке — еле заметный пушок, а ему уж за двадцать лет. Очень силен и держится прямо, как солдат. Он из дальнего уезда, из очень бедной деревни. Ходит в лаптях и мечтает купить сапоги. Весь он для меня, со своими взглядами, привычками,— человек из нового, незнакомого мне мира, в который когда заглянешь — стыдно становится, и не веришь глазам, что это возможно.

Раз он мне рассказывал про деревенские свадьбы, а потом говорит:

— Господские, небось, не такие бывают. У вас, небось, на свадьбах два раза в день чай пьют.

Мне совестно было сказать ему, что мы и вообще каждый день пьем два раза чай.

Другой раз, когда он рассказывал о ярмарках, я спросил:

— Наверно, подсолнухов тогда себе накупите, жамок?

Жамки — это грошовые мятные пряники. Герасим ответил:

— Нет, жамок мы не покупаем, дорого.

Однажды зимою мама собрала в деревенскую залу работниц, кухарку, Герасима, поручила им чистить мак. Они чистили, а мама им читала евангелие, а потом напоила чаем.

Бабы очень интересовались, расспрашивали маму; Герасим все время молчал, а наутро сказал бабам:

— Кабы барыня нам всегда по побасенке читала да чаем поила, я бы каждый день готов мак чистить.

— Что ты, дурак, какие побасенки? Это евангелие, святая книга!

— Ну, что ж, ну, святая! А все побасенки: помер человек, уж вонять начал,— вдруг стал живой и пошел! Ин-те-рес-но!

Раз мы ездили с Герасимом обкашивать межи на корм коровам. Не помню почему, зашла речь о причастии. Я его спросил, причащался ли он когда-нибудь?

— А что такое — «причащался»?

— Ну, исповедываться, причащаться... Бывал же ты в церкви?

— Да, раз меня мамка водила. Далеко у нас церковь от деревни нашей, четыре версты.

— Ну, что ж, давали тебе что-нибудь проглотить?

— Проглотить? Нет, ничего не давали глотать.

— Что ж ты там делал?

— Что делал! Молился.

— О чем молился?

— Как о чем? Стоял, крестился, вот этак кланялся. Герасим начал быстро кивать головой, встряхивать волосами и кланяться.

— Чего ж ты у бога просил?

— Просил? — Он недоверчиво улыбнулся.— Что у него просить-то? Нешто он услышит? Он далеко, на небе.

— Вовсе нет. Бог везде — и на небе, и на земле, и здесь вот, около нас.

— Что дурака-то валяешь? Где он тут? Отчего его не видать?

Меня все это очень поразило, потому что из всех работников Герасим выделялся своим благочестием: всегда ел без шапки, крестился перед едою, даже когда предстояло съесть пару огурцов. Утром встают работники, даже лба не перекрестят. А Герасим стоит около садовой ограды, лицом к восходящему солнцу, и долго молится: широко перекрестится, поклонится низко и, встряхнув волосами, выпрямится. И опять и опять кланяется.

Я спросил:

— О чем же ты утром молишься,— вот когда у оградки стоишь?

— Стоишь да стоишь. Крестишься, кланяешься, а сам думаешь: хорошо теперь барам — спят себе. А ты вставай на работу!

— Зачем же ты тогда молишься?

— Как же не молиться! Грех.

Меня заинтересовало, знает ли что Герасим о загробной жизни. Я спросил:

— Ну, а что с тобой будет, когда ты умрешь?

— Не знаешь, что ли? Закопают в землю, земля в рог напихается. Нехорошо будет.

— А душа твоя куда денется?

— Какая душа?

— Ну, твоя душа?

— Да что это — душа?

— Ну, тело твое в землю закопают, ну, а то, чем ты .. чувствуешь, думаешь, это — душа. Она на небо полетит.

— Что ж, она с воробья будет ай с ласточку? Видал ты ее когда?

— Да нет же, ее нельзя видеть, она такая... невидимая...

— Не видал, значит? А почем знаешь, что есть?

Я растерялся и не знал, что сказать, а Герасим допрашивал:

— С перьями она аль так, голенькая?

— Да нет... Вот, чем ты думаешь, чувствуешь, говоришь...

— А ты вот еще по-немецкому и по-французскому говоришь. Значит, у тебя три души?

— Да нет, все одна же.

Не мог я к нему подойти, не мог заговорить таким языком, чтоб он хотя бы понял, о чем я говорю. Я стал рассказывать, что люди, которые на земле жили праведно, которые не убивали, не крали, не блудили, попадут в рай,— там будет так хорошо, что мы себе здесь даже и представить не можем.

— Что ж там и подсолнух будет?

— И подсолнух.

Недоверчиво:

— И жамки?!

— И жамки.

Герасим подумал.

— Да туда, чай, только господа одни попадут?

— Напротив, бог сказал, что богатому гораздо труднее туда попасть, чем бедному.

Герасим еще подумал и решительно сказал:

— Нет, бедных туда не пустят. Господ одних. Знаем мы.

Пел он очень хорошо. И очень много знал хороших песен, пахнувших полем, землею и деревней. Захватит подбородок ладонью и затянет:

— Посиди, Доня! Потерпи горе!
— Родной батюшка, насиделася,
Печаль-горюшка натерпелася,
Худой славушки наслушалась...

И такая тоска в голосе, и такая чувствуется горькая драма деревенской девушки...

А то еще у него была песня,— очень она к нему шла:

Ты богач, богач-судьяга!
Ты на этом свете живешь скряга
И помрешь, как сукин сын.
Твою душу черти в ад потощшут,
Зададут ей трепака.
А нам нечего бояться,
Мы процентов не берем...

Силен он был необычайно. Но еще его сильнее был другой наш работник, Петр. Расскажу, кстати, и о нем. Высокий, сутулый, с длинными руками гориллы и маленькой головой, на подбородке отдельные жесткие черные волосики. Когда-то он у нас был кучером и у нас же женился на жившей у нас молодой няне, Кате. Эта Катя была даровитая девушка, она у нас выучилась читать, писать и выучилась свободно говорить по-немецки. Меня поражали их отношения в то время, когда он ухаживал за нею. Шум на всю кухню, возня, хохот, шутливые драки; шутливость была для меня совсем непонятная: Катя изо всей силы била его поленом по спине или в сенях обольет целым ведром воды, и Петр выскакивает из сеней счастливый, смеющийся и весь насквозь мокрый. Поженившись, они сначала жили хорошо, но потом Петр начал пить, ушел в крючники. Катя жила кухаркой у нашей бабушки. Иногда, раз в один-два года, вдруг являлся Петр. Если трезвый,— то робкий и смирный, просил у Кати прощения; если пьяный, то бил ее жестоко, до крови и потери сознания, насиловал и, обрюхатив, исчезал. Недавно он явился с Волги, сказал маме, что бросил пить, и нанялся к нам в работники. Он был для меня, по всем рассказам, страшный человек. И очень я удивился, когда ближе узнал его и уви-

дел, что это смирнейший и добродушнейший человек, которого с большим только трудом можно было вывести из терпения. Был у нас одно время работник Дмитрий, лихач и нахал, не знавший о чудовищной силе Петра. Он изводил Петра насмешками и издевательствами, тот все терпел. Раз за ужином,— я ужинал с ними,— Дмитрий ударил Петра по лбу деревянной ложкой. Петр вскочил, огромными ручищами сгреб Дмитрия через стол «за виски» и наклонил его лицо над столом. Такую в этом силищу почувствовал Дмитрий, что испуганным, жалостно-бабьим голосом вдруг запросил:

— Пе-етенька! Отпусти! Больше не буду!

Петр ткнул его два раза носом в стол и отпустил.

Эти два богатыря, Герасим и Петр, изнывали от избытка своей силы; как Святогору, грузно им было от их силушки, как от тяжкого бремени. Проработав неделю тяжелую работу, они воскресными вечерами ходили по полям и тосковали. Помню один такой вечер, теплый, с светящимися от невидимой луны облаками. Мы с Петром и Герасимом сидели на широкой меже за лощинкой, они били кулаками в землю и говорили:

— Эх! Кажется, доведись,— всю бы землю-матушку с оси своротили бы!

Петр, конечно, кончил жизнь босяком. Дальнейшая судьба Герасима была странная. Когда мы продали имение, он пошел в ломовые извозчики. Я не раз видел его в Туле на Томилинской или Миллионной улице: сидит на грохочущем ломовом полке, размахивая концом вожжей, подгоняет бегущую тяжелою рысью ломовую лошадь,— все такой же прямой, стройный и безбородый. Потом я его надолго потерял из виду. В начале девятисотых годов, высланный из Петербурга, я жил в Туле. И вдруг ко мне пришел Герасим. Худой, загорелый, с ввалившимися щеками, все такой же прямой и безбородый; русые плоские волосы до плеч, рваный зипун, котомка за плечами; ноги худые, как палки, на них лапти. Голос смиренный. Он мне рассказал: то ли надорвался, то ли от болезни какой,— у него стали худеть и слабнуть ноги, никакой работы делать не мог, ноги высохли. Я пощупал,— правда, как будто кости скелета. Ходит теперь по святым местам.

— Как же ты ходишь с такими ногами?

— Хожу ничего, ходить я могу. Угодники помогают.

Я ему предложил показать его докторам, устроить в больницу.

— Нет, уж лёжано, смотрено. Нет от них помощи. Только молитвами угодников и держусь.

Я ему дал на прощанье десять рублей. Он смиренно поклонился в пояс и ушел.

С седьмого класса я перестал интересоваться отметками и наградами,— по-настоящему перестал, а раньше только притворялся. Учил из уроков то, что было интересно, неинтересное готовил кое-как, а иногда даже не знал, какие уроки заданы. Но в предыдущих классах очень был заложен основательный фундамент, и он помогал мне благополучно выкарабкиваться из затруднений.

Было не до того, чтоб уроки учить. Передо мною распахнулась широкая, завлекающая область, и я ушел в нее всею душою,— область умственных наслаждений. Для меня этот переворот связан в воспоминаниях с Боклем. У папы в библиотеке стояла «История цивилизации в Англии» Бокля. По имени я его хорошо знал. Это имя обозначало у нас самого умного, глубокомысленного и труднопонимаемого писателя. Читать его могут только очень умные люди. Генерал у Некрасова говорит в балете поэту:

> Не все ж читать вам Бокля.
> Не стоит этот Бокль
> Хорошего бинокля.
> Купите-ка бинокль!

Иногда к нам приезжал и останавливался на день, на два мамин брат, дядя Саша, акцизный чиновник из уезда. Перед обедом и ужином он всегда выпивал по очень большому стаканчику водки и просиживал в клубе за картами до поздней ночи. У него была светло-рыжая борода, отлогий лоб и про себя смеющиеся глаза; я чувствовал, что весь дух нашей семьи вызывал в нем юмористическое уважение и тайную насмешку. Про Бокля он откровенно выражался так:

— Когда мне ночью не спится, я открываю Бокля, прочитываю две страницы — и засыпаю самым глубоким сном.

Так вот. Раз задали нам сочинение: «Влияние географических условий на характер народа». Совершенно случайно, не помню как, натолкнулся я в папиной библиотеке на Бокля, раскрыл книгу и увидел главу: «Влияние физи-

ческих законов». Как раз мне на тему. Принес к себе, со страхом попробовал читать: все равно ничего не пойму! Ведь — Бокль!

И вот вдруг,— как будто на широких, сильных крыльях я поднялся на воздух и уверенно полетел ввысь. Поднимался и в то же время дивился и не верил,— неужели так легко и так просто лететь на такой высоте? Какое это было наслаждение! Строго, ясно и ярко рисовал Бокль влияние климата, пищи, почвы и общего вида природы на характер человека, как под их действием совсем различно складывались культуры индийская, арабская, эллинская. Все прочно становилось на свое место, все четко обрисовывалось в своей строгой обусловленности и неслучайности. И главное было: я убедился, что уже могу читать серьезные, умные книги.

Теперь каждый вечер, выучив наскоро уроки, я садился за Бокля (начал его с первой страницы), закуривал и наслаждался силою умственной работы, и что вот я какую читаю книгу — Бокля! — как будто уже студент, и что табачный пепел падает на книгу (Некрасов:

> Студент не будет посыпать
> Ее листов золой табачной).

Эти самостоятельные занятия настолько были нужнее, настолько завлекательнее, чем гимназическая труха, что я только самое необходимое время стал отдавать официальной науке. И все вечера читал.

Читал Добролюбова (Белинского уже раньше много читал), Милля — «О подчиненности женщины» и «Утилитарианизм», Молешотта — «Физиологические картины», Льюиса-Милля — «Огюст Конт». Несколько раз пробовал начать историю философии Бауэра, но каждый раз на элеатах пасовал. Только Писарева не читал: папа так настойчиво и с таким страданием просил меня его не читать, что я не решался нарушить его просьбы. Впрочем, раз в гимназии, на большой перемене, жадно прочел статью Писарева «Пушкин и Белинский»,— товарищ дал на полчаса. Осталось сладко-обжигающее впечатление тайно вкушенного запретного плода, или, вернее,— как будто дьявол торопливо наклонился к уху и успел шепнуть: «Будете, как боги...»

По беллетристике русской и иностранной читал я очень много.

Главная наша улица, тульский Невский проспект, называлась «Киевская». Она начиналась внизу у Кремля, шла вверх и за заставою переходила в киевское шоссе, и по нем, правда, можно было дойти до Киева.

Самая бойкая часть Киевской была между Посольской и Площадной улицами. Тут были самые лучшие магазины. Тут по вечерам гуляла публика. Офицеры, гимназисты, молодые чиновники, приказчики, барышни. Смех, гул голосов, остроты. Особенный этот искусственный смех, каким барышни смеются при кавалерах, и особенный молодецки-развязный тон кавалерских острот.

Прыщеватый молодой человек в ярко-зеленом галстуке говорил хихикающей барышне:

— Вы меня извините, что я вам вчерась не морганул: очень левая пятка болела!

— Хи-хи-хи! При чем тут пятка?

— Очень болела. Уж извините!

Я глубоко презирал всю эту публику. Когда случалось вечером проходить по Киевской, я шел спешащим, широким шагом, сгорбившись и засунув руку глубоко за борт шинели, с выражением лица в высшей степени научным. И, наверное, все с почтением поглядывали на меня и стыдились своей пошлой веселости. И, наверное, каждая барышня втайне думала:

«Вот, если бы, вместо франтоватого офицерика с глупой улыбкой, мне бы идти рядом с этим сутулым, умным гимназистом! Но нет! Я ему буду неинтересна...»

И она горько вздыхала. А я презрительно нес свою ученую сутулость дальше, сквозь смеющуюся, веселящуюся, шумную толпу.

Да, в пятнадцать лет я гордился своею сутулостью. А в пятьдесят,— в пятьдесят я старался держаться попрямее, и мне противно было глядеть на крючком согнутые спины.

Однако вся гордость своею ученостью и умственностью моментально выскакивала у меня из души, как только я вспоминал о Мерцалове. Он был мой одноклассник, сын крупного тульского чиновника. В младших двух классах я был первым учеником первого отделения, а он второго. В третьем классе оба отделения слились. Стал первым учеником я,— но только потому, что с этого времени Мер-

цалов стал выказывать глубочайшее презрение к гимназической науке и хорошим отметкам.

Большая, прекрасно сформированная голова, ровный матово-белый цвет лица, почти белые волосы. Он никогда не бегал, не играл. На переменах, когда мы бились на «сшибалке» или бегали вперегонки, он степенно расхаживал с кем-нибудь вдоль забора и «беседовал». Товарищи относились к нему с невольным почтением, более сильные не смели его задирать. Прозвище ему было — Сократ. У всех у нас, у других, прозвища были куда не такие лестные. Меня, например, называли «пузырек с медициной»: пузырек — за малый мой рост и округлость, с медициной — ввиду профессии моего отца. А Мерцалова звали — Сократ!

Одно время он приблизил меня к себе, мы года полтора-два ходили вместе из гимназии, а по переменам прохаживались вдоль забора. Когда я выражал желание пойти «посшибаться», он с насмешкою спрашивал:

— Неужели тебе интересно заниматься таким ребячеством?

И мы продолжали ходить вдоль забора, и он говорил мне о Белинском, о Герцене, посмеивался над Пушкиным и без особого почтения говорил даже о царе. Помнится, мы тогда были в четвертом классе.

Постепенно Мерцалов стал относиться ко мне с большим раздражением, придирался к каждому слову, высмеивал меня,— видимо, во мне разочаровался, и вскоре совсем отставил меня от себя. А сблизился с Буткевичем Андреем,— он в пятом классе остался на второй год, и мы его нагнали. У него тоже была очень большая голова с выпуклым лбом, глаза были умные, внимательно вглядывающиеся, а брюки очень короткие и узкие. Поэтому вид у него был странный: большая голова, длинное туловище и короткие ноги в узких и коротких брюках. Теперь они вместе всегда ходили с Мерцаловым, и с ними третий еще,— Новиков Алексей; этого я очень не любил, потому что он все делал напоказ.

Они с увлечением играли в шахматы, и когда шли из гимназии, играли на ходу, без доски. Я никак не мог понять, как они могут запоминать постоянно меняющееся расположение фигур. Новиков шел, хвастливо оглядывался и на всю улицу выкрикивал:

— Ферзь — а1 — с3!

Они все трое сидели в классе вместе; выражали на лице насмешливое презрение к тому, что говорили учителя. За честь считали по латинскому и по греческому языкам знать еле-еле на тройку, а по математике, физике, истории знать гораздо больше, чем требовалось. Их отношение ко мне очень меня обижало, и самолюбие мое страдало жестоко. Вот что нахожу у себя в тогдашнем дневнике:

18 августа 1882 г. Среда

Никогда из всех товарищей никто мне так не не нравился, как Мерцалов и Новиков. Надо заметить, что они корчат из себя бог знает что и считают себя самыми умными учениками в классе, и если они не первые ученики в классе, то это только потому, что они не хотят заниматься такими глупостями, как латинский или греческий языки, изучение которых они предоставляют «зубриле» Смидовичу. Сегодня учитель немецкого языка Густав Федорович Келлер спросил нас, хотим ли мы переводить Гете, Шиллера или Лессинга, и перечислял их сочинения, которые мы можем переводить. Говорили с ним только мы трое, а все остальные молчали. Что я одобрял, то они в один голос спешили отвергнуть. Между прочим, Новиков начал просить у Густ. Фед-ча, чтобы переводить «Фауста» (!) (знай, мол, наших!); в прошлом году мы переводили отрывок из него, и этот кусочек строчек в двадцать мы переводили недели три-четыре,— так был он труден. Попросил он это, разумеется, единственно для того, чтобы пофорсить предо мной,— где тебе, дураку, понимать «Фауста»! (Не следует забывать, что они сердиты на меня за то, что я один из всех перешел в седьмой класс с наградой, да еще первой степени)... Зовут ужинать...

В седьмом классе Мерцалов самостоятельно прошел дифференциальное и интегральное исчисление. А на уроке истории раз случилось так. Учитель Ясинский рассказывал о Сократе, о его значении в философии. Вдруг Мерцалов поднялся и начал возражать. С Сократа перешел вообще на философию, посыпались имена: Платон, Аристотель, Лейбниц, Декарт, Кант... Мерцалов доказывал, что философская мысль, становясь на дорогу метафизики, неизменно оказывалась бесплодною и, совершив круг, возвращалась

к исходной точке; в научной же мысли, в области положительных наук, каждый шаг являлся всегда шагом вперед. Позже, когда я прочел Льюиса, я понял, что Мерцалов просто излагал Льюиса, но тогда у всех нас было впечатление, что Мерцалов до всего этого дошел своим умом, что сам изучил всех этих Спиноз и Гегелей. Мы видели, что Мерцалов одолевает, и Ясинский подается. Он, как видно, Льюиса тоже не знал. Наконец Ясинский замолчал и, напряженно улыбаясь, слушал, как Мерцалов рисовал широкие круги, по которым метафизика каждый раз возвращалась к исходной своей точке. Потом Ясинский улыбнулся деланно-снисходительно и сказал:

— Вы, Мерцалов, видно, читали по этому вопросу, к сожалению, только совершенно не переварили того, что прочли.

— Это, Иван Васильевич, не возражение. Вы мне докажите, в чем я ошибаюсь.

Звонок освободил Ясинского из угла, в который его загнал Мерцалов. Он взял журнал и вышел из класса, а мы дружно зарукоплескали Мерцалову.

С отцом своим Мерцалов почему-то разошелся и жил у учителя математики Томашевича,— квартира его была рядом с нашим домом, на углу Старо-Дворянской. Проходя по улице, я часто с завистью и почтением смотрел, как они там все трое сидят с Томашевичем, спорят с ним, как с равным, играют в шахматы.

Я казался себе в сравнении с ними глупым и мальчишкою и даже переставал уважать себя, что читаю Бокля. И больно кололо душу, что я в их глазах — «зубрилка» и «первый ученик».

В декабре месяце, часу в десятом вечера, шел я от товарища домой по Ново-Дворянской улице,— заходил отметить стихи из «Одиссеи», заданные для перевода. Недалеко от нашей Верхне-Дворянской,— если снизу идти, по левую руку,— стоял небольшой двухэтажный дом. В середине нижнего этажа крыльцо башенкой выдается вперед, заняв почти весь тротуар, вправо и влево от башенки — по два окна. В этом доме жили Николаевы, у них была дочь, гимназистка немного старше меня, Катя, хорошенькая смуглая брюнетка. Домами мы с ними не были знакомы, но у общих знакомых встречались, этою зимою

я даже был у них раз на танцевальном вечере. По тогдашним правилам приличия, барышни могли бывать только у тех, с кем родители были знакомы «домами». С «кавалерами» было проще: не хватало для вечера танцоров,— офицеры и гимназисты приводили своих товарищей.

Левые окна нижнего этажа были освещены и завешены. Но в нижнем углу занавеска немного отвернулась. Я заглянул. Катя Николаева сидела у стола за книгой,— должно быть, урок учила. Лущила подсолнух и шелуху тщательно складывала кучкою на стол. У задней стены стояла кровать с откинутым одеялом,— белели простыни и обшитые кружевом подушки. У меня крепко забилось сердце, и кровью начало наливаться лицо: когда она станет ложиться спать, я могу все увидеть,— как она будет раздеваться, как ляжет в постель... Послышались вдали шаги по снегу, я отскочил. Прошла сгорбленная старушка. Я опять стал смотреть. Дождусь, чего бы ни стоило, хоть до часу ночи простою!

Вечером редки прохожие на тульских улицах. Но все-таки иногда скрипели вдали по снегу шаги,— я отлипал от окна, беззаботным шагом шел по улице, поворачивал назад и опять приникал к низкому, почти квадратному окну с темной занавеской и светящимся уголком внизу.

Вдруг мне показалось, что кто-то стоит на углу Новой и Верхней Дворянской и пристально следит за мною. Ой, ой, попадусь,— какой будет позор! Вдруг он подкрадется, схватит меня, позвонит к Николаевым.

— Вот! Подглядывает в окошко вашей дочери!

Николаевы смотрят:

— Витя Смидович! Сын Викентия Игнатьевича! Ай-ай-ай, как не стыдно!

Я пошел вниз по улице. Решил сделать большой конец, прежде чем опять подойти к окну. Спустился до Площадной, по Площадной дошел до Петровской, поднялся до Верхне-Дворянской. На углу никого уже не было. С другой стороны подошел к дому Николаевых.

Заглянул... Эх, ты, господи! Все пропустил! Катя уже лежала в постели, покрывшись одеялом, и читала. На ночном столике горела свеча. Я видел смуглые, нагие до плеч руки, видел, как рубашка на груди выпукло поднималась. Горячо стучало в висках, дыхание стало прерывистым... Не знаю, сколько времени прошло. Катя приподнялась, по-

тянулась к свече, я на миг увидел над кружевным вырезом рубашки две белые выпуклости с тенью между ними,— и темнота все захлопнула.

Я пошел прочь. Переводя дух, огляделся. Должно быть, уж поздно было. Нигде в окнах ни огонька, на улицах пустынная тишина. Шел, и душа была полна грешным, горячим счастьем: часто теперь буду ходить сюда, дождусь, что увижу, как она будет раздеваться...

В белой темноте зимней ночи навстречу мне шел высокий черный человек. Я сошел с тротуара на улицу, как будто мне нужно было на другую сторону. Человек круто повернул и пошел ко мне. Я отбежал.

— Послушайте!

— Чего вам надо?

— Да пойдите сюда! Отчего вы бежите от меня?

И пошел ко мне. Я еще отбежал.

— Да чего вам надо?

— Отчего вы от меня убегаете?

Вгляделся в меня и вдруг разочарованно воскликнул:

— Да это гимназист! — Рассмеялся, махнул рукой и пошел своей дорогой.

С бьющимся сердцем я пришел домой. Все уж спали. Взглянул на часы: второй час! В столовой под салфеткой остывшие котлеты с макаронами. Поужинал, лег спать.

Было на душе стыдно и страшно. Если бы я не догадался отбежать, он бы меня пристукнул, и я так бы и умер,— пакостный, грязный и развратный. Вспоминал: какая гадость! Но ярче становились воспоминания: прелестные нагие руки, выпуклости над вырезом рубашки... И с отчаянием я чувствовал: все-таки пойду туда еще и еще раз,— не будет силы воли удержать себя!

Потом несколько раз я ходил по вечерам к дому Николаевых. Но либо в окнах было темно, либо занавески были спущены аккуратно, и ничего не было видно. У меня даже мелькнула испуганная мысль: наверно, тогда кто-нибудь подглядел за мною из дома, и теперь они следят, чтоб нельзя было подглядывать. И когда я так подумал, мне особенно стало стыдно того, что я делал.

Вообще очень было стыдно. Решил на страстной, когда буду исповедываться, подробно во всем покаяться батюшке. И все-таки было тяжело и стыдно.

Раз вечером, в субботу, сидел я один у себя в комнате — и вдруг начал сочинять стихи. Голова горела, слезы подступали к горлу, по телу пробегала дрожь. Я курил, ходил по комнате, садился к столу, писал, опять ходил. В конце концов написал вот что:

О боже мой, спаси меня
От искушенья... Нет! но силы
Мне дай, чтоб мог я побеждать
Все искушенья. Силы воли
Мне дай, чтоб мог я отгонять
Все злые помыслы, желанья,
Все недостойные дела...
Да, силы воли не дала
Судьба мне. Твоего созданья
Внемли мольбам, о боже! Ты,
Один во всем, во всем лишь властный,
Не отвергай моей мольбы:
Да, боже, дай мне, дай мне силы
Пробиться честно до могилы,
Чтоб, уж ногой в гробу стоя,
Я мог бы всем сказать, что я
Жил честно, целый век трудился
И умер гол, как гол родился.

Последние два стиха, когда они уже были написаны,— я сообразил,— не мои, а баснописца Хемницера: он себе сочинил такую эпитафию. Ну что ж! Это ничего. Он так прожил жизнь,— и я хочу так прожить. Почему же я не имею права этого пожелать? Но утром (было воскресенье) я перечитал стихи, и конец не понравился: как это молиться о том, чтоб остаться голым! И сейчас же опять в душе заволновалось вдохновение, я зачеркнул последний стих и написал такое окончание:

...Я мог бы всем сказать, что я
Жил честно, целый век трудился,
Своею волею добился
Того, что смерти не боюсь.
Того, что с жизнью расстаюсь
Без сожаленья, без тревоги,
Простивши всех,—
И с думой лишь о боге.

Несколько дней после этого я носил в душе тайную светлую радость и гордость. Перечитывал стихи и с удовлетворением говорил себе: «Хорошо!»

Раз вечером, краснея и волнуясь, прочел их маме. Мама с удивлением спросила:

— Чьи это стихи?

— Мои.

— Что-о?

— Мои стихи.

— Да что ты говоришь? Неужели твои?

Она взволнованно и радостно пошла со мною в кабинет к папе. Я прочел стихи папе. Оба были в восторге. Папа умиленно сказал:

— Очень, очень хорошо, милый мой мальчик! Благослови тебя бог!

Перекрестил меня,— не по-нашему, тремя сложенными пальцами, а всею кистью, по-католически,— и крепко поцеловал.

Мама сказала:

— Перепиши мне и подари на память.

Вечером я сложил полулист хорошей, министерской бумаги пополам и на заглавной странице большими красивыми печатными буквами вывел чернилами:

МОЛИТВА

А под заглавием:

СТИХОТВОРЕНИЕ В. В. СМИДОВИЧА

Посвящ. Ел. П. Смидович

Тула
1882

И всю эту страницу разрисовал расходящимися от заглавия красивыми завитушками, а загибы их украсил маленькими листьями. Так, я видел, часто делались заглавия на нотах. На следующей странице, по транспаранту, большими правильными буквами, как на уроке чистописания, переписал стихотворение.

И в тот же вечер отдал маме. Она перечитала стихи и с тем лучащимся из глаз светом, который мы у нее видали на молитве, заключила меня в свои мягкие объятия и горячо расцеловала. И взволнованно сказала папе:

— Нет, тут чувствуется самый настоящий поэтический талант!

Стихи, конечно, были чудовищно плохи, даже для пятнадцатилетнего мальчика. Папу и маму они подкупили своим содержанием,— особенно потому, что в то время я уже очень напористо высказывал свои религиозные сомнения.

Но нужно и вообще сказать: как раз к художеству и папа и мама были глубоко равнодушны; на произведения искусства они смотрели как на красивые пустячки, если в них не преследовались нравственные или религиозные цели. В других отношениях мое детство протекало почти в идеальных условиях: в умственной области, в нравственной, в области физического воспитания, общения с природою,— давалось все, чего только можно было бы пожелать для ребенка. Но в области искусства была полная пустота.

Правда, девочки учились играть на рояле, мы с братом Мишею — на скрипке. Но учителя и учительницы были бездарные, успехи наши — барабанные, а родители этого совсем не замечали. Фета и Тютчева я знал только по стихам в хрестоматиях. О Тютчеве никогда никто не говорил, а о Фете говорили только как об образце пустого, бессодержательного поэта и повторяли эпиграмму, что-то вроде: «Фет, Фет, ума у тебя нет!» В журнале «Русская речь», который папа выписывал, печатались исторические романы Шардина из времен Екатерины II, Павла и др. Папа серьезнейшим образом доказывал, что они гораздо выше «Войны и мира». Что это за нелепая фигура — Пьер Безухов! Как это возможно, чтобы штатский человек во время Бородинской битвы мог бродить по полю сражения! Что это за размазывание всяких мелких ощущеньиц и размышлений в разгар боя! У Шардина все гораздо сильнее и естественнее. Нечего уже говорить о Сенкевиче. «Огнем и мечом», например,— какой чувствуется пафос войны!

Странно и неловко мне это писать, но я ясно помню. Мне было уже лет двадцать пять, а может быть, и больше, когда в одном чеховском рассказе я прочел слова о бездарных домах, которые строил какой-то архитектор в провинциальном городе. Что за бездарные и талантливые дома? Стены, крыша, окна, двери,— вот что у всех есть и что от всех требуется. Ну, да, там — Парфенон, Миланский или Кельнский соборы,— это понятно. Но наши тульские дома или церкви! Я (сознательно) совершенно не воспринимал красоты старинных наших городских и деревенских церквей, дворянских усадеб и вещей в них. Да, многое было красиво. Но мне представлялось, что это сделалось совсем случайно, не нарочно. Как случайно встретишь в лесу красивое или безобразное дерево.

В нашем доме, вот тут в зале, около пианино, однажды стоял Лев Толстой. Папа так, между прочим, рассказывал об этом, а я не мог себе представить: вот здесь, где все мы можем стоять,— и *он* стоял!

Было так. Папа считался лучшим в Туле детским врачом. Из Ясной Поляны приехал Лев Толстой просить папу приехать к больному ребенку. Папа ответил, что у него много больных в городе и что за город он не ездит. Толстой настаивал, папа решительно отказывался. Толстой рассердился, сказал, что папа как врач обязан поехать. Папа ответил, что по закону врачи, живущие в городе, за город не обязаны ездить. Расстались они враждебно.

Эх, если бы мне... С каким бы я восторгом поехал!

---

4 января был танцевальный вечер у нас. Так уже повелось, что на святках наш день был 4 января,— день моего рождения. Не потому, чтоб меня как-нибудь выделяли из братьев и сестер, а просто,— только мое рождение приходилось на праздники. Но все-таки я являлся как бы некоторым центром праздника, меня поздравляли, за ужином пили наливку за мое здоровье, после ужина товарищи иногда даже качали меня.

Уже за несколько дней началась подготовка к вечеру. Мы все чистили миндаль для оршада, в зале и гостиной полотеры натирали воском наши крашеные (не паркетные) полы. Мама приезжала из города с пакетами фруктов и сластей. У всех много было дел и забот.

У меня, кроме всех этих общих забот, была еще одна, своя. Я сидел у себя за столом над маленькой тетрадочкой в синей обертке, думал, покусывал карандаш, смотрел на ледяные пальмы оконных стекол и медленно писал. Записывал темы для разговоров с дамами во время кадрили.

О чем и с кем:

С Любой. 1. Спросить, как будто не знаешь, с нею ли в одном классе учится Надя Соколова, и рассказать, что она училась у нас в детском саду.

2. Спросить, какие у них задают темы для русских сочинений. Высказать мысль, как глупо задавать сочинения на пословицы. Подробно доказать.

С Катей. 1. Спросить, почему она больше не надевает золотую рыбку, сказать, что очень к ней идет.

2. Спросить, почему их отца зовут Адам. Русские так не называют, а у поляков был Адам Мицкевич. Не поляк ли? Тогда, значит, у них совсем, как у нас: отец поляк, мать русская.

3. Придумать еще что-нибудь.

С Наташей. Уверять, что очень обижен за рябчика. Веснушки.

С Зиной Белобородовой. Как мы катались на ледяных горах.

И так дальше.

Этот вечер в моей памяти полон Наташею и еще — жестокою обидою, которую мне нанес папа.

Наташа из трех сестер была младшая, она была на пять лет моложе меня. Широкое лицо и на нем — большие лучащиеся глаза, детски-ясные и чистые; в них, когда она не смеялась, мне чувствовалась беспомощная печаль и детский страх перед жизнью. Но смеялась она часто, хохотала, как серебряный колокольчик, и тогда весь воздух вокруг нее смеялся. Темные брови и светлая, как лен, густая коса. У всех Конопацких были великолепные волосы и чудесный цвет лица.

Помню Наташу в тот вечер,— в белом коротком платье с широкою голубою лентою на бедрах, быстро семенящие по полу детски-стройные ножки в белых туфельках и белых чулках. И когда для вальса или польки она клала руку мне на плечо, ее лицо переставало улыбаться, и огромные глаза становились серьезными и лучистыми, как у мадонны.

Я пригласил ее на кадриль. Сели. Я сказал:

— Наташа! Первого января, на вечере у вас, вы меня жестоко обидели.

Наташа смущенно подняла темные брови и растерянно взглянула на меня детскими, ясными своими глазами.

— Чем?

— Вы сказали, что вы терпеть не можете рябчиков.

— Ну, так что ж? — Ее бровь насмешливо дрогнула.— А вы разве рябчик?

Зловеще-трагическим голосом я ответил:

— Да! И вы сами знаете,— это вы намекали на меня.

Наташа засмеялась колокольчиком.

Скрипки и контрабасы в передней заиграли первую фигуру кадрили на мотивы «Прекрасной Елены» (четыре музыканта с красными кончиками носов и щетинистыми щеками). Дирижер закричал:

— Commencez! [1]

---

[1] Начинайте! *(франц.)*

Мы поднялись и двинулись навстречу нашим визави. Когда кончили первую фигуру и опять сели и танцевать ее стали поперечные пары, Наташа спросила:

— Какой же вы рябчик? Рябчик — птица.

— Пожалуйста, не отвиливайте! Я сразу понял, что вы говорите в переносном смысле, про меня!

Наташа смеялась, но все же с недоумевающим ожиданием глядела на меня.

— Ну, хорошо! В переносном смысле. Ну, можно так сказать про рябого человека. А вы вовсе не рябой.

— Как не рябой? Рябой — не рябой, а все лицо у меня в веснушках. Это все равно, что рябой.

— Вовсе совсем другое!

— Нет, нет, не отпирайтесь! Я все знаю!

— La seconde figure! Les dames, commencez! [1]

— Вам, Наташа, начинать...

Сели после второй фигуры.

— И вам, Наташа, не стыдно смеяться над несчастьем человека? Неужели вы думаете, мне приятно, что у меня веснушки? Ведь я же не виноват, что они у меня есть...

— Да я же ничего такого не говорила!

Налево от нас, в соседней паре, сидела Наташа Занфтлебен, подруга Наташи Конопацкой. Я обратился к ней:

— Наташа, ну, рассудите вы нас. Ответьте по совести: хорошо это, благородно смеяться над уродством человека?..

Очень удачный вышел рябчик. Рябчика этого мне хватило на весь вечер, и на весь вечер он связал меня с Наташею. Я уличал ее, всем жаловался на нее, она оправдывалась, доказывала, что рябой и в веснушках — не все равно, просила нас рассудить. Многие решали в мою пользу, я торжествовал, стыдил Наташу. И весь вечер я не спускал с нее глаз, с ее милого личика с огромными синими глазами. Разговаривал за танцами и с Любою о русских сочинениях, и с Зиной Белобородовой о ледяных горах, а глазами все время следил за Наташею. И когда ловил ее взгляд,— укоризненно качал головою, а она начинала смеяться.

За ужином я сел между Наташей Конопацкой и Наташей Занфтлебен, мы втроем все время смеялись и перекс-

---

[1] Вторая фигура! Дамы, начинайте! (*франц.*)

рялись. Подали индейку с маринованными сливами и вишнями. Я спросил:

— А индюшку вы любите?

— Ну, теперь, если я что скажу не так, вы станете говорить, что вы — индюшка. Люблю, люблю!

— Наташа Занфтлебен, вы слышите?! Наташа Конопацкая говорит, что я индюшка! И что она меня любит за то, что я индюшка! Когда же вы меня, Наташа, перестанете оскорблять?!

Опять закипели перекоры, смех, оправдания, доказательства.

— Нет, уж извините, это превосходит всякую меру! Это будет известно вашей маме.

Я побежал к Кате, стал за ее стулом.

— Катя, передайте, пожалуйста, Марии Матвеевне, что Наташа вела себя у нас сегодня совершенно непозволительно! Весь вечер смеялась над моими телесными недостатками, а за ужином обругала меня индюшкой!

— Катя, неправда, неправда, он выдумывает!

— Нет, не выдумываю, Наташа Занфтлебен свидетельница!

После ужина начали играть в разные игры. Папа стал играть вместе с нами. Я был в ударе до вдохновения, до восторга. Острил, смеялся. Чувствовал, как я всем нравлюсь и как мне все барышни нравятся, особенно три Конопацкие. Какие милые! Какие милые! И Люба, и Катя, и Наташа.

Стали играть в рекрутский набор. Игра эта вот в чем. Дамы остаются в зале, кавалеры уходят. Каждая дама выбирает себе по кавалеру, кавалеры поодиночке входят и стараются угадать, какая дама его выбрала: он к той подходит и кланяется. Если не угадал, дамы выгоняют его рукоплесканиями обратно, если угадал,— он остается в зале, за стулом своей дамы, и зовут следующего кавалера. Потом кавалеры так же выбирают дам.

Дамы остались в зале нас выбирать, а мы ушли вместе с папой в его кабинет. Вошла к нам из залы Люба Конопацкая. Немножко стесняясь, она сказала:

— Мы не помним всех кавалеров, позвольте мне вас посмотреть.

Папа скомандовал:

— Господа кавалеры, станьте в шеренгу!

Я шагнул вперед, вытянулся перед Любою во фронт и отрапортовал:

— Честь имею показаться! Вот моя физиогномия!

Папа возмущенно оглядел меня.

— Виця! Что такое? Что за «физиогномия»? Неужели ты находишь это остроумным?

Я смешался и замолчал. Мне показалось,— Люба с сочувствием и ласкою поглядела на меня. Сразу подсеклись и восторг мой и вдохновение. Перед Любой, перед Любой так меня срезал папа!..

И на остаток вечера совсем, совсем я завял.

Как-то подозвал меня к себе в гимназии учитель Михаил Александрович Горбатов. В нашем классе он не преподавал и, кажется, был папиным пациентом. Он мне предложил репетировать одного из своих учеников, четвероклассника Поля, сына генерала. И прибавил:

— Человек богатый, не стесняйтесь. Спросите с него тридцать рублей в месяц.

Тридцать — в месяц!.. У меня до сих пор деньги бывали только подарочные на именины (по рублю, по два) да еще — что сэкономишь с трех копеек, что нам выдавались каждый день на завтрак. И вдруг — тридцать в месяц! За деньги я уроков никогда еще не давал, боялся,— сумею ли,— но преодолел свою робость и сказал, что согласен. Горбатов написал мне рекомендательное письмо и сказал, чтобы я с ним пошел к генералу сегодня же, в субботу, вечером.

Письмо было незапечатанное. Я пришел домой, рассказал о предложении, прочел письмо:

Ваше Превосходительство,
Александр Петрович!

Податель сего письма, один из превосходнейших учеников седьмого класса, может принять на себя обязанность репетировать вашего сына. Он знает превосходно немецкий язык и теоретически и практически и отличается большим терпением и любовью к труду.

О немецком так было сказано, потому что мальчик особенно плох был в немецком. Письмо это всех нас очень смутило. Долго мы обсуждали, можно ли идти с таким письмом. Папа находил, что совершенно невозможно: фамилия — Поль,— может быть, немцы; заговорят со мной по-немецки, и получится конфуз.

Решили так: сегодня я к генералу не пойду, а завтра, в воскресенье, днем пойду на дом к Горбатову и все ему объясню. Так и сделал. Горбатов рассмеялся, сказал, что рекомендательные письма всегда так пишутся, что генерал — форменный бурбон и немецкого языка не знает. И еще раз посоветовал, чтобы за урок я потребовал тридцать рублей.

Мне очень хотелось получить тридцать рублей Но было страшно совестно просить такую колоссальную сумму: тридцать в месяц! Уж пятнадцать было бы для меня огромнейшим богатством, двадцать же — лучшего нельзя было и желать. А вдруг, правда, даст тридцать! Ведь генерал,— отчего не даст?

Долго я думал и решил,— когда меня генерал спросит об условиях, начну так:

— Михаил Александрович Горбатов советует мне просить с вас тридцать рублей...

И генерал, наверно, не даст мне дальше говорить и скажет:

— Ну, тридцать так тридцать. Прекрасно!

Пошел. Ввели к генералу в кабинет. Приземистый, с рачьими глазами, с седыми, свисающими по концам усами, в высоких сапогах со шпорами. Прочел письмо Горбатова.

— Угу! Ну, вот и хорошо. Мальчишка мой лодырь, будьте с ним построже... Позвать Александра Александровича!

Вошел юноша на голову выше меня, тонкий и красивый. Отец познакомил нас. Видимо,— это я потом сообразил,— отец ждал, что я поэкзаменую его сына, посмотрю его тетрадки,— он их принес по приказанию отца. Но я не догадался,— только мельком взглянул на тетрадки и сказал: «Хорошо!»

Сын ушел, отец наставил на меня рачьи глаза и спросил:

— А какие ваши условия?

— Михаил Александрович Горбатов советует мне просить тридцать рублей...

Генерал резко оборвал меня:

— Мне нет никакого дела до того, что вам советует господин Горбатов. Сколько вы сами хотите?

Я сконфузился и быстро ответил:

— Двадцать рублей.

— Хорошо.— И он встал.

Глупость это была с моей стороны или предательство? Ей-богу, глупость. Мне теперь стыдно и удивительно вспоминать, до чего я тогда бывал глуп. Но не так, должно быть, воспринял мой поступок Горбатов. По-видимому, генерал встретился с ним в клубе и не поблагодарил его за совет, который он мне дал. Вскоре я встретился с Горбатовым в коридоре, поклонился ему. Он холодно-негодующими глазами оглядел меня, не ответил на поклон и отвернулся.

У нас были на немецком языке сочинения Теодора Кернера и Шиллера, маленького формата, в тисненых коленкоровых переплетах,— их папа привез из своего путешествия за границу. Я много теперь стал читать их, особенно Кернера, много переводил его на русский язык. Мне близка была та восторженная, робкая юношеская любовь, какая светилась в его стихах.

Этот Кернер погиб на войне. И мне нравилось представлять себя в той героической обстановке, в какой он умер. И я переводил из него:

ПРОЩАНЬЕ С ЖИЗНЬЮ,

когда я, тяжело раненный, лежал в лесу и готовился к смерти

Ноет рана. Зубы стиснуты от боли.
По сердца замирающему биенью
Я вижу — смерть близка, и близко искупленье...
О боже, боже! По твоей да будет воле!
Немало снов вокруг меня мелькало,—
Теперь те сны сменились смертным стоном.
Смелей, смелей! Что здесь в душе сияло,
И в мире том останется со мною.
И что я, как святыню, чтил душою,
За что я бился век, не уставая.
Любовью ль то, свободой называя,—
Как серафим в блестящем одеянье,
Передо мной стоит... Сомкнулись веки,
И медленно теряется сознанье...
Прощай же, жизнь! Прощай, прощай навеки!.

Я лежал навзничь на полу нашей комнаты, раскинув руки, и слабо стонал и шептал запекшимися губами: «Люба!» И Люба невидимо приходила и клала белую руку на мой горячий лоб. Раз неожиданно открылась дверь, и вошел Миша. Я вскочил с пола, а он удивленно оглядел меня.

И из всего вообще, что я читал, вырастали душистые цветы, которые я гирляндами вплетал в мою любовь.

Есть в парке распутье, я знаю его!
Верхом ли, в златой колеснице,
Она не минует распутья того,
Моя молодая царица!
На этом распутьи я жизнь просижу,
Ее да ее поджидая.
Проедет: привстану, глаза опущу,
Почтительно шляпу снимая...

Прочел я это в «Русских поэтах» Гербеля. Песнь Риццио из поэмы Нестора Кукольника «Мария Стюарт». Я пел эту песню,— и была моя молодая царица с наружностью Кати, с червонно-золотыми волосами под короной, и я вставал, снимал шляпу с длинным страусовым пером и низко кланялся.

Каждое воскресенье мы обязательно должны были ходить к обедне в гимназическую церковь. Если опаздывали, нас наказывали. После обедни всех собирали в актовый зал и делали перекличку. Длинная-длинная служба, выпивоха-иеромонах с веселыми глазами и фальшиво-благочестивым голосом, белые, пустые стены гимназической церкви, холодная живопись иконостаса; серые ряды расставленных по росту гимназистов; на возвышении, около свечного ящика, грозный инспектор Гайчман: то крестится, то инквизиторским взглядом прощупывает наши ряды,— благоговейно ли чувствуем себя. Церковный староста, богатый чаеторговец Белобородов, худой бритый старик в длинополом сюртуке, извиваясь, ходит перед иконостасом, ставит свечки и крестится. Отблеск скучно-белесого зимнего дня на полу... Тошнит и теперь, как вспомнишь.

Ко всенощной начальство не требовало, чтоб ходить в гимназическую церковь, и субботние вечера были у гимназистов свободные. Но наши родители тщательно следили, чтобы мы ходили ко всенощной в приходскую нашу церковь Петра и Павла, на Георгиевской улице (позже улица называлась Петропавловской). Милая, дорогая сердцу церковь, белая, с большим белым куполом и золотыми крестами на куполе и колокольне. Для меня горем было бы пропустить в ней хоть одну всенощную. Но папа и мама

и не подозревали, почему я так аккуратно посещаю ее. В эту же церковь ходили и Конопацкие.

Красноватый сумрак под сводами, потрескивание восковых свечей и поблескивание золотых окладов на иконах, запах кадильного дыма. И батюшка Василий Николаевич, старик, еще крестивший маму,— высокий, величественный, с редкими седыми волосами,— провозглашает вдохновенно и торжественно:

Слава тебе, показавшему нам свет!

И в ответ нежно, протяжно звучат под сводами детские голоса, сдержанно гудят басы:

Слава в вышних богу,
И на земли мир,
В человецех благоволение
Хвалим тя, благословим тя,
Кланяемтися, славословим тя...

Я стою в середине, между двумя центральными упорами сводов, и поглядываю через головы вперед и влево. Служба идет в правом приделе, а перед левым двумя рядами стоят пансионерки Конопацких. Вижу сбоку фигуру Екатерины Матвеевны, и вот — характерная рыжая коса Кати под котиковою шапочкой... Здесь! Сразу все вокруг становится значительным и прекрасным. Я слежу, как она крестится и кланяется, как шепчется с соседкой-подругой. Какая стройная, как выделяется своим изяществом из всех пансионерок!

Все напевы, все слова конца всенощной я помню до сих пор, они и теперь полны для меня очарованием прелестной девушки-подростка с червонно-золотою косою. И когда я теперь хочу воскресить в памяти то блаженное время, я иду ко всенощной. Каждая песня вызывает свое особое настроение.

Воскресение Христово видевше,
Поклонимся святому господу Иисусу,
Единому безгрешному,
Кресту твоему поклоняемся, Христе...

Звуки удовлетворенные, радостные. И они говорят:

— Ты здесь! Ты здесь, милая девушка, «моя молодая царица»!..

Гаснут восковые свечи перед образами, сильнее пахнет воском, в полумраке красными огоньками мигают лампад-

ки, народ начинает выходить из церкви. На клиросе высокий седой и кудрявый дьячок, по прозванию Иван Великий, неразборчивым басом бормочет молитвы. Выходит батюшка, уже не в блестящей ризе, а в темной рясе, только с епитрахилью, становится перед царскими вратами. И бурно-весело, опьяненный радостью, хор гремит:

> Взбранной воеводе победительная,
> Яко избавльшеся от злых,
> Благодарственная восписуем ти раби твои, богородице...
> Радуйся, невесто неневестная!..

Душа трепещет и смятенно ликует, и сердце замирает: сейчас, при выходе, мы можем встретиться!

И вот я стою у выхода и озабоченно смотрю назад, навстречу валящей из церкви толпе, как будто поджидаю кого-то из своих. Вот в толпе Конопацкие. Выходят. А я... Я из-за ряда нищих, жадно протягивающих руки, вежливо кланяюсь — и продолжаю озабоченно вглядываться в выходящие толпы, как будто мне там кто-то ужасно нужен.. Прошли. Подавленный, разочарованный, я иду далеко сзади. Певчие ребята у входа дерутся с гимназистами, старушки на прощание низко крестятся на церковь. Иду в черном потоке расходящихся богомольцев. Поворот с Георгиевской на Площадную, где из бакалейной лавки пахнет мятой. Вижу, как в темноте, под слабым светом одинокого керосинового фонаря на углу, вереница пансионерок поворачивает на Площадную... а я бреду вверх по Ново-Дворянской...

Бывало и так: Конопацкие выйдут из церкви раньше меня; я их обгоняю уже на улице, кланяюсь с тем же деловым, озабоченным видом и спешу вперед, как будто мне кого-то необходимо нагнать и совсем не до них.

Зато иногда,— ох, редко, редко! — судьба бывала ко мне милостива. Я сталкивался с Конопацкими в гуще выходящего потока, увильнуть никуда нельзя было. Екатерина Матвеевна, смеясь черными глазами, заговаривала со мною. Катя, краснея, протягивала руку. И я шел с ними уж до самого их дома, и они приглашали зайти; я отнекивался, но в конце концов заходил. И уходил поздно вечером, пьяный от счастья, с запасом радости и мечтаний на многие недели.

Когда я входил в переднюю дома Конопацких, меня встречал какой-то особенный, милый запах. У каждого дома есть свой запах.

Запах передней крепко остался у меня в памяти, с нею связаны особенно радостные воспоминания. Когда я уходил, мы всегда долго стояли в передней,— в ней так хорошо говорилось перед уходом, так интимно и свободно; и так лукаво глядели милые, смеющиеся глаза Кати! И так приветно сверкали влюбленные девичьи улыбки! Милая передняя — просторная, с деревянными вешалками и с этим удивительно приятным, характерным запахом.

Когда я был уже студентом, Конопацкие купили для своей школы новый большой дом на Калужской улице. В старом их доме открыла школу для начинающих моя тетя, тетя Анна. Как-то был я у нее. Прощаюсь в передней и говорю:

— Удивительно приятный запах в передней тут.

Тетя изумленно вытаращила на меня глаза.

— Приятный?! Просто измучились, не знаем, что делать: тянет в переднюю из отхожего места. И Конопацкие сколько с этим бились, ничего не могли поделать.

Я внюхался — и, к изумлению своему, должен был согласиться. Да! Вполне несомненно! Пахнет... отхожим местом!

Когда я перешел в седьмой класс, старший брат Миша кончил реальное училище, выдержал конкурсный экзамен в Горный институт и уехал в Петербург. До этого мы с Мишей жили в одной комнате. Теперь,— я мечтал,— я буду жить в комнате один. Была она небольшая, с одним окном, выходившим в сад. Но после отъезда Миши папа перешел спать ко мне. До этого он спал в большом своем кабинете,— с тремя окнами на улицу и стеклянною дверью на балкон.

Папа, по-видимому, для того ко мне переселился, чтобы больше сблизиться со мною. Ему как будто хотелось, чтобы между нами установились близко-дружеские, товарищеские отношения.

Детьми мы все очень стеснялись его, чувствовали себя при папе связанно и неловко. Слишком он был ригористичен, слишком не понимал и не переваривал ребяческих шалостей и глупостей, слишком не чувствовал детской души. Когда он входил в комнату, сестренки, игравшие в куклы

или в школу, смущенно замолкали. Папа страдал от этого, удивлялся, почему они бросили играть, просил продолжать, замороженные девочки пробовали продолжать, но ничего не выходило.

В старших классах гимназии у меня с папой стали завязываться более близкие отношения, мы много и горячо спорили по самым разнообразным вопросам. Но, конечно, настоящих товарищеских, дружеских отношений не было и не могло быть. А папе хотелось этого, и он поселился со мною в одной комнате, чтобы общение наше было частое, ежеминутное. Но должен сознаться,— кроме большого для меня стеснения, ничего из этого совместного житья не получилось. И я иногда думал с озлоблением: зачем папа спит в моей маленькой комнатке, когда у него есть просторный кабинет? Впрочем, папа и сам, по-видимому, скоро увидел бесплодность своей попытки, и последний год гимназической жизни я уже жил в своей комнате один.

А в то время, когда мы жили с папой вместе, случилось однажды вот что. Было вербное воскресение. С завтрашнего дня начиналось говение, нужно было утром встать к заутрене в пять часов. Но пусть рассказывает мой тогдашний дневник.

11 апреля 1883 г.
Понедельник страстной недели
Половина 10-го утра

Я нахожусь теперь в самом скверном расположении духа, несмотря на то, что говею. Расскажу то, что случилось вчера вечером. Я лег спать в половине одиннадцатого, потому что на другой день надо было встать в 5 часов для того, чтобы идти к заутрене. Но до половины двенадцатого я не мог заснуть оттого, что клопы страшно надоели. Посыпав постель персидской ромашкой, я улегся и начал уже засыпать. Но в комнату вошла мама со свечкой, поставила ее рядом с лампой (горящей) и начала разговаривать с папой. Двойной свет падал мне прямо в лицо. Папа с мамой разговаривали, конечно, громко, так что я окончательно потерял возможность заснуть. Уж я ворочался, ворочался! Да скоро ли она уйдет? Уж половина первого,— а мне завтра вставать в 5 часов. Я даже несколько раз проворчал это под нос. Папа и мама несколько

раз спрашивали меня, клопы меня кусают, что ли? Я молчал. Уж я отворачивался, кутался в одеяло,— жара страшная, весь вспотел, а свет так и режет глаза. Отворотишься к стене,— свет отражается от нее и все-таки бьет в глаза. Я, наконец, не вытерпел. Я довольно громко «хныкнул». «Чего он там? — спросила мама,— клопы его, что ли, кусают?» — «Никакие клопы меня не кусают»,— отвечал я.— «Так чего ж ты хнычешь?» — «Оттого,— сказал я,— что мне завтра в пять часов вставать».— «А, брат, так в таком случае это с твоей стороны свинство,— протянула мама,— мне самой завтра в пять часов вставать».— «Вот дал бы я тебе — *в пять часов вставать!*» — закричал на меня папа. Мама встала и ушла из комнаты. Папа потушил лампу и лег спать, еще раз повторив: «Задал бы я тебе — *в пять часов вставать!..*» Сегодня папа со мной разговаривать не хочет и не смотрит на меня. Мама уехала во Владычню... Но я не виноват! Я сначала молчал; когда они меня спрашивали, что со мной, я не отвечал. А когда, наконец, добились ответа, то говорят, что это свинство! В чем же свинство! Я не понимаю. Если я теперь и попрошу у папы прощения, то это все равно будет только лицемерие, потому что просят прощения тогда, когда сознают себя виноватыми, а я себя не признаю виноватым... А интересно мне вот что: считают ли они себя хоть на капельку виноватыми? Наверно нет. Два часа без стеснения сидеть в комнате, когда стоило сделать несколько шагов, чтобы быть в маминой комнате, в которой они никому не мешали бы, поставить двойной свет перед глазами, говорить ничуть не тише обыкновенного, зная, что мне завтра вставать в пять часов,— это, конечно, ничего. А дать это с моей стороны заметить,— о, это другое дело! Это громадный проступок! Прошли те времена, когда по домостроевским идеалам обращались родители с детьми, как с вещами; я имею право требовать, чтобы со мною обращались как с *человеком,* а не как с скотиною. Поэтому, повторяю, если я буду просить прощения,— что придется скоро сделать, потому что послезавтра я буду исповедываться,— то, прося прощения, я не буду раскаиваться в своем поступке, потому что я не виноват.

3 часа дня

Ей, господи, царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!

Что я такое написал? А еще говею! Я спрашивал себя, в чем состоит мой проступок? А вот в чем: *я нарушил пятую заповедь:* «Чти отца твоего и матерь твою»! Значит, я виноват и должен просить прощения!

4 часа дня

Я сейчас попросил у папы прощения. Я — подлец! Я осмеливался писать там: «без стеснения говорить», «двойной свет» и т. д. Бедный папа бьется из всех сил, чтобы сколотить хоть немного денег Мише и мне в университет, здесь горе за горем следует,— Миша в горном институте провалился по химии, денег нет, практика становится все меньше, Владычня берет деньги только в себя и ничего не возвращает,— а я здесь со своими домостроевскими началами! Бедный папа себе во всем отказывает,— ходит в старых панталонах, в изодранной шубе,— всё для нас. И вот в это время, когда он, и забыв, я думаю, обо мне, разговаривал с мамою об этих затруднительных обстоятельствах, вдруг я со своими протестами!.. О, я негодяй, негодяй! И еще я себя воображал какою-то угнетенною невинностью!

Многие церковные песни, и не из одной только всенощной, остались в моей памяти как своеобразные любовные гимны, прочно связанные с определенными переживаниями в моей любви к Конопацким.

На заутрене под светлое воскресение я прозевал Конопацких. То есть, если по-настоящему сказать, по чистой совести,— просто по окончании службы не посмел к ним подойти. А в этом было все. Они бы пригласили меня прийти,— и опять день за днем я стал бы бывать у них всю святую.

Спросят: раз Конопацкие так ко мне относились, то что же мешало мне прийти к ним на праздники и без приглашения? Ясно, что и в этом случае они встретили бы меня очень радушно.

Без приглашения?! Без приглашения, так, просто, пойти... к Конопацким?! Да от страха и волнения я бы умер у их крыльца, раньше чем прикоснулся бы к ручке звонка. Да нет,— и не то даже, что умер бы. А просто и представить себе не могу. Как бы это? Так, пришел, позвонил и — «здравствуйте»? Чудаки какие! Даже когда я знал, что меня ждут, сердце у меня ходило в груди, как поршень в паровике, я несколько раз сворачивал со Старо-Дворянской на Площадную не влево, к их дому, а вправо, к банку, несколько раз подходил к крыльцу,— и проходил мимо. А когда, наконец, дрожащею рукою дергал звонок, то говорил себе с ужасом:

— Теперь конец! Назад уж нельзя!

Так вот, значит,— у заутрени прозевал я Конопацких. Пришел домой в отчаянии. Были розговины — вкусная ветчина, кулич, шоколадная пасха. У всех светлые, праздничные лица. Я тоже смеялся, болтал, а в душе тоскливо звучало:

— Теперь не увижу их до будущего рождества... Дурак, дурак!

И решил: пойду завтра утром к обедне к Петру и Павлу. Вдруг будут и Конопацкие! Мало было надежды,— но вдруг! Тогда уж, чего бы это мне ни стоило, возьму себя за шиворот, прямо после службы подойду к ним и поздороваюсь.

И целых три дня подряд — воскресенье, понедельник и вторник — я ходил к обедне,— почти уже с таким чувством, как если бы бродил по улицам в надежде: вдруг нечаянно найду оброненный кем-нибудь кошелек!

Свет и простор главной, летней, церкви под высоким куполом (летняя церковь открывалась к заутрене под светлое воскресенье и снова закрывалась осенью, под покров). Широкий и высокий иконостас, веселые лучи солнца сквозь синий кадильный дым. Полный, праздничный хор, звуки молитв, гулко повторяющиеся под куполом:

Пасха непорочная,
Пасха великая, пасха верных,
Пасха, двери райские нам отверзающая...

И теперь еще, когда звучит в памяти эта песня, я так живо переживаю тогдашнее настроение: ощущение праздничной сытости и свободы, лучи весеннего солнца в синем дыме, чудесные дисканты, как будто звучащие с купола, холодная, издевательская насмешка судьбы, упреки себе и

тоска любви такая безнадежная! Особенно все это во фразе: «Пасха, двери райские нам отверзающая». Мне и сейчас при этой молитве кажется: слезы отчаяния подступают к горлу, и я твержу себе:

— Дурак! Дурак!..

Как я в первый раз был пьян.— Именьице наше было в двух участках: пахотная земля с усадьбою лежала совсем около железнодорожного пути, а по ту сторону пути, за деревнею Барсуки, среди других лесов было и нашего леса около сорока десятин. В глубине большой луговины, у опушки, стоял наш хутор— изба лесника и скотный двор. Скот пасся здесь, и каждый день утром и вечером мы ездили сюда за молоком.

Луговину уже скосили и убрали. Покос шел в лесу. Погода была чудесная, нужно было спешить. Мама взяла человек восемь поденных косцов; косили и мы с Герасимом, Петром и лесником Денисом. К полднику (часов в пять вечера) приехала на шарабане мама, осмотрела работы и уехала. Мне сказала, чтобы я вечером, когда кончатся работы, привез удой.

Только что она уехала, меня обступили косцы, и Василий Панов из Хвошни, переминаясь, сказал:

— Дозволь, барин, малому отлучиться в Хмелевую, винца нам купить к ужину.

— Что ты, Василий, говоришь! Не могу. Вместо того чтобы косить, он за водкою будет бегать. Пошабашим,— тогда пускай идет.

— Ходить-то далеко, час целый ждать придется. Ты не сумлевайся: мы как наляжем на косы,— впятеро против него скосим.

— Ну, если так, то хорошо. Только уж, ребята, по совести,— чтоб потом не пришлось раскаиваться.

— Вот спасибо! Уж будьте покойны, не обидим вас... Доставай, ребята, кошели, вытряхай пятаки!

Приятно было в работе чувствовать себя с ними товарищем,— не хотелось и здесь оставаться в стороне. Я сказал:

— А с меня-то что же? Я тоже в доле.

— О-о-о?! Вот так барин! Ну, ну,— давай и ты!

Малый побежал в Хмелевую. Василий Панов тряхнул волосами и взялся за косу.

— Ну, братцы, не подгадим земли русской! Налегай!

Дружно ударили в косы. Уж и правда — налегли! Лесная трава мягкая и жирная, косить ее — одна забава. Повсюду вокруг, меж кустов и на полянках, в бешеном темпе мелькали и шипели косы.

— Ну, братцы! Ну! Веселей! О!.. О!.. Сама пошла! О!..

Не отдыхая, не куря, подгоняя друг друга, мы косили так до самого ужина. Закинув косы на плечи, потянулись к сторожке,— потные, усталые и веселые.

— Ну, что, барин, правильно работали?

— Правильно!

— Вот то-то же! Теперь и выпить можно.

Расселись на лугу, недалеко от сторожки, выложили свежие огурцы, хлеб, соль. Стояло два глиняных кувшина с водкой, заткнутые комками свежей травы. Василий Панов взял чайную чашку с отбитою ручкою, налил ее доверху водкой и поднес мне.

— Что ты, что ты! Мне это много!

— Ну, ну, нешто можно отказываться? Пей без разговоров!

— Да я столько не могу.

— Обидишь нас! Как так не могу? Работать с нами мог, а выпить не хочешь?

С трудом и великим отвращением проглотил я чашку водки. Я давно уже, с тех пор как стал работать деревенскую работу, с удовольствием выпивал перед едою рюмку-другую водки. Но чашку!.. Все, один за другим, выпивали эту же чашку, аккуратно наполненную до самых краев. Пили без шапок, благоговейно крестились перед выпивкой, потом макали огурцы в соль и с хрустом жевали. Голова у меня сильно кружилась, в теле было горячо и весело. Из чащи леса несло запахом свежескошенной травы, было тепло, на юге ровно темнела туча, бесшумно поблескивая.

Скоро выпили оба кувшина, малый опять побежал с пустыми кувшинами в Хмелевую, а мы пошли ужинать в сторожку. В голове шумело, как на мельнице, но я все-таки соображал, что пьянство начинается серьезное.

— Слушайте, ребята, ведь вы меня подведете! Перепьетесь и завтра проспите, не выйдете на работу. Мне за вас придется отвечать.

— Барин, да неужто же мы... Г-господи! Ты нас уважил, а мы тебя будем подводить? Чтоб мы перед тобой ока-

зались подлецами? Мы на это не согласны! Только завтра солнышко на небо,— и мы с косами в лес!

— Ну, смотрите же, я вам верю. Стыдно вам будет... И вы тоже, Петр, Герасим. Вы-то уж совсем меня подведете, если завтра вас не добужусь.

Умиленный Петр лез ко мне целоваться.

— Чтоб мы... Викентий Викентьевич, чтоб мы... Ежели вы оказываетесь такой хороший человек... Чтоб мы... Только светать станет, всех сами побудим. Будьте покойны!

Когда ужинали в избе лесника, потемнело за окнами, чугунными шарами покатился по небу гром, заблистали молнии, и хлынул проливной дождь. Ехать домой нельзя было. Да я, впрочем, и раньше уж решил остаться тут ночевать.

Помню: сидим мы все в тесной избе; папиросы мои давно вышли, курим мы махорку из трубок, волнами ходит синий, едкий дым, керосинка на столе коптит и чадит. Мы еще и еще выпиваем и поем песни. По соломенной крыше шуршит дождь, за лесом вспыхивают синие молнии, в оконце тянет влажностью. На печи сидит лесникова старуха и усталыми глазами смотрит мимо нас.

Мне кажется, что пение у нас выходит очень хорошо. Да и всем певцам, видно, это кажется. Мы поем про Лизу, как она пошла гулять в лес, как нашла черного жука. Песня — чистейшая похабщина. Но так звонки слова, так лиха и выразительна мелодия, так подхватчив припев, что мне совсем не стыдно участвовать в этом хоре. Запевает Герасим. Я сижу, обнявшись с ним. Он быстрым, рубящим говорком:

> Вот вам, девушки, наука,—
> Не ходите в лес гулять!

И мы все дружно орем:

> Лё-ёли, лёли, лёли! —
> Не ходите в лес гулять!

И опять Герасим:

> Ах, не ходите в лес гулять.
> Д'не кладите жука спать,—
> Лёли! Лёли, лёли,—
> Не кладите жука спать!

И кулаками об стол для аккомпанемента.

Шум, хохот, пьяный говор, объятья, дым махорочный столбом. Я пошел дохнуть чистым воздухом. Встал. Чувст-

вую,— качает меня во все стороны. Придерживаясь за стенку, вышел через сенцы наружу. Небо черное, гроза отгремела, сеет окладной дождь. Прислонился к наружной стене, под выступом крыши. С ее соломы каплет передо мною вода, склизкая грязь под ногами. Смотрю: рядом, устало и молча, стоит Таня, старшая дочь лесника. Я соображаю шумящею головою, что ведь Доня, наша горничная,— ее сестра, значит, дома станет известно, как я тут пьянствую с мужиками. Придерживаясь сзади руками за стенку, я говорю трезвым, озабоченным голосом, стараясь выговаривать отчетливо:

— Беда мне с мужиками! Перепились, как их завтра на работу разбудишь!

Таня молча и иронически смотрит на меня.

Скоро стало мне очень плохо. Меня уложили в клети, на дощатом помосте, покрытом войлоком. Как только я опускал голову на свое ложе, оно вдруг словно принималось качаться подо мною, вроде как лодка на сильной волне, и начинало тошнить. Тяжко рвало. Тогда приходил из избы Петр, по-товарищески хорошо ухаживал за мною, давал пить холодную воду, мочил ею голову. Слышал я, как в избе мужики пьяными голосами говорили обо мне, восхваляли,— что вот это барин, не задирает перед мужиками носа, не гордый.

В тяжкой, мучительной полудремоте прошла ночь. Жестоко кусали блохи, повыбравшиеся из войлока.

Как только белесый свет полез в щели клети, я встал и, шатаясь, пошел будить косцов. Серое небо, мокрая трава, грязь и лужи на расслизшей дороге, туман меж кустов. Должно быть, солнце уже встало. Тошно на душе. Скверно. Растолкал Петра и Герасима,— они спали в стогу. Долго мычали, сопели, отругивались, я им напоминал их вчерашние клятвы. Наконец Петр пришел в себя, побрел к колодцу, вылил себе на голову три ведра холодной воды, разбудил мужиков. Потом лукаво улыбнулся и таинственно поманил меня к себе. Достал из сена кувшин и чашку. На дне кувшина плескалась водка. Налил полчашки и поднес мне. Я с отвращением отказался.

— Пейте, Викентий Викентьевич, опохмелитесь! Сразу полегчает, вот увидите.

Но меня тошнило при одной мысли опять пить эту гадость.

Долго мужики собирались, зевали и почесывались. На-

конец, с помятыми, сонными лицами, клюя на ходу носами, побрели с косами в мокрый лес. Подоили коров. Я запряг свою телегу и с бидонами вечернего и утреннего удоя поехал домой.

Сидел понурившись, свесив ноги через грядку телеги, тупо глядя на грязные, намокшие сапоги... Позор! Гадость! Скверно было на душе. Туловище как будто налито было по самое горло какою-то омерзительною жидкостью, казалось — качнешься, и вот-вот она хлынет через рот наружу. И дома всё узнают через Таню и Доню. И эта гадостная песня... Ах, как скверно и как неинтересно жить на свете!

Проехал лес, поля. Передо мною брод через речку Вашану. За ним будет подъем, железнодорожный переезд — и дома. Река вздулась от дождя, мутно-желтая вода бежала быстро и доходила до ступиц телеги. Вдруг на том берегу, наверху, у заворота дороги, я увидел — маму. Что такое? Как она тут? Да, она, ее старый, отрепанный серый ватерпруф... У меня екнуло сердце. Мама бежала по грязной дороге вниз, мне навстречу, и радостными, сияющими глазами смотрела на меня. Я въехал на берег, соскочил с телеги. Мама обнимала меня, восторженно твердила, поднимая глаза к небу:

— Ну, слава, слава богу!

И крестила меня и целовала.

Вот что было. Вечером ударила гроза. Мама беспокоилась: ну, как я не догадаюсь остаться ночевать на хуторе и все-таки поеду. Двенадцатый час, дождь льет, меня нет. Река, наверно, от дождя вздулась,— поеду я через нее в темноте вброд, вода меня снесет, и я утону. Под ветром и проливным дождем мама, в сопровождении дворника Фетиса, пошла с фонарем к реке. Долго там стояла и смотрела на вздувшийся, шипящий во мраке поток. Фетис доказывал, что я, конечно же, остался ночевать на хуторе. Маме стало совестно, что она его держит под дождем. Воротились. Но только что забрезжил рассвет, мама опять пошла к броду поджидать меня.

Ох, как мне хотелось, чтоб меня кто-нибудь трепал за волосья, бил по щекам, бил бы кулаком по шее и злорадно приговаривал соответственные поучения!.. Но ни одного попрека, ни одного раздраженного слова! Мама заботливо расспрашивала, почему я так долго не собрался выехать вчера,— ведь гроза разразилась, когда уже совсем было темно. Я, не глядя ей в глаза, объяснял:

— Видел, туча идет, боялся, застанет в дороге.
— А хорошо тебе было спать? Где ты там спал?
— Ничего спал. В клети.
— Не промок дорогой?
— Нет.

А у самой пальто насквозь все мокрое.

С отвращением выпил стакан чаю, залег к себе на постель... Мы там в избе пьянствовали, обнимались, пели эту гнусную песню:

День проходит, ночь проходит,
Жук спокою не дает!

А мама в это время, под хлещущим дождем, стояла в темных полях над рекою и поджидала милого своего сынка. Мама думалась, и девушки-сестры, и Катя Конопацкая. Как я теперь увижу ее, как буду смотреть в ее милые, чистые глаза? И быстрый говорок погано отстукивал в голове, мутившейся от похмелья:

Жучок ползает по мне,
Ишшет...

Я вцепился зубами в подушку и мычал и корчился от душевной боли... О господи! Одно остается — умереть! Этой всей гадости никогда ничем не смоешь с души. Н-и-к-о-г-д-а!

Папа летом продолжал заниматься врачебной практикой в Туле и только по воскресеньям приезжал в деревню. Иногда мама посылала меня по разным делам на день, на два в Тулу. У вокзала ждал меня Тарасыч с пролеткой. Если были деньги, я заходил в буфет; яркий свет ламп, пальмы на столах, пассажиры торопливо едят что-то вкусное. Я выпивал у стойки рюмку водки, заедал круглым сочным пирожком с мясом,— замечательно были вкусные пирожки! И потом ехал в нашей покойной пролетке по тихим, белым тульским улицам и думал: неужели будет время, когда я смогу, не заглядывая в кошелек, сесть за эти пальмы и заказывать все, что захочется?

Дома в Туле: после грязи, тесноты, некрашеных полов и невкусной еды — простор, чистота, вкусная еда. Помню, раз, после обеда: были ленивые щи со сметаной и ватрушками, жареные цыплята с молодым картофелем и малосольными огурцами. Сел после обеда в кресло с газетой,

закурил,— и всего охватило блаженство: как хорошо жить на свете! Особенно,— когда жареные цыплята и малосольные огурцы!

Я до сих пор помню это глубоко шедшее из тела наслаждение от вкусной еды, и вспоминаю это вот почему. Папа был очень умерен в еде. На именинах у бабушки и вообще в торжественные дни, когда были на столе такие румяные пироги, сыр, колбасы, сардинки, наливки,— папа никогда ничего этого не ел. Заедет на четверть часа, выпьет стакан кофе, пошутит, посмеется и уедет. Он с каждым годом все строже был к себе в еде: католик — постился с нами по-православному, без молока и яиц. И говорил о великом религиозно-воспитательном значении поста, о том. как поднимающе он действует на душу.

Под старость у меня у самого постепенно появилась нелюбовь к мясу и даже больше: вообще неохота к вкусной, разнообразной пище и особенное отвращение к тяжелой праздничной сытости. Если бы я был верующим человеком, я был бы убежден, что это я начинаю думать о душе, о боге, об отходе от мира. Но теперь скажу: ничего такого нет. Просто потребность в какой-то телесной гармоничности.

Тигра.— В наших краях неожиданно появилась тигра. Рассказывали: настоящий бенгальский тигр; будто бы проезжал в Москву зверинец, и на нашей станции Лаптево тигра упустили из клетки.

Никто эту тигру не видал, но зато очень многие видали тех, кто слышал о ней от людей, ее видевших или даже от нее пострадавших. И пострадавшие были всё из самых ближних деревень. Десятского из села Хотуши она заела насмерть, прыгнув на него из-за крестцов ржаной копны; одной кургузовской девке выела щеку, когда она собирала в лесу грибы. Скотины же задрала — нет числа, особенно в лесах.

Была паника. Пастухи отказывались гонять скотину в лес. В дальние поля никто не ходил на работу в одиночку.

Раз вечером у нас выдалось много работы, и Фетису пришлось ехать на хутор за молоком, когда солнце уже село. Он пришел к маме и взволнованно заявил:

— Нет, барыня, не поеду,— хоть сейчас давайте рас-

чет! У меня дома жена, дети... И не желаю от тигры помирать!

Мама рассердилась:

— Что за трусость! А еще мужчина! Ну, оставайся, я сама отправлюсь. Витя, едем с тобою!

Мы поехали. Я взял с собою двустволку, зарядил ее картечью. Были мягкие, мирные сумерки, озаренные нежно-золотым отблеском зари на облаках заката; сумерки совсем незаметно переходили в темноту. Приехали. Лесник Денис подивился нашей храбрости. Сначала отказался идти с нами на скотный, но успокоился, когда увидел мою двустволку. Уставили в телегу бидоны с молоком, обложили их свеженакошенною травою. Денис и скотница поспешно ушли. И вдруг мы увидели, что кругом темно и жутко. Поехали.

В разрывы черных облаков тускло мигали редкие звезды. На земле было очень тихо. Из густого мрака выплывали черные силуэты кустов и деревьев, дорога чуть серела впереди, но привычною лошадью не нужно было править.

Мама держала вожжи, я сидел на коленях среди телеги в холодной траве, держал палец на курке двустволки, вглядывался в темноту и спрашивал себя: как это мог бы тигр ухитриться прыгнуть на нас так, чтоб я успел в него выстрелить? И казалось: подозрительно колеблются верхушки кустов тальника около белого камня на меже.

Мама заговорила:

— Удивительно есть прекрасный один псалом. Хвалебная песнь Давида. «Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится, говорит господу: прибежище мое и защита моя, бог мой, на кого я уповаю! Не убоишься ужасов в ночи, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень»... Витя! Ты не заметил,— как будто в тех кустах мелькнули зеленые огоньки?

— Где?

— Вон в орешнике, около лощины.

— Да, да...

С бьющимся сердцем я взвел курок.

— Все на одном месте огонек... Эх, да это светляк!

Поехали дальше.

— И еще в этом псалме: «...падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва

и дракона...» И ведь правда, если вдумаешься: без воли господней ни один волос не спадет с головы человека! Вот мы едем, боимся, вглядываемся в темноту, а господь уж заранее определил: если суждено им, чтоб нас растерзал тигр, не помогут никакие ружья; а не суждено,— пусть тигр расхаживает кругом,— мы проедем мимо него, и он нас не тронет.

Я с интересом спросил:

— Как это в псалме насчет аспида?

— «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

— «Попирать будешь льва...» Хорошо!

— Как, подумаешь, жалки неверующие!.. На что они могут опереться в таких, например, случаях, как сейчас?

А оба все-таки пристально вглядывались в темноту и думали: впереди еще две поляны, между ними густой осинник и орешник, а при выезде из леса, на опушке,— большие дубовые кусты, из них тигру очень удобно прыгать на проезжающих...

Потом, вспоминая этот вечер, мы часто смеялись над внезапным приливом нашей религиозности, и я маму обвинял в жестоком грехе,— что, когда пришлось плохо, она впала в самый настоящий мусульманский фатализм, совершенно не подобающий христианке.

Софья Аполлоновна Сытина прислала мне через папу «Buch der Lieder» Гейне на немецком языке. Софья Аполлоновна была начальница женского епархиального училища, очень умная и образованная женщина. Папа был с нею в дружеских отношениях, часто у нее бывал. Он читал ей мои переводы из Кернера и Шиллера, она их очень одобряла. Теперь она мне прислала «Книгу песен» Гейне и просила перевести в ней «Горную идиллию». Гейне привел меня в восторг. Такими после него пресными показались Кернер и Шиллер! «Горную идиллию» я не смог перевести целиком, но много перевел мелких стихотворений,— а переводя, хорошо изучил книгу.

Вообще я теперь все больше писал стихов. И переводил и оригинальные писал,— о любви моей к Конопацким; но посылать в журналы не осмеливался.

В августе 1883 года умер Тургенев. Я вдохновился и написал стихи на его смерть. В таком роде:

Любовью горячею к братьям
И словом правдивым могуч,
Явился он к нам... и рассеял
Всю тьму показавшийся луч.
И светом его озаренные,
Узрели мы язвы свои,
Увидели ложь вознесенную,
Увидели царствие тьмы.
Воздвигнутый силою чудною,
Восстал он за братьев меньших,
Восстал за их жизнь многотрудную,
Безропотность тихую их...

Благодаря Тургеневу у всех «спала с лица повязка», и крепостное право пало. Кончалось так:

Покойся же мирно во гробе,
Великий поэт-гражданин,
Оплаканный родиной всею,
Достойнейший родины сын!

В достоинстве прежних моих стихотворений я не совсем был уверен. Но здесь никаких колебаний уж не могло быть: стихи, без всякого сомнения, были очень сильны, проникнуты пламенным гражданским чувством и вообще — безупречны. Хотя бы рифмы, например: «луч» — к нему рифма не «из туч», а — «могуч».

Прочел стихи товарищу своему Башкирову. Он сказал:

— Очень хорошо! Пошли в журнал, обязательно напечатают.

Я решился. Только вот в какой журнал? Незадолго перед тем я прочел в газетах весьма презрительный отзыв о журнале «Дело», что там печатают плохие стихи. Решил послать в «Дело».

Соображения мои были такие: теперь им совестно, что у них такие плохие стихи, они внимательно будут читать присылаемые стихи, чтоб найти хорошие,— значит, и мои стихи прочтут и, конечно, напечатают. Помню, я испытывал даже чувство некоторого снисхождения к «Делу» и сознание, что оказываю им одолжение.

Подписался под стихотворением «В. Вицентович», послал заказным письмом.

С нетерпением ждал выхода октябрьской книжки. Наконец узнал, что она вышла, но достать ее нигде не мог.

Отец Башкирова был членом клуба, там получалось «Дело». Но первые две недели журнал лежит в читальне, а туда доступ гимназистам не разрешается. Башкиров по-

просил библиотекаря сходить в читальню и посмотреть, не напечатаны ли в «Деле» стихи В. Вицентовича на смерть Тургенева.

Библиотекарь посмотрел: нет, стихов В. Вицентовича нету, есть только стихи Д. Михаловского. Башкиров пришел ко мне и сообщил это.

Странно! Очень было странно!.. Я изумленно пожимал плечами и молчал. Может быть, библиотекарь не заметил в книжке моего стихотворения? Может быть, шутки ради, не сказал Башкирову, что оно напечатано? Башкиров завтра придет в библиотеку, а библиотекарь ему: «И вы поверили? Я же с вами пошутил! Стихи Вицентовича, конечно, напечатаны. Прекрасные стихи!»

Или, может быть, стихи пропали на почте, не дошли до редакции? Башкиров сказал, что ему говорил библиотекарь,— возможно, стихи запоздали и появятся в ноябрьской книжке. Ну, что ж поделаешь! Очевидно, причина в этом. Будем ждать ноябрьской книжки!

Но и в ноябрьской не появились...

Из дневника:

4 декабря 1883 г.
Воскресенье

Что за эгоист человек! Когда умирает кто-нибудь из его близких, разве он плачет и жалеет об умершем? Нет, он жалеет только о самом себе. Не утешать нужно плачущих об умершем, а стыдить их в эгоизме. Да что такое смерть, чтоб жалеть об умершем? Редко, редко промелькнет радостное мгновенье, а то — все пустота и пошлость. Бояться смерти?! Господи! Да что бы ни было там, за гробом, но хуже этой пустоты — никогда не будет. И еще особенно жалеют обыкновенно о смерти молодых! Радоваться надо за них, а не плакать.

Не рыдай так безумно над ним,—
Хорошо умереть молодым!

Да, хорошо! Так хорошо, что лучше ничего быть не может. Навеки быть освобожденным от жизни, когда «беспощадная пошлость ни тени положить не успела на нем»! Будь я атеистом, не верь я в загробную жизнь,— для чего стал бы я тянуть свою жизнь? Говорят все, что самоубийцы, убивая себя, доказывают

этим самым, что у них нет силы воли. Силы воли! Да неужели сила воли нужна к тому, чтобы предпочитать худшее лучшему? Если умереть — только уснуть и знать, что этот сон

Окончит —

все, то, право,—

Такой удел достоин
Желаний жарких!

Будь я эпикурейцем,— а им бы я непременно был, если бы был атеистом,— то я, насладившись всем, чем можно,—

Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу,

без колебаний, в первый же час душевной пустоты, лишил бы себя жизни. У моего товарища Преображенского — чахотка, и он сам знает, что ему недолго прожить. Счастливец! Знать вперед, что скоро будешь избавлен от жизни, не видеть перед собой без этого, может быть, еще долгой бы жизни... Застрелиться? Признаться, мне эта мысль часто приходит в голову. Никогда она мне не приходила так ясно и настойчиво, как сейчас, тем более, что папин револьвер в двух шагах. Но огорчить всех и, очертя голову, броситься вниз головой в омут — не неизвестности, а заведомо известных вечных мучений — вот что меня удерживает.

По мере того как я рос и развивался, схватки с папой о боге становились все чаще и горячее. Мы часами спорили с ним. Каждую пядь моего неверия мне приходилось завоевывать тяжелыми боями. Благодарю за это судьбу, благодарю, что в этих тяжелых боях (ох, каких тяжелых!) я принужден был прочно, обоснованно вырабатывать свои взгляды. Один мой товарищ стал атеистом потому, что император Генрих VI был отравлен ядом, поднесенным ему в причастии: как, дескать, мог яд сохранить свою силу, если причастие есть, правда, тело Христово? Мне смешно было, что на таком пустяковом основании можно было потерять веру. Такие аргументы могли иметь силу только для человека, который пришел домой, высказал этот аргумент отцу, а тот ему: «Как ты смеешь, дурак, рассуждать о подобных вещах! Дай еще раз услышу,— выдеру тебя, как сидорову козу!»

Папа радовался на меня в спорах, его глаза часто весело загорались при каком-нибудь удачном моем возражении или неожиданно для него обнаруженном мною знании. Однако ему, видимо, все страшнее становилось, что, казалось бы, совершенно им убежденный, я все же не отхожу от темы о боге, все больше вгрызаюсь в нее.

В старших классах гимназии на меня сильное впечатление произвели последние страницы «Истории цивилизации в Англии» Бокля, где он защищает деизм. «Великий строитель вселенной, творец и начертатель всего существующего, уподобляется какому-нибудь жалкому ремесленнику, который так плохо знает свое дело, что постоянно приходится призывать его для того, чтобы он перестраивал собственную свою машину, устранял ее недостатки, пополнял ее недосмотры, направлял ее ход!» На этом я строил свои доказательства бессмысленности всяких молитв. И странно бывало. Я решительно заявлял, что считаю всякие молитвы совершенно ненужными и оскорбительными для бога, и мне удавалось отстоять свою позицию. Я уходил к себе. Была суббота. Я раскрывал «Немецких поэтов» Гербеля или Тургенева. Вдруг дверь отворяется,— папа. И огорченно, с потемневшим лицом, спрашивает:

— А ты не у всенощной?

Я хмурился, мрачно вставал и озлобленно шел в церковь. И даже не утешало, что там могу увидеть Конопацких.

Каждую субботу вечером мы читали проповеди Иннокентия, архиепископа херсонского и таврического. Был такой знаменитый духовный оратор. Помню несчетное количество томов его произведений — небольшие томики в зеленых переплетах. Суббота. Вернулись от всенощной, вечер свободный, завтра праздник. Играем, бегаем,возимся. Вдруг мама:

— Дети, проповедь читать!

Еще с горящими от беготни глазами, переводя дыхание, входим в просторный папин кабинет. От абажура зеленый сумрак в нем. Рассаживаемся по креслам и диванам. Мама открывает книгу и крестится, девочки вслед за нею тоже крестятся. Мама начинает:

Одному благочестивому пустыннику надлежало сказать что-либо братии, ожидавшей от него наставления...

Она читает со светящимися изнутри глазами, папа бла-

говейно и серьезно слушает, облокотившись о ручку кресла и положив на ладонь большой свой лоб.

Проникнутый глубоким чувством бедности человеческой, старец,— Макарий Великий,— вместо всякого наставления воскликнул: «Братие! Станем плакать!» И все пали на землю и пролили слезы...

И проповедник предлагал своим слушателям пасть на землю и тоже плакать... Но плакать так не хочется! Хочется бегать, кувыркаться, радоваться тому, что завтра праздник... Глаза мамы умиленно светятся, также и у старшей сестры, Юли, на лицах младших сестренок растерянное благоговение. А мне стыдно, что у меня в душе решительно никакого благочестия, а только скука непроходимая и желание, чтобы поскорее кончилось. Тошно и теперь становится, как вспомнишь!

В старших классах гимназии после такой проповеди я иногда вдруг начинал возражать на выраженные там мысли, и, вместо благоговейного настроения, получалась совсем для родителей нежелательная атмосфера спора. Раз, например, после одной вдохновенной проповеди, где оратор говорил о великом милосердии бога, пославшего для спасения людей единственного сына, я спросил: «Какой же это всемогущий бог, который не сумел другим путем спасти людей? Почему ему так приятны были мучения даже собственного сына?»

Я начинал в этой области становиться enfant terrible [1] в нашей семье. Папа все настороженнее приглядывался ко мне. И однажды случилось, наконец, вот что. Я тогда был в восьмом классе. Сестренки Маня и Лиза перед рождеством говели. К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть.

Я сидел у себя в комнате и переводил стихами с немецкого трагедию Кернера «Црини». Входят сестры Маня и Лиза, трепещущие, кающиеся, и говорят:

— Витя, прости нас в том, в чем мы тебя обидели!

Мне стало неловко, как всегда в таких случаях, я смущенно ответил:

— Ну, хорошо! Ступайте!

Они поняли так, что я их не хочу простить,— вышли от меня и заплакали. Увидела их мама, узнала, отчего они плачут, пришла ко мне; выяснилось, что тут недоразуме-

---

[1] Буквально: ужасный ребенок (*франц.*). Употребляется по отношению к людям, которые бестактной непосредственностью ставят в неловкое положение окружающих.

ние. Мама все-таки попеняла мне, что я так грубо и небрежно обошелся с сестрами.

Вечером, уже после ужина, я сидел у себя в комнате. Вдруг дверь стремительно раскрылась, и вошел папа. Никогда я его таким не видел: он превосходно владел собою и в самом сильном гневе говорил спокойно и сдержанно. Но тут он шатался от бешенства, глаза горели, грудь тяжело дышала.

— Виця! Что же это такое? До чего ты дошел?!. Сестры пришли к тебе просить перед исповедью прощения, а ты им: «Убирайтесь от меня!» Маленьких своих сестер ты хочешь развратить, показать им, что для тебя говение и исповедь — ерунда, пустяки!

Я хотел возразить, что все это было вовсе не так, но папа не давал мне ничего сказать.

— Да сам-то ты,— какое ты право имеешь не верить в бога? Я бы еще мог с состраданием и сочувствием смотреть на человека, который путем долгих сомнений и нравственных мук дошел до неверия. Но ты, шестнадцатилетний мальчишка, который и жизни-то еще совершенно не видел, который еще не прочел ни одной серьезной книги,— ты так легко отказываешься от бога! Нет его! Все ерунда!.. Господи, ты мне свидетель! В чем другом, а в этом я не виноват! Я все делал, чтоб из них вышли честные, порядочные люди! В этом я не виноват!

— Да позволь же, папа...

— После того, что ты сегодня сделал, я тебя больше не знаю и не хочу знать! Я тебя своим сыном не признаю. Ты мне больше не сын! Развратитель детей, негодяй! Проклинаю тебя!!

И он быстро ушел. Я сидел ошеломленный и ничего не мог понять.

Через десять минут папа пришел опять, успокоенный и виноватый, и попросил у меня прощения.

— Я не так понял маму. Она подробнее все рассказала мне,— она нисколько не сомневается, что ты веришь в бога, ей только было неприятно, что ты так необдуманно и грубо ответил сестрам, что они могли тебя понять в нежелательном смысле... Еще раз прошу, прости, брат, меня!

Папа долго сидел у меня, говорил мягко и задушевно.

— Подумай, Виця, как тут нужно быть осторожным, как нужно бережно и благоговейно подходить к вере ма-

леньких твоих сестер и братьев. Вспомни, что сказал Христос: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». А ты так неосторожно начинаешь даже в их присутствии спорить на самые щекотливые религиозные темы.

Рассказав в своем дневнике об этом столкновении, я писал:

> Я особенно был поражен тем: неужели же папа меня настолько не знает, что мог, благодаря этому случаю, убедиться в моем неверии? Папа или боится за меня в будущем,— особенно во время петербургской жизни, или,— что мне кажется,— уверен и теперь в том, что мои нравственные убеждения пошатнулись, а может быть, и совсем пали. Я не знаю, что за причины этому. Видно, что папа и сам страшно страдает от этого... Покамест мои убеждения крепки, до тех пор, я чувствую это, я не погибну нравственно, и покамест есть у меня вера во Всемогущего Подкрепителя и Утешителя, до тех пор я буду стоять твердо. А пока я живу, я всегда буду верить в бога; раз я потеряю веру, то жить больше не стану,— не потому, что потерял веру, а потому, что тогда меня ничто не будет удерживать от самоубийства: кроме нравственной обязанности жить — меня ничего не удержит от смерти.

Переглядываю весь свой юношеский дневник,— и везде тот же курьез: нравственные убеждения — это синоним убеждений религиозных. Вслед за родителями и мне представлялось совершенно бесспорным: кто в бога не верит, у того, конечно, никакой нравственности быть не может, и тогда обязательно человек должен начать развратничать, красть, убивать, делать всякие пакости. И впоследствии, когда я потерял всякую веру, я был очень удивлен: в бога не верю, а решительно нет никакой охоты убить кого-нибудь или выкинуть пакость.

---

4 января 1884 года я писал в дневнике:

> Вот мне исполнилось уже семнадцать лет. Кажется, как недавно еще был я маленьким карапузиком,— а теперь уж ровесницы мои совсем взрослые

девушки, и сам я — уж юноша с пробивающимися усами. О время, время! Как скоро летишь ты! Не успеешь и оглянуться, как придет старость — холодная, дряхлая старость. Дай мне только насладиться жизнью, а тогда рази меня косой в пору цветущей юности. Прочь, холодный, страшный призрак — старость!

И много раз в разных местах дневника нахожу я это проявление ужаса перед ждущею человека старостью. То же и в стихах тогдашних. Например:

Sed fugit interea,
fugit irreparabile tempus!
Virgilius[1].

Пользуйся, юноша, жизнью! ты молод, любовью дышишь,
Бодро, беспечно несешь ты и горе и радость земные,
Крепко, могуче все тело твое и здоровием пышет...
А между тем все бежит, бежит невозвратное время!
Юность промчится... Минует пора молодых увлечений...
Разум холодный воспрянет... Угаснут пылавшие страсти...
И лишь одно сожаленье останется, горькая память о прежних,
Быстрых, как радостный сон пролетевших, блаженных мгновеньях
Юности страстной... Увы! ни разум, ни опытность старца,—
Нет,— ничего не заменит кипучих надежд, увлечений
И заблуждений самих промчавшейся юности... Боже!
Что же останется? — Слабость, болезни и холод душевный...
Нет, уже лучше погибнуть в пору расцветания жизни,
Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу!..
Пользуйся ж жизнью своей, не теряй невозвратных мгновений.
Жизни минует весна,— никогда не придет она снова,
И никогда не воротится вновь невозвратное время!..

Все мы растем в презрении к старости и в ужасе перед нею. Но если бы я тогда знал,— а кто это в молодости знает? — если бы я тогда знал, какою нестрашною, какою радостною и благодатною может быть эта грозная старость!

Мне шестьдесят лет. Как бы я, семнадцатилетний, удивился, если бы увидел себя теперешнего, шестидесятилетнего: что такое? И не думает оглядываться с тоскою назад, не льет слез о «невозвратной юности»,— а приветственно простирает руки навстречу «холодному призраку» и говорит: «Какая неожиданная радость!»

---

[1] Но меж тем бежит, бежит невозвратное время! *Вергилий (лат.).*

Вспоминаю скомканную тревожность юности, ноющие муки самолюбия, буйно набухающие на душе болезненные наросты, темно бушующие, унижающие тело страсти, безглазое метание в гуще обступающих вопросов, непонимание себя, неумение подступить к жизни... А теперь — каким-то крепким щитом прикрылась душа, не так уж легко ранят ее наружные беды, обиды, удары по самолюбию; в руках как будто надежный компас, не страшна обступившая чаща; зорче стали духовные глаза, в душе — ясность, твердость и благодарность к жизни.

С радостным удивлением нахожу, что не я один так переживаю старость, не для меня одного она является светлою неожиданностью. Бенвенуто Челлини начинает свою автобиографию так:

«Я приближаюсь к концу пятьдесят восьмого года моей жизни и, размышляя о бесчисленных несправедливостях, сокрушающих человечество, чувствую себя менее, чем прежде, обиженным несправедливостями. Мне кажется даже, что никогда в жизни не пользовался я таким духовным спокойствием и здоровием, как ныне».

У Льва Толстого это особенно часто и сильно. В 1898 году он пишет в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это — не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию, и переход, от меня зависящий. Как будто выросли крылья». Гольденвейзер записывает за Толстым: «Как хорошо, как радостно! Я никак не ожидал такого сюрприза! Вот если вы доживете, увидите, как хороша старость. Чем к смерти ближе, все лучше... Если бы молодые люди могли так чувствовать, как в старости. У меня, особенно по утрам, как праздник какой,— такая радость, так хорошо! Я дорожу своей старостью и не променяю ее ни на какие блага мира».

И Гете писал Гегелю: «Я всегда радуюсь вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов *все более развивающейся весны моей души*». Гете в это время было — семьдесят пять лет.

Да, может быть, если бы знала молодость, какая возможна озаренная, поднимающая дух старость,— может быть, она бы менее беззаботно «прожигала» себя.

Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу...

Промотать все силы — и потом прийти к мутноглазой старости,— харкающей, задыхающейся, с брюзгливо отвисшей губой и темным лицом. И говорить юности: «Старость — это страшная, проклятая пора человеческой жизни».

Из дневника:

11 февраля 1884 г. Суббота

В молодости Лафонтен отличался ленью и неспособностью. Но раз, услыхав оду Малерба, он воскликнул: «Я тоже поэт!», как-то бессознательно вдруг почувствовав в себе поэтический талант. Иногда мне хочется воскликнуть то же самое; на меня иногда находит мысль, что я буду великим писателем, и в это время я чувствую в себе такую силу, такой талант, что ничуть не сомневаюсь в этом. Но — увы! Скоро, скоро проходит это настроение, и тогда я убеждаюсь, что я такой же ничтожный смертный, как бóльшая часть рода человеческого... Я падаю тогда духом: «Неужели я — не поэт?» и утешаю себя тем, что у многих талант обнаружился довольно поздно: Некрасов, например, только в 25 лет начал писать свои великолепные стихотворения. А до этого времени... Кто не знает, что случилось со сборником его стихотворений: «Мечты и звуки»? А Монтескье? Свой «L'ésprit des lois» [1] он написал чуть ли не 50 лет, а до тех пор писал такую чушь, что все над ним смеялись и считали его за самого бездарного дурака. Так, например, он написал многотомное сочинение, в котором исследовал то, «какого именно рода муки ожидают нас в аду?» Прудон советует начинать писать не ранее сорокалетнего возраста. Следовательно, хоть этим можно утешиться. Но, впрочем, какой здесь эгоизм! Ведь не быть же всем поэтами и мыслителями? Я ведь не желаю, чтобы все были ими, а только именно один я; эгоизм, эгоизм и больше ничего!

Биографам Монтескье, наверно, неизвестно то, что я о нем рассказываю. Никак не могу вспомнить, откуда я почерпнул эти интересные сведения.

---

[1] «Дух законов» *(франц.)*.

На танцевальных вечерах у знакомых я чувствовал себя по-одному, когда не было Конопацких, и совсем по-другому, когда они были.

Когда не было: я стоял у стенки с неподвижным, напряженным лицом и глядел на танцующих; преодолевал застенчивость,— подходил к дамам, неловко кланялся и неловко танцевал; решительно не знал, о чем с ними разговаривать И чувствовал, что им со мной совсем неинтересно.

Когда были Конопацкие: я ходил легко, легко танцевал, легко разговаривал и острил. Почти всегда дирижировал. Приятно было в котильоне идти в первой паре, придумывать фигуры, видеть, как твоей команде подчиняются все танцующие. Девичьи глаза следили за мною и вспыхивали радостью, когда я подходил и приглашал на танец. И со снисходительною жалостью я смотрел на несчастливцев, хмуро подпиравших стены танцевальной залы, и казалось странным: что же тут трудного — легко разговаривать, смеяться, знакомиться?

Был раз на масленице бал у Коренковых. Мы приехали. Я спросил: будут Конопацкие? — Неизвестно: у них кто-то болен, еще неизвестно, не заразная ли болезнь, ждут, что скажет доктор. И было серо, скучно. И вдруг, уже в десятом часу, приехали Катя и Наташа с Екатериной Матвеевной Как будто яркое солнце взошло в душе.

Мне Катя особенно помнится в этот вечер. Сколько можно было, я танцевал с нею. С ней очень хорошо было танцевать, очень мы как-то сладились. И говорилось в этот вечер особенно легко и задушевно, и прямо, с нескрываемою любовью, смотрели глаза в милое, легко красневшее лицо... Никогда, ни разу мы с Катей не говорили о любви. И как бы это было грубо, коряво и ненужно! Зачем мне было знать от нее, любит ли она меня, когда ее любовь, как тонкий аромат ландыша, вдыхалась мною из ее улыбки, из мерцанья глаз, из пониженного голоса?

И все-таки, когда вдруг это нечаянно почти сказано было мне словами,— как будто сверкающий счастьем гром ударил над моею головою. Было так. Вышел я из курительной в залу, вижу: стройный и высокий реалист Винников стоит перед Катею на коленях и просит у нее прощения, а она, взволнованная, смущенная:

— Неправда, ничего такого я не говорила... Вы этого не могли слышать... Я это говорила только Зине... Она не скажет!

Когда я подошел, Катя еще больше покраснела. Винников обратился ко мне:

— Викентий Викентьевич, заступитесь хоть вы за меня!

Я начал просить Катю простить его, хотя не знал, за что она на него сердится. Катя быстро встала и ушла в гостиную.

В курительной Винников мне рассказал, в чем дело. Катя шепталась с Зиной Коренковой, а Винников говорит: «Я знаю, что вы говорите Зине».— «Нет, не знаете. Ну, что?» — «Что тут есть один гимназист, и за него вы отдадите всех нас, грешных».

— И, оказалось,— попал! Она это, как раз, и говорила.

Я покраснел и спросил:

— Кто же этот гимназист?

— Да будет вам! Неужто не понимаете? Вы, конечно!

Разъезжались. Было три часа ночи. Я нашим сказал, что пойду пешком, и они уехали. А я пошел бродить по улицам. Пустынны тульские улицы ночью, на них часто раздевают одиноких пешеходов. Но ни о чем я этом не думал. Такое счастье было в душе, что казалось, лопнет душа, не выдержит; шатало меня, как пьяного. Небо было в сплошных облаках, за ними скрывался месяц, и прозрачный белый свет без теней был кругом и снег. И грудь глубоко вдыхала легко-морозный февральский воздух.

Подходил к дому мимо углового дома Костомаровых, рядом с нашим. Светилось одинокое окно во втором этаже. Там, у учителя Томашевича, живет звезда нашего класса, Мерцалов. У него огромная, прекрасно сформированная голова, мы уверены, что из него выйдет Ньютон или Гегель. В споре о Сократе он совсем забил нашего учителя истории Ясинского, по математике он самостоятельно прошел дифференциальное и интегральное исчисление... Вот! Сидит у себя в комнате всю ночь напролет и изучает интегральное исчисление... Бедняга! Пережил ли он когда-нибудь со своим интегральным исчислением хоть отдаленно что-нибудь похожее на ту радость, в которой сейчас захлебывается моя душа?

Поражает меня в этой моей любви вот что.

Любовь была чистая и целомудренная, с нежным, за-

стенчивым запахом, какой утром бывает от луговых цветов в тихой лощинке, обросшей вокруг орешником. Ни одной сколько-нибудь чувственной мысли не шевелилось во мне, когда я думал о Конопацких. Эти три девушки были для меня светлыми, бесплотными образами редкой красоты, которыми можно было только любоваться.

А в гимназии, среди многих товарищей, шли циничные разговоры, грубо сводившие всякую любовь к половому акту. Рассказывались скоромные анекдоты, пелись срамные песни.

Из всех песен, из всех анекдотов выходило, что для женщины все это очень просто и что она сама постоянно только об этом и думает.

Я молчал про свою любовь, никому из товарищей про нее не рассказывал. А дома писал корявые стихи такого содержания:

Пусть говорят, что любовь идеальная
　　Время свое отжила,—
Нет, не смутит нас улыбка нахальная,
　　Не испугает молва!
Пусть говорят, что в наш век положительный
　　Эта любовь уж смешна,
Пусть нас пятнают насмешкой язвительной,—
　　Не испугаюся я.
Только животную, грубую чувственность
　　Ставят теперь высоко,
Как неестественность, фальшь и искусственность,
　　Я презираю ее...
Да! Перед *чистой* красы обаянием
　　Всякий с молитвой падет!
Верьте, молитвы те чужды желаниям,
　　Грязная мысль не придет
В ум никому перед нею... Конечно,
　　Нету почти никого
Ныне, кто любит так чисто, сердечно,
　　Но отчего ж, отчего?!

Предполагался ответ: оттого, что мало теперь чистых людей,— таких, как я,— не развращенных грубою чувственностью.

Но дело-то в том, что чувственность, самая грубая, самая похотливая, мутным ключом бурлила и во мне. Я внимательно вслушивался в анекдоты и похабные песни, рассматривал, конфузясь, карты на свет, пробовал потихоньку рисовать голых женщин, но никак не выходили груди. В книгах были обжигающие места, от которых дыхание становилось прерывистым, а глаза вороватыми,— а потом эти

места горели в книге чумными пятнами, и хотелось их вырвать, чтобы наперед не было соблазна. Все эти места точно помнились и легко находились среди сотен страниц. У Пушкина: «Вишня», «Леда», «Фавн и пастушка», в «Руслане и Людмиле», как красавица подходит к спящему Ратмиру

И сон счастливца прерывает
Лобзаньем долгим и немым.

В «Бахчисарайском фонтане»,— как евнух смотрит на купающихся ханских жен и ходит по их спальням. Потом еще — примечание на первой странице «Дубровского», что у Троекурова в особом флигеле содержался гарем из крепостных девушек. И у каждого писателя были такие тайно отмеченные в памяти места.

А потом — ломота в голове, боли в позвоночнике, мрачное, подавленное настроение.

Я развращен был в душе, с вожделением смотрел на красивых женщин, которых встречал на улицах, с замиранием сердца думал,— какое бы это было невообразимое наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно ласкать. Но весь этот мутный душевный поток несся мимо образов трех любимых девушек, и ни одна брызга не попадала на них из этого потока. И чем грязнее я себя чувствовал в душе, тем чище и возвышеннее было мое чувство к ним.

Вот я сейчас сказал: «Три любимые девушки»... Да, их было три. Всех трех я любил. Мне больше всех нравилась то Люба, то Катя, то Наташа, чаще всего — Катя. Но довольно мне было видеть любую из них,— и я был счастлив, мне больше ничего не было нужно. И когда мне больше нравилась одна, у меня не было чувства, что я изменяю другим,— так все-таки много оставалось любви и к ним. И при звуке всех этих трех имен сердце сладко сжималось. И сжимается сладко до сих пор.

Меня самого удивляло и смущало: как это? Разве когда-нибудь любят трех сразу? Пробовал любить одну какую-нибудь из трех. Ничего не выходило: и обе другие так же были милы, и, когда я видел любую из них, душа расширялась, как будто крылья развертывала, и все вокруг заполнялось солнечным светом.

И я признал факт. И писал в своем дневнике:

19 февраля 1884 года. Воскресенье
10 час. вечера В гостиной гости.

Очень интересен следующий психологический вопрос: возможно ли сразу полюбить трех женщин (полюбить — в смысле влюбиться)? Вопрос этот тем более заслуживает самого серьезного внимания, что, как кажется, до сих пор не был разработан ни одним романистом. Если у меня окажется впоследствии какой-нибудь талант, то непременно выведу такую любовь, потому что она мне кажется возможной. Еще Достоевский сказал, что «трудно себе представить, за что и как можно полюбить». Физическая красота, но *главным образом* какие-то неуловимые духовные особенности любимой личности (мужской или женской) заставляют нас именно ее считать выше всех остальных, представлять ее идеалом всех женщин (я говорю — женщин, потому что рассматриваю этот вопрос как мужчина),—и именно идеалом, то есть образцом для всех других женщин. Примеров этому тьма. Возьмем ли мы серенады средних веков (см серенаду Дон-Жуана в драме графа Ал. К. Толстого «Дон-Жуан»), возьмем ли любовные стихотворения современных поэтов,—везде видно одно и то же: всякий свою деву называет прекраснейшей в мире. И вот теперь возникает психологический вопрос, который должен заставить задуматься всякого мыслящего человека: почему невозможно, что физические и психические особенности нескольких женщин сразу оказывали бы совершенно одинаковое влияние на сердце? А раз это так, то человек легко может сразу любить трех девушек. Обыватель-мещанин над этим посмеется, но человек с самостоятельною мыслью в голове может над этим очень глубоко задуматься.

Из дневника:

20 февраля. Понедельник

Читаю теперь «Даниеллу» Ж. Занд. Я прочел уже несколько ее романов, и везде одна и та же основа — любовь. Бедная! Она не понимает другой любви, кро-

ме самой скотски чувственной... Вот, вместе с Чернышевским, истая представительница нашего положительного века!

Должен сознаться,— Чернышевского я не читал: только слышал, что он в романе «Что делать?» якобы проповедует самый бесцеремонный разврат.

---

10 марта. Суббота

Спасибо Тургеневу! Сколькими сладкими, дорогими минутами жизни я ему обязан! Для меня он — первый поэт в мире. Во время неудач, невзгод я прибегаю к нему и, при чтении его, душа очищается, тоска пропадает. При нем забываешь все дрязги жизни, уносишься в далекий, идеальный мир... И в это-то время как жаль мне темных, необразованных людей, которым недоступны высшие духовные и эстетические наслаждения! Как не вспомнить тут слов Жорж Занд: «Когда я подумаю, как мало нужно для благоденствия человека, который много живет умом, я всегда удивляюсь алчности к богатству и стремлению к роскоши».

---

2 апреля. Понедельник страстной
12 час. ночи

Говенье началось. Сегодня у обедни были Конопацкие. Я совсем не мог молиться: они стояли как раз передо мной, и я все время службы не отводил глаз от Кати. Коса у нее, если только это возможно, стала еще роскошнее. Стройная, грациозная, нужно было видеть, как она преклоняла колени, подымалась, крестилась... Любы не было в церкви.

---

4 апреля. Среда

Вижу их (издали) почти каждый день. И все-таки — неужели не увижу их до рождества?! Экзамены, потом летом — в деревню, осенью — в Петербург. Сколько времени жить надеждой на краткое свидание!

А годы проходят, все лучшие годы...

---

7 апреля. Великая суббота

Конопацких ни вчера, ни сегодня я в церкви не видел. На столе беспорядок, нужно бы прибрать к празднику, но ничего делать не хочется... Может быть, Конопацкие будут у заутрени... Конечно, надежды и тогда очень мало, чтобы могли пригласить к себе,— а без приглашения я и сам не пойду, но все-таки хоть нагляжусь на Катю...

---

10 час. вечера

Почти все в доме спят. В столовой приготовляют стол для розговен... Через час все пойдут к заутрене... Если *Катя* будет там...

---

3 часа ночи

Ура! Ура! Ура! Были и Катя и Люба! Но главное, главное,— я себя не узнаю: после окончания заутрени *прямо, сам* подошел к ним и поздравил их с праздником. Люба меня пригласила завтра к ним... О блаженство! Правда, то, что я сам подошел к ним,— это была решимость отчаяния: в противном случае я не увидел бы их до будущего рождества. Но теперь... теперь не думай о будущем, а наслаждайся настоящим:

Greife schnell zum Augenblicke:
Nur die Gegenwart ist dein! [1]
Урра!

---

8 апреля. Светлое воскресенье, 12 ч. ночи

Только что пришел от Конопацких. Люба и Катя... Обе они мне теперь совершенно одинаково нравятся. Не хочу думать о будущем — о муках тоски, о страданиях долгой разлуки... «Nur die Gegenwart ist dein!» Завтра опять пойду к ним.

Всю пасху я бывал у них каждый день. Теперь мне больше всех стала нравиться Люба. Она в этом году тоже

[1] Лови мгновение: только настоящее твое! *(нем.)*

держала выпускные экзамены и тоже, как я, могла рассчитывать на золотую медаль. Мы условились: когда кончу курс, обязательно приду к ним, и мы с Любою должны будем друг другу показать экзаменационные отметки, какие бы они ни оказались. Главная тут радость была в том, что, значит, будет тогда предлог опять прийти к Конопацким. И еще радость, совсем уже нежданная: Конопацкие летом жили всегда в городе,— на это лето они сняли под Тулою дачу; и Мария Матвеевна мельком сказала мне:

— Может быть, Витя, вы к нам летом приедете на дачу?

Если приду после экзаменов к Любе, если Мария Матвеевна еще раз серьезно пригласит к ним на дачу, тогда... Что будет тогда?!. Дух занимало от блаженства.

Я говорил, что с седьмого класса перестал интересоваться отметками и наградами. Нет, должно быть, это было не так. Во всяком случае, помню,— мне очень хотелось кончить курс с золотою медалью; на словах высказывал полное безразличие и даже презрение, но в душе очень хотелось.

Выпускные экзамены тянулись больше шести недель. Сначала шли письменные по всем предметам. Обставлены были экзамены торжественно и строго. Они происходили в огромном актовом зале, для каждого экзаменующегося полагалась отдельная парта, парты были расставлены так далеко друг от друга, что никакие сношения не были возможны. Торжественно входили директор, инспектор, учителя, делегат от округа, читалась молитва перед учением. Потом директор благоговейно вскрывал большой, запечатанный сургучными печатями конверт, присланный из округа, и громко диктовал нам — темы для сочинения, математические задачи или текст для перевода. Пока мы делали экзаменационную работу, дежурный учитель расхаживал по залу; если ученику нужно было «выйти», его сопровождал надзиратель.

После письменных пошли устные. Тоже было очень торжественно. На экзамене по закону божию присутствовали архиерей, губернатор, городской голова и другие важные лица. Тут мне пришлось увидеть, что очень меня поразило. Вошел губернатор, Сергей Петрович Ушаков, с седыми баками, очень похожий на Александра II. Говорили, будто он — незаконный сын Николая I, и будто он этим, к нашему

изумлению и смеху,— очень гордился. Городской голова, важный старик в длиннополом сюртуке, с золотыми и серебряными медалями на шее, вскочил и низко поклонился. Губернатор приветливо кивнул ему и протянул — мизинец руки. Не всю руку, а только мизинец. Я ясно видел: все пальцы поджал и только мизинец оттопырил. И голова не оттолкнул с негодованием протянутую руку, не отвернулся. Он почтительно изогнулся и благоговейно пожал мизинец. И потом этим самым людям мы благочестивыми голосами излагали основы учения любви к людям и христианского смирения...

Та весна была великолепная,— яркая, жаркая и пышная. Я вставал рано, часов в пять, и шел в росистый сад, полный стрекотания птиц и аромата цветущей черемухи, а потом — сирени. Закутавшись в шинель, я зубрил тригонометрические формулы, правила употребления энклитики и порядок наследования друг другу средневековых германских императоров. А после сдачи экзамена с товарищем Башкировым приходили мы в тот же наш сад и часа два болтали, пили чай и курили, передыхая от сданного экзамена.

Сирень отцвела и сыпала на дорожки порыжевшие цветки, по саду яркой бело-розовой волной покатились цветущие розы, шиповник и жасмин. Экзамены кончились. Будет педагогический совет, нам выдадут аттестаты зрелости,— и прощай, гимназия, навсегда! Портному уже было заказано для меня штатское платье (в то время у студентов еще не было формы), он два раза приходил примерять визитку и брюки, а серо-голубое новенькое летнее пальто уже висело на вешалке в передней.

В гимназии мы без стеснения курили на дворе, и надзиратели не протестовали. Сообщали, на какой кто поступает факультет. Все товарищи шли в Московский университет, только я один — в Петербургский: в Петербурге, в Горном институте, уже два года учился мой старший брат Миша,— вместе жить дешевле. Но главная, тайная причина была другая: папа очень боялся за мой увлекающийся характер и надеялся, что Миша будет меня сдерживать.

В последний раз собрались в гимназии. Нам выдали аттестаты зрелости, учителя поздравили нас и, как полноправным теперь людям, пожимали руки. Мне дали серебряную медаль, единственную на наш выпуск. Золотой не

получил никто. Было неприятно говорить о медали: или бы золотую, или бы уж лучше совсем ничего.

После обеда в первый раз я вышел на улицу в штатском пальто, с тросточкою в руках. В руке держал папироску и курил спокойно, не оглядываясь по сторонам.

Папа был в школе Конопацких годовым врачом. От него я узнал, что все Конопацкие уже переехали на дачу, в Туле только Мария Матвеевна и Люба. Люба кончила курс с золотою медалью. Через папу она передала мне, что ждет исполнения моего обещания.

Я пришел к ним. Все в те блаженные дни было необычно-радостно, торжественно и по-особому значительно. Блеск июньского дня; эта девушка с длинною косою и синими глазами; огромные, теперь пустынные, комнаты школы с мебелью и люстрами в чехлах; и я — в штатском костюме, с папиросой, и не гимназист, а почти уже, можно сказать, студент.

Софье Аполлоновне понадобился ее Гейне, она взяла его у меня. Люба говорила, что у нее есть «Buch der Lieder» на немецком языке. Я попросил у нее книжку на лето,— очень мне нравился Гейне, и хотелось из него переводить. Люба немножко почему-то растерялась, сконфузилась и принесла мне книжку. Одно стихотворение («Mir träumt', ich bin der liebe Gott» [1]) было тщательно замазано чернилами,— очевидно, материнскою рукою. А на заглавном листе рукою Любы было написано:

Все нехорошо,— с сухою глупостью и немецкой сентиментальностью, без чувства, поэзии и рифмы.

Я в душе ахнул, и в первый раз мне захотелось приглядеться к Любе попристальней. Но так задушевно звучал ее голос, и с такою лаской смотрели на меня синие глаза, что очень скоро погасло неприятное ощущение.

И вдруг Мария Матвеевна, прощаясь, спросила:

— Ну, что же, Витя, приедете вы к нам на дачу?

Я вспыхнул от радости и смущения.

— Если позволите... Я с удовольствием...

Все расспросил,— как приехать, какая дорога,— условились в конце июня. Люба, пожимая мне руку, сказала:

---

[1] «Мне снится, что я бог» (*нем.*).

— Смотрите же, Витя, приезжайте! — и, понизив голос, прибавила: — Я и подумать не могу, чтоб мы с вами не увиделись до вашего отъезда в Петербург.

Я шел домой в сумерках. В садах пели соловьи. И соловьи пели в душе.

Все наши давно уже были во Владычне. Один папа, как всегда, оставался в Туле,— он ездил в деревню только на праздники. Мне с неделю еще нужно было пробыть в Туле: портной доканчивал мне шить зимнее пальто. Наш просторный, теперь совсем пустынный дом весь был в моем распоряжении, и я наслаждался. Всегда я любил одиночество среди многих комнат. И даже теперь, если бы можно было, жил бы совершенно один в большой квартире, комнат в десять.

Погода по-прежнему была сверкающая, в раскрытые окна глядела налитая солнцем зелень сада, по блестящим полам медленно двигались под сквознячком легкие стаи пушинок от тополей. В душе было послеэкзаменное чувство огромного облегчения и освобождения; впереди — Петербург, студенчество; через две недели — к Конопацким. И я писал:

BEATUS SUM! [1]

Славное время! Небо так чисто,
Сердце блаженства полно!
Дни так блестящи, так чудно душисты,—
Ночи так темны, так влажно-росисты,—
Чего же мне больше, чего?

Силою дышит грудь молодая,
На сердце так легко, светло!
С прошедшим простился я. Ясно сияя,
Мне будущность много сулит золотая,—
Чего же мне больше, чего?
Славное время! Свиданья мгновенье
Уж близко, тоска далеко.
О, близки, уж близки любви наслажденья,
Блаженство свиданья, восторг вдохновенья,—
Чего же мне больше, чего?

Справил свои дела, уехал во Владычню. Там сразу, конечно, вошел в деревенские работы,— возил навоз, косил

[1] Я счастлив! *(лат.)*

траву коровам. Через две недели приехал обратно в Тулу. Дача Конопацких была верст за десять от города. Папа своей лошади дать не мог. Пришлось разориться,— нанять за три рубля извозчика. Поехал в своем серо-голубом пальто, с замирающею от волнения душой. Мягкое покачивание городской пролетки, серебристо-зеленые волны по ржи, запах полевых цветов, конского пота и дегтя,— милый запах, его вечно будет любовно помнить всякий, кто путешествовал на лошадях по родным полям.

Что помню из этого посещения Конопацких? После обеда была общая прогулка. Ореховые кусты, разбросанные группы молодых берез, цветущая Иван-да-Марья на лесных полянах. Сидели на разостланных пальто и платках,— девочки, тети,— болтали, смеялись. Черноглазая француженка с пышным бюстом задорно пела, плохо выговаривая русские слова:

Расскажитэ ви ей, свети мои...

Как всегда в начале посещения, я был застенчив, ненаходчив, придумывал, что сказать, и сразу чувствовалась придуманность. И Люба смеялась на мои остроты,— я это видел,— деланным смехом. Сам себе я был противен и скучен и дивился на всех: как они могут выносить скуку общения со мной? И стыдно было,— как я смел сюда приехать, и грустно было, что я — такой бездарный на разговоры.

Потом возвращались. Солнце садилось. Мы с Любою отстали от остальных и разговорились. Что-то случилось, какая-то шестерня стала на свое место,— и я стал разговорчив, прост и знал теперь: все время уж буду легко разговаривать и держаться свободно.

Пришли домой. Пора было ехать. Марья Матвеевна предложила мне остаться ночевать и отпустить извозчика: завтра она едет в город и подвезет меня. Девочки в восторге стали меня упрашивать. Катя захлопала в ладоши:

— Витя, Витя! Оставайтесь!

Конечно, остался. От вечера самое сильное сохранилось воспоминание: в первый раз милых мне девушек я видел в глубине домашней жизни, не праздничными, какими они всегда являлись мне в Туле. Особенно Катю помню — в простеньком ситцевом платье, как она после ужина сидела за столом и что-то зашивала. Странно было в ее красивых пальчиках видеть иголку и нитку, странно было видеть

прелестную головку, наклонившуюся над такой будничною работою. Странно — и умилительно Был канун Ивана-Купала, мы говорили о кладах, о цветущих папоротниках.

Разошлись поздно. Я пришел в отведенную мне комнату, лег спать. Через две недели я так описывал ощущения, переживавшиеся мною в ту ночь:

Ich bin dir nah...
Th. Körner[1]

Уж полночь. Свет свой ясно-серебристый
В окно мне льет луна,
И ароматом лип и резеды душистой
Вся комната полна.
Настал Иванов день. Перед рассветом
Сегодня кладов ищут по лесам,
Сегодня папоротник таинственным расцветом
К себе манит искателей... Не там
Мой драгоценный клад. Не под густою мглою
Деревьев,— нет, мой клад недалеко:
Под этой кровлей, здесь, да, рядом здесь со мною,—
Здесь радость, жизнь, сокровище мое.
Ты спишь, наверно... Кладов всей вселенной,
Сокровищ мира нашего всего
Я не взял бы за клад свой драгоценный...
Спи, жизнь, любовь, сокровище мое!

Жульническим образом стихотворение это я пометил не тем числом, когда оно было написано, а так: 23 июня 1884 г. 12 ч. ночи. Как будто в эту самую ночь, лежа в отведенной мне комнате, я вдохновенно изливал затоплявшие сердце чувства. Никакого, конечно, запаха резеды в комнате не было, липы тогда еще не цвели, да и месяца в то время не было. Но главное — и чувства в то время совсем не было такого. Не до него мне было! Люба очень любила собак. На дворе были три огромных дворовых собаки. Люба восхищалась ими, спрашивала меня: «Правда, какие милые?» И мне они были милы, потому что они нравились Любе, и я ласкал их, а они на меня напустили несчетное количество блох. Ух, какие ядовитые были блохи! Нигде никогда таких не встречал потом. Только что задремлешь, и как будто кто раскаленную иглу воткнет в тело; вскочишь и начнешь всею горстью чесаться, и ищешь, и ничего не находишь... Так тянулось всю ночь, заснул я, когда уже солнце взошло. Мог ли я при этом думать еще о каких-ни-

---

[1] Я сроднился с тобой... *Т. Кернер (нем.).*

будь кладах,— тех ли, которые прятались под густою мглою деревьев, тех ли, которые покоились под одною со мною кровлею?

———

Кончили гимназический курс мы,— кончили и наши товарищи-гимназистки. Но какая была разница в настроениях!

Перед нами в смутной дымке будущего тускло-золотыми переливами мерцала новая жизнь, неизведанное счастье: столица, самостоятельность, студенчество, кружки, новые интересы. Так для нас.

Для них, для кончивших гимназисток, ничего не было в будущем нового и таинственного. Все впереди было просто и обычно: наряжаться, выезжать, танцевать, кокетничать под настороженными взглядами родителей: «Ну, что? клюет?» И ждать, когда кто возьмет замуж. А не возьмет,— жить стареющею девою на иждивении родителей или у замужней сестры на положении полуэкономки, полубонны. Все пути к высшей школе были перегорожены наглухо. Александр III был ярый враг высшего женского образования. Немногочисленные высшие женские учебные заведения, которые существовали в предыдущее царствование, либо были закрыты, либо доживали последние годы: доводили до выпуска наличные курсы, а новых уж не принимали. Так же крепко были загорожены и пути к самостоятельному заработку: учительница — больше ничего почти не было.

И с грустной завистью смотрели остававшиеся девушки на наше предотъездное оживление.

1925—1926
Ай-Тодор, Москва,
Коктебель

II. В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ

Определился я в Петербургский университет на историко-филологический факультет. В Петербург мы, вместе с братом Мишею, выехали в середине августа 1884 года. Миша уже два года был в Горном институте. Лекции у него начинались только в сентябре, но его отправляли со мною раньше, чтобы мне в первый раз не ехать одному.

Любы Конопацкой мне больше не удалось видеть. Они были все на даче. Накануне нашего отъезда мама заказала в церкви Петра и Павла напутственный молебен. И горячо молилась, все время стоя на коленях, устремив на образ светившиеся внутренним светом, полные слез глаза, крепко вжимая пальцы в лоб, грудь и плечи. Я знал, о чем так горячо молилась мама, отчего так волновался все время папа: как бы я в Петербурге не подпал под влияние нигилистов-революционеров и не испортил себе будущего.

Потом, после всенощной и молебна, мы с сестрами и пришедшими черными Смидовичами долго сидели в саду, в синей августовской темноте, пахнувшей коричневыми яблоками, пели хором. Особенно одна песня помнится:

Не уезжай, голубчик мой,
Не покидай поля родные.
Тебя там встретят люди злые
И скажут: «Ты для нас чужой».

Юля при этом грустно смотрела, а у Мани и Инны горели глаза: с каким бы восторгом они вместе со мною покинули «родные поля» и поехали в неизвестную даль, какие бы там ни оказались злые люди!

Уехали мы с вареньем, пирогами, окороком ветчины. Две

бессонных ночи в густо набитом вагоне третьего класса, где возможно было только дремать сидя. Утром в лиловой мгле дымных пригородов затемнел под солнцем непрерывный лес фабричных труб. Николаевский вокзал. И этот особенный, дымный и влажный запах Петербурга.

Наняли комнату в два окна на Васильевском острове, на углу 12-й линии и Среднего проспекта, в двухэтажном флигельке в глубине двора. Хозяйка—полная старуха с румяными, как крымские яблоки, щеками. И муж у нее — повар Андрей, маленький старичок с белыми усами. Он обычно сидел в темной прихожей и курил трубку,— курить в комнате жена не позволяла.

Университет. Бесконечно длинное, с полверсты, узкое здание. Концом своим упирается в набережную Невы, а широким трехэтажным фасадом выходит на Университетскую линию. Внутри такой же бесконечный, во всю длину здания, коридор, с рядом бесчисленных окон. По коридору движется шумная, разнообразно одетая студенческая толпа (формы тогда еще не было). И сквозь толпу пробираются на свои лекции профессора,— знаменитый Менделеев с чудовищно-огромной головой и золотистыми, как у льва, волосами до плеч; чернокудрявый, с толстыми губами, Александр Веселовский; прямо держащийся Градовский; высокий и сухой, с маленькою головкою, Сергеевич.

Огромные аудитории физико-математического и юридического факультетов, маленькие аудитории нашего, историко-филологического.

В актовом зале ректор Иван Ефимович Андреевский сказал молодым студентам речь. Невысокий, седенький. Простирал руки к студентам, как будто хотел их всех обнять, и убеждал заниматься одною только наукою. И говорил:

— Не ломать и разрушать — призвание университетских деятелей, а творить и действовать. Не разрушение власти их задача, а уважение порядка и власти!

Я стал усердно слушать лекции, какие полагались на первом курсе: древнюю историю, логику, общее языкознание, русскую историю. Кроме того, много было обязательных лекций по древним языкам. Это свалилось на поступивших совершенно неожиданно, вместе с только что опубликованным новым университетским уставом 1884 года. Раньше на историко-филологическом факультете было три отделения: словесное, историческое и классическое. Теперь оставлено было только два,— словесное и историческое,

но на обоих преобладающее число лекций и практических занятий было отдано классическим языкам, которые стали обязательными для слушателей всех отделений. Многие студенты, когда узнали об этом, немедленно перевелись на юридический факультет: поступали они с целью изучить литературу или историю, а вовсе не классические языки, достаточно набившие оскомину и в гимназии. Из лиц, впоследствии получивших известность, перевелись с нашего курса В. В. Водовозов, Вл. А. Поссе, С. Н. Сыромятников, писавший впоследствии в «Новом времени» талантливые и кокетливые фельетоны за подписью «Сигма».

Характерную фигуру представлял этот Сыромятников. Очень тоненький, с небольшой, воробьиной головкой, одетый по всем правилам моды: кургузый пиджачок, бросающийся в глаза яркий галстук, по моде загнутые кверху длиннейшие концы ботинок. Вид был весьма хлыщеватый и хвастливый. Впоследствии, в своих фельетонах, он любил рассказывать: «Когда я был в Англии, то мне говорил Стэд...», или: «Когда я был в Персии, то мне говорил персидский шах...» Студентом он еще не имел таких высоких знакомств, довольствовался более скромными и рассказывал, стараясь, чтобы все кругом слышали: «Когда я был у профессора Батюшкова, то он мне говорил...»

Уж три недели я жил в Петербурге. Когда я сюда ехал, мне представлялось: сейчас же попаду в веселую, кипучую жизнь, будут сходки, кружки, жизнь забурлит, как самовар, полный доверху углей.

Но ничего этого не было. Были случайные, разрозненные знакомства с товарищами, соседями по слушанию лекций. Я вообще схожусь с людьми трудно и туго, а тут мое положение было особенно неблагоприятное. Большинство студентов первое время держалось земляческими группами, я же из туляков был в Петербургском университете один. Все остальные поступили в Московский. Было грустно и одиноко.

Я слушал лекции, усердно записывал их. Ходил в Публичную библиотеку и там читал книги, рекомендованные профессорами. Читал «Нестора» Шлецера, «Grundriss der Sprachwissenschaft» [1] Фридриха Мюллера, «О происхождении славянских письмен» Бодянского.

[1] «Основы языкознания» (*нем.*).

В дневнике я писал:

> Первые впечатления уже улеглись. Петербург больше не интересует. Поэзия как-то на ум нейдет. Единственное занятие теперь — наука. И правда, углубляешься в нее все дни по уши. Читаешь и дома, и в университете, и в Публичной библиотеке. А между тем — счастлив ли я? Может ли самое усидчивое, усердное занятие наукою осчастливить юношу? На это — мужество, старость, где другое ничего не тянет, но теперь... Развлечений нет никаких, так как нет денег... В театр ходить можно самое большее, что раз в месяц. Уже теперь начинаешь жить только надеждой на рождество.
>
> А годы проходят, все лучшие годы...
>
> Эх, заплакал бы, если бы не стыдно! Завтра воскресенье. В Туле теперь идет всенощная... В церкви Конопацкие... А я тут за тысячу верст сижу,— и в ум ничего нейдет. Да! Даже и молодость часто — самая скверная и глупая шутка. Вдали мелькнет только чудный призрак — и исчезнет навеки... Навеки! Да ведь если каждая счастливая минута таит сама в себе горькое разочарование, то на что мне счастье?

Особенно именно по субботам меня брала тоска, когда представлялась наша тихая церковь Петра и Павла, мерцающие в темноте восковые свечи — и Конопацкие. Очень тут тяготило и вообще полное отсутствие женского общества.

О моих впечатлениях от Петербурга, от профессоров и первых лекций я подробно написал домой. В ответном письме папа просил меня сообщать ему содержание лекций, которые я буду слушать, и писал:

> Может быть, мне припомнятся и мои студенческие годы, и я на минуту помолодею, унесясь мечтою в далекое прошлое. Да, хорошее то было время, когда можно было, не будучи причастным никаким мирским заботам, знать одну обязанность — изучать науку, одни знакомства,— основанные на сочувствии к тем высоким идеалам, которые larga manu [1] рисовали нам

[1] Щедрою рукой (*лат.*).

в то время Грановский, Кудрявцев и др. Под влиянием постоянных бесед и споров о самых разнообразных научных предметах нам и в голову не приходило касаться каких-нибудь политических или социальных *текущих дел,* и это, действительно, несовместимо с наукою. Для обсуждения таких вопросов нужно быть уже человеком практическим, нужно много видеть, много знать, много самому испытать, чтобы правильно, не односторонне судить,— а где же возможность этого правильного суждения, когда не выработано еще свое собственное миросозерцание, когда не приобретена еще твердая научная подготовка! Вот почему magnopere te hortor, mi fili [1],— не уклоняйся в новой твоей жизни от чистого научного пути! Дорожи золотыми годами молодости для выработки в себе того чистого, высокого идеала, того нелицеприятного отношения к правде, пример которого ты найдешь только в науке, в ее правде, в ее нелицеприятных приговорах!.. Цветите же и благоухайте, пока весна, но только благоухайте! Время забот, борьбы и страданий — впереди!

Вскоре в Киевском университете вспыхнули студенческие беспорядки. По этому поводу папа в следующем письме писал:

Ты, вероятно, слышал уже несчастную киевскую студенческую историю? Вероятно, как всегда, многие поплатятся за свою глупость исключением из университета, и так же вероятно, что исключенные разъедутся по университетским городам и будут возбуждать и других студентов к подражанию своей глупости. Я надеюсь, дорогой Виця, что ты будешь помнить как последнюю речь вашего милого ректора, так и мое последнее письмо к тебе и будешь сторониться всяких сходок и манифестаций; ты будешь помнить, что все твое будущее в твоих руках.

И еще через несколько дней он писал:

Видишь, я был прав, когда писал тебе, что киевские беспорядки непременно отзовутся и в других университетах. В Москве студентов загнали, как стадо баранов; слава богу, что в этом загнанном стаде ока-

[1] очень тебя убеждаю, сын мой! *(Прим. В. Вересаева.)*

залось только 70 студентов (только!! Разве это мало?). Вот почему у меня душа не на месте за вас, хотя, правду говоря, не имею оснований заподозревать, чтобы вы могли пойти на такую глупость.

Выбрал два самых лучших своих стихотворения и понес в редакцию «Нивы», на Большой Морской. Вошел. У конторки сидит господин средних лет. Я покраснел, сердце затрепыхалось; подошел и дрожащею рукою протянул листок.

Он взял, пренебрежительно заглянул в листок.

— Это что, стихи? У нас их, знаете, мало печатают. Оставьте, пожалуй. Может быть, увидите напечатанными. Только навряд ли. Но если хотите, оставьте.

А сам протягивает мне листок обратно. Я взял и вышел. Когда шел через Николаевский мост,— скомкал листок и бросил через перила в Неву.

На лекции разговорился и познакомился со студентом-однокурсником. Нарыжный-Приходько, Павел Тимофеевич. Украинец, из новгород-северской гимназии. Кудлатая голова, очки, крупные губы, на плечах плед, ходит вразвалку — самый настоящий студент. Мне приятно было ходить с ним по улицам: вот если бы Конопацкие или сестры увидели, с какими настоящими студентами я вожу компанию. Я и сам перестал стричь волосы и с нетерпением ждал, когда они волной лягут мне на плечи.

Нарыжный-Приходько очень много читал, много делал разных выписок. В каморке его всегда горою были навалены книги самого разного содержания. Парень был очень добродушный и уютный, всегда носился с каким-нибудь проектом. Сейчас он мечтал устроить в родном своем Новгород-Северске городскую общедоступную библиотеку.

Потом в университетском буфете, за стаканом чая, разговорился с одним студентом-юристом,— он мне мало понравился. Невысокого роста, худощавый, одет довольно изящно; всего больше бросались в глаза темные, почти черные очки, в которые насмешливо глядели глаза с красными, опухшими веками. Губы поджатые, умные, лицо угреватое.

Он стал со мною здороваться. Подходил в буфете, ра-

душно глядя, садился рядом, спрашивал стакан чаю. Я чувствовал, что чем-то ему нравлюсь. Звали его Печерников, Леонид Александрович, был он из ташкентской гимназии. В моей петербургской студенческой жизни, в моем развитии и в отношении моем к жизни он сыграл очень большую роль,— не знаю до сих пор, полезную или вредную. Во всяком случае, много наивного и сантиментального, многое из «маменькиного сынка» и «пай-мальчика» слетело с меня под его влиянием.

Очень скоро я заметил, что он много умнее меня, в спорах более гибок, остроумен и находчив. У меня всегда было так: я не скоро замечаю, что такой-то человек более неумен, чем я, долго его считаю одинаковым себе; но сразу, по какому-нибудь проявившемуся превосходству надо мною, заключаю, что человек выше меня, умнее, и я долго считаю его неодинаковым себе.

Печерников встретил у меня Нарыжного-Приходько, определил его себе в пять минут и сразу поставил его в моих глазах на соответственное место.

Со своим украинским выговором Нарыжный говорил о том, что необходимо у них в Новгород-Северске учредить библиотеку.

— А почему необходимо? А вот почему. Шелгунов в своих воспоминаниях... Да! Вот и в «Отечественных записках» за 1873 год... Так вот: верят, что могучею силою обладает печатное слово... Могучею, да! Как это там сказано? Забыл. Погодите, я вам как-нибудь прочту, у меня выписка есть.

Печерников с изумлением спросил:

— Неужели так прямо сказано, что могучей силою обладает печатное слово?

— Та ей же богу так!

— Какая новая, оригинальная мысль! Пожалуйста, вы мне эту выписочку дайте списать,— оч-чень интересно!

Глаза за темными очками безудержно хохотали. И уже через десять минут он стал называть Нарыжного «Павло», так что тот обиделся и ответил:

— Кому Павло́, а кому и дяденька!

Древнюю историю читал у нас профессор Федор Федорович Соколов. Это была совершенно гротескная, мольеровски-карикатурная фигура ученого-педанта. Большая голова

с высоким лбом, землистое лицо, в очки смотрят тусклые, близорукие, как будто ничего кругом не видящие глаза, нижняя губа отвисла, голос шамкающий. А было ему тогда меньше сорока пяти лет. В синем вицмундирном фраке с золотыми пуговицами, он медленно расхаживал по аудитории и читал. Боже мой, что это были за лекции! Никакого основного стержня, никакой руководящей идеи, никаких обобщений. Его интересовали только голые факты сами по себе и особенно — хронология. Подробнейшим образом сообщал нам, что в таком-то году до р. х., как говорит обломок дошедшей надписи, между такими-то двумя греческими городами происходила война; из-за чего началась, сколько времени тянулась и чем кончилась — неизвестно. Но на экзамене нужно было знать, что в таком-то году была война между такими-то городами. Нужно было знать, что в пятом веке жил фракийский царь такой-то, о котором ничего не было известно, кроме того, что он существовал. Нужно было точно знать, сколько кораблей участвовало в Саламинской битве, в каком порядке они стояли и какой именно корабль начал бой.

Память у Соколова была чудовищная. По пятнадцать, по двадцать минут он без запинки цитировал наизусть по-гречески целый ряд страниц из Геродота или Фукидида. Впоследствии от людей, работавших под руководством Соколова, я слышал про него вот что. Он полагал, что данные по древней истории, дошедшие до нас, столь скудны и ничтожны, что на них нельзя строить решительно ничего,— никаких выводов и никаких обобщений. Был он будто бы большой умница, с огромным, но исключительно разрушительным умом, не способным ни на какое творчество. Иногда — бывало это, когда он был выпивши,— Соколов вдруг отбрасывал сознательно проводимую им систему голого сообщения фактов и хронологии, выцветшие глаза загорались насмешливым огоньком, и он начинал:

— «Патриции», «плебеи»... Господа! До сих пор никто не знает, кто такие были плебеи! Теодор Моммзен говорит...

Он приводил один за другим взгляды всех выдающихся историков, с чудовищной эрудицией разбивал их впрах и в заключение заявлял удовлетворенно:

— Вот! Вы теперь сами видите: никто ничего не может сказать достоверного про плебеев.

Его privatissima[1], где работали одни его ученики, говорят, были полны захватывающего интереса; там он давал полную волю своей эрудиции и разъедающему скепсису.

Соколов сильно пил. Был он одинокий, холостой и жил в комнате, которую ему отвел в своей квартире его младший брат, географ А. Ф. Соколов: он имел казенную квартиру в здании Историко-филологического института, рядом с университетом. Однажды предстоял экзамен в Историко-филологическом институте (Ф. Ф. Соколов читал и там древнюю историю). Все собрались. Соколова нет. Инспектор послал к нему на квартиру служителя. Соколов ему приказал:

— Воротись и скажи инспектору: профессор Федор Соколов пьян и не может прийти на экзамен. Понял? Так и скажи.

Служитель громогласно так и доложил инспектору.

Один мой товарищ-однокурсник, богатый, весело живший молодой человек, рассказывал, что иногда встречает Соколова в очень дорогом тайном притоне; там устраивались афинские ночи, голые посетители танцевали с голыми, очень красивыми девушками. Профессор стоял в дверях, жевал беззубым ртом и, поправляя очки на близоруких глазах, жадно глядел на танцующие пары.

Был небольшой ресторанчик Кинча на углу Большого проспекта и 1-й линии Васильевского острова. Туда часто заходили по вечерам профессора университета поужинать, выпить бутылку вина или пива. Там любил бывать с учениками профессор Александр Николаевич Веселовский. В книгах своих он печатал только то, в чем был уже непоколебимо убежден, что мог обосновать вполне научно. Между тем особенно интересен и глубок он был как раз в своих интуициях и догадках, раскрывавших широчайшие творческие горизонты; высказывать их в своих книгах и лекциях он воздерживался. И тут-то вот, «у Кинча», над стаканчиком вина, Веселовский давал себе полную волю, и ученики жадно следили за широкими картинами, которые на их глазах набрасывал гениальный учитель.

А тут же, в уголочке ресторана, за круглым столиком, в полнейшем одиночестве сидел профессор Ф. Ф. Соколов. Он сидел, наклонившись над столиком, неподвижно смотрел перед собою в очки тусклыми, ничего как будто не видя-

---

[1] Здесь: факультативные занятия (*лат.*).

щими глазами и перебирал губами. На краю столика стояла рюмочка с водкой, рядом — блюдечко с мелкими кусочками сахара. Не глядя, Соколов протягивал руку, выпивал рюмку, закусывал сахаром и застывал в прежней позе. Половой бесшумно подходил и снова наполнял рюмку водкою.

Михаил Иванович Владиславлев. Профессор философии и психологии. Он у нас на первом курсе читал логику. Здоровенный мужичина с широким, плоским лицом, с раскосыми глазами, глядевшими прочь от носа. Смотрел медведем. Читал бездарно. Мне придется о нем рассказывать впоследствии, когда за крепкую благонадежность его сделали ректором на место смещенного Андреевского.

Взошел на кафедру маленький, горбатенький человечек. Черно-седая борода и совсем лысая голова с высоким, крутым лбом. Профессор русской литературы, Орест Федорович Миллер. Он говорил о Византии, о византийском христианстве, о «равноапостольном» византийском императоре Константине Великом. Из-за кафедры видна была одна только голова профессора. Говорил он напыщенным, декламаторским голосом, как провинциальные трагики.

— И этот-то вот злодей, этот вероломный убийца, с ног до головы обрызганный кровью (он все повышал голос, сделал паузу и закончил трагическим шепотом), был признан православною церковью — *святым!* (Последнее слово он прошипел чуть слышно.)

Я с иронией слушал, и мне хотелось, чтоб этот кривляющийся горбун заметил мою ироническую улыбку. Помним! Мы хорошо помним рецензию Добролюбова на магистерскую диссертацию Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Рецензия начиналась так:

> Книжонка не стоит серьезного разбора, и мы хотели было промолчать о ней, как молчали мы о «Сонниках», «Оракулах» и т. п. бестолковых изделиях писального мастерства... Ведь, наверное, те, которые не с первой страницы бросят книжонку эту, как бездарную пошлость,— наверное, те не станут читать журнальных критик.

А заканчивалась рецензия обращением к юношам, которых могло бы ввести в соблазн то, что перед ними — магистерская диссертация:

Не верьте, любезные юноши, что нравственность состоит в отречении от своей воли и ума, как силится уверить г. Орест Миллер, и знайте, что, напротив, всякий, кто поступает против внутреннего своего убеждения, есть жалкая дрянь и тряпка, и только напрасно позорит свое существование.

Только постепенно, уже много позднее, мы научились любить и глубоко уважать этого маленького горбуна с напыщенною речью, так заклейменного Добролюбовым.

Орест Миллер не был крупным ученым и в истории науки имени своего не оставил. Наибольшею известностью пользовалась его книга «Русские писатели после Гоголя», собрание публичных лекций о новых писателях — Тургеневе, Льве Толстом, Достоевском, Гончарове и т. д.,— статей журнально-критического типа. Он был страстным почитателем Достоевского, с большим наклоном к старому, чуждающемуся казенщины славянофильству. В то время ходила эпиграмма:

Москва, умолкни. Stiller! Stiller! [1].
Здесь Петербург стал Петроград.
Здесь Гильфердинг, Фрейганг и Миллер
Дела славянские вершат.

За что его горячо любило и уважало студенчество, это за необычайную отзывчивость на все студенческие горести и невзгоды, за всегдашнюю готовность прийти на помощь решительно всем, чем только мог. Это был святой бессребренник. Слово «студент» служило для него полной гарантией благородства и порядочности человека. Сколько его ни надували, он не становился осторожнее. Нужна ли была кому из студентов книга, материальная помощь, рекомендация — всякий шел к Оресту Миллеру и отказа никогда не встречал. Однажды пришел к нему студент просить денежной помощи, а у самого профессора в это время не было ни рубля. Входит портной, приносит профессору новосшитый, заказанный им фрак. Орест Миллер в восторге всплеснул руками.

— Вот кстати! Возьмите, коллега, фрак и заложите.

После больших хлопот и хождений по начальству Оресту Миллеру удалось основать при университете студенческое Научно-литературное общество, где студенты выступали с рефератами на научные и литературные темы. По тому

---

[1] Тише! Тише! *(нем.)*

времени подобное общество было явлением совершенно небывалым. Председателем общества был Орест Миллер.

Жил он одиноко. Рассказывали, что в молодости он любил девушку, она умерла, и на всю жизнь он остался верным ее памяти и девственником. Осенью 1887 года, после смерти Каткова, Орест Миллер посвятил лекцию резко-отрицательной оценке его деятельности и за это был уволен из университета. Умер от разрыва сердца в 1889 году.

Жить было трудно и грустно.

Получали мы с братом Мишею из дома по двадцать семь рублей в месяц. Приходилось во всем обрезывать себя. Горячую пищу ели раз в день, обедали в кухмистерской. Утром и вечером пили чай с черным хлебом, и ломти его посыпали сверху тертым зеленым сыром. Головки этого сыра в десять копеек хватало надолго. После сытного домашнего стола было с непривычки голодно, в теле все время дрожало чисто физическое раздражение. Очень скоро от обедов в кухмистерской развился обычный студенческий желудочно-кишечный катар: стул был неправильный, в животе появлялись жестокие схватки, изо рта пахло, расположение духа было мрачное.

И много еще было причин, от которых было тяжело и грустно. Я, например, никак не мог научиться «мыслить». А какой же это студент, если он не умеет мыслить? В Публичной библиотеке иногда приходилось видеть: перед читальным залом, в комнате, где на высоких конторках лежат каталоги, быстро расхаживал студент с длинными черными волосами и черной бородкой; нахмурив брови и заложив руки за спину, он ходил от площадки лестницы к углу между книжными шкафами,— и сразу было видно, что мыслил. Я этого совсем не умел. Пробовал дома ходить так по комнате, заложив руки назад и нахмурив брови, но мысли рассеивались, и ничего не выходило. А между тем я чувствовал: мысли мои все какие-то непродуманные, неустойчивые, и на них нельзя было строить жизнь.

Это угнетало всего больше. Меня приводило в отчаяние, что я никак не могу выработать себе твердых, прочных убеждений. Все обдумал, все обосновал; услышишь или прочтешь новое возражение,— и взгляды опять начинают колебаться. Раздражала и томила — трудно мне это выразить — никчемность какая-то моих мыслей. Я к

ним приходил после долгих размышлений, а потом сам удивлялся, на что мне это нужно было?

Прочел, например, роман Бертольда Ауэрбаха «Дача на Рейне». Мне он не понравился. Я много над этим думал и потом записал в дневнике:

> Я признаю романы только четырех родов: прагматические, тенденциозные, психо-аналитические и исторические. Под словом «исторический роман» я понимаю совершенно иное, чем все. «Князь Серебряный» — роман прагматический, а не исторический; романы Тургенева — все романы исторические, потому что они способствуют историческому пониманию и изучению известной эпохи. «Война и мир» — не исторический, а психо-аналитический роман. Остальные романы ни к чему. К этим относится и «Дача на Рейне». Тут нет ни глубокого психологического анализа, ни живых людей, ни данных для исторического понимания эпохи, ни даже особенного интереса прагматического хода событий. Поэтому этот роман должен быть отвергнут.

Потом перечитывал такие записи,— и противно было. Как неумно и, главное,— к чему? Так, какое-то плескание водою.

От споров с товарищами была та же неудовлетворенность. На глупые возражения я возражал глупо, процесс спора заводил в какой-то тупик, и получалось одно раздражение. Только долгим трудом и привычкою дается умение незаметно для противника непрерывно выпрямлять линию спора, не давать ей вихляться и отклоняться в стороны, приходить к решению вопроса, намеченного вначале.

Падала вера в умственные свои силы и способности. Рядом с этим падала вера в жизнь, в счастье. В душе было темно. Настойчиво приходила мысль о самоубийстве. Я засиживался до поздней ночи, читал и перечитывал «Фауста», Гейне, Байрона. Росло в душе напыщенное кокетливо любующееся собою разочарование. Я смотрелся в зеркало и с удовольствием видел в нем похудевшее, бледное лицо с угрюмою складкою у края губ. И писал в дневнике, наслаждаясь поэтичностью и силою высказываемых чувств:

> И умрет студент... И найдут его дневник... И будут дивиться, почему же он был несчастлив?.. Он был не совершенно глуп... У него была семья, любящая, чест-

ная, хорошая семья... Он любил, и любовь ярким, лучезарно-небесным светом освещала его жизненный путь... Он любил науку... В часы отдыха он предавался вдохновению — и если не в гениальных, то все же не в совершенно бездарных стихах искренно рисовал треволнения своей жизни... Он был небогат,— ему приходилось часто отказывать себе в театре и в хорошей книге, но он твердо был убежден, что не в деньгах счастье... Он сознавал, что, несмотря на частые, довольно глубокие падения, он не был и не будет подлецом... В разговоре с Гете, Гейне, Тургеневым и Гоголем он забывал все на свете... О, да! Он был счастлив!.

Он был счастлив?. О, нет!

Бедный, бедный студент!. Чего же ему было нужно?. Чего?. Счастья!.. Да ведь счастья нет на земле! Что же, он этого не знал?. Знал, но — увы! — не хотел верить.

Он приехал в Петербург с гордыми, орлиными мечтами, весь мир был перед ним открыт, в близком будущем он вдохновенным оком прозревал сияющую, бессмертную славу... И вдруг ему в лицо раздался наглый демонский хохот, полный разъедающего, смертоносного яда... Пораженный ужасом, он отскочил назад... Поднял глаза,— перед ним стояло страшное, отвратительное видение с адскою усмешкою на искривленных устах; оно махнуло рукой... Юноша, рыдая, упал на землю, закрыв лицо руками... Он долго плакал... Когда же, наконец, поднялся,— он испугался самого себя. Прежний детский, беззаботный, доверчивый смех навсегда покинул его запекшиеся уста, и в груди глухим эхом перекатывался знакомый хохот... Розовая повязка навсегда упала с глаз, и подозрительная, угрюмая улыбка тронула его губы... С тех пор он смеялся,— но смеялось одно лицо... В сердце царствовал безотрадный, печальный холод... Он искал теперь не идеалов,— нет! Смерти, смерти искал бедный, разбитый старый ребенок... Он позвал могучую царицу мира... И она пришла... Он последний раз оглянулся назад, сладкие слезы вос-

поминания засверкали на его исхудавших щеках,— и с замиравшей дрожью он подал руку желанной подруге... Нашел ли он там, чего искал? Бедный, бедный студент!

Такою напыщенною, фальшивою чепухою я с наслаждением заполнял страницы дневника и поливал их самыми искренними слезами жалости к самому себе. Через несколько месяцев я записал в дневнике:

> Перечитывая все, написанное в эту пору разочарования, я был поражен содержащеюся в нем глубиною поэтического чувства, которой я и не подозревал за собою; может быть, это — лучшее доказательство, что это было написано искренно и действительно прочувствовано.

Лекции я посещал усердно. Ходил в Публичную библиотеку и там читал книги, рекомендованные профессорами,— особенно по русской литературе: я хотел специализироваться в ней. По вечерам, когда Миша ложился спать, я садился за свой стол, курил папиросу за папиросой и в густо накуренной комнате сочинял стихи, читал по-немецки «Фауста» и Гейне и вообще то, что было для себя.

Из дневника:

7 ноября 1884 года

> Сегодня прочел первую статью Писарева о нашей университетской науке, и она заставила меня прийти к тому выводу, что рано еще погружаться мне в выбранную специальность — русскую литературу, что нужна сначала общая подготовка, что прежде чем читать Нестора и «Русскую правду», нужно изучать Шекспира, Гете, Шиллера и т. д., с одной стороны, Гизо, Гервинуса, Ранке, Тьера, Маколея, с другой — нужно познакомиться с политической экономией, изучать новую русскую литературу,— не читать, а изучать,— начиная Белинским с его учениками, затем Писарева, Добролюбова, Чернышевского,— Хомякова, Аксаковых, Самарина (Ю. Ф.); французскую, немец-

кую, английскую литературу и т. д.,— тогда можно будет приняться за Нестора и «Русскую правду».

9 ноября

Вперед, вперед! В жизнь, в кипучую жизнь! Бросить эту мертвую схоластику, насколько можно, окунуться в водоворот современных интересов, вырабатывать в себе убеждения *живые!* Наука этому поможет. «Вот почему и говорят,— пишет Писарев,— что наука облагораживает человека. Облагораживают че *знания»* (о подлинности летописца Нестора, о действительности прихода варягов и т. д.), «а любовь и стремление к истине, пробуждающиеся в человеке тогда, когда он начинает приобретать знания». А смешно полагать истину в открытии того, кто были Кирилл и Мефодий — греки или славяне.

Часто думалось о Конопацких, особенно о Любе. Но к сладости дум о ней примешивалось тревожное чувство страха и неуверенности. Никак сейчас не могу вспомнить, чем оно было вызвано. Простились мы у них на даче очень хорошо, но потом почему-то мне пришло в голову, что между нами все кончено, что Люба полюбила другого. К мрачному в то время и вообще настроению присоединилось еще это подозрение о крушении любви Любы ко мне. Иногда доходил до полного отчаяния: да, там все кончено!

И я писал:

Город унылый и думы унылые...
        Целую ночь я сегодня не спал.
Старые образы, образы милые
Вновь пробудились с чарующей силою,
        Вновь я безумно всю ночь промечтал.

Нынче проснулся,— досадно и больно.
        Вновь прикоснулась насмешка уж к ним.
Слезы к глазам приступают невольно,
Пусто и в мыслях и в сердце... Довольно!
        Сам уж себе становлюсь я смешным.

На именины мои, одиннадцатого ноября, сестра Юля передала мне в письме поздравление с днем ангела от Любы. Всколыхнулись прежние настроения, ожила вера, что не все уже для меня погибло, сладко зашевелились ожидания скорой встречи: на святки мы ехали домой. Все бурливее кипело в душе вдохновение. Писал стихов все больше.

Погоди, товарищ! Снова
Время прежнее вернется,
И опять волной широкой
Песня вольная польется.
Вновь широкой, полной грудью
Ты на родине задышишь,
Вновь чарующие звуки,
Звуки страсти ты услышишь.
Вновь звездою лучезарной
Пред тобой любовь заблещет.
Сердце, счастье предвкушая,
Сладко бьется и трепещет.
Сгинет байронова дума
На челе твоем суровом,
И заря здоровой жизни
Загорится в блеске новом.

Дальше из дневника:

16 ноября

Какое великое поле раскидывается перед глазами! Писарев, Писарев! Он указал мне истинное счастье! Перечитывая предыдущие страницы, мне самому теперь смешно и досадно. Если это — необходимое следствие вступления из умственной спячки в царство света и мысли, то я рад, что оно уже прошло. Счастье заключается не в одном сознании исполненного долга и чистой совести. Папа смотрит на счастье с этой точки; может быть, этим счастьем могут довольствоваться пятидесятилетние старики. Сознательное наслаждение жизнью — работать мыслью, насколько хватает сил, не замыкаться в узкую специальность, приобретать всесторонние сведения, работать над собой, не заглушать никаких сомнений, никаких вопросов, пока не добьешься их разрешения, и главное — не падать духом, когда, по мере расширения умственного горизонта, с возрастающими знаниями, видишь, что только все яснее становится сознание, что ничего не знаешь.

19 ноября. Понедельник.

Ну, понравился мне совет Писарева, поспешил приложить к делу — да и сел на мель, так как пересолил. На другой же день я бросился читать Дарвина, Вундта, Менделеева, политическую экономию —

да и растерялся. Нет, это так ничего не выйдет. Разве возможно с любовью заниматься в одно и то же время химией, древней историей, политической экономией, физиологией, славянскими наречиями, психологией, греческой грамматикой, философией? Ведь это выйдут одни вершки. По крайней мере не бросаться сразу на десятки предметов.

1 декабря

Как-то недавно здесь, в дневнике, я писал: «я знаю, что прежнего Вити теперь больше уже не будет». Что же! Пожалуй, это правда! Но я подразумевал, что вместо прежнего Вити стал Байрон с кровавой раной в груди, с сумрачной думой на челе. Это, славу богу, очень скоро слетело. Да, я теперь другой. Но не Байрон, а просто не прежний ребенок. Я — мыслящий человек, познавший наслаждения мысли и отказавшийся от титанических требований ранней юности. Теперь я глубоко убежден, что никогда не застрелюсь вследствие «жить наскучило», потому что я нашел цель и счастье жизни — *труд.* Я понял слова Смайльса: «Все должны трудиться так или иначе, если хотят наслаждаться жизнью как следует». Так много труда, такое широкое поле знаний раскрывается перед глазами,— и чем дальше идешь, тем горизонт все больше и больше расширяется, что, право, нет времени задавать себе неразрешимый вопрос: «Зачем, зачем мне жизнь дана?» И я должен сказать, что этим я обязан Писареву. Писарева не дают молодежи, запрещают его,— а если уж на то пошло, Байрон, Гете и Шиллер принесли мне гораздо больше вреда, может быть, довели бы меня до самоубийства, а Писарев указал мне истинное счастье и путь к нему. «Счастье, говорит он, захватывается и вырабатывается, а не получается в готовом виде из рук благодетеля».

Ближе приходило время отъезда в Тулу, радостно представлялись святки,— морозные пальмы на окнах, запах воска от елочных свечей, свежие девичьи лица, задумчиво-страстные звуки вальса. И я писал:

Много пробудили
Грез во мне былых

Эти переливы
Звуков удалых,
Сотен свеч возженных
Нестерпимый свет,
Скользко навощенный,
Блещущий паркет,
Жаркое дыханье,
Длинных кос размах,
Тихая улыбка
В любящих глазах,
Груди волнованье,
Голос молодой,
Стана трепетанье
Под моей рукой,
Бешеного вальса
Страстная волна,
Ласковые взоры...
Все — она, она...

И крепли надежды, что все будет хорошо, что я напрасно мучил себя подозрениями и сомнениями. И еще я писал:

Что-то мне сулит свиданье,—
Счастье? Горе?
Вновь ли светлые мечтанья?
Слез ли море?
Как мне знать? Но отчего же
С чудной силой
Шепчет мне одно и то же
Голос милый:
Странен был мой страх напрасный,
Глупы слезы.
Вновь рассвет настанет ясный,
Песни... Грезы...

---

19 декабря выехали мы с Мишей в Тулу. Убийственные тогдашние вагоны третьего класса на Николаевской дороге — с узкими скамейками, где двое могли сидеть, лишь тесно прижавшись друг к другу, где окна для чего-то были сбоку скамеек, начинаясь на уровне скамейки, так что задремлешь — и стекло начинает трещать под твоим плечом. Густо накурено махоркой, наплевано, пьяный говор, переливы гармоник и песни. Поезд от Петербурга до Москвы идет сутки. В Москве на извозчике с Николаевского вокзала на Курский. Необычные после Петербурга кривые улицы, ухабы, смешно-красивые на каждом шагу церковки, отрепанные извозчики. И потом от Москвы к Туле. Знакомые московские студенты-туляки в вагонах тоже едут на праздники в Тулу; стемнело, под луной мелькают уже род-

ные места, Шульгино, Лаптево. В десять часов будем в Туле. На станции Бараново стоял на площадке вагона: полянка за рельсами, кругом лес, над ним полный месяц и легкий морозец. Вдруг такая жадная любовь охватила к этой родной, нашей, русской природе. Как хорошо! И какая радость — жить!

Приехали в Тулу. Родной, милый дом, радость близких, жадные расспросы. За эти полгода я отпустил себе волосы, густые и очень тонкие, они широкой волной ложились на плечи. Папа с насмешкой в глазах поглядывал на них и хоть ничего не говорил, но мне было неловко. Много он меня расспрашивал о моих занятиях, о профессорах, слушал с огромным интересом. Много спорили. Сестры на меня глядели с почтением и восхищением. Вместе с «черными» Смидовичами,— Олей и Инной,— они не уставали слушать мои рассказы о Петербурге, о студенческой жизни, об опере.

Папа за обедом сказал:

— Люба Конопацкая просила тебе кланяться. Как она похорошела за эти полгода!

Он был в школе Конопацких врачом. Совсем ожили мои надежды.

На сочельник нас пригласили на елку Ставровские. Там должны были быть и Конопацкие. Пришел я в своей визиточке, с длинными волосами, ложащимися на плечи. Конопацкие уже были там,— Люба и Катя. Я с ними поздоровался, потом подошел к Зине Белобородовой и с полчаса болтал с нею, смешил; она была хохотушка, смеялась она, смеялся я. Всей душою я рвался к Конопацким, но для чего-то сидел и смеялся с Зиной. Потом развязно подошел к Любе. Мне показалось, глаза ее с грустным недоумением смотрели на меня, но отвечала она мне, как всегда, спокойно и ласково. Мы сидели и разговаривали, как «кавалер» и «дама», я «занимал» ее, и холодные, вялые слова, мне казалось, шлепались на пол, как лягушки. А казалось бы — чего же было легче? Душа рвется к этой девушке,— подойти, хорошо заговорить, и зазвенели бы в один тон натянутые струны обеих душ. Не в словах было дело,— одним тоном можно бы было сказать все — как любишь ее, как много думал о ней на чужбине, как мучился сомнениями, как рад ее видеть. Но этого-то тона и не получалось.

Танцевали. Я танцевал кадриль с Любой и с Катей. Но все такой же был неестественный и натянутый. Попал я на

эту колею и уже никак не мог с нее свернуть. И холодности этой не могла преодолеть даже Люба своею ласковою простотою, тем более Катя со своею застенчивостью. Мне казалось, они, наверно, думают, что я корчу из себя «столичного человека», «студента», что вот недаром отпустил себе длинные волосы,— и становился еще напряженнее, еще холоднее. Когда мы прощались, Люба пригласила меня прийти к ним, я ответил: «Благодарю вас!» так холодно-официально, что она предложения не повторила

Пришел я домой в отчаянии. Все пропало! И сам я этому виною! По глазам Любы я видел, что могли бы мы встретиться горячо, задушевно, заговорить так, как говорили мы весною. И для чего, для чего я все это устроил?

Из дневника:

Час ночи с 24 на 25 декабря 1884 года

Буду говорить правду. Был я у Ставровских. Там были Люба и Катя. Странное и даже мерзкое поведение! Пушкин сказал:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей.

Я вел себя так, как будто принял себе в руководство эти слова Пушкина... Досада сжимает сердце и выдавливает слезы на глаза. А повторись этот вечер еще раз,— я чувствую, вышло бы то же самое. Если я буду часто видеть Любу на рождество, может быть, еще воротится старое, но если увижу только раз-другой, то все погибло, все!..

26 декабря, 12 ч. ночи

Завтра я опять увижу Любу: у Занфтлебен будет костюмированный вечер, и Люба будет одета «Ночью». Чаще, чаще постараюсь ее видеть,— может быть, как-нибудь воротится прежнее.

1 ч.

Боже мой! Приходишь в отчаяние— не оттого, что нет мгновения, которому можно крикнуть: «Стой! Ты прекрасно!», а потому, что нельзя его удержать. И эта мысль отравляет мне все: завтра в это время я, мо-

жет быть, буду сидеть с Любой, а послезавтра опять тоска будет сосать сердце,— не тоска, а Sehnsucht der Liebe [1]. И какая-то бессильная злоба грызет душу, что каждая минута счастья в самой себе носит зародыш уничтожения,— и это отравляет все. Почему так устроено? Разве это жизнь? Цель человеческой жизни — счастье, а счастья нет в жизни, нет нигде. Какой ядовитый сарказм!

Увижу завтра Любу... Что будет?

27 декабря. Четверг. 5 ч. утра, следовательно, уже пятница. Только что с бала у Занфтлебен

Прочь печаль, сомненья, слезы,—
Прояснилось солнце вновь!
Снова — грезы, грезы, грезы,
Снова прежняя любовь!
Га, судьба! В тоске рыдая,
Я молился, жизнь кляня,
Чтоб опять любовь былая
Воротилась для меня.
Ты смеялась надо мною,—
Проклял я тебя тогда,
И отбил себе я с бою
То, что ты мне отняла.
Ну, смотри же: с прежней лаской
Смотрит взор тот на меня!
Все исчезло вздорной сказкой,—
Все!.. Ура... Она моя!

28 декабря

Когда я увидел ее под легкой волной черного покрывала, усеянного золотыми звездами, с золотым полумесяцем в черных волосах, во всеоружии красоты, и когда я увидел, что все для меня пропало, что напрасны и смешны мои глупые выходки болезненного самообольщения,— горькое чувство сдавило мое похолодевшее сердце... Неужели?.. Я подошел к тебе — и не нашел, о чем с тобой заговорить. «*Должно* воротиться прежнее!» — подумал я...

Я пригласил ее на кадриль. Один удар, и — aut Caesar, aut nihil [2].

— Люба,— сказал я,— неужели же прежнее ни-

---

[1] Жажда любви *(нем.)*.
[2] либо Цезарь, либо ничто. *(Прим. В. Вересаева.)*

когда не воротится? Вы думаете, что я что-то из себя корчу, что я изображаю или, по крайней мере, стараюсь изображать из себя столичного человека-петербуржца или там — студента...

— Почему вы это думаете? — спросила Люба

— Я знаю, что вы понимаете меня без слов... Уверяю вас, я остался прежним.

— Ах, Витя, я отлично вижу, что вы остались таким же, как прежде. Когда я пришла от Ставровских, я прямо говорила дома, что вы совершенно не изменились.

Смешная, глупая выходка с моей стороны? Но я сказал,— aut Caesar, aut nihil! Что мне за дело, что это глупо, смешно, наивно? Люба улыбнулась с прежнею задушевностью, прежнее воротилось! Одна звезда сорвалась с ее покрывала и упала на паркет... Я поднял ее.

— Позволите мне взять эту звезду себе?

Она улыбнулась и посмотрела мне прямо в лицо.

О, как глубок
Взор тот ласкающий!

— Возьмите.

И теперь она лежит передо мною...

Вчера Люба была на вечере у Белобородовых Скоро я ее опять увижу. А потом... Потом?.. Зачем мне думать, что будет потом? И к чему теперь писать? Будем теперь любить; слезы и песни придут потом.

В головокружительном опьянении прошли эти святочные каникулы. Я часто виделся с Любой, почти каждый день пропадал у Конопацких. Опять явился прежний тон, который лучше и глубже всяких слов говорил о том, что у нас на душе. Мне казалось,— я вполне, без пятнышка, счастлив. Только одно меня тяготило и мучило,— что я не умею заинтересовать Любу своими петербургскими впечатлениями и переживаниями, не умею о них рассказывать. Синие выпуклые глаза Любы становились в это время неподвижными и загороженными. А между тем дома сестры — и «белые» и «черные» — слушали меня с жадным вниманием, жадно обо всем расспрашивали, они знали все в подробностях: и про смешного, глупого и доброго Нарыжного-Приходько, и про блестящего Печерникова, и про всех

профессоров, и про то, как Фауст потребовал от Мефистофеля, чтобы было мгновение, которому он бы мог сказать: «Остановись, ты прекрасно!»

13 января я в последний раз был у Конопацких. Как всегда перед разлукой, все ощущалось особенно ярко и глубоко, и особенный, значительный смысл приобретало всякое, на вид незначительное, слово, которое мы говорили друг другу. И когда я уходил, мы долго стояли в передней, разговаривали все, прощались, жали друг другу руки и дальше опять разговаривали. Звонкий смех Наташи и ее большие глаза мадонны, лукавая кошечка Катя. Обе они подросли за эти полгода и уже становились из девочек девушками. Иногда я ловил на себе взгляд Любы, грустный и любящий, и жаркая радость обдавала душу. Наконец распростились. Я ушел.

...ich verdient'es nicht!
Goethe[1]

Ночь морозная дышала
Тихой, крепкой красотой,
Даль туманная блистала
Под задумчивой луной.
И по улицам пустынным
Долго-долго я бродил...
Счастье, счастье! Чем, скажи мне,
Чем тебя я заслужил?
Эта грустная улыбка,
Этот тихий разговор.
Этот вздох груди высокой,
Этот дивный долгий взор,—
И кому же?.. О, за что же?
Чем я это заслужил?
Долго ночью этой чудной
Я домой не приходил.

*15 января 1885 г. В вагоне,
7 час. вечера. Новгородская губ.,
где — неизвестно*

Грохочут вагоны, колеса стучат,
Дым клубом за окнами вьется.
Сижу я,— а мысль неотступно назад,
Назад неотступно несется.
Я чувствую,— радость была так полна,
Так было полно наслажденье,—

---

[1] ...я этого не заслужил! *Гете (нем.).*

И что ж? Недовольное сердце опять
Глухое грызет сожаленье!
И странно: мне кажется, слишком легко
Отнесся я к счастью свиданья.
Блаженство полнее и радостней мне
Сулили мои ожиданья.
Тоска недовольное сердце сосет,
Дым длинною лентой клубится.
Тоскливой мечтою несусь я назад,—
А поезд все мчится и мчится.

У папы был двоюродный брат, Гермоген Викентьевич Смидович, тульский помещик средней руки. Наши семьи были очень близки, мы росли вместе, лето проводили в их имении Зыбино. Среди нас было больше блондинов, среди них — брюнетов, мы назывались Смидовичи белые, они — Смидовичи черные. У Марии Тимофеевны, жены Гермогена Викентьевича, была в Петербурге старшая сестра, Анна Тимофеевна, генеральша; муж ее был старшим врачом Петропавловской крепости,— действительный статский советник Гаврила Иванович Вильмс.

Анна Тимофеевна узнала, что мы с братом Мишею в Петербурге, и написала сестре, чтобы мы обязательно посетили ее. Приняла очень радушно, потребовала, чтоб мы их не забывали. Пришлось раза два-три в год ходить к ним. Мучительные «родственные» визиты, чувствовалось, что мы им совершенно ненужны и неинтересны — «родственники из провинции». И нам там было чуждо, неуютно. Но если мы долго не являлись, Анна Тимофеевна писала об этом в Тулу сестре.

Вильмсы жили в самой Петропавловской крепости, в белом, казенного вида двухэтажном домике против собора. Верхний этаж занимал комендант крепости, нижний — Гаврила Иванович.

Очень глубокий старик, всегда в сером халате с голубыми отворотами, с открытою волосатою грудью; длинная рыжевато-седая борода, на выцветших глазах большие очки с огромною силою преломления, так что глаза за ними всегда казались смещенными. Быстрый, живой, умный, очень образованный. С давящимся хохотом,— как будто его душат, а он в это время хохочет.

Анна Тимофеевна всегда была изящно одета, держалась тонно, сидела в гостиной и раскладывала пасьянс. В разговоре постоянно упоминала титулованных особ, передавала разные придворные новости.

У них была единственная дочь, Зиночка, года на четыре старше меня. Она кончила с шифром Смольный институт, и на письменном столике ее стоял кабинетный портрет царицы Марии Федоровны в бордовой плюшевой рамке, с собственноручною подписью царицы. Зиночка была маленькая, худенькая девушка, некрасивая, с неровным румянцем на бледных щеках, истерически-живая, и постоянно смеялась, как ее отец. В разговоре сыпала умными словами и именами мне совершенно не известных писателей и ученых. Ее взгляды и манера их высказывания меня поражали. Например:

— Я, знаете, ужасно суеверна. И суеверна просто из упрямства: назло господам рационалистам!

Гаврила Иванович безумно любил Зиночку, и она так же любила его. Мать же жила как-то в стороне. Кабинет Зиночки (у нее был свой кабинет) примыкал к кабинету Гаврилы Ивановича, Зиночка постоянно сидела у отца, спорила с ним, обменивалась впечатлениями, они вместе читали. А Анна Тимофеевна неизменно сидела в гостиной, болтала с великосветскими гостями и раскладывала пасьянс.

Зиночка писала стихи. Отец любовно издал сборничек ее стихов на прекрасной бумаге,— в нескольких десятках экземпляров. К тысячелетию Кирилла и Мефодия Славянское благотворительное общество объявило конкурс на популярную брошюру с описанием их деятельности. Зиночка получила вторую премию, и книжка ее была издана. Отец объяснял, что первая премия потому не досталась Зиночке, что ее заранее было решено присудить одному лицу, имеющему большие связи среди членов жюри.

Привязанность Гаврилы Ивановича к дочери и ее к нему была трогательна и страшна. Жутко было представить, что случится с одним, если другой умрет. И случилось вот что: кажется, это было в начале девяностых годов,— Гаврила Иванович заболел крупозным воспалением легких и умер. Зиночка сейчас же пошла к себе в комнату и отравилась хлоралгидратом. В «Новом времени» появилось объявление об их смерти в одной траурной рамке, и хоронили их обоих вместе.

Когда я бывал у Вильмсов, меня всегда поражала и несколько смущала атмосфера кипящей мысли, остроумных замечаний, больших знаний, каких-то совсем других вопросов, чем те, какими жил я, совсем других любимцев мысли и поэзии. Гаврила Иванович держался со мною радушно

и даже любовно, но я с обидою чувствовал, что я забавляю его как образец банальнейшего миросозерцания, которое заранее можно предвидеть во всех подробностях. Мои азартные попытки спорить с ним кончались, конечно, полным моим поражением.

Они были славянофилы, глубоко верующие и монархисты. Иногда я встречал у них подругу Зиночки по Смольному институту, курсистку-химичку Веру Евстафьевну Богдановскую, дочь известного хирурга профессора Богдановского. Вот она, так умела спорить с ними! Завидно было слушать, сколько у нее было знания, остроумия, находчивости, завидно было смотреть, как любовался Гаврила Иванович, споря, ее умом. Я возвращался домой совершенно подавленный: до чего я глуп, необразован, до чего не умею спорить! А она-то вот — женщина; и, оказывается, мне ровесница даже, не старше... Девушка эта, действительно, была человек выдающийся. Окончив Бестужевские курсы, она впоследствии уехала за границу, получила в Женевском университете степень доктора химии, читала на Петербургских высших женских курсах стереохимию. Потом вышла замуж за некоего Попова, кажется, инженера, поселилась с ним на Ижевских заводах и двадцати девяти лет погибла от взрыва фосфористого водорода во время опытов, которые делала в своей лаборатории.

Когда я пробовал спорить с Гаврилой Ивановичем, я видел: мои возражения только забавляют его и вызывают смешливое изумление, что где-то еще могут существовать такие взгляды, какие я высказываю. И я смущался: что это, какой я дурак и как отстал!

Однажды помянул я по какому-то поводу Некрасова.

Гаврила Иванович вытаращил на меня глаза.

— Некрасов? Да кто же теперь Некрасова поэтом считает?

— Как — кто считает?

— Полноте, деточка моя! Рубленая капуста! Видали когда-нибудь, как капусту рубят? — Гаврила Иванович стал рубить вытянутою ладонью воздух.— Вот что такое ваш Некрасов. Вчера ехал я по Литейному — вывеска:

ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА
ЛИТЕЙНО-ГИЛЬЗОВЫЙ ОТДЕЛ

А?! Чем, я вас спрашиваю, не Некрасов? По-моему, еще даже поэтичнее! А? Что? Кхх! Ха-ха-ха!

Все смеялись, и я тоже, потому что, правда, очень было похоже на Некрасова.

— Ну, а Тютчева, конечно, вы совсем не знаете. Ну, говорите,— знаете? «Еще в полях белеет снег» в хрестоматии учили, а еще что знаете? Нет? Неужели больше ничего не знаете?

— Н-ничего...

— Ага! Во-от!.. Батенька мой! В одном стихе, в одном даже слове Тютчева больше настоящей поэзии, чем во всем вашем Некрасове... Возьмите-ка вот, почитайте! Возьмите с собой домой, читайте медленно, вчитывайтесь в каждое слово... Тогда поймете, что такое истинный поэт и что такое Некрасов.

И он принес мне маленькую книжечку стихов Тютчева.

На каждом шагу были неожиданности. О Белинском я как-то заговорил.

— Белинский?! Да ведь это же пошляк первой степени! Как он к Пушкину относится! Как он его принизил и опошлил!

Я пришел в полное негодование.

— Белинский!? Да Белинский, это... это... А что он в Пушкине не все хвалит... Например, указывает, что сказки его — неудачная подделка под народное творчество...

— Сказки!.. Да вы знаете ли, батенька мой, что одни эти сказки стоят всей «новой» литературы за последние двадцать лет,— всех ваших Помяловских, Щедриных и Глебов Успенских! Вы только посмотрите, какой там слог! Ну-ка, покажите мне где-нибудь еще такой слог! Нет, я говорю, покажите, где есть еще такой слог! А? Ага! Кхх! Ха-ха!

— Я не могу понять, что это за культ слога во имя слога.

Гаврила Иванович вдруг перестал смеяться и серьезно сказал:

— Слог? Ну, деточка, об этом мы говорить не будем. Вы раньше почитайте передовицы Аксакова в «Руси», а тогда вот и спрашивайте, для чего нужен слог. А вы мне лучше объясните, что такого хорошего сделал ваш Белинский?

Я с азартом воскликнул:

— Да он всю новейшую нашу литературу создал!

— Некра-асова он одного вашего создал! Некрасова, и больше никого! Ну, и берите себе вашего Некрасова! А Достоевского, Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, Фета,— всех Пушкин создал! Да что литература! — Он наклонил-

ся ко мне и таинственно сказал: — Вся наша куль-ту-ра идет от Пушкина, все идеи, которыми мы теперь живем, идут от него. Вот что такое Пушкин!.. Нет, деточка, искренний мой вам совет—бросьте читать Белинского. В нем— зерно всей писаревщины. Вы Писаревым, конечно, упиваетесь? Ну, что же? Великий мыслитель? Гений? А? Что? Кх-х-ха-ха-ха! Так вот, голубушка моя, что такое ваш Белинский!

Мне стыдно было не заступиться за Писарева.. Сказал, что я с ним, конечно, во многом не согласен, например, во взглядах его на искусство, но что очень полезна его неподкупная жажда правды, сила и смелость искания...

Гаврила Иванович совсем подавился хохотом. Потом, со слезами от смеха на глазах, стал серьезен и начал ругать Писарева,— что это негодяй, шулер, развратитель молодежи, что его следовало бы повесить.

Когда Гаврила Иванович ушел к себе в кабинет, Анна Тимофеевна сказала, улыбаясь:

— Вот он как Писарева ругает. А когда Писарева выпустили из нашей крепости, он первым делом зашел к нам поблагодарить Гаврилу Ивановича за внимательное к нему отношение. Какое он на меня впечатление произвел! Я ждала увидеть косматого нигилиста с грязными ногтями, а увидела скромного, чрезвычайно воспитанного мальчика. И такой он был белый, белый...

Когда мы уходили и были уже в передней, Гаврила Иванович снял с вешалки мое пальто, встряхнул и подал его мне, как горничная. Я растерялся.

— Ну, надевайте, нечего!

— Да право же, Гаврила Иванович... Зачем это? Я сам.

— Долго прикажете мне так стоять? Надевайте же наконец!

Я сунул руки в рукава пальто. Гаврила Иванович наклонился ко мне и проникновенно заговорил:

— Вот видите: я — старик, действительный статский советник,— я подал вам, семнадцатилетнему мальчику, пальто... Писарев сказал бы, что это низкопоклонство... А? Что? Кххх!.. Хха-ха-ха!.. Так вот что такое ваш Писарев!

Уже десять месяцев я писал большую повесть. Замыслил я ее еще весною, когда был в гимназии. Решительно ничего не могу о ней вспомнить, а в дневнике тогдашнем нахожу о ней вот что:

Сюжет этой повести зародился во мне по следующему поводу: наблюдая религиозные убеждения нашей молодежи, я в среднем выводе нашел следующее: большая часть из них отвергает таинства, даже вообще христианскую религию, но, с другой стороны, признает существование Верховного Существа. Напротив того, женская молодежь (не идущая дальше гимназии) принимает всю христианскую религию, со всеми суевериями ее и предрассудками. Сюжет моей повести следующий: студент Люстринов влюбляется в глубоко религиозную, восторженную девушку, высший идеал которой — самый суровый аскетизм. Благодаря своим высоким нравственным качествам он пользуется взаимностью Кати. Страстно любя ее, он считает себя не вправе скрывать дольше от нее свои религиозные мнения. Происходит разрыв. Люстринов уезжает в Петербург и кончает жизнь самоубийством. Тема богатая, но выполнить ее... Боюсь сильно, что не справлюсь.

В середине февраля кончил. Мне показалось, что в повести очень ярко показано, какую стоячую воду представляет наша провинциальная жизнь, и я озаглавил повесть «Стоячая вода».

17 февраля 1885 г.

Завтра отнесу свою повесть в редакцию «Недели». Уж раз десять рассылал я свои стихотворения по редакциям, но непринятие их меня не особенно огорчало. Вот теперь, действительно, предстоит тяжелое испытание: если моего Люстринова, моего самого дорогого сына, лучшую часть меня самого, не примут, тогда... Страшен будет этот удар! Все бумаги тогда порву, побросаю в огонь и за перо никогда не стану браться: с болью придется согласиться, что «где нам, дуракам, чай пить».

«А сколько лет ему? — Семнадцать.
Семнадцать? Только? Так розгами его!»

26 апреля 1885 г.

Сам побоялся отнести в редакцию. Сторговался за рубль с посыльным, он отнес рукопись в редакцию и принес мне расписку конторы в получении рукопи-

си. Ждал ответа месяц, другой, третий... Так ответа и не получил.

С Печерниковым мое знакомство понемножку упрочивалось. Я чувствовал, что он ко мне очень расположен.

Жил он сравнительно богаче, чем мы, другие студенты. Обычный студенческий бюджет тогда был двадцать пять — тридцать рублей. Леонид получал откуда-то пятьдесят. Ходил всегда в крахмальных воротничках, визитка хорошо на нем сидела. Была у него сестра,— я у него видел ее портрет: стройная красавица с надменными глазами, Леонид рассказывал,—прекрасная пианистка: «Бетховена вот как лупит, Моцарта — фьюу! Засушивает!» Она была гражданскою женою — а может быть, просто содержанкою — московского чаеторговца-миллионера. Она, должно быть, и высылала Леониду деньги.

На рождественские праздники он ездил к ней в Москву. Воротился оттуда оживленный и приподнятый. С веселою улыбкою насмешливых своих губ он рассказывал, как ошарашивал своими речами собиравшихся у сестры московских богачей, как высмеивал их и приводил в бешенство, так что сестра, наконец, поругалась с ним, и он от нее уехал раньше времени. Поссорились основательно: ее обычный месячный присыл он отправил ей обратно. И, таким образом, остался сам без гроша.

Поместил в газетах публикацию, что студент-юрист дает уроки. Однажды зашел ко мне, смеется. И рассказал:

— Получил по публикации приглашение. Прихожу. Богатейшая квартира. Выходит дама. Заниматься с мальчишкою двенадцати лет,— не преуспевает. Переговорили. Каждый день заниматься по два часа. «Какие ваши условия?» Я говорю: «Пятьдесят рублей». Барыня подняла брови. «А мне говорили, что студенты дешево берут».

По губам Леонида пробежала довольная от воспоминаний усмешка.

— Я взвился! Поднял голову. «А как вы, сударыня, думаете, почему студенты дешево берут? Почему умирающий с голоду человек готов работать целый день за корку хлеба? Если вы бедны, я готов заниматься с вашим сыном даром. Но я вижу, обстановка у вас роскошнейшая, на одни серьги, которые у вас сейчас в ушах, два студента могли бы пройти весь университетский курс. А студен-

ту вы хотите платить гроши!» Она меня прервала: «Я в состоянии дать только тридцать рублей!» Я встал, поклонился: «Извините! Принципиально не могу согласиться на такую эксплоатацию!» И ушел.

Я с восторгом и почтением слушал Печерникова. Сам я на такие поступки был бы не способен. Он мне нравился все больше. Только смущало меня, что по внешности он так мало походил на настоящего студента. И коробило его отношение к женщине: подчеркнутый какой-то цинизм в этом отношении: «Что такое для нас, в конце концов, женщина? Лоханка, больше ничего! А все остальное — розовая краска, которою мы замазываем суть дела». Встречных на улице женщин он оглядывал с нескрываемою внимательностью. Сообщил мне, что живет со своею квартирною хозяйкою, я ее видел. Полная, недурная собою акушерка, лет тридцати двух. Непонятно мне было,— как можно быть таким не рыцарем, чтобы про это рассказывать посторонним. Но сказать это Печерникову постеснялся.

А однажды он сказал:

— Мать? Что такое мать? Мокрая квартира, в которой человек должен прожить девять месяцев.

Я возмутился, стал возражать, но он логически и для меня неопровержимо доказал, что по существу дела мать есть именно это и ничего больше. Но, разумеется, и среди матерей могут встречаться женщины хорошие, вполне достойные любви своих детей. Но это не лежит в существе материнства.

Когда какая-нибудь была возможность, я шел в оперу. В то время опера была для меня не просто эстетическим удовольствием и отдыхом. Это была вторая жизнь, яркая и углубленная. Состав певцов Петербургской императорской оперы был в то время исключительный: Мельников, Стравинский, Карякин, Прянишников, Славина, Мравина, Сионицкая; в 1887, кажется, году прибавились Фигнер и Медея Мей, Яковлев, Тартаков.

С наибольшим удивлением и восторгом вспоминаю Федора Игнатьевича Стравинского. Это был прекрасный бас и артист изумительный. Отсутствие рекламы и, повидимому, большая скромность Стравинского делали его гораздо менее известным, чем он заслуживал. Это был художник мирового размаха. Мне приходилось говорить со многими

знатоками, имевшими возможность сравнивать Стравинского с Шаляпиным, и все они утверждали, что Стравинский как художник был неизмеримо тоньше и глубже Шаляпина.

Он был высокого роста, с узким лицом, очень худой. И в каждой роли был совсем другой, на себя не похожий, неузнаваемый. Мрачный фанатик, изящный граф Сен-Бри в «Гугенотах»; когда, готовясь к избиению еретиков, он благоговейно прикладывался к освященной шпаге, вы чувствовали — перед вами хороший, глубоко убежденный человек, идущий на резню как на подвиг, угодный богу. Смешной, хвастливый трусишка Фарлаф в «Руслане и Людмиле», споткнувшись, выбегает на сцену и трусливо озирается. Циничный и задорно-веселый Мефистофель в «Фаусте» Гуно. И тот же Мефистофель в «Мефистофеле» Бойто—совсем другой,—зловещий, трагический. Держит в руках земной шар.

Шар ничтожный, шар презренный...

С дьявольской улыбкой бросает его о землю и разбивает.

Какая бы роль ни была маленькая, в исполнении Стравинского она загоралась ярким бриллиантом и светилась, приковывая к себе общее внимание. Наемный убийца-брави Спарафучиле в «Риголетто». Сорок лет прошло, а и сейчас он передо мной стоит,— длинный, худой, зловещий, обвеянный ужасом темного притона, и в то же время своеобразно-честный, высоко блюдущий честь профессионала-убийцы.

Убить горбуна мне? Да ты за кого же
Меня-то считаешь? Я вор — иль разбойник?
Дав слово клиенту, держу его честно,
И даром я платы не брал ни с кого...

Или Скула в «Князе Игоре». Как-то я в то время спросил одного москвича, кто у них в этой опере поет Скулу. «Какого Скулу? Ах, это там... Один из этих двух шутов-гудочников? Не помню». Со Стравинским не помнить его было невозможно. Вся вольная, гулящая, пропойная Русь вставала у него в образе этого красноносого, глядящего исподлобья оборванца-гудочника в стоптанных лаптях. Последняя его песня с Ерошкою «Ты гуди, гуди, ты гуди, играй!» незабываемо врезывалась в память. В конце 90-х годов в Петербурге праздновалось столетие Военно-меди-

цинской академии, понаехало много иностранных ученых. Для гостей дан был в Мариинском театре «Князь Игорь». Автор оперы, А. П. Бородин, был в то же время профессором химии в Военно-медицинской академии. На следующий день Вирхов и другие иностранные гости, осматривая клиники и лаборатории академии, все время напевали себе под нос:

Гуды, гуды, гуды...

Большою популярностью и любовью пользовалась в студенчестве Е. К. Мравина, красавица, с чудесным голосом. Не забуду ее в Людмиле, как, с лукавым смехом в голосе, она обращается к мрачно насупившемуся Фарлафу-Стравинскому:

Не гневись, знатный гость,
Что в любви прихотливой
Я другому несу
Сердца первый привет...

Особенно же была любима Мравина вот за что. Рассказывали, что наследник престола Николай Александрович страдал некоторым тайным пороком, и врачи предписали ему сближение с женщиною. Батюшка его Александр III предложил ему выбрать из оперы и балета ту, которая ему понравится. Цесаревич выбрал Мравину. О высокой этой чести сообщили Мравиной, а она решительнейшим образом ответила: «Ни за что!» Тогда цесаревич взял себе в наложницы танцовщицу Кшесинскую, молоденькую сестру известной балерины Кшесинской. Нужно знать, как почетно и выгодно было для артистки быть любовницей царя или цесаревича, за какую великую честь считали это даже родовитейшие фрейлины-княжны, чтобы оценить это проявление элементарного женского достоинства у Мравиной. При каждом появлении ее на сцене мы бешено хлопали ей, я с восторгом вглядывался в ее милое, чистое лицо и хохотал в душе, представляя себе натянутый нос цесаревича, принужденного убедиться, что и ему не все в мире доступно.

---

7 мая 1885 г. Вторник

Недели две тому назад я послал в редакцию «Живописного обозрения» (П. Н. Полевого) два стихотворения под общим заглавием «На развалинах счастья».

Стихотворения эти относятся к эпохе моего «байронизма». Сегодня в «почтовом ящике» журнала я прочитал такой ответ: «Постараемся воспользоваться, но времени напечатания определить не можем». Может быть, во мне, действительно, есть что-нибудь?

8 мая

Странное дело: теперь, когда мои стихотворения приняты в печать, мне всего бы естественнее утвердиться в мнении, что я действительно поэт; между тем именно теперь я все больше и больше в этом разубеждаюсь. Какой-то внутренний голос говорит мне:

Не верь себе, мечтатель молодой!

В своих стихотворениях

Признака небес напрасно не ищи:
То жизнь кипит, то сил избыток,
То кровь молодая играет.

С другой стороны, тот же голос (на этот раз он, может быть, и врет) говорит мне, что во мне что-то есть, но что это «что-то» направится не на стихи, а на роман и повесть. Конечно, за такой литературный грешок, как отправка «Люстринова» в «Неделю», меня стоило бы отодрать за уши: я мог надеяться целых две недели, что роман, написанный семнадцатилетним мальчишкой, будет принят в печать. Но все-таки это меня нисколько не разочаровывает: и Гете и Тургенев в эти годы писали подобную же ерунду.

Позднейшая приписка:

Разве? 10 дек. 1885 г.

Лето провел я дома, в Туле, отчасти в Зыбине, у «черных» Смидовичей. Вскоре после того, как приехал из Петербурга, пошел к Конопацким. Пробыл вечер, но было тягостно и напряженно. Задушевного тона с Любой не получалось. И говорить было не о чем. Мой язык становился тяжелым и неповоротливым, когда я начинал говорить о том, что меня глубоко интересовало,— и я все еще приписывал это моему неумению говорить интересно. И

недоумевал, почему у меня так завлекательно выходит, когда говорю с «белыми» и «черными» сестрами.

Конопацкие пригласили меня приехать к ним на дачу. Это лето они жили в Судакове, по Киевскому шоссе. Я приехал в конце июля, пробыл у них целую неделю. И так странно: ничего не могу вспомнить про эту неделю, как я ее провел, что тогда переживал,— совсем все выпало из памяти. Помню только: я уходил от Конопацких домой, в Тулу, почему-то очень рано; меня провожали до канавы в конце сада Люба, Екатерина Матвеевна и еще, наверно, кое-кто. И помню: не о чем было с Любой говорить. Потом мы пошли дальше канавы, отдыхали под какими-то кустами возле дороги,— и говорить было не о чем. и всем было грустно.

И назавтра я писал в дневнике:

30 июля. Тула

Недавно пробыл у Конопацких на даче целую неделю...

И больше нечего писать? Катя замечательная красавица; прежние правильные очертания лица, прежние пышные волосы, прежний бархатный, серебристый голос,— только в соединении с какою-то недетскою, томною негою движений и девической стыдливостью. Но на нее я смотрю с таким же чувством, какое испытываю в Эрмитаже. О Любе же я писать не могу.

8 августа. Тула

А о Любе — стихотворение: «Так вот он, конец!..»

Стихотворения этого не помню, помню лишь кусочки. Было оно напыщенно, как все, что писалось мною в то время.

Так вот он, конец! Удержаться я был уж не в силах:
Любви слишком сильно просила душа молодая,
Горячая кровь слишком быстро катилася в жилах,
А ты — ты была хороша, как валькирия рая.
И призрак создал я себе обаятельно-чудный,
И сам я поверил в него беззаветно и страстно...

Потом вдруг за спиною у меня «демонский хохот внезапно раздался»,—

И я увидал, что все то, чему я поклонялся,
Что чудный кумир тот — моими же создан руками!

Мы с Мишею решили: когда осенью опять поедем в Петербург,— обязательно искать две комнаты; хоть самых маленьких, но чтобы две. В одной слишком мы стесняли друг друга: один хочет спать, другой заниматься, и свет мешает первому; ко мне придут товарищи, а Мише нужно заниматься. И мы постоянно ссорились из-за самых пустяков. Со второго года, как стали жить в раздельных комнатах, за все три года остальной совместной жизни не поссорились ни разу.

У меня в университете лекции начинались на две недели раньше, чем у Миши в Горном институте, я приехал в Петербург без Миши. Долго искал: трудно было найти за подходящую цену две комнаты в одной квартире, а папа обязательно требовал, чтобы жили мы на одной квартире. Наконец, на 15-й линии Васильевского острова, в мезонине старого дома, нашел две комнаты рядом. Я спросил квартирную хозяйку,— молодую и хорошенькую, с глуповатыми глазами и чистым лбом:

— Сколько вы хотите за обе комнаты?

Она ответила:

— Шестнадцать рублей. А если поторгуетесь, то можно будет и уступить.

Я поторговался, и она уступила за четырнадцать рублей. Я переехал.

В тот же вечер явился ко мне в комнату хозяин. С огромной кудлатой головою с темнорыжею бородкою. Расшаркался, представился:

— Александр Евдокимович Карас, переплетчик.

И пригласил меня к себе чай пить. Вся квартира-мезонин состояла из двух наших комнат, выходивших окнами на улицу, и боковой комнаты возле кухни,— в этой комнате и жили хозяева. На столе кипел самовар, стояла откупоренная бутылка дешевого коньяку, кусок голландского сыра, открытая жестянка с кильками,— я тут в первый раз увидел эту склизкую, едкую рыбку. Сейчас же хозяин налил мне и себе по большой рюмке коньяку. Мы выпили. Коньяк пахнул сургучом. И закусили килькой. Хозяин сейчас же опять налил рюмки.

Я спросил его: судя по фамилии, он — немец? Хозяин лукаво улыбнулся и рассказал мне, откуда у него такая фамилия. Отец его был беглый крепостной, по фамилии Колосов. В бегах он получил прозвище Карась. С такой фамилией его, хозяина, и записали в метрические книги.

— Но только мне такая фамилия совершенно не понравилась,— что за шутовство? К чему это? Шутки вполне неуместные. Взял и переделал в паспорте букву ерь в ер, и получилось — Карас. Раз в газете прочел, что есть где-то такой немецкий посланник,— фон Карас. И вот — вроде как бы теперь родственник немецкого посланника! Хе-хе!

Выпили по второй рюмке, и опять он их сейчас же наполнил. Был он очень разговорчив и рассказывал много.

— Два года мы в Риге жили. Очень мне там нравилась немецкая опера. Ни одного представления не пропускал. Засяду в райке и слушаю. И я откровенно вам сознаюсь,— большие у меня способности были к немецкой опере. Даже можно сказать,— талант. Только вот голоса нету, и немецкого языка не знаю.

Жена его, с розовым лицом и синими глазами, разливала чай, радушно угощала. Чувствовалось по всему, что владыка в семье — он. Была у них маленькая девочка, Оля.

Ушел я от них поздно. Незаметно для меня хозяин порядком меня подпоил, я еле добрался до кровати, и когда лег, она ходуном заходила подо мною, как лодка в сильную волну.

Александру Евдокимовичу очень нравились студенты. Он был полон восторженного и бескорыстного уважения к науке и знанию,— уважения самого бескорыстного и платонического, потому что сам решительно ничего не читал, кроме уличной газетки «Петербургский листок». Он старался почаще залучать нас к себе, старался ближе сойтись. Но становился он мне все неприятнее. По субботам, возвращаясь с получкой, он приходил пьяный, и сквозь перегородку было слышно, как он кричал на жену, топал на нее ногами. Однажды я услышал глухие удары и женский плач. Не зная еще, что буду делать, я инстинктивно бросился к двери, стал стучать. Карас отпер дверь. Я стоял, задыхаясь, и не знал, что сказать. Он сконфузился.

— Вы что?

— Я не знаю... Мне показалось... Не можете вы мне дать взаймы коробку спичек? У меня все вышли...

Он дал, я ушел. За стеною стало тихо, они легли спать.

Стало это повторяться часто. Александра Ивановна (жена), видимо, старалась сдерживать плач. Слышны бы-

ли только подлые, глухие удары и плеск пощечин, и изредка только прорывался стон. Ох, это положение: слышать, как издеваются и измываются над человеком,— и не иметь права вмешаться! Когда я потом пробовал об этом заговорить с Александрой Ивановной, она удивленно раскрывала глаза и как будто не понимала, о чем речь. Встречаясь с Александром Евдокимовичем на лестнице, я делал холодное лицо, а он сконфуженно лебезил.

Однажды, когда он зазвал меня к себе в субботу на коньячок, я, разгорячившись и подвыпивши, сказал пламенную речь об угнетенном положении женщины, о мерзавцах, которые унижаются до того, что, пользуясь своей силой, бьют женщину, мать их детей! Александра Ивановна укорительно поглядывала на Александра Евдокимовича, а он был в полном восторге и утверждал, что сам всегда был этих самых мнений и что обязательно нужно, чтобы было «равноправенство» женщин.

Но жену продолжал колотить по-прежнему.

Этот учебный год мы прожили у него. Весною Александр Евдокимович спросил меня, будем ли мы у них жить следующий год. Я сурово ответил, что нет: не могу выносить, когда при мне бьют человека, а я даже не имею возможности за него заступиться.

Однако знакомство наше не прекратилось. Карас относился ко мне с восторженным уважением и любовью. Время от времени заходил ко мне, большею частью пьяный, и изливал свои чувства. В глубине его души было что-то благородное и широкое, тянувшее его на простор из тесной жизни. Я впоследствии изобразил его в повести «Конец Андрея Ивановича» («Два конца») под именем Андрея Ивановича Колосова.

Дальнейшая судьба его и его жены была такая.

Кончив историко-филологический факультет в Петербурге, я поступил на медицинский факультет в Дерпте, пробыл там шесть лет, потом воротился в Петербург, служил врачом в Барачной больнице памяти Боткина. Карас был уже болен тяжелою чахоткою, сильно нуждался, но из самолюбия, чтобы не зависеть от жены, не позволял ей поступить куда-нибудь на работу. Все так, как у меня описано в повести. И так же его, тяжело больного, избил его друг-переплетчик, товарищ по мастерской. Карас умер в нашей больнице, куда мне удалось его пристроить.

Александра Ивановна с дочкой Олей осталась совсем

без средств. Сначала она работала «на пачках» на табачной фабрике, потом поступила фальцовщицей в ту же переплетную и брошюровочную мастерскую, где работал ее покойный муж. Сколько мог, я ей, конечно, помогал. Я тогда уж кончил повесть «Конец Андрея Ивановича», и в голове начинало слагаться ее продолжение, «Конец Александры Михайловны»,— дальнейшая судьба его вдовы. С целью изучения нужного материала, я очень часто бывал у Александры Ивановны, охотно принимал ее предложения прийти к ней на ее именины или на рождество, наблюдал у нее ее подруг по мастерской, ее знакомых портних, картонажниц и модисток. Постоянно встречал у нее конфузливого эстонца Ивана Осиповича, слесаря, с обожанием смотревшего на нее. Однажды, подвыпив, он сознался мне, что «узасно» любит меня и уважает, потому что Александра Ивановна рассказала ему, как я к ней заботливо отношусь, как помогал ее покойному мужу и ей.

Как-то Александра Ивановна, покраснев, созналась мне, что она беременна,— и беременна от Ивана Осиповича. Что он умоляет ее выйти за него замуж, но что она боится,— уж очень много натерпелась от первого мужа; сказала, что раньше к нему приглядится. Я продолжал часто бывать у нее, часто встречал у нее Ивана Осиповича. У Александры Ивановны родился мальчик Ваня. Девочка ее Оля была уже пятнадцатилетним подростком с неприятными влажными губами и озорными глазами.

Александра Ивановна, измученная тяжестью работы и приставаниями мастеров, согласилась, наконец, выйти за Ивана Осиповича. Я был на их свадьбе и радовался за Александру Ивановну. Иван Осипович производил впечатление очень скромного и культурного человека,— впечатление прочное, на которое можно было положиться.

Это было уже в начале 1901 года. Весною этого года я был выслан из Петербуга. Поселился в Туле. Изредка получал письма от Александры Ивановны. Писала она о своей жизни очень сдержанно. Раз, после долгих извинений, попросила у меня взаймы полтораста рублей на покупку вязальной машины,— что будет выплачивать долг частями. А еще через год я получил от нее такое письмо:

Добрейший Викентий Викентьевич!

В первых строках моего письма прошу извинения, что до сих пор не выслала взятые у вас деньги, постараюсь как возможно,— я продаю свою машину, но не могу так скоро, нет таких охотников. Боже мой,

как вам и описать, не знаю, простите, как сумею: не раз я читаю и целую эти строки вашего письма, где вы мне сказали, смотрите, не ошибитесь второй раз. Он скрывался, но как вы уехали, нету того дня, чтобы я не собиралась лишить себя жизни, он с нами поступает хуже всякого зверя, Олю сколько раз бил, я умываюсь кровью не один раз. На одёжу не дает, последнее сносила, что было. Работа пошла ничего, но он, видя, что я могу прокормиться машиной, он взял да и переехал на другую квартиру, на Острове, на дворе в самом заду наша квартира, а кто же туда придет. Оле дома работать не позволяет, она теперь на фабрике, получает 45 коп. в день и на это одевает себя и платит мне за кушанье и угол, но лишь только она из остатков купит себе что-нибудь, то он меня так изобьет, что я кровью обольюсь и неделю вся распухшая хожу. Я теперь шестой месяц в беременности, что со мной будет дальше, не знаю. Оля боится уйти от меня, что он совсем забьет меня. Я бы взяла и совсем ушла от него, но не знаю, кому будут эти дети, сыну четвертый год, а дочери второй, через три месяца будет третий, я потерплю еще, пока бог даст мне разрешиться, и если буду жива, то буду просить отдельный вид. Если же детей присудят ему, то я тут же лишу себя жизни. Сил нету бороться с этой несчастной жизнью, если еще дотерплю эти три месяца, а может и раньше, страшно губить жизнь будущего младенца, но эти побои не могу вычосить; хуже крепостного права.

Из некоторых намеков в ее последующих письмах я делаю страшную и горькую догадку. По-видимому, муж ее после моего отъезда стал соображать: с чего это я, человек совсем другого развития и круга, поддерживал такое прочное знакомство с Александрой Ивановной, с чего помогал ей деньгами? Дело для него, по-видимому, стало совершенно ясным: стало ясно, чей будто бы сын Ванечка и какую дурацкую роль сыграл он, Иван Осипович, «покрывая грех» Александры Ивановны со мной. Он стал пить, а эстонцы во хмелю страшны и зверски жестоки, без капли русского хмельного добродушия.

Года через два Александра Ивановна умерла. Оля вышла замуж что-то очень рано, шестнадцати лет. Давно уже появился в печати мой рассказ «Конец Андрея Ивановича». По возвращении с японской войны я получил от Оли такое письмо:

Многоуважаемый Викентий Викентивич, спешу описать вам очень важное дело. Хотя для нас оно очень неприятное, но делать нечего, что написано пером, то не вырубишь топором. Мы получили на днях письмо из города Ташкента. И нас так поразило, что совсем забытый наш и покойного отца товарищ, он вдруг просит написать, что случилось с нами, что вдруг нас поставили в книгу и пустили по белому свету, что он даже и не ожидал этого, что вдруг случилось с нами, это нам очень неприятно. Писали бы отца, а нас бы не трогали, так как он уже умерши и не слышит, но живому человеку слышать от каждого встреч-

ного, что про вас описали в книге, и спрашивается, за что терпеть? Люди читают, смеются над нами. Вы трудились и получили за все деньги, а нас насмех пустили. Вы думаете, что вы нам прислали немножко денег, мы и не поймем, но люди поумней нас есть и прислали, что ведь пишут про вас. Вы прислали денег, это все-таки за такую обиду мало, и за пострамление наше вы уже получили за первую книгу шесть тысяч, шестая тысяча, цена один рубль, но там ничего особенного не было писано, но за эту вы получили наверно вдвое, так вам было бы и не грех прислать нам еще за наше посмешище, так что четвертую часть поделиться на нашу бедность три тысячи. Вы людей подняли насмех, так и отблагодарите их за это. Вам нравилось, когда в ваш карман шли тысячи, а бедного можно насмех поднять, ничего он не поймет. Но, благодарю тех людей, которые нам написали. А книге заглавие кончина Андрей Ивановича Колосова, нам прислали ее бесплатно по почте. Если вы не пришлете деньги и не дадите ответа, найдутся люди, которые поумнее нас, так лучше по-хорошему прислать, тогда дело все кончится. И мы этого не ожидали от вас.

На письмо я, конечно, не ответил. Тогда она прислала второе письмо.

Многоуважаемый Викентий Викентивич, что же вы ответа не даете, или померли, то хотя будем подавать за упокой, а если живы, то пришлите ответ. Ведь матери вы прислали всего 150 руб., так за это пострамление тоже такую сумму и мне пришлите, а то обидно, она получила столько, а я ничего. Машину чулочную они мне не дали в приданое, швейную машину тоже дали и взяли на обман назад, работать мне нечего, хотя за пострамление купила бы на эти деньги чулочную машину. Она стоит, ведь, сами знаете, что восьмой класс 115 руб., а двенадцатый 150 руб., вот я бы за вас богу молила, но восьмой класс не годится один для работы, потому что вяжет только толстое, а тонкое совсем не берет. У нас прямо жрать нечего, на фабрику идти не могу, потому что скоро родится маленький. Будьте отцом родным, пришлите на помогу если не столько, то сколько-нибудь на крестины и роды,— десять или пять рублей.

Как я с ним познакомился, не помню. Должно быть, встретил случайно у товарища моего Нарыжного-Приходько,— они оба в одно время кончили в новгород-северской гимназии. Шлепянов, Моисей Соломонович. Худощавый, с черненькой бородкой. Студент-естественник.

Вытаращив горящие глаза, он расхаживает по своей студенческой каморке, в руках скрипка. И восторженно говорит. Говорит о пятой симфонии Бетховена.

— Вторая часть—andante. Когда слушаю ее—вы понимаете?—я схожу с ума! Там есть одна фраза, темовая, она несколько раз повторяется, вот послушайте...—Он играет на скрипке.— Фраза эта так глубоко западает вам в ду-

шу, в ваше самое святое святых, и так ее обжигает, что нет возможности отделаться от нее на всю жизнь. Понимаете,— вы не можете сказать, что́ это — страдание, глубочайшая ли скорбь, еще ли что, но у вас в душе происходит великая французская революция... Потом — scherzo. Первая же фраза вас приковывает целиком. Слушайте...

Он играет, потом вдруг отрывает скрипку от плеча.

— Бож-же, боже! Если бы люди могли сразу все вместе услышать эту симфонию, чтоб дирижером был сам Бетховен, а весь оркестр состоял из Иоахимов,—вот бы залились бы горькими слезами раскаяния, бросились бы друг другу в объятия и стали счастливы!

Он смешно потрясает руками, а лицо светится восторгом. Потом присядет к потухшему самовару, нальет холодного чаю, отхлебнет, уронит голову.

— Да-а, Бетховен... Во мне ничего нет, понимаете?— ничего нет целого, все и всюду поломано, скомкано, и все болит. Но Бетховен отрывает меня от маленьких моих болей, я впадаю в состояние безумства и оживаю. Потом пробуждаюсь и снова умираю. Так вот по свету и волочусь.

Вдруг вскакивает, опять хватает скрипку.

— Да! Погодите! Еще не все про пятую симфонию!.. Гармония тянется, тянется, вы не знаете, куда она вас ведет, вы думаете, что печаль, отчаяние, тоска—вечны, что исход—только безнадежность и смерть. И вдруг,— нет! Понимаете,—в мажорном тоне оркестр прямо переходит к триумфальному маршу — к жизни, к жизни, к самой радости бытия! Этот переход — молния, громоносного финала никогда не забудешь! Поражает вас в сердце ножом по самую рукоятку.

Другой раз придешь к нему,—сидит, в руках старый номер «Русской мысли». Лицо умиленное.

— Ах, черт! То есть вы понимаете? Вот этак тоскуешь, не знаешь, куда деваться от отчаяния: что кругом происходит! Как возможно жить?.. И вот, послушайте.

Он открывает журнал и читает, сурово нахмурив брови:

> Ты устрашен, разочарован — в чем?
> Где тот алтарь жестокий, на котором
> Ты приносил отвергнутые жертвы?
> В какой борьбе боролся ты напрасно?
> Смешна, жалка мне скорбь твоя пустая,
> Как старику на ложе смерти жалок
> Ребенка плач над сломанной игрушкой...
> О, нет! Сперва напой кровавым потом

Родной земли чуть вспаханную ниву,
Пускай затем твой сын, и внук, и правнук
Над нивой той священной потрудятся;
Пускай она заколосится пышно
И целый мир накормит новым хлебом;
Пусть, наконец, мертвящее дыханье
Веков ее в пустыню превратит,—
Тогда... Тогда... Коль твой потомок дальний
Придет под сень моих развалин тихих,
Чтобы скорбеть о том, чего уж нет,—
Его приму я ласково в объятья,
И вместе с ним на камень я усядусь
И вместе с ним тихонько буду плакать...

— Чье это?

— Минского. «Песни о родине»... А?! Правда, хорошо сукин сын написал? Это самоедство наше постоянное, проклинание жизни, всех условий окружающих,—а сами боимся броситься в борьбу, оглядываем свои раны душевные и, как ордена, гордо выставляем напоказ... «В какой борьбе боролся ты напрасно?»

В соседней с ним комнате жила его землячка, курсистка Бестужевских курсов, Вера Устиновна Дейша. Прекрасный женский лоб, темные стриженые волосы до плеч и огромные синие глаза, серьезные, внимательно вглядывающиеся.

Я не был знаком ни с одной студенткой. И было их в то время вообще очень мало. Прием на Высшие Бестужевские курсы был прекращен «впредь до переработки устава», и только старшие курсы еще продолжали посещать лекции. Попасть в то время на женские курсы стоило больших усилий, напряженной борьбы с родителями и общественным мнением. Про курсисток распространялись мерзейшие сплетни, к поступлению на курсы ставились всевозможные препятствия: от взрослых девушек, например, требовалось согласие родителей и их обязательство содержать дочь в течение всего прохождения курса. Если родители не соглашались отпустить дочь, то единственным средством оставался фиктивный брак, к которому в то время нередко и прибегали девушки, стремившиеся к знанию. Все это вело к тому, что происходил как бы отбор девушек, наиболее энергичных, способных, действительно стремившихся к знанию и к широкой общественной деятельности. Я с жадным любопытством оглядывал на улице, около зда-

ния Высших женских курсов, девические фигуры со стрижеными волосами, с одухотворенными, серьезными лицами. Очень мне хотелось быть знакомым с такими, встречаться с ними, хорошо разговаривать.

Больше всех в этом отношении меня тянула к себе соседка Шлепянова. Раза два-три я заставал ее у Шлепянова, или она входила, когда я был там.

Она очень скоро уходила,— видно, я ей совсем не был интересен. А у меня после встречи была на душе светлая грусть и радость, что на свете есть такие чудесные девушки.

Шлепянов был на это как-то счастлив, у него много было знакомых курсисток, и все с такими славными, хорошими лицами! И отношения Шлепянова с ними были товарищеские, хорошие, без тени той грязнотцы, какую я всегда чувствовал в отношении к женщине у Печерникова. Горько было, что Шлепянов так легко умеет завязывать знакомство с этими девушками. Отчего я не умею? Вечное это — еще с детства, как проклятье на мне,— неумение подходить к нравящимся мне людям и знакомиться с ними. Нужно выработать в себе эту способность, научиться преодолевать застенчивость свою и неразговорчивость!

И вот раз вдруг Шлепянов меня попросил,—не могу ли я занести лекции по зоологии курсистке Постниковой: «Она живет неподалеку от вас, вы ее раз видели у меня. Постничка. Славная дивчина! Будьте добренький».

Конечно, я ее помнил. Живая, румяная, темноволосая, с насмешливыми глазами. Я очень рад был поручению. Решил: зайду и обязательно познакомлюсь. И будут у меня у самого знакомые курсистки.

Зашел. Не вызвал ее в переднюю, а разделся и уже без пальто постучался к ней. Умилительна была девическая чистота в ее комнате, умилительно и для того времени необычно было, что вот я, чужой мужчина, пришел к ней, одинокой девушке, и ничего в этом нет постыдного.

Я сказал тоном товарища, доброго малого:

— Вот, просил Шлепянов занести вам лекции по зоологии.

— Спасибо.

Взглянула и без особого радушия сказала:

— Присядьте.

Совсем она была со мной не такая, как у Шлепянова,—

не живая и не смеющаяся; только в глубине глаз пряталась легкая насмешка.

Я сел. Спросил, на каком она курсе, какие сейчас слушает лекции. Потом заговорил о политике, о...

Она стояла спиною к печке и односложно отвечала.

По опыту я знал, что самое трудное—начало, что редко люди могут разговаривать сразу. И я сидел, говорил, старался ее заинтересовать оригинальными своими мыслями. И вдруг поймал ее безнадежный, скучающий взгляд. И остро пронзила душу мысль: она только об одном думает—когда же я уйду?

Сконфуженно встал. Она поспешно протянула руку Я шел по улице и морщился и мычал от стыда.

П-о-з-н-а-к-о-м-и-л-с-я!

Каждую неделю я жадно хватался за новый номер «Живописного обозрения», искал, не помещены ли, наконец, мои стихи: мне еще весною было отвечено в «почтовом ящике» журнала: «Постараемся воспользоваться, но времени напечатания определить не можем». Стихи все не появлялись. Послал еще несколько стихотворений во «Всемирную иллюстрацию». Ответили: «Одно стихотворение взяли». Опять радость. И опять потянулись недели бесплодного ожидания. Выходили номер за номером и «Живописное обозрение» и «Всемирная иллюстрация»,—моих стихов нет. И вот однажды пишут мне из дома, из Тулы, что одна знакомая Конопацких читала в старом номере журнала «Модный свет» стихотворение В. Викентьева «Раздумье». Не мое ли это? Да, подписался я так. Но стихов с таким заглавием у меня не было. И что за «Модный свет», как могли туда попасть мои стихи? Оказалось,—стихотворение, правда, мое, заглавие ему дала редакция, а в «Модный свет» оно попало потому, что и «Всемирная иллюстрация» и «Модный свет» издавались одною фирмою, Герман Гоппе и К°, и стихи мои из одной редакции были переданы в другую.

Помчался в контору изданий Германа Гоппе, на Большую Садовую. «Модный свет», № 44, от 23 ноября 1885 г. Купил несколько экземпляров. Сейчас же на улице развернул, стал читать и перечитывать. Стихи были о Кате Конопацкой.

РАЗДУМЬЕ

Еще ребенок ты. Твой детский стан так тонок,
И так наивен твой невинный разговор,
Твой голос молодой так серебристо-звонок,
И ясен и лучист задумчивый твой взор.
Тобой нельзя, дитя, не любоваться,
Куда ни явишься, покорно все тебе.
И только я один не в силах отвязаться
От мыслей о твоей, красавица, судьбе.
И мучит все меня один вопрос упорный:
Что в будущем сулит роскошный твой расцвет,—
Сокровища ль живые силы плодотворной,
Иль только пышный пустоцвет?

В. Викентьев

Покрасневшие руки защипал мороз. Опять и опять перечитывал. Вот. Напечатано. У меня в руках. И совсем так же напечатано вот это самое мое стихотворение (мое!) — и в Москве, и в Туле, и в Сибири, и даже, может быть, в Париже. И сколько человек его прочитало! И Катя Конопацкая, может быть, прочтет.

Приехал домой. Откладывал номер, и опять разворачивал, и опять читал и перечитывал.

Раз как-то говорит Нарыжный-Приходько:

— Эх, добре бы выпить! Соберем, Викентий, компанию, кутнем! Поговорим, попоем, все такое.

Мне предложение понравилось: «студенческая попойка». Я никогда еще в таких попойках не участвовал. Это было что-то лихое и настояще-студенческое.

Предложил для пирушки свою квартиру. Мы с братом Мишей все еще жили у переплетчика Караса, но уже на третьей, кажется, квартире: он постоянно менял квартиры и перетаскивал нас с собою. Сложились, купили четверть водки, колбасы, сыру, килек. Пригласил я и Шлепянова,— думал, всякий согласится с удовольствием. Шлепянов спросил, кто будет, поморщился. Однако сказал: «Приду».

В восьмом часу стали сходиться. Очень скоро взялись за водку. Рюмку выпили, другую, третью. Стали петь. Пришел Шлепянов. Выпил рюмку водки, больше пить не стал. Попробовал на моей скрипке аккомпанировать нашему пению, но было оно очень нестройно; он махнул рукою и положил скрипку обратно в футляр. Минут через десять встал, сказал, что у него билет на концерт.

Я пошел его проводить. На площадке лестницы — жили мы на шестом этаже—вдруг мы нечаянно разговорились. Я обыкновенно страшно всех стеснялся, поэтому всегда казался, должно быть, гораздо серее, чем был взаправду. А тут вино смыло обычную мою стесненность. Мы много и хорошо говорили,—о поэзии, о душевных своих переживаниях, о путях жизни. Он со смеющимся удивлением слушал меня:

— Голубчик! Дорогой мой! То есть вы понимаете? Я совсем до сих пор не знал, что вы такой интересный!

Стал ему читать свои стихи. Он весело слушал, кивал головою.

— Добре, добре! Ну, еще!

Одно стихотворение привело его в восторг. Не помню его, но помню, что и мне оно тогда очень нравилось. Оно было полно самобичеваний. Помню два стиха:

И падал я опять с позорным обещаньем,
Что падаю теперь уже в последний раз...

— Ей-богу же, хорошо! Сукин вы сын этакий! Картошка моя жареная!— Он щурился, и смеялся, и потрясал руками, и обнимал меня.— Вот что, голубчик. В пользу нашего черниговского землячества скоро выходит сборник,— дайте туда вот эти ваши стихи... Добре, ей же богу, добре! Мне кажется, вы будете писать. Главное, что хорошо,—вы искренни. Чувствуется,— вы пишете то, что вправду переживаете.

Долго еще мы с ним говорили на площадке. Он ушел. Радостно-взволнованный, я воротился к себе в комнату. Меня встретили негодующим ревом:

— Где пропадал?!

Никаких моих оправданий не стали слушать. Все были уже сильно пьяны.

— Догоняй нас!

И заставили подряд выпить, не помню,—сколько рюмок водки.

Нестройно орали украинские и студенческие песни, пили друг с другом брудершафт, объяснялись в любви, обнимались и целовались. Я крепко целовался с высоким, очень худым студентом-однокурсником по прозванию Ходóс и говорил ему:

— Сашка! Я давно уже тебя люблю, только стеснялся сказать. Вижу, идешь ты по коридору, даже не смотришь

на меня... Господи! — думаю.— За что? Уж я ли к нему... Друг мой дорогой!

И с удивлением слушал самого себя. Говорят,—что у трезвого на уме, то у пьяного на языке; неужели я, правда, так люблю этого длинного дурака? Как же я этого раньше сам не замечал? А в душе все время было торжествование и радость от того, что мне сказал Шлепянов.

Кому становилось дурно, те уходили в кухню. Студент-естественник Тур, приземистый и широкоплечий, обливал под водопроводным краном курчавую голову. Я в позе победителя стоял над ним и говорил:

— Я—великий писатель. А ты кто такой?

Тур сокрушенно мотал головою и умоляюще возражал:

— Смидович! Нет, ты послушай!.. Г-господи, да неужели же я...

— Нет, погоди! Я—великий писатель, это уже факт! А скажи мне, пожалуйста,—кто такое ты? Кто ты такой?

Мишина комната была рядом с кухней, в нашей пирушке брат не участвовал. Он слушал мои похвальбы и покатывался от хохота.

Ох, какая все была гадость! И теперь еще вспоминаю с омерзением. Этот самый Сашка, которого, как неожиданно оказалось, я так горячо и давно люблю, допился до полного бесчувствия. Он лежал на моей кровати, бледный, покрытый липким потом, скрипел зубами и стонал. Мы с Приходько сбегали в аптеку, принесли нашатырного спирту. Дали Сашке нюхать. Он дернул головою и протяжно застонал:

— Ой-ой-ой-ой! Дайте мне... дайте мне...

И каждый раз, когда ему подносили нашатырный спирт, он опять вздрагивал и опять:

— Ой-ой-ой-ой! Дайте мне... дайте мне...

И замолкал, как мертвый. Нарыжный-Приходько сидел на стуле возле кровати и непрерывно хохотал пьяным смехом.

Поздно все разошлись. Сашка остался спать на моей постели. Я спал у Миши. Утром встал. Голова болит, тошнит, скверно. Весь пол моей комнаты—липкий от рвоты и пролитой водки, рвота на одеяле и подушке, разбитая четверть в углу, на тарелках склизкие головки и коричневые внутренности килек...

Был декабрь месяц, мы с братом собирались ехать на святки домой. Однажды в студенческой читальне просматриваю газету «Неделя». И вдруг в конце, в ответах редакции, читаю: «Петербург, Васильевский остров. В. В. С-вичу. Просим зайти в редакцию». Это — мне. Месяц назад я послал туда небольшой рассказ из детской жизни под заглавием «Мерзкий мальчишка».

«Неделя» была еженедельная общественно-политическая газета, и при ней ежемесячно — книжка беллетристики. Газета была очень распространена, особенно в провинции. Редактором ее был Павел Александрович Гайдебуров. Он очень внимательно относился к начинающим авторам, вывел в литературу целый ряд молодых писателей.

Тотчас же помчался в редакцию. Гайдебуров, с каштановою бородою и высоким лысым лбом, встретил меня приветливо и сказал:

— Рассказ написан очень хорошо, я бы его охотно поместил, но он слишком мал, не подходит к нашим книжкам по размерам. Не могли ли бы вы написать еще два небольших рассказа, тоже из детской жизни,—тогда все три рассказа пошли бы вместе.

— Хорошо. Напишу.

Приехал в Тулу. Конечно, всем рассказал. Как будто и походка и манера говорить стали у меня другие. Засел за заказанные рассказы. Теперь я, можно сказать, уж как бы писатель, пишу по просьбе редакции. Конец колебаниям, сомнениям, неуверенности. Бери тему и пиши. Придумал темы и засел за писание. Без прежних мучений и раздумываний. Написал в неделю оба рассказа, упаковал и отправил в редакцию. Недели через три, уже по возвращении в Петербург, в ответах редакции прочел: рассказы плохи и напечатаны быть не могут...

Часто молодые писатели говорят: «Мне бы хоть раз напечататься, чтобы вера появилась в себя». Скажу о себе. Я не самоуверен, скорее наоборот, страдаю излишней неуверенностью в себе. Но в начале моей литературной деятельности каждая напечатанная вещь неизменно понижала мою требовательность к себе, я начинал относиться к себе снисходительнее и почтительнее. И только немедленно следовавший за этим жестокий щелчок сбивал самодовольство, приводил в себя, заставлял опять повысить требование к себе, опять мучиться, отчаиваться, переде-

лывать написанное снова и снова. И только постепенно, именно благодаря этим щелчкам, выработалась привычка строго относиться к себе и отдавать вещь в печать лишь тогда, когда можешь сказать: «Я бы лучше написать не мог».

Конопацкие купили новый огромный дом на углу Калужской улицы и Красноглазовского переулка, и в дом этот перевели свою школу и пансион. Дело их расширялось и крепло. Помню во втором этаже маленькую первую гостиную, потом вторую, побольше, за нею—огромный зал с блестящим паркетом.

Я на святках был у Конопацких. Меня туда как будто тянуло по-прежнему, мне все там представлялось красивым и поэтическим. Но когда пришел—чувствовалась глубокая натянутость, разговора интересного не завязывалось, и не было ощущения, как прежде, что вот—что-то неожиданно придет и уничтожит напряжение, и станет легко, просто и хорошо. С Любою уже не чувствовалось ничего общего, часто отталкивало то, что она говорила. Она, например, созналась, что ей очень скучно читать Некрасова и Никитина, потому что там рассказывается о всяких страданиях, а ей это совсем неинтересно. Катя была уже вполне сформировавшаяся девушка, она мучила душу своею необыкновенною красотою, к ней тянуло по-новому, но общего тоже не чувствовалось. И когда ушел от них, я морщился и кусал губы, и совсем не было того опьянения восторга, с каким я когда-то уходил от них.

Был и на балу у них. Это был уже настоящий бал, и зал был под стать. Кавалеры в большинстве были новые, мне незнакомые. Осталось в памяти: блеск паркета, сверкающие белые стены, изящные девичьи лица—и какой-то холод, холод, и отчужденность, и одиночество. Исчезла всегдашняя при Конопацких легкость в обращении и разговорах. Я хмурился, не умел развернуться и стать разговорчивым, больше сидел в курительной комнате и курил. Люба сказала мне своим задушевным голосом:

— Как мне больно! Я вижу, вам у нас так скучно!

Изредка мы с братом бывали у Вильмсов, в квартире их внутри Петропавловской крепости. Была у них единст-

венная дочь Зиночка, болезненная, истерически говорливая, очень образованная. Отец ее обожал.

Однажды сидели мы в гостиной у Зиночки. У Зиночки была отдельная своя гостиная, с низенькими диванчиками и креслами, с огромным великолепным зеркалом в раме из карельской березы. Сидела у нее еще ее подруга, курсистка Вера Богдановская, впоследствии известный химик.

Вошел Гаврила Иванович в халате, с ярко-оранжевою книжкою «Вестника Европы» в руках.

— Ну-ка, господа! Какой художественный образ в литературе нашего столетия соответствует образу Дон-Кихота?

Никто не смог ответить.

— Ну, подумайте... Мистер Пиквик, конечно!

И Гаврила Иванович заговорил о статье профессора Стороженко «Философия Дон-Кихота», помещенной в последней книжке «Вестника Европы». Зиночка и Вера Богдановская согласились насчет сходства мистера Пиквика с Дон-Кихотом. Я никогда об этом не думал, Дон-Кихота понимал по Тургеневу, но тут как-то сразу душа восстала против такого сопоставления. Мистер Пиквик— чудесная, благородная душа, органически и совершенно непроизвольно проявляющая себя во всех своих действиях. А Дон-Кихот — весь от книги, у него нет ни одного поступка, свободно идущего из души, он все время поглядывает на себя со стороны и следит, чтобы в точности походить на вычитанных им из книг странствующих рыцарей.

Стал спорить с Гаврилой Ивановичем. В процессе спора моя мысль стала мне самому более ясной, и я в ней утвердился прочнее.

Пришел домой. Захотелось перечитать «Дон-Кихота» с новой, так неожиданно появившейся у меня точки зрения. Когда прочитал, окончательно убедился в правильности моего взгляда. Захотелось изложить его на бумаге. Написал целую статью.

Основные мысли были такие. Тургенев смотрит на Дон-Кихота как на восторженного идеалиста и энтузиаста, самоотверженного служителя великой идеи, за которую он готов отдать все. Взгляд такой в корне неверен. Дон-Кихот—тип отрицательный. Он все делает из подражания, все идеи его—наносные, вычитанные из книг, весь

он полон самообожания и самолюбования. На грани новой истории стоят зловещие образы двух «интеллигентов»—Гамлета и Дон-Кихота, знаменующие наступление эпохи полного разрыва между мыслью и чувством, эпохи исчезновения всякого непосредственного душевного движения.

Я был очень доволен своею статьею. Собрал к себе товарищей и прочел. Много спорили. Был, между прочим, и Печерников. На следующий день он мне сказал в университете, что передал содержание моего реферата своему сожителю по комнате, студенту-леснику Кузнецову,—тот на него напал так, что не дал спать до трех часов ночи.

— Уж я ему: да я тут ни при чем, это все Смидович. За что ж ты на меня так? Ничего слушать не хочет, пушит во все корки.

Печерников предложил устроить еще раз это же чтение на квартире у них. Здесь состав слушателей оказался интереснее, чем у меня, споры — ярче и углубленнее. И возникла мысль:

— Господа! Давайте начнем собираться систематически, устроим кружок.

Все эту мысль одобрили. А я был в восторге. Наконец-то будет то, без чего студенческой жизни и представить невозможно, без чего позорно студенту: «студенческий кружок». В спорах будут вырабатываться взгляды, оттачиваться мысль, приобретаться навык говорить и спорить. Сговорились делать так: один из членов кружка пишет реферат, передает его для предварительного ознакомления другому члену кружка, и этот выступает первым, так сказать, «официальным оппонентом», а за ним уже и другие.

Печерников предложил к следующему собранию кружка написать реферат на тему: «Что такое разврат?» Я вызвался быть официальным оппонентом.

Очень скоро, дня через два, Печерников передал мне написанный реферат. Я прочел и изумился: говорил Печерников так хорошо, а тут все было так серо, так банально! Слог вычурный и претенциозный, встречались выражения вроде: «поступательный прогресс». Основная мысль была очень благородная и прогрессивная: истинная любовь возможна только при общности миросозерцаний и идеалов, любящие прежде всего должны видеть друг в друге товарища и соратника, а лишь потом, во

вторую очередь,—женщину или мужчину. Если таких отношений нет, то будет не любовь, а разврат. И большинство современных наизаконнейших браков представляет собою неприкрытый разврат.

Я стал думать над поставленным вопросом, выяснять к нему свое собственное отношение. Конечно, нужно прежде всего смотреть на все совершенно рационально, чтобы всему были свои разумные основания. Каков основной критерий хорошего или дурного действия? Вполне ясно: что̀ общественно-полезно—то хорошо, что̀ общественно-вредно—то дурно. Что̀ общественно-безразлично—то касается только самого человека и никак не должно вызывать к себе осуждения. При таком критерии,—а он бесспорен,—почти вся область половых отношений самих по себе совершенно выходит из сферы морали. Пусть люди сходятся хотя бы и для голого физиологического удовлетворения, без всякой общности идеалов и миросозерцаний. Кому до этого дело? Вреда никому нет. Кому какой вред, что проститутка продает свое тело? Это дело ее. В настоящее время личность ее терпит великое унижение именно потому, что и она сама и все, кто ею пользуется, смотрят на ее дело, как на что-то позорное. Как в средние века позорным считалось дело врача или актера. Если проститутка будет уважать свой труд, то никакого унижения личности не будет. Соня Мармеладова была вполне права, когда продалась, чтобы спасти свою семью. Чрезмерное пользование беспорядочными половыми сношениями,—да, оно ведет к разрушению личности, оно, конечно, *неблагоразумно*,—но и только. А вовсе не разврат. Совсем столь же неблагоразумно курить, ложиться спать в шесть часов утра, не пользоваться чистым воздухом и подобное. Что же такое разврат? Разврат только то, когда мы пользуемся женщиною путем непосредственного физического или экономического принуждения. Все же остальное вполне допустимо с моральной точки. И для женщины нет ничего позорного продавать свое тело, как она продает свой труд.

Собрались. Печерников прочел свой реферат. Я стал возражать. Моя точка зрения всех возмутила. Но у Печерникова почему-то глаза весело горели. Дальше я перешел к форме его реферата, отметил гимназически-напыщенные обороты и спросил:

— Скажи, пожалуйста, что такое — «поступательный

прогресс»? Разве бывает поступательный регресс или отступательный прогресс?

Печерников, прикусив губу, пристально глядел на меня поверх черных очков. Когда кончили возражать другие и слово было предоставлено ему, он бурно обрушился на меня. Говорил об «офицерски-обывательском» взгляде на женщину, о стремлении моем санкционировать самое гнусное отношение к женщине, о старании морально оправдать право мужчины покупать тело женщины, доведенной голодом до этой необходимости.

Я сцепился с ним, возражал, выяснял свою мысль. Но Печерников ловко переиначивал мои слова, чуть-чуть сдвигал мои возражения в другую плоскость и победительно опровергал их, а я не умел уследить, где он мои мысли передвинул. Сплошная была софистика, но я был против нее бессилен. А Печерников не хотел знать пощады. Припёрев меня своими возражениями к стене, он говорил:

— Но раз ты ничего больше не имеешь возразить, то ты не имеешь права продолжать настаивать на своих взглядах, ты обязан честно и прямо от них отказаться. Ведь мы тут занимаемся не словесным фехтованием, а ищем истину!

Он защищал взгляды, которые разделялись и всеми другими, поэтому и всем другим казалось, что я разбит по существу и только из самолюбия продолжаю настаивать на своем. Когда мы расходились, у меня было напряженно-улыбающееся, развязное лицо, а другие неохотно отвечали на мои вопросы, как будто делали мне снисхождение. Очень было тяжело на душе и бессильно. Меня не убедили возражения Печерникова, мой взгляд казался мне более «рациональным», и я не мог признать себя бесчестным, что не отказался от своих мнений.

Назавтра в университетском буфете пил чай. Подошел Печерников. Мое лицо стало напряженным. Он приветливо пожал мне руку, сел рядом, хорошо заговорил о газетных новостях. Потом с лукавой усмешкой поглядел на меня поверх черных очков.

— Что, брат, попало тебе вчера от меня? Поделом. Това-арищ называешься! Придрался к описке и высмеял перед всеми. Нет, брат, на мне обожжешься! Голыми руками за меня не берись... А по существу дела я вчера гораздо больше был согласен с тобою, чем с собой.

— Как?!

— Черт ее, очень мы миндальничаем в этом вопросе. Истинно великие люди нисколько тут не стеснялись и совсем не связывали себя всякими общностями идеалов и миросозерцаний. Просто жили вовсю и брали женщин, какие нравились. Юлий Цезарь, Наполеон, Гарибальди, Лассаль. Если б ты меня не разозлил, я бы сдал тебе большинство своих позиций.

Я грустно сказал:

— А сам же ты вчера говорил, что мы занимаемся не словесным фехтованием, а ищем истину.

Он умиленно пожал сверху лежавшую на столе мою руку.

— Верно. Свинья, брат, я!

На следующем собрании был поднят вопрос, не ввести ли в кружок курсисток. Я этому очень обрадовался. Я все еще не был знаком ни с одной курсисткой, а курсистка мне представлялась идеалом женщины. Как будет хорошо, когда девушки будут участвовать в наших спорах, когда опять, наконец, очутишься в женском обществе! Но Печерников решительно выступил против:

— Ну их к черту, бабье! С ними кружок приобретет совсем другой характер. Между собою мы спорим, чтобы найти истину, а если они будут слушать, каждый станет стараться блистать, во что бы то ни стало оставаться победителем. А сами они что скажут умного?

Большинство с этим согласилось. Я не решался очень настаивать: уж конечно, если Печерников захочет блистать, то я постоянно буду попадать в то положение, в каком очутился на его реферате.

Кружок наш расширялся. Очень скоро с литературных и моральных тем мы перешли на темы общественные,— они больше всего занимали всех. И меня эти темы начинали захватывать все сильнее. Я усердно читал Михайловского, В. В. (Воронцова), Глеба Успенского, Златовратского, книги о русской общине, об артелях, о сектантстве. «Отечественные записки», орган революционного народничества, выходившие под редакцией Салтыкова-Щедрина, были уже в 1884 году закрыты. Этого журнала в библиотеках не выдавали. Но в нашей университетской студенче-

ской библиотеке его можно было получить, и я просматривал его год за годом. Выходил журнал «Северный вестник», в нем писали бывшие сотрудники «Отечественных записок» и сам Михайловский. Цензура жестоко теснила журнал, но, должно быть, уже намечался и в самом народническом течении некоторый идейный распад. Журнал был много бледнее «Отечественных записок». Однако мы усердно читали его, особенно статьи об общине и рационалистических сектах в народе — штундистах, духоборах и т. п.

В нашем кружке студент-лесник Кузнецов прочел реферат: «Что такое народничество?» Кузнецов раньше был офицером, ему, рассказывали, предстояла хорошая карьера, но он вышел в отставку и поступил в Лесной институт, очень нуждался и учился. В реферате своем он говорил о великом стремлении мужицкой души жить «по правде», «по-хорошему», о глубокой революционности мужика, о блестящих возможностях, которые заложены в общине, в артели, в кооперации, в сектантстве. Через них можно бы было, минуя капиталистическую стадию, перейти прямо к социалистическому строю. А правительство всячески душит эти глубоко народные формы коллективизма, теряет возможности, которые никогда уже больше не смогут повториться, и насаждает у нас капитализм, грозящий ввергнуть Россию в те же бедствия пауперизма, от каких погибает Западная Европа.

Вскипели ярые споры. Мужицкая правда?! Но какая ей цена, если она совершенно не сознательна? Какая цена всему этому прекрасному мужицкому укладу, если он существует, говоря выражением Глеба Успенского, «без своей воли»? Изменились условия, попал мужик на фабрику, ушел из-под «власти земли»,—и происходит полное разложение его душевного уклада, и человека целиком захватывает городская «пинжачная» цивилизация с ее трактиром, гармоникой и сифилисом. Что делать, чтоб спасти и сохранить народную душу во всей ее благородной чистоте? Потом: идет на страну черная сила капитализма, грозит сломать все наши устои, все надежды на светлое будущее,— что и тут делать? Что делать? Как отогнать идущую на нас грозовую тучу?

После дебатов сложились, послали за водкой, колбасой и сыром. Пили. Пели студенческие песни: «Есть на Волге утес», «Дубинушку», «Парадный подъезд».

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал...

Вел песню хорошим тенором студент-естественник Воскобойников, с голодным лицом, в коричневой блузе. Голос его хватал за душу. В голове кружилось, накипали горькие покаянные слезы. Печерников слушал, бледный, поникнув головой; он был без слуха и не пел.

Когда перестали петь, он заговорил:

— Господа! Вот мы сидим, умные речи говорим, поем хорошие песни... А где же дело? Неужели этим только и ограничиваться? Мы говорим, чувствительные песни поем,—а в душе идеалов никаких, постоянные компромиссы с совестью, миримся со всеми подлостями, что видим кругом... А народ гибнет! Неужели можно так жить? Обсуждаем положение народа,—и бичуем, бичуем себя без конца, посыпаем пеплом головы. Ведь подлость это, други мои милые! Не лучше ли, не благороднее ли молчать, просто пить водку и не трепать слова «народ»?

Я слушал, и душа горела. А Воскобойников насмешливо ответил:

— Конечно, лучше.

Он был гимназический товарищ Печерникова; все время он слушал его, пряча в губах усмешку. Меня эта усмешка смущала и раздражала: неужели можно относиться насмешливо к тому, что говорил Печерников?

Печерников опустил голову.

— Верно! Молчать, молчать—самое лучшее. Эх! Брошу все, уеду в деревню к Глебу Успенскому или Толстому, наймусь в работники: хоть здоровая жизнь будет... Тяжко в душе у меня! Так тяжко!

Воскобойников слабо зевнул и предложил опять петь. И начали петь. А Печерников смущенно опустил голову и замолчал. Я подсел к нему, крепко пожал руку.

Водка была тут в первый и последний раз. Мы постановили больше ее на собраниях кружка не пить.

Заседания кружка становились все интереснее. Мы условились с некоторыми другими кружками обмениваться докладами. Входили новые люди, начитанные и серьезные, темы докладов и прения по ним становились глубже и содержательнее. Раза два был тот длинноволосый студент с черной бородой, который мне внушил такое почте-

ние, когда он расхаживал по Публичной библиотеке среди каталогов и «мыслил». Говорил он очень умно и всех поразил большим знакомством с вопросами русского раскола и сектантства. Печерников все больше как-то тускнел и летчал, говорил меньше и сдержаннее.

Профессором русской истории числился у нас К. Н. Бестужев-Рюмин, солидный ученый, придерживавшийся консервативно-славянофильского направления. Но он тяжело хворал и в университете совсем не показывался. Читали русскую историю два приват-доцента—Е. Е. Замысловский и В. И. Семевский.

Замысловский был седой старичок чиновничьего вида, с небольшой головкой; когда он читал лекцию, брови его то всползали высоко на лоб, то спускались на самые глаза. Был он глубоко бездарен, единственным его известным трудом являлась работа справочного характера—учебный атлас по русской истории. На лекциях его сидело всего по пять-шесть человек.

Под лекции другого приват-доцента, В. И. Семевского, пришлось отвести самую обширную из всех университетских аудиторий — седьмую, менделеевскую. И она с трудом вмещала всех, желавших послушать Семевского. Его лекции посещали и юристы, и естественники, и математики. Василий Иванович Семевский был младший брат издателя-редактора «Русской старины»,— Михаила Ивановича Семевского. Михаил Иванович держался чрезвычайно лойяльно по отношению к власти, и журнал его пользовался полнейшими симпатиями в высших сферах. Василий же Иванович был по убеждениям революционер-народник, предметом его исторических исследований были крестьянство и крестьянский вопрос. Известны его капитальные труды: «Крестьяне при Екатерине II», «Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX века». У нас в университете он читал историю России XVIII века,— читал, конечно, далеко не в официальном духе. В реакционных органах печати—в «Московских ведомостях», в «Гражданине»—печатались на Семевского непрерывные доносы за его лекции в университете. Бестужев-Рюмин заявлял, что, пока жив, ни за что не допустит, чтоб его кафедру занял этот развратитель молодежи.

Однажды мы ждали Семевского в битком, как всегда, набитой седьмой аудитории. Вошел Семевский с целым

сонмом всяческого начальства. Был тут попечитель нашего округа Новиков, генерал в серебряных эполетах, товарищ министра народного просвещения кн. М. С. Волконский, высокий, с узким лицом и редкой черной бородой, в каком-то гражданском темно-лиловом мундире с золотым шитьем. На нем с особенным недоброжелательством останавливались все взгляды: был он сын декабриста Волконского, сын Марии Волконской, воспетой Некрасовым,—и занимал теперь пост помощника душителя свободной науки. Были тут еще какие-то чиновники из министерства народного просвещения, был и благодушный, все и всех старающийся примирить, ректор наш Андреевский. Вошедшие разместились на первой скамейке, а Василий Иванович взошел на кафедру и приступил к чтению очередной лекции.

Крутой, очень высокий лоб, редкая бородка, поношенный сюртук. Сейчас обидно и больно было за него,—он не мог побороть волнения и начал лекцию задыхающимся, срывающимся голосом. Однако содержания лекции нисколько не смягчил против обычного. Рассказывал он, как грозный начальник екатерининской «тайной экспедиции» Шешковский допрашивал молодых студентов, арестованных в связи с делом Н. И. Новикова, как сказал им: «Матушка-императрица приказала бить вас поленом, если вы во всем не сознаетесь». (Хохот аудитории). И как студент Лопухин ответил: «Не верю я, чтоб рука, подписавшая «Наказ», могла подписать такое повеление!» (Хохот и рукоплескания). Генерал Новиков (может быть, тоже потомок Н. И. Новикова?) сидел прямо, внимательно слушал и загадочно глядел на лектора.

Вскоре лекции Семевского прекратились. Мы узнали, что он уволен из университета. Кафедру русской истории занял Е. Е. Замысловский.

Хорошо одетый, очень невысокий и худой молодой человек, с узким бледным лицом и странно-густою окладистою каштановою бородкою; черные колючие глаза; длинными, неврастеническими пальцами постоянно подкручивает усы. Был он курсом старше меня, тоже на филологическом факультете. Знаком я с ним не был. На него все потихоньку указывали: уже известный поэт, печатается в лучших журналах. Дмитрий Мережковский. Я и сам читал в журналах его стихи. Нравились.

Я плачу потому, что некому молиться,
Когда молитвою душа моя полна.

В буфете я старался сесть поближе к месту, где он пил чай, притворялся, что читаю книгу, и с тайною враждою и завистью слушал, как он говорил о Плещееве, Надсоне и даже самом Михайловском как о личных знакомых. Вместо «л» он выговаривал «у», и звучало «Михайуовский». С ним всегда был другой студент, его однокурсник: высокого роста, узкогрудый, весь какой-то вихлястый; был он мне ужасно неприятен; глаза смотрели сквозь пенсне высокомерно и нахально. Сидел развалившись, широко облокачиваясь на стол, и когда был один, всегда читал книгу. Говорили, что он очень умен и талантлив, что профессор Кареев оставляет его при университете. Евгений Соловьев. Впоследствии он был известным критиком. В то время он писал в либеральной газете «Новости» фельетоны за подписью «Скриба».

Мережковский был первый писатель, которого я видел вблизи. И видел: такой же он, как большинство, даже неказистее. Если он может,—то почему я не могу? Я шел домой по Среднему проспекту и старался сочинить стихи, чтоб были не хуже стихов Мережковского.

И лились так вольно радостные слезы,
Таким светлым взором будущность я мерил,—
Будто злой насмешкой не были те грезы,
Будто бы в то счастье я и вправду верил.

Чем хуже? Да, да, нисколько не хуже!

Раз я шел по улице и увидел: Мережковский стоит у витрины фотографа и рассматривает выставленные карточки. Вот бы и мне стать знаменитым. Как самый обыкновенный человек, скромно стоять у витрины и рассматривать фотографии, а на тебя издали почтительными глазами будут смотреть люди.

Был такой миллионер-железнодорожник—фон Дервиз. Кажется, он тогда уже умер, и вдова, в его память, открыла на Васильевском острове несколько дешевых студенческих столовых. Цель была благотворительная: дать здоровый и недорогой стол студенческой молодежи, отравлявшейся в частных кухмистерских. Но очень скоро случилось, что поставленные во главе столовых отставные

обер-офицеры и благородные чиновничьи вдовы стали воровать, и столовки фон Дервиза приняли характер обычных дрянных кухмистерских.

Однако первое время в них кормили хорошо, было в них чисто, уютно. Кушанья подавали чисто одетые девушки; одну неделю все они были в розовых ситцевых платьях, другую—в голубых. С белыми фартучками. Мне очень понравилась одна: русая головка, удивительно чистое, невинное лицо с большими синими глазами. Такою мне представлялась Гретхен в гетевском «Фаусте». Я стал всегда садиться за ее стол. С каждым днем она мне нравилась все больше. И меня радовало,—ко мне она подходила скорее, чем к другим, и уже особенным голосом, как знакомого, спрашивала, что мне подать,— борщ или суп. В университете на лекциях я с радостью думал, что вот через два часа увижу ее. Душа жадно просила любви, женской улыбки, светлых грез. Умилительно было смотреть на девически-чистый лоб девушки и детски-ясные глаза.

Однажды был у меня днем Печерников. Пошли вместе пообедать в кухмистерскую. Я ему с восторгом рассказал, какая там есть прелестная Гретхен, с какою милою девическою фигурою.

У него засмеялись глаза за темными очками.

— Поглядим!

Сели за стол моей Гретхен. Печерников с изумлением спросил:

— Вот эта?

— Да.

Под усами его пробежала мефистофельская улыбка. Он замолчал.

Когда мы вышли, Печерников взял меня под руку и с чуть заметною улыбкою спросил:

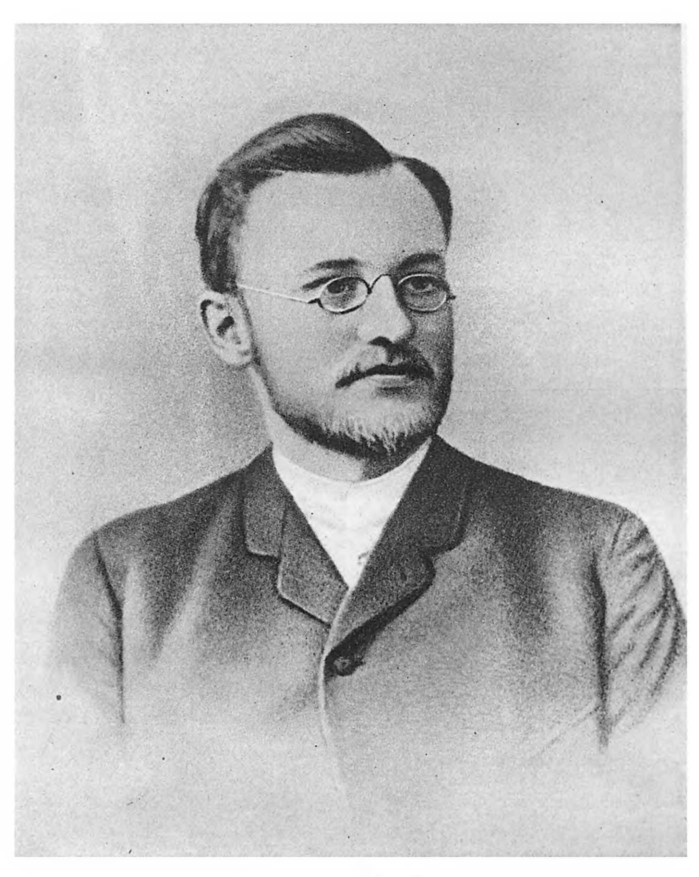
— Хочешь пари, что самое долгое через месяц я эту самую твою Гретхен...

В циническом слове он выразил то, что собирался с нею сделать. Я с омерзением отстранился и холодно сказал:

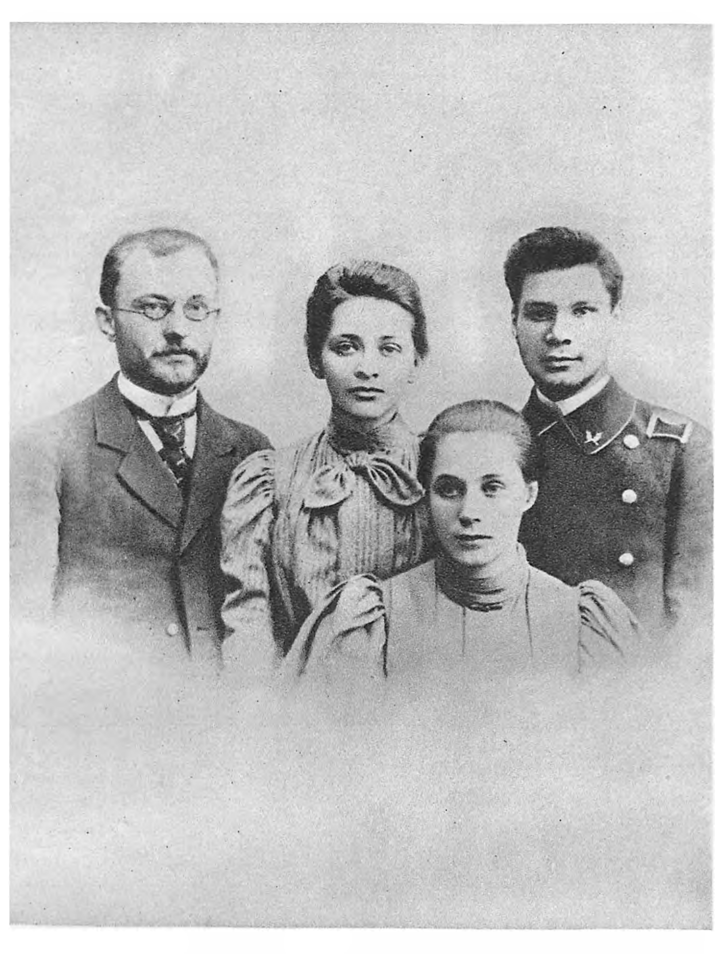
— Я бы просил тебя таких экспериментов не делать, хотя и убежден, что ничего ты у нее не добьешься.

Он улыбнулся про себя и перешел разговором на другое.

В начале мая Печерников встретил меня в университете и спросил:



В. ВЕРЕСАЕВ.
1894 год.



Слева направо: В. ВЕРЕСАЕВ, троюродная сестра писателя ИННА ГЕРМОГЕНОВНА СМИДОВИЧ (героиня рассказа «Два побега» и один из прототипов Наташи в «Поветрии» и повести «Без дороги»), жена МАРИЯ ГЕРМОГЕНОВНА (один из прототипов Наташи в «Поветрии» и повести «Без дороги») и троюродный брат НИКОЛАЙ ГЕРМОГЕНОВИЧ СМИДОВИЧ. 1897 год.

(Публикуется впервые.)

— Свободен ты сегодня вечером часов в десять?

— Свободен.

— Обязательно приходи на бульвар, на Среднем проспекте, между Пятой и Шестой линиями. Ровно в десять.

— Зачем?

— Увидишь.

— Что за таинственность такая?

— Приходи, узнаешь. Буду ждать.

Пошел к десяти. Было слякотно и холодно, черные тучи на болезненно-бледном небе; несмотря на ветер, стоял легкий туман. Бульвар был безлюден. Только на крайней скамеечке сидела парочка, тесно друг к другу прижавшись; рука мужчины была под кофточкой девушки, на ее груди. Я отшатнулся. В девушке я узнал мою Гретхен. Печерников, крепко ее прижимая к себе, смотрел на меня хохочущими глазами.

Долго в эту ночь я не приходил домой. Зашел куда-то далеко по набережной Невы, за Горный институт. По Неве бежали в темноте белогривые волны, с моря порывами дул влажный ветер и выл в воздухе. Рыданья подступали к горлу. И в голове пелось из «Фауста»:

Плачь, Маргарита! Плачь, дорогая!..

Среднюю историю читал у нас профессор В. Г Васильевский,—невысокого роста, с курчавой головой и черной, вьющейся бородкой, с тайно-насмешливыми глазами. Васильевский был европейски известный византинист. Читал он с внешней стороны очень неблестяще—монотонно, сухо, и слушателей у него было всего пятнадцать—двадцать человек. Но внутреннее достоинство его лекций было исключительное. Он не рисовал широких картин эпохи, как это делал, например, читавший у нас новую историю профессор Н. И. Кареев. Основательно, методически, кропотливо, как будто без всякой общей идеи, он шаг за шагом разбирал перед нами какую-нибудь Салическую правду,—а в результате перед слушателями ярко вырисовывался весь быт и весь уклад жизни франков. И факты умел он подносить так, что слушатель имел возможность видеть все стороны излагаемого события или явления, он не зависел рабски от обобщений лектора и часто имел возможность, на основании изложенных фактов, самостоятельно прийти к выводам, прямо противополож-

ным, чем выводы лектора. Такой способ чтения представляется мне самым лучшим там, где главная цель—приучить людей к самостоятельной научной работе.

Мне очень нравились лекции Васильевского, я чувствовал, как они воспитывают и дисциплинируют ум. Аккуратно посещал лекции и записывал за профессором. Иногда после лекции подходил к нему, и он собственноручно вписывал мне в тетрадь не расслышанное мною собственное имя или специальный какой-нибудь термин. Я решил специализироваться по средней истории и кандидатскую работу писать у Васильевского. Но щелчок по самолюбию, о котором теперь смешно вспоминать, но который тогда воспринят был мною очень болезненно, отвел меня от Васильевского и лишил меня случая сделать научную работу под руководством крупного ученого.

Сдавали весною экзамен по средней истории. Требовалось знать прочитанный Васильевским курс (развитие общественно-экономических отношений в первые века средней истории); это—по билетам. Кроме того, по учебнику Шульгина требовалось знать фактическую историю и хронологию средних веков. Я подготовился хорошо, на экзамен шел уверенно. Экзаменовал Васильевский, ассистентом был Кареев. Васильевский спросил:

— Вы по какому предмету собираетесь специализироваться?

— По средней истории.

Ответил по вынутому билету о римском колонате. Потом, почти уже только для проформы, Васильевский спросил:

— В каком веке происходил первый крестовый поход?

Я, не задумываясь, сказал:

— В тринадцатом веке.

Васильевский и Кареев ахнули. Васильевский стал осторожно наводить меня, но у меня прочно засела в мозгу одна ложная ассоциация, что первый крестовый поход совпадал с альбигойскими войнами, и я возразил:

— Он же был в одном веке с альбигойскими войнами, а они происходили в тринадцатом веке.

Оба профессора вторично ахнули. Васильевский сказал увещевающим голосом:

— Ну, подумайте! Ведь первые крестовые походы происходили в эпоху самого расцвета папского могущества, а альбигойские войны свидетельствуют уже об упадке его.

Поглядел на меня с выступившей наружу насмешкой и протянул:

«Спе-ци-а-лист по сред-ней ис-то-ри-и»... Ну, довольно.

По окончании экзамена секретарь факультета выходил к ожидавшим студентам и оглашал полученные ими на экзамене отметки. Отметки интересовали более или менее всех, потому что окончившие с хорошими отметками получали «ученую степень» кандидата (по представлении кандидатской диссертации), а окончившие с посредственными—«звание» действительного студента.

Вышел секретарь В. К. Эрнштедт, прочел отметки: «Смидович — пять». Высшая отметка. Как будто кто мне залепил пощечину. За что пять? За то, что я посещал его лекции, терся у него на глазах, просил его писать себе в тетрадку? Позор, позор! Весь день я пробродил, не евши, по городу, зашел на взморье в конце какого-то из островов... Не пойти ли к Васильевскому? Потребовать, чтобы он поставил мне тройку, сказать, что я пятерку его воспринимаю как оскорбление. Вставало его сдержанно усмехающееся лицо... «С-п-е-ц-и-а-л-и-с-т п-о с-р-е-д-н-е-й и-с-т-о-р-и-и...» Ах, ччерт!

Я отказался от намерения работать у Васильевского. Стыдно было подумать даже попасться ему на глаза.

Совсем схожая история произошла и с одним из моих товарищей, Скрутковским. Он также усердно посещал лекции Васильевского, также объявил себя специалистом по средней истории, также сморозил что-то совсем несуразное на экзамене и, несмотря на это, также получил пятерку. Но поступил он красивее и изящнее, чем я. Из тем, объявленных на медали, выбрал одну из предложенных Васильевским, написал блестящую работу и, по отзыву Васильевского, получил за нее золотую медаль.

В мае сдал переходные экзамены. Уехал на лето домой.

В Петербурге все шло как-то совсем не так, как мне хотелось и о чем я мечтал. Было серо, очень мало было ярких переживаний, мало кипения жизни. Товарищи студенты были совсем не такие, каких я ждал. Печерников становился мне прямо неприятен.

Но когда я приезжал в Тулу, когда сестры,

«белые» и «черные», обсев, жадно слушали мои рассказы,—все, что было в Петербурге, начинало и в собственном моем представлении кипеть и сверкать, делаться красивым и завлекательным. А мои слушательницы-девчурки подрастали, делались девушками. Всего мне больше были по душе троюродная сестра Инна и родная—Маня. Были они почти однолетки. С презрением относились к танцам и любви, мечтали о курсах. Ни в чем старались не отставать от мальчиков,—в силе, в умении играть в городки, в чтении серьезных книг. Жадно интересовались выдвинувшимися на каком-нибудь поприще женщинами, расспрашивали меня про Софью Ковалевскую, про Сафо, Жорж Занд, Джорджа Эллиота. Они были моими самыми неутомимыми и восторженными слушательницами.

Однажды приехал в Тулу император Александр III. В торжественной его встрече участвовали и все учебные заведения. Учащиеся были выстроены шпалерами по улицам, по которым проезжал царь. Инна и Маня воротились с этой встречи потные, усталые, охрипшие. Восторженно рассказывали, как махали царю платками, как бросали ему цветы, как до хрипоты кричали «ура!», с гордостью показывали опухшие от рукоплесканий ладони.

Я сдержанно спросил:

— Чему вы, собственно, так радовались?

Они опешили.

— Как чему?

— Почему вы такою любовью воспылали к царю?

До тех пор я с ними избегал прямых разговоров на такие темы,—слишком уж были против этого и папа и мама. Теперь я им все стал говорить начистоту. Огромное новое поле общения открылось между нами. Мы часто виделись. Пока еще шли у них весенние экзамены, просиживали вечера у нас в саду. А потом, летом, мы долго гостили в имении «черных», Зыбине. Вечером после ужина, тайно от «больших», отправлялись гулять, уходили очень далеко и возвращались с рассветом. На копне сена среди луга, на заросшей меже меж двух стен колеблющейся ржи, на срубленной березе среди лесной поляны мы сидели, команда моя густо теснилась вокруг меня, и я рассказывал о том, о чем молчали или лгали казенные учебники Иловайских и Беллярминовых. О Стеньке Разине, о Пугачеве, об убийстве Петра III и Павла, о декабрьском восстании, о первом марта. Говорил о притеснении и обирании народа, о

надвигающемся капитализме, который правительство не старается предотвратить, о постепенном разрушении великих социалистических возможностей, которыми силен экономический строй России. О великом долге, лежащем на нас перед народом, на счет которого мы учимся и живем, ни в чем себе не отказывая. Вот мы сейчас всю ночь шляемся, лодырничаем, а мужики спят, чтобы завтра встать с зарею на тяжелую работу на жалком клочке своей земли. А все эти пространные земли вокруг,—нам самим нечего беспокоиться, их обработают и уберут наемные люди, а мы, не трудясь, будем только пользоваться плодами их работы.

Горели в темноте жадно слушающие глаза, и чувствовалось, как великая перестройка всего, с детства усвоенного, шла в этих молодых душах.

Когда была дождливая погода, я им дома читал Гаршина, Глеба Успенского, Надсона и Минского. Между прочим, прочел и свой доклад о Дон-Кихоте, которым было положено начало нашему петербургскому студенческому кружку. Все слушатели и слушательницы были в восторге и, конечно, вполне согласились со мною в понимании типа Дон-Кихота.

Был этим летом опять у Конопацких. Шел туда с обычным замиранием сердца, а возвращался с ощущением душевной пустоты, и как будто мы все играли комедию. Красивые, изящные девушки, теперь в полном расцвете красоты, но как будто какая-то сила все дальше относила их от меня. И я себя там чувствовал все напряженнее. Между прочим, дал Любе прочесть свой доклад о Дон-Кихоте, рассказал о нашем кружке в Петербурге. Осенью, перед отъездом, зашел к ней за докладом. Она принесла мне его и сконфуженно созналась, что не удосужилась прочесть.

Моя девичья команда, узнав про это, изумилась и пришла в жесточайшее негодование. И все единогласно заявили мне:

— Твоя Люба—дура, и больше ничего.

Приехал осенью в Петербург. Понемножку расширялись знакомства, приобретались новые связи. Работа в нашем кружке становилась все интереснее. И все полнее ох-

ватывало душу настроение темной безвыходности, в которой билась общественная жизнь того времени.

Тяжкое было время и глухое. После 1 марта 1881 года народовольчество быстро пошло на убыль. Вера в плодотворность индивидуального террора все больше падала. А других путей не виделось. Самодержавие с тупою свирепостью давило всякую общественную самодеятельность, всякое сколько-нибудь широкое общественное начинание.

Вот какие течения намечались в то время в студенческой среде.

Все больше ширилась проповедь «малых дел». Особенно увлеченно занимался ею Я. В. Абрамов, бывший сотрудник «Отечественных записок», на страницах журнала «Неделя». Врач должен добросовестно лечить народ, учитель—учить, земский деятель—заботиться о школах, мостах, дорогах. Самоотверженные врачи — Таиров, Сычугов и другие—селились в глухих деревнях не в качестве служащих врачей, а вольнопрактикующих, и старались показать на своем примере, что и таким путем можно приносить народу существенную помощь. Идеалом общественной деятельности была сельская учительница, несущая народу «свет знания»—в тех пределах, которые разрешал становой пристав.

Большой интерес вызывало толстовство. Лев Толстой только что начал свою общественно-религиозную проповедь. В огромном количестве рукописных и литографированных списков расходились его «Исповедь», «В чем моя вера», «Так что же нам делать?» Всего важнее—собственное нравственное усовершенствование, отказ от пользования преимуществами нашего привилегированного положения, непротивление злу насилием, отказ участвовать во всем, где применяется насилие. Идеалом и носителем подлинной народной правды признавался мужичок-солдат Платон Каратаев из «Войны и мира». Никогда впоследствии толстовство не имело в студенчестве такого успеха, как в то время. Когда не было путей к действенной борьбе с насилием, а душа разрывалась на части при виде безнаказанно творившихся вокруг невероятнейших насилий,—радостно было найти путь, где освещалось и оправдывалось невмешательство в эти насилия, где можно было принять муку за то, что не вмешиваешься в них. Не иди на военную службу, какие бы тебе за это ни грозили кары; отказывайся от присяги, не судись ни с кем; не будь даже

самым маленьким колесиком государственного механизма, который только уродует и разрушает жизнь; откажись от всех привилегий, не пользуйся удобствами и комфортом, которые для тебя создает трудовой народ, сам ими не пользуясь; люби всех людей, служи им своею любовью, кротостью и непротивлением; люби даже животных, не проливай их крови и не употребляй в пищу.

Прежнее боевое, революционное народничество теперь тоже принимало более пассивную окраску. Высказывалась мысль, что, собственно говоря, для строительства социализма не так уж необходима предварительная политическая свобода: устроение жизни на социалистических началах возможно и под игом самодержавия. Радостно отмечались все прогрессивные течения и начинания в крестьянской земельной общине, все попытки артельного объединения кустарей. Энергия исследователей с жадным вниманием устремлялась на изучение сектантства, особенно рационалистических сект—штундистов, молокан, духоборов; отмечалось их стремление строить все взаимные общественные и экономические отношения на началах строгой справедливости, «по божьей правде», и в этом усматривалось зерно будущего социалистического строя. Ни одной почти книжки народнически-прогрессивного журнала не обходилось без статьи о сектантах, открывались все новые секты—дурмановцы, балабановцы,—рассказывалось об удивительных их достижениях на пути чисто коммунистического жизнеустройства.

Однако мысль о возможности сколько-нибудь серьезного преобразования жизни при наличии самодержавия разделялась сравнительно немногими. В общем положение дел воспринималось нами вот как.

России выпал на долю исключительно счастливый жребий в сравнении с западноевропейскими странами. В ней до сих пор удержались такие важные формы коллективного хозяйствования, как общинное землевладение, артель. Мужик органически не способен принять идеи частного землепользования, для него земля—«божья», «божьим» также является все на земле, что создается без труда человеческого,—леса, земные недра, луга. Они принадлежат тому, кто приложит к ним свой труд. Мужик наш глубоко коллективистичен, он не мыслит себя вне «мира», вне «общества», не мыслит иной правды, кроме правды «мирской». Все это дает полное право надеяться, что Россия сможет

избежать всех ужасов капитализма, раздирающих и истощающих Западную Европу. «В России вопрос социализма есть вопрос не революционный, а консервативный». Так, помнится, формулировал эту точку зрения Михайловский. Нужно только одно: тщательно оберегать эти судьбою нам данные зачатки наивысшей хозяйственной формы, поощрять их, развивать. Между тем правительство относится ко всему этому совершенно беззаботно, делает все, чтоб разрушить общину, не допустить развития артелей, давит кустаря, искореняет кооперацию. Всячески поощряет развитие фабричной и заводской промышленности. Крепкие устои деревенской правды и общественности все больше колеблются, крестьянство обезземеливается, растет пролетариат, развращенный «пинжачной» и трактирной цивилизацией города. Уверенно и неудержимо развивается капитализм. И нет, нет вокруг никаких сил, которые смогли бы остановить Россию над пропастью, оттолкнуть самодержавие, ведущее ее к гибели, и вывести на правильный путь. Нет таких сил.

> Куда идти, к чему стремиться?
> Где силы юные пытать?..

Самым любимым нашим публицистом в то время был Михайловский. Чувствовалось,— путей не было и у него. Но он дорог был революционной части молодежи за ярую борьбу с толстовством и с проповедью «малых дел», за упорные призывы не забывать широких общественных задач.

Из старших писателей-художников самым большим влиянием пользовался Глеб Успенский. Его страдальческое лицо с застывшим ужасом в широко раскрытых глазах отображает всю его писательскую деятельность. Сознание глубокой вины перед народом, сплошная, непрерывно кровоточащая рана совести, ужасы неисчерпаемого народного горя, обступающие душу бредовыми привидениями, полная безвыходность, безнадежное отсутствие путей.

Из более молодых большою популярностью пользовались Гаршин и Минский, позднее — Надсон. Общее у них у всех — и общее со всеми нами — было: властная требовательность совести, полное отсутствие

сколько-нибудь осознанных путей — и глубочайшее отчаяние.

Да, жизнь была страшна, грозна, она надвигалась, как непобедимое чудовище, заражая смертельным дыханием все вокруг. И какие тут могли помочь «малые дела», какое «непротивление»? Нужен был великий подвиг, полное самопожертвование — и притом самопожертвование без малейшей надежды на успех.

В «Красном цветке» Гаршин рассказывал про сумасшедшего: «Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения». Видит в больничном саду распустившийся цветок красного мака и решает, что в этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Нужно его сорвать, спрятать у себя на груди, раздавить его там, впитать в свою грудь всю силу источаемого им зла,—и мир освободится от зла. И вот ночью сумасшедший с великими усилиями освобождается от горячечной рубахи, протискивается сквозь решетку окна, карабкается через ограду сада,— с оборванными ногтями, с окровавленными руками и коленями,— и срывает красный цветок...

«Утром больного нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу».

Какое величие и какая красота в этом подвиге! И какое притом—счастье! Да, правда: в результате подвига, в результате смертного напряжения сил — всего только сорванный невинный цветок, никому не приносящий вреда,— но так ли, в конце концов, это важно?

В большом количестве списков ходила в студенчестве поэма Минского «Гефсиманская ночь», запрещенная цензурою. Христос перед своим арестом молится в Гефсиманском саду. Ему является сатана и убеждает в полнейшей *бесплодности* того подвига, на который идет Христос, в полнейшей ненужности жертвы, которую он собирается принести для человечества. Рисует перед ним картины разврата пап, костры инквизиции...

Картины, рисуемые искусителем, одна мрачнее и ужаснее другой, и в противовес им выставить нечего.

Христос начинает терять веру в нужность своего подвига, душа его скорбит смертельно. И вот — слетает с неба ангел и утешает Христа и укрепляет его в решении идти на подвиг следующею песнью:

Кто крест однажды будет несть,
Тот распинаем будет вечно;
Но если счастье в жертве есть,
Он будет счастлив бесконечно.
Награды нет для добрых дел.
Любовь и скорбь — одно и то же.
Но этой скорбью кто скорбел,
Тому всех благ она дороже.
Какое дело до себя,
И до других, и до вселенной
Тому, кто следовал, любя,
Куда звал голос сокровенный?
Но кто, боясь за ним идти,
Себя раздумием тревожит,—
Пусть бросит крест свой средь пути,
Пусть ищет счастья, если может!

Странным сейчас кажется и невероятным, как могла действовать на душу эта чудовищная мораль: не раздумывай над тем, нужна ли твоя жертва, есть ли в ней какой смысл, жертва *сама по себе* несет человеку высочайшее, ни с чем не сравнимое счастье.

А в таком случае—такая ли уж большая разница между подвигом Желябова и подвигом гаршинского безумца? Что отрицать? Гаршинский безумец—это было народовольчество, всю свою душу положившее на дело, столь же бесплодное, как борьба с красным цветком мака. Но что до того? В дело нет больше веры? Это не важно. Не тревожь себя раздумьем, иди слепо туда, куда зовет голос сокровенный. Иди на жертву и без веры продолжай то дело, которое предшественники твои делали с бодрою верою Желябовых и... гаршинских безумцев.

Великое требовалось разуверение и отчаяние, чтобы прийти к культу такой жертвы.

Не было перед глазами никаких путей. И, как всегда в таких случаях, сама далекая цель начинала тускнеть и делаться сомнительной. Гордая пальма томится в оранжерее по свободе и вольному небу. Она упорно растет вверх, упирается кроной в стеклянную крышу, чтобы пробить

ее и вырваться на волю. Робкая травка пытается отговорить пальму.

«—Молчи, слабое растение! Не жалей меня! Я умру или освобожусь!

«И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол... Над стеклянным сводом оранжереи гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона пальмы.

«Только-то?— думала она.— И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?»

«Была глубокая осень. Моросил мелкий дождь пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Угрюмо смотрели деревья на пальму. И пальма поняла, что для нее все было кончено. Она застывала». («Attalea princeps» Гаршина.)

Но нет. Все-таки — нельзя терять веры в будущее. Оно придет — хорошее, исполненное любви. Вот как обосновывал Надсон эту веру:

> О мой друг! Не мечта этот светлый приход,
> Не пустая надежда одна.
> Оглянись,— зло вокруг чересчур уж гнетет,
> Ночь вокруг чересчур уж темна!

Мир, видите ли, устанет от чрезмерности мук, захлебнется в крови, утомится борьбой — и по этой причине обратится к любви. Вот чем можно было обосновать надежду...

А Минский рисовал своеобразное счастье, которое испытывает человек, дошедший до крайних границ отчаяния. Прокаженный. Все с проклятием спешат от него прочь. Все пути к радости для него закрыты. Одинокий, он лежит и рыдает в пустыне в черном, беспросветном отчаянии. Постепенно слезы становятся все светлее, страдание очищается, проясняется, и в самой безмерности своих страданий проклятый судьбою человек находит своеобразное, большое счастье:

> Величайшее счастье в ту ночь он изведал:
> Он, природою проклятый, людям чужой,
> Кому бог ничего, кроме горестей, не дал,—
> Сам он дал себе счастье...

Не понимаю, почему в восьмидесятых годах Надсон так затмил Минского. Надсон, бесспорно, был лиричнее, задушевнее, доступнее Минского. Но Минский был глуб-

же, мужественнее и гораздо полнее отражал настроения эпохи. Особенно в больших своих поэмах: «Белые ночи», «Песни о родине», «Гефсиманская ночь». Минский почему-то не спешил издавать сборника своих стихов, мы их разыскивали в старых книжках «Вестника Европы» и «Русской мысли». Впервые сборник его стихов вышел в свет, если не ошибаюсь, лишь в самом конце восьмидесятых годов.

Странно было подумать: весь этот запутанный клубок отчаяния, неверия, бездорожья, черных мыслей о жизни, горьких самообвинений — клубок, в котором все мы бились и задыхались,— как бы он легко мог размотаться, какие бы широкие дороги открылись к напряженной, удовлетворяющей душу работе, как легко могла бы задышать грудь, только захоти этого один человек! Большой, грузный, неуклюжий мужчина с тупою головою и бараньими глазами. Я его раз видел на полковом празднике-параде конногвардейского полка. Он шел в золотой каске и кирасе, в белом мундире, окруженный свитою; я с ненавистью следил за ним издали, из гущи толпившихся на бульваре зрителей. Да, только подумать: откажись этот человек от своей огромной, страшной власти,— и открылись бы ослепительные пути, рассеялись бы давившие всех туманы, народ получил бы возможность сам творить свою судьбу и свое счастье.

Неистовая ненависть к самодержавию, возмущение его угнетением и злодействами делались моим господствующим настроением. Должно быть, незаметно для меня самого, и в письмах моих домой стало довольно явственно прорываться это мое настроение.

Вечером 16 ноября ко мне зашел Печерников, оживленный и таинственно-радостный. Пониженным голосом, чтоб не слышали за стенкой, он сообщил мне, что завтра, 17 ноября, исполняется двадцать пять лет со дня смерти Добролюбова. Союз студенческих землячеств призывает всех студентов прийти завтра на Волково кладбище, на панихиду по Добролюбове.

— Пойдешь?

Я радостно ответил:

— Ну, конечно, пойду!

Условились — зайду завтра за Печерниковым в десять утра, и пойдем вместе.

Утром, как только идти, я получил письмо из дому. Со смущением стал читать. Папа писал:

Признаюсь тебе, дорогой Виця, что последнее твое письмо я прочел с некоторым смущением. Меня смутило в нем то обстоятельство, что ты с таким увлечением относишься к нашим общественным вопросам и так горячо их обсуждаешь, как будто ты уже окончил подготовку к общественной жизни и вступил в нее как полноправный член. Со стороны очень легко и удобно восхищаться хорошим до экзальтации, возмущаться злом до головокружения. Но чтобы дать настоящую оценку добру и точно определить степень зла, необходимо самому столкнуться с действительною жизнью и самому принять в ней деятельное участие. Теперь же, когда ты только готовишься к этому, когда тебе необходимо предварительно приобрести известные права, чтобы составить себе в будущем то определенное в гражданском обществе положение, находясь в котором ты мог бы выступить бойцом за то, что считаешь лучшим,— теперь, повторяю, такое увлечение общественными вопросами, при твоем горячем характере, может увлечь тебя к таким словам и даже поступкам, которые могут испортить не только твою еще начинающуюся молодую жизнь, но тяжело отозваться и на всей нашей семье... Я видел сегодня ночью сон: я стою в купальне, а ты, в нескольких шагах от нее, на глубоком месте, ходишь в черных панталонах, сапогах и белой рубашке по доске, которая лежит аршина полтора над водою. Вдруг я слышу какой-то треск, бросаюсь к дверям и вижу, что доска под тобою сломалась, а ты, будучи в панталонах и сапогах, не можешь справиться и уже захлебываешься. Я тут же бросился в воду к тебе на помощь, но я тоже был одет, и тут уж я смутно помню, что произошло далее, помню только, что мне трудно было тебя поймать, но вытащил ли я тебя или нет,— не знаю. Тебе известно, что я не суеверный человек, и этот сон, по всей вероятности, был результатом того, что ты не выходил у меня все эти дни из головы; тем не менее я до сих пор не могу отделаться от тяжелого чувства и какой-то неопределенной боязни: я ведь не помню, вытащил ли я тебя или нет.

С настроением сбитым и скомканным я вышел из дому. Был серенький осенний день, со всегдашнею влажностью и запахом дыма в воздухе. Зашел за Печерниковым. Попили чаю. Он спросил:

— Что это ты?

— Что?

— Какой-то...

— Не знаю... я ничего.

Пошли. По дороге Печерников останавливал встречных студентов, знакомых и незнакомых, вполголоса сообщал, что сейчас на Волковом кладбище будет панихида по Добролюбове, и предлагал пойти на панихиду. Одни, взгля-

нув испуганно, шарахались прочь. Другие поворачивали к Волкову кладбищу.

Приехали на конке к Волкову. На площади перед кладбищенскими воротами колыхалась огромная масса студенческой молодежи. Среди штатских одеяний студентов-универсантов старших курсов пестрели формы младших универсантов, технологов, медиков и лесников. Были курсистки. Подъезжали конки и подвозили все новые толпы студентов.

— Отчего на кладбище не идут?

— Полиция не пускает.

В толпе бросались в глаза венки с красными лентами. У ворот кладбища темнел густой наряд полиции. Студенты наседали на пристава:

— Позвольте! Мы хотим отслужить на кладбище панихиду по умершему! Какое вы имеете право нам запретить?

Взволнованный пристав решительно отказывался пустить всех,— соглашался пустить только делегацию для возложения принесенных венков на могилу.

— Да я вот лично, без венка, желаю помолиться за упокой души раба божьего Николая, а вы мне не позволяете.

— Помолитесь, господин студент, дома,— молитва и там дойдет.

— Дойдет? Вы, я гляжу, плохо знаете священное писание. В писании сказано: «Где трое соберутся во имя мое, там и я среди них». Трое! Понимаете,— даже трое всего! А тут,— видите, сколько?

Хохот.

Подъехал на извозчике Пыпин, один из редакторов «Вестника Европы», двоюродный брат Чернышевского и сотрудник Добролюбова по «Современнику». Студенты кинулись к нему, стали просить переговорить с полицией. Пыпин подошел к приставу и после короткого разговора направился к своему извозчику.

— Ну, что?

— Он ничего не может сделать. Категорическое распоряжение градоначальника — не допускать панихиды.

Сел на извозчика и поспешно уехал. Вслед раздались свистки.

— Что будем теперь делать?

Напряжение росло. Взять и разойтись было смешно, да и совершенно невозможно психологически. Не в самом же деле сошлись мы сюда, чтобы во Христе помолить-

ся об упокоении души раба божьего Николая. У меня в душе мучительно двоилось. Вправду разойтись по домам, как пай-мальчикам, раз начальство не позволяет? Зачем же мы тогда сюда шли? А с другой стороны,— тяжким камнем лежало на душе папино письмо и делало меня тайно чужим моим товарищам.

Обсуждалось предложение: колонною, всем вместе, двинуться по Невскому к Казанскому собору и там требовать, чтоб была отслужена панихида. В другое время я бы сам агитировал за это. Теперь же мне очень хотелось, чтобы предложение было отвергнуто и решено было разойтись по домам. Но отлично понимал: этого не будет. Пойдут к Казанскому собору.

С мерзостным чувством предателя я пошел к конке, собиравшейся отходить в город. Она уже была полна студентами. Звонок. Конка покатила. Оставшиеся увидели, понеслись свистки, смех, крики:

— Позор! Трусы!

Ехавшие не смотрели друг другу в глаза. Издалека я видел, как темная масса студентов вытянулась в колонну и двинулась по направлению к Лиговке.

Подавленный, я угрюмо сидел в нашей кухмистерской Дервиза. Смотрел на обедавших студентов. Как могут сидеть они так спокойно? Почему они не там? А что теперь делается там?

Пришел домой. С недобрым чувством перечитал папино письмо. «Раньше нужно получить гражданские права...» Иначе сказать — диплом. Получишь бумажку,— тогда станешь гражданином. «Тогда выступишь бойцом за то, что считаешь лучшим...» Это глубоко оскорбляло своею фальшью. В каждый момент, всегда, нужно безоглядно выступать бойцом за то, что считаешь лучшим!

Не мог себе найти места от тоски. Вечером зашел к Печерникову. Он еще не возвращался. Пошел к Шлепянову (его тоже видел на Волковом),— не было дома. Что-то, значит, там произошло.

На следующий день в университете все узнал.

На Лиговке колонну демонстрантов встретил градоначальник Грессер с большим нарядом полиции и казаков. Студентов оцепили и продержали до сумерек. Потом стали выпускать небольшими кучками, предварительно переписав. Несколько человек арестовали.

Печерников отнесся добродушно к тому, что я уехал.

С тяжелым чувством я рассказал ему о письме, какое получил из дому. Он посмеивался.

— Вот, брат, эти каторжные ядра обывательской родительской любви! Пока не сбросит человек с ног этих каторжных ядер, всегда он будет тонуть в подлостях.

Шлепянов при встрече сурово спросил:

— Вы тогда удрали с Волкова?

И с осуждением покачал головою.

Ничего в жизни не легло у меня на душу таким загрязняющим пятном, как этот проклятый день. Даже не пятном: какая-то глубокая трещина прошла через душу как будто на всю жизнь. Я слушал оживленные рассказы товарищей о демонстрации, о переговорах с Грессером и препирательствах с ним, о том, как их переписывали... Им хорошо. Исключат из университета, вышлют. Что ждет их дома? Упреки родителей, брань, крики, выговоры? Как это не страшно! Или — слезы, горе, отчаяние? И на это можно бы идти.

> Не плачь над ними, мученица-мать!..
> Есть времена, есть целые века,
> В которые нет ничего желанней,
> Прекраснее — тернового венка...

А что бы ждало дома меня? Не упреки, не выговоры. А так:

— Ну, скажи, пожалуйста, объясни мне: чего вы рассчитывали достигнуть этой глупой вашей маршировкой по улицам Петербурга? Вас — несколько сот безоружных мальчишек. А в Петербурге десятки дивизий отборнейших войск. Что ж, вы думали справиться с ними? Да на вас их и высылать бы не стали. Довольно было бы полсотни казаков с нагайками. И для этой глупости разбить всю свою судьбу, отказаться от возможности образования и поступить писцом куда-нибудь в контору нотариуса! Ты мне объясни: чего вы думали достигнуть?

И я не смог бы объяснить, чего мы думали достигнуть.

А папа спрашивал бы дальше:

— Ну, и что же? Сам ты этого не понимал? Конечно, понимал. Ты для этого достаточно разумен. Почему же ты все-таки пошел? Стыдился товарищей, боялся, что назовут трусом? Вспомни, что сказал по этому поводу Роберт Пиль: «Быть трусом — позорно; но еще позорнее выказывать храбрость только из боязни, что тебя назовут трусом».

Пускай все это и так. Но твердо знаю и теперь: мне следовало пойти с товарищами и не бояться никаких объяснений.

В кружке нашем появился новый член — студент-естественник старших курсов, Говорухин. Он, видно, был умница, очень был начитан в общественных вопросах. Плотный, коренастый, с редкою бесцветною бородкою, сжатыми тонкими губами и внимательно приглядывающимися глазами. Как будто он все время тайно кого-то среди нас разыскивал или выбирал.

Я уже говорил,— мы были в связи с некоторыми другими кружками и обменивались с ними докладами. Делали это так: докладчик и его «официальный оппонент», заранее ознакомившийся с докладом, являлись в другой кружок и там читали доклад и клали начало беседе. У Говорухина был свой кружок. Однажды он привел к нам из этого кружка докладчика. Был это юный первокурсник-студент юридического факультета, с молодою и мягкою, круглою бородкою, со взглядом исподлобья. Фамилия его была Генералов.

Он прочел очень длинный и довольно сумбурный доклад на какую-то, не помню, общественно-экономическую тему. Было очень много цитат из Михайловского, В. В., Лаврова и Плеханова. Раскатали его жестоко за сумбурность доклада, за неясность и противоречивость высказанных взглядов. Говорухин защищал его твердо и искусно, и было в этой защите что-то трогательно-любовное, как будто защищал он своего младшего брата. Во взглядах, высказанных Говорухиным, было что-то для меня совершенно новое: никакой не было боязни перед развивающимся капитализмом, перед обезземелением мужика, подчеркивалась исключительно революционная и творческая роль пролетариата. Еще больше меня в этом отношении заинтересовали цитаты из Плеханова, которые приводил докладчик,— я о Плеханове до того времени ничего не слышал. Спросил Генералова, как заглавие книжки Плеханова.

— «Наши разногласия».

Я вынул записную книжку, чтобы записать. Говорухин улыбнулся:

— Так не записывайте. Зашифруйте. Это нелегальная книга.

Домой на святки в этот раз я приехал совсем другим, чем в прежние годы. В первый же вечер после ужина у меня вышел очень горячий разговор с папой,— но не на отвлеченную какую-нибудь, теоретическую тему. Я упрекал папу, что он неправильно вел и ведет воспитание детей; что он воспитывал нас исключительно в правилах личной морали,— будь честен, не воруй, не развратничай; граждан он не считал нужным в нас воспитывать; не считал даже нужным раскрывать нам глаза на основное зло всей современной нашей жизни — самодержавие; что воспитывал в нас пай-мальчиков; что это антиморально говорить: «Сначала получи диплом, а потом делай то, что считаешь себя обязанным делать»: в каждый момент человек обязан действовать так, как ему приказывает совесть,— пусть бы даже он сам десять лет спустя признал свои действия ошибочными.

Папа слушал с грустным изумлением и очень серьезно; молчал и внимательно глядел на меня. Потом стал говорить умно и веско.

— Ну, а если бы десятилетний мальчик вздумал для блага человечества взорвать динамитный склад в центре города,—сказал ли бы ты ему: «Действуй так, как тебе приказывает совесть», или объяснил бы ему, что он еще слишком молод, чтоб отыскивать пути к благу человечества, что раньше нужно ему поучиться арифметике и орфографии. Скажи, где, когда самые гениальные государственные деятели начинали свою творческую государственную деятельность в возрасте семнадцать—восемнадцать лет? И что это за разделение личной морали и общественной? Будь честен, будь стоек, и ты всегда окажешься достойным гражданином.

Общего языка у нас уже не было. Все его возражения били в моих глазах мимо основного вопроса. Расстались мы холодно. И во все последующие дни теплые отношения не налаживались. Папа смотрел грустно и отчужденно. У меня щемило на душе, было его жалко. Но как теперь наладить отношения, я не знал. Отказаться от своего я не мог.

Зато с девичьей моей командой отношения становились все ближе и горячее. Тесно обсев, они жадно слушали мои рассказы о нашем кружке, о страданиях народа, о великом, неоплатном долге, который лежит на нас перед ним, о том, что стыдно жить мирною, довольною жизнью

обывателя, когда кругом так много страданий и угнетения. Читал им Надсона,— я его много знал наизусть.

Из теплого гнезда, от близких и любимых,
От мирной праздности, от солнца и цветов
Зову тебя для жертв и мук невыносимых
В ряды озлобленных, истерзанных бойцов.
Зову тебя на путь тревоги и ненастья,
Где меры нет труду и счета нет врагам.
Тупого, сытого, бессмысленного счастья
Не принесу я в дар сложить к твоим ногам.
Но если счастье — знать, что друг твой не изменит
Заветам совести и родине своей,
Что выше красоты в тебе он душу ценит,
Ее отзывчивость к страданиям людей,—
Тогда в груди моей нет за тебя тревоги.
Дай руку мне, дитя, и прочь минутный страх.
Мы будем счастливы,— так счастливы, как боги
На недоступных небесах!

И невольно при этом взгляд мой падал на Инну. Она была уже в седьмом классе гимназии. Глаза ее глядели гордо и тоскующе. С гимназическим начальством отношения у нее не ладились, не ладилось дело и с деспотическим отцом, Гермогеном Викентьевичем. Он с раздражением рассказывал мне в ее присутствии, как дерзко держится она с начальницей гимназии, как неприлично ведет себя: недавно зашла в гости к гимназисту,— это шестнадцатилетняя девушка, одна! Сидит за книгами до двух-трех часов ночи, читает Писарева и чуть ли даже не запрещенные книжки.

И я читал из Надсона и глядел на Инну:

«За что?» — с безумною тоскою
Меня спросил твой гордый взор,
Когда внезапно над тобою
Постыдной грянул клеветою
Врагов суровый приговор.
За то, что жизни их оковы
С себя ты сбросила, кляня,
За то, за что не любят совы
Сиянья радостного дня,
За то, что ты с душою чистой
Живешь меж мертвых и слепцов,
За то, что ты цветок душистый
В венке искусственных цветов!

Воротился в Петербург. В двадцатых числах января— ошеломляющая телеграмма в газетах из Ялты: умер Надсон. Надсон был в то время самый популярный среди

молодежи поэт. Всем нам общи были его страстные порывания к борьбе и сознание бессилия, жадные мечты о светозарном будущем и неведение путей к нему. Унылая безнадежность его поэзии усугублялась и личною судьбою его: Надсон безнадежно болел чахоткою и «посреди бойцов был не боец суровый, а только стонущий, усталый инвалид, смотрящий с завистью на их венец терновый». Расслабляющие эти стоны и усталость находили все больший отклик в усталой от бесплодных исканий молодежи.

Я был на похоронах Надсона. Хоронили его на Волковом кладбище, на литературных мостках, где могилы Белинского, Добролюбова, Тургенева, Решетникова. Холодный январский день. Огромное было количество молодежи, было много писателей. С жадным вниманием я разглядывал Михайловского, Глеба Успенского, Гаршина, Скабичевского, Минского.

Возвращался домой с Печерниковым. Продрогли на морозе и проголодались. Зашли в первый попавшийся трактир. Спросили бутылку водки, закусили, сели за столик. Вдруг видим — входит Гаршин и с ним несколько молодых людей. Они подошли к стойке, выпили по рюмке водки.

Печерников шепнул:

— Пойдем выпьем с Гаршиным.

Мы подошли с наполненными рюмками, я сказал, взволнованно глядя в черные глаза Гаршина, полные тайной тоски:

— Всеволод Михайлович, позвольте нам выпить с вами за ваше здоровье!

Он растерянно взглянул на меня.

— Господа, я больше одной рюмки не пью.

Печерников возразил:

— Ну что вам стоит выпить вторую! Со студентами!

Вмешался один из молодых людей, сопровождавших Гаршина.

— Господа, Всеволод Михайлович болен, ему врачами запрещены спиртные напитки.

Я сказал, задыхаясь от любви к этому бледному, печальному человеку:

— В таком случае позвольте выпить за ваше здоровье! Чтобы вам долго-долго жить и писать, как вы пишете!

Гаршин неловко и сконфуженно поклонился и вышел со своими спутниками.

Удивительное лицо! Никогда ни до, ни после не видел я такого прекрасного в своей одухотворенности лица. Минский писал о нем после его смерти:

> Я ничего не знал прекрасней и печальней
> Лучистых глаз твоих и бледного чела.
> Как будто для тебя земная жизнь была
> Тоской по родине недостижимо-дальней...

Через год Гаршин умер. В воспоминаниях о нем некий Виктор Бибиков, незначительный беллетрист того времени, во свидетельство большой популярности Гаршина среди молодежи рассказывал: когда они с Гаршиным возвращались с похорон Надсона и зашли в трактир выпить рюмку водки, огромная толпа студентов окружила Гаршина, устроила ему овацию и хотела качать, и ему, Виктору Бибикову, с трудом удалось отговорить студентов.

Мы с Печерниковым остались за своим столиком, пили, что-то ели. Печерников, поникнув головой, сказал как будто про себя:

— Да, вот и Гаршин совсем молодой. Надсон умер в моем возрасте. А я ничем еще не прославился...

Я с удивлением взглянул на него. Он спохватился и продолжал шутливым тоном:

— Что бы такое мне совершить, чтобы достойным образом перейти в память потомства? Александровскую колонну, что ли, взорвать или выпить на пари две дюжины шампанского? Что на этот счет говорят у тебя *Хайне и Хёте?*

Это он смеялся над тем, что, часто цитируя Гейне и Гете, я выговаривал их фамилии по-немецки: Heine, Goethe.

Закрутились. Допили бутылку, поехали на конке на Васильевский остров. Там еще в каком-то трактире пили. Орган около буфета ухал «Марш тореадоров», толпился народ у буфетной стойки. Печерников сидел, свесив голову над полной рюмкой, и говорил:

— Эх, тоска на душе, не знаю, куда деваться от нее! Плевать, расскажу тебе, что вчера было... Ехал я вечером на конке, на Петербургской стороне. Задумался, забыл билет взять. Вдруг кондуктор ко мне: «Есть билет?» — «Нету».—«Что же не берете? На даровщинку хотите проехать?» Я вскочил. «Что вы такое говорите? Как вы смеете? Сейчас же извинитесь, не то заявлю на вас жалобу!» — «Ге-е! Еще извиняться! Городовому тебя передать, что без билета хотел

проехать». Вся публика возмутилась, обязательно, говорят, подайте на него жалобу. Приближаемся к разъезду, где обыкновенно входит контролер. Кондуктор стоит на площадке, насупился. А ты знаешь, какая каторжная служба у этих кондукторов? Я решительно заявляю: если бы мне предложили на выбор,— быть кондуктором на конке или заболеть сифилисом, я бы предпочел последнее. Вышел я на площадку, говорю: «Слушайте, сейчас контролер войдет,— извинитесь лучше!» И он обратил ко мне свое лохматое, застуженное лицо, закривилось оно униженной улыбкой. «Что ж,— говорит,— барин, простите, сорвалось. С утра до поздней ночи на морозе, в толкотне... А у нас сейчас строго — сгонят». Я замычал от боли, сунул ему в руку все, что нашлось в кошельке, и на ходу соскочил с конки.

Он выпил рюмку, покрутил головою.

— Ты только пойми эту подлость барскую! Мне, *мне*— Леониду Александровичу Печерникову,— посмели сказать, что я захотел проехать на даровщинку! И все сразу полетело к черту,— все понимание нашей неоплатной задолженности перед трудовым народом, все благородно-либеральные фразы... Господа! Что же это? Только на слова вы мастера? А чуть до дела,— дрейфуем позорнейшим образом?

И он пил рюмку за рюмкой. А мне противно было его слушать. Все больше Печерников становился мне чужд, мне странно было, что он так долго оказывал на меня влияние почти гипнотическое, видел я, что он — человек мелкий и, кажется, просто паршивый— фразер и актер. Но в памяти моей эти покаяния его как-то странно сливаются с тогдашнею эпохою,— вся эпоха тогдашняя представляется мне охваченною этою трактирно-покаянною тоскою: хороший, чуткий интеллигент не в силах переносить окружающих его жестокостей и несправедливостей жизни и тоскующую свою совесть заливает вином. Тут и Левитов, и Помяловский, и Глеб Успенский, и Златовратский. Создавалось какое-то поэтизирование тоскующего, придавленного жизнью интеллигента, поэтизирование его бессилия и проливаемых им несомненно искренних, но — увы! — и несомненно пьяных слез. И Печерников играл сам перед собою такого чуткого, страдающего интеллигента.

В конце предыдущего, 1886 года, Союз студенческих землячеств открыл свою студенческую столовую. Союз

был учреждением нелегальным, и юридически столовая числилась частным предприятием. Я стал обедать в этой столовой.

Однажды, в конце февраля, шел я из столовой. Помещалась она на Среднем проспекте Васильевского острова. Навстречу Генералов. Тот молодой студент, который в конце прошлого года читал у нас в кружке доклад. Остановились, поговорили. Меня поразило его лицо: все оно как будто светилось мягким, торжественным и грустным светом; как будто он смотрел на меня с какой-то большой высоты; и теперь не было обычного его взгляда исподлобья,— глаза смотрели прямо и как-то... не могу подыскать менее торжественного слова: как-то благостно. Простились, разошлись. И перед глазами все стояло это изумительно преображенное, светящееся лицо.

4 марта 1887 года в газетах появилось следующее правительственное сообщение:

1 сего марта на Невском проспекте около 11 час. утра задержаны три студента С.-Петербургского университета, при коих по обыску найдены разрывные снаряды Задержанные заявили, что они принадлежат к тайному преступному обществу, а отобранные снаряды по осмотре их экспертом оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином.

Все в университете уже раньше появления правительственного сообщения знали о случившемся,— что готовилось покушение на Александра III, возвращавшегося из Петропавловской крепости с панихиды по его отце. А мы еще узнали, что одним из трех арестованных метальщиков был Генералов, а организатором заговора — Говорухин, что он успел бежать за границу. В числе арестованных называли еще Лукашевича и Ульянова. С Лукашевичем я знаком не был, но по описанию сразу представил его себе — часто видел его в университете; своею необычайною наружностью он невольно бросался в глаза: гигантского роста, с белым, нежным, девическим лицом и девическим румянцем; мне он особенно запомнился, потому что лицом странно напоминал Наташу Конопацкую. А Александра Ульянова я встретил раз у студента Михаила Туган-Барановского. В памяти остались черные, прекрасные, очень серьезные глаза и черная блуза, подпоясанная ремнем.

Позже я узнал, что метальщики уже с 26 февраля ежедневно к 11 часам утра выходили со снарядами на Невский, подкараулривая царя. Встретил я Генералова в один из

этих напряженных дней,— когда он, очевидно, возвращался с Невского после бесплодного ожидания проезда царя, и так обычно, как все, шел обедать в кухмистерскую, чтобы завтра снова идти на свою предсмертную прогулку по Невскому.

Было радостно, гордо и страшно. Ждала их казнь, это было несомненно. Рассказывали, что в Петропавловской крепости их подвергают пыткам, чтобы выведать подробности и участников организации. Букинист в Александровском рынке злорадно говорил:

— Накормят селедкой до отвалу, а воды потом не станут давать... Небось, сразу все расскажут!

6 марта, по вывешенному объявлению, студенты собрались в актовом зале университета. Взошел на кафедру ректор, Иван Ефимович Андреевский. С обычным своим жестом, простирая к студентам руки, он заговорил взволнованно:

— Господа! Я поражен! Я потрясен! Убежден, что и вы все, до последнего человека, разделяете со мною жгучее негодование по поводу происшедшего...

Мы закричали из разных концов зала:

— Нет! Нет!

Ректор продолжал:

— Я знаю, что, с грустью преклоняясь перед совершившимся, вы все, однако, чувствуете необходимость выразить все ваше негодование и сказать о вас сомневающимся: студенты Петербургского университета всею силою своей молодой души протестуют против совершившегося гнусного поступка...

Мы яро, во весь голос, кричали:

— Нет! Нет!

Но нас дружно глушили рукоплескания большинства. Ректор с кафедры обратился к нам и сказал вполголоса:

— Как же нет? Вы слышите,— рукоплещут?

И он огласил проект адреса на имя царя:

«Ваше императорское величество, государь всемилостивейший! Три злоумышленника, недавно сделавшись, к великому несчастью С.-Петербургского университета, его студентами, своим участием в адском замысле и преступном сообществе нанесли университету неизгладимый позор...»

— Мы гордимся ими! — раздались крики, задушенные рукоплесканиями.

— «Тяжко! Скорбно! Безвыходно! — продолжал читать ректор.— И в эти горестные дни С.-Петербургский университет в целом его составе, все его профессора и студенты ищут себе единственного утешения в милостивом, государь, дозволении повергнуть к священным стопам вашего величества чувства верноподданнической преданности и горячей любви».

По залу перекатывались рукоплескания.

— Вы подпишетесь под адресом?

— Ни за что!

Спрашивал высокий студент с черной бородкой, бледный и очень взволнованный. Фамилия Порфиров. Я с ним встречался в библиотеке студенческого Научно-литературного общества, где мы оба работали библиотекарями.

Подошел Воскобойников, студент-естественник, член нашего кружка. Еще подошли. Я предложил:

— Когда пригласят подписываться, выйдем все первыми, один за другим, и заявим, что отказываемся подписаться.

Теперь в душе с вызовом думалось о папе и представлялось, как бы я ему ответил: «Нет уж, прости! Подлецом я быть не хотел!»

Мы протолкались сквозь гущу студентов и стали в первом ряду. Но ректор проявил большую осторожность,— а может, и мягкость душевную: студентам не было предложено подписаться.

Ректор сошел с кафедры. Не смолкая, гремели рукоплескания. Один студент вскочил на подоконник и затянул «Боже, царя храни!» Его стащили за фалды. Но та же песня раздалась с другого конца, и масса дружно подхватила. Студенты валили к выходу, демонстративно-широко раскрывали рты и пели.

Я пошел в библиотеку нашего Научно-литературного общества. Порфиров, схватившись за голову и наклонясь над столом, рыдал. Остальные все стояли,— бледные, растерянные и подавленные.

Эта патриотическая манифестация студенчества в моем воспоминании стоит вехой, отмечающей обрывистый уклон в общественных настроениях студенчества во второй половине восьмидесятых годов. На глазах настроения эти катились в откровенную грязь. На университетском празд-

нике 8 февраля Владимир Соловьев, сказавший речь против антисемитизма, был освистан слушателями. Осенью 1888 года произошло так называемое «чудесное спасение» царя с семейством около станции Борки: царский поезд на всем ходу сошел с рельсов и опрокинулся, и все остались живы. Когда царь после катастрофы воротился в Петербург, студенты на Казанской площади густою массою окружили царский экипаж, кричали «ура!», целовали царю руки. Царь после этого говорил министру народного просвещения Делянову, что испытал большое удовольствие и умиление от встречи, которую ему устроили эти «милые мальчики».

Покушение 1 марта 1887 года было последнею вспышкою революционных террористов. И все стало тихо. Жизнь превратилась в мутное, мертвое болото. Горизонт был темен. И становилось кругом все темнее.

Мне все больше становился неприятен Печерников,— душевным своим цинизмом, всегдашним уменьем выйти из спора победителем нисколько не убежденного противника, своею софистикой, которой я не умел разоблачить, и своею властью надо мною. Она сказывалась даже в мелочах.

— Перейдем на ту сторону улицы.

— Незачем, и здесь хорошо.

Так он мне. Если же Печерников говорил «на ту сторону», то без разговоров переходили. И так во всем. Я не хотел ему подчиняться, но подчинялся невольно. И большого труда стоило вести собственную свою нравственную линию под его мефистофелевской усмешкой и уменьем неопровержимо доказать правильность своего мнения.

Я стал избегать его. Сам к нему не заходил. Если он звал куда идти,— под разными предлогами отказывался.

Однажды Печерников пришел ко мне,— бледный, очень взволнованный, и сказал:

— Мне нужно с тобой поговорить.

И спросил:

— Почему ты меня стал избегать?

Я сначала отнекивался, потом высказал все, что имел против него. Печерников слушал, и лицо его становилось все радостнее. Он облегченно вздохнул.

— Только-то? Ну, слава-те, господи! А я уж думал ни-

весть что...— Он улыбнулся.— Будем теперь всегда переходить улицу там, где захочется тебе.

Он положил руку на мою кисть, крепко пожал ее сверху.

— Викентий, друг мой милый! Я очень дорожу твоею дружбой. Ты такой чистый и умилительно-наивный, хотя вовсе не глупый. Я совсем себя иначе начинаю чувствовать, когда с тобою...— Оживился и сказал: — Ну, одевайся поприличнее, едем!

— Куда?

Он рассказал: у московского одного купца какие-то две облигации по тысяче рублей потеряли силу, он передал их Печерникову и обещал 50% с суммы, которую ему удастся за них получить. Печерников подавал прошения в разные департаменты и министерства, ссылался на свое бедственное студенческое положение и добился-таки, что ему за эти облигации заплатили четыреста рублей,— значит, получил куртажу двести рублей.

— Ты в ресторане Палкина никогда еще не бывал?

— Конечно, не бывал.

— Едем туда, кутнем на купцовские денежки. Увидишь, как там едят. Шампанского спросим.

— Нет, не поеду. Мне не нравится, как ты эти деньги получил.

Печерников потемнел. Потом тряхнул головою.

— Ну, тогда черт с ними, с денежками этими. Жертвую их на нелегальную типографию. Пойдем в трактиришко, выпьем на честные деньги, расходы пополам...

Мы сидели в «Золотом якоре», пили водку. Печерников был необычно как-то растроган, жал мне руку и повторял, как он рад, что все недоразумения между нами разъяснились. И прибавил:

— Я глубоко убежден: нет между друзьями таких недоразумений, которых нельзя было бы благополучно распутать. За одним только исключением: если в отношения замешана женщина. Ну, тогда пиши пропало!

Расстались мы дружески.

А недели через две пришел ко мне Воскобойников и с неулыбающимся лицом сказал:

— Нужно нам с вами обсудить одно дельце.

— Какое?

Он взволнованно сел.

— Вы знаете? Леонидка... Уже с год, по-видимому, как болен сифилисом.

— Что вы говорите?

Воскобойников рассказал, что раз он зашел к Леониду, не застал его дома, а ему нужен был для реферата Щапов. Стал искать, выдвинул нижний ящик комода,— и увидел там баночку с ртутною мазью, шприц, лекарственные склянки с рецептами еще за минувший год.

— Тут я вспомнил,— прибавил он,— ряд его поступков, которые очень казались странными. Помните, раз зимою, у него: стаканов лишних не было, я хотел налить себе в его стакан, он закрыл его рукою и не дал; я его обругал тогда, а он уперся на своем: «Это мой каприз, — не дам!» Ясно, почему не хотел дать.

Я сидел потрясенный.

— Да, но ведь все-таки стакана-то не дал...— наконец сказал я.

Вдруг одна мысль горячей иголкой пронизала мозг.

Я спросил:

— Скажите, не помните вы,— какие на рецептах были самые ранние даты?

— Помнится, за март — апрель прошлого года.

— А уже в мае он демонстрировал мне свою связь с девушкой из кухмистерской Дервиза... Ах, негодяй!

Мы долго обсуждали, как нам поступить. Я понял теперь, почему Печерников был так взволнован, когда приходил ко мне объясняться, и почему так облегченно вздохнул, когда узнал о причине моего отчуждения. Как нам поступить? Личное ли это было его дело, или он не имел права от нас скрывать? Он, сколько мог, оберегал от себя товарищей, но я помнил: когда после лета я приехал из дому и при встрече обнялся с ним и хотел поцеловать, он приметно отшатнулся,— однако отдал поцелуй. Но главное: мы знали, за это время он имел целый ряд связей с женщинами,— и покупных и не платных. И Гретхен! Милая, может быть, даже еще невинная до того, Гретхен!.. Негодяй! негодяй!

Мы решили порвать с Печерниковым знакомство. Я написал ему такое письмо:

Леонид Александрович!

Из целого ряда совершенно несомненных данных я заключаю, что в течение последнего года Вы совершили ряд действий, несовместимых с элементарнейшею порядочностью, поэтому прошу Вас больше не считать меня в числе Ваших знакомых.

На следующий день вошел ко мне в комнату Леонид, страшно бледный. Я, тоже очень бледный, встал и молча смотрел на него, не протягивая руки.

— Викентий, что значит твое вчерашнее письмо?

— Вы не понимаете, что оно значит?

— «Вы»?.. Вот уже как! Говори же,— в чем дело?

— Почему вы нам не сказали, что больны сифилисом?

— Кому до этого дело?!

И страстно, горячо он стал доказывать, что дело это касалось его одного, что он принимал вернейшие меры, чтоб не заразить никого из тех, кто с ним приходил в соприкосновение. Я знал: если начну спорить и доказывать, он сумеет вывернуться, сумеет, по-всегдашнему, доказать свое, нисколько не убеждая. Я прервал его:

— Извините, Леонид Александрович, нам больше не о чем с вами разговаривать. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы оставили мою комнату.

Подошел к двери и открыл ее. Печерников пошатнулся.

— Викентий! Ты меня выгоняешь?!

И он продолжал говорить о том, как я несправедливо поступаю, что я поддался наговорам Воскобойникова, который всегда, еще с гимназических времен, завидовал ему и ненавидел за его талантливость и успехи у женщин.

Я нетерпеливо вздохнул и забарабанил пальцами по двери. Печерников взглянул мне в глаза,— махнул рукою и вышел.

Больше я с Печерниковым не встречался. Летом того же года он, в числе других студентов, переписанных на добролюбовской демонстрации, был исключен из университета, поступил в ярославский Демидовский лицей юридических наук и там окончил курс. После этого адвокатствовал в Москве. Через несколько лет имя его промелькнуло в газетах по поводу загадочной истории с ящиком, в котором хранилось какое-то абиссинское знамя. Еще через несколько лет один его товарищ посетил Печерникова в Москве. Печерников был женат на богатой купчихе, у него была куча золотушных детей. В столовой сидело несколько подвыпивших, толстых попов, он пил с ними водку и угощал пирогом с капустой. По уходе их он, смеясь, объяснил товарищу, что клиентуру его составляют преимущественно попы и что ему нужно с ними ладить.

9 мая 1887 года в газетах появилось официальное сообщение о покушении 1 марта,— изложение дела, суда, приговор, и в заключение:

Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года.

Одно — читать подобные сообщения о незнакомых, и совсем другое, когда в страшной ясности видишь воображением живые лица — взгляд исподлобья и молодую бородку одного, прекрасные, серьезные глаза другого,— и как лица эти исказились от стянувшей горло петли...

Экзаменов с третьего курса на четвертый было у меня много. И пришлось весною очень много заниматься: посещал я лекции только некоторых, мне особенно нравившихся профессоров,— Васильевского, Семевского, Прахова, а многих, у которых предстояло держать экзамен, не знал даже в лицо.

Между тем что-то странное творилось со мною: голова работала вяло, всегда превосходная память задырявилась и ничего в себе не держала; постоянно я либо зяб, либо потел, ночи спал тяжело. Однако сдавал экзамен за экзаменом. Наконец, совсем стало невмоготу. Брат Миша, с которым мы вместе жили, позвал по вывеске доктора. Доктор с красивым, плоским и затаенно-холодным лицом осмотрел, велел каждое утро и вечер записывать температуру и прописал раствор соляной кислоты с малиновым сиропом. Для последнего экзамена я еле дошел до университета, попросил товарищей уступить мне очередь и экзамен сдал. Но вот как: я мог рассказывать только подряд, как было написано в литографированных лекциях; но когда профессор стал задавать мне отдельные вопросы, я совершенно не мог направить на них свою память. Профессор, должно быть, заметил мое больное лицо, не стал докучать и отпустил, поставив пятерку.

Пришел домой и окончательно свалился. Брат поехал в Петропавловскую крепость к доктору Вильмсу и показал листок с моей температурой. Гаврила Иванович ахнул и всплеснул руками:

— Батенька! Брюшной тиф в самом разгаре! И в этаком состоянии держал экзамены! Самый верный способ

на всю жизнь стать идиотом. Скорее сажайте его в вагон и отправляйте домой, пусть дома хворает. Что ему тут все лето валяться в больнице!

Помню мучительную дорогу, тряску вагона, ночные бреды и поты; помню, как в Москве, на Курском вокзале, в ожидании поезда, я сидел за буфетным столиком в зимней шубе в июньскую жару, и было мне холодно, и очень хотелось съесть кусок кровавого ростбифа с хреном, который я видел на буфетной стойке. В Туле мама по телеграмме встретила меня на вокзале. Мягкая постель, белые простыни, тишина. И на две недели — бред и полусознание.

Медленно поправлялся. В окна смотрела густая зелень нашего тульского сада. В теле была грустная, сладкая слабость. Только бешено хотелось есть. По тогдашним воззрениям, выздоравливавших от брюшного тифа можно было кормить только бульоном, а я, мне казалось, способен был бы съесть целого барана. Да еще не иначе, как сам дьявол подсунул мне на стол поваренную книгу,— «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец. От скуки я целыми часами перечитывал примерные меню и описание способа приготовления разных вкусных кушаний. Казалось, слышал голос гоголевского Петра Петровича Петуха: «Да поджарь, да подпеки, да в один угол кулебяки загни ты мне телячьих мозгов, а в другой...» И слюнки текли, как у неделю не евшей собаки.

Наконец встал. Чувствовал необычайный прилив сил и небывалую радостность. Ах, как все вокруг было хорошо! И милые люди, и поместительный наш дом, и тенистый сад. И еще особенная радость: получил из Петербурга номер «Всемирной иллюстрации», в нем был напечатан мой рассказ «Мерзкий мальчишка»,— тот самый, который был принят в «Неделю» и не помещен из-за малых своих размеров. Я его потом послал во «Всемирную иллюстрацию».

Сел писать новый, только что задуманный рассказец — «Загадка». Писал его с медленною радостью, наслаждаясь, как уверенно-спокойно работала голова. Послал во «Всемирную иллюстрацию». Напечатали в ближайшем номере. И гонорар прислали за оба рассказа. Вот уж как! Деньги платят. Значит, совсем уже, можно сказать, писатель.

В конце июля поехал для наблюдений к родственникам-помещикам, рассеянным по Тульской губернии. Их много

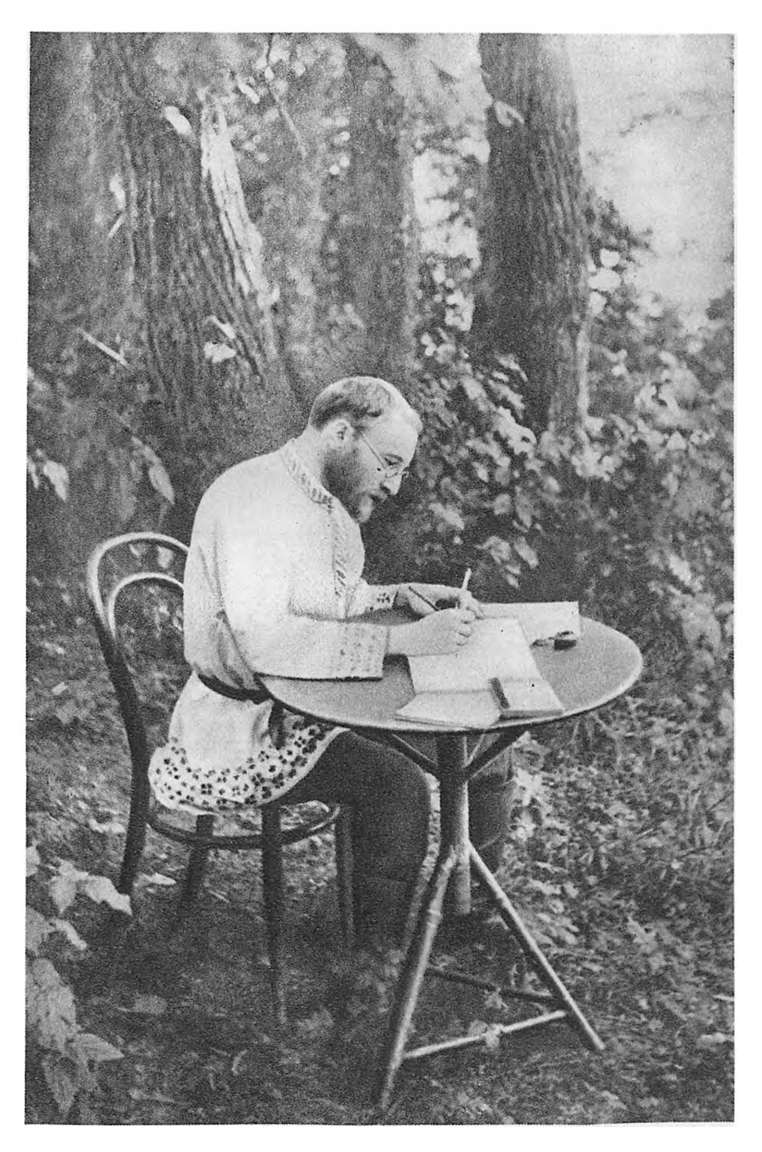
было у нас: Смидовичи, Левицкие, Юницкие, Кашерининовы, Пиотровские, Кривцовы. Произошло у меня несколько недоразумений. Приехал в Одинцово,— богатое имение брата моей бабушки, Ивана Ивановича Левицкого. Ефремовский уездный предводитель дворянства, высокий старик с седыми волосами и седой бородой, очень напоминавший Тургенева. Его жена, Полина Васильевна, сухонькая, надменная и очень бонтонная старушка; прозвание среди родственников ей было: «тихо-хитро-сплетенная». Приехав, я разлетелся на террасу, где оба они сидели рядом на мягком диванчике в тени дикого винограда, и, по-родственному, крепко стал целовать в губы. Почувствовал, как Полина Васильевна недовольно отшатнулась. И все время была со мною очень холодна. Как воспитанный внучек, я должен был почтительно поцеловать им ручки, а не лезть целоваться в губы. Но у нас в доме совсем не было в заводе целовать кому-нибудь руки, так что я даже не знал, в чем я проштрафился,— только чувствовал себя очень неловко. В Одинцово я привез весть о смерти Каткова, издателя проклятой памяти «Московских ведомостей». Иван Иванович ужаснулся, горестно перекрестился и сказал значительно:

— Царствие ему небесное! Великий был человек и истинный друг родины!

Хорошо, что меня предупредили еще дома о его отношении к Каткову, а то бы я начал свое сообщение о его смерти так: «Привез вам радостную весть».

Из Одинцова поехал в Каменку. Там хозяйничал мамин брат, дядя Саша, а в отдельном флигеле жила бывшая владелица имения, «баба-Настя» — сестра бабушки, моя крестная мать, добрая и простая старушка с умными глазами. Тут-то уж, конечно, можно и нужно было расцеловаться с нею по-хорошему. Но я обжегся на молоке, губы еще были в пузырях. И я поздоровался с нею — за руку! Пожал руку. Видел ее огорченные и удивленные глаза и понял, что опять сделал глупость.

Повсюду читал наизусть «Гефсиманскую ночь» и «Песни о родине» Минского, стихи Надсона. Старики, остановившиеся на Пушкине и Лермонтове, слушали с интересом; молодежь, особенно девушки,— с восторгом. И наблюдал я помещичью жизнь — мелкость интересов, роскошную жизнь среди бедствующих крестьян, их эксплуатацию — и замысливал повесть о тоскующем русском интеллиген-



В. Вересаев в ссылке в Тульской губернии. 1902 год.



В. ВЕРЕСАЕВ.
Начало 1900-х годов.

те: как он задыхается от окружающей его пошлости и жестокости, как обличает их,— и как горько пьянствует где-нибудь в трактирчике, заливая водкою ощущение одиночества и благородные страдания своей души.

А в Петербурге в это время происходила расправа над нашим университетом. Ректор, либеральный и гуманный И. Е. Андреевский, был смещен, и на его место назначен профессор философии и психологии нашего, филологического, факультета, Михаил Иванович Владиславлев. Это был грузный мужчина с лицом уездного лабазника, раскосые глаза глядели в стороны. Воззрений держался самых охранительных, был туп, свиреп и привержен к начальству. Он начал усердную чистку университета. Исключил, без объяснения причин, несколько сот студентов,— всех, которые были сколько-нибудь на примете у полиции; в первую очередь были исключены переписанные во время добролюбовской демонстрации. Студенты эти, совершенно для себя неожиданно, получили по месту жительства свои бумаги с уведомлением, что они уволены из университета. В числе уволенных был, как я уж рассказывал, Печерников. Уволен был также Шлепянов. Он уехал в Париж и поступил там в медицинскую школу.

Ряд курьезных переделок был произведен Владиславлевым в здании университета. Вправо от парадного входа, в нижнем этаже, шли обширные раздевальные помещения, уставленные рядами вешалок, с огромными окнами на улицу. В конце раздевальной дверь вела в обширную студенческую библиотеку-читальню. Фундаментальная, научная библиотека помещалась наверху, а тут на столах были разложены все выходившие в России журналы и газеты, выдавалась студентам беллетристика, публицистика и ходовые в студенчестве книги для собственного чтения, а не для научной работы. Заведывал студенческою читальнею Алексей Кириллович Кириллов, милый человек в темных очках, остроумный, большой приятель всех студентов. В задней части нижнего этажа, выходившей окнами на двор, помещался студенческий буфет.

Владиславлев решил, что от читальни и буфета один только вред: они способствуют общению между студентами, взаимному знакомству, разговорам. Между тем первый же параграф университетского устава гласил: «Студент

есть *отдельный* посетитель университета»,— значит, всякое общение студентов между собою являлось нежелательным. Владиславлев закрыл студенческую читальню, все книги перевел в фундаментальную библиотеку и выдачу их подчинил обычным правилам: текущих газет, журналов и беллетристики не выдавать. Пришлось ввести себе в бюджет новую расходную статью,— по пятачку в день на кружку пива: номер газеты стоил пятак, а в портерной за тот же пятак можно было читать все газеты и еженедельные журналы, и в придачу — кружка пива. Буфет университетский тоже был закрыт, нам предоставлено было питаться где угодно. Глухая стена без дверей отгородила переднюю часть нижнего помещения от задней. В передней части были устроены вешалки для физико-математического и восточного факультетов, в задней — для юридического и историко-филологического. В первое помещение можно было попасть только с улицы, во второе — только со двора. Это тоже во избежание «скопа».

Воротившись с каникул осенью, мы, по старой привычке, спешили в читальню, открывали дверь и в изумлении останавливались: вместо читальни был большой, великолепно оборудованный... ватерклозет! Кафельный пол, белые писсуары, желтые двери уютных каюток. Нужно же было придумать! Ходила острота, что в Петербургском университете произошли две соответственных перемены: вместо Андреевского — Владиславлев и вместо читальни — ватерклозет.

Библиотекарь Алексей Кириллович был переведен наверх, в фундаментальную библиотеку. Мы его спрашивали о дальнейшей его судьбе.

— Не знаю. Мне Владиславлев сказал: «Мы вас не оставим». А что это значит: милостью ли своею не оставят или на службе не оставят,— не знаю.

И, вздохнув, прибавлял:

— Я, господа, человек маленький, могу протестовать только в вершковом масштабе. Заметил я, что как только придет Владиславлев в профессорскую читальню, первым делом берется за «Московские ведомости». Вот я нарочно и запрячу их подальше, уж он ищет, ищет... Как я еще могу протестовать?

В журнале «Вестник Европы» появилась статья, вызвавшая в Петербурге огромную сенсацию. Это была очеред-

ная общественная хроника. Отдел общественной хроники был наиболее живым и наиболее читаемым отделом мертвенно-либерального, сухо-академического «Вестника Европы», органа либеральной русской профессуры. Хроника не подписывалась, но все знали, что ведет ее талантливый публицист, впоследствии почетный академик, К. К. Арсеньев.

В одной недавно произнесенной речи,— писал хроникер,— в тесном кругу наставников, было выражено желание, чтобы университеты вошли в «условия спокойного и нормального существования»... Студент,—продолжал оратор,—должен получить, кроме научного, правильное политическое и *нравственное* образование. В университете должна быть *нормальная, в нравственном смысле, атмосфера,* которая исцеляла бы нравственное худосочие. Такую атмосферу могут образовать совокупные усилия наставников.

А вслед за этим хроникером приводились выдержки из одного обширного психологического исследования. В исследовании делалась попытка «количественного анализа» чувствований, попытка изобразить их рост, увеличение глубины и силы.

«Проследим,— говорит автор,— возрастание чувств уважения, удивления, грандиозности по поводу разностей в имущественном положении. Берем оклад ординарного профессора — три тысячи рублей — и проследим, как должны, в экономическом отношении, видоизменяться указанные чувства его к людям, выше его поставленным». И автор психологического исследования прослеживал, какое жалованье должен получать человек, чтобы вызвать у профессора «чувство уважения», какое — чтобы вызвать чувство «удивления», и какое — чтобы вызвать чувство «грандиозности». Главную роль в отношениях между людьми, писал исследователь, играет имущественное положение. Размеры природного ума, образования, происхождение, характер могут улучшать или ухудшать личное положение того или другого лица, но это все будут исключения. Директор департамента получает в три раза меньше, чем министр,— следовательно, должен питать к последнему «уважение, граничащее с удивлением». Младший делопроизводитель получает в семь раз меньше, чем директор,— следовательно, должен питать к нему «удивление с высокими степенями уважения»; наоборот, чувство директора к младшему делопроизводителю должно быть «родственно презрению». Помощник делопроизводителя, получающий в сорок шесть раз меньше министра, «должен пи-

тать к нему чувство, близкое к грандиозности, должен чувствовать величие его».

Можно ли представить себе что-нибудь более унизительное для человеческого достоинства, чем все эти выкладки и расчеты, претендующие на научность?—писал автор «Общественной хроники».—Лестница восходящих и нисходящих чувств является для автора чем-то вроде нравственного закона. Он видит в уважении и удивлении естественных, нормальных спутников богатства, в пренебрежении и презрении—нормальных спутников бедности. Чтобы лучше подчеркнуть свою мысль, он выводит на сцену профессора университета, то есть такое лицо, в котором чувства уважения и удивления, пренебрежения и презрения меньше всего должны зависеть от мешка с деньгами,— и именно на нем экспериментирует свою теорию. Не думаем, чтобы такое учение способствовало «нравственному воспитанию» молодых людей, особенно в наш век, пораженный и без того культом «золотого тельца»... А между тем автором вышеупомянутой речи о нравственном воспитании юношества и автором психологического исследования является одно и то же лицо: профессор Михаил Иванович Владиславлев. Нужно надеяться,— заканчивал автор «Общественной хроники»,— что г. Владиславлев не держится, по крайней мере, теперь своих прежних взглядов или, во всяком случае, не излагает их с университетской кафедры.

Удар для Владиславлева был жесточайший. Хохот перекатывался по всему Петербургу. Студенты справлялись друг у друга, сколько кто получает в месяц денег, и определяли, к кому кто должен питать презрение, к кому уважение и восхищение.

Я теперь не помню и до сих пор не пойму, почему на филологическом факультете я пошел по историческому отделению, а не словесному: литература меня всегда интересовала больше истории; притом состав преподавателей на словесном отделении был очень хороший, и среди них яркою звездою блистал такой исключительный ученый, как Александр Веселовский.

Пора было подумать о кандидатской диссертации и решить, к какому профессору обратиться за темой. Меня больше всего привлекал на нашем историческом отделении профессор В. Г. Васильевский, читавший среднюю историю. У него я и собирался писать диссертацию. Но я уже рассказывал: после позорнейшего ответа на его экзамене мне стыдно было даже попасться ему на глаза, не то, чтобы работать у него.

Семевский был уже удален из университета. Русскую историю читал образцово-бездарный Е. Е. Замысловский, новую — блестящий Н. И. Кареев; однако за внешним

блеском его лекций угнетала внутренняя их пресность и водянистость. И меня Кареев совсем не привлекал. Было все равно. Я взял тему для кандидатской диссертации у Замысловского — «Известия Татищева, относящиеся к четырнадцатому веку».

В. Н. Татищев — историк первой половины восемнадцатого столетия. В своей «Истории» он дал добросовестную сводку всех дошедших летописей, при этом пользовался и некоторыми летописями, которые потом были утеряны. Нужно было сверить его «Историю» с дошедшими летописями, выделить сведения, имеющиеся только у Татищева, и подвергнуть их критической оценке. Работа оказалась для меня очень интересной. Я целые вечера проводил в Публичной библиотеке, сверял Татищева с фолиантами летописей в издании Археографической комиссии и наслаждался чудесным языком летописей. Сделал ряд маленьких открытий, которые в то время очень меня тешили. Например, был какой-то боярин Иакинф, не помню уже, чем отличившийся; у Татищева, и только у него одного, была приведена и его фамилия: Ботрин. С ссылкою на Татищева Сергей Соловьев в своей «Истории России» сообщал фамилию Иакинфа, а Строев в «Ключе» к «Истории» Соловьева привел уже целую генеалогию «Бояр Ботриных». Между тем оказалось, что у Татищева слово «Ботрин» стояло точно там, где в соответственном месте летописи стояло слово «боярин». Ясно, Татищев просто не разобрал слова и «боярина» принял за фамилию Иакинфа.

Последний, четвертый, год студенческой моей жизни в Петербурге помнится мною как-то смутно. Совсем стало тихо и мертво. Почти все живое и свежее было выброшено из университета. Кажется мне, я больше стал заниматься наукою. Стихи писать совсем перестал, но много писал повестей и рассказов, посылал их в журналы, но неизменно получал отказы. Приходил в отчаяние, говорил себе: «Больше писать не буду!» Однако проходил месяц-другой, отчаяние улегалось, и я опять начинал писать.

Кружок наш давно уже распался. Из членов его я видался с Воскобойниковым; он окончил естественный факультет и поступил в Военно-медицинскую академию. В Медицинскую же академию перевелся и Порфиров,— тот

бледный студент с черной бородкой, с которым нас сблизили совместные переживания в актовом зале во время речи ректора Андреевского по поводу покушения 1 марта.

Мы бывали друг у друга. Меня тянуло к нему, как из накуренной комнаты тянет на свежий воздух. Чисто как-то было около него; смотрел он на жизнь серьезно и строго. Он был сын полковника, учился в кадетском корпусе, потом поступил в военное училище, но кончать не захотел, а пошел отслуживать казенный кошт солдатом, не пожелал пользоваться никакими льготами, жил и служил как простой рядовой. Отбыв срок, поступил в университет, первое время увлекался ботаникой и минералогией, но нашел, что слишком отрывается от жизни, и перевелся в Медицинскую академию. Свои жизненные потребности он сводил до крайнего предела, питался хлебом, щами и кашей, которые часто сам и варил. Одно лето провел простым чернорабочим. Здоровье его было очень плохо. От усиленных умственных занятий при слабом питании появилась неврастения. Чувствовалось, как он тает и разрушается, но во внутрь души он к себе никого не пускал.

И вдруг весть:

— Порфиров застрелился.

— Да не может быть!

— Сегодня ночью. Чтоб не доставлять хлопот квартирным своим хозяевам, пошел на набережную Невы и под одним из сфинксов...

Сошлись мы вместе, сидели и молчали. Читали его предсмертное письмо. В нем Порфиров просил товарищей простить ему его страшное преступление против общества: но он потерял веру в себя, в свои силы, в окружающих людей. Почувствовал нравственный упадок и в доказательство сообщал, что прежде ограничивался черным хлебом, а в последнее время ему стало хотеться булок и кренделей.

Хоронили его в ясное мартовское утро. Снег блестел, вода капала с крыш. Какие у всех на похоронах были славные лица! Я уж не раз замечал, как поразительно красиво становится самое ординарное лицо в минуту искренней, глубокой печали. Гроб все время несли на руках, были венки.

Как его любили!
Как похоронили!

А через две недели — новые похороны. В припадке острого душевного расстройства Гаршин бросился с четвертого этажа в пролет лестницы и через несколько дней умер. Стискивалось сердце и не могло разжаться, нечем было дышать, хотелось схватиться за голову, рыдать, спрашивать: «Да что же это делается?!»

С увлечением слушал я на четвертом курсе лекции по истории греческого искусства. Читал профессор Адриан Викторович Прахов,— читал со страстью и блеском. Седоватый человек с холеным, барским лицом, в золотых очках. Вскоре он был переведен из Петербургского университета в Киевский, с тем чтобы принять в свое заведывание постройку знаменитого Владимирского собора.

Читал Прахов в здании университета, в кабинете искусств, но часто назначал лекции свои в Эрмитаже или в Академии художеств и там читал, прямо перед статуями, об эгинских мраморах, о скульптурных типах Венеры, Зевса и Аполлона. Подвел нас к пышной Венере Таврической.

— Нравится вам?

— Очень.

Прахов усмехнулся, подверг статую подробному разбору, и мы все почувствовали, сколько в ней изнеженного, упадочного и даже просто вульгарного.

— А вот посмотрите на эту статую Венеры, сравните ее с Таврической...

Смотрели с недоумением: одетая. Что интересного в одетой скульптуре?

— Тип Венеры Анадиомены. Посмотрите, какою она одета прозрачною тканью, как просвечивает сквозь ткань божественное тело, сколько строгости и благородства в каждой линии...

Он заметил интерес, с каким я относился к его лекциям, несколько раз поручал мне читать перед товарищами, подготовившись по указанным им источникам. Однажды подошел ко мне после лекции и спросил:

— Вы какую специальность выбрали себе?

Ясно было, что хочет предложить пойти по его специальности. Мне очень было жалко, что не могу ответить ему, как он желал. И я сказал:

— Курсовое сочинение пишу по русской истории, а по окончании курса собираюсь поступить на медицинский факультет.

Прахов изумился.

— На медицинский?!! — Помолчал и сказал: — Жалко, жалко!

Я давно уже решил по окончании курса поступить на медицинский факультет. Меня не удовлетворяли исключительно гуманитарные науки, хотелось наук точных и точных методов, знаний реальных. Потом: хотел в какой-нибудь области иметь знания прочные и всегда нужные, чтобы с ними во всех обстоятельствах жизни чувствовать себя независимым. С филологического факультета кем я мог выйти? Учителем... ну, профессором. Признает тебя начальство неблагонадежным,— и все твои знания некуда будет применить, и ты будешь выброшен из жизни. А работа врача нужна везде и всегда, независимо от того, как к тебе относится начальство

И наконец, была еще одна причина, самая главная, но о ней я никому не говорил. Я мечтал стать писателем, и именно беллетристом А писатель, изучая человека, должен быть совершенно ориентирован в строении и отправлениях его тела, во всех здоровых и болезненных состояниях как тела его, так и духа. И потом: я туго и трудно сходился с людьми и надеялся, что профессия врача облегчит мне такое сближение, даст возможность наблюдать людей в таких интимных проявлениях, в каких сторонний человек никогда их не сможет увидеть.

Папа очень сочувственно относился к моему намерению. С радостью говорил, как мне будет полезна для занятий химией домашняя его лаборатория, как я смогу работать на каникулах под его руководством в Туле, сколько он мне сможет доставлять больных для наблюдения. Он надеялся, что я пойду по научной дороге, стану профессором. К писательским моим попыткам он был глубоко равнодушен и смотрел на них как на занятие пустяковое.

Препятствием к поступлению была только материальная сторона. Отцу было бы совершенно не под силу содержать меня еще пять лет на медицинском факультете. Никто из нас, его детей, не стоял еще на своих ногах, старший брат только еще должен был в этом году окончить Горный институт. А было нас восемь человек, маленькие подрастали, поступали в гимназию, расходы с каждым годом росли, а практика у папы падала. Жить уроками, при много-

численности предметов на медицинском факультете, представлялось затруднительным.

Я узнал, что при Военно-медицинской академии в Петербурге существует стипендия баронета Вилье, лейб-медика императора Александра I. Стипендия очень богатая, 60 руб. в месяц (обычный размер студенческой стипендии в то время был 25 руб.); выдается стипендия лицам, *окончившим историко-филологический факультет* (Studia humaniora) и поступающим в Военно-медицинскую академию; по окончании курса командировка на три года за границу для усовершенствования, причем один год обязательно пробыть... в Эдинбурге (очевидно, во времена Вилье шотландская столица славилась медицинским факультетом). Цель стипендии — подготовка для профессорских кафедр людей разносторонне образованных. Я узнал еще, что стипендия эта чуть не десять лет уже пустует, потому что среди окончивших филологический факультет не находится желающих.

Для меня все условия были очень подходящие. Я решил по окончании курса подать прошение на эту стипендию, а пока стал усиленно заниматься английским языком; я был в нем слаб, а знание его требовалось для стипендии наравне с немецким и французским.

В конце мая я окончил курс историко-филологического факультета со степенью кандидата исторических наук. В дипломе по всем предметам у меня стояли пятерки, но среди этих белых голубок неблагонадежным вороном чернела зловещая тройка по богословию. Попался мне на экзамене билет: «Доказательства бытия божия». Есть четыре таких доказательства, причем об одном из них замечалось в курсе богословия, что убедительно оно может быть только для людей, обладающих чистотою души. Стал я излагать доказательства бытия божия; по поводу одного из них профессор богословия, протоиерей Рождественский, спросил меня:

— Что же, доказательство это убедительно или нет?

Я скорчил благочестивую рожу и ответил:

— Собственно говоря, для восприятия полной его убедительности необходима чистота души.

Протоиерей пришел в ярость.

— Как?! Это — самое убедительное из всех доказательств! Чего же вам еще убедительнее?

И поставил мне тройку.

Получил временное свидетельство об окончании курса, подал прошение в Военно-медицинскую академию о принятии меня в число студентов и другое — о назначении мне стипендии баронета Вилье. И уехал в Тулу.

Папа очень радовался моему намерению изучать медицину. Он привел в порядок и расширил свою лабораторию, выписал от Феррейна массу новой химической посуды, колб, реторт, бюреток, разных химических веществ и реактивов. Я усиленно изучал английский язык и брал уроки у англичанки, жившей в Туле в одном богатом семействе.

Пошел в гости к Конопацким. С ними у меня ничего уже не было общего, но властно царило в душе поэтическое обаяние миновавшей любви, и сердце, когда я подходил к их новому большому дому на Калужской, по-прежнему замирало.

В уютной, но мне, после старого дома, такой чужой гостиной сидела со своею доброю улыбкою полная Марья Матвеевна, сидела еще похорошевшая Люба; высокий бритый Адам Николаевич медленно расхаживал по темно-блестящему паркету гостиной. Марья Матвеевна спросила:

— Вот вы окончили университет. Что же вы теперь собираетесь делать?

— Я поступаю на медицинский факультет.

Она широко раскрыла глаза. Все глубоко замолчали. Наконец Марья Матвеевна переспросила:

— На ме-ди-цин-ский?.. Ведь это еще учиться четыре года?

— Пять лет.

— Пять... Зачем вы это делаете?

— Меня очень интересует медицина, она необходима для общего развития.

— Да, да... Это, конечно, очень интересно... Общее развитие... Ну, да!

И замолчала смущенно. Адам Николаевич стоял у стола, засунув руки в карманы, и беззвучно смеялся, и все его тело дрожало от смеха. Он сказал:

— А Марья Матвеевна так рада, что вы поступаете на

медицинский факультет... Ей так хочется, чтобы вы подольше учились, получали бы общее развитие... *Чтоб не женились подольше...*

И горько продолжал смеяться. Я растерялся и почувствовал, что неудержимо краснею. Люба сидела, низко опустив голову, взволнованная, красная. Марья Матвеевна метнула на мужа негодующий взгляд и заговорила обычным тоном:

— Это очень приятно, что вы поступаете на медицинский факультет. Значит, будете доктором, как Викентий Игнатьевич. Какая у вас в Туле будет практика! И, наверно, все вас будут так же любить, как Викентия Игнатьевича.

В приеме своем в Военно-медицинскую академию я не имел никаких оснований сомневаться. Но вдруг, уже в августе месяце, получил извещение, что в академию я не принят. В тот год вышло распоряжение принимать в академию только лиц, окончивших гимназии Петербургского учебного округа и естественный факультет. Формально, значит, правление было право, отказав мне в приеме. Но ведь я окончил в Петербургском округе не гимназию, а университет,— казалось бы, как это могло послужить препятствием? Об истинной подкладке дела я узнал только впоследствии. Стипендия Вилье уже целый ряд лет не назначалась за отсутствием требуемых кандидатов. Правление академии решило на этом основании возбудить ходатайство об изменении воли жертвователя и о назначении впредь стипендии лицам, окончившим не филологический, а естественный факультет. Тут-то как раз и подоспело мое прошение. Самый верный путь был, конечно, основываясь на букве циркуляра, просто не принять меня в академию. Тогда сам собою отпадал и вопрос о стипендии мне.

Когда я получил отказ от академии, прием прошений в университеты был уже закончен, в Московский университет я попасть не мог. Узнал, что в Дерптский университет принимают легко, не считаясь с формальностями о сроке и прочем. Университет был немецкий. Но немецкий язык я знал, и предстояла хорошая практика в нем.

Я поступил в Дерптский университет.

В ДЕРПТЕ

После кипуче-бурного Петербурга — тихий Дерпт. Город пересекается длинною, прихотливо изгибающеюся горою,— она называется Домберг; на ней — чудесный парк и развалины старинного немецкого собора. По обе стороны горы — город в тихих, мало оживленных улицах, чистых и уютных. Река Эмбах отделяет городскую сторону от заречной. От города во все стороны бегут шоссе, густо обсаженные липами и ясенями, аккуратные мызы, тщательно возделанные поля. Основное тут население — не немецкое. Крестьяне, рабочие, торговцы — это все эстонцы; немцы составляют только верхний слой населения, интеллигенцию. Они же владеют почти всею землею; крестьяне у них землю арендуют. Эстонцы — народ трудолюбивый, честный и культурный.

Мозгом, двигающим и жизненным центром города, является старинный Дерптский университет. Он дал науке много ярких имен, начиная с эмбриолога Карла Эрнста Бэра, астронома Струве и кончая физиологом Александром Шмидтом. Весь город живет университетом и для университета.

Чем-то старым, старым, средними веками несло от всего здешнего жизненного уклада. Студенчество делилось на семь корпораций (землячеств): Курониа (курляндское), Ливониа (лифляндское), Эстониа (эстляндское), Ригензис (рижское), Необалтиа (немцев из России), Академиа (сборная) и Леттониа (латышская — единственная не немецкая корпорация). Большинство немецких студентов входило в корпорации. Но были и вне их. Эти назывались «дикими». Дикими были и все мы, русские.

Новичок, вступающий в корпорацию, назывался

«Фукс» (лисица). Фуксом он оставался в течение года. Это было время искуса, в этот год он должен был показать, что достоин быть корпорантом. Основным положением считалось: «Повелевать умеет только тот, кто умеет повиноваться». Фукс и должен был доказать свое умение повиноваться,— абсолютно повиноваться всякому приказу любого из корпорантов своей корпорации. Нередко приказы носили характер намеренного издевательства,— фукс, не сморгнув, должен был сносить все. Кельнеров в корпорантских пивных не было, обязанности их исполняли фуксы; каждый из них, как признак своего звания, имел при себе штопор. Корпоранты властно покрикивали:

— Фу-укс!

И фукс почтительно спешил на зов; ни один профессиональный официант не был так безгласно-почтителен, как фукс,— какой-нибудь князь Ливен или граф Мантейфель. Откупоривал бутылки и наливал кружку.

Кружку, а не кружки. Все сидевшие за одним столом пили круговую из одной кружки. Каждый выпивал около половины, пока при наклоне кружки уровень пива не доходил до нижнего края кружки; потом кружка доливалась доверху и передавалась соседу. Только при команде «экс!» каждый выпивал кружку до дна. Очень все гигиенично, не правда ли? И это в городе науки. И это среди студенчества, в котором был большой процент сифилитиков.

Пить из одной кружки или стакана было вообще принято во всем Дерпте, да, кажется, даже во всем остзейском крае. Вскоре после моего поступления в университет я както зашел с двумя русскими товарищами в пивную. Спросили пару пива. Кельнер поставил перед нами две бутылки — и один стакан.

— Почему вы дали только один стакан? Дайте еще два.

Кельнер с изумлением поглядел на меня, пожал плечами и с презрением поставил на стол еще два стакана.

Фуксы исполняли не только роль кельнеров. Они были посыльными, разносили повестки и приглашения, корпоранты давали им самые разнообразные поручения,— фукс все должен был исполнять. Командовал фуксами заслуженный корпорант, который назывался «ольдермен». Он наставлял фуксов в корпорантской этике и вообще ведал их воспитанием. Однажды в лунную ночь я сидел на скамеечке в городском саду на Домберге. Вдали показалась вереница теней. В полном молчании шли гуськом человек

тридцать молодых студентов, а впереди — старый студент-корпорант в светло-зеленой шапочке с бело-голубым околышем. Он водил их по саду самыми прихотливыми вензелями, по траве и через кусты, с серьезнейшим видом подходил к скамейке, перепрыгивал через нее и шел дальше,— и все, один за другим, как овцы, прыгали вслед за ним.

«Кто не умеет повиноваться, никогда не будет уметь повелевать».

После годового искуса фукс становился корпорантом. Он пользовался всеми правами корпоранта, за исключением одного, самого почетного: права носить цветную корпорантскую шапочку и такую же ленточку через плечо на жилетке. Каждая корпорация имела свои цвета: Ливония — светло-зеленый, алый, белый, Ригензис — темно-синий, алый, белый, Эстония — светло-зеленый, темно-синий, белый и т. д. Получить «Farben», стать «Farbenträger'ом» было нелегко, нужно было пройти очень строгую баллотировку, и немало существовало корпорантов, которые годами добивались этой чести. Были такие, что и кончали университет, не дождавшись «красок».

Понятно, как гордо должны были чувствовать себя «фарбентрегеры», как высокомерно смотрели они на «диких» и как снисходительно — на своих товарищей без «красок». На лекции фарбентрегер сидел с распахнутым пиджаком, чтобы все видели его цветную ленточку через жилетку; еще усерднее распахивал он свой пиджак перед экзаменатором. Большинство профессоров в свое время были корпорантами и теперь, в качестве почетных гостей, приглашались на торжественные празднества своей корпорации; там они восседали в своих старых цветных студенческих шапочках (она всю жизнь бережно хранилась бывшим корпорантом, как милая память). Когда профессор замечал у экзаменующегося родную ленточку, глаза его светлели и голос становился мягким. Гасли глаза и голос сох, когда экзаменовался «дикий»; совсем холодными делались глаза и ледяным — голос, когда экзаменовался еврей.

Совершенно для нас необычно было это кастовое разделение студентов после товарищеского равенства всех в русских университетах. И это особенно резало глаза, потому что внешне товарищеские отношения были как будто самые близкие. Все студенты говорили друг другу «ты». Мы знали цену этому «ты» и на «ты» немецких студентов подчеркнуто отвечали «вы», заставляя этим и их переходить

на «вы». Однажды в анатомическом театре ко мне обратился корпорант, мой сосед по трупу, с просьбой помочь ему разобраться в сложно-кружевной мускулатуре спины.

— Ich bin darüber ganz dumm! [1]

Я ему подробно все объяснил, поправив, сколько было возможно, напорченную препаровку. Он был очень любезен, рассыпался в благодарностях, все время говорил «ты». А назавтра, когда я его встретил на улице с другими корпорантами, он, увидев меня, поспешно отвернулся.

Весь дух немецкого буршеншафта был для нас чудовищно чужд. Никаких общественных интересов, презрение к «политике», узкий национализм; кутежи, дуэли, любовные истории,— в этом проходила жизнь, это воспевали их песни.

Brüder, trinkt einmal!
Wir sind ja doch jung!
Im Alter ist zum Dursten
Noch immer Zeit genug!

Denn der alte wein,
Er ist für junge Leute!
Brüder, lasst uns heute
Froh und fröhlich sein!

Brüder, liebt einmal,
Wir sind je doch jung!
Im Alter ist zum Hassen,
Noch immer Zeit genug!

Denn die jungen Mädchen,
Sie sind für junge Leute!
Brüder, lasst uns heute
Froh und fröhlich sein! [2]

и т. д.

Настоящий, лихой студент должен был быть задирой, скандалистом, дуэлянтом. Все совсем так, как у нас было лет сто назад среди гусар. Я знал ассистента-доктора при одной из тамошних клиник, бывшего корпоранта. Был вежливейший, воспитаннейший и корректнейший человек. И мне

---

[1] Я на этот счет совсем дурак! *(нем.)*

[2] «Братья, будем пить,— ведь мы молоды! В старости довольно еще будет времени, чтобы жаждать. Старое вино — для молодых людей! Братья, будем сегодня веселы и радостны! Братья, будем любить,— ведь мы молоды! В старости довольно еще будет времени для ненависти! Молодые девушки — для молодых людей» и т. д. *(Прим. В. Вересаева.)*

рассказали, что в студенческие годы свои это был исключительный забияка и бретер. Так было принято, это всеми почиталось, старики снисходительно говорили: «В молодости следует перебеситься!», девушки с почтительным восхищением поглядывали на таких удальцов.

Странно и противно было чувствовать себя в такой студенческой среде. Постоянно можно было нарваться на глупейшую историю, на совершенно тобою не вызванное оскорбление. Идешь, навстречу тебе студент-немец — и вдруг он тебя толкает плечом в плечо, как у нас, бывало, в гимназии, в третьем — четвертом классе. Конечно, удивленно посторонишься, скажешь «Виноват!» и пожмешь плечами. А требовалось в ответ обругать обидчика и вызвать его на дуэль. Ему только это и было нужно. Чем больше у бурша было дуэлей, тем было для него почетнее; шрамами и рубцами он гордился, как орденами.

Нас, русских, немецкие студенты глубоко презирали за то, что мы «антидуэлянты», и задирали всячески. Теперь, при воспоминании, все это кажется смешным, но тогда часто бывало очень тяжело. К полякам, напротив, немецкие студенты относились с большим почтением. Поляки дуэль принимали, но ставили условием: дуэль на пистолетах. Выбор оружия всегда предоставлялся вызванному. Обычно дуэли происходили на шпагах, обставлялись рядом ограничительных условий и кончались всего чаще пустяковыми ранами. А тут, на пистолетах, шутки уже были плохие, и дело пахло не царапинами. Было несколько смертных исходов при таких дуэлях. И поляков немцы вызывали с большою осторожностью.

Если нам, русским, приходилось постоянно терпеть задирания и часто прямые оскорбления, то еще в большей мере все это выпадало на долю евреев. Конечно, подавляющее большинство корпорантов были антисемиты, еврею почти немыслимо было попасть в корпорацию равноправным товарищем баронов Икскулей и Тизенгаузенов. Оскорбляли и задирали евреев где только и как было можно. И на этой почве, как реакция, вырабатывались очень своеобразные типы

Был у нас студент-медик Юлиус Кан, немецкий еврей. Среднего роста стройный красавец с огненными глазами, ловкий, как кошка, сильный и бешено смелый. Великолепно дрался на шпагах, метко стрелял из пистолета. Не спускал никому ничего и сейчас же вызывал на дуэль. Вскоре

за ним утвердилась грозная слава, и корпоранты стали его бояться. По городу про него ходили совершенно легендарные рассказы. Однажды вечером, весною, шел он с двумя товарищами-евреями мимо корпорантской «кнейпы» (пивной). За столиками на улице сидели корпоранты и пили пиво. Увидели евреев. Один здоровенный фарбентрегер обозвал их жидами. Юлиус Кан бросился в гущу корпорантов и дал обидчику крепкую пощечину. Студенты узнали его и растерялись. Корпорант, получивший пощечину, выхватил револьвер. Кан кинулся на него и вырвал револьвер,— тот побежал. Кан за ним. Корпорант торопливо стал спрашивать:

— Wie ist dein Name? (Как твое имя?)

Это значит, что он его вызывает на дуэль,— с этого момента все дальнейшие враждебные действия должны прекращаться. Кан схватил его за шиворот, стал бить рукояткою отнятого револьвера по шее и приговаривал:

— Мое имя — Юлиус Кан! Я живу на Марктштрассе, номер двадцать!.. Мое имя Кан!..

Другой раз стоит он как-то на Studenten-Ecke — так назывался угол Ратушной и Рыцарской улиц, где обыкновенно гурьбами стояли студенты, прогуливавшиеся по Рыцарской улице, дерптскому Невскому проспекту,— подошел к нему корпорант и сказал:

— Was stehst du so einsam und traurig, du altes Ierusalem? (Что стоишь ты так одиноко и печально, старый Иерусалим?)

Кан, еще не глядя, взмахнул рукою и, повернувшись, дал корпоранту пощечину.

Каким-то чудом в Дерпте сохранялись в нетронутом виде старинные традиции, совершенно немыслимые в отношении к русским университетам. Вероятно, их не трогали ввиду полного отсутствия какой-либо революционности в местном студенчестве. Должно быть, играла роль и протекция: в течение девятнадцатого века высшая администрация была у нас заполнена и переполнена остзейцами-немцами,— начиная с Бенкендорфов и Клейнмихелей и кончая фон Плеве, Мейендорфами и Ренненкампфами.

Для студентов, например, была своя специальная университетская полиция — педеля, и общая полиция не смела касаться студентов. Как бы студент ни скандалил, что бы ни делал, арестовать его могла только вызванная из Pedellen-Stube университетская полиция.

Когда на улице студентов обижали «Knoten» (обыватели), раздавался крик:

— Burschen, heraus! (Студенты, сюда!)

Клич подхватывался, передавался по всему городу, и каждый студент обязан был бежать на выручку к товарищам. Впрочем, в мое время крик этот уже был запрещен.

Обычаи вежливости были своеобразны. Встречаясь друг с другом на улице, студенты фуражек не снимали, а только кивали головой и говорили: «Mojn (Guten Morgen)!»[1] Но так только с товарищами студентами (Commilitonen). Перед пожилыми, а тем более, конечно, перед дамами, фуражку снимали. Если студент шел с дамой, то нужно было кланяться ему, снимая фуражку. Я раз видел: шел корпорант, вел под руку молодую даму. Навстречу пять корпорантов. Сошли с тротуара, выстроились в ряд и, как по команде, почтительно сняли фуражки перед товарищем. Если студент идет с дамой и кланяются его даме, он должен ответить на поклон хотя бы ему и незнакомого. Это, впрочем, кажется, было принято и у нас.

Срок пребывания студента в Дерптском университете был неограничен. Иные из его питомцев оставались студентами до седых волос,— либо потому, что за кутежами, скандалами и дуэлями никак не могли удосужиться кончить курс, либо потому, что им нравилась вольная студенческая жизнь,— благо родители богаты и не торопят с окончанием. Таким студентам название было «Bemooste Burschen» — «обомшелые бурши». При мне студентом университета состоял один совсем старый барон-помещик. Он хозяйничал у себя в имении, в начале каждого семестра приезжал в Дерпт, вносил плату за учение, подписывался на одну какую-нибудь лекцию и уезжал обратно к себе в деревню. Лет через восемь — десять он для разнообразия переходил на другой факультет. При мне он, побывав уже на медицинском, физико-математическом и юридическом факультетах, числился на богословском. Когда он был еще молодым студентом, богатый дядюшка, умирая, завещал выплачивать ему по двести рублей в месяц «до окончания университетского курса». Ну, он, конечно, с этим окончанием не стал спешить и уже тридцать пять лет, к негодованию и бешенству прямых наследников, все получал свои двести рублей.

---

[1] «Доброе утро!» *(нем.)*

В актовом зале университета — по-немецкому, Aula — происходила торжественная раздача новопринятым студентам матрикулов — удостоверений о принадлежности их к студенчеству. В середине зала стоял у стола ректор университета, профессор Александр Шмидт, секретарь вызывал поименно студентов, студент подходил, ректор пожимал ему руку и вручал матрикул — пергаментный лист, на котором золотыми буквами удостоверялось на латинском языке, что такой-то студент Universitatis Caesareae Dorpatensis, data dextra, pollicitum (дав правую руку, обязался) исполнять все правила университетского устава.

Начались занятия. На первых семестрах медицинского факультета читались химия, физика, зоология, ботаника, анатомия и физиология человека. Опишу некоторых из профессоров, которые наиболее запомнились.

Физиологию читал профессор Александр Шмидт, ректор университета,— знаменитый «Blut-Schmidt», открывший в крови фибрин. Без упоминания его имени не обходится ни один самый краткий учебник физиологии, когда речь идет о крови. Дерпт гордился Александром Шмидтом как самою своею большою современною славою. Высокий старик с рыжими усами и выцветшими, мутноватыми глазами, всегда с сигарой в зубах, на улице всегда в цилиндре. Кажется почти всегда подвыпивши. Бывший корпорант, неизменный участник всех празднеств своей корпорации «Эстониа». Слава его, собственно,— далеко позади. Он давно уже не работает и даже за наукою следит не очень пристально. Когда сведения, почерпнутые из лекций Александра Шмидта, мы выкладывали перед другими профессорами, они ахали, спрашивали, где мы откопали это старье, и, услышав имя Александра Шмидта, со скрытою усмешкою почтительно замолкали. Шмидт выдавался легендарною рассеянностью, о ней ходило несчетное количество анекдотов...

Другая знаменитость университета,— профессор анатомии Август Раубер. Не местный прибалтиец, а приглашенный из Германии, из Лейпцигского университета. Его обширное руководство по анатомии — лучшее из существующих, работы его по проводящим нервным путям — работы классические. Высокий, худощавый, очень стройный человек с сумасшедшими черными глазами, с черными кудрями до плеч и с черною бородкою, с какою рисуют Иоанна Крестителя. Работаем над трупами в анатомическом театре.

В кожаном халате, странным, как будто крадущимся шагом идет по залу Раубер, следом за ним — анатомический служитель, пройдоха-эстонец Рейнвальд, с полотенцем на плече. Без него Раубер, как без рук; Рейнвальд великолепный препаратор, великолепно знает анатомию, хотя вместо arteria clavicularis говорит: arteria carvicularis. Он нам точит скальпели; по ночам, тайно от профессора, по заказу кутящих буршей, исполняет их работу по препаровке трупов.

Раубер подходит.

— Nun, also!..— нараспев говорит, он низким, замогильным голосом.— Wie geht's? [1]

Студенты, препарирующие небрежно и плохо подготовившиеся к препаровке, трепещут под дико-горящим взглядом профессора. Корпоранты подальше запихивают свои цветные ленточки: Раубер — единственный, кажется, человек, который позволяет себе открыто глумиться над самыми заветными корпорантскими чувствами. Нахмурив брови и в упор глядя в лицо студенту, Раубер обстоятельно объясняет ему, что цветная тряпочка, которую он на себя навесил, никак не может способствовать изучению анатомии, а тот, кто не знает анатомии, не может быть врачом, никоим образом не может!

Но у кого профессор чувствует знания и любовь к делу, к тому у него мягким огоньком загораются глаза, он с увлечением отвечает на его вопросы...

— Nun, also!..

Берет в руки пинцет, скальпель, сам начинает препарировать мускул или нерв, воодушевляется все больше, начинает читать форменную лекцию. Кругом толпятся студенты. Он изредка вдруг вскинет голову, сумасшедшим, пронзительным взглядом обведет слушателей — и продолжает говорить.

По улицам ходил он в черной шляпе с широкими полями и в крылатке, похожей на испанский плащ; черные длинные кудри, огненные глаза,— настоящий оперный разбойник! Дни и ночи проводил он за работой в своем кабинете при анатомическом театре. Был он холост. Дома ему прислуживала молодая Aufwärterin — эстонка. Она умела готовить кофе совершенно по вкусу профессора. И вдруг — вздумала она от него уйти! Для Раубера это являлось форменной катастрофой: как он сумеет приучить другую

[1] Ну, так!.. Как дела? *(нем.)*

прислугу к своим привычкам, кто ему будет варить кофе. Оставался один выход, к нему профессор и прибег: предложил Aufwärterin выйти за него замуж. Та согласилась, сделалась Frau Professorin, а профессор по-прежнему стал пить приготовленный по его вкусу кофе. Женитьба эта произвела в дерптском обществе скандал. Раубер с женою сделал визиты коллегам-профессорам: никто визита не отдал. Раубер стал жить одиночкой. Впрочем, он и раньше не любил общества, а в часы отдыха играл на скрипке.

В разговорах для разговоров он был по-детски смешон и ненаходчив. Профессор В. Э. Грабарь, назначенный в Дерпт на кафедру международного права, делал, как принято, визиты коллегам-профессорам. Был у Раубера. Раубер принял его очень радушно, усадил. И растерянно заговорил своим торжественно-могильным голосом, глядя на гостя горящими глазами:

— Мы с вами работаем в смежных областях науки!

Грабарь изумился: анатомия и международное право,— не так чтоб уж особенно близкие науки. Он спросил:

— Это как же?

Раубер проникновенно ответил:

— Объектом и вашей и моей науки одинаково является — *человек!*

Общую патологию читал профессор Рихард Тома, ученый с хорошим научным именем. Хромой, коротконогий; плотное квадратное туловище; большой, высокий лоб, крутые завитки коротких рыжих волос, апельсинно-рыжая борода; умные зеленоватые глазки смотрят с всегдашней готовностью к насмешке. Увлекается речным спортом, у него собственная речная яхта, и все свободное время он проводит в ней на реке Эмбах. Читал он хорошо, умел заинтересовать слушателей, оживить речь остротой, прекрасно рисовал разноцветными мелками на черной доске изображения патологических процессов. Тома производил также патолого-анатомические вскрытия трупов больных, умерших в клиниках университета. Профессора-клиницисты перед ним трепетали, в вскрытии их ошибок он был беспощаден. Однажды он вскрывал труп женщины, умершей после операции в гинекологической клинике профессора Кюстнера. Клинический диагноз был: миома (мускульная опухоль) матки. Величественный громовержец в своей клинике, Кюстнер смирненько стоял рядом с Тома за секционным столом и взволнованно покручивал светло-желтые

прусские усы. Тома копался в вскрытой брюшной полости трупа, вытащил какой-то комок,— изумленно наморщил лоб, насмешливо дрогнул бровью и взглянул на Кюстнера. Кюстнер стоял красный.

— Meine Herren! [1] — тоненьким голоском невинно запел Тома, обращаясь к аудитории.— Мы действительно видим перед собою опухоль,— в этом клинический диагноз был прав. Только, оказывается, это не миома, а — *спонгиома!*

И показал аудитории губку, забытую оператором в брюшной полости женщины (губка по-латыни — spongus). Аудитория хохотала.

Невольная улыбка просится на лицо, когда вспоминаешь профессора Рудольфа Коберта. На старших курсах он читал фармакологию и токсикологию (учение о ядах), а на младших — диэтетику, нечто вроде личной гигиены, но у Коберта она превращалась как бы в медицинскую энциклопедию,— он говорил и о физиологии, и о патологии, и об органической химии, и о терапии, и о всем прочем. Начитанности он был колоссальной, жадно следил за всеми новостями науки и был восторженнейшим энтузиастом каждой настоящей минуты. Иссохший, бледный, с фанатически горящими маленькими глазками; большие темные усы,— как будто держит в зубах толстую мышь. Говорит с увлечением,— четко, громко и быстро. С увлечением говорит о каком-нибудь ново-открытом средстве, являющемся совершенно несомненным и безошибочно верным специфическим средством против такой или такой болезни. Приводит бесчисленные факты, наблюдения. Но если студент через два года назовет Коберту на экзамене это средство, Коберт в искреннейшем ужасе всплеснет руками и воскликнет:

— Что вы, что вы! Это все давно уже опровергнуто! Средство не приносит никакой пользы, один только вред!

Зоологию дельно и с требовательностью читал профессор Юлиус фон Кеннель, в зоологическом кабинете мы препарировали у него ракушек и лягушек. Ботанику читал профессор Руссов, но его студенты-медики не посещали: он и сам полагал, что студентам-медикам не до ботаники,— слишком много более нужных для них предметов, экзаменовал только для проформы, и экзамены у него были

---

[1] Господа! *(нем.)*

сплошным собранием анекдотов. Студент шел на экзамен, в два-три часа наскоро просмотрев самый краткий учебник ботаники, и в голове его остались только отдельные выражения.

— Скажите, что такое протоплазма?

— Протоплазма? Протоплазма... это... это — мутная жидкость.

Профессор с грустью спрашивает:

— Отчего же она мутная?

Студент глубоко задумывается; вдруг на память приходят слова, прочитанные в учебнике. И он отвечает:

— Aschenbestandteile (зольные остатки).

Или спрашивает профессор:

— Какой величины амеба?

Студент отвечает:

— Очень маленькая.

— Ну, а как?

— Очень, очень маленькая!

— Ну, приблизительно,— какой величины?

— Мм... С лесной орех.

(В действительности амеба — крохотное существо, видимое только в сильный микроскоп.)

Следовало бы подробно описать мои впечатления от теоретического и практического знакомства с медициной, от врачебной школы. Но это все подробно описано мною в моей книге «Записки врача». Книга эта — не автобиография, много переживаний и действий приписано мною себе, тогда как я наблюдал их у других. Однако основные впечатления соответствуют действительности. Возвращаться к ним здесь еще раз не стоит. Одно только: почувствовал я крепко, что в медицине нельзя заниматься науками наскоком, кое-как, как занимался я на историко-филологическом факультете в Петербурге, что все силы и все время нужно отдать науке, чтобы не выйти шарлатаном.

Русских студентов в Дерптском университете было сравнительно немного. Преподавание происходило на немецком языке, и понятно, что наши студенты предпочитали поступать в русские университеты. Но в Дерптский легко принимали студентов, уволенных из русских университе-

тов за участие в студенческих волнениях и даже отбывших политическую ссылку. Вот такими-то в большинстве и были русские студенты. Евреев тоже принимали легче, чем в русские университеты, их было сравнительно много.

Среди этих русских студентов было несколько человек выдающихся. Все много и восторженно говорили об Омирове; он, кажется, где-то отбыл ссылку, у него было прекрасное, одухотворенное лицо и русая бородка. По рассказам знавших его, это был тип благороднейшего студента-энтузиаста, каких мы встречаем в повестях Тургенева. Он пользовался в студенческих кругах огромным влиянием и авторитетом. Я лично знаком с ним не был. Он вскоре уехал из Дерпта и, кажется, умер от чахотки. Несколько раз на студенческих собраниях слышал выступления кончавшего студента-медика Стратонова. Энергичное лицо, внимательные, умные глаза, весь какой-то строгий, подобранный. В студенческой среде он был не так популярен, как Омиров, но сам Омиров перед ним благоговел. Когда кто-то подтрунил над Омировым за его увлечение Стратоновым, Омиров серьезно и строго ответил:

— Не знаю, над чем тут смеяться. Я был бы счастлив, если бы мог надеяться достигнуть хоть половины той нравственной высоты, на которой стоит Стратонов.

Если и в петербургское мое время общее настроение студенчества было нерадостное и угнетенное, то теперь, в конце восьмидесятых и начале девяностых годов, оно было черное, как глухая октябрьская ночь. Раньше все-таки пытались хвататься за кое-какие уцелевшие обломки хороших старых программ или за плохонькие новые — за народовольчество, за толстовство, за теорию «малых дел»,— тогда возможна еще была проповедь «счастья в жертве». Теперь царило полнейшее бездорожье, никаких путей не виделось, впереди и вокруг было все заткано, как паутиной, сереньким туманом, сквозь который ничего не было видно. И Минский отражал настроение очень многих, когда писал:

Бессильная тревога
Проснулася в сердцах, как в пропасти змея.
Мы потеряли все — бессмертие и бога,
И цель, и разум бытия.
Кумиры прошлого развенчаны без страха,
Грядущее темно, как море пред грозой,
И род людей стоит меж гробом, полным праха,
И колыбелию пустой.

И еще его же:

Полночь бьет. Мне спать пора.
Но не тянет что-то спать.
С другом, что ли, до утра
По душе бы поболтать?
Вспомнить память прежних лет,
Разогнать свою печаль...
Ах, на свете друга нет,
И что нет его,— не жаль
Если души всех людей
Таковы, как и моя,
То не нужно мне друзей,
Не хочу быть другом я.
Есть слова... Я много знал
Этих слов. От них не раз
Я горел и трепетал,
Даже слезы лил подчас.
Но устал я повторять
Этот лепет детских дней...
Полночь бьет. Мне страшно спать,
А не спать еще страшней.

Одни отметали в сторону все проклятые вопросы и устремляли внимание на устройство собственного благополучия; другие, чтоб наркотизироваться, уходили в науку; третьи...

Однажды весною, в 1889 году, я зашел по какому-то делу в помещение Общества русских студентов. Лица у всех были взволнованные и смущенные, а из соседней комнаты доносился плач,— судя по голосу, мужчины, но такой заливчатый, с такими судорожными всхлипываниями, как плачут только женщины. И это было страшно. Я вошел в ту комнату и остановился на пороге. Рыдал совершенно обезумевший от горя Омиров. Я спросил соседа, в чем дело. Он удивленно оглядел меня.

— Разве вы не знаете? Стратонов застрелился.

— Стратонов?!

Он застрелился на заре в университетском парке на горе Домберг. Оставил записку:

«Для себя жить не хочу, для других не могу».

Я был на вскрытии трупа. Он лежал на цинковом столе, прекрасный, как труп Аполлона. Восковое, спокойное лицо, правая бровь немного сдвинута. Под левым соском маленькая черная ранка. Пуля пробила сердце. Рука не дрогнула, и он хорошо знал анатомию. Профессор судебной медицины Кербер приступил к вскрытию... Кроваво зияла вскрытая грудобрюшная полость, профессор копался в

внутренностях и равнодушным дребезжащим голосом диктовал протокол вскрытия:

— Die Nieren... normal. Im Magen — eine hell-braune Flüssigkeit...[1].

Простреленное сердце уже циркулировало на тарелке по аудитории.

Профессор обмыл руки. Служитель быстро отпрепарировал кожу с головы, взял пилу и стал пилить череп; голова моталась под пилой вправо и влево, пила визжала. Служитель ввел в череп долото, череп хрястнул и открыл мозг. Профессор вынул его, положил на дощечку и стал кромсать ножом. Я не мог оторвать глаз: здесь, в этом мелкобугристом сероватом студне с черными жилками в углублениях,—что в нем переживалось вчера на рассвете, под деревьями университетского парка?

Вечером ко мне заходил за лекциями один студент-немец, тоже кончающий медик. Он спросил, почему застрелился Стратонов? Я рассказал. Он слушал с недоумевающею улыбкою. Наконец спросил:

— Wahrscheinlich, unglükliche Liebe? (Наверно, несчастная любовь?)

Осенью 1889 года я послал в «Неделю» рассказ под заглавием «Порыв». Очень скоро от редактора П. А. Гайдебурова получил письмо, что рассказ принят и пойдет в ближайшей «Книжке недели». «Рассказ очень хорошо написан,— писал редактор,— но ему вредит неясность основного мотива». Читал и перечитывал письмо без конца. Была большая радость: первый мой значительного размера рассказ пойдет в ежемесячном журнале.

Пришла ноябрьская «Книжка недели». Жадно схватился за нее, развернул: «Порыв», рассказ В. Викентьева. Стал читать — и руки опустились. Рассказ был сокращен почти вдвое, вычеркнуты были места, совершенно необходимые для понимания смысла рассказа и развертывающегося в нем действия, конец был редактором выкинут и приделан свой. Давно я не был так несчастен, как в этот день, когда увидел в печати первую свою большую вещь. Хотелось плакать. Много позже, когда я уже мог судить беспри-

[1] Почки... нормальны... В желудке — светло-коричневая жидкость... *(нем.)*

страстно, я все-таки остался при мнении, что исправления и сокращения были сделаны Гайдебуровым наспех, неумело и небрежно, совершенно без понимания основной мысли рассказа, которая, по собственным его словам, была для него неясна. При отдельном издании большинство сокращений пришлось восстановить.

Слышал похвальные отзывы товарищей, ловил на себе внимательные взгляды незнакомых студентов. Это было приятно. Шлепянов из Парижа писал: «Что я думаю о «Порыве»? Думаю, что просто-таки хорошо. Тут есть все, что «нужно», хоть по одному этому рассказу загадывать вперед еще нельзя. Но я себе воображаю, что вас немного знаю, и настолько, что искренно, положа руку на сердце, говорю: вы парень с «искрой божией», но эту искру нужно вечно раздувать, то есть нужно много работать, чтоб суметь своей искрой разжечь людские сердца... Вы умеете быть с собой искренним, это все. Я давал этот рассказ двоим, из литературной среды, людям, которых я абсолютно уважаю: это рассказ хороший, симпатичный, автор, должно быть, будет писать,— вот какой приговор получился».

Но веры в будущее не было. Меня угнетала страшная медленность писания; и даже напишешь уже — и опять перечеркиваешь, переделываешь. Иногда только во время писания вдруг какая-то победительная волна выносила тебя высоко вверх.

8 марта 1890 г., 1 час ночи

> Дорогая минута! Сейчас писал... Я верю,— этого мало, я *убежден*, что во мне есть талант. Перед глазами образы, как живые стоят, я их вижу, почти осязаю; ложь не в них, они правдивы и прекрасны; ложь в пере только. Поэтому и приходится десятки раз перемарывать почти целиком все написанное: зачеркиваешь не потому, что сомневаешься, *что* сказать, а потому, что ищешь, *как* сказать. Лжи не будет,— я научился *не жалеть себя*, не щадить фальшивого звука самого красивого.

Очень меня утешило, когда в биографии художника Федотова я прочел: когда при нем восхищались прелестью и простотою его картины «Вдовушка», он сказал:

— Да, будет просто, как поработаешь раз сó-сто.

Бывая на праздниках в Туле, я иногда, по старой привычке, заходил к Конопацким. Все три сестры-красавицы были теперь взрослые девушки, вокруг них увивалась холостая молодежь,— почему-то очень много было учителей гимназии. Однажды сидели мы в зале. Вдруг быстро вошел худенький молодой человек с незначительным лицом, наскоро поздоровался...

— Ну-ка, Екатерина Адамовна, мазурочку!

Катя, скрывая улыбку, села за рояль, молодой человек взял за руку Любу и с серьезным, деловым лицом помчался с нею по сверкающему паркету.

— Кто это? — спросил я Катю.

— Белоруссов.

Белоруссов! Учитель латинского языка в классической гимназии и русского — в женской. Я уже много слышал о нем. Ученики и ученицы говорили о нем с трепетом, родители — с ненавистью; не одному учащемуся пришлось перевестись в Орел или Калугу, спасаясь от садической строгости и беспощадной требовательности этого щупленького молодого человека с незначительным лицом. Сейчас он упоенно учился мазурке, чуть не каждый вечер бывал у Конопацких и то и дело приглашал для упражнения потанцевать то Любу, то Катю, то Наташу. Видимо, он был тут своим человеком.

В первый же вечер мне пришлось с ним сцепиться. Он был неумен, но спорить с ним было трудно. Враждебно глядя в глаза острыми гвоздиками глаз, он с апломбом рубил свое, совершенно не слушая возражений. Строй мыслей был верноподданнический, главные идеалы — повиновение и скромность О таких Салтыков сказал: «Он в солнце пожарную кишку направит, чтоб светило умереннее».

Тут же, у Конопацких, познакомился с другим гимназическим учителем, тоже латинского языка,— Карбиловым. Он заметно ухаживал за Любой. Со мною либеральничал, с товарищами высказывался реакционно, напоминал ласковое теля, готовое сосать нескольких маток. Развязный, очень любил острить, однако остроты были низкосортные. Люба смеялась, но при этом так поглядывала на меня, что трудно было решить, смеется ли она остротам Карбилова или над его остротами. Еще он любил петь из опер, Катя ему аккомпанировала, сестры слушали, пряча улыбку. Бывали и другие учителя, все молодежь, но все такие, что

больно было и обидно за Конопацких,— зачем они их принимают! Палачи педагогические по убеждениям, палачи по натуре, палачи по действиям.

Осенью 1889 года я в Дерпте получил из дому письмо: Люба Конопацкая выходит замуж за Карбилова. Я был ошеломлен. Не может быть! Вспоминал вихлястую кургузую фигуру Карбилова с длинной шеей и рыжими усиками, его самодовольный голос, скрытую улыбку, с какою на него глядела Люба. И метался по комнате. Невозможно! Да ведь она его не любит! Не любит и не уважает! Через месяц в новом письме: «Свадьба состоялась; молодые, как водится, уехали на неделю в Москву». Не мог найти себе места от тоски. Корабли сожжены, она принадлежит ему. Я уж не любил ее, о нет! Я ее не любил, и тут была не ревность. Но в голове упорно стояло двустишие Лермонтова:

> Отдав ему себя, ты не спросилась
> У совести своей...

Чувствовалось — не вырвать из души того, что между нами было, никогда мне эта девушка не станет чужою; и было жалко, жалко ее, как сестру, проданную в рабыни, и не легче было оттого, что она сама себя продала.

Потом я в Туле несколько раз был у Любы, уже замужней. И очень скоро пропало ощущение бывшей близости. И странно было: что мне в ней так нравилось? Мелко завитая челка, спускавшаяся на лоб, придавала лицу грубо-чувственное выражение, губы были недобрые, в задушевной простоте, которая мне так нравилась, чувствовалась тонкая заученность. Обращение с мужем было манерно-сладкое. Мне стало смешно своей тоски. Все было так просто, бестрагично, так обыкновенно! Девушка «пристроилась», чего ж тут? Дай ей бог, и все очень хорошо.

У Конопацких Катя и Наташа были невестами «на выданьи», подрастали следующие сестры (всего у Конопацких было десять человек детей, из них семь дочерей). Усердно приглашалась холостая молодежь, чаще прежнего устраивались танцевальные вечера. Катя была в полном расцвете красоты,— красоты целомудренно-строгой и удивительно благородной; никогда я больше не видел такой изящной и благородной женской красоты. Молодежь увивалась вокруг нее. У меня отношения с нею были хорошие, но любви не было, чувствовал ее совсем себе чужою, а окружавшая ее молодежь внушала отвращение. По-прежнему своим человеком держался в доме учитель Белоруссов. При-

метно ухаживали за Катей и Наташей братья-студенты Хрущевы. Еще в пору моего увлечения Конопацкими оба они, маленькими гимназистиками, бывали у Конопацких: воспитанные, предупредительно-вежливые, с матово-черными мелкокудрявыми волосами. Мы с Любой и Катей называли братьев «пудельками». Они были сыновья члена тульского окружного суда — медлительного, малоговорливого, такого же мелкокурчавого брюнета. Навсегда запомнилась его жена, мать «пудельков»: ужасно безобразная, набеленная, нарумяненная, с подкрашенными губами, с подведенными глазами; тогда это еще совершенно не было в обычае; при появлении ее казалось, что из двери вплывает в комнату страшная, грубо размалеванная маска. Теперь «пудельки» стали красавцами-студентами, в изящнейших, длиннейших студенческих сюртуках на белой подкладке; по-прежнему предупредительно-вежливые, почтительно улыбающиеся; а мать сделалась еще безобразнее и накрашеннее, омерзительно было глядеть. Она, по-видимому, очень благоволила к Кате и постоянно была с нею.

Грустно, грустно было за Катю. Неужели кто-нибудь из этих всех окажется избранником? И кто? Белоруссов? Один из «пудельков»? Катя прекрасно играла на рояле, я убеждал ее ехать в консерваторию учиться. Но на это у родителей не было средств. Кто же будет избранником?

Дома с сестрами дело шло совсем иначе. Родная моя сестра Маня только что окончила гимназию, троюродная Инна кончила два года назад. Они были почти однолетки и очень между собою дружны. Обе собирались поступить в Женский медицинский институт. Его еще не существовало, только в газетах передавались слухи, что он проектируется; сообщалось, что для поступления будет требоваться аттестат зрелости в объеме курса мужских классических гимназий, с знанием латинского и греческого языков. Маня и Инна взялись за усердное изучение древних языков. Инна год после окончания курса пробыла учительницею в деревне, но потом решила поступить на урок, чтобы накопить денег на медицинский институт. Жила она на уроке у богатых помещиков и приводила их в изумление, что поселилась совершенно одна в глубине сада, в бане, и что изучает греческий и латинский языки.

По-прежнему я был учителем и кумиром моей «деви-

чьей команды». Она состояла из родных моих сестер, «белых Смидовичей» — Юли, Мани, Лизы, и «черных» — Ольги и Инны. Брат этих последних, Витя Малый, убоялся бездны классической премудрости, вышел из шестого класса гимназии и учился в Казанском юнкерском училище. Дома бывал редко, и я его, при приездах своих на каникулы, не встречал. Подросли и тоже вошли в мою команду гимназист-подросток Петр и тринадцати-четырнадцатилетняя гимназисточка Маруся — «черные».

Проект Женского медицинского института не осуществился. Император Александр III был ярым противником высшего женского образования и запретил учреждение института. Тогда Инна и Маня решили поступить на Рождественские курсы лекарских помощниц в Петербурге. Говорили, что наплыв прошений туда громадный. Директором курсов состоял почетный лейб-медик высочайшего двора И. В. Бертенсон. Папа был с ним заочно знаком и вел переписку по научным вопросам. Преодолев свое отвращение к обходным путям, он написал ему письмо, ходатайствуя о приеме Мани на курсы. Инна окончила гимназию с медалью, у нее были шансы быть принятой и без ходатайств. Летом 1890 года пришло извещение, что принята — Инна. Это, конечно, было естественно и справедливо, но впоследствии выяснилось, что принята она была по недоразумению вместо Мани, за которую ходатайствовал папа. Маня, горячо радуясь за Инну, за себя была в отчаянии. Когда мы провожали Инну в Петербург, больно было смотреть на тайно страдающее лицо Мани. Папа говорил, что все сложилось к лучшему, что Маня может поступить на фельдшерские курсы при тульской городской больнице, что под руководством его и знакомых врачей она тут даже лучше сможет изучить практическую сторону дела, а по теоретическим предметам он сам будет с нею заниматься. Как будто для девушек главное было — не Петербург, не студенческая жизнь, а возможно более основательное изучение фельдшерских наук!

Инна продержалась в Петербурге всего несколько месяцев. Директор курсов д-р Бертенсон собрался праздновать свой юбилей. Начальством курсов был написан пышный адрес, и курсисткам настойчиво предлагали его подписать. Но Бертенсон не пользовался на курсах популярностью. Он был чванлив, высокомерен, груб. Началась сильная агитация против подписывания адреса. Конечно, одною

из самых ярых агитаторш оказалась Инна. Бертенсон, осведомляемый о всем происходящем своими прихвостнями, особенно был возмущен участием Инны. Он сказал:

— Она должна бы помнить, что попала на курсы только благодаря мне.

Узнала про это Инна и велела ему передать, что он ошибается, что за нее никто не ходатайствовал, и она вовсе себя не считает ему обязанной. Бертенсон стал систематически к ней придираться. Инна жила в курсовом общежитии. Почему-то в общежитии запрещалось читать газеты. Однажды Бертенсон застал Инну за чтением газеты, грубо стал кричать на нее, топал ногами и выгнал ее из комнаты. По всем курсам начались сходки. Требовали, чтобы Бертенсон извинился перед Инной. Кончилось тем, что многих курсисток исключили и административно выслали из Петербурга на место жительства «под наблюдение родителей». В первую голову, конечно,— Инну.

Она вернулась в Тулу. Отец встретил ее желчным смехом:

— Ну? Доплясалась? Скоро! Так и можно было ждать.

Папа тоже был возмущен до глубины души. И вообще был возмущен поведением Инны, а тут еще: все-таки она была принята, как выяснилось, по его ходатайству, и он чувствовал себя виновником неприятностей, обрушившихся на Бертенсона. Он велел передать Инне, чтоб она к нам не ходила.

Был 1891 год. Целый ряд губерний был поражен «недородом»; крестьянство умирало от голода и сыпного тифа. Правительство ничего не делало для помощи голодающим и нехотя терпело общественную инициативу в этом деле. Инна подала заявление в богородицкое, Тульской губернии, земство о своем желании работать среди голодающих и получила приглашение. Она сочла себя обязанной предупредить заведывавшего продовольственным делом Д. Д. Протопопова о том, что выслана административно из Петербурга. Протопопов с улыбкой ответил:

— Нам такие-то и нужны.

Инна была прекрасным организатором и обладала энергией неисчерпаемой. В ее ведение дана была волость в одиннадцать деревень. Крыши изб стояли раскрытые, гнилая солома с них была скормлена скоту, лошадей приходилось подпирать, чтобы не падали, изможденные голо-

дом люди еле передвигали ноги, ребята умирали, как мухи. Инна развила кипучую деятельность. Она получала деньги от земства, от Красного креста, от американцев через Петербург. Открывала столовые, кормила, устраивала хлебопекарни; добилась того, что присланный никуда не годный семенной овес был заменен хорошим. В волости не было врача; наступила весенняя распутица, нельзя было ни проехать к врачу, ни вызвать его. Крестьяне стали обращаться за врачебной помощью к Инне. К ней была любовь, было доверие, и обычное ее дилетантское лечение «домашними средствами» стало производить эффект самый блистательный. Какая-то старуха излечилась даже от «неизлечимой» болезни. Словом, когда распутица прекратилась, никто из крестьян не хотел ехать к доктору, а все продолжали обращаться к Инне. Они предложили ей, когда кончит врачом, поселиться у них и обещали содержать ее.

Мужики были консервативны, авторитет батюшки-царя стоял для них высоко, они верили, что все вспомоществования идут от него. Земство решило возбудить перед казною ходатайство о ссуде на обзаведение крестьян скотом взамен павшего от бескормицы. С ходатайством поехал в Петербург граф Вл. А. Бобринский, впоследствии черносотенный депутат Государственной думы, а в то время — радикальный земец. Крестьяне с нетерпением и надеждой ждали результатов ходатайства. Инна посмеивалась и говорила:

— Посмотрим, что выйдет.

В ходатайстве было отказано. Крестьяне были страшно поражены. И когда Инна им объясняла, что вспомоществования голодающим идут от земства, от иностранцев, а что правительство пальцем о палец не хочет ударить для помощи им, мужики поникали головами и тяжко думали. В каждой деревне у Инны были кружки молодежи, среди них она вела вполне уже определенную пропаганду, которая принималась восторженно. Однажды парни прибежали к ней и сообщили, что их призывал становой, допрашивал, о чем с ними барышня разговаривает, и велел все доносить ему. Инна учила их, что́ говорить становому; они так и делали. Однако вскоре земство получило приказ уволить Инну, в противном случае ее угрожали выслать из Богородицкого уезда административным порядком. Мужики всею волостью устроили ей торжественные, сердечные проводы.

Мой старший брат Миша в том же году, когда я окончил филологический факультет, окончил Горный институт. Он служил инженером в Донецком бассейне, на каменноугольном руднике. Летом 1890 года я гостил у него. Видел много. Товарищи брата, инженеры, всего год-другой со студенческой скамьи,— и уже совершенно оформившиеся радетели о хозяйских интересах; шахтеры в нечеловеческих условиях труда и быта, буйные и непокорствующие; оборванные и отощавшие косари, в тупом отчаянии скитающиеся по выжженной солнцем, не дававшей травы степи.

В конце 1890 года я сдал «examen philosophicum» (в русских университетах — «полулекарский экзамен»), экзамен по теоретическим, подготовительным наукам — химии, анатомии, физиологии, общей патологии и пр. С следующего семестра начиналось изучение специальных медицинских наук и посещение клиник.

В редкие минуты отдыха от экзаменов я писал рассказ под заглавием «До ядра». На рождественские каникулы я поехал домой, там кончил рассказ и в конце декабря отправил его Гайдебурову в «Неделю». Условием я поставил высылку мне «Недели» за 1891 год; о гонораре не упомянул. О судьбе рассказа я просил Гайдебурова известить меня до отъезда моего из Тулы, чтобы можно было при проезде через Петербург лично повидаться с Гайдебуровым, в случае, если потребуются в рассказе изменения или сокращения: очень больно помнилась мне расправа, учиненная редакцией над моим первым рассказом.

Накануне отъезда в Дерпт получил январскую «Книжку недели» и два первых номера самой «Недели». Письма никакого не было. Приехал в Петербург, пошел в редакцию на Ивановскую улицу, позвонил.

— Можно видеть господина редактора?

— Он сегодня не принимает.

Я объяснил, что в Петербурге я проездом, и просил передать Гайдебурову визитную мою карточку.

— Он очень занят, все равно не примет.

Кое-как уломал передать карточку.

— Пожалуйте.

Гайдебуров встал навстречу.

— Я вам очень благодарен, что вы зашли. Мне хотелось с вами познакомиться лично. Садитесь.

Начал меня расспрашивать, кто я и что я. Я спросил, принят ли мой рассказ.

— Я его еще не прочел, за это время очень много было работы. Но он все равно будет напечатан. Я вам вообще хотел сказать: у вас есть несомненная беллетристическая жилка, и я бы вам советовал ею не пренебрегать. Ваши рассказы носят характер некоторой эскизности, небрежности, как будто вы сами не придаете им никакого значения. А между тем вам стоило бы обратить на это более серьезное внимание Хотя, конечно, как я теперь вижу, навряд ли вам это возможно в настоящее время: на старших курсах медицинского факультета работы, кажется, не мало.

— Да. Но и кроме того. Я не знаю, мне кажется, у меня хватит сил не больше, как еще на два, на три рассказа.

Гайдебуров помолчал.

— Я этого не думаю. Конечно, с уверенностью трудно еще сказать, тем более, что до сих пор все ваши рассказы взяты из одной сферы — детской жизни. Но, основываясь на этих рассказах, я все-таки думаю, что вы ошибаетесь.

Вышел провожать меня в переднюю.

— За тот рассказ вы не получили гонорара?

— Нет.

— Ну, за этот я вам вышлю. По дерптскому адресу его послать?

Когда я вышел из редакции, Петербург показался мне много красивее, чем прежде.

Однако новый рассказ этот — увы! — напечатан не был. Признан был неудачным. После всего того, что мне сказал при свидании Гайдебуров, удар показался особенно тяжелым.

О профессорах старших курсов.

Преподавание в Дерпте велось в то время на немецком языке, читали профессора-немцы, в большинстве приглашенные из Германии. Они умели полно использовать тот небогатый клинический материал, который давал небольшой уездный город, каким был Дерпт. Все они очень любили чины и в публикуемых немецких своих работах обязательно ставили под своим именем: «russischer Staatsrath» или «russischer wirklicher Staatsrath» («русский статский

советник» или «русский действительный статский советник»). Эта любовь и почтение к чинам были, впрочем, вообще особенностью германских профессоров и в самой Германии. Мировой ученый, имя которого стоило каких угодно высоких чинов, обижался, если его называли «господин профессор», а не «господин тайный советник».

Клинику внутренних болезней дельно и с большою пользою для студентов вел профессор Генрих Унферрихт — уравновешенный, всегда спокойный, розовощекий красавец с русыми усами, полный равномерною полнотою, видом похожий на бурша. Гинекологической и акушерской клиникой заведывал профессор Отто Кюстнер, типический пруссак, высокомерный олимпиец-молниевержец, скорей военный полковник, чем профессор: перед ним трепетали и студенты и собственные его ассистенты. Перед входом профессора в аудиторию далеко еще за дверями уже слышался его властный, что-то приказывающий голос; кажется, это у него была рассчитанная манера предварять аудиторию о своем пришествии. Глазные болезни читал профессор Рельман — тихий, вкрадчивый и хитрый человек. Мне однажды пришлось обратиться с больными глазами к его помощи (на дому у него). Меня поразило: он преспокойно взял с меня, студента-медика, гонорар,— у нас, русских, вещь невероятная: наши профессора не только с медиков-студентов, но и вообще со студентов денег не брали. Усиленно рассказывали, что у Рельмана всегда можно было себе обеспечить высшую отметку на экзамене: накануне экзамена студент приходил к нему на домашний прием, жаловался, что во время подготовки к его экзамену испортил себе глаза, вручал на прощание пятьдесят — сто рублей — и на следующий день выдерживал экзамен с наилучшей отметкой.

Особенно выдавался в то время уже знаменитый профессор психиатрии Эмиль Крепелин — нестарый, тридцатипятилетний, человек с окладистой каштановой бородой и умными, внимательными глазами. Впоследствии он приобрел мировую известность первоклассного психиатра, произведшего коренную реформу во всей клинической психиатрии. Он уже в 1891 году перешел из Дерпта в Гейдельберг, систематического курса мне у него не довелось слушать; студентом младшего курса я только посетил из любопытства две-три его клинические лекции. Выводят психического больного. Крепелин, внимательно глядя, начинает

задавать вопросы,— и на наших глазах, как высоко-художественное произведение, ярко начинает вырисовываться вся характерная картина данной болезни. И заключительная характеристика, которую давал болезни профессор, была для слушателей естественным и необходимо вытекающим итогом всех расспросов больного. Так было просто, что даже странно казалось,— что в этом особенного? И только тогда я оценил всю талантливость Крепелина, когда его сменил на кафедре другой профессор: суетится вокруг больного, задает бесконечное количество бестолковейших вопросов, туманится голова от скуки; конец демонстрации, а картина болезни нисколько не стала яснее, чем вначале.

Профессора из местных, прибалтийских, немцев — в мое по крайней мере время — стояли далеко не на уровне заграничных своих коллег Хирургическую клинику вел профессор Вильгельм Кох — бездарный и очень хвастливый человек, пропитанный самодовольством. Гигиену и судебную медицину читал профессор Бернгард Кербер. Это был тупица анекдотический, почти невероятный на профессорской кафедре. Раньше он служил врачом в военном флоте и в торжественных случаях облекался в военный флотский сюртук Медлительный, с высоким вдавленным лбом и редкой бородкой, с скрипучим, дребезжащим голосом. Восхваляя на лекциях терпение и труд, он приводил студентам в пример себя:

— Когда я был маленький, мать всегда мне твердила: «Глупый Бернгард, глупый Бернгард!» И все-таки — вот я стал профессором!

Единственным его научным трудом была тощая брошюра о технике судебно-медицинских вскрытий новорожденных детей. Брошюра была озаглавлена: «Sectionstechnik für (!) neugeborene Kinder» — «Техника вскрытий *для* новорожденных детей».

Когда, в последние годы моего пребывания в Дерпте, началась руссификация Дерптского университета и профессорам, местным уроженцам, было предложено в течение двух лет перейти в преподавании на русский язык, Кербер немедленно стал читать лекции по-русски. Язык русский он знал плохо, заказал русскому студенту перевести свои лекции и читал их по переводу, глядя в рукопись. И мы слушали:

— ...Приближаем друг к другу концы проводов. По-

лучается электрическая *икра*. Эта электрическая икра перелетает через воздух...

Хорошим профессором из местных уроженцев был профессор Карл Дегио, заведывавший поликлиникой. Поликлиника в России существовала только в Дерптском университете, в Германии же была почти при всех университетах. Несостоятельный больной, не имевший возможности пригласить к себе на дом врача, обращался в поликлинику, и она посылала к нему студента последнего курса. Студент вел лечение под контролем ассистента поликлиники, докладывал о своих больных и их лечении профессору в присутствии всего курса, трудных для диагноза и лечения больных тут же демонстрировал. По рецептам студентов больные получали лекарство даром в клинической аптеке. Учреждение очень разумное и полезное: студенты приучались к самостоятельной практике и в то же время не лишены были руководства и контроля. В городе такой студент-практикант назывался «Strassen-Doktor» (уличный доктор). Не скажу, чтобы мы в этом звании пользовались у населения особым почетом и признанием.

Под новый, 1891, год я писал в дневнике:

> Навсегда, бесповоротно бросить, наконец, всякую мысль о счастье. Нет личного счастья, нет счастья в других. Примириться с тою тупою, ноющею болью, из которой нет выхода; сознать, что это и есть нормальное состояние; сознать, что в настоящем счастья нет, что оно в будущем и прошедшем, вложить в них побольше смысла, побольше дела и как можно меньше слов... С новым годом! Довольно и этого. Новое счастье — ложь, как ложью было и старое счастье.

Оглядываясь на годы моего студенчества, просматривая тогдашние дневниковые записи, я вижу, что основным моим настроением — поистине, почти «нормальным состоянием» — была глубочайшая душевная угнетенность. И по натуре и по наследственности я человек здоровый. Но, видно, условия студенческой жизни били по здоровью в самый корень. Плохой стол, студенческий желудочный катар от него, запоры и геморрой; сидячая, исключительно умственная жизнь; отсутствие физических упражнений; курение по двадцать — тридцать папирос в день; безобразная по-

ловая жизнь с многонедельным воздержанием, бунтующими в крови сладострастными чертиками и с страстно желаемыми объятиями проститутки, после которых было омерзение до тошноты; отсутствие вольного общественного воздуха... В это мутно-серое настроение вдруг иногда врывались миги светлого, удивительно полного жизнеощущения, и они поражали своею неожиданностью, кажущеюся беспричинностью; так, ни с того, ни с сего как будто, вдруг взметнулась из глубины души здоровая радость.

Помню раз, вечером, сидел я в университетском парке на горе Домберг. Была весна, солнце садилось, в лиловатой мгле краснели внизу черепичатые крыши городских домов, из чащи кустов тянуло ласковой прохладой. Я думал мрачную думу о жизни. И вдруг — вдруг непонятная волна захлестнула душу совершенно необычною по силе радостью. Мускулы напрягались и играли, грудь глубоко дышала. Как хорошо! Как жизнь интересна и прекрасна! И какая чушь все то, о чем я только что думал! В первый раз тогда встало перед сознанием ощущение чудовищной зависимости нашей «свободной души» от самых для нее обидных причин — не только общественного, но даже узкофизиологического порядка. Как я читал у Герцена: «Полноте презирать тело, полноте шутить с ним! Оно мозолью придавит весь ваш бодрый ум и насмех гордому вашему духу докажет его зависимость от узкого сапога».

Был товарищеский суд над одним студентом-ветеринаром. В Дерпте, кроме университета, был еще ветеринарный институт. Для поступления в него требовалось окончание всего только шести классов гимназии. Преподавание велось на русском языке, и студенты были почти сплошь русские. Общий моральный и умственный уровень ветеринарных студентов был ниже общестуденческого уровня.

Суд происходил в помещении ветеринарно-студенческой корпорации «Конкордия». За что судили студента, не помню. За какой-то нетоварищеский поступок. Кипели речи за и против. Особенно помню одного высокого худощавого студента-ветеринара с длинными русыми волосами и с лицом молодого Чернышевского. Он говорил очень красиво, уверенно и ядовито.

У меня составилось свое особое мнение о деле, мне захотелось его высказать. До той поры мне ни разу еще не при-

ходилось выступать публично. Попросил председателя записать меня. Очень волновался в ожидании выступления. Больше всего боялся: вдруг забуду, что хотел сказать!

— Слово принадлежит Смидовичу.

Я встал, заговорил громко и спокойно:

— Господа! В этом деле есть две стороны, и этого никак нельзя упускать из виду. С одной стороны...

И вдруг в мозг быстро впилась мысль: «А ну забуду, что хотел сказать?!» И сейчас же все забыл.

— Да... Так вот, я говорю... С одной стороны...

Замолчал и мучительно старался вспомнить, но все старания обессиливала мысль: «А вдруг не вспомню!»

— Я хотел сказать, что на этот вопрос можно посмотреть с одной стороны...

И опять растерянно замолчал. Раздались смешки.

— Можно с одной стороны посмотреть... Но у всякого предмета есть и другая сторона...

И замолк окончательно.

Студент с лицом Чернышевского насмешливо заметил:

— Мысль не новая, но — справедливая.

Я молчал. Председатель спросил:

— Все?

— Все.

— Немного! — крикнул кто-то.

Дружный хохот стоял в зале. Я сел красный и с напряженным лицом смотрел вдаль, стараясь не встретиться с глазами оборачивавшихся на меня студентов.

С тех пор я не мог выступать публично. И десятки лет на всякого рода собраниях молчал, как бревно. Если приходилось говорить кому публичное приветствие, читал приветствие по бумажке; по-писанному же читал доклады и лекции, с которыми выступал. И боялся хоть на одну фразу оторвать глаза от бумаги, под гнетом все той же плотно вцепившейся в мозг мысли: «А вдруг забуду, что сказать дальше?» Свободно говорил в комиссиях, на заседаниях правлений и президиумов. Но когда передо мною была масса, когда на меня смотрели сотни глаз, как будто какое-то темное электричество лилось на меня, парализовало мой мозг и язык.

Только много позднее развязался у меня язык, и я научился говорить.

Работать приходилось очень много. Клиники, практические занятия, теоретические лекции. Не то, что в Петербурге на филологическом факультете: там я посещал только предметы, меня интересовавшие, а по остальным в несколько дней подготовлялся к экзамену и шел на него, иногда даже не зная экзаменатора в лицо. Здесь, на медицинском факультете, так нельзя было. Я уже сознавал: знающими врачами университет нас не выпустит. Нужно было только стараться, чтобы выйти по крайней мере поменьше шарлатаном, взять как можно больше из того, что предлагалось,— и поэтому работать, работать.

В редкие минуты отдыха обрабатывал материал, собранный мною в Донецком бассейне во время пребывания моего у брата. К весне 1892 года закончил серию очерков под заглавием «Подземное царство», послал в «Неделю». Раньше я подписывался «В. Викентьев», но псевдоним был слишком прозрачен, и я мог бы им подвести брата. Долго подыскивал себе новый псевдоним, наконец в одном рассказе П. Гнедича натолкнулся на фамилию «Вересаев»,— красиво и не претенциозно. Впоследствии Леонид Андреев очень хвалил мой выбор. Этой фамилией я с тех пор и стал подписываться. Вскоре получил от Гайдебурова одобрительное письмо с извещением, что очерки появятся в ближайших «Книжках недели».

На лето поехал домой. Присутствовал на домашних приемах папы, принимал больных под его руководством в лечебнице Общества тульских врачей, директором которой был папа, курировал несостоятельных его больных на дому, благодаря этому знакомился с бытом тульской бедноты-мастеровщины.

С детских лет у нас было знакомство с семьею Ставровских. С годами мы все больше с ними сходились; образовались три тесно сплоченных семьи — Смидовичи белые (мы), Смидовичи черные (Гермогеновичи) и Ставровские. Ставровский-отец служил в акцизе. Дома наших родителей находились очень недалеко друг от друга: наш на Верхне-Дворянской; за углом, на Старо-Дворянской, дом Ставровских; через несколько домов — дом «черных». Постоянно все виделись друг с другом. Летом часто гостили в Зыбине, имении «черных». Люди были самые разнообразные, но жили дружно и уютно. Старшая Ставровская, Надя, одноклассница по гимназии моей сестры Мани, прекрасно играла на рояле. Я любил слушать ее игру.

Инна, после высылки из Богородицкого уезда, где работала на голоде, жила пока дома, но вскоре собиралась ехать за границу. История на Рождественских курсах с последовавшим исключением курсисток вызвала в Петербурге всеобщее возмущение доктором Бертенсоном. Один либеральный промышленник предложил наиболее пострадавшим курсисткам, Инне в том числе, ехать на его счет в Швейцарию оканчивать врачебное образование и обязался высылать им до окончания курса по двадцать пять рублей в месяц.

У меня к Инне отношение было двоящееся. В ней странным образом совмещались беззаветная общественная отзывчивость с самым хищным эгоизмом, широкий душевный размах с совершенно бабьей мелочностью.

Все милее мне становилась ее младшая сестренка Маруся. Ей уж исполнилось семнадцать лет. Тоненькая, быстрая, ловкая; с непреодолимой внутренней насмешкой ко всяким условностям; жадная к знанию, не боящаяся высказывать своего незнания и своей непонятливости; и главное — удивительно честно и непосредственно высказывающая свои подлинные впечатления. И, как у всех черных Смидовичей, странная атрофия чувства страха. Весною, во время подготовки к экзаменам, она, чтоб отдохнуть, позднею ночью шла одна прогуляться за город. Если бы ей сказать:

— Не ходи по этой улице, ее обстреливают.

Она бы возразила:

— Но почему пуля непременно должна попасть в меня?

---

27 июня 1892 г. Тула

Тяжелые вести. Урожай в этом году еще хуже, чем в прошлом. Мне говорили мужики, что не родилось *ничего* — ни озимые, ни яровые, ни сено, ни картофель. Еще более страшный голод смотрит в лицо. По Волге надвигается холера.

13 июля

Вчера приехал из Зыбина. Чудесное время. Уже одна деревенская природа может сделать меня счастливым. Я взасос упивался запахом созревшей ржи, росистыми звездными ночами, воздухом, рекой. По вечерам — музыка Нади Ставровской, Бетховен. Сидишь на террасе и слушаешь в раскрытые окна и смот-

ришь в темный сад. Что-то накипает на сердце от могучих, мало понятных звуков, голова слегка кружится. По душе светлыми тенями проходят настроения, мысли, воспоминания. В прошлом многое кажется странным и чуждым, будущее начинает светиться влекущим, таинственным светом. Легко достижимой кажется слава, нетрудным кажется братски полюбить людей. В голове слагаются неясные, но поразительно красивые образы, и странным представляется сомнение в себе. Да, я сделаю кое-что!.. И я радуюсь мысли, что мои мечтания могут быть теперь не так робки, как прежде, что я могу писать смелее: на-днях в «Русских ведомостях» появится моя статья о санитарных условиях жизни донецких шахтеров; в июльской «Книжке недели» выйдет продолжение моего «Подземного царства»: вспоминаются лестные выражения из письма Гайдебурова... И ко всему этому — самое главное — чудная молодая женская душа, искренняя и простая, от присутствия которой тепло и хорошо делается на сердце. Я не могу сказать, что меня так привлекает в Марусе, я даже отчаиваюсь уловить когда-нибудь ее характер. Но мне так мила стала эта оригинальная девушка, что все бы был с нею: чего бы я не дал, чтобы суметь изобразить ее... Приезжаю в Тулу,— мне вручают повестку на сто двадцать три рубля из редакции «Недели»,— первый мой крупный литературный гонорар.

Холера надвигалась с Волги грозно и неуклонно, как степной пожар в засуху под ровным ветром. Умирали тысячами. В народе ходили страшные слухи: приказано морить простой народ, чтоб его было поменьше; доктора сыплют в колодцы отравные порошки; здоровых людей захватывают на улицах крючьями и отвозят в «бараки», откуда никто уж не возвращается; их там засыпают известкой и хоронят живыми. В поволжских городах пылали холерные бунты, толпа разбивала больницы и гонялась за врачами; в Хвалынске насмерть был забит толпою местный врач Молчанов.

Газеты пестрели приглашениями врачей и студентов; занятия на всех медицинских факультетах были отложены

до ноября. Медики дружно и весело шли в самый огонь навстречу грозной гостье. Весело становилось на душе.

В Туле шла спешная подготовка к встрече холеры. Строились бараки, энергично очищались и дезинфицировались выгребные ямы; золотарям-отходчикам работы было по горло, цена за вывоз бочки нечистот возросла с тридцати копеек до одного рубля двадцати копеек; бедняки, пугаемые протоколами, стонали, но разорялись на очистку. По городу клубились зловещие слухи. Мучник-лабазник Расторгуев убеждал народ не чистить ям и подальше держаться от докторов.

— Холера от кого — от бога идет? Ну, и уповай на бога, молись, кайся во грехах. А для них что бог, что помойная яма — все одно.

Местный Таврический полк не пошел на предполагавшиеся маневры и остался стоять в городе.

Пришло письмо от брата Миши из Донецкого бассейна. Он писал, что в начале августа произошел в Юзове страшный холерный бунт шахтеров; перестреляно двести рабочих, выбыло из строя двадцать семь казаков. А вскоре за этим я получил от заведующего каменноугольным рудником Карпова (недалеко от Юзова), инженера Л. Г. Рабиновича, телеграфное предложение приехать на рудник для борьбы с холерой. Миша служил на этом же руднике техническим директором. Мне надоело ждать, когда холера придет в Тулу. Я телеграфировал о своем согласии.

У мамы стало серьезное лицо с покорными светящимися глазами. «Команда» моя была в восторге от «подвига», на который я шел. Глаза Инны горели завистью. Маруся радовалась за меня, по-обычному не воспринимая опасных сторон дела. У меня в душе был жутко-радостный подъем, было весело и необычно.

Приехал на рудник. Я уже был на нем два года назад, гостил у Миши. Далеко во все стороны ровная, выжженная солнцем степь. Вышки шахт с эстакадами над горами угля и пустой породы. Черная от угля земля, ни деревца на всем руднике. Ряды смрадных землянок — обиталище рабочих. Буйные, независимо держащиеся шахтеры. Владельцем рудника был местный, бахмутский, предводитель дворянства, действительный статский советник П. А. Карпов. Благообразный старик с барским, холеным лицом, либеральный земец, любил говорить об общественном дол-

ге, о совести. Владел миллионным состоянием, но скуп был, как Плюшкин. На станции, если в кошельке не оказывалось гривенника, он жалел дать носильщику двугривенный и говорил:

— Останется, братец, за мной.

Жил верстах в десяти от рудника, в роскошном барском поместьи с огромным садом, и приезжал на рудник в коляске с тройкою лошадей и кучером в бархатной безрукавке, с павлиньими перьями на круглой шляпе. Он всячески старался ограничить траты на санитарное благоустройство рудника, но Рабинович, энергичный и решительный, не обращал внимания на его по необходимости робкие протесты и широко предоставлял мне средства для санитарных мероприятий и подготовки больничных помещений.

Холеры на нашем руднике еще не было. Здесь, на месте, я узнал, что и юзовский бунт был вовсе не холерным; кровопролитие и «укрощение» рабочих произошли на почве требований повышения расценок и улучшения жилищных условий; для власти оказалось выгоднее выставить происшествие как «холерный бунт».

Я проработал на руднике два месяца. Чувствую затруднение подробно рассказывать здесь о своей работе и о всем, что при этом пришлось увидеть: по существу все отображено в моей повести «Без дороги». Только место действия, по композиционным соображениям, перенесено в Тулу, мастеровщину которой я знал достаточно хорошо.

Отношения у меня с шахтерами установились прекрасные. Я проводил с ними беседы о холере, о причинах заболевания и способах от него уберечься; чтобы рассеять страх перед бараками, разрешил посещение заболевших родственниками; в санитары набирал местных шахтеров — из тех, которые выздоровели у нас в бараках; от них товарищи их узнавали, что ничего ужасного в бараках у нас не делается. В первое время заболевшие упорно отказывались от отправки в барак, потом сами стали проситься. Помогло еще то, что, вопреки общему правилу, как раз первые холерные заболевания носили форму легкую и окончились выздоровлением. Это окончательно рассеяло ужас населения перед таинственными и зловещими бараками. (Ужас увеличивался тем, что под бараками местные жители разумели «байрак», то есть сухой овраг, куда будто бы отправляли заболевших). В широком и хорошем товарищеском общении с шахтерами смешно и стыдно мне

было вспоминать радостно-жуткий, «героический» подъем, с каким я сюда ехал. Мне ясно было, что я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из шахтеров.

Из помощников моих с особенно горячею любовью и уважением вспоминаю молодого шахтера Степана Бараненко, крепкого стройного парня с светлыми усиками и сиплым голосом. Он перенес тяжелую холеру и по выздоровлении остался у меня санитаром. Степан ухаживал за больными, как самая любящая сестра милосердия, с удивительно милою, грубоватою нежностью утешал их и ободрял, работал без сна круглые сутки. Ко мне он крепко привязался, относился с трогательной любовью и слепым доверием. Все, что я говорил, было для него свято и нерушимо.

26 сентября 1892 г.

> Холера кончилась. Холодный ветер бушует по степи и бешено гонит перекати-поле. На днях уезжаю. Увожу отсюда много драгоценных наблюдений, здоровое тело, сознание, что прожил эти два месяца не напрасно, и, кроме того,— помогай, нахальство!— сознание, что я... хороший человек и могу делать дело.

Рабинович перед моим отъездом настаивал перед Карповым, чтоб дать мне наградные за добросовестную работу, тем более, что получал я сто рублей — много ниже средней нормы, какую в то горячее время платили студентам-медикам. Однако Карпов на это ответил решительным отказом, зато преподнес мне длиннейшую бумагу, где в газетно напыщенном стиле горячо восхвалялись многочисленные мои добродетели: энергия, молодое самоотвержение, уменье работать, внушать к себе доверие населения и т. п. Говорилось, что исключительно благодаря этим моим добродетелям холера на рудниках не развилась и была быстро ликвидирована. И подписано было: «действительный статский советник П. А. Карпов».

Я собирался уезжать. Жил я совсем один в небольшом глинобитном флигеле в две комнаты, стоявшем на отлете от главных строений. 1 октября был праздник покрова,— большой церковный праздник, в который не работали. Уже с вечера накануне началось у рабочих пьянство. Утром я еще спал. В дверь постучались. Я пошел отпереть. В окно

прихожей увидел, что стучится Степан Бараненко. Он был без шапки, и лицо глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Викентий Викентьевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся. Ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... С докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь.

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиться... Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами?

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас к солдатке одной — шинок держит потайной. Спросил стаканчик. Народу много, пьяные все... «А,— говорят,— вон он, холерный, пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусываю. Подходит Ванька Ермолаев, забойщик. «А что, почтенный, нельзя ли,— говорит,— ваших докторей-фершалов побеспокоить?» — «На что они,— говорю,— тебе?» — «А на то, чтобы их не было. Нельзя ли?» — «Что ж,— говорю,— пускай доктор рассудит, это не мое дело».— «Мы,— говорит,— твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем».— «За что?» — «А такая уж теперь мода вышла — докторей-фершалов бить».— «Что ж,— говорю,— в чем сила? Сила большая ваша. Как знаете».

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И я сам не знал, от волнения ли она или от холода: я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно! — сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь,— говорят,— тоже фершал выискался!» — продолжал он.— «Иди, иди,— говорят,— а то мы тебя замуздаем по рылу!» — «Что ж,— говорю,— я пойду». Повер-

нулся,— вдруг меня сзади по шее. Бросились на меня, зачали бить. Я вырвался, ударился бежать. Добежал до конторы. Остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Степан сидел, понурив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне бесчувственного больного. А те боялись даже пройти мимо барака. И вот теперь, отвергнутый, избитый своими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись,—говорят,— доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие,— за что? Ведь у нас сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?»

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я накинул крючок на дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленными, сильными толчками. Задыхаясь, я спросил:

— Кто это? Из тех кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть.

Что было делать? Сообщить в контору, чтоб вызвали на защиту казаков? Ни за что! Выскочить в окно, бежать, прятаться? Да мне просто это стыдно было бы перед Степаном. Я решил встретить толпу и с нею говорить. Сидел у стола. Вспоминалось дикое убийство доктора Молчанова в Хвалынске. Как глупо! В душе была решимость и большая боль. За что? И в то же время я придвинул к се-

бе бумагу и карандашом записывал характерные выражения из рассказа Степана: «Такая уж теперь мода вышла — докторей-фершалов бить», «Что же, в чем сила? Сила большая ваша!», «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие,— за что?..»

Толпа не пришла.

В то время как мы ждали ее, мы много и по душе говорили со Степаном. Он мне сознался, что сильно пьет, что его неудержимо тянет к вину, что иногда в бараке он не мог преодолеть искушения и пил спирт из спиртовки. С любопытством спрашивал меня, зачем я так убивался на работе, когда начальство за мною не смотрело... А я спрашивал:

— А вы почему? Ведь я от вас не мог требовать того, что вы делали.

Когда я в 1888 году поступил в Дерптский университет, он был вполне немецким. Русские студенты чувствовали себя в нем париями. Профессора относились к ним враждебно. При мне началась постепенная русификация университета. С целью увеличения числа русских студентов был разрешен прием студентов, уволенных из русских университетов за «студенческие беспорядки», а также окончивших курс в духовных семинариях: в русские университеты их не принимали. Немцы-профессора, чуя непрочность своего положения, при первом приглашении на заграничную кафедру покидали Дерпт. На их место назначались русские профессора. Среди них были люди с хорошими научными именами — М. А. Дьяконов, Ф. Ф. Левинсон-Лессинг, В. Э. Грабарь. Они держались по отношению к немцам корректно и уважительно.

Затем назначен был ректором университета варшавский профессор А. С. Будилович, крупный ученый-славист, но уже в Варшаве проявивший себя ярым русификатором. Ломка старого пошла вовсю. Делопроизводство стало вестись на русском языке, многим служащим, не знавшим русского, пришлось уйти. Профессорам-немцам русского подданства было предложено в течение двух лет перейти в преподавании на русский язык.

Дерпт официально был переименован в Юрьев, по первоначальному своему имени: он был основан в одиннадцатом

веке русским великим князем Ярославом I, христианское имя которого было Юрий.

Заведующим клиникой внутренних болезней был назначен доктор Степан Михайлович Васильев, ординатор знаменитого московского профессора Г. А. Захарьина, коренастый человек с бледным лицом и окладистой бородой. Держался со студентами по-товарищески, при каждом удобном случае здоровался за руку. Немецкого языка он совсем не знал. Лекции его были поверхностны и малосодержательны

В Дерптском университете существовал хороший обычай. Студенты, наиболее обратившие на себя внимание профессора своими знаниями и любовью к делу, приглашались им на семестр в свою клинику в качестве суб-ассистентов. Суб-ассистенты являлись помощниками врачей-ассистентов, следили за порученными им больными, производили лабораторные исследования, ассистировали профессору и ассистентам при операциях, делали перевязки и т. п. Клинике это было выгодно, потому что она получала нескольких даровых работников, а суб-ассистенты проходили хорошую практическую школу. Обыкновенно из этих суб-ассистентов, по окончании ими курса, профессор выбирал себе и ассистентов. Нас, русских, немцы-профессора, конечно, в суб-ассистенты не брали.

В конце осеннего семестра Васильев пригласил к себе в клинику суб-ассистентом, в числе других, и меня. Я в одной из палат следил за больными, вел их истории болезни, делал лабораторные исследования. Профессор Васильев особенно интересовался влиянием различных минеральных вод на обмен веществ. Он предложил мне заняться исследованием влияния воды Вильдунген на выделение мочевой и фосфорной кислот у здоровых и больных. Я с увлечением просиживал все вечера в лаборатории. В способе количественного определения мочевой кислоты по Гайкрафту мне удалось значительно упростить и ускорить работу путем применения центробежной машины при фильтрации трудно фильтруемого коллоидного осадка мочекислого серебра. Васильев пришел в восторг и предложил мне описать свое открытие в издававшейся им газете «Медицина». Статья появилась под заглавием: «К упрощению способа количественного определения мочевой кислоты по Гайкрафту». Потом он напечатал другую мою статью: «О влиянии воды Вильдунген на обмен веществ». Под заголовком обеих

стояло: «Из юрьевской клиники профессора С. М. Васильева». Видимо, Васильеву очень приятно было помещать статьи с таким подзаголовком, и он стал относиться ко мне с большою нежностью.

Вскоре Васильев решительно примкнул к профессорской партии Будиловича и явился яростным русификатором. Его очень жаловал дряхлый министр народного просвещения граф И. Д. Делянов,— кажется, Васильев лечил его. При частых наездах своих в Петербург Васильев все время настраивал Делянова на усиление русификации университета. Все яснее нам становилось, что Васильев—ловкий пройдоха-карьерист и в научном отношении совершенное ничтожество.

Отношения наши с Васильевым быстро портились. Двое из суб-ассистентов, устраивая себе карьеру, усердно льстили Васильеву, пресмыкались перед ним совершенно по-холопски, передавали ему все наши разговоры о нем. Фамилия одного была Биллиг, другого — Мунк. Особенно старался Биллиг. Это был полный человек с круглым лицом, на котором всегда сияла сладкая маниловская улыбка. На лекциях Васильева он слушал, сложив ручки на животе и восторженно-влюбленным взглядом следя за профессором, восхвалял Васильева в глаза и за глаза, ругал немцев, будто бы травивших Васильева. К нам, остальным суб-ассистентам, Васильев стал относиться все холоднее. По окончании семестра мы ушли от него, а Биллиг был им сделан ассистентом. Случай небывалый, чтоб ассистентом клиники был назначен не окончивший курса студент, но всемогущему Васильеву разрешалось все. Остался при клинике и Мунк. Вскоре клиника профессора Васильева стала притчею во языцех во всем городе. Шло воровство вовсю, больных питали отвратительно, новые ассистенты принуждали девушек-сиделок к сожительству, не уступавших теснили и увольняли.

Однажды, напутствуя кончавших студентов, Васильев сказал им прощальную речь. Он советовал им повыше держать перед больными свой врачебный авторитет, а самый для этого верный способ — требовать большие денежные гонорары. «И уважать вас будут гораздо больше,— говорил он,— и самим вам будет выгоднее, если с двадцати больных вы возьмете по десять рублей, чем со ста — по рублю».

В весеннем семестре 1894 года я собирался держать выпускной экзамен (examen rigorosum). Работа по подготовке к экзаменам была чудовищная, предметов, по которым предстояло держать экзамен,— неисчислимое количество. Уже за год все свободное от текущей работы время пришлось отдавать подготовке к экзаменам. А в голове роились образы и властно требовали воплощения: врач «без дороги», не могущий довольствоваться своею непосредственною врачебною работою, наркотизирующийся ею, чтобы заглушить неудовлетворимую потребность в настоящем, широком деле; хорошая, ищущая русская девушка; работа врача на холере и гибель от стихийного взрыва недоверия некультурной массы к интеллигенции, идущей к ней на помощь.

На лето я приехал домой. Жил то в Туле, то в Зыбине. Усиленно готовился к экзаменам, а в часы отдыха писал задуманную повесть. Маруся окончила гимназию. Она собиралась поступить на Петербургские высшие женские курсы, но дела родителей были очень расстроены, содержать ее в Петербурге они не могли. Маруся собиралась с осени поступить учительницей в семью соседнего помещика, чтобы принакопить денег на курсы.

1 августа 1893 г. Тула

Я опять ездил на несколько дней в Зыбино. Все лето я занимался с утра до вечера, без праздников. Захотелось отдохнуть, подышать чистым воздухом, а главное — повидать еще раз перед отъездом в Дерпт Марусю, которая становится мне все милее. Приехали мы утром, в восемь часов. Ехать было жарко, небо безоблачное, пыль не относилась ветром и густым облаком стояла вокруг тарантаса; щипало глаза, нос, горло. Приехали. В тенистом саду прохладно, река играет под солнцем. Пошел с мальчиками купаться. Из купальни Марусин голос:

— Нельзя! Мы купаемся!

Коля «черный» с братом моим Володей пошли пригнать лодку от купальни в Телячий сад, река глубокая, и если не в купальне, то мы купаемся с лодки. Я пошел берегом в Телячий сад, за осинки. Вдали стук весел, мальчики идут по берегу. В лодке гребет

Маруся — тоненькая и сильная, с влажною от купанья косой. Подъехала, соскочила на берег.

— Надолго приехал?

— Дня на два.

У меня в душе все смеется, я смотрю на свежее от купанья, улыбающееся лицо Маруси и крепко жму ее руку. И кругом все так чудесно: и река, и сад, из которого тянет утренней росой, и поля по ту сторону реки, освещенные жарким солнцем. Я говорю с Марусей и с любовью смотрю на нее, и я рад, что она чувствует, как она мне мила.

Коля недовольно ворчит:

— Ну, Маруська, убирайся прочь, мешаешь купаться.

Я удерживаю ее руку.

— Вот что, Маруся. Раньше я приезжал заниматься, а теперь приехал специально отдыхать и приказываю тебе все эти два дня занимать меня. (Мы с нею держали пари, она проиграла и в течение года должна мне повиноваться.)

— Ну, хорошо. Так купайся, приходи скорей чай пить,— сказала она с своею быстрой улыбкой.

Мы разделись в лодке. Вода еще свежая, она так и охватывает тело мягкою, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде...

Хотел подробно описать весь день, да не хватает терпенья и времени. А хорошо бы, потому что чудный был день по настроению. У меня в голове все время стоял надсоновский стих:

Я в кого-то сегодня, как мальчик, влюблен...

И тоже не знал, в кого именно: в поля ли, в этот ли тихо и нежно догорающий над рекой вечер, в эту ли девушку, сидящую на корме лодки... Мое настроение передалось Марусе. Я работал веслами, лодка плавно неслась по дремавшей реке, на берегу мириадами звенела мошкара; солнце село, и запад горел нежно-золотым сиянием. Разговор отрывистый, не хочется нарушать молчания и своего настроения.

— Витя, какое тебе дерево больше всех нравится?

Я подумал.

— Все деревья.

— Все деревья...— повторила Маруся с счастливой улыбкой.

Эх, славное время!.. И здоровье, и вольный воздух, и теплые звездные ночи, и эта полулюбовь... С образом Маруси у меня мешается образ Наташи моей повести, мне не хочется определять, где кончается одна и начинается другая. Мне вспоминается также стихотворение Мицкевича, где он говорит: «Я без тебя не тоскую, не плачу, не рвусь к тебе; но когда увижу,— так на душе легко и хорошо! Хочется пожимать тебе руки, все глядеть на тебя. И я сам не знаю, что это — дружба или любовь?»

Одно только: когда я уезжал, Маруся вдруг горячо и крепко поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и коротко, словно кусает... Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

---

27 ноября 1893 г. Юрьев

Проклятый год! Скорее бы проходил! Зубрежка, зубрежка без конца, некогда передохнуть. Ужасаешься, глядя на эти тысячи страниц, которые нужно пройти,— и больше трех четвертей из них лишь для того, чтобы затем поскорее забыть. А между тем голова полна повестью. Одно из двух: либо эта повесть окажется колоссальной галиматьей, либо попадет в точку и сильно ударит по сердцам.

Часто-часто я выходил за дверь своей комнаты и заглядывал в дырочки ящика для писем И радость обдавала душу, когда я вынимал письмо со штемпелем «Шульгино», с адресом, написанным таким мне ставшим милым почерком. Маруся жила на уроке в помещичьей семье недалеко от станции Шульгино. Переписка наша становилась все оживленнее, письма уже отправлялись без ожидания ответа на посланное письмо, было волнение и грусть, если письмо приходило не в ожидаемый день. Я уже не спрашивал себя вслед за Мицкевичем: «Что это — дружба или любовь?» Это была любовь, любовь; совсем несомненная. И я это написал в письме и получил растерянно счастливый, горячий ответ. Новыми стали ее письма, совсем другими.

Странно было, откуда у нее, всегда такой сдержанной в выражении самого естественного чувства, откуда столько глубокой, нежной ласки? И каждое слово ее письма становилось теперь для меня значительным, незабываемо-милым, и сладко волновала *подпись: «твоя».*

Месяц за месяцем проходил в напряженной работе. Занимался я по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки, ложился поздно, вставал рано. День передохнешь после сдачи экзамена — и опять за работу. Стали у меня сильно разбаливаться глаза, с каждым днем все больше. При искусственном свете начиналась сильнейшая резь в глазах. Неужели бросить на половине начатые экзамены? Это было бы слишком обидно. Пришлось сильно ограничить время занятий: я стал заниматься только днем, и то с перерывами, чтобы дать отдых глазам,— в общей сложности всего по семь-восемь часов; рано ложился, много спал. И вдруг —результат совершенно неожиданный: оказалось, за эти семь-восемь часов работы на свежую, неутомленную голову я делал ничуть не меньше, чем раньше в четырнадцать— шестнадцать часов!

---

18 мая 1894 г. Юрьев

И вот я — врач... Кончил я одним из лучших. А между тем с какими микроскопическими знаниями вступаю в жизнь! И каких невежественных знахарей выпускает университет под именем врачей! Да, уж «Записки врача» я напишу и поведаю миру много-много, чего он не знает и даже не подозревает...

1930—1935

III. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

В 1892—1894 годах, на старших курсах медицинского факультета в Дерпте, я писал свою повесть «Без дороги». Писать приходилось урывками, в промежутках между чудовищной зубрежкой, которая требовалась для сдачи многочисленных выпускных экзаменов. Окончил я повесть летом 1894 года, после сдачи экзаменов, в деревне, и послал ее в московский журнал «Русская мысль», в то время выходивший под редакцией В. М. Лаврова. Три месяца я ждал ответа. Жил я в Петербурге и работал сверхштатным ординатором в Барачной больнице в память Боткина. Наконец получаю ответ:

Милостивый Государь!

Редакция журнала «Русская мысль» имеет честь сообщить, что доставленная Вами повесть «Без дороги» не может быть напечатана в названном журнале.

Отчаяние меня взяло. Я уже много раз до того посылал свои рукописи в разные журналы. Кое-что печаталось — во «Всемирной иллюстрации», в «Книжках недели». Часто получал отказы. Еще чаще никакого ответа не получал. Огорчался, конечно. Но, перечитывая вещь сугубо критическими после отказа глазами, говорил себе: «Да, плохо!» Теперь — перечитывал и с отчаянием ощущал: «Нет — живо; даны подлинные, свои переживания; многое выражено сильно. Во всяком уж случае, даже в той же «Русской мысли» печатаются вещи много серее и неинтереснее. Вкуса ли во мне нет никакого? Настолько нет, что даже не могу понять, как бездарно то, что я написал?» Перед самим собой страшно было стать смешным «непризнанным гением».

Маруся в это время была уже в Петербурге на Высших

женских курсах. Она убеждала меня послать повесть в «Русское богатство», редакторами которого были Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Я к этому отнесся безразлично. Она отобрала у меня рукопись и сама отнесла в редакцию на Бассейной.

Прошло еще три месяца — ответа нет. В конце марта я попросил Марусю зайти в редакцию и взять рукопись обратно. Она зашла. Ее встретил какой-то господин и сказал, что только что прочитал мою рукопись, что повесть замечательная, что в настоящее время редко приходится читать такие хорошие вещи...

Я жадно спрашивал:

— А кто такой? Кто он?

— Не знаю. Среднего роста, с седоватой бородой, в золотых очках.

— Не Михайловский? — Я показал портрет Михайловского.— Не он?

— Пожалуй, немножко похож... Сказал, что окончательное решение зависит от всей редакции, что он на днях тебе напишет, но что в принятии повести ты можешь не сомневаться.

Через два дня получил письмо.

28 марта 1895 года

Милостивый Государь
Викентий Викентьевич!

Приходившая по Вашему поручению дама уже слышала мой отзыв о Вашем рассказе «Без дороги». И во второй инстанции, Н. К. Михайловского, от которого в нашей редакции зависит окончательное решение, Ваш рассказ признан прекрасным. Нам очень хочется его напечатать. Будьте добры, примите в расчет состав наших ближайших книжек, где, к сожалению, для него уже нет свободного места, и согласитесь на помещение «Без дороги» в конце лета или в начале осени.

Кроме того, мы просим Вас постоянно сотрудничать в нашем журнале и, если есть что-нибудь готовое, непременно направить к нам. Извините, что Вам пришлось так долго ждать этого окончательного ответа. Слишком много работы.

Всегда готовый к услугам Вашим

А Иванчин-Писарев

Смеялся, дурил. Превратился в маленького мальчика. Еще, еще и еще перечитывал письмо.

— «Будьте добры, примите в расчет состав наших книжек...» Гм! Как думаешь? Пожалуй, так уж и быть,— окажем им это одолжение?

Один был из самых радостных дней моей жизни.

Повесть была напечатана в августовской и сентябрьской книжках «Русского богатства» за 1895 год.

Был счастливый хмель крупного литературного успеха. Многие журналы и газеты отметили повесть заметками и целыми статьями «Русские ведомости» писали о ней в специальном фельетоне, А. М. Скабичевский в «Новостях» поместил подробную статью. Но самый лестный, самый восторженный из всех отзывов появился... в «Русской мысли». Я отыскал редакционный бланк «Русской мысли» с извещением об отказе напечатать мою повесть и послал его редактору журнала В. М. Лаврову, приписав под текстом отказа приблизительно следующее:

Милостивый Государь
Вукол Михайлович!

С удивлением прочел я в последней книжке «Русской мысли» отзыв о моей повести «Без дороги»,— повести, которая была возвращена мне «Русской мыслью» как негодная к печати. Отзыв этот настолько лестен, что невольно является мысль, что рукопись моя была возвращена мне непрочитанной. Сообщаю это к Вашему сведению в интересах других начинающих авторов.

А. И. Иванчин-Писарев, заведывавший редакцией «Русского богатства», передал мне приглашение редакции бывать на «четвергах», еженедельно устраивавшихся редакцией для своих сотрудников. Это была для меня радость, больше всех других радостей, так обильно сыпавшихся на меня в эти месяцы: самой желанной, самой дорогой и близкой литературной средой была в то время литературная группа, во главе которой стояли Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко.

Собирались в редакции журнала, на Бассейной. Постоянно бывали ближайшие сотрудники журнала: Н. Ф. Анненский, жизнерадостный старик с душою юноши; философ-позитивист В. В. Лесевич, скромный, с красным, шишковатым носом горького пьяницы, в жизнь свою не выпивший ни капли вина (у него была алкоголическая наследственность, он знал это и берегся); захлебисто-хохочущий публицист-социолог С. Н. Южаков с наружностью Фальстафа; изящный А. И. Иванчин-Писарев, в золотых очках, П. В. Мокиевский и другие. Наезжали В. Г. Короленко (кажется, он в то время жил уже в Полтаве), С. Я. Елпатьевский. Из беллетристов бывали еще польски-вежливый Вацлав Серошевский, недавно воротившийся из страшной ссылки с «края лесов» на севере Якутской области; красавец-инженер Н. Г Гарин-Михайловский, с молодым ли-

цом, блестящими глазами и совершенно седыми волосами; Юлия Безродная; Ек. Леткова и др.

За длинным столом пили чай с бутербродами, беседовали. Серьезных разговоров тут не поднималось, споров не было,— была веселая болтовня интеллигентных людей, обмен политическими и литературными новостями. Чувствовалось, что центральным лицом здесь является Михайловский. Он в общем говорил мало и сдержанно и был — странно это, но мне так казалось — застенчив. В темно-синей австрийской куртке, прямой, с длинною, уже седою бородою, с густыми еще волосами, в золотом пенсне. Великолепный, умный лоб и недобрая линия губ.

Ко мне он отнесся радушно. Смотрел ласково, очень хвалил повесть. Я ему рассказал об отказе, полученном от «Русской мысли». Он усмехнулся.

— Ну, много я за нею знаю промахов, а такого не ожидал!

Расспрашивал, над чем я сейчас работаю, крайне заинтересовался моим намерением писать «Записки врача», говорил: «Пишите, пишите! Это очень важно и интересно».

Однажды среди обычных посетителей «четвергов» я увидел новое лицо. Почтенных лет господин, плотный, с седенькою бородкою клинышком, очень обывательского и совсем не писательского вида.

А. И. Иванчин-Писарев торжественно отрекомендовал его:

— Наш редактор, доктор Попов!

Что за редактор? Никогда раньше я не слышал упоминаний о нем, и все знали, что редактируют журнал Михайловский и Короленко. Тут вспомнил я, что на задней странице обложки, внизу, на каждой книжке журнала неизменно стояло: «Редакторы: П. В. Быков, д-р С. И. Попов». Со времени основания журнал «Русское богатство» несколько раз совершенно менял свою физиономию. Долго вел его Л. Е. Оболенский — философ с наклоном к толстовству, публицист, критик, беллетрист и поэт, заполнявший журнал преимущественно собственными своими произведениями под инициалами и разными псевдонимами; но печатались там и публицистические статьи Льва Толстого в тех обрывках, которые выходили из цензурной трепалки. Потом журнал перешел в руки народника С. Н. Кривенко, затем к Михайловскому и Короленко. Все менялось — издатели, направление журнала, внешний вид книжек.

А внизу обложки каждого номера неизменно стояли два тех же самых редакторских имени: П. В. Быков, д-р С. И. Попов.

В те времена утверждение редактора сколько-нибудь оппозиционного журнала было сопряжено с неимоверными трудностями. Главное управление по делам печати, случалось, забраковывало одно за другим десятки лиц, представлявшихся на утверждение, и журнал попадал в совершенно безвыходное положение. Поэтому раз утвержденными редакторами приходилось очень дорожить, и они передавались вместе с журналом одним издателем другому. Так было и с редакторами «Русского богатства». К действительному редактированию журнала они, разумеется, не имели никакого отношения. Роль Быкова ограничивалась тем, что он ежемесячно заезжал в редакцию, подписывал готовый к выпуску номер и получал за это свои двадцать пять рублей. Доктор же Попов служил санитарным врачом где-то на юге, и никто в редакции точно даже не знал, где он находится. Теперь приехал он по своим делам в Петербург и кстати посетил редакцию «своего журнала».

Приняли его очень радушно, с полным почетом. Он просидел весь вечер, смотрел, слушал, узнал, что 15 ноября — день рождения Михайловского, и почел своим долгом явиться в этот день к нему.

15 ноября весь левый литературный и общественный Петербург собирался к Михайловскому поздравить его. С утра до поздней ночи в квартире толкался народ. Одни приезжали, другие уезжали. Среди гостей расхаживал хозяин, в неизменной темно-синей австрийской куртке, радушный и сдержанный.

В полном составе были, конечно, все наличные члены редакции «Русского богатства». Была издательница «Мира божьего» А. А. Давыдова, вдова известного виолончелиста, со следами былой замечательной красоты. Много было других.

Лилось вино. Лились речи, по тогдашнему времени, конечно, совершенно «недозволенные цензурою». Было уютно, хорошо, дружно. Подвыпивший старичок-редактор слушал, моргал глазами,— расчувствовался и со стаканчиком вина поднялся, чтобы тоже сказать речь. И сказал:

— Господа! Мы все любим нашу родину, все по мере сил служим ей, как кто может. Одни, как наш глубокоуважаемый виновник сегодняшнего торжества, служат ей та-

лантливым своим пером, другие лечат, третьи торгуют, четвертые пашут землю. Но всем нам одинаково дорога наша милая родина. И вот я предлагаю: поднимем бокалы, осушим их за нашу дорогую матушку-Русь и за ее державного руководителя, государя-императора, и дружными голосами споем «Боже, царя храни!»

Как будто бомба разорвалась в комнате. Все шарахнулись в стороны. Незнакомый мне Виктор Петрович Острогорский, бывший редактор «Дела», стоявший рядом со мною, спрашивал меня:

— Кто это? Кто это?

Я ответил смеясь:

— Редактор «Русского богатства».

Старичок, ничего не замечая, умиленно улыбался и тянулся со своим стаканчиком к Михайловскому. Михайловский закусил губу и отвел свой стакан в сторону. Приветственный бокал редактора безответно реял в воздухе.

Михайловский заговорил:

— Оратор указал на то, что я служу родине пером. Господа! Трудная это служба! Я не знаю, есть ли на свете служба тяжелее службы русского писателя, потому что ничего нет тяжелее, как хотеть сказать, считать себя обязанным сказать,— и не мочь сказать. Когда я думаю о работе русского писателя, я всегда вспоминаю слова Некрасова о русской музе — бледной, окровавленной, иссеченной кнутом. И вот, господа, я предлагаю всем вам выпить не за государя-императора, а

За эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу!..

Бешено затрещали рукоплескания, все бросились к хозяину с бокалами. Старичок-доктор оторопело стоял со своим полным стаканом и изумленно оглядывался.

Все от него отвернулись.

Злополучный редактор сидел в уголке дивана, плакал пьяными слезами и говорил сидевшему рядом студенту:

— Я для них достал со дна души самый лучший мой перл, а они... За что они так?

Студент с презрением отвечал:

— Потому что ваш перл — гнилая картофелина.

— Как гнилая картофелина?

Он скорбно качал головою и сморкался.

В ту пору в полном разгаре была полемика Михайловского с развивавшимся в России марксизмом.

Уже в начале девяностых годов, совершенно не отражаясь в легальной литературе, в революционной русской среде все больше начинали распространяться идеи марксизма, развитые еще в середине восьмидесятых годов Г В. Плехановым и возглавляемою им группой «Освобождение труда». Но в то время идеи эти большого распространения не получили Не то было теперь. Исторический срок пришел,— марксизм стал распространяться быстро и победно. Ход истории определяется не волею критически мыслящих личностей, а производственными процессами; в России с неотвратимою неизбежностью развивается капитализм, бороться против его развития, как пытаются делать народники,— бесполезно и смешно; община, артель — это не ячейки нового социалистического уклада, а пережитки старого быта, обреченные на гибель; развивающийся капитализм выдвигает на сцену новый, глубоко революционный класс — пролетариат, и наиболее плодотворная революционная работа — это работа над организацией пролетариата

Повторяю, отражения всех этих взглядов в легальной литературе совершенно еще не существовало, когда Михайловский начал свою полемику против них. Положение получилось оригинальное. Михайловский писал статьи против марксистов, марксисты засыпали его негодующе-возражающими письмами, Михайловский возражал на эти письма. Читатель был в положении человека, присутствующего при диалоге, где слышны речи только одного из участников.

В 1894 году вышла книжка П. Б. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Книжка заканчивалась нашумевшей фразой: «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму».

Михайловский обрушился на книгу со всею силою своего полемического таланта, едкого юмора и гражданского пафоса. Противник он был опасный. Литературный путь Михайловского был устлан репутациями, сокрушенными его богатырскими ударами,— начиная с Виктора Буренина и кончая проповедниками «малых дел» — Я. Абрамовым, Тимощенковым и др. Полемические удары Михайловского на долгие годы вывели из строя и сделали форменным литературным изгоем критика «Северного вестника», А. Л. Волынского. Теперь же учение глубоко революционное, выраставшее из самых недр изменявшейся русской жизни, он третировал как продукт усталости и общественного раз-

брода, как измену «заветам» и отказ от революционного «наследства».

При неумении или нежелании понимать больше того, что, по цензурным условиям, могло быть высказано в легальной печати, конечно, можно было видеть в марксизме отказ от активности, проповедь примирения с действительностью и т. п. Так именно первое время и воспринимала марксизм реакционная печать. Николай Энгельгард, «специалист» по вопросам марксизма, писал, например, в «Новом времени»:

> Здоровый инстинкт подсказывает молодежи, что жертвовать собою ради фикции — бессмысленно, что пора жертв миновала... Молодежь инстинктом чует, что надо себя беречь и экономить свои силы. Есть эпохи, когда жертвы бессмысленны. Наша молодежь это чувствует, бережет себя и разумно делает... Марксисты правы. Время частного почина и личной инициативы прошло. *Все жертвы принесены. Больше не требуется.*

Это писалось в то время, когда молодежь толпами уходила в марксизм именно потому, что он широко открывал двери личному почину и инициативе, что указывал широкое поле деятельности для всякого, кто не боялся жертв и был готов идти на них.

Над пониманием марксизма «Новым временем» можно было только хохотать. Такое же понимание Михайловского вызывало негодование. А понимание было такое же. Только то, что удостаивалось похвал нововременца, конечно, ставилось в позор марксизму Михайловским. Он писал по поводу книжки Струве:

> Капитализм будет рад взять к себе на выучку способных людей, хотя бы и с камнем за пазухой. Камень этот состоит в том, что капитализм есть историческая категория, которая уступит с течением времени место иному строю. Но ведь улита едет, когда-то будет! Когда-то она еще доползет до последнего термина гегелевской триады, да и так ли оно вообще будет, а пока погреть руки можно... Г. Струве «вовсе не желает идеализировать капиталистический строй, ни быть его адвокатом». Итак, он приглашает нас в такое место, защищать которое он не может, и служить злу, потому что оно необходимо.

И все в таком же роде. Конечно, статья эта не сокрушила Струве.

Вслед за книгой Струве вышла книга никому не известного Н. Бельтова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. (Ответ гг. Михайловскому, Карееву и комп.)». Книга произвела впечатление ошеломляющее. Не с задором новичка, как у Струве, а властным, уверенным

тоном опытного публициста и солидного ученого Бельтов повел уничтожающую атаку на Михайловского, обличая его в невежестве и в полном непонимании того, о чем он взялся судить. Совершенно необычен был презрительно-уничтожающий, третирующий тон, которым Бельтов говорил — о ком? О Михайловском! На молодежь этот тон действовал в направлении полного разрушения того пиетета, которым было окружено имя Михайловского.

Очень скоро стало известно, что под псевдонимом «Н. Бельтов» скрывается не кто иной, как Г. В. Плеханов, заслуженный революционер-эмигрант,— человек, которого уже не так-то легко было петербургскому публицисту из тиши своего кабинета обвинять в пассивном преклонении перед действительностью и в реакционности. И тон ответа ему Михайловского был несколько иной — уже защищающийся и как будто даже несколько растерянный.

Быстро, на глазах, популярность Михайловского падала и таяла. А нужно было жить в 80-х годах, чтобы знать, какова была эта популярность. Он был форменным «властителем дум» всей революционной интеллигенции. Шел общий разброд, процветала проповедь «малых дел», толстовского непротивленства и «неделания». Михайловский же страстно напоминал о необходимости широкой постановки общественных задач, о великой ненависти и великой борьбе. Михайловский так был популярен, что к нему нередко обращались за разрешением споров даже семейных и вообще чисто личных. И вот теперь, в два-три года, он стал совершенно чужим как раз наиболее активной части интеллигенции.

В студенческих и рабочих кружках усиленно штудировались нелегальная брошюра (Ленина) «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов (ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов)», книги Бельтова, Струве и нововышедшая книга «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.)» А. Волгина (того же Плеханова). Сделана была попытка выпустить легально большой сборник марксистских статей под заглавием «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Центральной статьей сборника являлась статья К. Тулина (Ленина): «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве».

Сборник был конфискован и сожжен до его выхода в

свет. Несколько десятков экземпляров удалось спасти. Книга читалась нарасхват.

Всюду кипела напряженная революционная работа, велись занятия в рабочих кружках, печатались на мимеографах прокламации и распространялись по фабрикам и заводам, сотни марксистов, студентов и рабочих заполняли тюрьмы и места ссылки.

Воспитанный в школе Михайловского, я вначале яростно спорил с марксистами, возмущался «необузданным» тоном полемики с Михайловским. Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка петербургских ткачей, всех поразившая своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она,— меня в том числе. Почуялась огромная, прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории. Я решительно примкнул к литературному кружку тогдашних легальных марксистов (Струве, Туган-Барановский, Калмыкова, Богочарский, Маслов и др.). Вступил в близкие и разнообразные сношения с рабочими и революционной молодежью. В моей квартире в Барачной больнице в память Боткина, за Гончарной улицей, происходили собрания руководящей головки «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», печатались прокламации, в составлении их я и сам принимал участие. У меня был склад нелегальных изданий; хранить их мне было легко и удобно: я заведывал больничной библиотекой, и на нижних полках шкафов, за рядами старых журналов, в безопасности покоились под ключом кипы брошюр и новоотпечатанных прокламаций.

Совсем новые люди были кругом — бодрые, энергичные, с горящими глазами и с горящими сердцами. Дикою и непонятною показалась бы им проповедь «счастья в жертве», находившая такой сочувственный отклик десять лет назад. Счастье было в борьбе — в борьбе за то, во что верилось крепко, чему не были страшны никакие «сомнения» и «раздумия».

А Михайловский и его «Русское богатство» все продолжали твердить о том, что марксизм ведет к примирению с действительностью и к полнейшей пассивности. В весело-грозовой атмосфере захватывающей душу работы, борьбы и опасности как смешны казались эти упреки! А у самого Михайловского, в сущности, давно уже не было никаких путей. Он открещивался от народничества, реши-

тельно отклонял от себя название народника. И, по-видимому, совершенно уже утратил всякую веру в революцию.

В этот, как мне кажется, тяжелейший для него период я и имел возможность наблюдать Михайловского. Вблизи, со стороны окружающих, он встречал прежний благоговейный культ, чтился как блюститель традиций старых «Отечественных записок», сотрудник Некрасова и Щедрина, бессменно стоящий «на славном посту» (так был озаглавлен большой сборник статей, выпущенный сотрудниками и почитателями Михайловского по случаю сорокалетия его литературной деятельности). А дальше, за этим видимым кругом, чувствовалось большое, смутное пространство, где была вражда и, что еще ужаснее, пренебрежение и насмешка. Тут много субъективного,— может быть, оно было и не так, но у меня в душе отложилось такое впечатление: Михайловскому хотелось думать, что перед ним — очередная полоса безвременья, равнодушные к общественной борьбе люди, которых заклеймит история и борьбу с которыми она поставит ему в славу. Так хотелось думать. А в душе было ощущение, что все сильное, смелое и достойное уходит к его противникам, что сам он — на мели, а бурный, все больше вспухающий революционный поток несется мимо. Он ужасно страдал — и с тем большею враждою относился к приверженцам нового учения.

А оно просачивалось повсюду. И даже молодежь «Русского богатства» оказалась зараженною. Помню встречу нового 1896 года в редакции «Русского богатства». Было весело и хорошо. Певец Миров чудесно пел. Часто воспоминания неразрывно связываются с каким-нибудь мотивом. У меня тот вечер связан в памяти с романсом, который он, между прочим, пел:

> Но мне жаль, что я много прожил без л!
> Но мне жаль, что я мало любил...

У Мирова был замечательный бас,— мне еще много позже говорили: европейский бас. Но почему-то он ушел с оперной сцены. Настоящая его фамилия была Миролюбов, Виктор Сергеевич. Впоследствии он оказался очень талантливым редактором, и его «Журнал для всех» пользовался почетной известностью.

Танцевали. После ужина фурор произвела русская, которую проплясали А. И. Иванчин-Писарев и С. Н. Южа-

ков. Красавец Иванчин, в золотых очках, с скрещенными на груди руками, надвигался на свою даму, молодецки поводя плечами. Даму изображал Южаков — огромный, грузный, красноносый; он стыдливо уплывал от своего кавалера, кокетливо придерживая пальцами, как фартук, полы длинного сюртука.

Я танцевал кадриль с Мусею, дочкою А. А. Давыдовой, издательницы «Мира божьего». Заговорили о марксизме, я сказал, что я марксист. Оказывается, моя дама тоже очень сочувствует марксизму. Подошел беллетрист В. Л. Серошевский. И он, выясняется, всею душою лежит к марксизму. Юлия Владимировна, дочь Лесевича, Мокиевский, Н. Г. Гарин-Михайловский... В шутливой форме я сообщил о неожиданном открытии подошедшему Иванчину-Писареву. Он улыбнулся довольно кисло. Было смешно: такою грязью поливалось новое учение, а молодежь и тут, несмотря ни на что,—за него. Я поглядывал на Михайловского:

С врагами бился,
А злейший враг меж тем подрылся
Уже под самые столбы
Их всех вмещающего храма...

Однажды Михайловский подсел ко мне и сказал:

— Викентий Викентьевич, я получил из Сибири письмо от Якубовича-Мельшина, он спрашивает, что вы теперь пишете и скоро ли появитесь в нашем журнале. Что ему прикажете ответить?

Я смутился.

— Сейчас я пишу рассказ, только навряд ли вы согласитесь напечатать его в «Русском богатстве». Там выводятся социал-демократы, и отношение к ним автора очень сочувственное.

Михайловского ответ мой как будто покоробил.

— Так что ж из того?

— В повести появляется Наташа из «Без дороги». Она находит дорогу в марксизме.

— Не представляю себе, чтобы это могло оказаться препятствием к помещению рассказа в «Русском богатстве».

Меня этот разговор очень обрадовал, и я на минуту счел действительно возможным появление моего нового рассказа в «Русском богатстве». Иванчин-Писарев, узнав от Михайловского о новом рассказе, ласково мне улыбался, торопил и при каждой встрече спрашивал, готов ли рассказ.

Наконец кончил рассказ, снес в редакцию.

Встречаюсь с Иванчиным-Писаревым,— чуждые, холодные глаза: «Не подходит. Рассказ очень плох». То же и Михайловский: «Не подходит». И неласковые, отталкивающие глаза.

Рассказ, правда, был плох, и отказ его напечатать оказался для меня очень полезным. Под влиянием первого успеха молодой писатель легко теряет голову, понижает требовательность к себе, повышенно оценивает все, что напишет. Уж не он с трепетом обращается в редакцию,— сама редакция просит, торопит, увеличивает гонорар.

Как тут бывает полезен добрый ушат ледяной воды на голову, разгоряченную успехом и всеобщими похвалами! Благодарю судьбу до сих пор, что мне долго приходилось дрожать перед редакторскою палочкою, что, уж получив имя, несколько раз браковался редакциями. Тогда в этом отношении начинающий писатель был счастливее, чем теперь. В настоящее время сплошь да рядом бывает так: напишет молодой человек хорошую повесть, несомненнейшим образом «подает надежды», но ему еще десять лет следовало бы дрожать перед редактором, две трети написанных вещей следовало бы беспощаднейшим образом браковать. А между тем, глядишь,— юноша этот уже сам редактор, сам учит начинающих, как писать, знакомит публику с «приемами» и «методами» своей творческой работы. И падает талант на глазах. Небрежность, отсутствие самокритики, самодовольство, влюбленность в себя.

Рассказ мой был очень плох. Между прочим, в качестве эпизодического лица в нем, совершенно неоправданно, появлялась героиня моей повести «Без дороги», ищущая дорогу Наташа. В новом рассказе она оказывалась нашедшею дорогу, была марксисткой и являлась в рассказе исключительно для того, чтобы заявить себя марксисткою и отбарабанить свое новое «credo» [1]. Ее устами я решительно порывал с прежними своими взглядами и безоговорочно становился на сторону нового течения.

Рассказ был плох. Но для меня последствия были не от плохих художественных качеств рассказа, а от этого выступления Наташи. Прежде ласковые и внимательные глаза членов редакции «Русского богатства» стали теперь холодными и какими-то невидящими. Когда я приходил на четверговые собрания сотрудников, всегда как-то получалось

[1] «Убеждения» *(лат.)*.

теперь так, что я оказывался в одиночестве. По натуре своей я неразговорчив и мало общителен, долгое время я наивнейшим образом приписывал свое одиночество этому обстоятельству. Но однажды отношение ко мне выразилось до того ясно, ко мне так определенно поворачивались спиною, что я встал и ушел, ни с кем не прощаясь, и с тех пор перестал ходить к ним. Мне очень стыдно было, что я сразу не мог почувствовать изменившегося отношения ко мне.

Месяцев через пять-шесть, на какой-то писательской панихиде на Волковом кладбище, я на мостках лицом к лицу встретился с Михайловским. Поклонился ему. Он с холодным удивлением оглядел меня, как бы недоумевая, кто этот незнакомый ему человек, потом поспешно поднес руку к шляпе и раскланялся с преувеличенною вежливостью, как будто так и не узнал.

Возникали и быстро захлопывались правительством марксистские журналы и газеты. В «Новом слове» должен был появиться мой небольшой рассказ «Поветрие». В нем выведены были марксисты и народники в их спорах,— увы, только в спорах! Показать марксистов в действии по тогдашним цензурным условиям нечего было и думать. Выведена была и Наташа из напечатанной в «Русском богатстве» повести моей «Без дороги». Она нашла дорогу в марксизме. Рассказ не успел появиться в «Новом слове»: журнал был закрыт. Я предложил рассказ «Миру божьему», в последние годы начавшему решительно склоняться к марксизму. «Мир божий» отказался поместить рассказ, и секретарь редакции, Ангел Иванович Богданович, откровенно сознался мне, что напечатать рассказ они боятся: он, несомненно, вызовет большую полемику — и обратит на их журнал внимание цензуры.

Осенью 1898 года я выпустил сборник своих рассказов отдельной книжкой,— семь рассказов, среди них повесть «Без дороги» и, как эпилог к ней, рассказ «Поветрие», который мне так и не удалось пристроить раньше в журнале.

Книжка вызвала ряд критических статей в журналах и газетах. Я с большим любопытством ждал, как отзовется на книжку Михайловский? Центральное место в книжке занимала повесть «Без дороги», которою он был очень доволен. Но, ввиду позднейшего отношения ко мне Михайловского, трудно было ждать, чтобы он отнесся к книжке благосклонно. Как же выйдет он из затруднения?

Вот как он вышел. В двух первых книжках «Русского богатства» за 1899 год он поместил длинную статью, посвященную разбору моей книжки. Михайловский разбирал мои рассказы в хронологическом порядке. Вообще говоря, замечал он, смешно, когда молодые авторы считают нужным помечать каждый рассказ годом его написания. Но в данном случае приходится пожалеть, что этого нет. А жалеть приходилось потому, что это важно было... для определения быстрого моего падения с каждым следующим рассказом.

Рассказ г. Вересаева «Без дороги»,— писал Михайловский,— представлял собою нечто исключительное в молодой беллетристике, производил отрадное впечатление не только сам по себе, а по тем надеждам, которые он возбуждал... Можно было ожидать, что г. Вересаев, отделавшись от некоторой невольной бессознательной подражательности, окрепнет и сделает еще более ценные вклады в отечественную литературу. Казалось, у него для этого есть все данные... Но, увы, эти ожидания, эти надежды не оправдались.

Михайловский сравнивал «Без дороги» с после него написанными рассказами — очерком «На мертвой дороге» и «эскизом» «Поветрие», доказывал, что каждый из этих рассказов значительно хуже предыдущего, что мы имеем перед собою явственную наклонную плоскость, и повторял, что надежды, возлагавшиеся на автора «Без дороги», не сбылись.

Ставить крест над молодым писателем только потому, что на протяжении трех лет два последующих его рассказа оказались слабее предыдущего, было, конечно, несправедливо и предвзято-придирчиво. Эта враждебная предвзятость действовала тяжело, хотя ее можно было предвидеть. Но тяжелое это чувство отступало далеко на задний план перед ошеломляющим впечатлением, которое на меня произвела статья Михайловского по существу — по характеру его отношения к моей героине Наташе. Это было типичное отношение старого папаши-обывателя, стоящего в полном недоумении перед исканиями и запросами своей дочки. Ссылаясь на другой мой рассказ, «Товарищи», помещенный в той же моей книжке, Михайловский писал:

Как бы впоследствии Наташа не уподобилась тем «товарищам», проживающим в городе Слесарске, которые жалуются на «книгу»: «потребовала, чтобы вся жизнь была одним сплошным подвигом; но где взять для этого сил? И вот результат: она только искалечила нас». Для Наташи этот печальный результат тем вероятнее, что она, можно

сказать, суется в воду, не спросясь броду. Она ищет не такой задачи, которая ей была бы под силу, а просто *самой* важной, *самой* полезной, для которой она, может быть, и не годится.

Отмечая неудовлетворенность Наташи встречающимися ей людьми, Михайловский замечал:

Людей с твердою нравственною поступью совсем не так мало. Вот, напр., ученый, астроном или химик, твердо уверенный в великом значении своего дела; адвокат, искренно верующий в святость своей миссии; земский деятель, убежденный в своем деле; писатель, не имеющий никаких сомнений в том, что он делает настоящее благое дело, распространяя правильные взгляды, напр., на отношения к инородцам, и т. д. и т. д.

И это писал Михайловский, который еще десять — пятнадцать лет назад наносил такие сокрушающие удары проповедникам «малых дел», указывавшим ищущей молодежи как раз на этих самых «адвокатов, искренно верующих в святость своей миссии», и «земских деятелей, убежденных в своем деле».

Убийственно отвечал Михайловскому Ал. Н. Потресов в апрельской книжке «Начала» (книжка эта была конфискована и до читателя не дошла).

Старые песни, г. Михайловский, старые песни! Нам давно прожужжали ими уши разные советники, почтенные доброхоты, снисходительно и со скептической усмешкой посматривающие на «увлекающуюся юность»... Современные Наташи ищут не героических поз, не превосходных степеней, не *самых* полезных, *самых* важных задач, как это, кажется, думает Михайловский, а просто-напросто дела, которое бы стояло в непосредственной связи с их общественным миросозерцанием... Наташи суются туда, куда им соваться не рекомендует г. Михайловский, не потому, что иные занятия они считают «недостойными» своих «исключительных» натур, а потому, что справедливо полагают: для *другого* дела найдутся и находятся *другие* хорошие люди, для него не требуются, как непременное условие, их общественные взгляды и симпатии... «Безымянная Русь» нашего времени, все те, кто является действительным, а не самозванным «наследником» прошлого, может спросить наших скептиков: кто, кроме них,— «Безымянной Руси»,— будет выполнять незавершенное историческое дело? Если *они* не пойдут туда, где они *пока* особенно нужны, *никто другой* не пойдет. Этого ли хотят господа советники?

И Потресов приводил цитату из Щедрина:

«Нет, просветительная дорога — не наша дорога. Наша — дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: «блюдите, да опасно ходите». Чтоб вступить на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла и, подобно раскольникам-бегунам, идти вперед, вышнего

града взыскуя». Эти речи великого бытописателя русской общественности,— прибавлял Потресов,— «забытые слова»; они забыты его прежними литературными соратниками [1].

Статья Михайловского была подлинным революционным его самоубийством. Я перечитывал его статью, и в душе был горький смех: «Да ведь это *твоя* же наука, твоя, когда ты еще не одряхлел революционно!» И приходила в голову мысль: «Вот в каких степенных ворон превращаются даже такие орлы, как Михайловский!»

К осени 1900 года я окончил свои «Записки врача», которые писал пять лет. Здесь не к месту и долго рассказывать, как это случилось, но поместить их в журнале близкого мне направления я не имел возможности. А. И. Иванчин-Писарев, заведующий редакцией «Русского богатства», обратился ко мне с просьбой отдать «Записки» им. Отношения с «Русским богатством», как видел читатель, были у меня сложные. Но в душе долго остается жить первая любовь. Несмотря на все происшедшее между нами, мне мил был Михайловский, сыгравший большую роль в моем развитии. К тому же неистовая вражда его к марксистам стала в последнее время как будто ослабевать.

Я послал Михайловскому «Записки врача» при письме, где писал, что охотно поместил бы свои «Записки» в «Русском богатстве», если бы можно было сделать как-нибудь так, чтобы появление мое в этом журнале не знаменовало моего как бы ухода от марксизма.

Получил ответ. Старческий, сильно дрожащий почерк.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Я с величайшим интересом прочитал Ваши «Записки» и просил бы у Вас разрешения начать их печатание с января. Я не совсем понимаю, что Вы хотите сказать о возможности такого сотрудничества в «Русском богатстве», которое не обозначало бы Вашего отречения от марксизма. Не зайдете ли как-нибудь ко мне утром между 11 и 12 часами, а если этот час Вам неудобен, то завтра, в четверг, вечером, часов в 8.

Искренно уважающий Вас

Ник. Михайловский.

11 окт. 1900

Вечером в четверг я пошел к Михайловскому. Он жил на Спасской, 5. Знакомый кабинет, большой письменный стол,

[1] Статья эта перепечатана в сборнике статей А. Н. Потресова «Этюды о русской интеллигенции». Изд. О. Н. Поповой, СПб, 1906. *(Прим. В. Вересаева.)*

шкафчик для бумаг с большим количеством ящичков, на каждом надпись, обозначающая содержание соответственных бумаг. Михайловский — стройный и прямой, с длинною своей бородою, высоким лбом под густыми волосами и холодноватыми глазами за золотым пенсне; как всегда, одет в темно-синюю куртку.

Разговор был очень странный. Я сказал, что хотел бы поместить в начале статьи подстрочное примечание приблизительно такого содержания: «Расходясь по основным вопросам с редакцией, автор прибегает к любезному гостеприимству «Русского богатства» за невозможностью для него выступить в журнале, более ему близком».

Михайловский помолчал.

— Я ничего не имею против того, чтобы поместить примечание. Но подумайте, нужно ли оно? У большой публики оно вызовет только недоумение: ей совершенно чужды наши маленькие разногласия и споры, оттенки наших мнений ей совсем непонятны. Боюсь, что вы поставите себя в смешное положение.

Я изумился.

— Николай Константинович, сами вы, во всяком случае, все время очень энергично подчеркивали важность и существенность наших разногласий. Многим, не спорю, примечание мое может показаться смешным, но я на это иду.

— Как прикажете. Ничего не имею против.— Он перечитал проект примечания.— Вот только: «расходясь по основным вопросам»... Если по всем основным вопросам с нами расходитесь, то как вы можете у нас печататься? Я бы предложил: «по некоторым вопросам».

На это я согласился.

Рукопись была сдана в набор. Иванчин-Писарев был очень доволен, пророчил вещи колоссальный успех, был со мною ласков и нежен.

Торжественно был отпразднован сорокалетний юбилей Михайловского, с демонстративною против правительства торжественностью. Праздник носил характер общественного события. Петербургские литераторы-марксисты решили принять участие в праздновании юбилея и приветствовать Михайловского как представителя славной эпохи народовольчества. Приветствия наши, хотя все время тщательно подчеркивали разногласия наши с теперешним Михайловским, носили, однако, теплый и задушевный ха-

рактер. Глаза Михайловского, казалось мне, смотрели на нас с меньшею против обычного враждою.

Очень скоро после этого вышла одиннадцатая книжка «Русского богатства». В своем очередном обзоре литературы и жизни Михайловский, между прочим, остановился на статье нашего товарища В. Я. Богучарского, тогда бывшего легальным марксистом, «Что такое земледельческие идеалы?». Статья была напечатана более полутора лет назад в журнале «Начало», закрытом цензурою на пятой книжке. Михайловский выкопал теперь эту статью и с неистовою резкостью обрушился на нее,— точнее, на комментарии Богучарского к одному месту из Глеба Успенского.

Вот это место,— писал Михайловский: — «Керосиновая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю поэтическую (вернее, крепостническую! — с либеральным негодованием замечает от себя г. Богучарский) старину лучинушки, удлиняет вечер и, следовательно, прибавляет несколько праздных часов» и т. д. Эти слова Успенского г. Богучарский называет «чудовищными» и, вдоволь натешившись над ретроградной маниловщиной презренного народника, объявляет: «На наш взгляд, лишь с освобождением от земледельческих идеалов может исчезнуть весь дурман, отравляющий жизнь современной деревни».

«Успенский, не умеющий отличить «поэтическое» от «крепостнического»,— это, знаете, уж чересчур!» — с негодованием писал Михайловский. И запрашивал Богучарского: почему он скрыл от читателей конец цитаты из Успенского, изменяющий смысл всей цитаты? Почему не привел из Успенского такого-то места, опровергающего выводы автора? Кончал он свою статью так:

Нет между нами Успенского, этого человека, жившего всеми фибрами своего великого духа за всех нас и для всех нас. Остался после него памятник — его писания, но этот памятник заброшен, и какой-нибудь прохожий г. Богучарский, поощряемый гоготанием толпы, неизвестно по какой причине, неизвестно с какою целью выламывает из памятника кусочек и, предъявляя его публике, с пафосом восклицает: «Смотрите, какой крепостник!» Позор!..

Я взял с полки книжку «Начала», перечитал статью Богучарского — и был ошеломлен. Такого бесцеремонного ее извращения, такой недобросовестности полемических приемов я от Михайловского не ожидал. «Вдоволь натешившись над ретроградной маниловщиной презренного народника...» Статья была написана с глубочайшею любовью и уважением к Успенскому и только оспаривала его выводы. Цитаты, в сознательном сокрытии которых Михайловский обвинял Богучарского, в статье Богучарского, оказывалось,

были приведены. Получалось впечатление: Михайловский как будто нарочно выискал первый попавшийся предлог, чтобы нанести удар марксистам, чтобы показать после юбилея, что он их попрежнему ненавидит и презирает.

Мне кровь ударила в лицо от стыда,— как я мог пойти в «Русское богатство», как не предвидел подобных возможностей? Я тотчас же написал и отправил Михайловскому письмо приблизительно такого содержания:

Милостивый Государь Николай Константинович!

Мое решение поместить «Записки врача» в «Русском богатстве» было ошибкою, в которой я в настоящее время глубоко раскаиваюсь. Прошу моей вещи в «Русском богатстве» не печатать. Расходы по произведенному набору я, разумеется, возмещу.

Готовый к услугам

В. Вересаев.

Дня через два получаю письмо от Петра Филипповича Якубовича-Мельшина. П. Якубович — поэт-народоволец, сосланный по процессу Германа Лопатина на каторгу. Стихи свои он подписывал инициалами «П. Я.», беллетристику— Л. Мельшин. Книга его «В мире отверженных», с потрясающим описанием каторги, вызвала большой шум, была переведена на иностранные языки. В конце 90-х годов, ввиду сильного нервного расстройства, Якубовичу было разрешено приехать из ссылки для лечения в Петербург. Познакомился я с ним вскоре после его приезда. Он находился в нервной клинике на Выборгской стороне. Мне передано было его желание познакомиться со мною и приглашение посетить его.

Приехал к нему. Невысокого роста, с темной бородкой и болезненно-белым, слегка одутловатым лицом, с черными, проницательными, прекрасными глазами. При нем его жена. Называю себя.

— Здравствуйте. Я вас ждал.— И сразу: — Вы марксист?

— Марксист.

— Слава богу! Первого встречаю марксиста, который прямо заявляет, что он марксист. А то сейчас же начинает мяться: «видите ли, как сказать, я, собственно...»

Я засмеялся.

— Хороших же вы встречали марксистов!

— Садитесь. Объясните, пожалуйста, что такого нового вы нашли в вашем марксизме?

Я стал говорить очень осторожно,— меня предупредили, что Петру Филипповичу вредно волноваться и спорить. С полчаса, однако, проговорили на эту тему, и глаза его смотрели все мрачнее, все враждебнее.

Приехал Короленко с женою.

— Ну, Владимир Галактионович, оказывается — форменный марксист! Самый безнадежный!

Петр Филлипович сокрушенно махнул на меня рукою. Короленко посмеивался:

— Какой он марксист! Вот Венгерова даже прямо говорит, что он народник.

Как раз в это время в «Мире божьем» был перепечатан отрывок из курьезной статейки Зинаиды Венгеровой в каком-то иностранном журнале,— статейки, посвященной обзору русской литературы за истекающий год. Венгерова сообщала, что в беллетристике «старого» направления представителем марксистского течения является М. Горький, а народнического — В. Вересаев, «воспевающий страдания мужичка и блага крестьянской общины».

Якубович огорченно мотал головою.

— Нет, нет, марксист! Совершенно пропащий человек!

Меня он очаровал. Совсем в нем не было того, что так меня отталкивало в других сотрудниках «Русского богатства» (кроме Короленко и Анненского). Чувствовалось — он неистовою ненавистью ненавидит весь строй твоих взглядов, но это не мешает ему к самому тебе относиться с уважением и расположенностью. Я встречался с ним еще несколько раз,— в последний раз на юбилее Михайловского, и каждый раз испытывал то же очарование, слушая, как он громил марксистов, и глядя в его чудесные, суровые, ненавидящие глаза.

Так вот, от него я теперь получил письмо. Он жил под Петербургом, на станции Удельной, Финляндской железной дороги.

2 декабря 1900 г.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Я не совсем здоров (в частности, болят глаза) — потому диктую жене. Очень прошу Вас навестить меня сегодня, в воскресенье, или завтра, в понедельник, вечером. Вообще буду рад Вас видеть, а, кроме того, есть одно важное к Вам дело. Пока скажу только, что хотел бы видеть Вас раньше, чем Вы будете в «Русском богатстве». Не будете ли, между прочим, добры захватить с собою,— конечно, если она есть у Вас,— книжку «Начала» со статьей Богучарского

Преданный Вам *П. Якубович.*

Я в то время служил ассистентом в больнице в память Боткина и как раз в воскресенье дежурил. Написал Якубовичу, что не могу приехать, потому что дежурю, прошу верить, что это не предлог, а действительная причина, по существу же дела полагаю, что всякие разговоры бесполезны, решение мое уйти из «Русского богатства» непреклонно, а причины этому вот какие. И, разделив страницу вертикальною чертою пополам, я на одной стороне выписал из статьи Михайловского негодующие вопросы Богучарскому, почему он скрыл от читателей такие-то и такие-то цитаты из Успенского, а на другой стороне — выписки из статьи Богучарского как раз с этими цитатами. И писатель, прибегающий к подобным приемам, позволяет себе утверждать, что противник его вдохновляется гоготанием толпы! Я когда-то горячо любил Михайловского, считаю его одним из своих учителей,— и тем паче мне теперь невозможно сотрудничество в его журнале. И ко всему,— он обрушился на человека, у которого связаны руки, который ему не может отвечать,— журнал закрыт уже полтора года назад. Почему Михайловский собрался возражать только теперь?

Через два дня получил второе письмо. Якубович писал:

4 декабря

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Сожалею о «непреклонности» Вашего решения, но еще более о том, что Вы так поспешно составляете резко-враждебные мнения о людях, которых когда-то любили и уважали. Мне казалось бы, в случаях, когда такие люди сделают что-либо огорчительное для нас, мы обязаны прежде всего справиться у них самих о смысле их поступка и только потом, после неудовлетворительного объяснения, вправе принимать то или другое решение. Ошибки статьи Михайловского так очевидно-странны, что возможны были только два объяснения: или какая-нибудь чисто-роковая случайность ввела его в заблуждение, или же... или то, что Вы и предположили. Но, уважая Михайловского, Вы не имели права на такое предположение

Завтра или послезавтра в «Русских ведомостях»
Михайловского по этому поводу.

Для меня лично всего прискорбнее в этой истории, что роль печальной «роковой случайности» сыграл именно я и что Михайловский так жестоко наказан за свое доверие ко мне... Как, однако, все это произошло, я объяснить, к сожалению, не могу.

Был бы рад, если бы Вы могли содержание настоящего письма довести до сведения Богучарского.

Преданный Вам *П. Якубович.*

P. S. Для меня (как, вероятно, и для Н. К. Михайловского) совершенная новость, что Богучарский — человек «со связанными руками»: мне думалось, что он во всякую минуту может найти гостеприим-

ство и в «Жизни», и в «Мире бож.», и в «Научном обозрении», и в «Сев. курьере», тем более, когда речь идет о таком частном вопросе.

Как потом рассказывали в литературных кругах, дело произошло так: Якубович, кипевший неостывавшим негодованием на марксистов и постоянно выуживавший из их писаний возмущавшие его места, говорил однажды на редакционном собрании «Русского богатства»:

— Послушайте-ка, как марксисты отделывают Глеба Успенского!

И прочел вышеприведенную цитату из статьи Богучарского о поэтической-крепостнической старине лучинушки.

Михайловский возмущенно воскликнул:

— Да не может быть!

Н. Ф. Анненский поддержал Якубовича:

— Да, да, я помню эту статейку,— меня тогда тоже поразило обвинение Глеба Успенского в крепостничестве, я даже выписку себе сделал тогда.

И вот Михайловский взял у Якубовича его выписку из статьи Богучарского и по одной этой выписке, не заглянув в самого Богучарского, написал свою громовую статью. Как мог попасть в такой просак опытный журналист, с сорока годами журнальной работы за плечами? Единственное объяснение: марксистов он считал таким гнусным народом, относительно которого можно верить всему.

Но что должен был испытать бедный Якубович, восторженно любивший Михайловского, когда получил мое письмо и убедился, как он подвел его! С каким лицом должен он был явиться к нему! Рассказывали, что от огорчения Якубович тяжело заболел нервно.

Через несколько дней в московской газете «Русские ведомости» появилось письмо в редакцию Михайловского под заглавием «Мой промах». «Как и почему произошел этот промах,— писал Михайловский,— рассказывать не буду, но долгом считаю покаяться в нем так же публично, как публично был он совершен». Рассказав о несправедливых своих обвинениях, предъявленных Богучарскому, Михайловский в заключение писал: «Вот моя вина, в которой я каюсь, и прошу прощения как у г. Богучарского, так и у всех, кого ввел в заблуждение». И прибавлял, что, отказываясь от обвинения Богучарского в намеренном извращении Успенского, тем сильнее настаивает на том, что Богучарский не понял Успенского. Хорошее было письмо, благородное,—

казалось бы, благородством самым элементарным,— но, как и оно, исключительно-редко в журнальных нравах!

В следующей книжке «Русского богатства» Михайловский перепечатал письмо в «Русские ведомости» и, кроме того, содержание его развил в целую статью под тем же заглавием: «Мой промах».

Свои «Записки врача» я из редакции «Русского богатства» взял. На этом окончились навсегда мои сношения с «Русским богатством».

Года минули, страсти улеглись...

В 1914 году, в десятилетнюю годовщину смерти Михайловского, вот что писал о нем В. И. Ленин:

«Михайловский был одним из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века. Крестьянская масса, которая является в России единственным серьезным и массовым (не считая городской мелкой буржуазии) носителем буржуазно-демократических идей, тогда еще спала глубоким сном. Лучшие люди из ее среды и люди полные симпатий к ее тяжелому положению, так называемые разночинцы — главным образом, учащаяся молодежь, учителя и другие представители интеллигенции — старались просветить и разбудить спящие крестьянские массы.

Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью. В наше время бесстыдного и часто ренегатского отношения к подполью со стороны не только либералов, но и ликвидаторов, как народнических («Русское богатство»), так и марксистских, нельзя не помянуть добрым словом этой заслуги Михайловского» [1].

---

[1] Соч, т. XVII, изд. 3-е, стр. 223. *(Прим. В. Вересаева.)*

В. Г. КОРОЛЕНКО и Н. Ф. АННЕНСКИЙ

15 марта 1913. Полтава
М. Садовая, 1

Дорогой Викентий Викентьевич!

Позвольте мне так называть Вас в память тех немногих, правда, наших встреч, когда мы с Вами бродили в пределах «Песков» и Невского, разговаривая о нарождавшихся тогда «новых запросах» молодежи. Много с тех пор воды утекло, и тогдашняя молодежь стала «мужами опыта», и мы с Вами с тех пор не встречались или встречались лишь редко и мимолетно, но память об этих немногих и недолгих встречах у меня осталась очень хорошая и живая.

Теперь о Вашем предложении. Отношусь к нему с полным сочувствием, но боюсь, что оно останется платоническим. И вот почему. Сейчас я почти болен: прошлый год был для меня очень тяжел — усталость и физическая и нервная. Товарищи (Мякотин и Пешехонов) сидели в крепости, Анненский хворал. Приходилось тянуть лямку в уменьшенном составе. Кончилось это тем, что Анненский умер. Это меня ушибло двусторонне, и я уехал из Петербурга с смертельною усталостью. Не обратил на нее должного внимания и теперь вынужден лечиться. Таким образом прошлый и этот год (частью) для меня, т. е. для моих собственных работ,— пропали. Теперь начинаю чувствовать себя лучше и, пожалуй, более или менее скоро выберусь из этой полосы. Но тогда передо мною стоят две задачи: издать следующий том (или томы) своих рассказов (для меня это всегда значительная работа) и — «Русское богатство», которому я должен отдавать то, что у меня будет. А будет немного... Я и всегда писал немного, уходя с беллетристической дороги на разные запутанные проселки, публицистические и иные,— и теперь все еще разрываюсь между разными влечениями. Стремлюсь погрузиться в свое, а зовет и многое чужое. Впрочем, черт его знает, что́ мое и что́ чужое.

Разболтался я с Вами. А к делу это имеет то отношение, что при всем сочувствии и Вам лично и товарищам Вашим в этом деле, и даже при желании самом искреннем принять в нем участие,— обещать боюсь и сильно сомневаюсь в возможности этого участия...

И все-таки я хотел бы, чтобы Вы мои слова о сочувствии не считали фразой: действительно, нужно простое, здоровое течение, ясно отгораживающееся от всех кривляний, признающее простоту, то есть прямое и честное отношение к слову, образу и мысли,— основным требованиям искусства.

Крепко жму Вашу руку и от души желаю Вам успеха.

Вл. Короленко

В то время наше писательское товарищество («Книгоиздательство писателей в Москве») решило издавать беллетристические сборники, редактором избрало меня, и приведенное письмо Короленко — ответ на мою просьбу принять участие в наших товарищеских сборниках. Лозунги наши были: ничего антижизненного, антиобщественного, антиреволюционного; стремление к простоте и ясности языка; никаких вывертов и кривляний.

Встречи наши, о которых вспоминает Короленко, происходили в 1896 году. Я тогда сотрудничал в «Русском богатстве», журнале Михайловского и Короленко, бывал на четверговых собраниях сотрудников журнала в помещении редакции на Бассейной. Короленко в то время жил в Петербурге, на Песках; я жил в больнице в память Боткина, за Гончарною; возвращаться нам было по дороге, и часто мы, заговорившись, по нескольку раз провожали друг друга до ворот и поворачивали обратно.

Беседы, долгие и горячие, шли о марксизме. Тема в то время была самая боевая, «Русское богатство» занимало по отношению к марксизму весьма враждебную позицию, а я уже был марксистом. Вскоре я из-за этого ушел из «Русского богатства», при весьма враждебном ко мне отношении Н. К. Михайловского и других руководителей журнала. У Короленко ни тени не было этой враждебности. Он возражал, выспрашивал, и, видимо, ему было важно одно: понять психологию этого совершенно ему непонятного нового революционного течения. Живые молодые силы толпами уходят в ряды приверженцев этого течения. Товарищи Короленко по журналу оценивали этих приверженцев как оголтелых людей, забывших о «заветах» и отказывающихся от революционного «наследства». Жизненное художественное чутье Короленко говорило ему, что тут — «опять вера в жизнь и веяние живого духа». Вспоминая о впечатлении, произведенном на него одним из первых русских легальных марксистов, Н. В. Водовозовым, Короленко в некрологе его писал в 1896 году: «Хочется верить, что родина наша не оскудела еще молодыми силами, идущими на свою очередную смену поколений для трудной работы, намеченной лучшими силами поколений предыдущих».

Помню Короленко и его споры о марксизме и в последующие годы. В то время как другие сотрудники «Русского богатства» с раскольничьею нетерпимостью сторонились марксистов и избегали с ними частных, не публично-бое-

вых встреч, Короленко и его друг Н. Ф. Анненский, напротив, пользовались всяким случаем, чтобы поговорить и поспорить с марксистами, и очень часто их можно было встретить на журфиксах М. И. Туган-Барановского, где собирались все тогдашние представители легального марксизма — П. Б. Струве, В. Я. Богучарский, П. П. Маслов, М. П. Неведомский, А. М. Калмыкова и др. Умница он был, Владимир Галактионович, доводы его били в самые больные точки, и не раз специалисты по общественным и экономическим вопросам пасовали перед возражениями дилетанта-беллетриста.

Манера говорить у них была разная: Анненский говорил быстро, страстно, захлебываясь; Короленко — медлительно, спокойно, никогда не теряя самообладания; глаза смотрят внимательно, и в глубине их горит мягкий юмористический, смеющийся огонек. Сам — приземистый, коротконогий, с огромною курчавою головою, на которую он никогда не мог найти в магазине шляпы впору, — приходилось делать на заказ.

Рассказывали, что в редакции «Русского богатства» очень косились на Короленко с Анненским за их общение с филистимлянами.

Из записей моих того времени:

29 февраля 1896 г.

Мы возвращались вечером из редакции «Русского богатства» с В. Г. Короленко и В. Л. Серошевским. Заговорил с Короленко по вопросу: насколько вправе беллетрист выводить в своих рассказах живых людей? В общем ведь в большинстве случаев происходит так: центральные лица представляют некоторое обобщение, определенного объекта в жизни не имеют; лица же второстепенные в подавляющем большинстве являются портретами живых людей, которым, однако, автор приписывает то, чего эти люди в жизни не совершали. Все их узнают, получается жестокая обида. А как обойтись без этого? Ведь кругом нас, куда ни взгляни, живьем ходят чудеснейшие типы, что-нибудь изменять в них — только портить.

Короленко: наблюдений, конечно, неоткуда черпать, как не из жизни; нужно стараться изображать не единичного человека, а тип; совершенно недопусти-

мо делать так, как делают Боборыкин или Иероним Ясинский,— сажать герою бородавку именно на правую щеку, чтоб никакого уж не могло быть сомнения, кто выведен. Но общего правила дать тут нельзя, в каждом случае приходится сообразоваться с обстоятельствами.

— Были случаи, когда я совершенно не стеснялся выводить живых людей и даже желал, чтоб их узнали. Например, то, что рассказано в очерке «Ат-Даван»,— истинное происшествие; настоящая фамилия Арабина — Алабин. Я сначала даже прямо хотел его вывести под настоящей фамилией. Посылал я об описанном факте корреспонденции — ни одна газета не решилась напечатать. Тогда я прибег к форме беллетристического рассказа. Этот Алабин теперь умер. Последнее время он жил в Петербурге. Когда «Ат-Даван» был напечатан, он явился в редакцию «Русского богатства», кричал, выхватывал шашку, требовал моего адреса, чтоб меня убить.— Жаль, что не сообщили ему,— с улыбкою сказал Короленко.— Интересно было бы встретиться!.. Единственное, что я мог бы тут сделать,— это предложить ему исправить в рассказе фамилию и напечатать ее в подлинном виде. Алабин, между прочим, говорил в редакции: «Человека я убил, это верно, а прогоны я всегда платил, это Короленко врет!» Он сам помещал рассказы в иллюстрированных изданиях...

Живое лицо также герой «Сна Макара»: его зовут Захаром. Он знает о рассказе Короленко и с гордостью заявляет: «Я — сон Макара!» В рассказе «Река играет» сохранена даже фамилия перевозчика — Тюлин.

— Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии, не мог ни единого звука изменить в фамилии. Закроешь глаза,— так и слышишь, как по реке издалека несется: «Тю-у-у-у-ли-и-ин!»

На Ветлуге рассказ Короленко быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтоб дать возможность пассажирам посмотреть на прославившегося Тюлина. Он знает, что его пропечатали. Когда ему прочли рассказ Короленко, он помолчал, поглядел в сторону и, подумав, сказал:

— Так ведь меня же в тот раз не били!

— Если бы я знал,— прибавил Короленко,—что рассказ дойдет до него, я, конечно, переменил бы фамилию.

Еще из разговоров о его произведениях.

Чудесный рассказ «Тени», где Сократ ведет спор с Зевсом и остается победителем, написан Короленко в Крыму, под впечатлением крымской природы. Там ему попали в руки два тома сочинений Платона в переводе Карпова. Платон сильно увлек его.

— Теперь наука, конечно, ушла далеко вперед, но в нынешнее время трудно найти такую поразительную диалектику, такое умение логически развить свою мысль, ни на шаг не уклоняясь в сторону.

Короленко тогда самого мучили религиозные сомнения, и «Тени»—выражение мыслей его о законности скептицизма и свободного подхода к религиозным вопросам.

Разговор вообще перешел на религию и, в частности, на вопрос о религиозном элементе в воспитании детей. Этот элемент, по мнению Короленко, необходим, его требует сама природа ребенка. Сын Чернышевского воспитывался совершенно вне религии, и вот, в том уже возрасте, когда мы начинаем сомневаться и терять веру, он стал верующим.

— А как вы в этом отношении с вашими детьми?

— На их вопросы о боге я отвечаю: «Не знаю». Но я стараюсь вложить в них то, что есть у меня самого: благоговейное ощущение чего-то великого и возвышенного, вне нас находящегося.

В середине марта 1896 года Короленко был болен инфлуэнцою, температура доходила до сорока. Несколько дней он не читал редакционной корреспонденции. Начал поправляться, взялся за почту. Письмо одного начинающего автора: пишет, что если не получит ответа до 14 марта, то застрелится. А было уже семнадцатое. Короленко сильно встревожился. Сам еще больной, лихорадящий и кашляющий, он немедленно поехал к автору на Вознесенский проспект и... застал его укладывающим чемоданы: он получил место где-то на Амуре и ехал туда.

Не могу себе представить ни одного другого редактора, который на такое письмо бросился бы отыскивать автора. Какое трепетно-бережное отношение к человеческой жизни!

Когда он рассказывал что-нибудь смешное, говорил он так же медлительно и спокойно, как при споре; все кругом хохотали, а он был серьезен, и только в глубине глаз дрожали юмористические огоньки.

Из его рассказов:

В начале девятисотых годов издавалась в Симферополе газета «Крым». Редактором ее был некий Балабуха, личность весьма темная. Вздумалось ему баллотироваться в гласные городской думы. Накануне выборов в газете его появилась статья: во всех культурных странах принято, что редакторы местных газет состоят гласными муниципалитетов, завтра редактор нашей газеты баллотируется, мы не сомневаемся, что каждый наш читатель долгом своим почтет и т д.

На следующий день Балабуха является на выборы. Подходит к одному известному общественному деятелю.

— Вы мне положите белый шар?

— Нет.

— Почему?

— Потому, во-первых, что вы шантажист.

— Ах, что вы шутите!

— Во-вторых, что вас в каждом городе били.

— В каких же это городах меня били?

— В Симферополе.

— В Симферополе?.. Ну... Один раз всего ударили. А еще?

— Еще — в Карасубазаре.

Редактор торжествующе рассмеялся.

— Ну вот! В Карасубазаре! Какой же это город?

Другой рассказ. Владимир Галактионович клялся, что это правда.

В одной одесской газете, при описании коронации,— не помню, Александра III или Николая II,— было напечатано:

«Митрополит возложил на голову его императорского величества ворону».

В следующем выпуске газеты появилась заметка:

«В предыдущем номере нашей газеты, в отчете о священном короновании их императорских величеств, вкралась одна чрезвычайно досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит возложил на голову его императорского величества *ворону*»,— читай: *«корову»*.

Когда вспоминаешь о Короленко, сейчас же рядом с ним встает фигура его друга, Николая Федоровича Анненского. В первой половине девяностых годов, воротившись из разных мест сибирской ссылки, оба они стояли в центре интеллигентной жизни Нижнего-Новгорода; потом, по переезде в Петербург, оба были близкими сотрудниками «Русского богатства». Анненский на десять лет был старше Короленко, по профессии статистик, и очень выдающийся; в «Русском богатстве» он вел внутреннее обозрение — добросовестно, но суховато. Плотный и приземистый, седобородый, с красным лицом и с чудесною молодою душою: семидесятники обладали этим секретом до глубокой старости сохранять душу свою молодою.

Бывает, от многих встреч с человеком особенно ярко запоминается одна какая-нибудь. Анненский, когда о нем подумаешь, всегда вспоминается мне при таких обстоятельствах.

26 мая 1899 года исполнилось сто лет со дня рождения Пушкина. Официальные учреждения и приверженная правительству печать, с «Новым временем» во главе, собрались торжественно праздновать этот юбилей. Разумеется, ни у кого из любящих литературу не было охоты соединиться в праздновании памяти Пушкина с духовными потомками Бенкендорфа и Булгарина.

«Левая» литература устроила свое особое, без разрешения власти, чествование памяти Пушкина,— очень далеко от центра, в конце Крестовского острова, в помещении речного яхт-клуба. Вечер был чисто-весенний, ясный и теплый. Банкет прошел с большим подъемом и задушевностью. К ночи вдруг подул холодный ветер и повалил мокрый снег,— настоящая поднялась вьюга. Часа в два ночи нам подан был от яхт-клуба пароход для доставки нас в город. Светало, с севера все дул пронзительный ветер, и мокрый, липкий снег продолжал залеплять доски пристани, палубу и зеленую траву на берегу. А все были в легких летних костюмах, многие даже без пальто, и все без калош, дамы — с кисейными, просвечивающими рукавами.

Я спустился с палубы по крутой лесенке в каюту, где уже сидело много народу, и вскоре все скамейки оказались занятыми. Смотрю — сверху, из люка, выглядывает Анненский и таинственно, даже как будто взволнованно, манит меня пальцем:

— Викентий Викентьевич! Поскорее! Пойдите сюда!

Я поднимаюсь по лесенке. Когда голова моя показывается над палубой, Николай Федорович шутливо берет меня за ворот пальто и, при общем смехе, как бы извлекает из каюты наверх. Потом расшаркивается перед стоящею у лесенки дамою, указывает ей на каюту и галантно говорит:

— Место для вас свободно... Пожалуйте!

Публика все подходила, и Анненский очищал для дам места в каюте, выуживая оттуда одного мужчину за другим.

Пароход тронулся. Хозяева, члены яхт-клуба, махали нам с пристани шляпами и кричали:

— Гип-гип-гип!

Мы махали шляпами в ответ и тоже кричали:

— Гип-гип-гип!.. Спасибо за гостеприимство!

В больном свете нарождающегося непогодного дня пароход бежал по Невке, холодные черные волны бились о борта, ветер залеплял лица и одежду мокрым снегом. Все понуро стояли, усталые и продрогшие. И только Николай Федорович все время острил, посмеивался и пел:

Тореадор, смелее!
Тореадор, тореадор!
Знай, что в час борьбы твоей кровавой
Черный глаз блеснет живей...

«Проницательный читатель», особенно припомнив мое замечание о красном лице Анненского, скажет: «Был выпивши». Нет, этого не было. Да и вообще пьяным я его никогда не видел. Но он, этот седовласый старик под шестьдесят лет,— он был положительно самым молодым из всех нас. Особенно разительно помнится мне рядом с ним П. Б. Струве. Он стоял сгорбившись, подняв воротник пальто, и снег таял на его сером, неподвижном, как у трупа, лице. Да и все мы были не лучше.

Так мне и теперь представляется Анненский, как живое олицетворение всего его поколения. Под пронизывающим ветром, средь слякоти и вьюги — бодрый смех и песни.

— «Теореадор, смелее!..»

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Познакомился я с ним в редакции «Русского богатства». Красавец с седыми волосами. Свежий цвет лица, блестящие молодые глаза — и седые волосы. Это особенно было красиво. Удачник жизни. Талантливый, богатый, красивый Исключительный успех у женщин. По специальности он был инженер-путеец. И впечатление у меня было, что литературой он занимается так, походя, потому что, среди многочисленных даров, судьба, между прочим, отпустила ему и литературный талант. Хотя, впрочем, написал он довольно много. Быстрые движения, энергичный. Это особенно как-то ценишь в русских людях. Заработки его как инженера были огромные. Деньгами сыпал. Жил в Царском Селе. Выйдет из дому,— извозчики вскачь мчатся к нему: платил, не торгуясь. Когда ехал в поезде, всем было известно, что едет инженер Михайловский: он золотыми давал на чай всей поездной прислуге, начиная с обер-кондуктора и машиниста и кончая смазчиком и проводником вагона. Близко я его не знал, но впечатление от него было: он пришел в жизнь для легкого праздника и был убежден, что жизнь и вправду очень веселый, легкий и разнообразный праздник.

От каждого человека, которого мы знали не слишком близко, остается в памяти одно центральное воспоминание, в котором, как в фокусе, концентрируется общее впечатление от этого человека. Такое фокусное воспоминание о Гарине. Начало марта 1905 года. Мы отступали от Мукдена. Давно уже назади остался Телин. В потоке отступающих войск дошли мы до Сыпингая. Целые сутки я ничего не ел. Смертельно усталый, весь осыпанный едкою желтою маньчжурскою пылью я сидел, сгорбившись, на

скамейке перрона. Буфета не было. Сверкал зеркальными стеклами поезд главнокомандующего, по перрону разгуливали чистенькие, щеголеватые штабные, и их упитанные, самодовольные физиономии, с высокомерием оглядывавшие нас, ощущались как пощечина от презренного человека.

Проходит щеголевато одетый инженер с седою бородкою. Остановился, вгляделся в меня молодыми, быстрыми глазами.

— Викентий Викентьевич?

— Николай Георгиевич!

Как? Что? Расспрашивает, рассказывает про себя: занимает какой-то важный пост в железнодорожном ведомстве. Протянул руку.

— Ну, до свидания! Как-нибудь заходите. У меня тут на путях свой вагон. Поболтаем, чайку попьем с коньячком.

Конечно, сейчас он куда-нибудь спешил. Но как, как мог он, глядя на меня, не почувствовать, чем был бы для меня,— вот теперь, сейчас,— стакан чаю?

ВЕРА ЗАСУЛИЧ

В июле 1877 года, по приказанию петербургского полицмейстера генерала Трепова, был высечен в тюрьме политический заключенный, студент Боголюбов. 24 января 1878 года молодая девушка Вера Засулич явилась к Трепову в качестве просительницы и в тот момент, когда он принимал от нее бумагу, выстрелила в него из револьвера и ранила. Затем бросила револьвер и спокойно дала себя арестовать. На допросе она заявила, что стреляла в Трепова за Боголюбова, что лично Боголюбова не знает, а мстила Трепову за издевательство над политическими заключенными. Решено было судить Веру Засулич судом присяжных. Министр юстиции граф Пален ручался царю за обвинительный приговор. Однако фактическим обвиняемым на суде оказался, вместо Веры Засулич, генерал Трепов. Присяжные вынесли Вере Засулич оправдательный приговор, встреченный общими рукоплесканиями. По приказанию председателя Засулич была освобождена. На улице, при выходе из здания суда, ее ждали жандармы и хотели арестовать. Но толпа вступила с жандармами в свалку и отбила девушку. Она успела сесть в приготовленную карету и скрыться. Через некоторое время ей удалось бежать в Швейцарию. Дело Веры Засулич вызвало огромную сенсацию и прославило ее на весь мир.

За границею Вера Ивановна прожила более двадцати лет. С зарождением русского марксизма она всею душою примкнула к этому течению и вошла в группу «Освобождение труда», во главе которой стояли Плеханов и Павел Аксельрод. После 1905 года Засулич получила возможность возвратиться в Россию и уже безвыездно прожила в ней до самой смерти.

Однако приезжала она однажды в Россию и раньше, до своего легального возвращения. Было это зимою 1899—1900 г. Целью ее поездки было установить непосредственную связь с работавшими в России социал-демократами, лично ознакомиться с их настроениями и взглядами и выяснить им позицию группы «Освобождение труда» в возникших за границею конфликтах. Жила она, конечно, по подложному паспорту, и только несколько человек во всем Петербурге знали, кто она. В это время я с нею и познакомился.

Невысокая седенькая старушка, небрежно причесанная, кое-как одетая, с нервно подергивающеюся головою, постоянно с папироскою во рту. Говорила она быстро, слегка как будто захлебываясь. Но улыбка у нее была чудесная — мягкая, застенчивая и словно извиняющаяся. Она была умна, образованна и остроумна, спорила искусно, возражения ее были метки и сильны. Но высказывала она их с этою милою своею улыбкою, словно извинялась перед противником, что вот как ей это ни тяжело, а не может она с ним согласиться и должна ему возражать.

Скромна она была необычайно, к всемирной известности своей относилась с усмешкою: мало ли в семидесятых годах было террористических покушений, мало ли было революционеров, действовавших гораздо искуснее и смелее ее,— а имена их никому почти не известны. Своею же славою она обязана чистейшему случаю,— что царскому правительству вздумалось применить к ней «народный суд» и попытаться показать Европе, что сам русский народ и общество относятся отрицательно к кучке баламутов-революционеров.

До известной степени Вера Ивановна была права: конечно, если бы ее судили обычным негласным судом, имя ее было бы известно только людям, специально интересующимся историей русской революции. И все-таки мало я видел людей, которые бы так скромно и даже неохотно несли выпавшую на их долю известность. Слава иногда портит и уродует даже самую хорошую душу. Когда все кругом потихоньку указывают друг другу на знаменитого человека, когда почтительно прислушиваются к каждому его слову, гордятся и хвалятся знакомством с ним, то очень много нужно душевной силы, чтобы не стать суетным, тщеславным и нетерпимым. Вот в чем нисколько не была грешна Вера Ивановна. Она была так

застенчиво-скромна, так всегда старалась держаться в тени, что иногда с нею случались довольно-таки курьезные недоразумения.

Мы, петербургские литераторы-марксисты, группировались тогда в кружок, собиравшийся обыкновенно у А. М. Калмыковой, известной деятельницы по народному образованию.

Был, между прочим, в нашем кружке один молодой критик и публицист — человек талантливый, с самостоятельною мыслью, с интересными переживаниями. Но была у него одна очень неприятная черта: он умел быть внимательным, чутким собеседником с лицами, которые его интересовали. Но с людьми, ему неинтересными, он держался не то чтобы высокомерно или небрежно,— а просто они для него совершенно не существовали, были пустотою, которой он даже не замечал. В то время его особенно интересовал вопрос о различии морали старого народничества и нового народившегося марксизма. Характерною чертою народничества, как течения чисто интеллигентского, он считал «болезнь совести», особенностью социал-демократизма — «болезнь чести»: старый народник-интеллигент шел в революцию вследствие поруганной совести — нужно бороться за страдающий и угнетенный народ. Новый революционер, рабочий, идет в революцию вследствие поруганной чести: такие же люди, как все, мы не хотим больше страдать и терпеть угнетение. На эту тему приятель наш вел в то время журнальную полемику с Н. К. Михайловским. На эту же любимую свою тему заговорил он и в нашем кружке при Вере Ивановне. Говорил он много и с одушевлением. Вера Ивановна несколько раз пыталась ему возражать, но он только сверкнет пренебрежительно своим пенсне на скромную старушку в углу, неохотно протянет:

— Да-а, пожалуй!

И, даже не удостоив выслушать ее, продолжает говорить сам или слушать возражения противников, которые его интересовали. И Вера Ивановна сконфуженно умолкала.

Прошло с год. Однажды, беседуя на ту же тему, он говорит мне:

— Знаете, с кем бы мне всего интереснее было поговорить об этом? С Верой Засулич. Вы помните, как ее описывает Степняк-Кравчинский в «Подпольной России»?

И такой человек, с чисто народническою душою, стал социал-демократом! Правда, интересно бы с нею поговорить? Ей-богу, готов бы за границу поехать, только чтоб с нею побеседовать.

Я лукаво говорю:

— Вы с нею беседовали год назад. И как раз на эту тему. Только не пожелали ее слушать.

— В чем соль вашей шутки? Не понимаю.

Вера Ивановна давно уже уехала за границу, конспирировать было нечего. Я напомнил приятелю о скромной старушке в уголке на одном из наших прошлогодних собраний.

— Это была Вера Засулич.

Он вскочил.

— Да нет! Да неужели же! Я припоминаю, в уголке сидела какая-то серая старушонка. Я про нее спросил Калмыкову, она сказала, что это ее родственница из провинции. Ах ты, досада! В одной комнате с нею просидел целый вечер!..

После революции 1905 года Вера Ивановна получила возможность легально воротиться в Россию. Она поселилась в Петербурге. Сотрудничала в социал-демократических журналах и газетах, много переводила, но, сколько мне известно, активно в партии уже не работала.

В Тульской губернии у близких моих родственников было небольшое имение. Молодежь этой семьи деятельно работала в революции, сыновья и дочери то и дело либо сидели в тюрьмах, либо пребывали в ссылке, либо скрывались за границей, либо высылались в родное гнездо под гласный надзор полиции. Однажды летом к одной из дочерей приехала туда погостить Вера Ивановна. Место очень ей понравилось, и она решила тут поселиться. Ей отвели клочок земли на хуторе, отстоявшем за полторы версты от усадьбы.

В убогой своей избушке она писала и переводила. Способ работы у нее был ужасный. Когда Вера Ивановна писала, она по целым дням ничего не ела и только непрерывно пила крепчайший черный кофе. И так иногда по пять-шесть дней. На нервную ее организацию и на больное сердце такой способ работы действовал самым разрушительным образом. В жизни она была удивительно неприхотлива. Сварит себе в горшочке гречневой каши и

ест ее несколько дней. Одевалась она очень небрежно, причесывалась кое-как.

Раз идет по тропинке через зреющую рожь крестьянская баба. Вдруг ей навстречу простоволосая растрепанная старуха с трясущеюся головою, с торчащим изо рта зубом. Настоящая баба-яга. Женщина шарахнулась в рожь.

— Мать честная!.. Да воскреснет бог!..

Но душа этой неизящной на вид старухи была удивительно изящная и тонкая. То сравнительно немногое, что она написала, написано изящно и умно, переводы ее очень хороши. Вера Ивановна чувствовала красоту во всем. Но особенно она любила ее и чувствовала в русской природе. На своем небольшом клочке земли она развела садик и с утра до вечера копалась в нем. Никогда в жизни не видел я такого оригинального садика. Там было мало обычных садовых цветов — всех этих левкоев, настурций, резеды. Но очень много было цветов полевых и лесных. Понравится ей цветок где-нибудь на меже около ржи, на луговом откосе или в лесной лощинке под кустом орешника, — Вера Ивановна бережно выкапывает его и пересаживает к себе в садик. И здесь, на хорошей земле, при тщательном уходе, цветок развивался так пышно, что нельзя было его и сравнивать с братьями его, жившими на воле. Она очень этим гордилась. Однажды она мне сказала:

— Вот так и с людьми. Дать им подходящие условия, поставить в нужную обстановку,— и как они могут быть прекрасны!

ВЕРА ФИГНЕР

Я с нею познакомился, помнится, в 1915 или 1916 году. На каком-то исполнительном собрании в московском Литературно-художественном кружке меня к ней подвел и познакомил журналист Ю. А. Бунин, брат писателя. Сидел с нею рядом. Она сообщила, что привезла с собою из Нижнего свои воспоминания и хотела бы прочесть их в кругу беллетристов. Пригласила меня на это чтение — на Пречистенку, в квартире ее друга В. Д. Лебедевой, у которой Вера Николаевна остановилась.

Подошел Ю. А. Бунин. Маленький, кругленький, с всегда благожелательною улыбкою на красненьком лице. Типичнейший во всем москвич.

— Вера Николаевна! На вашем чтении очень хотел бы присутствовать Сергей Сергеевич Голоушев — известный художественный критик Сергей Глаголь.

Вера Николаевна подняла голову и прищурила глаза.

— Это тот, который был в процессе ста девяноста трех, а потом служил полицейским врачом? Нет, избавьте!

Так это было не по-московски! Во-первых, ну, полицейский врач,— что же из того? А во-вторых: счел человек нужным почему-нибудь отказать,— и лицо станет растерянным, глаза забегают... «Я, знаете, с удовольствием бы... Но, к сожалению, помещение тесное... Несмотря на все желание, никак не могу...» А тут, как острым топором отрубила: «избавьте!»

На чтении присутствовали, сколько помню, В. Я. Брюсов, И. А. и Ю. А. Бунины, Б. К. Зайцев, А. С. Серафи-

мович, Н. Д. Телешов, А. Н. Толстой, И. С. Шмелев и др. Один из товарищей, впервые увидевший Веру Николаевну, был изумлен безмерно:

— Я думал, увижу косматую, безобразную нигилистку, с грязными ногтями, размахивающую руками, и вдруг,— какая красота, какое изящество!

И правда: ей было за шестьдесят лет, но и теперь она поражала сдержанно-гордой, властной красотой и каким-то прирожденным изяществом. Что же было, когда она была молода!

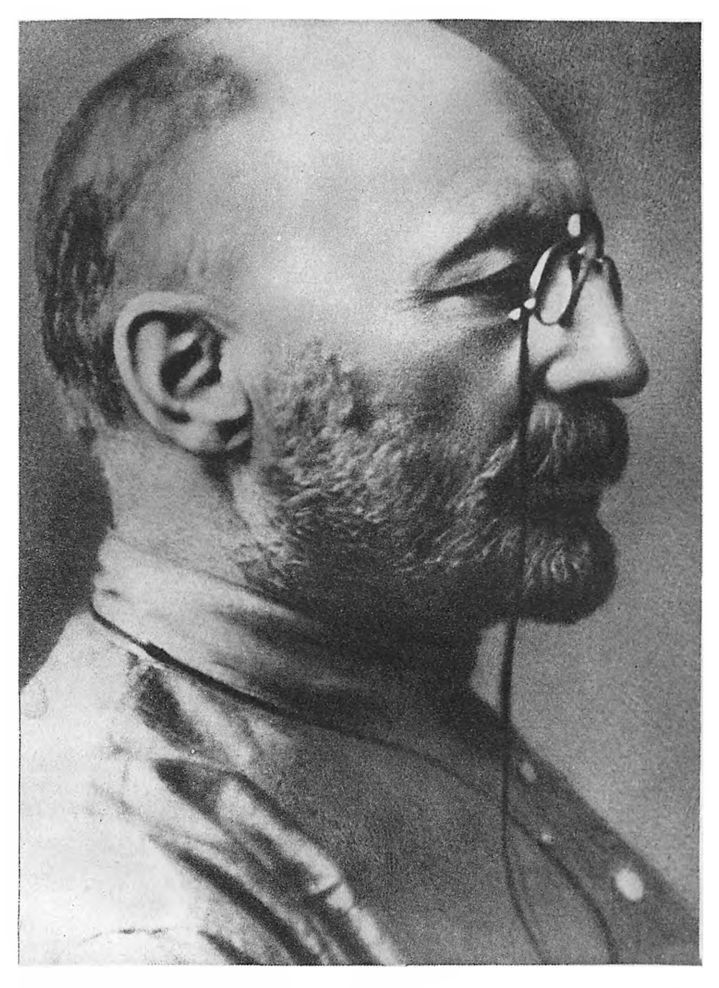
Она невысокого роста. Губы решительные, властные, во всем что-то благородно-соколиное. Но иногда при разговоре вдруг брови поднимаются, как у двенадцатилетней девочки, и все лицо делается трогательно-детским.

Но какая красота! Какая красота!

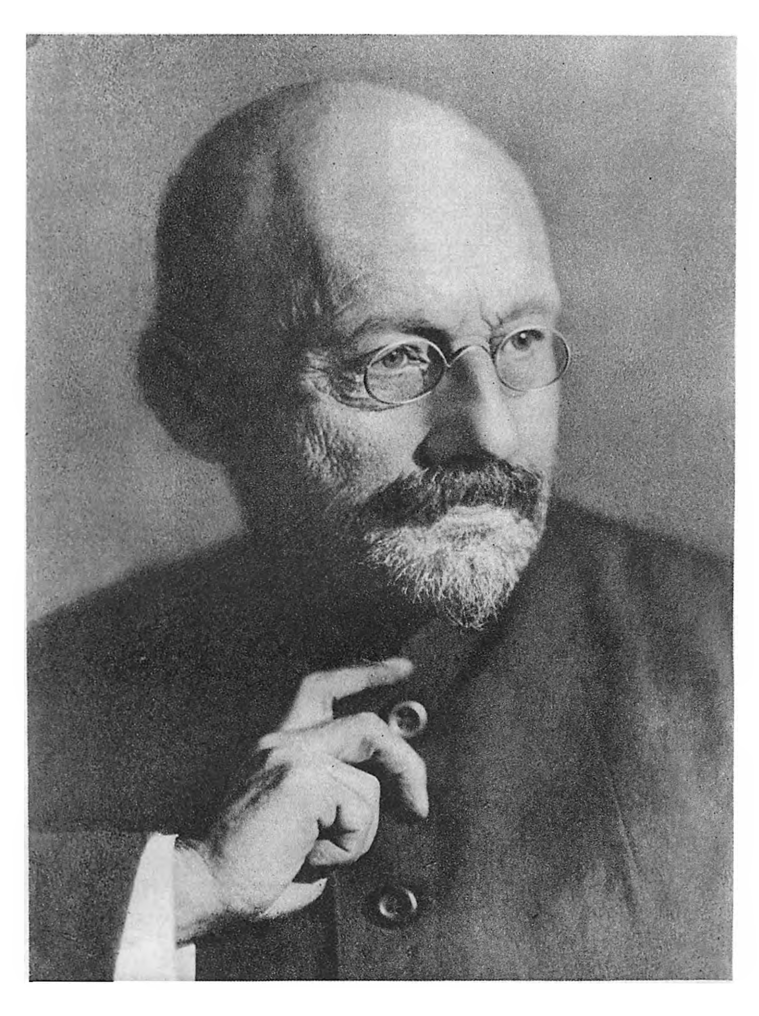
Передо мною два ее портрета. Они помещены в первом томе Полного собрания ее сочинений.

Первый портрет — 1877 года, когда ей было двадцать пять лет. Девически-чистое лицо, очень толстая и длинная коса сбегает по правому плечу вниз. Вышитая мордовская рубашка под черной бархатной безрукавкой. На прекрасном лице — грусть, но грусть светлая, решимость и глубокое удовлетворение. Она нашла дорогу и вся живет революционной работой, в которую ушла целиком. «Девушка строгого, почти монашеского типа». Так определил ее Глеб Успенский, как раз в то время познакомившийся с нею.

Второй портрет — 1883 года. Фотография снята после ее ареста, для Александра III. Невозможно себе представить более трагического лица. Но невозможно представить и более трагического положения, вызвавшего такое лицо. Прогремело 1 марта, всколыхнувшее весь мир. Непрерывные покушения на Александра II, взрыв мины на Московско-Курской железной дороге при проезде царя, взрыв в центре Зимнего дворца, где он жил, мина на Малой Садовой улице, где он мог проехать, и, наконец, бомбометальщики на Екатерининском канале, с ним покончившие. Было и в России и за границей впечатление, что друг против друга стоят две огромных силы: самодержавие со своим всеохватывающим полицейским аппаратом и неуловимый исполнительный комитет «Народной Воли», держащий в непрерывном трепете бессильную против него власть. В действительности грозный этот ко-



Фотопортрет В. Вересаева, подаренный ему к сорокалетию литературной деятельности печатниками со следующей монограммой: «Дорогому юбиляру Викентию Викентьевичу Вересаеву от печатников, быт которых, с глубокой проникновенностью, отражен Вашими произведениями. 4.— XII.— 1925 г.»



В. ВЕРЕСАЕВ.
Начало 1930-х годов.

митет представлял из себя небольшую кучку смелых и решительных людей человек в тридцать, на своих плечах выносивших огромную эту борьбу. Уже до 1 марта сознание бессилия охватывало большинство членов комитета, даже такого человека, как Желябов. Нарастало чувство усталости и развинченности. После 1 марта большинство было схвачено, казнено или заключено в казематы самых страшных крепостей. Из членов исполнительного комитета уцелела одна Вера Фигнер. В руки ее перешло все дело партии, перед нею встала задача создать новый центр. Вера Николаевна рассказывает:

«С тяжелым чувством вспоминаю я темную полосу жизни, наступившую затем. Я видела, что все начинания мои не приводят ни к чему. Что я ни придумывала, все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию... Я упорствовала, но все было напрасно. Кругом меня все рушилось, все гибло, а я оставалась одна, чтобы совершать скорбный путь, не видя конца. Наружно я бодрилась, а в тишине ночной думала с тоской: «Будет ли конец? Мой конец?» Наутро надевалась маска, и начиналась прежняя работа. Близкие знакомые не раз говорили мне: «Почему вы задумываетесь так? Почему вы смотрите куда-то вдаль?» Это было потому, что в душе звучало не переставая: «тяжело жить!» и взгляд бессознательно обращался в даль, потому что в этой дали скрывался конец».

А все по-прежнему были убеждены, что исполнительный комитет представляет из себя серьезную, грозную силу. И вот до чего доходило. В Харькове к Вере Николаевне приехал знаменитый в то время критик и публицист Н. К. Михайловский, ближайший сотрудник «Отечественных записок». Радикальный публицист Н. Я. Николадзе передал ему для сообщения исполнительному комитету ошеломляющее предложение русского правительства, сделанное через министра императорского двора графа Воронцова-Дашкова: правительство утомлено борьбою с «Народной Волей» и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены, и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозой революционного террора. Если «Народная Воля» воздержится от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий полную политическую амнистию, свободу печати и свободу мирной социалистической пропаганды.

Вера Николаевна отказалась вести переговоры, правильно увидев в предложении лишь попытку одурачить революционеров, чтобы во время коронации обезопасить царя от террористических покушений.

10 февраля 1883 года, преданная Дегаевым, Фигнер была арестована.

Тут вот и была снята с нее фотография, о которой я упомянул. Изумительный портрет по глубочайшей, безысходной трагичности прекрасного лица. И когда смотришь на этот портрет, как смешон становится трагизм разных Федр и Медей, леди Макбет и Дездемон! Мелкие любовные делишки, мелкая месть, своекорыстные преступления. А здесь... Фигнер вспоминает: «Революционное движение было разбито, организация разрушена, исполнительный комитет погиб до последнего человека. Народ и общество не поддержали нас. Мы оказались одиноки»...

Веру Фигнер судили. Суд приговорил ее к смертной казни. Через восемь дней объявили, что государь император всемилостивейше изволил заменить ей смертную казнь каторгой без срока. Надели на нее пропитанный потом, несоразмерно большой арестантский серый халат с желтым бубновым тузом на спине и отвезли в Шлиссельбургскую крепость. Там она пробыла в одиночном заключении двадцать два года.

Странное я испытываю чувство, когда смотрю на Веру Николаевну, когда разговариваю с нею. Я знавал не одного крупного человека, но подобного чувства совсем не было при общении, например, с Чеховым, Короленко, Горьким, Станиславским, Шаляпиным. Здесь передо мною было настоящее, близкое, рядом стоящее. А то, что к Вере Николаевне, я еще испытывал только со Львом Толстым. Странно было видеть в настоящем этих двух людей, так ярко осиянных прошедшим. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Тютчев, Фет — и Лев Толстой, Желябов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Кибальчич — и Вера Фигнер. И вот вдруг эти двое — Толстой и Фигнер — перед тобою живые, слышишь их голос, говоришь с ними. Странное, необычное впечатление, как если бы вдруг увидел и заговорил с Гете, Спартаком или Юлием Цезарем.

Я пристально приглядываюсь к ней. Какой цельный,

законченный образ революционера,— «революционера, который никогда не отступает» (ее выражение)! Слово, ни в чем не расходящееся с делом. Смелость на решительный шаг. И непрерывная борьба,— на воле со всероссийским императором, в шлиссельбургском каземате—с каким-нибудь злобным старикашкой-смотрителем. Из скудной тюремной библиотеки администрация изъяла все сколько-нибудь дельные книги. Сговорились голодовкою требовать отмены этого постановления. Книга в одиночном заключении — это три четверти жизни. «Голодовку, как я понимаю,— пишет Фигнер,— надо или вовсе не предпринимать, или предпринимать с серьезным решением вести до конца». И она вела ее до конца. Один заключенный за другим, не выдержав, прекращали голодовку. Держалась одна Фигнер и медленно приближалась к смерти. Двое товарищей простукали ей, что, если она умрет, они покончат с собою. Только это заставило ее прекратить голодовку,— она ее прекратила с отчаянием и с разбитою верою в мужество товарищей. Лет через пятнадцать администрация вдруг решила восстановить во всей строгости тюремные правила, смягчения которых заключенные в течение многих годов добились путем упорнейшей борьбы, сидения в карцере, самоубийств. Вера Николаевна, не полагаясь уже на товарищей, решила бороться в одиночку. В объяснении с офицером-смотрителем она сорвала с него погоны,— величайшее для офицера бесчестие,— чтобы ее судили и там она бы могла рассказать о всех незаконных притеснениях, чинимых над ними. Несколько месяцев она жила в ожидании суда с неминуемо долженствовавшей последовать смертною казнью. Но дело предпочли замять.

Она очень нервна. От малейшего неожиданного шума вздрагивает, как от сильного электрического тока. Легко раздражается. Долгие годы одиночного заключения сильно надломили здоровье когда-то крепкой и жизнерадостной женщины. В большом обществе малознакомых людей держится замкнуто и как будто сурово, многим кажется высокомерной. Она сама пишет: «Тюремное заключение изуродовало меня: оно сделало меня, по отношению к обществу людей, чувствительной мимозой, листья которой бессильно опускаются после каждого прикосновения к ним. Присутствие людей тяготило, вызывало какое-то нервное трепетанье; потребность быть с людьми упала до минимума. Мне и теперь трудно быть много с людьми».

При близком знакомстве она пленяет необоримо.

Мы иногда виделись. Нравилась ее нестесняющаяся прямота и простота в отношениях. Раз зашел к ней по делу часа в два дня. Она в коридоре варит на керосинке кофе.

— Пройдите в комнату, я сейчас.

В комнате сидит человек средних лет. Вошла Вера Николаевна с дымящимся кофейником.

— Вас, Викентий Викентьевич, я кофе не угощаю. Это — приезжий из Нижнего, я для него варила.

Как просто — и как хорошо! Другая пошла бы подваривать кофе, чтобы на всех хватило, вместо беседы с пришедшим толклась бы за керосинкой, и никому это не было бы нужно.

Прочел подаренную ею книгу «Запечатленный труд», подробную ее автобиографию. Сказал ей:

— Мне не нравится, что мало конкретных бытовых подробностей. Поэтому образцы не стоят передо мною живьем. А главное — теней мало. Нимбы, как вы сами признаете. Может быть, Плутарх и полезен для юношества, но мне тогда только и дорог герой, когда он — с мелкими и даже крупными недостатками и, несмотря на это, все-таки герой. Позвольте, например, узнать,— вы этого в своей книге не объясняете,— почему товарищи называли вас «Топни ножкой»?

Вера Николаевна засмеялась.

— Потому что у хорошеньких женщин есть привычка топать ножкой.

Ну, разве от одной этой подробности образ «стальной революционерки» Веры Фигнер не становится живее, ближе и милее?

---

2 февраля 1927 года.— Недели две назад, вдруг слабо вспыхнув застенчивой улыбкой, такою странною на ее лице, она сказала:

— Когда вы в следующий раз придете ко мне, я вам дам письмо к вам.

— От кого?

— От меня.

— Отчего же просто не скажете?

— Нет, это нужно письмом.

И вот сегодня, с тою же вспыхнувшей застенчивой улыбкой, дала мне письмо.

Дома прочел его — и ничего не понял. О ком идет речь? Кто такой Р.? Что за статья? Раза три перечитал и, наконец, вспомнил.

Года три назад мне случайно попал в руки берлинский журнал на русском языке «Эпопея», под редакцией Андрея Белого. В нем, между прочим, были помещены воспоминания о февральской революции Алексея Ремизова под вычурным заглавием: «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова, Орь». Откровенный обыватель, с циничным самодовольством выворачивающий свое обывательское нутро, для которого в налетевшем урагане кардинальнейший вопрос: «революция или чай пить?» Одна из главок была такая:

СТАЛЬ И КАМЕНЬ

Были у Веры Николаевны Фигнер.

Я уже раз ее видел на первом скифском собрании в январе у С. Д. Мстиславского.

Закал в ней особенный, как вылитая.

Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто выдираются из опута, другие же, как сталь,— холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля может быть беспощадна.

Я чего-то всегда боюсь таких.

Или потому, что сам-то, как кисель, и моя воля — не разлучна.

И мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают через эту холодную сферу.

Веру Николаевну я больше слушал и старался отвечать по-человечески, а это было очень трудно, и выходило очень глупо.

Веру Николаевну я слушал и смотрел так, как на живую память.

Ведь с ней соединена целая история русской жизни — совсем не доступная моей душе сторона, выразившаяся для меня в имени — 1 марта.

Я это всегда представлял себе — от убийства до казни,— как сквозь густой промозглый туман, по спине от зяби мурашки, и хочется, чтобы было так, если б можно было вдруг проснуться.

И не это, а неволя — Шлиссельбургская крепость — долгие одиночные годы смотрели на меня, и я не мог поверить,— такая крепь! — и верил.

Я дал Вере Николаевне прочесть это. Ее, мне показалось, все эти восхваления очень мало тронули. Она сказала с недоумением:

— Вот странно! А тогда же, по одному случаю, я получила от него несколько строчек совсем в другом роде, я много раз их перечитала...

Вот что она теперь писала мне в письме, о котором я говорил:

Викентий Викентьевич!

Я редко встречаюсь с вами и в разговоре не чувствую себя свободной.

Два года назад вы дали мне прочесть:

«Камень»

И всадили мне занозу.

Если б Р. прочел 2-ю часть «Запечатленного труда», он узнал бы, как я чувствовала за себя и за других, и не только чувствовала, но и реагировала.

Я познакомилась с Р. и его женой в 1917 году, но мы не сблизились; он остался для меня чужим и непонятным, а его литерат. произведения не находили никакого отклика во мне.

В конце 18 г. или в начале 19-го, когда улицы Петербурга были завалены снегом и на них целыми сутками лежали мертвые лошади; деревянные дома разбирались на топливо, и мы, высшая категория, получали восьмушку хлеба (из овса), похожую на комок конского навоза, кто-то сказал мне, что Р. погибает от нужды.

Моим ресурсом был литературный заработок, и как раз я получила тогда 300 р. за два фельетона в газете «Власть народа». Я написала Р., чтобы он взял эти деньги как бессрочно отдаленный заем.

В ответ я получила записку, строки четыре. Он писал, что не находит слов для описания положения, из которого я вывожу его. Далее была отдельно написанная строчка, давшая мне великую награду.

«Никогда не забуду».

Но он забыл, не только забыл, но и оскорбил полным непониманием моего внутреннего «я».

В наивности своей, быть может, он даже думал, что пишет нечто лестное для меня!

Он многого не видал на свете: на заводе Кокериля в Бельгии я видела громадную, правильно обработанную глыбу железа, которую при известной температуре при мне разрезали с такою же легкостью, с какою режут плитку сливочного масла.

А в Швейцарии я видала высокие скалы твердокаменной породы. Прозрачная вода струится из них каплями, и они падают на землю, как слезы.

Их зовут: Rochers de pleurs [1].

В. Ф.

Письмо представляется мне неоценимо характерным не только для самой Веры Фигнер, но и для всех революционеров ее эпохи и ее склада: холод стали,— да, хорошо! Но — если под этою сталью бьется горячее человеческое сердце. Арестованную на юге Софью Перовскую везли в Петербург по железной дороге два жандарма. Она несколько раз имела возможность убежать, но жандармы относились к ней доверчиво. И она не сочла возможным их подводить. И убежала только в Чудове, где жандармы попа-

---

[1] Скалы слез *(франц.)*.

лись свирепые. Каляев имел удобный случай бросить бомбу под карету вел. князя Сергея, но в карете, вместе с Сергеем, сидели дети,— и Каляев прошел мимо, не бросив бомбы.

Но как же, с другой стороны, характерен и этот тоскующий по чаю обыватель: «холодную атмосферу» помнит хорошо, а о горячей руке помощи, протянувшейся к нему из этой атмосферы в смертную минуту гибели,— забыл или не почел нужным вспомнить!

---

6 марта 1927 г. Возмущается драматургами и беллетристами, выводящими ее в числе других революционных деятелей в драмах и романах из эпохи народовольчества. Какая бесцеремонность! Как можно выводить живых людей!

— Вы настолько принадлежите истории, что возмущаться этим нечего. А лучше было бы, если бы после смерти? Теперь хоть имеете возможность возразить, если что не так.

— Да что возражать! Как возражать? Слащавые, ходульные напыщенные фигуры,— человек искренно воображает, что возвеличивает. Совсем все это делалось не так, все было гораздо проще, серее — и, может быть, именно поэтому — гораздо величественнее. Странно было тогда даже подумать, что мы совершаем какие-то «подвиги». Читала статьи о себе Ив. Ив. Попова, Сергея Иванова — все фальшь, все не так, противно читать. Или вот Ник. Ал. Морозов: описывает в своих воспоминаниях, как я раз явилась к нему в тюрьму: открывается дверь, меня вводят, надзиратель запирает за мною дверь,— и мы целый час беседуем. Он это изображает как какое-то чудесное видение, как бешено-смелый поступок с моей стороны. А все было так просто! Я посещала в тюрьме мою сестру. Разрешения на свидания давал прокурор, который совершенно не мог устоять перед... (она запнулась)... перед хорошеньким личиком. Я про это слышала, пошла к нему и попросила дать мне свидания с Морозовым. Он дал. Больше ничего.

— С Глебом Успенским я встречалась, но по большей части в неинтересной, обывательской компании. Раз я попросила его дать свою квартиру под конспиративное соб-

рание. Он отказал. Я молода была, прямолинейна,— отнеслась к этому с резким осуждением. Теперь понимаю, что он был прав: у него несколько раз был обыск, квартира находилась под наблюдением.

— Мы тогда были ярые народницы и негодовали на то, как Глеб Успенский изображает мужиков. Он посмеивался: «Вере Николаевне хочется шоколадных мужичков».

Глеб Успенский, Венера Милосская и Вера Фигнер. В 1872 году Глеб Успенский был в Париже. Он побывал в Лувре и писал о нем жене: «Вот где можно опомниться и выздороветь!.. Тут больше всего и святее всего Венера Милосская. Это вот что такое: лицо, полное ума глубокого, скромная, мужественная, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни. Это — такое лекарство от всего гадкого, что есть на душе, что не знаю,— какое есть еще другое? В стороне стоит диванчик, на котором больной Гейне, каждое утро приходя сюда, плакал».

Один из друзей Успенского, А. И. Иванчин-Писарев, рассказывает: «Мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, Глеб Иванович не замедлит воспользоваться ими для очередного рассказа. Между тем время шло, а Венера Милосская не находила себе места в его произведениях. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в котором высокая идея была бы гармонично слита с его личными переживаниями. С таким человеком он столкнулся в лице Веры Николаевны Фигнер. Он почти молитвенно преклонялся перед нею, восторгался ее умом, энергией и в особенности отзывчивостью к людским страданиям даже в тех случаях, когда причины этих страданий могли казаться ничтожными с ее личной точки зрения». «Она понимала великое горе,— говорил он о ней.— Страдает человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце!»

В 1885 году, в серии рассказов «Кой про что», Успенский напечатал рассказ «Выпрямила», будто бы из записок деревенского учителя Тяпушкина. Душа была истерзана целым рядом тяжелых явлений тогдашней российской действительности. И вдруг, как ярко светящиеся силуэты на темном фоне, перед глазами начинают проходить

неожиданно всплывшие воспоминания, наполняя душу сильным, радостным теплом.

«Что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. Та глубокая печаль, печаль о не своем горе, которая была начертана на этом лице, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали сливались *в одну*, не давая возможности проникнуть в ее сердце, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла,— что при одном взгляде на нее всякое страдание теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым*, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

От образа Веры Фигнер воспоминание переходит к давнему впечатлению от Венеры Милосской, полученному тринадцать лет назад.

«Я стоял перед нею, смотрел на нее и непрестанно спрашивал себя: «Что такое со мной случилось?» Почувствовал я, что со мною случилась большая радость... Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? Я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа... Как бы вы тщательно ни разбирали это великое создание с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель. Да, ему нужно было и людям своего времени и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах огромную красоту *человеческого* существа, показать всем нам и обрадовать нас видимою для всех нас возможностью быть прекрасными... Он создавал то истинное в человеке, чего сейчас, сию минуту, нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку».

Нужно сделать усилие, чтобы ограничить себя в выписках из этой замечательной статьи Успенского,— самого глубокого и самого прекрасного во всей мировой литературе, что написано о Венере Милосской. Интересно тут

то проявление самой светлой и самой высшей человеческой гармонии, которую Глеб Успенский наибольше почувствовал в мраморной эллинской богине с острова Милос и в живой русской девушке-революционерке. Мысль о несравненной гармонии самопожертвования, о которой говорят не — «как страшно!», а — «как хорошо! как славно!» — мысль эта, которую Успенский почувствовал в Вере Фигнер, не покидала его до смерти. В 1884 году, во время суда над Фигнер, Успенский через ее сестру передал ей, что он ей завидует. Это очень удивило Веру Николаевну. Положение было никак уж не такое, чтобы вызывать зависть. Она пишет: «Почему, почему? — думала я.— И решила в одном понятном мне смысле. Глеб Иванович видел во мне в эти минуты цельного, нераздвоенного человека, шедшего определенной дорогой без колебания и оглядки, имеющего что-то заветное, за что отдает все».

Прошли годы. Глеб Успенский, безнадежно сошедший с ума, находился в психиатрической лечебнице доктора Фрея. Иванчин-Писарев рассказывает:

«Глубокие симпатии его к Вере Николаевне сказались даже в его бредовых идеях. В зависимости от его несколько мистического настроения образ Веры Николаевны стал воплощаться в «монахиню Маргариту, приносившую с собою утешение и ободрение».

«Угрюмый сидел я, склонивши голову,— рассказывал Глеб Иванович,— вдруг чувствую — именно чувствую, а не вижу,— что ко мне медленно приближается женщина в белоснежной одежде. Сосредоточенная, строгая, она смотрит на меня с глубокой тоской. Такою я видел Веру Николаевну, когда она была удручена чем-нибудь. Да и видение, как мне казалось, походило на нее. Были и другие знакомые черты, ее глаза, фигура... Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку. Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами. Все сердца, сердца... Весь мир переполнила она любовью. С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть, бывало, снова набежит мрак, ненависть к людям, жажда смерти,— мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мною».

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

С Андреевым я познакомился в мае 1903 года в Ялте. Этот и ближайшие к нему годы были, по-видимому, счастливейшим периодом в жизни Андреева. За год перед тем он выпустил первую книжку своих рассказов, и встречена она была критикою восторженно. Вчерашний безвестный судебный репортер газеты «Курьер», Леонид Андреев сразу и безоговорочно был выдвинут в первый писательский ряд. Рассказ «Бездна», напечатанный уже после выхода книжки в той же газете «Курьер», вызвал в читательской среде бурю яростных нападок и страстных защит; графиня С. А. Толстая, жена Льва Толстого, напечатала в газетах негодующее письмо, в котором протестовала против безнравственности рассказа. Буря эта сделала известным имя Леонида Андреева далеко за пределами очень, в сущности, узкого у нас в то время круга действительных любителей литературы. Книжка, в последующее издание которой был включен и рассказ «Бездна», шла бешеным ходом, от газет и журналов поступали к Андрееву самые заманчивые предложения. Бедняк, перебивавшийся мелким репортажем и писанием портретов, стал обеспеченным человеком. Года полтора перед этим он женился, и брак был исключительно счастливый,— об этом браке я еще буду рассказывать. Любимая и любящая жена, прелестный мальчишка Димка. Подъем творческой энергии, вызванный всеобщим признанием и верою в себя. Третья картина из андреевской драмы «Жизнь человека»: «Как пышно! Как светло!»

Смуглый, с черными «жгучими» глазами, черною бородкою и роскошною шевелюрою, Андреев был красив. Хо-

дил он в то время в поддевке, палевой шелковой рубахе и высоких лакированных сапогах. Вид у него был совсем не писательский. Со смехом рассказывал он про одну встречу на пароходе, по дороге из Севастополя в Ялту.

В Севастополе он выступал на литературном вечере и имел шумный успех. На пароходе одна молодая дама долго и почтительно приглядывалась к нему, наконец подходит:

— Позвольте познакомиться... Давно желала этой чести... Я ваша восторженная поклонница...

— Я,— рассказывал Леонид Николаевич,— скромно потупляю глаза, мычу, что и я со своей стороны... что очень польщен...

Дама спрашивает:

— Вы давно из Новороссийска?

— Из Новороссийска? Никогда там не бывал.

— Так вы разве... не дирижер цыганского хора?

— Нет. Я писатель. Леонид Андреев.

— Ах, писа-атель...

И дама разочарованно отошла.

Мы ездили большой компанией в Байдарскую долину, в деревню Скели, к замужней дочери С. Я. Елпатьевского, Людмиле Сергеевне Кулаковой. Ночью, при свете фонарей, ловили в горной речке форелей. Утром, в тени грецких орешников, пили чай. Растирали в руках листья орешника и нюхали. Андреев сказал:

— Совершенно пахнут иодом!

— Ну, иодом!

— Вы со мной на этот счет не спорьте. Я запах иода отлично знаю. Жена меня каждый день на ночь мажет иодом то тут, то там.

— От каких болезней?

— От всяких.

— И что же, помогает?

Андреев помолчал.

— Семейному счастью помогает.

Возвращались мы в Ялту лунной ночью, в линейках. Смеялись, шутили, спорили.

Я, между прочим, сказал:

— Как, в сущности, бездарно это прославленное гоголевское описание Днепра: «Чуден Днепр при тихой и ясной погоде...» Ни одной черточки, которая давала бы лицо именно Днепра. Описание одинаково можно приложить и к Вол-

ге, и к Лене, и к Рейну, и к Амазонке,— к любой большой реке.

Андреев неопределенно усмехнулся:

— В этом-то именно и достоинство художественного описания. Нужно именно описывать вообще реку, вообще город, вообще человека, вообще любовь. Какой интерес в конкретности? Какой бы художник рискнул, например написать красавицу с турнюром, как у нас ходили дамы лет пятнадцать назад? Всякий смотрел бы на этот уродливо торчащий зад и только смеялся бы.

Это очень характерно для Андреева. В нем всегда было сильно стремление к схематизации образов, к удалению из них всего конкретного. Ярчайший образчик — его «Жизнь человека». В ней он попытался дать образ человека *вообще* (а дал, вопреки желанию, только образ человека-обывателя). У Андреева не было интереса к живой, конкретной жизни, его не тянуло к ее изучению, как всегда тянуло, например, Льва Толстого,— жадно, подобно ястребу, кидавшегося на все, что давала для изучения жизнь. Андреев брал только то, что само набегало ему в глаза. Он жил в среде, в которую его поместила судьба, и не делал даже попытки выйти из нее, расширить круг своих наблюдений.

Рядом с этим, однако, следует отметить, что глаз у него был чудесный, и набегавшую на него конкретную жизнь он схватывал великолепно. Доказательство — его реалистические рассказы вроде «Жили-были». Но сам он таких рассказов не любил, а больше всего ценил свои вещи вроде «Стены» или «Черных масок».

Пренебрежение к конкретности позволяло Андрееву браться за описание того, чего он никогда не видел. В «Иуде» он пишет палестинские пейзажи, в «Царе» (своеобразно-красивой вещи, почему-то, кажется, до сих пор не напечатанной) он описывает ассирийскую пустыню, в «Красном смехе» — японскую войну. Но на войне он никогда не был. Это, вероятно, будет очень неожиданно для читателей «Красного смеха». Боборыкин в своих воспоминаниях об Андрееве, описывая чтение им «Красного смеха», говорит, что писатель тогда «только что вернулся с кровавых полей Маньчжурии». Для бывших на войне такого заблуждения быть не может. Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и— смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа: упу-

щена из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека — способность *ко всему привыкать*. «Красный смех»—произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно переживавшего войну через газетные корреспонденции о ней.

Видались с ним в Ялте часто. Говорили много и хорошо. Какие-то протянулись нити, хотя во всем были мы люди чудовищно разные. Общее было в то время, обоих сильно и глубоко мучившее,—«чувство зависимости»,— зависимости «души» человека от сил, стоящих выше его,— среды, наследственности, физиологии, возраста; ощущение непрочности всего, к чему приходишь «разумом», мыслью. Славная была его жена, Александра Михайловна. Мы расстались в Крыму, чтоб опять увидеться в Москве. В 1901 году я был выслан на два года из Петербурга с запрещением проживать в столицах, прожил эти два года в родной Туле. К осени собирался перебраться в Москву.

В августе получил от Андреева письмо:

Дорогой Викентий Викентьевич! Подходит зима,— не передумали Вы насчет Москвы? Это вопрос не праздного любопытства. Для меня и Шуры очень важно, будете ли Вы жить в Москве или нет. Штука в том, что наша короткая встреча оставила такое впечатление, какого давно не давали люди. И кажется мне, что мы можем сойтись, хорошо сойтись. Я уже вижу, как мы будем с Вами говорить, и самое приятное — еще не знаю, о чем. О чем-то особенном, совсем особенном и интересном, о чем уже давно хочется поговорить. Итак: приедете или нет? Квартир сейчас в Москве много, и дешевы они... Когда переселитесь, вместе будем, если это будет для Вас удобно, исследовать старую и новую Москву... Лето, до половины июля, держал себя дальше от работы и баловался стереоскопом. Великолепная штука! Такие снимки есть, восторг один. Последний же месяц писал и написал большой рассказ под заглавием: «Жизнь Василия Фивейского». Замысел рассказа важный, но выполнение мизерное — придется поработать еще. Приезжайте.

В Москве в сезон 1903—1904 года часто виделись с ним. Был Андреев типический москвич. Радушный и гостеприимный, мало разборчивый на знакомства; масса приятелей, со всеми на «ты»; при встречах, хотя бы вчера виделись, целуются. Очень любил пить чай. Самовар в его квартире не сходил со стола круглые сутки. Работал Андреев по ночам, до четырех-пяти часов утра, и все время пил крепкий чай. В пять утра вставала его матушка, Настасья Николаевна, и садилась за чай. Днем, когда к ним ни придешь, всегда на столе самовар.

Жил Андреев в тихих Грузинах, в Средне-Тишинском

переулке, в уютном особняке. По средам чаще всего у него (и у Н. Д. Телешова) собирался наш кружок беллетристов, носивший название «Среда» и основанный за несколько лет перед тем Н. Д. Телешовым. Участвовали в кружке, кроме Андреева, братья Бунины, Юлий и Иван, Н. Д. Телешов, Н. И. Тимковский, А. С. Серафимович, И. А. Белоусов, В. А. Гольцев, Сергей Глаголь (С. С. Голоушев, художественный критик), С. А. Найденов и др. При приездах своих в Москву бывали Чехов, Короленко, Горький, Куприн, Елпатьевский, Чириков,— в большинстве та литературная группа, которая впоследствии была известна под именем «знаньевцев» (по издательской фирме Горького «Знание»). Из не-писателей бывали Шаляпин, артисты Художественного театра. Кружок был замкнутый, посторонние в него не допускались. Писатели читали в кружке свои новые произведения, которые потом подвергались критике присутствующих. Основное условие было — высказываться совершенно откровенно, основное требование— не обижаться ни на какую критику. И критика нередко бывала жестокая, уничтожающая, так что некоторые более самолюбивые члены даже избегали читать свои вещи на «Среде». Андреев обязательно каждую свою новую вещь проводил через «Среду», и приятно было смотреть, как жадно в то время выслушивал он всякую, самую неблагоприятную критику. А критика очень часто бывала неблагоприятная: и по основным настроениям своим и по форме андреевское творчество слишком было чуждо реалистически настроенному большинству кружка.

Для меня всегда было загадкою, почему Андреев примкнул к «Среде», а не к зародившемуся в то время кружку модернистов (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Мережковский, Гиппиус и пр.). Думаю, в большой степени тут играли роль, с одной стороны, близкие личные отношения Андреева с представителями литературного реализма, особенно с Горьким, с другой стороны — московская пассивность Андреева, заставлявшая его принимать жизнь так, как она сложилась. Однако при случае он резко и определенно проявлял свои симпатии. Помню доклад Бальмонта об Оскаре Уайльде в московском Литературно-художественном кружке. Публика была возмущена бальмонтовскими восхвалениями не только творчества Уайльда, но и самой его личности. Ораторы один за другим всходили на кафедру и заявляли, что не нам проливать слезы над Оскаром

Уайльдом, попавшим в каторжную тюрьму за содомский грех,— нам, у которых столько писателей прошло через каторгу за свою любовь к свободе и народу. Андреев, сидевший на эстраде, громко и демонстративно аплодировал Бальмонту и потом говорил посмеиваясь:

— Ну, теперь я навеки погиб во мнении московской публики!

Под конец жизни Андреев разошелся с прежними литературными друзьями, о Горьком отзывался враждебно и был в тесной дружбе с Федором Сологубом.

Возвращаюсь к «Среде». Я до того времени в Москве не жил, и «Среда» меня поразила своим резким отличием от нашего марксистского литературного кружка, в котором в годы до высылки я участвовал в Петербурге. Там, в Петербурге,— раскаленная общественная атмосфера, страстные дебаты сначала с народниками, потом с бернштейнианцами, согласное биение со все усиливающимся революционным пульсом, тесная связь с революционными низами. Здесь, в Москве,— как будто мирная какая-то заводь, куда не докатывалась даже тихая рябь от бушевавших на просторе грозовых волн. Там — самовар, бутерброды с сыром и колбасой, беззаботные к костюму мужчины и женщины. Здесь — ужины с тонким вином и осетриной под соусом провансаль, красивые дамы, мерцание бриллиантов, целование ручек.

Я повел агитацию за расширение тем собеседований в кружке, за большее внимание к общественности и кипевшей кругом жизни. Несколько раз приводил на «Среду» А. А. Малиновского-Богданова, П. П. Маслова. Андреев очень сочувственно, даже с восторгом отнесся к моему начинанию. «Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как бы было хорошо,— говорил он,— если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы». Вот до чего велика была в то время отчужденность Андреева от всякой общественности! Доклад о программах!..

Когда вспоминаешь о Леониде Андрееве того времени, нельзя отделить его от его первой жены, Александры Михайловны. Брак этот был исключительно счастливый, и роль Александры Михайловны в творчестве Андреева была не мала.

Андреев был с нею неразлучен. Если куда-нибудь приглашали его, он не шел, если не приглашали и его жену. Александра Михайловна заботливо отстраняла от него все житейские мелочи и дрязги, ставила его в самые лучшие условия работы. Влияние на него она имела огромное. Андреев пил запоем. После женитьбы он совсем бросил пить и при жизни Александры Михайловны, сколько знаю, держался крепко. Новый год мы встречали у адвоката А. Ф. Сталя. Когда все пили шампанское, Андреев наливал себе в бокал нарзану. Он это называл «холодным пьянством».

Александра Михайловна умерла, прожив с Андреевым всего несколько лет. Драма Андреева «Жизнь человека» носит такое посвящение: «Светлой памяти моего друга, моей жены, посвящаю эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе».

Александра Михайловна действительно работала вместе с Андреевым — не в смысле непосредственного совместного писательства, как братья Гонкуры или Эркман и Шатриан, а в более глубоком и тонком смысле. Лучшей писательской жены и подруги я не встречал. В обычных теоретических «умных» беседах Александра Михайловна ничем не выдавалась и производила впечатление обыкновенной интеллигентной молодой женщины. Но было у нее огромное интуитивное понимание того, что̀ хочет и может дать ее муж-художник, и в этом отношении она была живым воплощением его художественной совести

Работал Андреев по ночам. Она не ложилась, пока он не кончит и тут же не прочтет ей всего написанного. После ее смерти Леонид Андреев со слезами умиления рассказывал мне, как писался им «Красный смех». Он кончил и прочел жене. Она потупила голову, собралась с духом и сказала:

— Нет, это не так!

Он сел писать все сызнова. Написал. Была поздняя ночь. Александра Михайловна была в то время беременна. Усталая за день, она заснула на кушетке в соседней с кабинетом комнате, взяв слово с Леонида Николаевича, что он ее разбудит. Он разбудил, прочел. Она заплакала и сказала:

— Ленечка! Все-таки это не так.

Он рассердился, стал ей доказывать, что она дура, ничего не понимает. Она плакала и настойчиво твердила, что

все-таки это не так. Он поссорился с нею, но... сел писать в третий раз. И только, когда в этой третьей редакции она услышала рассказ, Александра Михайловна просияла и радостно сказала:

— Теперь так!

И он почувствовал, что теперь действительно так.

Не нужно, однако, отсюда заключать, что Андреев как писатель способен был подчиняться чьему-либо чужому мнению. Слишком он для этого был крупным и оригинальным художником. В кружке «Среда» он обязательно читал каждую свою новую вещь, жадно вслушивался в самую суровую критику, но, может быть, из ста замечаний принимал к исполнению только одно-два. И если он так прислушивался к мнению Александры Михайловны, то потому, что сам в душе чувствовал: «не так!». И если согласился с нею, что «теперь так», то потому, что его собственная художественная совесть сказала ему: «теперь так».

Теперь так!

Так ли это было с объективной точки зрения? Может быть, и даже наверное, Лев Толстой написал бы не так и написал бы гораздо лучше. Но он, Леонид Андреев,— он-то должен был написать именно так и иначе не мог и не должен был написать. Это-то вот бессознательным своим чутьем понимала Александра Михайловна и в этом-то отношении была таким другом-женою, какого можно пожелать всякому писателю.

Знал я другую писательскую жену. Прочтет ей муж свой рассказ, она скажет: «Недурно. Но Ванечка Бунин написал бы лучше». Или: «Вот бы эту тему Антону Павловичу!» А писатель был талантливый, со своим лицом. И он вправе был бы сказать жене: «Суди меня, как меня, и оставь в покое Чехова и Бунина». Для Александры Михайловны Леонид Андреев был именно родным, милым Леонидом Андреевым, ей не нужен он был ни меньшим, ни бо̀льшим, но важно было, чтобы он наилучше дал то, что может дать.

Как-то обедал я у него. После обеда пошли в сад, бывший при доме. Бросались снежками, расчищали лопатами дорожки от снега. Потом разговорились. Месяца два назад началась японская война. Говорили мы о безумии

начатой войны, о чудовищных наших неурядицах, о бездарности наместника на Дальнем Востоке, адмирала Алексеева. Были серые зимние сумерки, полные снежной тишины. Вдруг из-за забора раздался громкий ядовитый голос:

— Начальство ругаете? Та-ак! Хорошим делом занимаетесь!

Андреев страшно побледнел и замолчал. Сказал с гадливым трепетом:

— Пойдемте домой!

И весь вечер был нервно-задумчив.

В апреле Андреевы уехали в Крым. Письмо оттуда:

Эх, Викентий Викентьевич! На свете существует Крым, а Вы сидите в Туле. Как тут не поверить в бога, карающего маловеров, неверов и позитивистов! Звать Вас не зову, чувствую, что не приедете, но от критики Ваших действий, а равным образом от соблазна удержаться не могу. Ваши действия — разве это действия? Это преступное бездействие и превышение власти, которое господь бог дал Вашему духу над Вашим телом, никак не ожидая, что Вы это тело запрячете в дыру к вящему его ущербу и поношению. Голова у Вас жила, особенно на «Средах», достаточно: надо же дать пожить и ногам, и груди, и носу, и глазам. Вы послушайте, как живет мой нос: вначале от массы впечатлений он схватил насморк и два дня вертелся у меня на лице, как оглашенный. Потом успокоился, нюхнул там, нюхнул здесь и сказал: ах, хороша жизнь! На всем полуострове, где я ни бывал, основной запаховый тон — горьковато-душистый запах можжевельника, которым здесь топят печи. Потом — соленый, глубокий, влажный, широкий запах моря, а за ним тьма-тьмущая приватных запахов, как-то: сосны, пыли, всевозможных цветов. Иногда носу моему кажется, что здесь и камни пахнут. С утра нос начинает свою работу. Поспешно отделавшись от старых запахов колбасы, масла и чая, он выходит наружу и целиком погружается в крымские ароматы. И под конец сам становится как флакон с духами, и стоит мне чихнуть, чтобы наполнить комнату дивным благоуханием.

А глаза! А уши! А ноги! Таких мозолей, как у меня сейчас, в Москве за деньги не купишь, даже у Мюр-Мерилиза. Вчера ноги мои два раза лазали на мыс Мартьян, и я вполне явственно слышал, как смеялись пальцы: большой — благодушным басом, а мизинец — тонким, несколько истерическим хохотком: именно на нем-то существует мозоль. И большой сказал: а каково теперь пальцам Вересаева? Маленький ехидно ответил: они в калошах.

Я Вас очень люблю, Викентий Викентьевич, и мне очень Вас нехватает. Если станет там скучно, приезжайте сюда. Одного дядю Елпатия [1] поглядеть — удовольствие большое и чисто крымское. В Москве он другой.

Крепко любящий *Леонид.*

---

[1] С. Я. Елпатьевский. *(Прим. В. Вересаева.)*

В начале июня того же 1904 года я был мобилизован, уехал в Тамбов и оттуда должен был ехать со своею частью в Манчжурию. В июле — письмо от Леонида Николаевича.

Дорогой и милый Викентий Викентьевич. Так же трудно сейчас писать письма, как в то, вероятно, время, когда каждый час ожидали люди либо пришествия антихриста, либо Христа. События бегут с силой и какой-то внутренней железной необходимостью, и старая мысль русская, многократно обманутая и обманувшаяся, путается и теряется в догадках. Когда и чем кончится война? Кто будет министром? К чему все сие? Только сумасшедший может верно ответить на эти вопросы. Но за углом сидит кто-то — сидит — это мы все знаем.

Так жаль, что Вы уезжаете, уехали. Мысли Ваши интересны, а сами Вы такой, что не любить нельзя,— в голове моей и в сердце остается пустая комната, всегда пустая, всегда готовая к Вашему приезду. И Вы приедете, я это знаю, и Вы напишете что-нибудь большое о русских людях на войне. Это страшно интересно. Если бы я был здоров, я поехал бы на войну обязательно.

Для меня лето пропало. Животный восторг первых дней прошел, и начался длительный кошмар жары, солнца, убийственного безделья. Два месяца не было дождя, и два месяца один день был похож на другой. Первая осень, когда я ничего не пишу, и хуже того — ничего в мыслях не приготовил для работы, ибо не мог думать. Боюсь, как бы не пропала зима от этого. Неврастения — только усилилась.

На днях едем в Москву. Пишите туда. Нужно сборник памяти Чехова. Вероятно, примет участие вся «Среда»,— я еще не толковал об этом. Будут воспоминания и рассказы, едва ли статьи. Как Вы—в состоянии ли будете и захотите ли что-нибудь дать?

То, что творилось вокруг мертвого Чехова, похоже было на извержение исландского гейзера, выбрасывающего грязь. Столько пошлости, подлости, наглости и лицемерия — будто взбесилось стадо свиней. Поверить всем этим скотам — так не было у них лучшего друга, как Чехова, а Чехов — был другом только «скотам». Даже Маркс [1], про которого Чехов перед смертью писал: «обманут им глупо и мелко», возложил венок: «лучшему другу».

Неделю перепадают дожди, похолодало, и я немного очухался. В голове копошится что-то — съезжаются мысли, как дачники осенью в город. Много думаю о себе, о своей жизни — под влиянием отчасти статей о В. Фивейском. Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное «нет» — сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»?

Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно.

Смысл, смысл жизни, где он? Бога я не пойму, пока не одурею, да и скучно вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно,— но конец где? Стремление ради стремления — так ведь это верхом можно поездить для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо А ответа нет, всякий от-

---

[1] А. Ф. Маркс — издатель «Нивы». Он умудрился купить у Чехова в полную собственность навсегда все его сочинения за 75 000 руб. *(Прим. В. Вересаева.)*

вет — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем.

А красив человек — когда он смел и безумен и смертью попирает смерть. Вы читали «Марсельцев»? Оборванные, они шли в Париж спасать свободу и пели «Марсельезу». Пели и шли, пели и шли. В Париже их обкорнали, а теперь, сто лет спустя, французская свобода возложила пышный венок на гроб русского министра Плеве. На это все наплевать. Главное, пели и шли, пели и шли. В этом есть что-то очень убедительное, очень большое, и мне всегда легче становится при воспоминаниях о марсельцах. Как будто здесь кроется ответ.

Вероятно, я еще жив. Меня, помимо абрикосового варенья, очень трогает, очень волнует, очень радует героическая, великолепная борьба за русскую свободу. Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве? Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию — именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю, и странно — точно ответ какой-то есть в этой любви. А начнешь думать — снова пустота.

Ну. буде городить. Напишите мне. Крепко жму руку и целую Вас.

Ваш *Леонид Андреев*

В феврале 1905 года, в Манчжурии, после мукденской битвы, получил от него такое письмо·

Милый и дорогой Викентий Викентьевич. Пропущу объяснение в любви, искренней и горячей; сожаление, что Вас с нами нету и что Вы *там*,— и прямо перейду к тому, что Вам всего интереснее, к изложению российских дел. Была «весна»,— Вы это знаете. Заговорили все и всё, заговорили горячо, сердито, откровенно — и прямо о конституции. Смысл такой: никакие частичные реформы не помогут, пока не будет конституции. Правительство слушало и молчало. Святополк [1] принимал благодарность и мирволил,— но гласный съезд председателей зем. управ. разрешен, однако, не был. Разговоры продолжаются. Демонстрация в СПБ — с избиением. Демонстрация в Москве — с тем же. И тут — высочайшее — «нахожу заявление дерзким и нетактичным» черниговскому предводителю и «прочел с удовольствием» — тамбовским холопам, устроившим патриотический банкет с полицеймейстером во главе. И тотчас же бледный «указ» и наглое «правительственное сообщение».

Настроение определилось сразу, газеты мгновенно выцвели, реакция закопошилась, везде заговорили о «зиме». Но не надолго. Опять в какие-то щели пополз либерализм, и опять началась всесторонняя разделка правительства: падение П.-Артура было триумфом «дерзости»: огромное большинство газет резко и грубо, с необычайной прямотой наплевали в физиономию правительству, многие требовали мира. Несколько «предостережений» и запрещений розницы явились только доказательством слабости.

6 февраль 1905

Продолжаю письмо почти через полгора месяца. События идут так быстро, что нет возможности ориентироваться и подвести итоги.

[1] Святополк-Мирский — министр внутренних дел в 1905 г. (*Прим. В. Вересаева*)

Они в будущем, эти итоги, а сейчас ясно одно: Россия вступила на революционный путь. Не знаю, в каком виде доходят до Вас события, вероятно, значительно смягченные, и знаете ли Вы, что в России, действительно, революция. Несколько баррикад, бывших в СПБ 9 января, к весне или лету превратятся в тысячу баррикад. В России будет республика — это голос многих, отдающих себе отчет в положении дела.

Не стану приводить фактов, их слишком много, и разнообразны они: нужна целая книга, чтобы передать их. Последние факты: убийство Сергея Александров. и совещание в СПБ о созыве земского собора. Поводом к убийству великого князя послужило избиение на улицах Москвы демонстрантов 5 и 6 декабря — тогда же социал-революционеры «приговорили» его и Трепова к смерти, о чем оповестили всех прокламациями. И все, и сам С. А. ждали, и казнь совершилась. Собор в том виде, как предполагает его правительство,— ерунда, обман, новая глупость. Никто не надеется на то, что можно устроить его мирным путем, даже с.-д., как видно из их манифестов, все усилия обращают на приобретение оружия.

Горький и Пешехонов еще сидят в Петропавловке; за границей и в России ведется сильная агитация в пользу Горького, но результатов еще никаких. Когда Г. арестовали, Мария Федоровна[1] была опасно больна, почти при смерти, но теперь поправляется. Навещает Горького Екатерина Павловна (жена).

Вы поверите: ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции. Вся жизнь сводится к ней,— даже бабы, кажется, рожать перестали, вот до чего. Литература в загоне — на «Среде» вместо рассказов читают «протесты», заявления и т. п.

«Дачники» Горького оказались неудачной, слабой вещью, мелко обличительного характера. Она помещена в III сборнике «Знания», который посылаю Вам без надежды, однако, что дойдет. Там же Вы найдете мой «Красный смех» — дерзостную попытку, сидя в Грузинах, дать психологию настоящей войны. Как его пропустила цензура, тайна Пятницкого[2], в подцензурных газетах даже о рассказе писать не позволяют. Отношение публики к рассказу очень хорошее; критики — в большинстве тоже; Буренин разнес бешено, называет «зеленой белибердой». Писал я рассказ девять дней (5 печ. листов) и совсем развинтился,— уж очень мучительная тема. И с тех пор ничего не делаю.

Елпатьевский в СПБ, Скиталец и Чириков живут в Москве.

...Миролюбов со всеми нами, кроме Горького, помирился и Волжского бога убрал[3]. Горький, между прочим, совершенно порвал с Художественным театром и перешел к Комиссаржевской.

Ужасно жаль, что Вас нету с нами. Я постоянно вспоминаю о Вас и скучаю. Судя по газетным разговорам, к весне будет мир,— хоть бы!

Целую крепко и жду.

Крепко-крепко Ваш *Леонид Андреев*

---

[1] Андреева, бывш. артистка Художественного театра, вторая жена Горького. *(Прим. В. Вересаева.)*

[2] К. П. Пятницкий — совладелец издательства «Знание» *(Прим. В. Вересаева.)*

[3] В. С. Миролюбов издавал рублевый «Журнал для всех», имевший огромный успех. В последний год он резко повернул руль журнала и из номера в номер стал помещать статьи Волжского, в которых проводились мысли о необходимости религии, веры в христианского бога. Мы все тогда отказались от сотрудничества в журнале. *(Прим. В. Вересаева.)*

Когда я в начале 1906 года воротился с японской войны в Россию, Андреев в Москве уже не жил. Он уехал в Финляндию, оттуда за границу. В апреле месяце я получил от него из Глиона (в Швейцарии) следующее письмо:

Дорогой и милый Викентий Викентьевич!

Не писать надо, а увидеться, и прежде всего расцеловать Вас от радости, что Вы вернулись здравым и невредимым. По правде говоря, я очень боялся за Вас,— как-то Вы всю эту чертовщину выдержите. Однако выдержали и работаете,— я читал Ваши рассказы в «Мире божием»,— и стало быть все хорошо. А писать все-таки трудно, прямо невозможно,— так невероятно много накопилось нового.

Мои родственники сделали глупость: до сих пор не доставили мне Вашего письма. Так и не знаю, что в нем, и пишу так, как будто ничего не получал.

Помните: зима, наш сад в Москве, снежки — и голос из-за забора: «Алексеева браните?» С этим как будто моментом, именно с этим кончается для меня старое, то старое, что было до,—все, что дальше, это уже новое. Смерть Чехова, тяжелая, бессмысленная, пригнетающая, точно увенчивающая и кончающая собою старую Русь, растущая духота, в которой дышать нечем, почти отчаяние — и трижды благословенный громовой удар Сазонова [1]. И благодатный шумный дождь революции. С тех пор ты дышишь, с тех пор все новое, еще не осознанное, но огромное, радостно страшное, героическое. Новая Россия. Все пришло в движение. Падает и поднимается, разрушается и формируется вновь, меняет контуры и линии, меняет образ. Маленькое становится большим, большое — маленьким; с знакомыми нужно знакомиться вновь, с друзьями — дружиться. Вот и мы с Вами: расстались как будто друзьями (или приятелями?), а что мы теперь, не знаю.

Как Вы? Как Вы увидели и почувствовали это новое? Что оно дало Вам? Это ужасно интересно для меня. Помните: «На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси» [2]. Революция!.. Да, такое же привычное, узаконенное, почти официальное слово, как некогда полиция,— а как оно кажется свежему человеку?

Познакомимся. Я как был, так и остался вне партий. Люблю, однако, социал-демократов, как самую серьезную и крупную революционную силу. С большой симпатией отношусь к социал-революционерам. Побаиваюсь кадетов, ибо уже зрю в них грядущее начальство, не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Об остальных можно не говорить.

Как человек благоразумный, гадаю надвое: либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно-радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля. Если кадеты,— то в Европе прибавится одной дрянной конституцией больше, новым рассадником мещан. Наступит история длинная и скучная. Власть укре-

---

[1] Убившего министра внутренних дел В. К. Плеве *(Прим. В. Вересаева.)*

[2] Двустишие это приводит в одном из своих очерков В. Г. Короленко. В 1903 году был юбилей Короленко, мы на «Среде» писали ему адрес и закончили приветствие этим двустишием. *(Прим. В. Вересаева.)*

пится, из накожной болезни станет болезнью органсв и крови, и мой ближайший идеал — анархиста-коммунара — уйдет далеко. Здесь, в Европе, я понял, что значит уважение к закону, болезнь ужасная, почти такая же, как уважение к собственности.

Будучи пессимистом, склоняюсь на сторону второго предположения: победят кадеты. Их опора — все мещанство мира, т. е.

В общем, все что я видел, не поколебало устоев моей души, моей мысли: быть может, еще не знаю,— сдвинуло их слегка в сторону пессимистическую. Вернее так: человека, отдельного человека, я стал и больше ценить и больше любить (не личность, а именно отдельного человека: Ивана, Петра),— но зато к остальным, к большинству, к громаде испытываю чувство величайшей ненависти, иногда отвращение, от которого жить трудно. Революция тем хороша, что она срывает маски,— и те рожи, что выступили теперь на свет, внушают омерзение. И если много героев, то какое огромное количество холодных и тупых скотов, сколько равнодушного предательства, сколько низости и идиотства. Прекрасная Франция, заряжающая на свой счет ружья наших карательных отрядов! Да и все они. Можно подумать, что не от Адама, а от Иуды произошли люди,— с таким изяществом и такою грацией совершают они дело массового оптового христопродавчества.

Моя литература? В общем, Вы ее знаете. Из нового — недавно закончил драму «Савва» — печальную повесть о некоем юноше, который вздумал лечить землю огнем, а его ударило палкой по голове, и от этого он умер. Не знаю, что за вещь. Читал ее одному только Горькому — ему нравится. Верно одно: не цензурна свыше всякой меры.

Горький, кстати, третьего дня уехал с Марией Федоровной в Америку. Пробыл здесь, в нашем пансионе, две недели и был мил, как только может быть мил, когда захочет.

Господи, как хочется не писать, а говорить, говорить! И как хочется в Россию, а не созетуют, говорят, что меня обязательно посадят. Как глупо!

Пишите! Кто Вы и все такое. Я Вас очень люблю, Викентий Викентьевич, как «отдельного человека», и так мне хочется своей головой прикоснуться к Вашей. И Шура Вас любит. Пишите!

Ваш *Леонид Андреев.*

Из последующих писем, может быть, небезынтересны два следующие. Первое — из Германии, в ноябре 1906 г.

Дорогой и милый Викентий Викентьевич! Не пишу Вам по довольно-таки странной причине: очень хочется говорить с Вами. Так хочется, что письмом этого желания не исчерпаешь, как наперстком Москвы-реки. Пробовал я уже не раз и начинал письма, да так и бросал. Ведь обо всем надо поговорить — обо всем! И с кротким отчаянием я жду, сам не знаю чего. Что вот встретимся, будем много говорить — и будет хорошо. А когда это будет? Не знаю. Долго еще сидеть здесь. Одному можно бы и в Россию приехать, а с семьей не выходит. Теперь у меня два сына — знаете? Уже десять дней, как живет второй.

И еще потому я не писал, что скучно мне. Жить скучно — вдали от России и от близких. Природы русской жаль, особенно зимы. Кажется, покатался бы по снегу и выздоровел бы я. А то малокровие, какое-то скверное малокровие, особенно задевшее голову. И поговорить бы, душою поговорить. Вот как с Вами говорили. Тут не с кем. Русские, ка-

кие есть, неинтересны; по-немецки не говорю, да если бы и говорил, то все равно — молчал бы. Очень не люблю немцев.

Вас я очень люблю. Вам напрасно показалось, что я заранее строю какие-то загородки. Просто не виделись долго, а время — Вы знаете какое время; вот и побоялся я, что порядочно разошлись мы в настроениях и мыслях наших. Очень рад, если нет. А если и да — то разве может это повредить содружеству нашему? Ведь уж и раньше мы были не так уж близки, но в самой отдаленности нашей было что-то связующее. Есть какая-то точка в душе, какой-то пунктик, какая-то скрытая, не высказанная мысль, что делает нас друзьями (не в обывательском смысле). А оно осталось: это я из Вашего письма почувствовал. И очень обрадовался.

Хочу много работать. Только и живешь, пока работаешь. Много интересных тем, новых. Вопрос об отдельных индивидуальностях как-то исчерпан, отошел; хочется все эти разношерстные индивидуальности так или иначе, войною или миром, связать с общим, с человеческим.

Что Вы пишете о войне — это очень хорошо. И хорошо именно в форме записок врача. Я много жду от этой книги, ждать начал, когда Вы еще только поехали в Манчжурию. Конечно, будет несвоевременно, но это не беда, для будущего пригодится.

«Красный смех» мне нравится, быть может, потому, что действительно кровью сердца он написан. И действием его я доволен, судя по тому, что читал о нем в России и за границей. Он многих заставил пережить мучительный кошмар войны. И разве я был не прав? Разве не гуляет сейчас этот «смех» по самой России? Военно-полевые суды... только сумасшедшие могут додуматься до них, только сумасшедшие могут принимать и рассуждать о них. Рассуждать! Как можно «рассуждать» о военно-полевых судах, не будучи свихнутым?

Крепко жму руку.

7 ноября

Дорогой друг! Это письмо написано давно, еще до получения Вашего. Сейчас не могу писать, очень больна Шура.

Ваш *Леонид*.

Это была смертельная послеродовая болезнь Александры Михайловны. Через несколько дней она умерла. Леонид Николаевич горько винил в ее смерти берлинских врачей. Врачей в таких случаях всегда винят, но, судя по его рассказу, отношение врачей действительно было возмутительное. Новорожденного мальчика Данилу взяла к себе в Москву мать Александры Михайловны, а Леонид Николаевич со старшим мальчиком Димкою и своею матерью Настасьей Николаевной поселился на Капри, где в то время жил Горький.

Интересно было бы проследить характер творчества Леонида Андреева до и после смерти его первой жены. Для меня вполне очевидно, что как раз около этого времени (годом-двумя позже) в творчестве Андреева наступает

перелом: многописание, понижение «взыскательности» к себе, налет художественного самодовольства.

В марте 1907 года получил от него с Капри такое письмо:

Милый Викентий Викентьевич! Я очень хорошо понимаю Ваше состояние — «надорвался». Как раз такая же вещь была со мною после «Красного смеха», который стоил мне большого душевного напряжения. Восемь месяцев голова моя была разбита, я не мог работать и думал, что и никогда не в состоянии буду. А были дни, когда прямо — вот-вот с ума сойду. Вылечил себя я сам — бросил работу, читал Дюма и Жюля Верна, лодка, велосипед, купанье, за лето поглупел, как министр,— и осенью свободно мог приняться за работу.

В санаторию в Берлин я очень Вам не советую. В этом году мне много пришлось сталкиваться с немецкими врачами (осенью я сам собрался было лечиться), и скажу Вам: не видал породы хуже. Поскольку медицина — искусство и поскольку во враче важен человек,— постольку эти господа способны внушить только омерзение. Тупые, неискусные, явные сребролюбцы, невежды во всем, исключая, быть может, медицины, которую они знают, как ремесленники,— они могут только калечить людей. Если Вам положительно необходима санатория, то или ложитесь в русскую клинику, или выберите где-нибудь во Франции, в Италии, только не в Германии.

А если без санатории можно обойтись и нужен только отдых и свежие впечатления — то приезжайте сюда на Капри. Отдохнуть тут можно всячески — и лежа на камушке у моря и шатаясь по Риму, Флоренции и пр.— все близко. Вам бы я рад был бесконечно, и тут Вы увидели бы, что по-прежнему, крепко и хорошо люблю я Вас. Моей мрачности не бойтесь. Я хороню ее в душе глубоко, а в жизни — все такой же, пожалуй, как и был. Разве немного, немного хуже. И с вами мы предприняли бы ряд всевозможных экскурсий — по морю и по суше. Устроиться здесь можно недорого. Конечно, присутствие здесь Горького для Вас особенной цены не имеет, но изредка хорошо повидаться и с Горьким. Я вижу его часто и с большим удовольствием. Видел бы еще чаще, если бы... но об этом можно говорить, а не писать.

О себе говорить не стану много. Для меня и до сих пор вопрос — переживу я смерть Шуры или нет,— конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души. И для меня отнюдь не праздный вопрос, не пустячное сомнение — не похоронен ли вместе с ней Леонид Андреев.

Работал я тут. Трудно было вначале невыносимо,— как для маньяка, одержимого определенной идеей, видениями, снами,— писать о чем-то совершенно постороннем. Но преодолел — частью из упрямства, частью, чтобы оправдать собственное существование; однако добился кстати и жестокой бессонницы, головных болей и пр. Сейчас, кажется, проходит, по крайней мере, вот уже две ночи сплю.

И рассказ кончил «Иуда Искариот и другие» — нечто по психологии, этике и практике предательства. Горький одобряет, но я сам недоволен. Продолжал бы работать и дальше, ибо делать больше нечего,— но голова не выдерживает. Буду отдыхать, фотографировать, гулять и т. д. А к лету — если не будет военной диктатуры — в Россию, а то — в Норвегию, на фиорды. Прекрасная страна, и если уж жить где в Европе, так там.

Вы ведь в Италии уже побывали и несколько знакомы с нею. Мне

нравится, дышать свободно. Я даже итальянскому учусь, учитель ходит, но память точно отшибло, ничего не выходит. Все же стараюсь.

Пятницкому я сказал, что Вы не получаете ответов, и он был очень обеспокоен. Вот — как ни странно Вам, это — единственный человек на Капри, с которым можно говорить по душам.

Да вот был бы я рад, если бы Вы приехали. Душа бы немного погрелась. Настаивать боюсь, но думаю, что Капри для Вас оказалось бы хорошим местом. Красиво тут, ясно как-то и нет того раздражающего, чем противен для меня Крым. Во всяком случае известите, что надумаете. Крепко жму руку вашу и целую.

Леонид

Весною 1907 года я приехал к Андрееву на Капри и прожил у него около месяца.

За время, которое я его не видал, он сильно пополнел и обрюзг. Лицо стало мясистое. Бросилось в глаза, какое у него длинное туловище и короткие ноги.

С ним жила его мать Настасья Николаевна и сынишка Димка. Мать — типичнейшая провинциальная мелкая чиновница. В кофте. Говорит: «куфня», «колдовая», «огромадный»; «Миунхен» вместо «Мюнхен». На Капри томится.

— Отдай мне всё Капри, со всеми его доходами, чтобы год здесь прожить одной,— нет, отказалась бы.

Жил Андреев в уютной и большой вилле, с пальмами в саду, с застекленной террасой. О хозяйстве можно было не заботиться. Существовал на Капри такой на все руки благодетель, вездесущий синьор Моргано, владелец местного кафе «Zum Kater Hidigeigei». Он взял на себя полную заботу об Андрееве: поставлял для него провизию, вино, прислугу, сам заказывал ей обеды и ужины, заведывал стиркою белья,— словом, совершенно освободил Андреева от всяких хозяйственных забот. Так же, сколько я знаю, обслуживал синьор Моргано и Горького. Андреев серьезнейшим образом был убежден, что все это почтенный синьор делает из любви к русской литературе. И правда, с русскими писателями синьор Моргано был очень приветлив, при встречах далеко откидывал в сторону руку со шляпой и восклицал, приятно улыбаясь:

— Таро́й самотершаве (долой самодержавие)!

Но за свои заботы об Андрееве он брал с него тысячу рублей в месяц на наши деньги. Как тут не полюбить русскую литературу!

Резко бросилось в глаза то, что и раньше чувствовалось в Андрееве сильно,— захлебывающееся упоение своею

славою. Со стороны странно было это наблюдать: слава его была настолько несомненна, что тут и говорить было не о чем. А он при каждом удобном случае с юмористическим видом, как будто только для юмористики, рассказывал о смешных положениях со своими поклонниками и поклонницами, как ему в Севастополе пришлось раскланиваться на овации из-под лежавшего на его плечах огромного чемодана, так как не нашлось носильщика. И много подобного. Между прочим рассказал и такое происшествие. Жил он некоторое время в Копенгагене. Часто ходил на пристань глядеть на прибывающие пароходы. Однажды видит пароход из России, с русскими эмигрантами, преимущественно евреями. На берегу, рядом с Андреевым, стоит еврей и переговаривается с стоящими на палубе, смешно мешая русские слова с немецкими. Подозрительно покосился на Андреева и говорит стоящим на палубе:

— Будьте поосторожнее. Dieser франт in weisser[1] шляпе что-то усердно слушает. (Андреев был в белой панаме).

— Я чувствую, что бледнею,— рассказывал Андреев.— Однако сдержался. Спрашиваю: «Вы куда едете, товарищи?» Они угрюмо смотрят в сторону: «Мы вам не товарищи». Меня взорвало. «Послушайте! Знакомы вы хоть сколько-нибудь с современной русской литературой?» — «Ну, знакомы».— «Слыхали про Леонида Андреева?» — «Конечно».— «Это я».— «Мы вам не верим». Тогда я достал свой паспорт и показал им. Полная перемена, овации, и пароход отошел с кликами: «Да здравствует Леонид Андреев!»

Ведь умный был человек,— и совершенно не понимал, до чего он тут был смешон со своим предъявлением паспорта.

На полке книжного шкафа увидел я у него три толстеннейших тома. Это были альбомы с тщательно наклеенными газетными и журнальными вырезками отзывов о Леониде Андрееве. Так было странно глядеть на эти альбомы! Все мы, когда вступали в литературу и когда начинали появляться о нас отзывы, заводили себе подобные альбомы и полгода-год вклеивали в них все, где о нас упоминалось. Но из года в год собирать эту газетную труху! Хранить ее и перечитывать!..

---

[1] Этот франт в белой (*нем.*).

По-прежнему радушный, милый. Голос задушевный. А то начнет говорить,— в интонации застарелое подражание интонациям Горького, голос звучит с деланным, неестественным недоумением:

— Поразительная, знаете, красота! Че-естное слово! Сам бы не поверил!

Подходили друг к другу понемножку. Вскоре мне выяснилось его душевное состояние: оно было ужасно. Смерть Александры Михайловны как будто вынула из его души какой-то очень нужный винтик, без которого все в душе пришло в расстройство. Исчезла вера в себя и в свои силы, он жадно хватался за всякое одобрение и всякую весть об успехе его произведений. Горький и все окружающие отнеслись очень отрицательно к написанной им драме «Жизнь человека» и предсказывали полный провал ее на сцене. К первым телеграммам В. Ф. Комиссаржевской об успехе пьесы Леонид Николаевич отнесся с недоверием, думая, что его обманывают. Потом, когда успех выяснился с несомненностью, его охватила восторженная, чисто истерическая радость.

Однажды вечером сидели мы с ним в его кабинете. Разговорились особенно как-то хорошо и задушевно. Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле «Жизнь человека», подробно рассказал содержание впоследствии написанной им пьесы «Царь-Голод». В его тогдашней, первоначальной передаче она мне показалась ярче и грандиознее, чем в осуществленной форме.

Леонид Николаевич говорил:

— Но это — изображение бунта, а не революции. «Революция» — это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии. Главное действующее лицо — Смерть. Будет умирать революционер,— и сама Смерть будет рукоплескать тому, как он умирает. Будет еще пьеса «Бог, человек и дьявол». Человек — воплощение мысли. Дьявол — представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог — представитель движения, разрушения, борьбы. Веселый будет бог. Он будет говорить, потирая руки: «Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!»

Я слушал с увлечением.

— Ну, теперь я готов принять и вашу «Жизнь человека» с ее плоским содержанием.

Леонид Николаевич обрадованно подхватил:

— Ну да же! Ведь это было только искание формы,— возможна ли такая форма или нет.

— Тогда и спорить не о чем, тогда и я ее целиком принимаю.

Я подошел и крепко его поцеловал. Он долго молчал, опустив голову, потом вдруг сказал взволнованно:

— Голубчик, вот,— что вы меня сейчас поцеловали,— вы не знаете, что вы мне этим сделали. Спасибо вам!

Была поздняя ночь. Взлохмаченный, он сидел за столом, пил вино стакан за стаканом и говорил:

— Я не знаю, как жить, смогу ли я жить. Третьего дня ночью я был на краю самоубийства. Но я не убью себя так, под влиянием минуты,— потому что сейчас скверно, потому что револьверишко под рукой. Это может быть результатом только твердого, трезвого решения... Я третьего дня в первый раз прочел дневник Шуры. Я не подозревал, какой это был большой, огромный человек,— тут я только узнал... Что со мной делается? С ума я схожу? Я этого не могу принять, не могу понять: как можно любить мертвую? А я ее люблю, продолжаю любить. Сижу вот за письменным столом, разговариваю с вами, случайно взгляну на ее портрет,— смотрит живое, слушающее лицо. Она смотрит, она мне что-то сказала своими глазами. Когда я говорю,— ее нет, а только что замолчал, и она во мне. Она везде со мною, в моих мыслях, в моих снах, поразительно живая, я с нею разговариваю, она мне возражает...

И потом еще вот что рассказал про нее:

— Умирая, она мне сказала: «Ты должен остаться жить, ты...» Ну, не скажу, как она выразилась, словом,— «ты — большой писатель, ты должен довершить, что задумал». Ведь она все мои планы, все замыслы знала близко... И потом — мне сама она этого не могла сказать, она поручила своей матери передать мне это после смерти: «Скажи ему, чтоб он женился». И прибавила: «только так, как я, его никто не будет любить».

По его щекам текли слезы, и темный ужас стоял в глазах.

— И вот, я не знаю... Есть ли во мне вправду что-нибудь, как ждала Шура. Теперь нет того, кто мог бы мне это сказать... Вот почему мне так важно, что вы меня тогда поцеловали. Иногда так важно, так нужно бывает найти поддержку, услышать от человека: «Не падай духом! Хорошо!»

Долго еще говорили. Он непрерывно пил. Потом вдруг

собрался идти гулять. Невозможно было его удержать. Глаза стали неглядящими и упрямыми. Пошел с ним. По дороге встретили инженера Рутенберга (убийцу Гапона), который в то время нелегально скрывался в Италии. Он присоединился к нам. Андреев выбирал в прибрежных скалах самые узкие, обрывистые тропинки; снизу высоко прыгали из темноты вверх белые волны прибоя. Никакие наши уговоры не действовали. С теми же упрямыми, невидящими глазами Андреев карабкался через камни, перебирался через водомоины и шагал по тропинкам неверными, чрезмерно-твердыми шагами. Воротились домой только с рассветом.

После этого он запил. Пил непрерывно, жутко было глядеть. Посетил его провинциальный русский актер, бритый, с веселым, полным голосом. Рассказал, что играл главную роль в его «Жизни человека», о горячем приеме, какой публика оказала пьесе. Андреев жадно расспрашивал, радовался.

— Так вы играете «человека» большим, могучим, не сдающимся перед роком? Вот! Вот именно так и надо его играть! А то все обо мне говорят: «пессимист»!

— Вы — пессимист? Какой же вы, Леонид Николаевич, пессимист? Я удивля-яюсь! Напротив!

— Да? Ну, вот видите! То есть, знаете, удивительно,— все меня считают пессимистом. Это полное непонимание меня.

— Нет, то есть, позвольте! Леонид Николаевич! Вы — пессимист! Я поража-аюсь!..

И радостно, любовно он глядел на актера и с одушевлением доказывал, что он, Андреев, вовсе не пессимист. А тот удивленно разводил руками и повторял:

— Вы — пессимист? Я удивля-яюсь!

А вечером, взлохмаченный, пьяный, с блестящими глазами, Андреев вошел в столовую, где мы пили чай. Актер с благоговением обратился к нему:

— Леонид Николаевич! Мне очень интересно: на какую часть нашего организма, по-вашему, действует музыка?

— На какую часть организма? — Глаза его озорно блеснули.— Это я вам могу сказать только на ухо: тут дамы!

После ужина вдруг взял бутылку вина и собрался идти гулять. Настасья Николаевна испугалась и шепотом умолила актера пойти вместе с ним. До четырех часов они шатались по острову, Андреев выпил всю захваченную бу-

тылку; в четыре воротились домой; Андреев отыскал в буфете еще вина, пил до шести, потом опять потащил с собою актера к морю, в пещеру. Тот не мог его удержать, несколько раз Андреев сваливался,— к счастию, в безопасных местах, воротились только к восьми утра. Андреев сейчас же завалился спать.

Настасья Николаевна со скорбью рассказывала:

— Вот так, бывает, несколько ночей подряд колобродит! Ах ты, боже мой! Хоть бы женился опять, что ли! Авось тише бы стал!

Странно было: Капри, пальмы, лазурное море. А как будто в домике в три оконца, на орловской окраине, мамаша-чиновница вздыхает над беспутным своим сынком.

Спал Леонид долго. Часа в три дня проснулся; мать принесла ему поесть, он выпил стакан муската и опять заснул. Вечером встал,— желтый, кислый, голос сиплый. Сердцебиение, принял строфантин. Угрюмо сидит за стаканом крепчайшего чая, собирается принять на ночь веронал. Настасья Николаевна, измученная бессонной ночью, сказала робко:

— Ленушка! Я пойду спать.

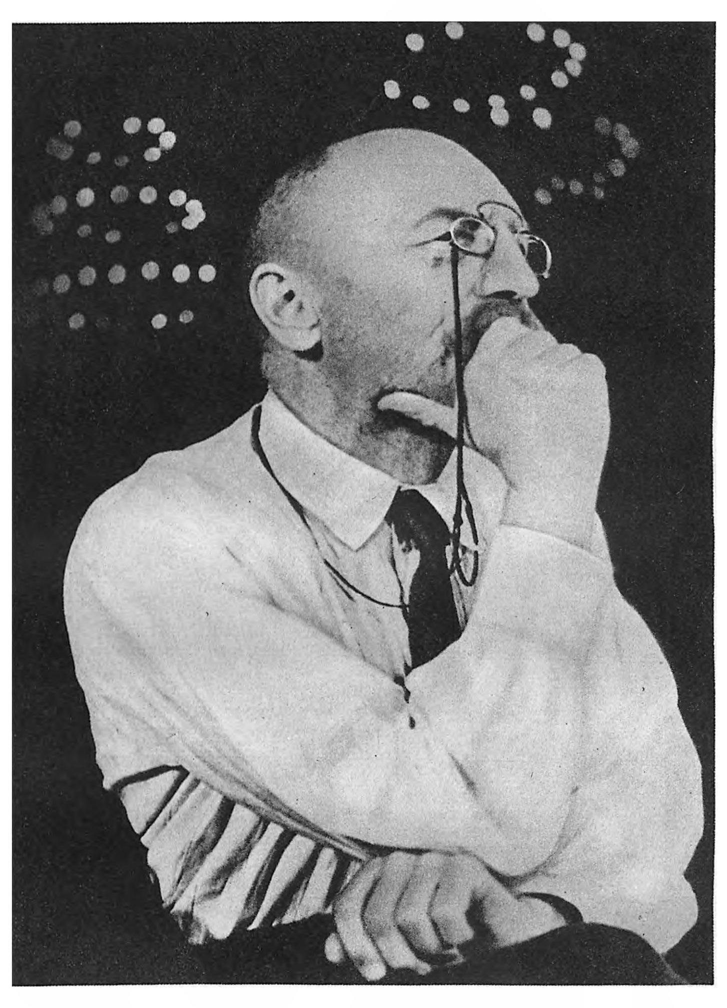
— Иди! — отрывисто разрешил он.— Только налей мне еще стакан чаю. Покрепче.

Уже тут, на Капри, стала в нем настойчиво назревать мысль, что необходимо ему опять жениться. И он строил на этот счет совершенно конкретные проекты самого фантастического свойства. Впечатление от него было такое: душа металась и тосковала, замерзала в жутком одиночестве, и ему казалось: найти любящую женскую душу,— и все в нем выпрямится, и все будет хорошо. Но не так легко находятся любящие души, и мало хорошего ждет того, кто к каждой женщине подходит с предварительным вопросом: «а не годишься ли ты мне в жены?»

Работал Андреев по ночам. Работал он не систематически каждый день, в определенные часы, не по правилу Золя: «Nulla dies sine linea — ни одного дня без строки». Неделями и месяцами он ничего не писал, обдумывал вещь, вынашивал, нервничал, падал духом, опять ожидал. Наконец садился писать — и тогда писал с поразитель-



В. Вересаев в кругу родственников на даче в поселке Николина гора. Начало 1930-х годов.
(Публикуется впервые.)



В. Вересаев — делегат Первого всесоюзного съезда писателей. 1934 года.

ною быстротою. «Красный смех», например, как видно из вышеприведенного письма, был написан в девять дней. По окончании вещи наступал период полного изнеможения.

Андреев мне говорил, что первый замысел, первый смутный облик нового произведения возникает у него нередко в звуковой форме. Например, им замышлена была пьеса «Революция». Содержание ее было ему еще совершенно неясно. Исходной же точкой служил протяжный и ровный звук: «у-у-у-у-у!..» Этим звуком, все нараставшим из темной дали, и должна была начинаться пьеса.

Горький, смеясь, рассказывал, как они вышучивали стремления Андреева отдаваться черным переживаниям.

— Смотрим в окно,— идет Леонид, угрюмый, мрачный, видно, все время с покойниками беседовал. Инкубы, суккубы... Мы все делаем мрачные рожи. Он входит. Повесив носы, заговариваем о похоронах, о мертвецах, о том, как факельщики шли вокруг гроба покойного Ивана Иваныча... Леонид взглянет: «А я сейчас был на Монте Тиберио, как там великолепно!» Мы, мрачно хмуря брови,— свое...

Ездили с Андреевым на лодке по знаменитым каприйским гротам. Возил нас рыбак Спадаро. Андреев часто пользовался его услугами. Красочная фигура, и хочется про него рассказать. Загорелый старик изумительной красоты, с блестящими черными глазами и длинной седой бородой патриарха. Местная знаменитость. Когда он был молод, художники рисовали с него Христа, теперь пишут с него бога-саваофа. Церкви средней Италии полны его изображениями. В витринах местных магазинов продаются его фотографии, выставлены его портреты, писанные художниками. И у каждого художника, который его увидит, чешется рука написать с него этюд. Вся его фигура — живая Италия в ее красоте и очаровании. Он смел, ловок, силен. Мне указывали на крутые скалы, почти отвесно выступающие из моря у берегов Капри. Ни одна нога человеческая не бывала на них,— один только Спадаро на них взбирался. И теперь, когда он уже старик, везде слышишь: «Спадаро! Спадаро!» Что же было, когда он был молод? Ко всему этому, говорят, он всегда был примерным, вернейшим мужем своей жены.

Однажды вечерком пришел он к Андрееву в гости вместе с девушкой Коншетой, служившей у Андреева горничной, и ее подругой. Пили вино, беседовали. Потом все трое танцевали тарантеллу. И любо было смотреть, как этот «бог-саваоф» носился с девушками в страстной тарантелле.

У него, очевидно, взял Андреев фамилию для своего герцога Лоренцо ди-Спадаро в «Черных масках».

В этом же, кажется, 1907 году Андреев воротился из-за границы. Опасения его оказались неосновательными, въехал он в Россию без всяких осложнений. Поселился в Петербурге. В 1908, помнится, году я с ним виделся. Впечатление было: неблагополучно у него на душе. Глаза смотрели темно и озорно, он пил, вступал в мимолетные связи с женщинами и все продолжал мечтать о женитьбе и говорил, что только женитьба может его спасти.

Вскоре он женился. В Финляндии, за Териоками, купил участок земли, выстроил большую дачу и поселился в ней.

Изредка наезжал в Москву. Из московских встреч смутно помнятся две.

Первая. Собрались у кого-то, не помню, в одном из переулков близ Арбата. Андреев должен был читать новую свою драму «Царь-Голод». Но приехал он совершенно пьяный. Однако упрямо настаивал, что читать будет сам. И прочел первое действие. Читал заплетающимся языком, неразборчиво, с комично-наивным самодовольством подчеркивая места, по его мнению, особенно удачные. В конце концов почувствовал, что ничего у него не выходит, и предоставил читать своему другу, С. С. Голоушеву, художественному критику. Кончилось чтение. Вещь очень сильная. Но как говорить, когда автор в таком состоянии? Ужин. Слушатели подвыпили. И началось что-то андреевски-кошмарное. Перед глазами еще тень беспокойно-страстного Царя-Голода, с глазами, горящими огнем кровавого бунта, смутное движение трупов на мертвом поле, зловещие шепоты: «Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!», а кругом: смешные анекдоты, литературовед залихватски бренчит на рояле, театральный критик с огненно-рыжей бородой и лицом сатира подпрыгивает на правой ноге, откинув левую назад и вытянув руку вперед,

а против него длинноногая жена беллетриста старается у него

Кончиком ботинка
С глаз сшибить пенсне.

Андреев сидит рядом со мною на диване и с глубоким отвращением говорит, глядя на танцующих:

— Может ли вся эта сволочь понимать тр-рагедию?.. Викентий Викентьевич! Вы честный писатель. И я — я тоже честный писатель! Вы понимаете, что это значит? Да! Ч-е-с-т-н-ы-й писатель! Я, Викентий Викентьевич, честный писатель! А вот Блок,— он нечестный писатель.

Что это значило, не знаю.

Другое московское воспоминание. Возвращаемся поздно ночью откуда-то,— должно быть, от Телешова: Андреев, И. А. Белоусов и я. Андреев опять пьян. Остановились на Лубянской площади. Андреев изливается в любви и уважении ко мне, но мы уже очень далеки друг другу, и чувствуется мне,— отходим все дальше, и в излияниях его не ощущается внутренней правды. Он вдруг говорит:

— Викентий Викентьевич, будем на «ты»!

— Хорошо, Леонид Николаевич. Только не сейчас. Если вы мне это предложение повторите в трезвом виде, тогда с радостью.

Простились. Белоусов убеждает Андреева идти домой, но он с пьяным упорством тянет его куда-то в сторону. Позже я узнал от Белоусова о дальнейших похождениях Андреева. Он изнывал в неутолимой жажде пить еще и еще. А глубокая ночь, все заперто. Андреев пристал к городовому на посту, уломал его достать водки, тот куда-то сбегал, принес, стали вместе пить. Андреев обнимался с городовым, лил водку в дуло его винтовки (после декабрьского восстания 1905 года Москва была еще на военном положении, и городовые стояли на постах с винтовками). Потом Андреев потащил Белоусова на вокзал, уговоров его ехать домой не хотел и слушать. Белоусов потерял терпение и уехал домой, а Андреев один отправился на Курский вокзал: вокзальные буфеты торговали всю ночь, и там можно было достать вина. В вокзальной уборной Андреев стал вызывающе задирать зашедшего туда инженера (в пьяном виде он был несносен и забиячлив). Повздорили, ссора становилась все крупнее, и инженер дал Андрееву пощечину. Андреев вскипел, вызвал инженера на дуэль

и протянул ему свою визитную карточку. Тот взглянул и обомлел:

— Как? Андреев, Леонид Николаевич? Писатель?

— Да!

Инженер рассыпался в извинениях. Помирились, вместе сели в буфете за стол и стали пить.

Андреев наезжал в Москву довольно часто, но виделись мы с ним все реже. Он писал мне задушевные записочки, но встречи трудно налаживались, так что в конце концов я написал ему, что если бы правда было то, что он пишет в записочках, то встретиться нам было бы совсем нетрудно, и пусть он лучше мне таких записочек не пишет.

При встречах все больше чувствовался он мне совсем другим, чем раньше. И в литературной судьбе его наступил перелом. Критика, первые десять лет певшая ему восторженные хвалы, подробно разбиравшая самую мелкую его вещь, вдруг совершенно охладела к нему. Хвалить Леонида Андреева стало дурным тоном. Он «вышел из моды». Как говорит старуха в четвертой картине «Жизни человека»: «Приходили заказчики и заказывали,— потом перестали приходить. Спросила я однажды госпожу, отчего это так, а она ответила: перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить, что любили.— Как же это может быть, чтобы перестало нравиться, раз уже понравилось?— Не ответила она и заплакала».

Выше такого отношения к себе критики Андреев, по-видимому, стать не мог и страдал жестоко. Он долго и охотно рассказывал о своих литературных успехах, с озлоблением говорил о критиках. Даже напечатал в «Биржевых ведомостях» бестактнейшую статью, в которой упрекал критиков, что они не ценят и не берегут родных талантов.

Тяжелое воспоминание оставила во мне последняя встреча. Это было уже во время всемирной войны. Андреев занимал яро-патриотическую позицию, о немцах и их зверствах говорил с ненавистью. Собрался он, между прочим, прочесть нам свою новую драматическую пьесу из библейской жизни — «Самсон». Вспомнили старые времена давно умершей «Среды», собрались все давнишние ее участники у основателя «Среды», Н. Д. Телешова, на Покровском бульваре. Андреев прочел пьесу. Сейчас же вслед за этим пошли ужинать. О пьесе ни слова. Андреев не просил вы-

сказаться, все время говорил о постороннем; никто не счел возможным начать высказываться без его приглашения. А ему это, видимо, было не нужно, и было бы неприятно и, глядя на него, странно было вспомнить прежнего Андреева, так жадно выслушивавшего на тех же «Средах» самую суровую критику.

После февральской революции Андреев много и ярко писал о развале армии. Большевизма, конечно, он не мог принять ни единым атомом души.

Умер он в 1919 году в Финляндии. От разрыва сердца, внезапно. Не на своей даче, а у одного знакомого. Вскоре после этого жена его с семьей уехала за границу. На даче Андреева осталась жить его старушка-мать, Настасья Николаевна. После смерти сына она слегка помешалась. Каждое утро приходила в огромный нетопленный кабинет Леонида Николаевича, разговаривала с ним, читала ему газеты. Однажды ее нашли во флигеле дачи мертвой.

P. S. В издании Академии наук «М. Горький. Материалы и исследования. Том I» напечатаны, между прочим, письма к Горькому Леонида Андреева. В одном из них Андреев пишет:

«Знаешь, дорогой мой Алексеюшка, в чем горе наших отношений? Ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным... Почти полгода прожил я на Капри бок о бок с тобой, переживал незыносимые и опасные штурмы и дранги [1], искал участия и совета, и именно в личной, переломавшейся жизни,— и говорил с тобою только о литературе и общественности. Это факт: живя с тобой рядом, я ждал приезда Вересаева, чтобы с ним посоветоваться — кончать мне с тобой или нет?»

В последней фразе очевидная опечатка. «Кончать мне с *тобой* или нет?». Я совершенно был не осведомлен о взаимоотношениях Горького и Андреева и никаких тут советов Андрееву дать бы не мог. Но Андреев, как это видно и из этих моих воспоминаний, остро думал в то время о самоубийстве. Фразу, очевидно, следует читать: «Кончать мне с собой или нет?»

---

[1] Бури и натиски (от *нем.* Sturm und Drang).

Р. М. КРИН

Была такая в Москве почтенная беллетристка. Выпустила книжку рассказов «Силуэты». Леонид Андреев про нее говорил: ядовитейшая баба.

Было это в 1903—1904 году. Встречали мы Новый год у присяжного поверенного А. Ф. Сталя. Хозяин подошел ко мне:

— Викентий Викентьевич, с вами желает познакомиться Рашель Мироновна Крин. Пойдемте, я вас представлю.

У чайного стола, рядом с красавицей-хозяйкой Анной Марковной, сидела высокая дама с величественным лицом. Она милостиво заговорила:

— Я давно хотела познакомиться с вами и очень рада, что случай свел меня с вами. Я услышала от Анны Марковны, что вы здесь, и попросила меня познакомить.

Недавно вышли мои «Записки врача» и шумели на всю Европу. Знакомиться желали многие. Я скромно потупил глаза, мычу, что и я тоже... со своей стороны...

— Очень, очень рада познакомиться с вами...

Помолчала, окинула пренебрежительным взглядом и закончила:

— Не из-за ва-ас, конечно. Вы меня мало интересуете. А из-за вашего батюшки, доктора Викентия Игнатьевича. Когда мы жили в Туле, он вылечил моего сына, и мы все так его полюбили! Сын мой и до сих пор постоянно о нем вспоминает.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский. Все — огромные, как снеговые горы, и, как горы эти, такие же далекие и недоступные, такие же неподвижные, окутанные дымкою сверхчеловеческого величия. Среди них — такой же, как они, Лев Толстой. И странно было подумать, что он еще жив, что где-то тут, на земле, за столько-то верст, он, как и все мы, ходит, движется, дышит, меняется, говорит еще не записанные слова, продолжает незаконченную свою биографию, что его еще возможно увидеть, говорить с ним.

Конечно, этого ужасно хотелось — увидеть его, говорить с ним. Но явиться к нему, как тысячи назойливых, ненужных ему посетителей, пройти перед ним серым пятнышком в веренице серых безличностей — ни за что! С молодым самолюбием думалось: поехал бы я к нему только в том случае, если бы он сам захотел со мною познакомиться.

В 1902 году, высланный Сипягиным из Петербурга, я жил в родной Туле. С год назад вышли в свет мои «Записки врача» и шумели на всю Россию и заграницу. Весною я собрался ехать за границу, уже выправил заграничный паспорт. Вдруг получаю письмо.

Адрес: Татьяне Львовне Сухотиной. Имение «Гаспра», гр. Паниной. Почт. ст. Кореиз, Таврическ. губ.

Милостивый Государь, мне пришло в голову обратиться к Вам с просьбой, которую Вы, может быть, будете в состоянии и пожелаете исполнить.

Вы, вероятно, знаете, как долго и тяжело болеет мой отец. До сих пор он совершенно беспомощен и без посторонней помощи не может повернуться на кровати. Сердце его в таком плохом состоянии, что

оставлять его без врачебной помощи и надзора — невозможно. Поэтому мы ищем к нему постоянного врача, который бы наблюдал за ним и оказывал бы медицинскую помощь, если она нужна.

Не знаете ли кого-нибудь, кто бы взял на себя эту обязанность? Мы предлагаем 100 р. в месяц, полное содержание и дорогу в Крым. Если нам посчастливится свезти отца в Ясную Поляну (на что мы имеем теперь полную надежду), то врач должен будет переехать с ним и жить при нем в Ясной Поляне. Конечно, все путешествие на наш счет.

Не говорю о том, как важно для нас, чтобы врач был симпатичным, хорошим человеком. Моему отцу так трудно принимать чьи бы то ни было услуги и так тяжело ему будет то, что для него будет жить врач, что если этот врач не будет тактичным человеком, эта тяжесть для отца увеличится.

Простите, что, не зная Вашего имени и отчества, не пишу его на адресе и в обращении к Вам. Если кто-нибудь попадется Вам, будьте добры ответить мне по здешнему адресу.

Если Вам это интересно, то могу Вам сказать, что отец очень восхищался вашими писаниями и находит в Вас много таланта.

Т Сухотина, урожд. Толстая.

Радость, гордость и ужас охватили меня, когда я прочел это письмо. Нетрудно было понять, что тут в деликатной форме приглашали меня самого: при огромном круге знакомств Толстых странно им было обращаться за рекомендациями ко мне, совершенно незнакомому им человеку; очевидно, я, как автор «Записок врача», казался им почему-то наиболее подходящим для ухода за больным отцом. Если же даже все это было и не так, то все-таки после этого письма я имел полное право предложить свои услуги.

Целую неделю я провел в жесточайших колебаниях. Жить бок о бок с Толстым, постоянно видеть его в интимной, домашней обстановке — не показным, а настоящим, увидеть то, что так редко удается видеть людям,— что такое великий человек в подлинной своей жизни. Конечно, буду записывать все, что увижу и услышу,— но не в коленопреклоненной позе, не иконописуя пророка или гения, а смотря свободными глазами, не боясь отмечать ни темных, ни смешных сторон. Как мало таких записей о великих людях, как они скучны, как благолепно и безжизненно-велики в своих биографиях и в воспоминаниях учеников своих и поклонников!

Это так. Но была другая сторона. Врач я был молодой, всего несколько лет со студенческой скамьи, неуверенный в себе, без достаточной опытности. Как при этих условиях взять на себя ответственность за такую драгоценную жизнь! Не досмотришь, не учуешь значения того или другого сим-

птома,— и смерть Льва Толстого ляжет на твою совесть!.. Дело еще более осложнялось тем, что я был автором «Записок врача». Известно отрицательное отношение Толстого к медицине с ее стремлением «бороться» с природою, исправлять ее, с неверностью ее методов и немощностью ее средств. Мои «Записки»,— по крайней мере до известной степени, как раз утверждали такую точку зрения. А книга моя — это мне было доподлинно известно — была прочтена Толстым и вызвала большое его одобрение.

Есть анекдот. К фельдшеру пришел в гости другой фельдшер. Хозяин хмур, кисел.

— Что с тобой?

— Что-то нездоровится. Знобит, голова болит.

Гость с важным видом берет его за пульс. Больной с усмешкой смотрит, качает головой:

— Да будет тебе,— что дурака-то валять? Свои люди. Мы-то ведь с тобою отлично знаем, что никакого пульса нету.

Вот так бы и у нас было: я сделаю назначение, а Толстой мне: «Да будет вам, мы-то с вами отлично знаем, что никакого пульса нету». Ведь сами же вы в своих «Записках»...

В конце концов я оборвал свои колебания, уехал за границу и из Милана написал Татьяне Львовне, что не решаюсь взять на себя ответственность за такую дорогую для меня и для всех жизнь, как жизнь Льва Николаевича.

В течение следующего 1902/3 года, в Туле, Лев Павлович Никифоров, чудесный старик, добрый знакомый Толстого, проездом из Ясной Поляны в Москву несколько раз передавал мне приглашение Льва Николаевича посетить его. Но очень было страшно, и я долго не решался. Наконец в августе 1903 года набрался духу.

Отправились мы втроем: тульский либеральный земец Г., один знакомый земский врач и я. Выехали мы из Тулы на ямской тройке, часов в 11 утра. На лицах моих спутников я читал то же чувство, какое было у меня в душе,— какое-то почти религиозное смятение, ужас и радость. Чем ближе к Ясной Поляне, тем бледнее и взволнованнее становились наши лица, тем оживленнее мы сами.

Г. рассказывал про свою беседу в Туле с одним подгородным мужиком из соседней с Ясною Поляною деревни. «Видывали вы Толстого?» «Как же, сколько раз». «Ну, что он, каков?» «Ничего. Сурьезный такой старик.

Встренешься с ним на дороге, поговорит с тобою, а потом руку этак вытянет ладошкой вперед: «Отойди от меня, я — граф!»

Мы нервно хохотали. Тарантас свернул с Киевского шоссе и покатил по проселку. Вдалеке по полям быстро шел какой-то человек с двумя детьми. Вот — известные по снимкам две башенки при въезде в яснополянскую усадьбу. Мы покатили по длинной березовой аллее.

— Господа! Приедем мы, а он нам вдруг: «Отойдите от меня, я — граф!»

Среди деревьев мелькнул дом, тарантас подкатил к крыльцу. Вышла Софья Андреевна, радушная и любезная, со следами большой былой красоты. Мы прошли на нижнюю террасу, где в это время пили кофе. Были тут дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, сын Лев Львович, домашний доктор,— кажется, Никитин,— еще несколько человек взрослых и детей.

Софья Андреевна спросила:

— А вы не встретили по дороге Льва Николаевича? Он пошел гулять как раз в ту сторону.

— Мы видели, кто-то шел по полям с двумя детьми.

— Ну, да, это он с внуками шел.

Напились кофе. Софья Андреевна повела нас в сад. Между прочим сообщила в разговоре, что у нее есть большая, написанная ею повесть.

— Будете ее печатать?

Софья Андреевна улыбнулась и развела белыми руками.

— Разве можно печататься жене Льва Толстого! Отдала рукопись в Румянцевский музей, пусть после моей смерти делают, что хотят.

Воротились на террасу. Кто-то сообщил:

— Лев Николаевич пришел с прогулки.

Сердце екнуло. Вскоре другое сообщение:

— Пошел отдыхать.

Через час с небольшим:

— Встал. Сейчас придет сюда.

Сердце забилось сильнее, чем в ученические годы перед самым страшным экзаменом, тяжело стало дышать. Послышались быстрые легкие шаги. На террасу из внутренних дверей вошел Лев Николаевич. Первое, что меня поразило,— что он такой маленький. Мне он представлялся высоким и широкоплечим. Невысокий, очень сухонький старичок, с подавшимися вперед плечами, с быстрыми, молодыми дви-

жениями, несмотря на перенесенную недавно тяжелую болезнь. Он поздоровался с нами и сел. Мне еще бросились в глаза его поразительной красоты старческие руки.

И вот, как будто в эти руки он уверенно взял вожжи — привычным жестом опытного ездока — и повел разговор,— легко, просто, незаметно втягивая всех в беседу. Заговорил со мною о моих «Записках», потом обратился к приехавшему с нами земскому врачу:

— Вы, наверно, во многом несогласны с Викентием Викентьевичем? (И откуда он уже успел узнать мое имя-отчество?)

Врач накуксился и вызывающе ответил из угла:

— Не согласен.

Не было ничего похожего на прием посетителей. Как будто все мы были его добрыми знакомыми. Спросил каждого, как его зовут, и потом все время называл по имени-отчеству и ни разу не сбился. Слушал всех внимательно и с интересом, и у каждого из нас было впечатление, что мы ему интересны сами по себе. Очаровывающее соединение светской воспитанности с сознательным отношением к каждому человеку, как к брату. Но, мне кажется, было тут еще что-то,— как будто он и вправду чувствовал к нам живой интерес. И почему было не чувствовать интереса к любому встречному ему, такому жадному к жизни во всех ее проявлениях, от далекой звезды до ползущей по земле букашки? Мне вспомнились слова Паскаля: «Чем разумнее человек, тем более находит он вокруг себя интересных людей. Люди ограниченные не замечают разницы между людьми».

Лев Николаевич обратился к домашнему врачу, стал рассказывать о своем сердце, спросил, продолжать ли принимать назначенные капли. Врач взял его за пульс, а Лев Николаевич с покорным, детским ожиданием смотрел на него.

— Да, продолжайте принимать.

— По скольку? По пятнадцати или по двадцати капель?

Э-ге-те! Выходит, вовсе мне уж не так было бы трудно в качестве домашнего врача. Пульс-то, оказывается... существует!

Позвали обедать. Мы поднялись во второй этаж. На лестнице, когда подымались, Толстой спросил меня:

— Вы женаты?

— Да.

— Дети есть?

— Нет.

Толстой потемнел.

— А давно женаты?

— Шесть лет.

Он замолчал, но глаза его взглянули сурово, и я почувствовал,— он сразу, резко, переменил свое отношение ко мне. По-прежнему был вежлив и мягок, но то теплое, что до того было в глазах, исчезло.

Большая зала, блестящий паркет, старинные портреты по стенам, в углу мраморный бюст Толстого. Длинный стол Во главе его, на узкой стороне, села Софья Андреевна, справа от нее, у длинной стороны, Лев Николаевич. Прислуживали лакеи в перчатках. Льву Николаевичу подавались отдельно вегетарианские кушанья.

Он спросил меня, почему я живу в Туле. Я ответил, что выслан министром внутренних дел из Петербурга. Толстой вздохнул и с завистью сказал:

— Меня ни разу не высылали, я ни разу не сидел в тюрьме,— я не имел этого счастья.

После обеда Лев Николаевич предложил нам пройтись. Было ясно и солнечно, в колеях обсохшей дороги кое-где блестела вода от вчерашнего дождя. Лев Николаевич шел своей легкой походкой, ветерок шевелил его длинную серебряную бороду. Он говорил о необходимости нравственного усовершенствования, о высшем счастье, которое дает человеку любовь.

Я сказал:

— Но если нет у человека в душе этой любви? Он может сознавать умом, что в такой любви — высшее счастье, но нет у него ее, нет непосредственного, живого ее ощущения. Это величайший трагизм, какой может знать человек.

Толстой в недоумении пожал плечами.

— Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье — в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет и мне нужен свет,— то как же я не пойду туда, где свет?

— Лев Николаевич, на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.

Но Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренне хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

А я не мог понять, как же этого не может понять именно Толстой: в чем же трагедия всех рисуемых им искателей, как не в том, что они оказываются неспособными жить «в добре», твердо убедившись умом, что счастье — только в добре?

Между прочим, я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой девушкой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу свою подругу,— все равно обреченную жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности,— все она отдала безоглядно, даже не спрашивая себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил умирающую от голода тигрицу с детенышами.

И вдруг,— вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:

— Бог знает, что такое!

Я был в полном недоумении. Но одно мне стало ясно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице,— он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.

Само же слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась едкая насмешка.

— Трагизм... Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «траги-изм, траги-изм»...

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, и шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм? Не «притворство» ли все это?

Потом Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге «Essai de la philosophie optimiste» [1]. С негодованием и насмешкою он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.

---

1 «Этюды оптимизма» *(франц.)*.

— Он, профессор Мечников, хочет... исправить природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно! У китайцев есть слово «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а *просто* уважение,— уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?

Между прочим. Во всех известных мне переводах Конфуция это китайское слово «шу» переводится: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтоб тебе делали». Интересно знать, откуда взял Толстой свое толкование этого слова? Не из живого ли общения с посещавшими его интеллигентными китайцами?

Воротившись домой, пили чай. В углу залы был большой круглый стол, на нем лампа с очень большим абажуром,— этот уголок не раз был зарисован художниками. Перешли в этот уголок. Софья Андреевна раскладывала пасьянс... Спутник наш, земец Г., сходил в прихожую и преподнес Толстому полный комплект вышедших номеров журнала «Освобождение», в то время начавшего издаваться за границей под редакцией П. Б. Струве.

Толстой сказал:

— А, это очень интересно. Спасибо! Обязательно прочту.

Он перелистывал журнал, а Г. говорил о его программе и задачах.

— Политическая свобода! — Толстой пренебрежительно махнул рукою.— Это совершенно неважно и ненужно. Важно нравственное усовершенствование, важна любовь,— вот что создает братские отношения между людьми, а не свобода.

Г. стал снисходительно возражать:

— Но согласитесь, Лев Николаевич,— политическая свобода нужна,— ну, хоть бы даже для того, чтоб проповедовать ту любовь, о которой вы говорите...

И почтительно-свысока, тем же снисходительным тоном, каким взрослые люди говорят с очень милым, но малопонятливым ребенком, Г. стал излагать Толстому прописные истины о благах политической свободы. Как это было глупо! Неужели же он думал, что Толстой не слышал этих возражений и что его можно убедить такою банальщиною! И тон, этот отвратительный, самодовольно-сни-

сходительный тон... И вдруг,— вдруг мой либеральный земец превратился в воздух, в ничто. Как будто он испарился из комнаты,— Толстой перестал его видеть и перевел разговор на другое.

О том, о другом поднималась еще беседа,— Толстой упорно сводил всякую на необходимость нравственного усовершенствования и любви к людям. В креслах, вытянув ноги и медленно играя пальцами, сидел сын Толстого, Лев Львович. Рыжий, с очень маленькой головкой. На скучающем лице его было написано: «Вам это внове, а мне все это уж так надоело! Так надоело!..»

Лицо Льва Николаевича побледнело, рот полуоткрылся, видно было, что он устал. Мы поднялись и стали прощаться.

Тарантас наш катил в темно-синей августовской ночи, под яркими звездами. На душе было смутно: отдельные впечатления от Толстого не складывались в определенное целое. Вспоминался мне знаменитый репинский портрет Толстого, где он стоит босой, засунув руки за пояс, с таким кротким, «непротивленческим» лицом. Чувствовалось мне, как этот портрет фальшив и тенденциозен. Ничего в Толстом не было от Христа, от Франциска Ассизского, от князя Мышкина, от репинского портрета. Эта походка, эти быстрые легкие движения, маленькие глаза под густыми бровями, вспыхивающие таким молодым задором и такою едкою насмешкою. И это его отношение к подвигу самоотверженной девушки. Вспомнились слова Наташи Ростовой о самоотверженной Соне: «Имущим дается, а у неимущих отнимается. Она — неимущий. В ней нет, может быть, эгоизма,— я не знаю, но у ней отнимается, и все отнялось...» И это упорное сведение всякого разговора на необходимость нравственного усовершенствования и серая скука, торчащая из этих разговоров.

Когда дома близкие спросили меня, какое впечатление произвел на меня Толстой, я ответил откровенно:

— Если бы я случайно познакомился с ним и не знал, что это — Лев Толстой, я бы сказал: туповатый и скучноватый толстовец, непоследовательный и противоречивый; заговори с ним хотя бы об астрономии или о разведении помидоров, он все сейчас же сведет к нравственному усовершенствованию, к любви, которую он слишком затрепал непрерывным об ней говореньем.

Однако — странное дело! Проходило время, вновь и вновь перечитывал я произведения Толстого, вновь и

вновь припоминался он мне таким, каким я его видел,— и совсем по-иному, не по-прежнему, начинал я воспринимать его творчество; какое-нибудь мелкое, как будто совсем незначащее личное впечатление вдруг ярким и неожиданным светом освещало целую сторону его творчества.

Случилось то же, что, бывает, случается в очень тихую и сильно морозную погоду. Вечер, мутная, морозная мгла, в которой ничего не разберешь. Пройдет ночь, утром выйдешь— и в ясном, солнечном воздухе стоит голый вчера сад, одетый алмазным инеем, в новой, особенной, цельной красоте. И эта красота есть тихо осевшая вчерашняя мгла.

Чтобы уж все о Толстом.

Весною 1907 года я возвращался из-за границы и от Варшавы ехал в одном купе с господином, который оказался М. С. Сухотиным, зятем Толстого (мужем его дочери Татьяны Львовны). Мы много, конечно, говорили о Толстом. Я в то время писал свою книгу о Достоевском и Льве Толстом «Живая жизнь». Между прочим, я сообщил Сухотину, как понимаю значение эпиграфа к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». В романе мы видим отражение глубочайшей душевной сущности Толстого,— его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердою рукою ведет человека к счастью и гармонии и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостным может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила,— она сама это чувствует,— вырывает ее из уродливой ее жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась,— испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала любовницею, как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может потерпеть. Поруганная, разорванная надвое,

она беспощадно убивает душу Анны. И здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда: если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью,— то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа,— и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: «Мне отмщение, и аз воздам».

У Сухотина загорелись глаза.

— Это оригинально. Интересно бы рассказать Льву Николаевичу,— как бы он отнесся к такому объяснению.

— Михаил Сергеевич! Ловлю вас на слове. Очень вас прошу — расскажите и потом напишите мне. Я, конечно, не сомневаюсь, что сам Толстой смотрит на эпиграф не так, но все-таки страшно интересно узнать его мнение.

Сухотин замялся, стал говорить, что Лев Николаевич неохотно беседует о художественных своих произведениях, но в конце концов обещал поговорить и написать мне.

Через месяц я, действительно, получил от него письмо:

Ясная Поляна, 23 мая 1907 г.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Не подумайте, что я забыл спросить Л. Н. по поводу эпиграфа к Анне Карениной. Я просто не находил случая его спросить, так как, как я Вам передавал, Л. Н. не любит говорить о своих произведениях беллетристических. Лишь на-днях я выбрал удобный момент и спросил его по поводу «Мне отмщение, и аз воздам». К сожалению, из его ответа оказалось, что прав *я*, а не Вы. Говорю, к *сожалению*, так как Ваше понимание этого эпиграфа мне гораздо более нравится понимания Л. Н. По-моему, и Л-у Н-у Ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпиграф, он сказал: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога, и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить».

Очень рад, что мог исполнить Ваше желание.

Искренно Вас уважающий
Мих. Сухотин.

А. П. ЧЕХОВ

Я познакомился с Чеховым в Ялте весною 1903 года. Повез меня к нему Горький, который был с ним знаком уже раньше.

Неуютная дача на пыльной Аутской улице. Очень покатый двор. По двору расхаживает ручной журавль. У ограды чахлые деревца.

Кабинет Антона Павловича. Большой письменный стол, широкий диван за ним. На отдельном столике, на красивом картонном щите, веером расположены фотографические карточки писателей и артистов с собственноручными надписями. На стене печатное предупреждение: «Просят не курить».

Чехов держался очень просто, даже как будто немножко застенчиво. Часто покашливал коротким кашлем и плевал в бумажку. На меня он произвел впечатление удивительно деликатного и мягкого человека. Объявление «Просят не курить» как будто повешено не просто с целью избавить себя от необходимости говорить об этом каждому посетителю, мне показалось, это было для Чехова единственным способом попросить посетителей не отравлять табачным дымом его больных легких. Если бы не было этой надписи и посетитель бы закурил, я не представляю себе, чтобы Чехов мог сказать: «Пожалуйста, не курите,— мне это вредно».

Горький в своих воспоминаниях о Чехове приводит несколько очень резких его ответов навязчивым посетителям. Рассказывает он, например, как к Чехову пришла полная, здоровая, красивая дама и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди,

небо, море... И нет желаний... Душа в тоске... Точно какая-то болезнь...

И Чехов ей ответил:

— Да, это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis [1].

Совершенно не могу себе представить Чехова, так говорящего со своей гостьей. После ухода ее он мог так сказать — это другое дело. Но в лицо...

Для меня очень был неожидан острый интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам. Говорили, да это чувствовалось и по его произведениям, что он человек глубоко аполитический, общественными вопросами совершенно не интересуется, при разговоре на общественные темы начинает зевать. Чего стоила одна его дружба с таким человеком, как А. С. Суворин, издатель газеты «Новое время». Теперь это был совсем другой человек: видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова. Глаза его загорались суровым негодованием, когда он говорил о неистовствах Плеве, о жестокости и глупости Николая II.

За чаем Антон Павлович рассказал, что недавно получил письмо из Одессы от одного почтенного отца семейства. Тот писал, что девушка, дочь его, недавно ехала на пароходе из Севастополя в Одессу, на пароходе познакомилась с Чеховым. И как не стыдно! Пишете, господин Чехов, такие симпатичные рассказы, а позволяете себе приставать к девушке с гнусными предложениями.

— А я никогда из Севастополя не ездил в Одессу.

Когда Чехов рассказывал, глаза искрились смехом, улыбка была на губах, но в глубине его души, внутри, чувствовалась большая сосредоточенная грусть.

И еще сильнее я почувствовал эту его грусть, когда через несколько дней, по телефонному вызову Антона Павловича, пришел к нему проститься. Он уезжал в Москву, радостно укладывался, говорил о предстоящей встрече с женою, Ольгой Леонардовной Книппер, о милой Москве. О Москве он говорил, как школьник о родном городе, куда едет на каникулы; а на лбу лежала темная тень обреченности. Как врач, он понимал, что дела его очень плохи.

Узнал, что я в прошлом году был в Италии.

---

[1] Игра слов: болезнь притворства.

— Во Флоренции были?
— Был.
— Кианти пили?
— Еще бы!
— Ах, кианти!.. Еще бы раз попасть в Италию, попить бы кианти... Никогда уже этого больше не будет.

Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова «Невеста» (он шел в миролюбовском «Журнале для всех»).

Антон Павлович спросил:

— Ну что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно:

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровою настороженностью.

— Туда разные бывают пути.

Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно. Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типическая безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учится вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе «Дядя Ваня». В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа «Невеста» с окончательной его редакцией. Я слышал, что корректурный оттиск этот с чеховскою правкою хранится в одном из музеев.

Через месяц я получил от Чехова письмо, и там между прочим он сообщает: «Кое-что поделываю. *Рассказ «Невесту» искромсал и переделал в корректуре*». Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.

Все это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал попытку — пускай неудачную, от которой сам потом отказался,— но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу.

«ЗАПИСКИ ВРАЧА»

Не люблю я этой моей книги. Она написана вяло, неврастенично, плаксиво и в конце концов просто плохо. Я не отказываюсь ни от чего, что там писал, все это нужно было написать, но можно было выразить мужественнее. И лучше.

Но как раз «Записки врача» дали мне такую славу, которой без них я никогда бы не имел и которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные. Знал я несколько таких. Их высоко ценили любители литературы. Но широкой публике они были совершенно неизвестны. В вагоне скажет случайному спутнику свою фамилию, а тот:

— Чем изволите заниматься?

И в бешенстве восклицал писатель:

— Нет, не стоит в России быть писателем!

Вот этого со мною не бывало. Назовешь свою фамилию мало-мальски грамотному человеку,— радостно-изумленное лицо:

— Автор «Записок врача»?!

Этот злосчастный автор сопровождал меня всю жизнь. И как радостно становилось на душе, когда вместо этого приходилось слышать: «Вы — автор «Живой жизни»?» Но это бывало очень, очень редко.

Успех «Записок» был небывалый. Одно издание за другим расхватывалось моментально. Общей прессой — без различия направлений и вплоть до самых «желтых» уличных газет — книга была встречена восторженно. В большой степени здесь играла роль «сенсационность» содержания книги, это было, конечно, очень неприятно. В общей прессе враждебно отнеслась к книге только лучшая из

тогдашних газет — московская газета «Русские ведомости», орган либеральной московской профессуры. Критик газеты И. Н. Игнатов (по образованию врач) отозвался о книге весьма кисло.

Врачебная печать дружно встретила книгу мою в штыки. Поразительно было то озлобление, с каким писали о ней. По мнению, например, «Медицинского обозрения», целью моею при написании книги было щегольнуть перед публикою своим «мягким» сердцем: все время непрерывное «позирование», «красивые фразы», «жалкие слова, рассчитанные на эффект в публике». «Человек бесчестный и необыкновенно развязный»,— таков был обо мне приговор журнала. Рецензент «Практической медицины» писал: «Ругать не только легче, чем хвалить, но и выгоднее. Что в том, что вы будете хвалить Шекспира? Его все хвалят. Но попробуйте ругать Шекспира, и вы сразу станете центром общего внимания: Шекспира не признает... Должно быть, голова!» «Одесские новости» напечатали полученное редакцией анонимное письмо врача, который писал: «Каждый порядочный врач относится с презрением к дегенерату Вересаеву. Печально, что в наше время является подобный фрукт, позорящий медицинское сословие». По поводу немецкого издания «Записок» немецкий врач Л. Кюльц обращался ко мне в выпущенной им брошюре так: «Скверная та птица, которая гадит в собственное гнездо!»

В конце ноября 1901 года на годовом собрании петербургского Медико-хирургического общества выступил председатель общества, лейб-хирург профессор Н. А. Вельяминов. Заключительная часть его речи была посвящена «Запискам». Профессор решительно заявлял, что все мои утверждения лживы, что врачи выходят из школы прекрасно подготовленными, что никогда они не учатся на людях, что никаких опытов над людьми в клиниках никогда не производилось. Самого меня профессор охарактеризовал как «дикаря» с громадным самомнением, несомненным эгоизмом, с повышенною половою раздражительностью, носящего в себе все признаки вырождения. Речь эта была ведром бензина, выплеснутым на пылавший костер. Шум поднялся невообразимый. Речь теперь пошла уже не столько о поднятых в моей книге вопросах, сколько о профессиональной замкнутости и заскорузлости врачебного сословия, о царящей в нем боязни света и критики. В юмористических журналах изображался Вересаев, в которого летят со всех сто-

рон чернильницы, клистирные трубки, ланцеты, калоши. Или — Вересаев бежит по улице, а в него из окон врачи бросают тяжелые камни с надписью: «злоба», «брань». В одной из московских газет была напечатана юмористическая поэма «Вересиада» под заглавием «Отступник». В ней описывалось, как жрецы врачебной науки осыпают проклятиями «отступника». Эпилог был такой:

Отверженный, гонимый, без приюта,
Давно в пустыне мира он блуждал,
Век протекал за веком, как минута,
Отступник смерти никогда не знал.
И на вопрос созвездий изумленных,
Кто осудил его навеки жить,
Шептал: «Из всех врачей, мной оскорбленных,
Никто не захотел меня лечить!»

Кипели всюду споры за и против. В обществах врачебных и литературных читались доклады о книге. Особенно остро проходили споры в Москве в начале 1902 года. В это время там происходил пироговский съезд врачей. Съехалось много врачей из провинции. В только что образовавшемся Литературно-художественном кружке прошло два доклада о книге. Оба доклада читали врачи, один — Членов, другой — Приклонский. Оба доклада были резко враждебны «Запискам», и оба вызвали бурю возражений и шумные протесты слушателей. Писательница А. А. Вербицкая в письмах ко мне в Тулу подробно описала оба диспута. Я в это время был лишен права проживания в столицах и лично не мог участвовать в диспутах. Привожу описание второго диспута.

«Начну с начала. Опять, как и в тот раз, в первом ряду сидит враждебная вам компания из «Русских ведомостей». Самого Игнатова не было (критик «Русских ведомостей»), но была его жена, ваш лютый враг, и компания его друзей. В третьем ряду — друзья: Вербицкие, Свентицкие, Дадонов и др. Зал полон, много провинциальных врачей, что придает особенный интерес. Начинает свой реферат доктор Приклонский. У него наружность отставного фельдфебеля, опрокинутый нос, выпуклые черные глаза, висячие черные усы, громадная фигура бульдога, самонадеянный тон. Рядом с ним сидит его жена, очевидно из купчих, моложе его лет на двадцать, с бриллиантовыми серьгами ценою в пятнадцать тысяч.

Референт обвинял вас в незнании основных правил и приемов медицины, радовался, что вы бросили практику,

убедившись в своей бездарности, называл вас не только невеждой, но и шарлатаном. Да и лгуном, потому что медики выходят знающие, если учатся. Им и операции дают делать, и материала масса под рукой. А вы не хотели учиться, на лекции не ходили, оттого ничего не знаете. Да и не умны, потому что прачке, которой было вредно ее ремесло, вы должны были сказать: «Брось работу, не будь прачкой» и т. п.

Наконец референт кончил. И мы зашипели, как змеи. Сзади раздалось несколько жидких аплодисментов, покрытых свистом и протестами... На эстраду вышел некто доктор Рубель. Он говорил, что служил вместе с вами, и энергично протестовал против обвинения вас в бездарности как врача; наоборот, говорил, что вы талантливы, что о вашем уходе из больницы сожалеют, что вы и не думали бросать практики. Возмущался против такого отношения к товарищу с принципиальной точки зрения и доказывал, что вы совершенно правы, утверждая, что университет и клиника ничему не выучивают. Его бесхитростную, не особенно гладкую, но горячую речь встретили такими бурными аплодисментами, что настроение публики не допускало никаких сомнений. Ему аплодировали минут пять. Он сошел, сел в третьем ряду. Публика смолкла. Потом вдруг опять стала аплодировать. А какие у всех были взволнованные лица!

Но описать не могу, в какой экстаз привела публику речь д-ра Долгополова. И что это была за речь! Этот Долгополов всю юность провел в ссылке, в Сибири, а потом до седых волос (ему не больше пятидесяти лет, но он смотрит развалиной) работает в земстве. Он земский врач, на съездах пользуется огромной популярностью, его постоянно выбирают в председатели собраний врачей. С первых его фраз, сказанных тихим, болезненным, но дрожавшим от волнения и страстности голосом, все нервы как-то дрогнули и натянулись. В большом зале настала такая тишина, что не только его слова были слышны, а даже хрип при некоторых его вздохах, а он ужасно задыхался говоря. И это волнение захватывало. Я лично даже не знала, кто он. По тому почету, с каким члены-учредители кружка обратились к нему, прося занять место, только все догадывались, что это — сила общепризнанная.

Он начал с того, что его, как провинциала (он говорил с заметным акцентом на «о»), глубоко поражает и возмущает один тот уже факт, что собравшаяся здесь лучшая

часть московской интеллигенции могла выслушать в глубоком молчании такую позорную клевету на врача и писателя, такие обвинения в шарлатанстве, лжи и т. п. только за то, что человек обнажил перед нами свою душу и рассказал, через какой ряд сомнений и ужасов он прошел за эти годы. «Я не знаю, какое нужно иметь узкое, ограниченное, крохотное миросозерцание, чтобы во всей книге выискивать только мелочи, к которым бы можно было придраться, и останавливаться на них, превратно их толкуя!» В публике взрыв хохота, все глядят на медный лоб Приклонского. Но он самонадеян и непоколебим. Совсем ослиная шкура!

Словом, всем по делам досталось, и публике, и референту. В этой вдохновенной речи Долгополов коснулся и этической и общественной стороны книги, указывал на ее огромное значение не только сейчас, но и для дальнейшего. Память о впечатлении этой речи, об общем захвате публики, о собственном чувстве подъема, смею сказать — *экстаза*, охватившего меня, не забудется никогда. Помню еще, что он ваше имя поставил рядом с именем Пирогова. Несколько раз его прерывали аплодисментами. А что потом было, когда он сошел с эстрады, кончив речь, я описать не могу. Многие соскакивали с мест, чтобы его видеть, пока он садился в первый ряд. Адвокат Сахаров кинулся с эстрады к нему вниз, тряс ему обе руки и прерывающимся голосом говорил что-то бессвязное. А я его знаю за человека очень сухого, черствого даже.

Какой был подъем, какое волнение! Точно плотина какая-то невидимая прорвалась, спавшие чувства общей солидарности вырвались наружу. Все себя почувствовали близкими и к вам, и к этому защитнику вашему, и друг к другу. Это было хорошо!

Все, что говорилось потом, было слабее и незначительнее по содержанию, но публика соскочила с рельсов и на все реагировала с удивительною страстностью. Выступил молодой доктор медицины Никольский, довольно известный москвичам. Тон его речи был необычайно ядовит по отношению к Приклонскому и насмешлив. Он удивлялся, где референт окончил курс, что, кончая, считал себя уже вполне готовым на всякие случайности. Где почерпнул он такой опыт? Доказывал, что больше пятнадцати больных ни один студент не имеет возможности наблюдать в клинике; многим не удается даже нарыва разрезать. Потом еще кто-то говорил. Но было уже два часа, и я уехала. Не хо-

телось ослаблять какими-нибудь вялыми речами впечатления от слов Долгополова».

Письмо, мне кажется, хорошо отражает ту атмосферу, в которой происходили тогдашние споры. Отмечу одну черту: против докладчика выступали тоже врачи. И вообще было немало выступлений врачей в защиту «Записок». Молодые врачи помещали в общих газетах письма, где рассказывали, с какою слабою практическою подготовкою выпускает молодых врачей школа. Я получил сочувственную телеграмму от группы врачей с пироговского съезда. Общество кременчугских врачей прислало мне официальное письмо, где сообщало, что оно в течение трех заседаний подвергло подробному обсуждению книгу и «пришло к заключению, что Ваша книга имеет громадное общественное значение, и постановило выразить Вам глубокую признательность за столь правдивое изображение в художественной форме многих насущных вопросов врачебного быта и общественно-медицинских отношений». В Ялте меня «чествовало» общество местных врачей. То впечатление заскорузлости, профессионального самодовольства и боязни света, которое получилось от выступлений профессора Вельяминова, профессора Мороховца и других, никак, оказалось, нельзя было распространить на наше врачебное сословие вообще. Должен сказать: общее отношение врачебной среды к моей книге внушило мне самое глубокое уважение к нашим врачам. Нигде среди них я не встречал к себе отношения как к «отступнику». Напротив, когда мне приходилось и приходится обращаться к ним, я всегда встречаю самое внимательное и прямо любовное отношение к себе.

«КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ»

Помнится, в 1911 г. приехал в Москву из Петербурга Николай Семенович Клестов (Ангарский).

Я имел с ним дела и раньше, когда он, живя под чужим паспортом, заведывал в Москве книгоиздательством «Земля» писчебумажного фабриканта Блюменберга. Подложность паспорта его была обнаружена, он был арестован и снова сослан в Сибирь. Теперь он вернулся из ссылки. Он любил книжное дело, любил литературу, но не любил торгашей-издателей. Он вздумал образовать в Петербурге товарищеское кооперативное издательство писателей. Решили они издавать литературные сборники, и вот Клестов в качестве уполномоченного издательства приехал с целью получить для сборника произведения московских писателей и по возможности привлечь их в члены товарищества. Я дал для сборника, помнится, несколько моих переводов из греческих поэтов, но вступить в товарищество отказался, вполне уверенный, что писатели — такие индивидуалисты, что никакой каши с ними не сваришь. Клестов и сам рассказывал ряд эпизодов, рисовавших алчность сотрудников и единственное желание урвать побольше для самих себя. А рядом обычная славянская мягкотелость...

Петербургское товарищество писателей выпустило один сборник, две-три книжки второстепенных писателей и через год уже совершенно завяло. Все разругались, рассорились, повыходили из товарищества с хлопаньем дверей, издательской стороной дела все больше завладевал книготорговец Аверьянов, в конце концов при издательстве остался почти один В. В. Муйжель.

Клестов переехал в Москву и обратился ко мне с предложением создать товарищеское издательство в Москве. Я

высказал полнейшую уверенность, что и в Москве произойдет то же, что было и в Петербурге, и предложил ему свой план.

С самого начала моей литературной деятельности я издавал свои книги сам и не видел в этом никакого неудобства. В нескольких типографиях спросишь смету, выберешь типографию, бумагу, сговоришься с книжным складом — и все. Помню раз, когда я жил в ссылке в Туле, ко мне приехал какой-то издатель из Москвы и предложил мне выпустить новым изданием сильно тогда шумевшие мои «Записки врача».

— А сколько вы за это мне предлагаете?

— Полторы тысячи рублей.

Я взял бумажку, карандашик и сделал расчет.

— Если я издам книгу сам, то получу три тысячи рублей. Ну, скажите, зачем мне вам дарить полторы тысячи рублей?

— Ах, а вы сами издаете свои вещи? — разочарованно спросил он.— Тогда, конечно, нечего и разговаривать.— И в его тоне слышалось: «А я думал, что ты такой же дурак, как и остальные».

Я постоянно убеждал товарищей самим издавать свои книги, но все пугались, махали руками и говорили:

— Нет, где уж! Как тут возиться с типографиями, с бумагой. Да при том издатель сразу деньги даст, а тут ты же с самого начала плати,— за типографию, за бумагу.

И предпочитали давать наживаться на себе издателям.

Вот я и предложил Клестову такой план: создать не кооперативное товарищество писателей, а просто комиссионную контору, которая за определенный процент взяла бы на себя издание книг писателей, печатанье, устройство склада и т. д. Клестов горячо ухватился за эту мысль. Для начала, конечно, нужен был капитал. Для этого мы решили предложить московским писателям создать товарищество с паевыми взносами, которое и было бы хозяином предприятия. Имелось в виду, конечно, привлечь писателей-реалистов, в то время группировавшихся в кружке «Среда»; в кружок этот входили: писатель Ив. А. Бунин, его брат журналист Ю. А. Бунин, Н. Д. Телешов, Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, А. С. Серафимович, Н. И. Тимковский, В. В. Вересаев и др. Мы с Клестовым выработали такую программу: товарищество берет на себя все хлопоты по изданию книг писателей, устраивает свой собственный склад,

берет на себя предварительную оплату расходов по печатанию и бумаге и за комиссию удерживает в свою пользу 15% с номинала книги. Весь доход в первую очередь идет на погашение долга писателя товариществу, за печатанье и бумагу, все остальное, за вычетом 15% комиссионных, целиком получает автор каждый месяц по мере продажи книги. Если писатель брал на себя немедленную оплату счетов по типографии и бумаге, то с него удерживалось за комиссию только 10%. Забегая вперед, скажу, что предприятие наше дало результаты самые блестящие: до самой революции оно быстро росло и укреплялось, писатель повалил к нам валом, в конце концов он получал за свою книгу до 28% с номинала. Когда об этом сообщили опытнейшему книжнику И. Д. Сытину, он рассмеялся и сказал, что это полнейший вздор, что ни одно издательство такого гонорара писателям не выдержит; обычный гонорар писателя составлял от 10—13% с номинала, а то и еще меньше.

Идеологическая платформа нами предлагалась отрицательная: ничего антижизненного, ничего антиобщественного, ничего антихудожественного; борьба за ясность и простоту языка. Нужно помнить, что это было время самого бешеного оплевания и огрязнения жизни в литературе, оплевания общественности, революции, торжества порнографии, арцыбашевщины, словесных выкрутасов и манерности.

Сделали мы собрание вышеперечисленных писателей. Выслушали нас очень настороженно. Все находили очень неудобным, что писатель сразу ничего не будет получать за свое издание. Удалось их убедить примером на мне самом. Я им сказал, что никогда с издателями не имел дела, издаю сам, получаю со склада комиссионный расчет каждый месяц и благодаря этому имею определенную ренту в 1000—2000 руб. в месяц, а то и больше. Неужели же это не удобнее, чем получить сразу 4—5 тысяч и не знать, когда получишь еще что-нибудь?

Решено было основать товарищество. Против идеологической стороны никто не возражал. Решено было еще ввести пункт, по которому товарищество брало на себя также издание книг, которым не считало возможным дать свою марку вследствие малой художественности произведений. Расходы по такому изданию автор должен был оплатить вперед, и с него удерживалось только 10%. Паевой взнос определили в 200 руб., конечно, не возбранялось брать и

несколько паев, и мы рассчитывали, что некоторые из членов, вошедших в товарищество, возьмут побольше одного пая, напр., богач Н. Д. Телешов, владевший лично половиной всей дачной местности Малаховки и огромным доходным домом на Чистых прудах в Москве и, кроме того, женатый на миллионерше Е. А. Корзинкиной, или богатый помещик А. К. Энгельмейер, пописывавший в мелких иллюстрированных изданиях, тоже бывший членом «Среды» и вошедший членом в товарищество. Этот последний, кажется, внес несколько паев. Выбрали правление из нескольких человек... помнится мне — Ив. Бунин, Ив. Шмелев, Телешов, я, Клестов. Председателем правления и редактором издательства был выбран я, заведующим — Н. С. Клестов. Я нес работу бесплатно, Клестову, несшему на себе всю тяжесть организационной работы и отдававшему на дело все свое время, мы могли дать только сто рублей в месяц. Решили назвать наше предприятие «Книгоиздательство писателей в Москве», но в то время было очень трудно добиться у власти разрешения на какое-нибудь кооперативное предприятие, и на хлопоты по такому делу уходили годы. Гораздо легче и скорее можно было получить разрешение на простое торговое предприятие. Двое из членов товарищества, известный в свое время драматург С. Д. Разумовский (Махалов) и «любитель литературы» Д. Я. Голубев (такие любители обычно сами тайно балуются литературой),— так вот эти двое согласились взять на себя ответственность за все предприятие, и официальное полное наше название получилось такое:

«Книгоиздательство Писателей в Москве»
(Торговый Дом Д. Я. Голубев и С. Д. Махалов)

Действительно, прошло года два, пока нам удалось добиться утверждения кооперативного товарищества писателей, и только тогда мы получили возможность снять с нашей «фирмы» пресловутый «торговый дом».

Принимая редакторство, я счел нужным усиленно подчеркнуть, что наше предприятие вовсе не есть товарищество писателей для издания своих произведений, а есть только комиссионное предприятие, имеющее целью избавить писателей от эксплуатации издателей. Поэтому, с одной стороны, член товарищества отнюдь не может рассчитывать на издание своих произведений только потому, что он член товарищества, а с другой стороны, мы можем издавать и произведения писателей, не входящих в наше товарищество.

Приступая к делу, мы с Клестовым не скрывали от себя тех трудностей, которые нам предстоят в связи с составом нашего товарищества. Большинство московских писателей, его составлявших, были типические москвичи того времени — «милые человеки», не считающие возможным обижать других милых человеков, очень ко всему «терпимые», враги всяких «крайностей», розово-либеральные, впрочем, считавшие себя носителями всякого рода «славных традиций».

— Вы кадет?

В ответ — негодующий взгляд, наклоняется тебе к уху, закрыв щитком себе рот, и лихо шепчет:

— Я — эсер!

Центром и божком этой литературной группы был Ив. Бунин, поддерживаемый восторженно его любившим старшим братом Юлием и Телешовым.

Помнится, осенью 1911 г. мы приступили к работе. Вскоре наняли квартирку для издательства на Никитском бульваре. Первыми вышедшими книгами у нас были: Ив. Бунин «Суходол», сборник рассказов Ив. Шмелева «Человек из ресторана» и сборник рассказов Ив. Новикова.

Сейчас же после сконструирования руководящих органов нашего предприятия мне, как редактору, А. К. Энгельмейер сдал огромнейшую папку своих рукописей и своих статей и вырезок из газет и иллюстрированных журнальчиков — бездарнейшая серая макулатура. Я, конечно, печатать их отказался, предложив Энгельмейеру, если он хочет, издать свои произведения («полное собрание сочинений») по тому пункту наших правил, по которому марки своего издательства мы не давали. Энгельмейер,— высокий, стройный, прямо державшийся старик, до этого относился ко мне очень любовно. Когда же после этого я с ним встретился в Литературно-художественном кружке, он с преувеличенною корректностью поздоровался со мной и отвернулся. Большой том его произведений вышел у нас без нашей марки. В знак глубокой грусти своей Энгельмейер выбрал для них глубоко черную обложку с серебряным заглавием (гроб).

Ив. Бунин настойчиво требовал, чтобы мы немедленно приступили к изданию сборников. Я был решительно против этого: для сборников требовались средства, которых у нас еще не было, за статьи для сборника нужно было платить сразу, чего мы сделать не могли; кроме того для сбор-

ников нужна была не такая расплывчатая платформа, как для издания книг, платформа, о которой нужно было еще договориться с товарищами. Бунин все время бузил, возмущался.

Мы, конечно, пригласили в сотрудники и Горького, в то время жившего на Капри. Горький ответил уклончиво. Сказал, что пришлет нам для издания книжку, но от вступления в пайщики отказался, потому что денег нет. Из опубликованных уже в тридцатых годах писем Бунина к Горькому можно видеть, как старательно Бунин восстанавливал против нас Горького. Бунин держался с нами, как привык держаться с издателями, ждал, чтобы мы за ним ухаживали, чтобы делали ему всякие льготы и авансы. Этого не было, и он неистовствовал. Друзья поддерживали его.

Вскоре Бунин уехал на Капри. Через некоторое время я получил письмо от Горького, который писал, что приветствует наше намерение издавать сборники и что готов прислать для сборника рассказ. Я его поблагодарил за его намерение, но сообщил, что собственное свое желание, чтобы издавались сборники, Бунин принял за постановление нашего товарищества, но что пока издавать сборники мы чувствуем себя не в силах. Бунин ответил мне сдержанно негодующим письмом, а Клестову написал бешеное письмо, где резко нападал на меня и на Клестова, писал: «Да очнитесь вы, господа, с ума вы сошли! Мне все противнее становится ваше издательство, думаю, что мне лучше из него уходить, с вами каши не сваришь» и т. п.

Мне еще много придется рассказывать про Бунина. Скажу здесь: худощавый, стройный блондин, с бородкой клинышком, с изящными манерами, губы брюзгливые и надменные, геморроидальный цвет лица, глаза небольшие. Но однажды мне пришлось видеть: вдруг глаза эти загорелись чудесным синим светом, как будто шедшим изнутри глаз, и сам он стал невыразимо красив. Трагедией его писательской жизни было то, что он, несмотря на свой огромный талант, был известен только в узком кругу любителей литературы. Широкой популярности, какою пользовались, напр., Горький, Леонид Андреев, Куприн, Бунин никогда не имел. Мне,— гораздо менее талантливому, чем упомянутые писатели, равно как и Бунин,— мне такую популярность доставила самая плохая из написанных мною книг «Записки врача». В вагоне, например, назовешь случайному знако-

мому свою фамилию,— и в ответ радостное изумление и восторженный вопрос:

— Автор «Записок врача»?!

Вот этого у Бунина не было. Когда он называл такому случайному знакомому фамилию, тот задавал вопрос:

— А чем изволите заниматься?

Это приводило его в бешенство, и он восклицал:

— Не стоит быть писателем в России.

Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать и у некоторых других крупных художников: соединение совершенно паршивого человека с непоколебимо честным и взыскательным к себе художником. (Случай с ним уже во время его эмигрантства, рассказанный мне доктором Юшкевичем, когда Бунин, получив нобельскую премию, отказался заплатить разорившемуся банкиру 30 тыс. франков, которые тот ему ссудил, сам предложивши без всяких документов в то время, когда Бунин бедствовал.) И рядом с этим никакое ожидание самых крупных гонораров или самой громкой славы не могло бы заставить его написать хоть одну строчку, противоречащую его художественной совести. Все, что он писал, было отмечено глубочайшею художественной адекватностью и целомудрием.

Он был очарователен с высшими, по-товарищески мил с равными, надменен и резок с низшими, начинающими писателями, обращавшимися к нему за советом. Выскакивали от него, как из бани,—такие уничтожающие, раскатывающие отзывы давал он им. В этом отношении он был полною противоположностью Горькому или Короленко, которые относились к начинающим писателям с самым бережным вниманием. Кажется, нет ни одного писателя, которого бы ввел в литературу Бунин. Но он усиленно проталкивал молодых писателей, окружавших его поклонением и рабски подражавших ему, как, напр., поэта Николая Мешкова, беллетриста И. Г. Шкляра и др. С равными был очень сдержан в отрицательных отзывах об их творчестве, и в его молчании всякий мог чувствовать как бы некоторое одобрение. Иногда его вдруг прорывало, и тогда он был беспощаден. Помню, как однажды на «Среде» он жестоко раскатал Серафимовича за отсутствие собственного стиля и за подражание вычурной манере Сергеева-Ценского тогдашнего периода. Был капризен и привередлив, как истерическая красавица. Напр., когда его приглашали участвовать в литературном вечере, он ставил непременным, совершенно категорическим

условием, что будет выступать первым. И приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители волновались, звонили ему по телефону, но выпустить кого-нибудь раньше его не осмеливались. Делало его таким окружавшее его поклонение. Если же он встречал решительный отпор, он сразу отступал. Когда у нас было решено издавать сборники, и я был выбран их редактором, то я спросил Бунина:

— Иван Алексеевич, дадите вы нам что-нибудь в сборник?

Он кокетливо и томно ответил:

— Хорошо, только с одним непременным условием: чтобы моя вещь была напечатана на первом месте. Или уже на самом, самом последнем.

Я решительно ответил:

— Будет помещена в том порядке, в каком рукопись поступит к нам.

И он покорился.

Товарищи очень настаивали на том, чтобы скорее приступить к изданию сборников. В этом сходились и такие антагонисты во всем, как Бунин и Клестов. Как я уже писал выше, я всеми силами противился этому. Главная причина была та, что сборники должны были иметь свою определенную физиономию. Это было время моды на альманахи. Но сборники «Знания» уже дышали на ладан и вот-вот должны были прекратиться. Сыграв в свое время очень большую общественно-революционную роль, они под конец совершенно выдохнулись, стали серыми и скучными. Кроме специально модернистских сборников, как сборники «Скорпиона», «Грифа», широким распространением пользовались петербургские альманахи «Шиповник» и московские «Земля». «Шиповник» держался модернистского уклона, печатал Леонида Андреева, «Навьи чары» Сологуба, Сергеева-Ценского и др. «Земля» представляла собой альманахи чисто торгашеского типа. Их издавал бумажный торговец Блюменберг. Первые сборники ему организовал во время оно Клестов. Вскоре Клестов был сослан, а когда воротился и предложил Блюменбергу свои услуги, тот ему ответил, что никакие редакторы ему не нужны, а важно вот что: для каждого сборника «гвоздем» взять произведение какого-нибудь широкопопулярного писателя, заплатив ему по 1000 руб. с листа, а остальное заполнить какой-нибудь трухой по 200 руб. за лист, а при этом, очевидно, редактор мог бы только мешать. Любимым «гвоздем» для них был Арцы-

башев, порнографические романы его были полны самого разнузданного оплевания жизни и революции.

Я выступил в нашем издательстве с программой, которую в двух словах можно было охарактеризовать так: утверждение жизни. Этим приблизительно все уже сказано: в сборниках наших не должно найти место даже самое талантливое произведение, если оно идет против жизни, против необходимости борьбы за лучшую жизнь, за перенесение центра тяжести в потусторонний мир, за отрицание красоты и значительности жизни.

Программа эта вызвала целую бурю, и я до сих пор удивляюсь, как мне удалось ее провести. Сергеев-Ценский с возмущением писал: «Это значит,— хочешь, не хочешь, а ходи весело?» Борис Зайцев иронически спрашивал:

— Если бы Достоевский вам прислал «Преступление и наказание», то вы бы его не напечатали?

Бунин неистовствовал больше всех. Он спрашивал:

— Ну, а если я напишу вещь неподходящую под вашу программу?

Я отвечал:

— Тогда я ее не приму. У нас есть много других журналов и альманахов, можете напечатать там.

Он приходил в бешенство от одной мысли, что ему можно отказать.

— И Льву Толстому вы бы отказали?

— И ему бы отказал, если бы прислал какой-нибудь свой благочестивый народный рассказ. А уж от «Хаджи Мурата», конечно, не отказался бы.

— Да, поймите же, ведь вы заставите этим писателей писать против совести, подлаживаться, говорить о радости жизни, которой у них в душе совершенно нет, ведь это поведет к полному развращению литературы.

— Вы первый, Иван Алексеевич, не станете ничего писать, подлаживаясь к кому бы то ни было. И это ваша великая заслуга. Подлаживание не будет художественно ценным, и мы его все равно не примем, а если в противовес «Шиповникам» и «Землям» мы создадим центр, куда потянется все живое в литературе, все любящие жизнь и верящие в будущее, то этим мы сделаем большое и важное дело.

Никакой встречной программы мои оппоненты выдвинуть не могли. Братья Бунины и др. хотели, чтобы сборники

представляли из себя просто сборники хороших произведений. Вероятно, они сами в душе чувствовали, что это будет дело совсем уже несуразное и беспринципное, и этим, вероятно, только и можно объяснить, что при поддержке более молодых членов товарищества моя программа прошла. Безусловно желательными и ценными участниками сборников мне представлялись Сергеев-Ценский, от мрачного пессимизма и словесных выкрутасов первых своих вещей перешедший к таким ясным, утверждающим жизнь вещам, как «Медвеженок» и «Недра», Иван Шмелев и Алексей Толстой, полные нутряной, земляной силы; конечно, Куприн; приемлемым во многих вещах казался и Бунин, а «Ночного разговора» его, как я прямо заявил ему, я бы печатать не стал. Приемлемым представлялся и Борис Зайцев, хотя и настроенный мистически, но мистицизм этот был светлый, освещающий жизнь, вроде мистицизма Франциска Ассийского. Целиком, конечно, были желательны Короленко и Горький. Совершенно неприемлемым представлялся мне Семен Юшкевич за его напряженный, взвинченный пессимизм...

Самое трудное в ведении дел издательства была необходимость непрерывной борьбы с той обывательщиной, которую все время старалось проводить общество «Среда» с возглавлявшими ее братьями Буниными. Мне, кажется, уже приходилось писать о московских «милых человеках», очень друг к другу терпимых, целующихся при встречах, очень быстро переходящих друг к другу на ты. Помню, как коробило это беллетриста д-ра С. Я. Елпатьевского:

— Сидим с ним за бутылкой вина, вдруг он хлопнет по плечу: «Эх, Сережка, выпьем, брат, на ты!». Мне шестьдесят лет, ему и того больше, какой я ему Сережка, какой он мне Васька?

Однажды братья Бунины предложили в члены нашего товарищества С. С. Голоушева. Это был типический московский «милый человек», доктор по женским болезням, писавший очень хорошие критические статьи по вопросам живописи и театра под псевдонимом Сергей Глаголь. Когда-то в молодости он был участником процесса 193, но с тех пор давно угомонился, служил полицейским врачом Хамовнической части и был членом партии даже не кадетов, а октябристов. Я сдержанно возразил, что такой политически безразличный член нежелателен для нашего товарищества. Но особенно на этом не настаивал, вполне понимая,

что для «Среды» как раз такие люди и желательны Поэтому я выбрал другой путь. Подготовил более молодых членов нашего коллектива и на общем собрании, где происходили выборы новых членов, мы провалили Голоушева. Они все так не сомневались в его избрании, что даже не мобилизовали своих приверженцев, такой ведь милый человек! Когда был объявлен результат голосования, Ив. Бунин совершенно ошалел, ударил кулаком по столу и заявил, что остается только одно — уходить из гнезда этих непрерывных интриг. Я доказывал, что для нашего полит<ического> лица совершенно неприемлем человек, служащий полицейским врачом На это Серафимович враждебно возражал, что Голоушев, когда от него потребовали присутствие как врача при казни революционеров, совершавшейся как раз в Хамовнической части, отказался от службы. Я на это возражал: если бы он и в таком случае остался служить, то ему просто нельзя было бы подавать руки, но то, что он и без этого целый ряд лет прослужил полицейским врачом, достаточно его характеризует с политической и общественной стороны, хотя я не отрицаю, что человек он милый.

Все очень много возмущались. Но как раз в это время произошел такой случай. Из Петербурга приехала В. Н. Фигнер. Она давала в наши сборники отрывки из своих воспоминаний, и ей захотелось их прочесть специально московским беллетристам. Пригласила она на чтение братьев Буниных, Телешова, Брюсова, Ал. Толстого, Ив. Шмелева, Бор. Зайцева, меня и др.

Я сидел с Верой Николаевной в литературном кружке и разговаривал с ней. Подходит Ю. А. Бунин, кругленький, сияющий, как всегда, благодушием и расположенностью ко всем, и говорит ей:

— Вера Николаевна, вы ничего не имели бы против, если бы на ваше чтение приехал известный художественный критик С. С. Голоушев.

Но в Вере Николаевне,— в этом великолепном экземпляре сокола в человеческом образе,— меньше всего было чего-нибудь от московского «милого человека». Она не стала растерянно бегать глазами, не стала говорить, что для него, к сожалению, не найдется места и т. п. Она подняла голову и решительно, раздельно ответила:

— Это тот самый Голоушев, который участвовал в процессе 193 и потом стал полицейским врачом? Нет, уж избавьте.

Ю. Бунин сконфуженно стушевался. Я ему потом сказал:

— Что, Юлий Алексеевич, видно, не только я один такой «интриган», что выступил против принятия Голоушева в члены нашего товарищества?

Однажды прислал нам для сборника свой беллетристический рассказ С. М. Городецкий. Уже началась империалистическая война. Он напечатал в иллюстрированном журнале «Нива» чрезвычайно патриотическое стихотворение под заглавием, помнится, «Сретенье», где восторженно воспевал императора Николая II, как вождя, ведущего нас против германцев за святое дело. Когда я получил его рукопись, я, не читая, распорядился отослать ее ему обратно. Это изумило товарищей.

— Но, может быть, это прекраснейшая вещь?

— Какая бы ни была прекрасная вещь, но мы не можем его именем пачкать наших сборников.

Особенно негодовал Ал. Толстой. Он говорил мне по телефону с якобы шутливым негодованием:

— Викентий Викентьевич, вы положительно великий инквизитор. Да, может быть, это талантливейшая вещь, а вы его отлучаете от литературы и предаете моральной казни только за то, что его политические взгляды другие, чем ваши. Нет, положительно, вы — великий инквизитор!

Городецкий пожелал объясниться с нами. Я ему назначил час, когда буду дома. Он пришел очень взволнованный и был крайне поражен, что встретил его я один. Он, видимо, ждал, что придет на собрание верховного трибунала инквизиторов и будет давать перед ним объяснения. Он сказал длинную речь, где высказал такую точку зрения.

— Поэт является голосом народа, и его задача — в том, чтобы в каждый момент отображать этот его голос. Я категорически утверждаю,— говорил он,— что в первые месяцы войны глаза народа с восторгом и надеждою были обращены на Николая, и для того момента я был совершенно прав, воспевая ему дифирамбы. А что будто бы царь прислал мне за эти стихи золотое перо, то это неправда,— прибавил он.

Меня удивила такая точка зрения.

— Я бы думал, что призвание поэта — звать народные массы за собою, а не плестись в хвосте их настроений. Отчего бы тогда не воспеть немецких погромов, которые недавно волною прокатились по Москве и которые производи-

ли самые подлинные народные массы? Извините, но самое имя ваше безотносительно качеству вашего рассказа мы не считаем приемлемым для наших сборников.

Мне кажется, я пробыл редактором издательства года два. Война уже началась, я был призван врачом на военную службу и заведовал дезинфекциею военно-санитарных поездов на одном из московских вокзалов. Я не мог уже, как прежде, отдавать много времени редакторской работе. На правлении новым редактором выбрали Ив. Бунина. Только что он был выбран, слово попросил Ю. Бунин и сказал, что труд редактора — труд большой и ответственный и навряд ли такой труд можно оставлять неоплаченным,— и предложил для начала назначить брату 100 руб.

Еле владея собою, я сказал Ю. Бунину:

— Юлий Алексеевич, почему, когда я был редактором, вам это не пришло в голову, и вспомнили вы об этом только тогда, когда редактором стал ваш брат? Я выхожу из издательства!

И в негодовании вышел из комнаты. Они все очень переконфузились. Просили меня остаться и Бунину жалованья не назначили. Редактором Бунин пробыл всего, кажется, месяца два-три, и потом его сменил Телешов. Телешов покорно вел бунинскую линию. Однажды перед выходом очередного сборника Телешов вдруг поднял в правлении вопрос, в каком порядке печатать на обложке имена участников сборника. Я сказал:

— Какой же тут вопрос. Ясно,— в том порядке, в каком помещены вещи в сборнике, как всегда мы и делали.

Телешов из кожи лез, чтоб доказать, что гораздо лучше напечатать имена авторов в алфавитном порядке. Вдруг я понял: при алфавитном порядке Бунин оказывался, по крайней мере на обложке, на первом месте

Был еще случай с Тимковским. Это была трагическая фигура автора одного произведения. Его драма «Сильные и слабые» имела большой успех в Малом театре. Все остальное было одно хуже другого. Пьесы его из уважения к его имени ставились на сцене, но через два-три представления снимались. Рассказы были серые, тусклые, где нудно выводились идеальные народные учительницы и энергичные земские врачи. Он, наконец... представил мне свой рассказ, который пришлось отвергнуть. Когда редактором стал

Телешов, Тимковский представил ему другой рассказ. Деликатный Телешов ответил, что рассказ слишком велик и не может быть помещен в очередном сборнике по своим размерам. Казалось бы ясно: это был отказ. Если бы рассказ был хорош, то редактор просил бы его оставить до следующего сборника. Но Тимковский для чего-то захотел проучить Телешова за его «фальшивость» и сказал:

— Ах так, велик? Ну вот, пожалуйста маленький рассказ, всего в пол-листа.

Телешов, припертый в угол, принял рассказ. Рассказ был ужасный. И во всех рецензиях отмечалось, что если мы будем печатать такие рассказы, то быстро скатимся на уровень макулатуры.

Потом редактором была коллегия из Ю. Бунина, Ив. Шмелева и меня. Потом пришла революция, нас разбросало кого куда, и в самом начале двадцатых годов товарищество наше прекратило свое существование.

Март 1917 года. Недавно отгремела Февральская революция, и трон, все еще казавшийся таким безнадежно и раздражающе прочным, вдруг рассыпался песком. Было у всех желание собраться, поделиться впечатлениями, переброситься мнениями. И вот все сливки московской интеллигенции в лице ее крупнейших представителей собрались одним вечером в Художественном театре в большом нижнем фойе. Кроме Станиславского, Немировича и крупнейших артистов театра, сколько помню, были еще Южин, много профессоров и сотрудников «Русских ведомостей», князь Евгений Трубецкой, Н. В. Давыдов, С. Н. Булгаков, Бердяев, Андрей Белый, Брюсов, братья Бунины, Волошин и много других. Делились своими впечатлениями, высказывали пожелания. Я в это время вращался в революционной среде, часто виделся с Ив. Ив. Скворцовым-Степановым, Петром и С. Н. Смидович, Нагиным, Хинчуком, Милютиным и др. Дико и странно было слушать раздававшиеся здесь речи. Андрей Белый, недавно возвратившийся из Петербурга, рассказывал о том, как толпа срывала погоны с генералов и офицеров. Евгений Трубецкой говорил, что теперь больше, чем когда-либо, нам нельзя отказываться от Константинополя. Булгаков, Бердяев, Волошин, много разных профессоров говорили о необходимости довести войну до победного конца. Вдруг поднялся Ив. Бунин и сказал председательствовавшему Немирович-Данченко:

— Я бы хотел, чтобы по этому вопросу высказался бы Викентий Викентьевич Вересаев.

У нас с Ив. Буниным были отношения своеобразные. Я не выносил его самовлюбленности, кокетства и очень сурово в этом отношении его обрывал. Не думаю, чтобы и он ко мне питал особенно нежные чувства. Но несколько раз

бывало — обстоятельства складывались так, что мы с ним выступали одним дружным фронтом. Было так, например, года два перед тем, когда у Телешова Леонид Андреев читал свою новонаписанную драму «Самсон». За ужином произошла жестокая схватка по вопросу о задачах искусства между Леонидом Андреевым, Сологубом, Сергеем Глаголем, с одной стороны, Буниным и мною, с другой. И чувствовалась в это время с ним какая-то братская связь, и что-то трогательное было в это время в его отношении ко мне. Мне кажется, говорить он был не мастер и ему была приятна и ценна моя поддержка, как единомышленника. Так вот и теперь, мне только не совсем понятно: ведь он знал, что я социал-демократ, вероятно, знал и мой взгляд на продолжение войны. Неужели он был таких же взглядов на это? Во всяком случае, видимо, ему совершенно невтерпеж была та умеренно-либеральная и барабанно-патриотическая болтовня, которая тут лилась рекою.

Немирович-Данченко предложил высказаться мне. Я сказал приблизительно так:

— Еще совсем недавно самодержавие стояло над нами, казалось так крепко, что брало отчаяние, когда же и какими силами оно будет, наконец, сброшено. И вот случилось как будто совсем невероятное чудо: так легко, так просто свалилось это чудище, жизни которого, казалось, и конца не будет. Прямо — чудо.— Ал. Ив. Южин радостно и сочувственно закивал мне головой, видимо, испытывая то же ощущение.— Так вот я и думаю: если могло случиться одно такое чудо, то почему не смогло бы оно повториться? Почему бы нам не попытаться, говоря словами Фр. Альберта Ланге, «требованием невозможного сорвать действительное с ее петель»? Тут собрались сливки русской интеллигенции. Какой бы огромный эффект на весь мир получился, если бы эта интеллигенция, вместо того, чтобы требовать себе Константинополя и разных других лакомых кусочков, заявила бы во всеуслышание: конец войне! никаких аннексий, никаких контрибуций! Полное самоопределение народов!

В той среде, где вращался я, это давно стало банальнейшим общим местом. Но здесь это произвело впечатление взрыва бомбы.

Объявлен был перерыв. Ко мне подходили Андрей Белый, Бердяев, с которым я до тех пор не был знаком, еще многие другие и яро мне доказывали неправильность моей

точки зрения. Самое курьезное было вот что: я говорил про «чудо» просто в фигуральном, конечно, смысле, имея в виду неожиданность событий, и совершенно упустил из вида публику, перед которой я это говорил. Для Бердяева, Булгакова «чудо» — это было нечто совершенно реальное, могущее совершиться как таковое, и они мне старались доказать, что нет никакого основания ожидать такого «чуда». Бунин, кажется, моим выступлением остался доволен.

В этих кипящих спорах в фойе театра дружески, без вражды сошлись представители самых различных общественных и литературных группировок. Мне лично это очень понравилось, потому что до тех пор мы сходились с модернистами, религиозниками и всякими мирнообновленцами только на боевых публичных диспутах, где, конечно, было не до того, чтобы вслушиваться и вдумываться в высказывание противников. И тут у многих участников собрания явилась мысль о создании чего-то вроде московского клуба писателей, где бы сходились лица самых разнообразных художественных и политических установок для хорошего, дружеского обмена мнениями. Тут же этот клуб и был основан. Вошли в него: Бердяев, Булгаков, Лев Шестов, Г. А. Рачинский, Брюсов, Андрей Белый, Ив. Бунин, Борис Зайцев, кажется, Вячеслав Иванов и др. Преобладали они, а не мы. Вероятно, именно ввиду этого для компенсации выбрали председателем меня. Клуб собирался периодически до самого лета, и был на нем целый ряд интересных докладов. После лета пришла Октябрьская революция, и клуб распался. Но воспоминание о нем у меня осталось хорошее.

КАК Я НЕ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ АКАДЕМИКОМ

Было это, мне кажется, в конце 1912 или в начале 1913 года. Заседали мы как-то вечером в правлении «Книгоиздательства писателей». Иван Бунин скучающе просматривал вечернюю газету. Вдруг он с сожалением воскликнул:

— Умер Мамин-Сибиряк!.. А мы как раз собирались избрать его в почетные академики. Эх, жалко, не поспели! Тяжелая его жизнь была в последние годы. Утешили бы старика.

По окончании заседания вышел я из правления с братьями Буниными. Иван Алексеевич вдруг берет меня под руку и спрашивает:

— Как вы, Викентий Викентьевич, относитесь к институту почетных академиков?

— Нахожу, что это черт знает, что такое. Из писательской массы выделяют двенадцать человек,— почему именно двенадцать? — и награждают их словом «почетный академик». И все считают это какой-то важной наградой и смотрят на них среди других писателей, как на генералов. Не люблю генералов ни в какой области.

Бунин помолчал, потом сказал тихо и искушающе:

— А если мы вас выберем почетным академиком?

— Буду очень рад,— чтобы иметь возможность публично отказаться от этого звания и указать на всю его комичность.

— Жаль...

На следующий день звонит мне по телефону Юлий Алексеевич Бунин.

— Викентий Викентьевич, брат меня просил перего-

ворить с вами. На его юбилее, как вы знаете, присутствовало несколько почетных академиков. Между прочим, они обсуждали кандидатуры на три имеющиеся вакансии и постановили выбрать вас, как писателя-общественника, Мережковского, как представителя модернизма, и кн. Сумбатова-Южина, как драматурга. Выбор обеспечен, даже если бы остальные академики на это не пошли. Из имеющихся девяти присутствовало на совещании пятеро: брат, Боборыкин, А. Н. Веселовский, Овсянико-Куликовский и (кажется, пятым он назвал Златовратского, если он в то время уже не умер). Но вы понимаете,— конечно, если вы собираетесь отказаться, то они предпочтут вас не выбирать.

И он стал мне пространно доказывать, что это учреждение — весьма разумное, что вполне законно желание отметить заслуги достойного писателя и т. п. Тянуло меня совершить предательство,— согласиться, а потом, после выборов, с треском отказаться. Конечно, было бы небесполезно высмеять это учреждение. Но я ответил:

— Если они считают меня достойным, то должны бы выбрать независимо от того, откажусь я или нет. Пусть они действуют так, как им повелит их совесть, а я буду поступать, как мне подскажет моя.

Выборы были отложены на неопределенное время.

КОКТЕБЕЛЬ

С осени 1918 года до осени 1921 года мне пришлось прожить в Крыму, в дачном поселке Коктебель, где года два перед тем я купил себе дачу.

Прелестная морская бухта с отлогим пляжем из мелких разноцветных камушков, обточенных морем. Вокруг бухты горы изумительно благородных, изящных очертаний, которые мне приходилось наблюдать только в Греции и которых представить себе не могут ялтинцы, восхищающиеся своею безобразною Яйлосо. Коктебельская долина в сравнительно недавние еще времена представляла собою морское дно, поднятое кверху подземными силами. Вода в колодцах солоноватая, и ее еле могут пить только лошади. Намокшая от дождя земля, подсыхая, покрывается белым налетом соли, как будто инеем. Деревья растут туго, трава жалкая, и преобладает особого рода мелкий полынок, наполняющий воздух своим прелестным горьковатым запахом. Чувствуется, тут когда-то были катастрофические пертурбации, землетрясения, взрывы — и все вдруг в этом бешеном кипении и движении окаменело, с огромными пластами земли, ставшими вертикально. Справа высятся крупные утесы Карадага; на склоне его выступы скал образуют совершенно определенно человеческий профиль, несколько напоминающий профиль Пушкина. Впрочем постоянно живший в Коктебеле поэт Волошин утверждал, что это его профиль...

...Всю эту коктебельскую долину с окружающими горами, размером приблизительно в 1½ тысячи десятин, купил известный петербургский окулист проф. Юнге за баснословно дешевую цену, чуть ли не по рублю за десятину и поселился там. Он развел у себя большой виноград-

ник. Занимался сельским хозяйством. После смерти старика сыновья его стали продавать участки под дачи. Но место было мало известное, и вначале заселение шло очень медленно. Первыми поселенцами были: Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта, доктор Теш, доктор М. П. Манасеин и др. Постепенно дачный поселок разрастался, и ко времени моего приезда было уже дач тридцать. Там жили: поэт Волошин, известный публицист, бывший священник Григорий Петров, поэтесса Полексена Сергеевна Соловьева — Allegro, детская писательница Н. И. Манасеина, артистка Московского Большого театра М. А. Дейша-Сионицкая, артист Петербургского Мариинского театра бас В. И. Касторский, историк искусства А. П. Новицкий.

Представительницей порядка, благовоспитанности, комильфотности и строжайшей нравственности была М. А. Дейша-Сионицкая. Представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа» был поэт Максимилиан Волошин. Вокруг него группировалась целая компания талантливых молодых людей и поклонниц, местных и приезжих. Они сами себя называли «обормотами». Сам Волошин был грузный, толстый мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни, с курчавой бородой. Он ходил в длинной рубахе, похожей на древнегреческий хитон, с голыми икрами и сандалями на ногах. Рассказывали, что вначале этим и ограничивался весь его костюм, но что вскоре к нему из деревни Коктебель <пришли> населявшие ее крестьяне болгары и попросили его надевать под хитон штаны. Они не могут, чтобы люди в подобных костюмах ходили на глазах у их жен и дочерей.

Мать Волошина носила обормотское прозвание «Пра». Это была худощавая мужественная старуха. Ходила стриженая, в шароварах и сапогах, курила. Девицы из этой обормотской компании ходили в фантастических костюмах, напоминавших греческие, занимались по вечерам пластическими танцами и упражнениями. Иногда устраивались торжественные шествия в горы на поклонение восходящему солнцу, где Волошин играл роль жреца, воздевшего руки к богу — солнцу. Из приезжих в обормотской компании деятельное участие принимали писатель А. Толстой, художник Митулов и др. Они были постоянными посетителями кабачка «Бубны», расписанным их художниками, содержав-

шегося греком Синапла. Устраивали кошачьи концерты представителям враждебной партии, особенно Дейше-Сионицкой

Дейша-Сионицкая явилась основательницей общества благоустройства дачного поселка Коктебель. До этого времени мужчины и женщины купались в море кто где хотел, и это, конечно, очень стесняло многих женщин. Общество благоустройства разделило пляж на отдельные участки для мужчин и женщин и поставило на границах столбы с надписью в разные стороны «для мужчин» и «для женщин». Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина. Волошин выкопал этот столб, распилил на дрова и сжег. Дейша-Сионицкая, как представительница общества благоустройства, написала на Волошина жалобу местному Феодосийскому исправнику Михаилу Ивановичу Солодилову. Солодилов прислал «Максу Волошину» грозный запрос: на каком основании он позволил себе такое неприличное действие, как уничтожение столба. Волошин ответил, во-первых, его зовут не Макс, а Максимилиан Александрович; правда, друзья называют его Макс, но с исправником Солодиловым он никогда брудершафта не пил. Что касается существа дела, то он, Волошин, считает неприличным не свой поступок, а водружение перед его дачей столба с надписью, которые люди привыкли видеть только в совершенно определенных местах.

Суд присудил Волошина к штрафу в несколько рублей.

Волошин обладал изумительной способностью сходиться с людьми самых различных общественных положений и направлений. В советское время, например, он умел, нисколько не поступаясь своим достоинством, дружить и с чекистами, и с белогвардейцами, когда Крым то и дело переходил из одних рук в другие. До революции он был в дружеских отношениях с таврическим губернатором Татищевым. Однажды, вскоре после вышеописанного происшествия со столбом, жена губернатора, проездом из Феодосии в Судак, заехала к Волошину и обедала у него. А исправник Солодилов, как тогда полагалось, дежурил у выхода при коляске. Губернаторша вышла, радушно простилась с Волошиным и уехала. Солодилов подошел к Волошину, взял его дружески под руку, отвел в сторону и сказал:

— Максимилиан Александрович, вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. Пожалуйста, называйте меня Мишей.

Волошин был человек большого ума и огромнейшей образованности... Вячеслав Иванов, Брюсов, Мережковский, Андрей Белый, Бальмонт, Волошин — все это были люди с широким и глубоким образованием... Но замечательно вот что: все перечисленные модернисты были люди исключительно образованные в области литературы, истории, философии, религии, искусствоведения, лингвистики, многие даже — в области естествознания, но,— по крайней мере те, с которыми мне приходилось сталкиваться,— были изумительно наивны и нетверды в вопросах общественных, экономических и политических; здесь их твердый и решительный шаг сменялся слабою колеблющейся походкой, и не стоило большого труда сбить их на землю.

Волошин был умен, образован. Но крайне неприятное впечатление производило его непреодолимое влечение к парадоксам.

Человек чрезвычайно оригинальный, он из всех сил старался оригинальничать. Чем ярче была нелепость, тем усиленнее он ее поддерживал. Он утверждал, например, что заплата очень идет к платью, но только она должна быть контрастирующего цвета,— красная на зеленом платье, оранжевая на синем и т. п. Он с самым серьезным видом повторял изречение какого-то французского острослова, утверждая, что это как будто сказал Микеланджело: что для того, чтобы дать статуе полное совершенство, нужно по ее окончании сбросить с горы. Чтобы Микеланджело сбросил своего Моисея с горы! Что Венера Милосская прекрасна и без рук— это вовсе не значит, что с руками она стала бы хуже.

— «Женская красота есть накожная болезнь». Идеальную красавицу способен полюбить только писарь. Вы посмотрите, все знаменитые красавицы отличались каким-нибудь уродством и умели заставить свое уродство признать за красоту. Или возьмите женские образы Ботичелли. Итальянца того времени привлекали здоровые, смуглые, краснощекие женщины с огненными волосами (потому что итальянки вообще черные) — для этого даже волосы мыли раствором ромашки. И вот Ботичелли дает свою красоту и завоевывает ею итальянца,— хрупкую, чахоточную девушку (оригинал — предмет любви одного из Медичи, умерла 21 года)...

Все время усиленно щеголяет знаниями.

— Заплаты, это ничего. Только нужно, чтобы они яр-

ко выделялись. Лучше всего, чтобы были дополнительного цвета: к зеленому — красные, к синему — оранжевые.

— Ну, это парадокс!

— А что такое парадокс? Это — истина, показанная с неожиданной стороны.

Утверждал, что верит в хиромантию, предсказывал судьбу по линиям руки. Лечил заговорами.

Когда Советская власть в 1919 году овладела Крымом, я заведовал в феодосийском наробразе отделом литературы и искусства и пригласил в регистратурную комиссию Волошина. Он первым делом поставил такой принципиальный вопрос:

— Известно,— сказал он,— что искусство, по выражению Оскара Уайльда, «всегда восхитительно бездейственно». Зритель переживает в театре определенные эмоции и именно поэтому перестает переживать их в жизни. Поэтому, например, если мы хотим убить в человеке стремление к борьбе, мы должны ставить пьесы, призывающие к борьбе; если желаем развивать целомудрие, то надо ставить порнографические пьесы.

На губах его играла чуть заметная самодовольная улыбка, а мне просто стыдно было за него, что и в такой момент он самым подходящим почел щегольнуть парадоксом; стыдно было перед рабочими, с изумлением и негодованием слушавшими его высказывания. Разумеется, мне, как председателю, немедленно пришлось снять с обсуждения этот «принципиальный» вопрос.

При белых он в какой-то симферопольской газете не то напечатал статью, не то дал пространное интервью, где высказывался, что естественное спасение для распадающейся России, это — объединиться под руководством... патриарха Тихона! Нужно заметить, что церковником он никогда не был, а вытекло это единственно из желания ошарашить читателя по голове хорошей дубиной.

Приезжая журналистка вместе с секретарем местного сельсовета пришли к мысли учредить шефство приезжих дачников, среди которых много бывает профессоров, писателей и пр., над деревней Коктебель.

— Я вообще враг всякой общественной деятельности. От нее никогда ничего, кроме вреда, не бывает... Зачем ликвидация безграмотности? У вас теперь есть радио, его могут слушать и безграмотные.

— Этого слишком мало. Деревня совершенно некультурная, вместо врачебной помощи прибегают к заговорам.

— И хорошо делают. Заговоры гораздо полезнее, чем всякие врачебные средства...

И пошел! Цитировал Гиппократа, Галена, Аверроэса, Авиценну, Агриппу Нетельзгеймского. Посетители слушали выпучив глаза. То, что они считали признаком глубокой темноты и невежества, рассыпал перед ними блестящий, видимо, умный и необычайно образованный человек. На прощанье он спросил посетительницу, чем она занимается.

— Я журналистка.

— Самое вредное занятие на земле!

Очень скоро у меня пропала всякая охота о чем-нибудь спорить с ним. Чувствовалось, что самой очевидной истины он ни за что не примет, если она будет в банальной одежде. Маленькие его смеющиеся глазки под огромным лбом озорно бегали, и видно было, что он выискивает, что бы сказать такое, чтобы посильнее ошарашить противника. Очень скоро это стало невыносимо скучным.

В политическом отношении он не считал себя ни большевиком, ни белым. Где-то в стихах писал, что ему равно милы и белые и красные и воображал, что стоит выше их, тогда как в действительности стоял только в стороне.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнив.
И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас, тот против нас!
Нет безразличных. Правда с нами!»
А я стою один меж них
В ревущем пламене и дыме
И всеми силами моими
Молюсь за тех и за других.

(«Гражданская война», 1919)

У власти были красные — он умел дружить с красными; при белых он дружил с белыми. И в то же время он всячески хлопотал перед красными за арестованных белых, перед белыми — за красных. Однажды при белых на одной из дач был подпольный съезд большевиков. Контрразведка накрыла его, участники съезда убежали в горы, а

один явился к Волошину и попросил его спрятать. Волошин спрятал его на чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что те даже не сочли нужным сделать у него обыска. Когда впоследствии благодарили его за это:

— Имейте в виду, что когда вы будете у власти, я так же буду поступать с вашими врагами.

Дача Волошина находилась в центре дачного поселка, на самом берегу моря. Основное ее здание представляло из себя полуовальную башню, двумя ярусами окон обращенную к морю; сзади и с боков она обросла балкончиками, галереями, комнатами, уходившими в глубь двора. Овальная башня называлась «мастерская». Это был высокий поместительный зал в два света; сбоку лестница вела на хоры, где находилось несколько мягких диванов. Широкая стеклянная дверь, задергивавшаяся золотисто-желтой, чтобы получалось впечатление солнечного освещения, занавесью, вела в соседнюю комнату, где был стол, кресла. Здесь жил Волошин. И мастерская и кабинет Волошина были во всю высоту заставлены полками с книгами; к верхним полкам вела от хор галерейка. Книг было очень много, все очень ценное по литературе французской и русской, литературоведению, философии, теософии, искусствоведению, религии, масса ценнейших художественных изданий, заграничных и русских; книг по естествознанию не замечал; поражало полное отсутствие книг по общественным и экономическим наукам. Он с гордостью заявлял, что Маркса не читал и читать не будет.

В мастерской и в кабинете была масса очень укромных ниш и уголков. На свободных промежутках стен висели портреты (преимущественно его собственные, писанные художниками разных направлений — реалистами, кубистами). При входе налево стоял гипсовый слепок бюста египетской царицы Танах; она фигурирует во многих стихотворениях Волошина. Не знаю, знаменитый ли это бюст или нет; думаю, что если был бы широко знаменит, то Волошин его у себя не поставил бы. Общее впечатление от мастерской и от всего его жилища было очень изящное, художественное и уютное. Волошин яро защищал хаотичность всевозможных пристроек, утверждая, что все здания должны создаваться не по предварительным проектам архитекторов, а стихий-

но, соответственно внутренним тенденциям развития здания...

Волошин был когда-то женат, но давно разошелся с женой. В годы 1918—21, когда я жил в Коктебеле, Волошин являлся везде с молодой, худощавой, довольно красивой женщиной, еврейкой, которую он всегда рекомендовал неопределенно-просто Томидой. Так все ее и звали. Елена Оттобальдовна ее не любила, поедом ела, она была кроткая и безответная, делала самую черную работу. Для жизни она была какая-то неприспособленная. В одной эпиграмме Волошина Томида заявляла, что

> В этот мир явилась я
> Метаться кошкой очумелой
> По коридорам бытия.

Когда я в 1926 году опять стал проводить лето в Коктебеле, Елена Оттобальдовна уже умерла, и при Волошине была Мария Степановна. Она была зарегистрирована с Волошиным, была очень энергичная и хозяйственная, ходила стриженая, в шароварах и сапожках.

Дача Волошина создавалась именно стихийно. Мать его отдавала комнаты дачникам и каждый год пристраивала новые комнатки. В глубине еще большой двухэтажный дом. В общем в даче было комнат двадцать пять. С приходом Советской власти путем больших хлопот, и собственных, и многочисленных его друзей, Волошину удалось спасти свою дачу от реквизиции. Он превратил ее в бесплатный дом отдыха для писателей и художников, и в таком виде дача просуществовала до самой его смерти. (Впоследствии она была передана Литфонду). Волошин со смехом рассказывал, что местные болгары, сами обычно сдающие на лето все в своих домах, что можно только сдать под дачников, страшно возмущались тем, что Волошин сдает комнаты бесплатно, что это «не по-коммунистически». Каждый год масса интереснейших писателей и художников съезжалась к Волошину; в мастерской устраивались разнообразнейшие литературные чтения. Волошин слушал и рисовал акварельные картинки. Он был еще и художником и писал акварели, представлявшие по большей части идеализированную природу Коктебеля. Я мало понимаю в живописи; говорили, что он подражает то своему феодосийскому другу художнику К. Ф. Богаевскому, то японцам. Меня только в этих

изящных акварелях поражали блеклые их тона, полное отсутствие знойного блеска коктебельского солнца и яркой сини моря. Писал он их чуть ли не пачками, одновременно по несколько штук, и потом раздаривал друзьям. На литературных этих сборищах очень много своих стихов читал и сам Волошин. Очень оригинальна его литературная судьба. Начал он второсортными модернистскими стихами. Но и тогда обратило на себя внимание его энергичное стихотворение, кажется, называлось оно «Ангел мщения», а начиналось так: «И ангел говорит...» Стихи его были перенасыщены ученостью, и чтобы понимать его, нужно было постоянно заглядывать в энциклопедический словарь. Однажды в Москве он читал одно стихотворение Вячеславу Иванову, и сам с гордостью говорил об этом стихотворении, что во всем мире его могут понять только два человека: он сам и Вячеслав Иванов. И в стихах своих он любил, как и во всем, слова, редко употребляемые, вместо горизонт писал окаем и т. п. Один сборник своих стихотворений он озаглавил «Иверни», и все думали, что это нечто грузинское, и тщетно искали в сборнике стихотворение, воспевающее какую-нибудь грузинскую царевну Иверни. Оказалось,— и это с большим огорчением принужден был объяснять нам Волошин,— что это — чисто русское слово, которое можно найти у Даля, и значит оно «щепки». Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом, но и тут постоянно его сосало желание оригинальничать. Помню, когда я однажды читал цикл его стихов «Путями Каина» одному умному и тонкому знатоку поэзии, М. П. Неведомскому, он спросил: сколько Волошину лет?

— За пятьдесят.

— Странно. Какое прорывается мальчишеское оригинальничанье!

Ни одного другого писателя я не встречал, который бы так охотно читал свои произведения встречному и поперечному, как Волошин. Его не нужно даже было просить, он прямо сам говорил:

— Позвольте, я вам почитаю свои стихи.

И читал бесконечно. И нужно признать, — по большей части и слушатель был рад его слушать бесконечно. Относясь «объективно» и к красным и к белым, он совершенно

искренно писал стихи, из которых одни приводили в восторг красных, другие — белых, бывало даже так, что за одно и то же стихотворение и красные и белые считали Волошина своим. В общем, однако, для Советской власти он был мало приемлем...

Сам Волошин очень большое значение придавал своему «Дому поэта» и видел в нем свое призвание, смысл и заслугу своей жизни,— как культурный очаг.

Производил он на меня двойственное впечатление. Иногда казался глубоким просветленным мудрецом Говорил:

— Наша собственность — это только то, что мы отдаем. Чего мы не хотим отдать, то не нам принадлежит, а мы ему принадлежим. Не мы его собственники, а оно наш собственник.

Иногда же казался просто шарлатаном, не имеющим в душе ничего серьезно заветного.

Печатался Волошин мало. Литературный гонорар был ничтожный. Кое-что получал от продажи своих акварелей. Существовать на это было, конечно, невозможно. Кажется, получал он ежемесячно что-то от Цекубу (Центральная комиссия улучшения быта ученых). Много помогали гостившие у него летом клиенты. Волошин целый год получал от них продуктовые посылки, так что даже менял продукты на молоко; по подписке купили ему шубу.

Он легко брал от других, но легко и отдавал.

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСИ ДЛЯ СЕБЯ»

На фоне яркой весенней зелени — великолепный конь золотистой масти, с раздувающимися черными ноздрями. На нем — нагая девушка с беломраморным телом, румяная, с алыми устами. Красиво!

Маленькая перестановка. На фоне яркой весенней зелени — нагой конь с беломраморным телом, румяный, с раздувающимися алыми ноздрями. На нем — прекрасная девушка золотистой масти, с черными губами и с черным носом. Красиво?

На баррикаде

В октябре 1917 года, в Москве. Окоп пересекал Остоженку поперек. В окопе сидели рабочие, солдаты и стреляли вниз по улице, по юнкерам. Третий день шел бой. Совершалось великое и грозное. Не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой.

Стреляли. Продвигаться вперед с одними винтовками, без артиллерийской подготовки, было трудно. Но уже знали: с Ходынки идут на Хамовнический плац батареи на помощь красным. И все ждали, когда над головами завоют снаряды и начнут бить в здание штаба, где засели юнкера

На время затихла стрельба. Перед окопом озабоченно пробежала рыжая собачонка с черными ушами, остановилась у тумбы, обнюхала и побежала дальше. Вдруг быстро подняла голову и жадно стала во что-то вслушиваться. И невольно все тоже насторожились: не начинает ли артиллерия обстрел?

Но нет. Совсем не это интересовало собачонку. Было что-то гораздо важнее и интереснее: за углом в Мансуров-

ском переулке, завизжала собака, и рыжая собачонка с серьезными, обеспокоенными глазами вслушивалась в визг. Это было для нее самое многозначительное среди свиста пуль и треска пулеметов, среди гула разрушавшихся устоев старой человеческой жизни.

И из всего — самое потрясающее, почти невозможно вообразить, и что, однако, совершенно бесспорно. Год, неделя, час, секунда... Только мы, с нашим сознанием, воспринимаем их как данные отрезки времени. Чтоб нанести ответный удар врагу, человеку потребно несколько секунд. Спать человек должен каждый день. Но при соответствующих внешних условиях возможны существа, которым для нанесения удара врагу требуется наша неделя, и другие существа, которые должны спать каждую нашу секунду. Вся наша многовековая история может вместиться в одно моргание глаза какого-нибудь существа. И во время одного нашего вздоха протекло многомиллионнолетнее существование какого-нибудь микроскопического мира,— микроскопического для нас, а по существу — такого же огромного, как наш: перед вечностью миллион лет и секунда равны.

Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:

— Вот перед окнами вашего кабинета — церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. «Какая замечательная церковь! Подлинно русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!..
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя...

Это нужно зарисовать». Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа.

Зашел потом другой художник. «Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равноду-

шие русского народа ко всем небесным делам! В готике,— какой там могучий порыв к небу, все устремление — высоко вверх, к богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и тоненькие хвостики к небу. Там, дескать, нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!» Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.

Третий художник пришел. «Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!»

Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И — ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление его глазами.

У художника

Скульптор Х. пригласил меня бывать на его субботних журфиксах. Пришел. Большая мастерская, по стенам гипсовые маски, старинное оружие; намеренно слабое освещение затененных лампочек, две развесистых пальмы, в сумраке остро вспыхивают бриллианты в серьгах и кольцах женщин. Хозяин познакомил меня со своей женой. Обыкновенное, средней миловидности лицо, не привлекающее внимания.

Сидели. Говорили о Родэне. Жена скульптора участвовала в разговоре и разливала чай. В углу около меня белела мраморная головка. Я залюбовался ею. Тонкие черты лица, какое-то глубокое душевное изящество. И ненарушимо целомудренная чистота губ. Светло и чисто становится в душе, когда видишь такие лица. Но как же редко приходится видеть их в жизни!

Ко мне подошел художественный критик.

— Правда, замечательный бюст! Наталья Александровна, как живая.

— Какая Наталья Александровна?

— Тише! Хозяйка дома, разве вы не знаете? Вон, чай разливает.

Я взглянул и с изумлением увидел: да! Мраморный бюст в углу — это она! Как же я этого раньше сам не заметил? То же душевное благородство в тонких чертах лица,

та же трогательная целомудренность — не девушки, а замужней женщины, особенно трогательная и ценная.

Она продолжала разговаривать, угощала гостей чаем. Мне уже не хотелось смотреть на мраморный бюст в углу,— он свое дело сделал, раскрыл мне глаза на живое. Я не сводил глаз с хозяйки и недоумевал: как же это я раньше не заметил того, что так победно и убедительно било мне теперь в глаза?

Как будто совсем одно и то же,— и как оно может быть совсем различным, совсем друг на друга непохожим! «Леда в объятиях Юпитера» Микеланджело или «Ио в объятиях Юпитера» Корреджио — какая высокая, какая чистая красота! А изображается акт совокупления! А в той же берлинской Национальной галерее картина того же Корреджио «Леда и Юпитер» — чистейшая порнография. В числе других снимков я купил и снимок с этой картины — и очень быстро уничтожил: противно было смотреть на эту гадость.

Или вот: сколько есть сладострастных, а то и совсем порнографических стихотворных описаний того же акта. Нельзя даже себе представить,— как иначе можно это описать? А вот прочтите следующее стихотворение Пушкина:

> Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
> Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
> Стенаньем, криками вакханки молодой,
> Когда, виясь в моих объятиях змеей,
> Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
> Она торопит миг последних содроганий.
>
> О, как милее ты, смиренница моя,
> О, как мучительно тобою счастлив я,
> Когда, склонясь на долгие моленья,
> Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
> Стыдливо-холодна, восторгу моему
> Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
> И разгораешься потом все боле, боле —
> И делишь наконец мой пламень поневоле.

В сущности, подробнейшее чисто физиологическое описание двух половых актов,— с страстной женщиной и с женщиной холодной.

А какая целомудренная красота и какая чистота! Когда С. Т. Аксаков прослушал это стихотворение, он побледнел от восторга и воскликнул:

— Боже! *Как* он об *этом* рассказал!

Писатель — это человек, специальность которого — писать. Есть изумительные мастера этого дела.

Художник — человек, «специальность» которого — глубоко и своеобразно переживать впечатления жизни и, как необходимое из этого следствие,— воплощать их в искусстве.

Не люблю римскую литературу. Горячо, до восторга, люблю литературу эллинскую. Потому что не люблю писательства и люблю художество. Все римские поэты — писатели, изумительнейшие мастера слова. Это все время замечаешь и изумляешься,— как хорошо сделано! А у эллинов,— пусть и у них мастерство изумительное,— у них этого мастерства не замечаешь, дело совсем не в нем, а в том внутреннем горении, которым они полны.

Новейшие литературы — русская и французская. У нас — художество, у французов—писательство. И какое писательство! Куда нам до них! И все-таки можно только гордиться, что у нас его нет.

Впрочем, есть исключения и у нас и у них. Полоса нашего старшего модерна: Мережковский, Вячеслав Иванов, Брюсов — типичнейшие писатели. У французов же чудеснейшие художники: Бодлер, Верлен. Я бы сказал еще с особенной охотой: и Мопассан. Но и у него — какие провалы в болото писательства! Рассказ, как кормящая женщина в вагоне тоскует, что ей распирает грудь молоком. И будто бы не знает, как легко можно у себя отдоить молоко. И вот рабочий предлагает ей свои услуги, отсасывает молоко, и когда она благодарит его, он отвечает, что это он должен ее благодарить, что он уже два дня не ел.

Какая литературщина!

Каким неотесанным самоучкой кажется Гомер рядом с Вергилием! Как корявы порою его стихи, как неубедительны ритмы, как примитивны аллитерации, как ненужны проскакивающие иногда банальнейшие рифмы! То ли дело Вергилий: точный, сжатый стих, богатейшая звукопись, ритмы, точно соответствующие содержанию, изумительные аллитерации...

И все-таки — просто смешно ставить их рядом. Великан Гомер и рядом, по колено ему,— Вергилий. Когда я читаю Гомера, вокруг меня начинает волноваться сверкающая

стихия жизни, я чувствую молодую бодрость в каждом мускуле, я не боюсь никаких ужасов и бед жизни, передо мною в чудесной красоте встают «легко-живущие» боги,— символы окружающих нас сил.

И я чувствую, что Гомер поет, потому что не может не петь, потому что горит душа и пламенными языками рвется наружу. Лев Толстой писал про него Фету: «этот черт и поет и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать».

Когда читаю «Энеиду» Вергилия, чувствую перед собою с огромным мастерством рассказанную сказочку о приключениях выдуманных героев, о действиях богов, в которых ни сам Вергилий не верит, ни мы с вами. То же и с «Освобожденным Иерусалимом» Торквато Тассо. Даже смешно и как-то неловко в душе: на что тратят люди время,— на сказочки! А у Гомера просто забываешь, что рассказывает он сказки, настолько важно в нем совсем не это, а то, чего и следа нет ни у Вергилия, ни у Тассо.

Очень труден вот какой вопрос, и я над ним много ломаю голову.

Есть писатели беспринципные, подделывающиеся под текущие требования,— эти способны обмануть только очень наивных читателей. Есть писатели великого горения и великой искренности; они пишут, по избитому выражению Берне, «кровью своих жил и соком своих нервов»: Глеб Успенский, Гаршин, Короленко.

Но вот еще большой разряд писателей...

...Два различных плана,— план жизненный и план творческий,— они глубоко присущи очень многим художникам. Пушкин до конца жизни изумлял знавших его большим цинизмом в отношении к женщинам,— а в творчестве своем давно уже дошел до чистейшего целомудрия, какое редко можно встретить у какого-нибудь другого художника. Это, конечно, не притворство было и не подделка,— на высотах творчества для него органически противны были всякое любострастие и цинизм...

Лет десять назад я выпустил книгу о творчестве Пушкина под заглавием «В двух планах». Там, в сущности, я

доказывал то самое, что сам Пушкин говорит о себе: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен... Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...» Книга вызвала дружные нападки. Критики считали нужным «заступиться» за Пушкина, доказывали, что в своих произведениях он был «вполне искренен» и т. п. Все это било совершенно мимо существа вопроса и нисколько не помогало разъяснению дела. А вопрос важный, трудный и до сих пор до странности мало разработанный.

В десятых годах в Москву приезжала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан. Один офицер, похабник и циник, побывал на ее вечере, где она танцевала седьмую симфонию Бетховена и «Музыкальное мгновение» Шуберта. После вечера он с недоумением сказал:

— Ваши Бетховены и Шуберты меня нисколько не интересуют, любая оперетка гораздо интереснее. Я пошел на вечер только потому, что Дункан, мне говорили, танцует почти совсем голая И знаете, вот странно: я не заметил, голая она танцует или не голая!

Танцы Айседоры Дункан были изумительно чисты и целомудренны. Танцевала она в одной кисее, но нагота ее прекрасного тела тоже вызывала совершенно чистое чувство.

Тем неожиданнее впечатление от ее посмертной книги «Моя жизнь». С неслыханно-смелой откровенностью, нигде, впрочем, не переходящею в цинизм, она рассказывает о своих бесчисленных любовных связях с мужчинами самого разнообразного сорта. Запоминается молодой человек, сопровождавший Айседору в ее путешествиях,— возивший с собою шестнадцать чемоданов, и из них один — весь набитый галстухами. Запоминается, как она тщетно старалась обольстить Станиславского. Видимо, натура была очень чувственная и страстная. Великолепны могли бы быть у нее и соответственные танцы — какой-нибудь вакханки или одалиски.

Но откуда шло это божественное целомудрие и чистота ее танцев?

Художество делает самое малое большим. Как будто заглянешь в маленькое окошечко — и вдруг раскинутся пе-

ред глазами широчайшие дали, и сердце дрогнет от волнения.

Когда-то в журнале «Русское богатство» был помещен рассказ Л. Мельшина «Пасынки жизни». В нем описывалась бедственная жизнь почтовых чиновников. Хороший рассказ. И из него с полнейшею очевидностью вытекало заключение: да, совершенно необходимо увеличить жалованье почтовым чиновникам!

А вот «Живой труп» Льва Толстого. Вдребезги разбита жизнь хороших людей только потому, что существует нелепый закон, запрещающий развод. Что же «вытекает» из драмы? Что необходимо отменить такой закон? Нет. В окошечке распахивается широчайшая даль, и в ужас приходишь, как люди способны калечить своими нормами и схемами живую человеческую жизнь.

Картина французского художника Жоффруа «В больнице» (в Люксембургском музее в Париже). Лежит на больничной кровати девочка, а рядом на стуле, задом к зрителю, сидит пришедший проведать девочку ее отец — рабочий. Видна только его согнутая спина. Но вся труженическая жизнь его и вся угнетенность его чувствуются в этой понурой спине.

Серовский портрет Веры Мамонтовой. Сидит девушка-подросток за столом, на столе персик. Только всего. А чувствуется вся поэзия минувших «дворянских гнезд».

Истинный

Возле буфета на маленькой эстраде играл оркестр. Обыкновенный ресторанный оркестр. Две скрипки, флейта, виолончель, контрабас и пианино. Посетители громко разговаривали за столиками, смеялись, улыбающимися губами шептали на ухо женщинам признания, никто музыки не слушал. А оркестр играл сладкие вальсы и задорные попурри, и от звуков его люди, не замечая этого, весело пьянели, как от вина.

Я сидел в углу за стаканом вина, задумался. И вдруг слышу, что-то радостно поет в душе, как-то стало хорошо. Откуда это? Виолончелист играл соло с аккомпанементом пианино. Сквозь ветви пальмы видна была его большая голова в куче мелко-кудрявых волос, бритое крупное лицо и пенснэ. За его спиною, на стойке буфета, розовели пучки

редиски, и оранжевые раки грудою лежали на блюде. Играл он очень хорошо, и это от его музыки так светло запело у меня в душе. Мне странно стало: как же это его никто не слушает? За столиками смеялись, громко разговаривали.

Я вглядывался в музыканта. Для кого он играет? Когда он видит, что его никто не слушает,— как можно так играть? А он повернул голову к аккомпаниатору и что-то нетерпеливо ему сказал, очевидно, что тот не так ему аккомпанирует, как нужно. Господи, да неужто ему не все равно? Ведь никто не слушает.

Кончил. И даже взгляда не бросил на публику. Даже краешком глаза не попытался проверить, не слушал ли его кто-нибудь. Снял ноты с пюпитра и спокойно стал разговаривать с пианистом.

Хотелось мне хоть сочувственно кивнуть ему головою, но он на меня не смотрел.

Привет, товарищ! Ты достиг высшего, к чему должен стремиться художник. Ты сделал свое дело, донес до людей, что хотел донести. А сам спокойно отвернулся. И если бы я неожиданно захлопал, ты с недоумением взглянул бы на меня и сконфузился.

Весна 1913 г. Киев

Великим хочешь быть,— умей сжиматься.
Все мастерство — в самоограниченьи.

Это Гете сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством,— умением «сжиматься» до крайних пределов.

Статуя Аполлона Бельведерского. Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видно из слова «клубясь». Что можно прибавить к этому описанию?

Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму:

Какой-то стихотвор,— довольно их у нас! —
Прислал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет «розожелтый» облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов,
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец спросил,—
Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?
«Ему пятнадцать лет»,— Эрата отвечает.
«Пятнадцать только лет?» — «Не более того».
— «Так розгами его!»

Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин:

Мальчишка Фебу гимн поднес,
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему вопрос?» —
«Пятнадцать».— «Только-то? Эй, розгу!»

Одной маленькой черточкой, буквально двумя словами, Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершензон когда-то указывал на следующие стихи из «Евгения Онегина». Татьяна написала письмо Онегину.

Но день протек, и нет ответа,
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна, как тень, *с утра одета*,
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Она ждет ответного письма Онегина. Но — она «с утра одета». Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяна ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина.

Мать Татьяны собирается везти ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей в «забвенью преданный возок».

На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый.

Почему «бородатый»? Форейторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать-двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» форейтором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. (Наблюдение насчет форейтора сделано Г. Б Орентлихером, концертмейстером Радиокомитета.)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужою сетью не позволили бы себе работать. Не сами же ребята могли закинуть сеть и вытащить мертвое тело! Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен.

«Где ж мертвец?» — «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

На песке был разостлан для просушки невод, волны выбросили на него мертвое тело, и у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом.

Очень также характерно в этом отношении и стихотворение Лермонтова к А. О. Смирновой. В первоначальном виде оно было такое:

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Стесняем робостию детской,
Нет, не впишу я ничего
В альбоме жизни вашей светской,
Ни даже имя своего.
Мое вранье так неискусно,
Что им тревожить вас грешно.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать! Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»:

Он весь кипит как самовар...
Иль как отверстие вулкана
Или — сравнений под рукой
У нас довольно — но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой...

Это действительно характерная особенность Пушкина,— он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ — только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям.

Зачем оригинальному художнику *стараться* быть оригинальным? Микеланджело. Душа переполнена небывалыми, никем никогда не воплощенными образами. Безбородый, голый Христос с торсом и с чудовищными мускулами Геркулеса. Богородица с трупом сына на коленях,— нежная шестнадцатилетняя девушка. Могучая мужская фигура «Ночи» с прилепленными конусами женских грудей. Одно только нужно: смелость быть самим собой.

— Epatez le bourgeois! — Ошарашивай мещанина! Как это характерно для средненького таланта и для бездарности! Провел ли бы Микеланджело хоть одну линию резцом, написал ли бы Бетховен хоть одну ноту, чтоб кого-нибудь «ошарашить»?

Я не знаю, было ли это напечатано. Я это слышал от лиц, близко знавших художника В. И. Сурикова. Его картина «Утро стрелецкой казни». Утренние сумерки. Лобное место. На телегах — привезенные на казнь стрельцы с осунувшимися от пыток лицами, с горящими восковыми свечами в руках. Солдаты-преображенцы. Царь Петр верхом распоряжается приготовлениями к казни. Смутно вырисовываются виселицы.

Когда Суриков уже кончал картину, заехал к нему в мастерскую Репин. Посмотрел.

— Вы бы хоть одного стрельца повесили!

Суриков послушался совета, повесил. И картина на три четверти... потеряла в своей жути. И Суриков убрал повешенного.

Эмиль Золя.— «Брюхо Парижа», глава 1. Витрина колбасной лавки. «Выставка была расположена на подстилке из мелко нарезанных обрезков голубой бумаги; местами тщательно разложенные листья папоротника обращали некоторые тарелки в букеты, окруженные зеленью. Это был целый мирок вкусных вещей, жирных и таявших во рту. Сперва, в самом низу, у стекла, шел ряд банок с жареными ломтиками свинины вперемежку с банками горчицы. Повыше лежали маленькие окорока с вынутою костью, такие красивые, круглые, желтые от тертых сухарей. Затем следовали большие блюда: красные и лоснящиеся страсбургские языки в шпеке, казавшиеся кровавыми рядом с бледными сосисками и свиными ножками; черные кровяные колбасы, свернувшиеся, точно безвредные ужи; ливерные колбасы, сложенные по две, готовые лопнуть от избытка здоровья; простые колбасы, похожие на спину певчего в серебряной мантии...» И так долго еще, долго! Больше, чем столько же! И подумать, что еще несколько десятков лет назад могли это читать вполне серьезно и не принимать за величайшее издевательство над собой!

Как легко было так писать! Взял записную книжку, стань перед витриной и пиши! Описывать наружность человека: лоб у него был белый и открытый, густые брови нависали над черными вдумчивыми глазами, нос... губы... волосы... И так дальше. Или обстановку комнаты: посреди стоял стол, покрытый розовою скатертью с разводами; вокруг стола было расставлено пять-шесть стульев... Комод в углу... В другом углу... И так дальше. А нужно-то совсем не так: закрой глаза и вдумайся, дай себе отчет: что тебе больше всего бросилось в глаза в данном лице или обстановке? И этими-то двумя-тремя чертами,— но чертами характерными, яркими,— все и опиши. И довольно.

Бунин.— 1915 г. В текущих альманахах и журналах время от времени появляются рассказы Ив. А. Бунина. И

каждый из них вполне справедливо вызывает бурный восторг критики и именуется шедевром. И верно,— истинный шедевр. Но вот что странно: говорить об этих шедеврах *решительно нечего*. О любой безвкусной и далеко не шедевренной вещи Л. Андреева можно проговорить два-три часа, о «В<ойне> и м<ире>» — целый вечер, о «Фаусте» — десяток вечеров. А тут — шутка ли: «шедевр!» — а больше сказать нечего. И обыкновенный тон критич<еского> отзыва такой:

«На первом месте, бесспорно, нужно поставить рассказ И. Бунина, представляющий истинный шедевр. За ним следуют...» И на следующих критик оживает, спорит, возражает...

Как будто помещена при входе в рай — икона. Каждый благоговейно крестится,— «шедевр!» — прикладывается к иконе с облегченным сердцем и проходит дальше...

Когда вы описываете мужчину, женщину, местность, думайте всегда о ком-нибудь, о чем-нибудь реальном.

Стендаль.

Это — глубоко верное замечание. Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека — на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу. И тогда уж прилепись к этому человеку целиком. И он даст тебе массу самых неожиданных и прелестных деталей, которые оживят задуманный тобою образ до неузнаваемости. То же и с пейзажем. Сила Льва Толстого, что он всегда делал так.

Нужно кончать описывать природу раньше, чем читатель может заметить, что автор ее описывает.

«Иван Петрович подошел к столу. Он был очень весел».

Прочитав что-нибудь подобное, всякий считает себя обязанным притвориться идиотом и спросить:

— Кто был весел? Стол?

Гомер нисколько не стесняется говорить: «он побежал», раз по смыслу понятно, о ком идет речь, хотя бы в предыдущей фразе дело шло о столбе.

У настоящего художника никогда не найдешь никакого правоучения. «Нравоучение» у него вытекает из самого описания жизни, из подхода его к ней. Ему не нужно писать: «Как это возмутительно!» Он так опишет, что читатель возмутится как будто сам, помимо автора. А равнодушный халтурщик — для него совершенно необходим в конце «закрученный хвостик нравоучения». Иначе читатель воспримет все как раз даже наоборот. Как в известном рассказе Чехова «Без заглавия». Воротился настоятель в свой монастырь из большого города и с ужасом стал рассказывать о нечестии и разврате, царящих в городе.

Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека вино отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости!

Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, настоятель проклял дьявола и ушел в свою келью.

Удивительно ли, что наутро в монастыре не осталось ни одного монаха? Все они бежали в город.

Дворянские беллетристы шестидесятых — семидесятых годов — Болеслав Маркевич, Авсеенко, Всеволод Крестовский и пр.,— когда выводили благородного дворянина, то писали о нем так:

— Погоди ж ты!— процедил князь Троекуров, побледнев.

Если же речь шла о семинаристе-нигилисте, то писалось так:

— Погоди ж ты! — прошипел Крестовоздвиженский, позеленев.

Теперь, с других, конечно, позиций, повторяется совсем то же самое. Герои симпатичные бледнеют и цедят, несимпатичные — зеленеют и шипят. Я просто не могу понять, как после Льва Толстого можно так писать.

Когда новый переводчик берется за перевод классического художественного произведения, то первая его забота и главнейшая тревога,— как бы не оказаться в чем-нибудь похожим на кого-нибудь из предыдущих переводчиков. Какое-нибудь выражение, какой-нибудь стих или двустишие, скажем даже,— целая строфа, переданы у его предшественника нельзя лучше и точнее. Все равно! Собственность священна! И переводчик дает свой собственный перевод этого места, сам сознавая, что он и хуже, и дальше от подлинника. Все достижения прежних переводчиков перечеркиваются, и каждый начинает все сначала.

Такое отношение к делу представляется мне в корне неправильным. Главная, всеоправдывающая и всепокрывающая цель — максимально точный и максимально художественный перевод подлинника. Если мы допускаем коллективное сотрудничество, так сказать, в пространстве, то почему не допускаем такого же коллективного сотрудничества и во времени, между всею цепью следующих один за другим переводчиков? Все хорошее, все удавшееся новый переводчик должен полною горстью брать из прежних переводов,— конечно, с одним условием: не перенося их механически в свой перевод, а органически перерабатывая в свой собственный стиль, точнее,— в стиль подлинника, как его воспринимает данный переводчик.

Совсем не страшны и очень мало вредят писателю самые ярые на него нападки в печати и самые уничтожающие критические статьи. Человеку самолюбиво кажется: вот, нет никого, кто бы не прочел обидной для него статьи, все только о ней говорят. А на деле,— кто и прочел, тот очень скоро забыл, а уж через месяц никто и не помнит. Только в очень редких случаях критический отзыв может быть губителен для писателя,— когда отзыв принадлежит очень авторитетному лицу, а сам писатель — неважный, не способный делом своим опровергнуть отзыв критика. Так было, например, с отзывом Добролюбова о магистерской диссертации Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Всю литературную карьеру профессора Ореста Федоровича Миллера испортил этот суровый отзыв. Но столь же суровая статья Писарева о Щедрине — «Цветы невинного юмора»— нисколько Щедрину не повредила.

Но вот что страшно, вот что убийственно для писателя,

вот от чего он никогда не сможет целиком оправиться. Это — меткая эпиграмма или слово, подцепляющее какую-нибудь характерную слабую сторону писателя. Никакие самые презрительные и ругательные статьи не повредили Леониду Андрееву так, как повредил добродушно-насмешливый отзыв Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Иному читателю и стало бы страшно при чтении Андреева, но он вспоминает Толстого и повторяет: «Он пугает, а мне не страшно!»

Убийственны были прозвища и словечки, которыми высмеивал того или другого писателя оголтелый Виктор Буренин, критик рептильной газеты «Новое время». Все презирали Буренина, но словечки его и прозвища часто неотрывными ярлыками навсегда прилеплялись к писателю. С его руки, например, пристали к Петру Дмитриевичу Боборыкину прозвание «Пьер Бобо» и слово «боборыкать». И читатель, берясь за новый роман Боборыкина, говорил, улыбаясь:

— Посмотрим, что тут набоборыкал наш Пьер Бобо!

Извольте-ка после этого захватить читателя!

Был беллетрист и корреспондент Василий Ив. Немирович-Данченко. Он вечно завирался в своих корреспонденциях самым фантастическим образом. Буренин прозвал его «Невмерович-Вральченко». И одно это прозвище с гораздо большим успехом подорвало доверие к его сообщениям, чем сделали бы это самые обстоятельные опровержения и изобличения.

Или из современности. Демьян Бедный писал про правоэсеровского публициста Питирима Сорокина:

Пити-пити-питирим!
Питирим, тирим, тирим!

И все воробьиное легкомыслие писателя налицо

Трудное это и запутанное дело — писательство. Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри. Между тем обычная история жизни писателя: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. И вот — человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. И нет уж писателя. Начинаю-

щий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. Придет время, и то же писательство самотеком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше.

Не говорю уж об этом. Но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. Варка в собственном соку. А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал».

Нужно в жизни жить, работать в ней — инженером, врачом, педагогом, рабочим, колхозником.

— Хорошо, а когда же тогда писать?

— Когда? После работы. В дни отдыха. В месяц отпуска.

— Много ли тогда напишешь?

— И очень хорошо, что немного. Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. А так, по совести сказать, взять почти у любого писателя полное собрание его сочинений,— много ли потеряет литература, если выбросить из него три четверти написанного?

Когда в загорающемся сиянии славы, средь гула восторженных приветствий в литературу вступает молодой талант, мне всегда бывает за него страшно и больно. Как будто на большой высоте человек пошел по слабо натянутому канату. Знает ли он, какой это опасный путь, знает ли, что из многих десятков людей до конца дойдут, хорошо, если двое, трое? Знает ли, что с каждым шагом все больше должна расти его строгость к себе, что не нужно прислушиваться к доносящимся снизу восторженным крикам и рукоплесканиям? Можно все это знать, и все-таки голова начинает сладко кружиться, исчезает подобранность тела, ноги бойко и развязно ступают по канату,— и летит человек вниз, и расшибается насмерть. И никто даже не ахнет, не подбежит к его трупу. Равнодушно поглядят и скажут:

— Еще одна несбывшаяся надежда!

Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижал требовательность к себе, с каждым успехом начинало писаться «легче». И как в это время бывал полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встре-

ча критики!.. Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее.

И вот это еще. «Небес избранник», «божественный посланник». И теперь сплошь да рядом писатель серьезнейшим образом начинает считать себя таковым. Писательский труд — это какой-то совсем особенный труд, высоко возносящий писателя над серою толпою. После этого труда всякий другой, обычный труд — оскорбителен, презренен. Стал человек в этой области инвалидом,— выдохся, писать больше не о чем. Но сам по себе крепчайший мужчина, хоть барки грузить. Но он предпочитает бездеятельно ждать исчезнувшего «вдохновения» и быть вечным клиентом Литературного фонда.

Знавал я одного поэта, бывшего рабочего. Хороший был поэт, отмеченный и читателем и критикой. Как-то он сказал мне:

— Подыхаю от нищеты! Что можно заработать стихами!

Я вспомнил, что он был прежде электромонтером. А я как раз только что въехал в новую квартиру, нужно было проводить в ней электричество. Я ему предложил:

— Вот! Не возьметесь ли?

Он оглядел меня так, как если бы я изящному денди предложил в заплатанном и затасканном костюме войти для танцев в бальный зал. Ответил неохотно:

— Я это дело давно уже бросил.

И отошел.

«Автор одного произведения»... Их много у нас. Грибоедов. Сухово-Кобылин — трилогия. Ершов, автор «Конька-Горбунка». Д. Гирс — неоконченный роман «Старая и новая Россия» в «Отечественных записках» за 1868 год. А прожил (и писал) до 1886 года. А. Л. Боровиковский — в семидесятых годах лучший после Некрасова поэт «Отечественных записок», очень несправедливо забытый.

Хороши были у него не только гражданские стихи, но и стихи другого рода. Помню, например, из одного стихотворения такое четверостишие:

Пусть говорят — ночная полутень
Введет в обман и призраки покажет.
Нет, только ночь тебе всю правду скажет,
А дню не верь: обманывает день!

Молодежь того времени списывала его стихи и учила наизусть. А он даже не издал их отдельною книжкою. Стал впоследствии крупным деятелем по судебному ведомству и автором специальных трудов по гражданскому праву. Из более новых: Найденов — «Дети Ванюшина», Тимковский — «Сильные и слабые». Благо было тем из них (Сухово-Кобылин, Боровиковский), которые сказали, что могли сказать, и спокойно замолчали. Для большинства же это единственное их произведение стало отравою, заразившею кровь на всю жизнь. Нечего больше сказать, нет потребности сказать, все сказано,— а пишут, пишут, пишут... Какое оскорбление и литературы и самих себя! Неужели только в литературе жизнь? Неужели и без нее нельзя жить полно, глубоко и плодотворно?

Странная судьба скульптора Ф. Ф. Каменского. Всякий знает, хотя бы по снимкам, его группу «Первый шаг», находящуюся в ленинградском Эрмитаже: карапуз в рубашонке неуверенно делает шаг, а молодая мать, опустившись на одно колено, поддерживает ребенка. Каменский, родившийся в 1838 году, блестяще начал свою карьеру, еще учеником Академии получил несколько серебряных и золотых медалей, был отправлен за границу, получил звание академика. Художник А. А. Куренной рассказывал мне со слов брата Каменского: скульптор жил в Риме, женился, родился ребенок. Знаменитый «Первый шаг» его — с жены и ребенка. Жена умерла. Каменский бросил скульптуру, в начале семидесятых годов уехал в Америку и там стал жить физическим трудом. Брат посетил его в Америке. Он имел свою ферму и на ней работал. Однажды,— кажется, на чикагскую всемирную выставку — Каменский представил статую. Получил премию. И опять умолк.

Лет тридцать назад меня в упор спросила одна курсистка,— прямолинейная девица, признававшая только химию и политическую экономию:

— Скажите, как вы сами думаете: если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали,— было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?

Я ответил:

— Видите, начинается дождь. Он очень нужен для по-

севов, для травы; может быть, он определит весь урожай нынешнего года. Вот перед нами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожай бы погиб.

Наглость писательского невежества, доходящая до великолепия.

Все знают про бумеранг, метательное оружие австралийских дикарей. Благодаря приданной ему кривизне бумеранг, в случае промаха, делает полукруг и падает к ногам бросившего. Всякий легко может сделать такой бумеранг и наблюдать его оригинальный полет.

Луи Буссенар, автор очень популярных приключенческих экзотических романов. В романе «Сын парижанина» он описывает похождения двух молодых людей в Австралии. Им удается убежать от захвативших их бандитов. Невдалеке от дороги, по которой они бегут, стоит незнакомец с странным, искривленным орудием в руке. Когда они пробегали мимо, незнакомец неожиданно метнул в них тем, что у него было в руках.

Странное оружие низко неслось над землею. Тотор услышал его жужжание и отскочил, но орудие, точно сознательно, преследовало его, продолжая вертеться И вот оно ударило его по ногам. Парижанин упал на землю.

В ту же минуту ужасная пластинка сделала поворот и с дьявольскою точностью ударила по ногам Мериноса.

— Проклятие! У меня кости разбиты! — падая, проворчал янки.

Исполнив свое адское дело, орудие упало на землю. Но что за чудо! Оно тотчас же снова ожило, поднялось под углом в сорок пять градусов, описало правильную параболу и опустилось к ногам своего владельца.

И, с ученым видом знающего человека, Буссенар прибавляет:

«Бумеранг не походит ни на одно из орудий охоты или войны, противоречит всем законам баллистики, кажется чем-то невероятным и тем не менее существует. Брошенный ловко, он разбивает задние ноги исполинского кенгуру, опрокидывает громадного казуара. Причины его странных

движений объясняются различно, но никто не знает истины».

Впоследствии подобное же описание бумеранга я прочел,— увы! — у Жюля Верна в «Детях капитана Гранта».

Молитва писателя: «Господи, избави меня от корректора, а с наборщиком я сам управлюсь».

Сколько ни борись с корректором, но в конце концов он вместо «конъектура» поставит «конъюнктура», вместо «интерполяция»— «интерпелляция», вместо «цезура» — «цензура».

Через каждые пять лет перечитывай «Фауста» Гете. Если ты каждый раз не будешь поражен, сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал,— то ты остановился в своем развитии.

Меня спросила одна девушка:

— Какая идея в «Фаусте»?

Я ответил:

— Вы помните, Фауст соглашается отдать свою душу Мефистофелю, если сможет сказать мгновению: «Стой, ты прекрасно!» И это мгновение настает тогда, когда Фауст видит, что затеянное им дело обещает принести огромную пользу человечеству. Характер этого счастья таков, что Мефистофель теряет власть над Фаустом, и Фауст спасается.

Когда девушка ушла, мне стало стыдно. Как будто о простиравшемся перед нами огромном лесе меня спросили, какой в нем смысл, а я показал на молодой дубок и сказал, что из него можно согнуть великолепную дугу для телеги. Какова «идея» «Фауста»! Да разве дело в той дуге, которую можно согнуть из молодого дубка! Лес этот дает столько и материальной пользы, и красоты, и здоровья, что просто смешно говорить о дуге. В «Фаусте» на каждой странице такая неисчерпаемая глубина мысли, переживаний, настроений, жизненного опыта, знаний, что основная «идея» тут имеет значение третьестепенное.

Мне после этого было приятно прочесть в разговорах Гете, записанных Эккерманом, следующее его признание:

«Ко мне приходят и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем «Фаусте». Точно я сам знаю это и могу

выразить!.. Было бы удивительно, если б я вздумал всю столь богатую, пеструю и в высшей степени многообразную жизнь, какая изображена в «Фаусте», нанизать на тонкую нить одной всепроникающей идеи... Я собирал в душе впечатления, и притом впечатления чувственные, полные жизни, приятные, пестрые, многообразные, какие мне давало возбужденное воображение. Затем, как поэту, мне оставалось только художественно округлять и развивать эти образы и впечатления и, при помощи живого изображения, проявлять их, дабы и другие, читая и слушая изображенное, получали те же самые впечатления... Я склоняюсь к мнению, что чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно лучше».

Мы разучивали с тремя ребятами басню «Слон и Моська». Все они уже знали ее наизусть.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.

И вдруг один с недоумением спросил:

— Почему они зевали?

Я спросил других — почему? Никто не смог объяснить. Но одинаково всем троим картина представлялась совершенно определенною: толпы людей ходят за слоном и — зевают. Как могло случиться, что дети так долго не спрашивали, в чем тут дело?

Дети очень часто не спрашивают о значении непонятных слов. Это — не отсутствие любознательности, это — своеобразное стремление справиться собственными силами с непонятным словом и создать картину в меру собственного разумения [1]. Один старый писатель вспоминал, что в детстве стихотворение Лермонтова «Ангел» он читал так:

По небу по луночи ангел летел.

И ему представлялось, что «луночь» — это что-то вроде озаренного лунным светом небосклона.

---

[1] Ну что ж! Ну да! Ходят за слоном и зевают. Вот какие бывают странные существа. *(Прим. В. Вересаева.)*

До чего глуп становится самый умный человек, когда больно задето его самолюбие!

Если хочешь ценить человека, то заранее нужно скинуть со счета его самолюбие и тщеславие. Иначе, может быть, не останется для тебя ни героя, ни подвижника, ни мудреца.

Одно из великолепных исключений — Фридрих Энгельс. Для него ничего не приходится скидывать со счетов. Ведь только подумать! Огромный ум, совершенно самостоятельно пришедший к основным положениям марксистской теории. Он мог быть первым номером — и добровольно сделал себя вторым номером при Марксе. «То, что сделал Маркс,— писал он,— я не мог бы выполнить. Он стоял выше, смотрел шире, видел больше и быстрее, чем все мы, остальные. Маркс был гений, а мы в лучшем случае — таланты». И вот свой большой талант он скромно отдает на служение гению. В прямой ущерб собственной научной работе старается побольше заработать денег, чтобы дать возможность Марксу спокойно и без забот работать над «Капиталом». Все время ставит себя в тень, и справедливость должна применять большие усилия, чтобы вывести его из этой тени и поставить вплотную рядом с Марксом.

Удивительна и совершенно фантастична психология тщеславия, неумение человека давать себе должную оценку. В 1840 году прах Наполеона торжественно был перевезен с острова Св. Елены во Францию и похоронен в Доме инвалидов. Лермонтов по этому поводу написал свое известное стихотворение «Последнее новоселье». Напомню его в отрывках.

> Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
> И кричов радостных, встречает хладный прах
> Погибшего давно среди немых страданий
> В изгнаньи мрачном и цепях;
> Меж тем как мир услужливой хвалою
> Венчает позднего раскаянья порыв,
> И вздорная толпа, довольная собою,
> Гордится, прошлое забыв,—
> Негодованию и чувству дав свободу,—
> Поняв тщеславие сих праздничных забот,
> Мне хочется сказать великому народу:
> Ты жалкий и пустой народ!
> . . . .
> А вы что делали, скажите, в это время,
> Когда в полях чужих он гордо погибал?

Вы потрясали власть, избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его!
. . . .
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодованье
При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий, океан!

На эту же тему, несколько раньше Лермонтова, написал стихотворение А. С. Хомяков.

Небо ясно, тихо море,
Воды ласково журчат;
В безграничном их просторе
Мчится весело фрегат...
Дни текут: на ризах ночи
Звезды южные зажглись;
Мореходцев жадны очи
В даль заветную впились...
Здесь он! Здесь его могила
В диких вырыта скалах:
Глыба тяжкая покрыла
Полководца хладный прах.
Здесь страдал он в ссылке душной,
Молньей внутренней сожжен,
Местью страха малодушной,
Низкой злостью истомлен.
Вырывайте ж бренно тело
И чрез бурный океан
Пусть фрегат ваш мчится смело
С новой данью южных стран и т д.

Много еще. Все так же серо и тягуче. Что должен был испытать Хомяков, после вялых своих виршей прочитав стальные стихи Лермонтова? Отгадайте. Вот что:

«Между нами буди сказано,— писал он поэту Языкову,— Лермонтов сделал неловкость: он написал на смерть Наполеона стихи, и стихи слабые; а еще хуже то, что он в них слабее моего сказал то, что было сказано мною... Другому бы я этого не сказал, потому что похоже на хвастовство, но ты примешь мои слова, как они есть, за беспристрастное замечание». (Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII, М. 1900, стр. 104).

Идешь по улице:

— Господи, какая уродина!

Дряблые щеки, тусклые глаза,— набелена, нарумянена, ярко-оранжевые губы, наведенные брови... Для того, чтобы так накраситься, ведь ей нужно смотреться в зеркало. Как же она сама не замечает, как ее вид ужасен и смешон, как он ее унижает?!

Молодой Гете приучил себя смотреть с крыши страсбургского собора вниз, чтобы отучить себя от головокружения при взгляде в бездну. Он не выносил резких звуков, поэтому ходил к казарме во время вечерней зори и слушал грохот барабанов, от которого чуть не лопалась барабанная перепонка. Испытывал невольный суеверный страх при ночном посещении кладбища,— и нарочно проводил там часы. Многие военные, чтоб приучить себя «не кланяться пулям», без нужды подставляют себя под обстрел.

Это все просто и легко исполнимо. Но вот как отучить себя от страданий самолюбия? Какие для этого способы? Нет ничего смешнее и противнее кипящего самолюбием человека. Как себя от этого избавить? Удовлетворение самолюбия ведет к все большим требованиям. От поругания самолюбия оно тоже только растет. Самолюбив и нетерпим признанный мастер. Еще, может быть, самолюбивее и нетерпимее мастер непризнанный, собственным преклонением перед собою замещающий отсутствие преклонения других. Когда жизнь одергивает зарвавшегося молодого человека,—это для него очень полезно. Но как вот самому одергивать себя?

Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия и еще больше убеждаюсь в этом, когда наблюдаю товарищей писателей.

И вот — интересное наблюдение. К столетней годовщине смерти Пушкина издательство «Советский писатель» выпустило мою двухтомную работу: «Спутники Пушкина». Издательство пересылало мне все отзывы читателей об этой книге. Раз получаю пачку таких отзывов. Один более лестный, чем другой. Казалось бы, можно бы получить полное удовлетворение. Но в пачке этих писем было также очень злое и едкое письмо одной старой учительницы. Она писала, что автор копается в грязном белье Пушкина и его спутников, что он принижает Пушкина до собственного сво-

его пошлого уровня, что книгу его не следовало бы допускать в библиотеки и т. п.

И что же? Потонул этот отзыв в десятках хвалебных отзывов, компенсировался ли, по крайней мере, ими? Нет. Весь день на душе было определенно неприятное ощущение, со стороны совершенно непонятное. Ложка керосина в бочке душистого вина.

Вот. Какие способы бороться с подобными переживаниями?

Самая плохая из всех моих вещей, это — повесть «К жизни» (1908 г.). В ней как будто более или менее верно отражены настроения и переживания молодежи после разгрома революции 1905 года. Это мне еще недавно подтвердил один писатель, бывший в то время молодым и читавший с товарищами повесть эту в ссылке. Не могу также принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней «моде». Решительно все другое мое, относящееся и к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же «поддался моде» не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.

Дело не в этом. Дело в гораздо более существенном. В долгих исканиях смысла жизни я в то время пришел, наконец, к твердым, самостоятельным, не книжным выводам, давшим мне глубокое удовлетворение, давшим собственное, питающее меня до сих пор знание,— в чем жизнь и в чем ее «смысл»? Я захотел все свои нахождения вложить в повесть, дать в ней ответы на все мучившие меня вопросы. Но во-первых, ответы эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно не характерны. Это были именно только *мои* ответы, для себя. Главное же,— в художественном произведении никаких таких ответов дать невозможно. Это просто — вне функции художественного произведения. Какие «дают ответы», какие «указывают выходы» даже величайшие художественные творения мира,— «Илиада», «Божественная комедия», «Гамлет», «Фауст»? Я попытался свои искания и нахождения втиснуть в художественные образы,— и только исковеркал их, получилась вещь неуклюжая, надуманная, неубедительная. Мне просто противно ее перечитывать, и если я не отказался раз

навсегда от ее переиздания, то только потому, что повесть, как я уж говорил, в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции,— «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «В тупике», «Сестры».

Я увидел, что у меня ничего не вышло, и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме,— в форме критического исследования. Во Льве Толстом и Достоевском, в Гомере, эллинских трагиках и Ницше я нашел неоценимый материал для построения моих выводов. Получилась книга «Живая жизнь». Часть I. О Достоевском и Льве Толстом. Часть II. Аполлон и Дионис (о Ницше). Это, по-моему, самая лучшая из написанных мною книг. Она мне наиболее дорога. Я перечитываю ее с радостью и гордостью.

Искренность — дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону — и будет фальшь; в другую,— и будет цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной,— великий и очень редкий дар.

Поэт Н. М. Минский в начале девяностых годов выпустил книгу «При свете совести». Редко можно встретить более фальшивую книгу. Чувствуешь на каждой строке, как автор говорит себе: «Я ничего не побоюсь, я буду так правдив с собою, как никто еще никогда не был». И раздувает, размазывает еле заметные ощущеньица, смещает перспективу, во имя искренности лжет на себя и на других. Утверждает, например, что когда у вас умрет даже самый близкий, самый любимый человек, то, при самой искренней скорби, в глубине души у вас живет приятная мысль, что вот *я*, *я* теперь буду центром общего внимания, *я*, шатаясь от скорби, буду первый идти за гробом, и все с сочувствием будут смотреть на меня...

Вот в какого рода «искренность» можно впасть, если не относиться к ней строго и требовательно. А уклонишься в другую сторону,— и там ждет тебя циническая «искренность» Федора Карамазова или Василия Розанова.

Глаза — зеркало души. Какой вздор! Глаза — обманчивая маска, глаза — ширмы, скрывающие душу. Зеркало души — губы. И хотите узнать душу человека, глядите на его

губы. Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически-невинные глаза и развратные губы. Товарищески-радушные глаза и сановнически поджатые губы с брюзгливо опущенными вниз углами. Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут.

Умное лицо получается у человека не оттого, что он умен, а только оттого, что он много думает. Я знаю несколько женщин: у них очень хорошие, вдумчивые, умные лица, а сами они — глупые; но они серьезно относятся к жизни, добросовестно вдумываются в нее. Знавал я одного критика. Редко можно было встретить такого тупого человека. Но он добросовестно ворочал воробьиными своими мозгами,— и лицо у него без всякого спора было умное. А вот у Декарта и Канта лица совершенно дурацкие. Видно, думалось им очень легко.

— О чем вы задумались?

Добросовестно ответить на вопрос можно только через значительное время. Когда человек «задумался», в нем работает подсознательное, результатов своей работы оно еще не вынесло в сознание. Внешний вид человека в это время: брови подняты, глаза выпячены и смотрят в пространство, ничего не фиксируя. Когда человек «думает»,— вид другой: брови сдвинуты, взгляд определенный, фиксирует одну точку. Тут он сразу может ответить, о чем думает.

Воспоминание всегда прикрашивает дорогого нам человека. Вот в такой именно мере должно бы прикрашивать портрет.

Нет ничего отвратительнее и нет ничего прекраснее старческих лиц. И нет их правдивее. С молодого, упругого лица без следа исчезают черточки, которые проводятся по коже думами и настроениями человека. На старческом же лице жизнь души вырезывается всем видною, нестираемою печатью.

С о в е т л и ц е м е р а м.— Ты прикидываешься на людях энтузиастом, отзывчивым человеком, добрым товарищем. Наедине и в семье ты не считаешь нужным притворяться, и лицо твое принимает обычное, присущее тебе выра-

жение мелкого и злого эгоиста, думающего только о своих выгодах. И на лицо твое наносятся определенные черты, которые все труднее становится сгонять на людях. Лицемерь и наедине. Тогда маска твоя станет прочнее

Когда у человека большое горе, прибавочное мелкое горе уже не действует на душу. И маленькая радость ничего не дает душе. Букет цветов или варенье к чаю осужденному на казнь. Но вот странно: когда большая радость у человека,—неудержимо хочется прибавить к ней побольше еще всяких маленьких радостей: цветов, вкусной еды, вина, прогулки.

Брезгливые люди в большинстве случаев очень нечистоплотны. Долго меня это удивляло, но потом я понял, что иначе и не может быть: кто боится грязи, всегда легче обрастает ею.

Чем серее и однообразнее жизнь, тем ярче и красивее сны. Сидевшие в тюрьме хорошо это знают.

В человеческой глупости есть свои незыблемые законы.

— Трамвай идет только до Арбатской площади!

Из десяти человек один, по крайней мере, обязательно спросит:

— А дальше не идет?

Есть какие-то свои законы и в психологии лжи. Когда начинающему писателю говоришь: «У вас чувствуется подражание такому-то» , — он с неизменною закономерностью отвечает:

— Мне это и другие говорили. Но представьте себе: когда я писал свою вещь, я этого писателя еще не читал.

Один молодой человек, давший мне на прочтение повесть, и в манере и в плане до смешного представлявшую подражание «Мертвым душам»,— тоже уверял, что он в то время еще не читал «Мертвых душ».

Гомер. Боги сидят, беседуют, попивая нектар; даже потеют при усиленной работе. Даже походка, как у людей. Боги, как мужчины, «широко шагают». Богини, как женщины, семенят ногами, «походкой подобные робким голубкам». До чего убога человеческая фантазия! Везде

религии изображают бога или богов в виде людей, или животных, или их комбинации. Почему не сумели создать чего-то прекрасного, великого, одухотворенного, живого — и ничем не напоминающего живущие существа? Гениальнейший художник мог бы на этой задаче сойти с ума.

Мы ждем будущего, вспоминаем о прошедшем. Когда научимся ценить настоящее?

Самое трудное в науке счастья — научиться ощущать настоящее, как прошедшее.

Всякий двухлетний ребенок — гений, всякий пятнадцатилетний мальчик — негодяй.

Буриданов осел — что это такое? Ну, кто же не знает! Осел стоял между двумя охапками сена и никак не мог решить, в какую сторону ему повернуть голову. Так и умер с голоду. Хорошо. Ну, а кто такой сам Буридан? Владелец осла? Автор басни об осле? Вот этого почти никто не знает. Буридан был французский философ-схоластик четырнадцатого века, противник учения о свободе воли; пример с ослом он приводил в опровержение учения о свободе воли: при полной свободе воли осел умер бы с голоду между двумя одинаковыми охапками сена, потому что у него абсолютно не было бы никакого мотива предпочесть одну охапку другой. Пример и сам по себе мало удачный, и нигде в сочинениях Буридана его не находят, сомневаются даже, принадлежит ли он ему. А прославился Буридан ослом своим, можно сказать, в веках, и прославился весьма прочно. Поистине, въехал в храм бессмертия на осле, как Реомюр и Цельсий на термометрах, Рентген на своих лучах, Ампер, Вольта и Фарадей — на свойствах электричества.

Совет красавицам.— Никогда не снимайтесь в модном платье. Через десять лет вы в нем будете казаться смешною.

— Зачем вы губы себе мажете? Ведь вы же понимаете, что это — вроде вывески: «Мужчины, я вам хочу нравиться, подходите!»

— Конечно, понимаю Для того и делаю. Я очень за-

стенчива, не умею держаться так, как хотела бы. А тут они прямо по губам видят, что можно быть смелее.

Меня трогает, когда люди благодарны мне за сделанное добро. Я благодарен, когда мне сделали хорошее. Но меня глубоко возмущает, когда сделавший мне добро ждет от меня благодарности. Тогда все его добро обесценивается, мне хочется заплатить ему с процентами за сделанное и отвернуться.

В Крыму, в Коктебеле, был у меня один знакомый болгарин, крепкий хозяйственный мужичок. За какую-то провинность, совершенную больше по глупости, он был сослан на север. Я за него хлопотал, удалось устроить, что его освободили на два года раньше срока. Он пришел меня благодарить. Выложил на стол пуд винограда, несколько фунтов овечьего сыра брынзы, четверть виноградного вина. Как я ни отказывался, пришлось принять: я чувствовал, что отказом жестоко его обижу.

Осенью мы уезжали с своей дачи. Билет на поезд уже был взят. Жене сильно нездоровилось, она попросила дочь этого болгарина Анку прийти к нам в день отъезда, чтобы помочь уложиться. Утром в этот день прибежала плачущая Анка и сообщила, что прийти не может: отец велел ей идти с ним в лес собирать желуди для свиней. Что она ни говорила, в какое тяжелое положение она поставит нас своим неприходом, он ничего не хотел слушать. «Иди со мной собирать желуди».

Он расценил оказанную ему мною услугу, честно отблагодарил за нее по тарифу и все свои отношения со мною счел поконченными. С этого дня я ненавижу благодарных людей.

Студентом-медиком я работал в нашей клинической лаборатории (Юрьевского университета) над вопросом о влиянии минеральной воды Вильдунген на обмен веществ у больных и здоровых. Одним я давал натуральную воду, другим искусственную. И в статейке с отчетом об этой работе, напечатанной в одном медицинском журнале, я писал, что не следует делать никакого различия между натуральной и искусственной минеральной водой, раз химический состав их один и тот же; в натуральной воде никаких не может быть особенных, неуловимых, «мистических»

свойств, отсутствующих в воде искусственной. Поэтому я без разбора давал исследуемым лицам воду как натуральную, так и искусственную. Через десять — пятнадцать лет выяснилось, что главная сила натуральной воды — в ее *радиоактивности*, которой и следа нет в воде искусственной.

С тех пор я стал осторожнее и не спешу называть «мистикой» все непонятное и необъяснимое при настоящем уровне наших знаний.

Часто рассказывают изумительные и не подлежащие никакому сомнению случаи, когда, напр., мать в Москве с ужасом сообщает, что вот сейчас с ее сыном, находящимся в Харькове, случилось огромное несчастье. И потом оказывается,— как раз в этот день и час ее сына раздавил трамвай. Случайность? Мистика? Не знаю. Но когда я по радио слушаю концерт, даваемый в Париже, я говорю себе: а разве не может быть волн, которые тоже издалека воспринимаются особенно настроенными нервами?

Мне говорил один очень хороший и наблюдательный хирург:

— Не знаю, как это объяснить научно. Но убежден я глубоко и непоколебимо. Может быть *совершенно одинаковый* (наружно) уход за больным, а результаты разные, в зависимости от того, исполняет ли ухаживающий только свой долг — хотя бы с *идеальною добросовестностью*,— или он жадно, страстно хочет спасти больного. Смело говорю, что в последнем случае возможность выздоровления повышается по крайней мере процентов на 25. Я высказал это свое наблюдение проф. X. Он ответил изумленно: «Я это тоже заметил, но боялся говорить». И даже больше скажу. Там, конечно, где организм не отравлен безнадежно, где он борется, где часто, как, например, при тифе или при крупозном воспалении легких, все зависит от того, выдержит ли организм еще сутки,— там, я говорю, страстное желание жены или матери буквально не дает больному умереть, поддерживает его жизненные силы.

Иногда серьезно начинаешь верить в «прану» йогов и в то, что люди избыток этой жизненной силы — праны — страстным своим желанием способны переливать в других людей. На империалистической войне у меня в госпитале

было две сестры с огромнейшим запасом этой жизненной силы и подлинной любви к каждому больному, горячего желания его спасти. И что же? На их дежурстве почти ни один больной не умирал! Помню один случай. У больного была газовая гангрена ноги — делались подкожные вливания, сделана была экзартикуляция тазобедренного сустава. Я подошел: умирает. Говорю: «Через десять минут умрет. Покройте его». Уж достаточно был в этом опытен. Но — при нем была одна из упомянутых сестер. И он начал теплеть и ожил. Многое еще нам неизвестно в организме человека.

Мне рассказывал моряк, бывший в эскадре адмирала Рождественского во время японской войны. Они стояли у Мадагаскара. Периодически водолазам приходилось спускаться в море, чтобы очищать кили кораблей от нараставших ракушек. Очень при этом докучали акулы. Придумали такое средство. Дали в руки водолазу железный стержень, соединенный с электрическими проводами. Когда акула собралась напасть на него и для этого опрокинулась на спину, он нажал кнопку стержня и сунул его в пасть акулы. Акулу моментально согнуло в дугу и отбросило в сторону.

— И вот с той поры,— рассказывал моряк,— н-и о-д-н-а акула не подплыла к водолазу! Рассказала та акула другим, что ли?

Он же. В александреттской гавани затонул пассажирский пароход с людьми. Через полчаса вся бухта, обычно совершенно свободная от акул, кишела акулами,— как будто они собрались сюда со всего Средиземного моря. Каким радио все они были оповещены?

Вот что удивительно: значение света для растений мы понимаем очень хорошо; горшки с растениями мы ставим не в углы комнат, а на окна. И этим часто совершенно загораживаем свет от самих себя. Пройдитесь по улицам Москвы, поглядите на окна: по крайней мере половина их доверху заставлена растениями! Бедные дети, от которых родители загораживают и так не столь уже обильные лучи солнца!

Давно как-то мне рекомендовали обратиться за врачебною помощью к одному модному московскому врачу. Жил он где-то около Девичьего поля. Пошел. Большой зал с бле-

стяще навощенным полом, с богатою, стильною мебелью. Три окна сплошь заставлены цветами, сверху спускаются тюлевые занавесы, а перед окнами громоздятся еще густолистые фикусы и филодендроны. На дворе был солнечный весенний день, но в комнате было сумрачно. Открылась дверь в кабинет доктора,— там тоже все окна были заставлены цветами. Я повернулся и ушел: от этого доктора мне нечего было ждать.

Четвертушкою бумаги осторожно стараюсь направить трепыхающуюся бабочку с верхнего оконного стекла вниз, где окно открыто. Она мечется, бросается в стороны.

— Глупая, тебе же добра хочу!

Но она совершенно не в состоянии этого усвоить. Не потому только, что не в состоянии понять моих слов, а потому, главное, что по существу не в силах воспринять того, что я ей хочу сказать. С какой стати я, чужое ей существо, стану ей делать добро? Весь мир для нее — только среда, добыча или опасность.

Когда вдумаешься в это, то тут — своеобразный источник утешения и самого светлого оптимизма. Отчаяние берет, сколько среди людей жестокости, подлости, вероломства, себялюбия... А — почему им не быть? Что это за ребячья привычка видеть в человеке «образ божий» и в его плохих поступках — поругание этого образа? Человек — не «образ божий», а потомок дикого, хищного зверья. И дивиться нужно не тому, что в человечестве так много этого дикого и хищного, а тому — сколько в нем все-таки самопожертвования, героизма, человеколюбия. Нечего приходить в отчаяние, что у волка, ястреба, человека так много волчьего, ястребиного и... человечьего. Это вполне естественно. А вот от этого можно испытывать большую радость: сколько уж в человечестве высокой моральной красоты! И сколько ее еще будет, когда явятся более благоприятные условия!

А рядом с этим — великолепнейшее доверие к жизни у детеныша. Он убежден, что весь мир существует для того, чтобы о нем заботиться. Хочет есть,— скулит и ждет, что вот к нему протянется сосец матери; холодно,— и ждет, что кто-то его прикроет и согреет. И в мысль не приходит, что «кто-то» может оказаться существом, которое пихнет его ногою или схватит зубами.

Это была сумасшедшая ночь,— ночь под летнее солнцестояние. Царь эльфов Оберон поссорился со своею женою Титанией. Он велел озорнику эльфу Пуку отыскать цветок со странным именем «Любовь в праздности», подстерег в лесу Титанию, когда она заснула, и выжал ей на глаза сок цветка. Сок этот обладает таким свойством: человек, проснувшись, слепо влюбляется в первую женщину, которую увидит, а женщина — в первого увиденного мужчину.

Чьих век смеженных сладким сновиденьем,
Коснется сок, добытый из него,
Тот влюбится, проснувшись, до безумья
В то первое живое существо,
Которое глазам его предстанет.

Проснувшись, царица Титания увидела первым мастерового-ткача Основу. К тому же Пук из озорства превратил его голову в ослиную. Титания безумно влюбилась в него.

Много чепухи натворил с этим цветком Пук в лесу. Юноша влюбился в девушку, к которой до того был равнодушен. Другая девушка воспылала страстью к юноше, от которого отвертывалась. Титания ласкала своего нового возлюбленного. От него пахло водкой, луком и потом, на голове шевелились ослиные уши, но она страстно ласкала ослиную морду, целовала ее и находила, что нет в мире никого краше ее возлюбленного.

Мой слух влюблен в твой чудный голосок,
Как влюблены мои глаза в твой образ;
Ты силою своих прекрасных качеств
Влечешь меня к тому, чтобы признаться
И клятву дать, что я тебя люблю!..
Дай розами убрать твою головку,
Столь мягкую, столь гладкую. Позволь
Поцеловать твои большие уши...

Когда Титания заснула в его объятиях, Оберон выжал ей на глаза сок другого цветка, уничтожающий чары первого. Титания в ужасе сказала ему:

Мой Оберон, какие сновиденья
Имела я! Сейчас казалось мне,
Что будто бы я влюблена в осла!

Оберон насмешливо ответил ей:

Вот здесь лежит твой милый!

И Титания увидела, что лежит в объятиях грязного, неуклюжего мужчины с ослиною головою. И воскликнула с отвращением:

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину! [1]

Вечно летает по лесам жизни озорной эльф Пук, вечно выжимает людям в глаза сок волшебного цветка. И люди перестают видеть трезвыми глазами, на отлогом лбу с ослиными ушами видят печать мудрости и гения, в фальшивой женской улыбке усматривают глубокую задушевность, в ординарнейшей наружности — красоту небывалую. Это все творит человеческая кровь, горячо забурлившая под чарами волшебного цветка.

Приходит миг. Пук выжимает в глаза сок другого цветка, и глаза людей становятся видящими, и они недоумевают, как же они не могли раньше рассмотреть этого ослиного лба, этой вульгарности душевной, этой фальшивой улыбки, этой пустопорожней дамской болтовни.

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину!

Пук, смеясь, летит дальше, оставляя за собою ненужную трагедию и разбитые жизни.

У меня был товарищ, студент. На втором курсе он вдруг решил жениться. Мы все изумились. Он перебивался грошевыми уроками, она тоже еще училась, не выдавалась ни умом, ни одаренностью, ни характером, ни красотою,— ничем, что объясняло бы это сумасшедшее решение. Мы пытались отговорить товарища. Он приходил в ярость, заявляя, что прервет знакомство со всяким, кто будет пытаться мешать его женитьбе.

И женился.

Через месяц он пришел к нам и в отчаянии сказал:

— Как же вы мне не помешали сделать эту глупость?

— Да вспомни, что ты нам отвечал, когда мы тебя отговаривали.

— Все равно! Должны были меня связать, должны

1 «Сон в летнюю ночь» Шекспира. *(Прим. В. Вересаева.)*

были отправить в сумасшедший дом. Ведь я был в состоянии невменяемости.

И с ужасом смотрел перед собою глазами проспавшегося пьяного.

Пук с озорным смехом улетел прочь.

«Любовь»... Очень часто говорят: «Любовь», когда есть только влюбленность. Влюбленность слепа. Она головокружительным ядом отравляет кровь человека. И только когда она иссякает,— только тогда человек может решить, что это было,— влюбленность и любовь, или влюбленность без любви? А иссякает она в громадном большинстве случаев с достигнутым обладанием. Вот тогда-то только и можно бы серьезно заговаривать о любви. Строить раньше этого планы о долголетней совместной жизни — чистейшее безумие.

Брак по любви... О, это, конечно, очень хорошая вещь! К сожалению, такие браки очень редки. Чаще всего под ними разумеются браки по влюбленности. Да ведь такие браки — самые ужасные из всех! Ужаснее даже, чем холодные браки по взаимному расчету. Там люди, по крайней мере, видят, что берут.

Скажи мне, как ты относишься к женщине, я тебе скажу, кто ты.

Женщина мала в малых делах и велика в великих. Никогда мужчина не бывает так мелочен в мелочах и так самозабвенен в подвиге.

У женщин свои, во многом совсем особенные свойства ума. Мне кажется, они стесняются или еще не научились проявлять свой ум в свойственных ему формах. Есть чудесно умные женщины. И есть «умные» женщины, от которых хочется бежать,— столько у них логики и мертвого груза знаний.

Декабрист М. С. Лунин — замечательный писатель и изумительный человек,— отмечая влияние сибирского климата и ссылки на его душевное состояние, писал сестре между прочим: «Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательств, не начертывается уже пером моим».

«Слово, убеждающее без доказательств...» В этом сила оратора. В этом — и тайна успешного спора с женщиной. Никакой логикой нельзя ее убедить, если говоришь с раздражением. И нужно очень мало логики, если слово сказано мягко и с лаской. И это почти со всякой женщиной, как она ни будь умна. Эмоциональная сторона в ней неодолима. Рассказывал Леонид Андреев: однажды поспорил он о чем-то с женой; приводил самые неопровержимые доводы, ничего на нее не действует; он разъяренно спросил:

— Ну, как же тебя еще убеждать?

Она жалобно ответила:

— Поцеловать меня.

Женщины плохо пишут романы, повести и стихи. Но удивительно пишут дневники и письма.

Разрушение идолов

Стоят изображения из камня или дерева. И люди поклоняются им, считают их высшими существами, к которым непозволительно подходить даже с самой легкой критикой, которых следует благоговейно принимать такими, какие они есть.

Приходит время, и человек убеждается, что перед ним — просто каменные или деревянные куклы, что они не только подлежат критике, но что критике даже делать нечего с ними, настолько они ничтожны и ненужны; единственное, что с ними можно сделать, это отправить их на свалку или в лучшем случае в музей.

В жизни людей, в их быту, в их нравах и воззрениях,— часто даже у людей самого передового образа мыслей,— еще несчетное количество этих божков, совершенно без всяких оснований вызывающих к себе самое благоговейное отношение, не допускающее никакой критики.

Когда думаешь о том, какими правами обладает сейчас у нас женщина, берет гордость и радость за нее. То, что еще на моей памяти было явлением самым обычным, то, что и теперь вполне обычно в большинстве стран, представляется нам теперь диким, почти невероятным пережитком.

Шел я раз, студентом, по улице. Пьяный мастеровой бил свою жену, державшую на руках грудного ребенка. Он сильным размахом бил ее кулаком в лицо, голова моталась, из носу текла кровь. Я и другие прохожие кинулись к нему, закричали, пригрозили отправить в полицию. Он насмешливо вытянулся и в виде «чести» приставил ладонь к виску.

— Вин-новат-с!.. Тысячу раз прошу извинений! — Потом обернулся к жене.— Пойдем-ка домой! Там я с тобою поговорю!

Она взглянула на ребенка.

— Господи, ты-то за что страдаешь!

Зарыдала и покорно пошла следом за мужем. Там, дома,— она знала, и мы все знали,— там никто не вправе за нее заступиться, если не дошло дело до угрожающих жизни истязаний. И если бы она ушла от мужа, полиция водворила бы ее к нему обратно. Здесь же, что мы видели на улице, было не что иное, как только «нарушение общественной тишины и спокойствия».

Другой раз было. Шел по улице каракалпак с женою. Он впереди, прямой, величественно подняв голову, а сзади, по его следам — никак не рядом! — его понурая жена с тупым, рабьим лицом; на одной руке она держала ребенка, другою придерживала тяжелый узел, бывший у нее на спине. А он шагал впереди с пустыми руками.

Польский писатель Вацлав Серошевский когда-то рассказывал мне. В Японии в железнодорожном вагоне он встал и уступил место стоявшей женщине-японке. Это вызвало дружный смех и недоумение всего вагона, как у нас бы засмеялись, если бы дряхлая старуха уступила место крепкому молодому парню. И помню, в Маньчжурии во время русско-японской войны. Стояли мы обычно в китайских деревнях, жили в фанзах бок о бок с их хозяевами и имели возможность наблюдать их жизнь. И вот — обед. Сидят за столом одни только мужчины, все, начиная с дряхлого старика с редкой седою бородкой и кончая двухлетним карапузом со смешной косичкой назади. А кругом стоят и смотрят женщины — и бабушки, и жены, и сестры, и дочери обедающих. Мужчины кончат обедать, встанут, и тогда за стол садятся женщины. Сидеть за одним столом вместе с мужчинами им не полагается.

В 1910 году проездом в Египет я остановился в Константинополе. Был какой-то большой праздник, по улице дви-

гались веселые толпы, смеявшиеся, певшие, дурачившиеся. Но что-то в них было необычное, непривычное глазу, что-то не то, что на подобных же празднествах в Париже, например, или в Италии. И вдруг я понял: толпа была исключительно мужская. Не видно было женских лиц, не слышно было девичьего смеха, не было веселых ухаживаний, не было парочек, светившихся влюбленностью. Изредка только траурными тенями торопливо проходили черные фигуры женщин с опущенною на лицо густою черною вуалью-покрывалом; под нею белел выступавший кончик носа и таинственно мерцали черные глаза. Женщинам доступа на праздник не было. Им было только — скука гарема и тайный разврат через подкупленных евнухов и служанок.

Мужчина и девушка полюбили друг друга, поженились. Но, оказалось, ни по характерам, ни по воззрениям, ни по привычкам они совершенно не подходят друг к другу. Была не любовь, а влюбленность, при которой они совершенно не сумели разглядеть друг друга. Однако они поженились, повенчаны и разойтись уже не могут, прикреплены друг к другу — навсегда! Развестись можно было единственно в том случае, если одна сторона имела возможность доказать, что другая сторона совершила «прелюбодеяние». Да еще как доказать требовалось! Свидетели должны были удостоверить, что собственными глазами наблюдали самый факт прелюбодеяния. И с омерзительнейшими подробностями все это выкладывалось на суде. Наконец, развод, скажем, разрешался. Но «виновная сторона» лишалась навсегда права вступать в новый брак. Женщина, как бы она с новым мужем ни любили друг друга, могла иметь от него только «незаконных» детей и была вынуждена выносить косые взгляды и пренебрежение добродетельных законных супруг. К каким ненужным трагедиям, к каким вопиющим нелепостям вел такой порядок вещей,— перечитайте об этом в «Анне Карениной» или в «Живом трупе» Льва Толстого.

Как все это далеко от нас,— либо в пространстве, либо во времени! Совсем во всем равноправные с мужчинами, ни в какой области не уступающие им, длинною вереницею проходят перед нами стахановки полей и фабрик, ответственнейшие работницы, профессора, инженеры, летчицы, парашютистки, а не вечные только учительницы да артистки с писательницами. Смотришь на физкультурном параде: рядами проходят полунагие девушки с блестящими

глазами,— осетинки, узбечки, таджички,— стройные, мускулистые, овеянные воздухом и солнцем, не стыдящиеся своей наготы, как будто пришли к нам с какого-то древнеэллинского празднества. С ними рядом их товарищи — парни. И подумать только: матери их — и те еще продавались девочками старикам, закрывали паранджою цветущие лица, становились домашней скотиной мужа и сами считали за великий стыд открыть перед посторонним мужчиною даже лицо!

Поженились парень и девушка. Но оказались совершенно друг для друга не подходящими. Да и легко ли неопытным молодым глазам, притом отуманенным влюбленностью, с первого раза без ошибки выбрать себе на всю жизнь спутника и товарища? А у нас теперь: стала совместная жизнь невмоготу,— и разошлись, без ненужных трагедий.

Зорко охранены законом со всех сторон права женщин. Все это так. Однако до полного равноправия очень еще далеко женщине и у нас. Иногда это лежит как будто в самом существе дела. Разошлись муж и жена, у них ребенок. Муж добросовестно платит алименты. Но разве это хоть в отдаленной мере уравновешивает труд, который кладет в ребенка мать? Часто ребенок в сильной степени препятствует личной жизни матери. Полюбила она другого, тот полюбил ее. Но узнает о ребенке — и ретируется. Много еще нужно времени, чтобы в общее сознание вошел и для настоящего еще времени поистине революционный в своей области «Чужой ребенок» Шкваркина.

Часто, однако, затруднение только по внешней видимости лежит в самом существе дела, в действительности оно устранимо, хотя и не всегда легко. Лет одиннадцать-двенадцать назад я напечатал рассказ «Исанка». В нем обрисовывалось совершенно безвыходное положение нашей учащейся девушки в области любви. Условия вузовской экономики и быта не допускали возможности семьи и ребенка; аборт неприемлем; оставались для большинства уродливые, неполные взаимоотношения, растлевающие дух, несущие с собою тяжелые нервные заболевания. Рассказ вызвал длинный ряд диспутов и целый поток читательских писем ко мне. Упорно, настойчиво мне предъявляли все один и тот же вопрос:

— Где же выход? Укажите выход!

Как будто это входит в компетенцию художника. И я, конечно, отвечал: «Не знаю!»

Но вот прошел десяток лет, и мы имеем возможность наблюдать совершенно конкретное разрешение вопроса, казалось бы, неразрешимого. У нас существует целый ряд «студенческих городков»,— крупных общежитий на несколько тысяч студентов и студенток. При «городке» — своя библиотека, читальня, комнаты для занятий, столовая, буфет, всегда кипяток, прачечная, баня, почта, амбулатория, родильное отделение, ясли, детский сад. На последнем месяце беременности студентку переводят в специальную комнату для собирающихся родить. После родов помещают в комнату для родильниц; при них — их младенцы. Когда мать оправится от родов, она возвращается в общежитие, а ребенок остается с другими ребятами на попечении нянь. Матери в нужные часы приходят в комнату для кормящих и кормят грудью ребенка. Когда хочет, мать может взять своего ребенка, пойти с ним погулять. Подрастающие ребята — в детском саду. На каникулы мать может взять ребенка к себе. Если же у нее практические работы или просто ей надо отдохнуть, она уезжает, а ребенок остается на попечении «городка».

Конечно, такие «городки» — еще только отдельные островки нового быта; притом в большинстве случаев очень далекие от совершенства. Но островки эти все расширяются и обещают в будущем существенное улучшение положения женщины.

Не все, однако, можно возлагать только на перемену внешних условий. В корне должен также перестраиваться и самый характер отношений между мужчиной и женщиной. И вот тут-то мы наталкиваемся на множество идолов, о которых мы говорили, принимаемых за непререкаемые божества, и свергнуть их можно только при длительном самовоспитании мужчины и при столь же длительной борьбе женщины.

Семья. Муж, жена, дети. Заработок не настолько велик, чтобы иметь домработницу. Муж ходит на работу. Жена готовит обед, стирает белье, пеленает грудного ребенка, обшивает семью, штопает чулки и носки. Ну, что ж! Разделение труда. На это ничего не возразишь, хотя и тут иногда кажется, что разделение труда не совсем равномерное.

Но вот положение несколько иное: оба — и муж и жена — работают. И все-таки: муж, вернувшись домой, садится за газету, а жена становится за примус, ночью стирает в

кухне белье или штопает носки мужу. Часто бывает так даже тогда, когда работает только жена.

— Э, где ему! Ничего он не умеет, все у него пригорит, белье от его стирки станет еще грязнее!

Так говорят часто даже сами женщины. А мужчины, так те с величайшей охотой сознаются:

— Где уж мне! Я ничего этого не умею.

Не умеет свертеть котлет, не умеет носки себе заштопать, не умеет перепеленать ребенка, не умеет,— и теперь еще это бывает! — даже постелить за собою постель и вынести ночную посуду. Удивительное дело! Вообще говоря, человек чрезвычайно самолюбив и не так уже склонен сознаваться в своих недостатках. Но тут мужчина с великой готовностью сознается в полнейшей своей бездарности. Напрасна, товарищи, такая скромная оценка своих способностей! Не боги горшки обжигают. Первородившая мать тоже очень неумело пеленает своего ребенка. Общепризнано, что повара во всяком случае не ниже кухарок, а портные — портних. Дело тут не в бездарности мужской. Дело — отчасти в бессознательном стремлении удержать свои освященные веками привилегии, главным же образом — в особого рода самолюбии: как он будет заниматься такими «бабскими» делами!

На берегу Черного моря — комната в дачке. Нанимает ее женщина-врач с двумя ребятами. Утро. Девочка десяти лет убирает постели, подметает пол. Мальчик двенадцати лет сидит, посвистывая, и ударяет себя хлыстиком по голени.

— Почему ваш мальчик не помогает девочке убирать комнату?

И мать,— сама мать, интеллигентная! — отвечает:

— Э, это не мужское дело!

Медленно, но эволюция в этой области совершается. Еще пятнадцать лет назад невозможно было встретить на улице мужчину с грудным ребенком на руках. Теперь это стало самым обычным явлением. Носят на руках, катают в колясочке и этого не стыдятся. Не так уже стыдятся приготовить обед на керосинке. Но уже оторвавшуюся пуговицу сами себе пришивают только холостяки. Или — штопанье носков. Оно стало уже как бы символом женского порабощения, против которого женщины протестуют самым энергичным образом:

— Только предупреждаю, носков тебе штопать не буду!

Мне рассказывали про одного врача еще дореволюционного времени. Он с детства приучил двух своих мальчиков каждое утро осматривать свои носки и заштопывать дырочку при первом ее появлении. Впоследствии один сын стал инженером, другой — полковником, но эту привычку они сохранили на всю жизнь и удивлялись, почему этого не делают все, а предпочитают разнашивать носки до дыр величиною с ладонь.

Когда полным цветом распустится коммунизм, тогда большинство всех этих нудных бытовых мелочей отпадет само собою. Но пока этого еще нет, пока бытовые мелочи тяжелым грузом наваливаются на жизнь людей, нужно все идолы разрушить, нужно мужчине перестать думать, что самими какими-то предвечными законами он освобожден от ряда скучных работ, наваленных им на женщину,— стать с нею рядом, плечом к плечу, и так идти через жизнь.

Статья эта была напечатана в № 45 «Известий» за 1940 г. и вызвала очень широкий отклик в читательских массах. Письма лились потоком. Звонили по телефону. На дом ко мне приходили группы студентов и студенток человек по десять — пятнадцать. Устраивались публичные диспуты. Все это показывает, что затронут вопрос, для очень многих близкий и существенный.

Уже в день появления статьи мне позвонил по телефону студент и заявил, что возмущен моею статьею до глубины души. Я ответил:

— Я больше бы удивился, если бы подобное мне сказала женщина.

— Две женщины так же возмущены, как я: моя жена и ее подруга. Они говорят, что сочли бы для себя величайшим позором, если бы я сам штопал себе носки.

Человек двумя-тремя фразами целиком поднес себя, как на ладошке: очевидное дело,— «великий человек», и возле него лишенные собственного содержания две поклонницы, не могущие допустить, чтобы их кумир унизился до такой мелочи, как штопанье носков.

Некоторые письма мужчин полны самой неистовой злобы. Вот выдержка из одного письма:

«Бывшему писателю В. Вересаеву. С чувством стыда и брезгливости прочитал я ваш фельетон под крикливым названием «Разрушение идолов». Куда девалась ваша

замечательная чуткость, когда всякое движение в недрах общества вы умели своевременно подметить и в художественных образах показать? Что в эти драматические дни, переживаемые человечеством, вы принесли в мир? Повесть о незаштопанных штанах и носках? Пошленькие и неумные разглагольствования о неравенстве полов?.. Я предоставляю вам старчески похихикать над «обиженным мужчиной» или моей отсталостью в женском вопросе. Факт остается фактом: умер дорогой и любимый писатель В В. Вересаев. На земле доживает свой век его двойник, уже в состоянии полного умственного и нравственного распада, нудный и смешной старик»

Чтение таких писем доставляет большое удовольствие: видишь по этому кипению злобы, что попал в нужную точку.

На диспуте в авиационном институте один студент прислал такую записку: «Ведь не призывают же женщин в армию. Много специальностей есть, где могут работать только мужчины. И неужели мужчину нельзя освободить поэтому от штопанья носков, мытья пеленок и прочих мелочей?»

Однако большинство и мужских писем приветствует появление статьи. Студент Н. пишет: «С большим интересом читали мы — группа юношей и девушек — вашу статью. Спорили, волновались, еще раз перечитывали. Я видел, что некоторые мои друзья, делая вид, что разделяют основные высказывания автора, тем не менее ушли с тяжелым чувством, раздраженные, точно статья обнажила их собственные болячки. Прощаясь, один из них насмешливо заметил: «Итак, отныне я штопарь, и на посещение театра в ближайшие месяцы не располагаю временем». Меня это нисколько не удивило. Недовольство, я знаю, вызвано тем, что им жаль расстаться с многими мужскими привилегиями. Они еще цепко будут держаться за свое неприкосновенное положение в семье... Совсем недавно я был у знакомых. Он — бухгалтер, она — инженер. Личная жизнь этой семьи всегда мне казалась безоблачной. Когда я пришел, садились обедать. Она подавала к столу, мы разговаривали. Вдруг муж сердитым, повелительным голосом крикнул: «Соня! Опять нет соли на столе! Неужели каждый раз тебе надо об этом напоминать? Подай соль!» Сам он сидел в пяти шагах от шкафа и мог сам взять соль. Не удержавшись, я заметил: «Почему вы кричите из-за

такого пустяка и почему сами не возьмете соль?» Она немного покраснела за него, а он стал неубедительно доказывать ее обязанности».

Читатель с Северного Кавказа пишет: «Уважаемый дедушка Вересаев. Благодарю вас за вашу статью. Я не «идол». Я и жена — оба работаем, делаем все вместе. И дети наши будут такими же (у нас их двое — сын и дочь). Я много раз говорил соседним «идолам», как надо жить, но, кроме насмешек, ничего не получал».

Многочисленные женские письма дают огромный материал для характеристики положения женщин. Что особенно угнетает в этих письмах, это — их однообразие, говорящее о чрезвычайной распространенности отмечаемого явления.

Читательница из Свердловска рисует обычную картину, как, воротившись с работы, она берется за приготовление обеда, мытье посуды и т. д., а муж садится за газету: «Мужья с презрением и стыдом относятся к нашей работе, говоря: «Это — бабье дело». Прочитав вашу статью, мой муж в восторге от нее. Он всецело приветствует все в ней написанное и даже обещал мне, что теперь сам будет себе штопать носки. Отсюда мне уже будет облегчение. А вот обед готовить отказывается: лучше, говорит, голодный буду сидеть, но варить не буду. Ваша статья повлияла на многих мужчин. Я уже с некоторыми делилась впечатлениями, всем она нравится».

Молодой горьковский колхозник-комсомолец пишет: «Да, у нас на женщину падает вся тяжесть домашних работ. Приведу один пример из нашей сельской местности. Сейчас идут горячие полевые работы. Женщина встает рано утром, чтобы подоить корову, погнать ее в поле, а затем накормить остальных животных и птиц. После этого ей еще нужно приготовить пищу на весь день. И вот женщина возится с трех-четырех часов утра. А мужчина встает в семь часов, покурит, да и велит жене подавать завтрак. Скажу откровенно, я сам стеснялся даже принести воды, хотя видел, что необходимо помочь своей матери. Сейчас, прочитав вашу статью, я без всякого стеснения буду помогать матери во всех домашних делах».

Председатель одного из райсоветов Осоавиахима Тульской области пишет: «Ваша статья заставила меня, откровенно говоря, пересмотреть мои отношения к своей жене и изменить их. Если до этого я приходил с работы,

то, как правило, обед готовила жена, несмотря иной раз и на то, что она шибко занята ребятами. Ну, а теперь совершенно иное дело, больше я таких фактов не повторяю и в таких случаях готовлю обед сам, сам мою и убираю посуду и даже делаю другие домашние дела, которых до этого не делал. Теперь я понял, как мы, мужчины, иногда благодаря своим старым капиталистическим пережиткам не делаем женщину вполне равноправной».

К сожалению, нередко сами женщины оказывают в этом отношении моральную поддержку мужчинам. Тов. Ер. пишет: «Мне понадобилось выстирать рубашку. Ну, взял я таз, воды, мыла и учинил стирку во дворе. И что же? Женщины домохозяйки,— одна из соседней двери, другая из окна, третья тут же во дворе — с величайшим изумлением сначала, как говорится, воззрились на меня. Опомнясь от изумления, начинают с коварными улыбочками спрашивать меня: почему это я «сам» стираю? И ведь не меня они осуждают своими улыбочками, а чувствую, что осуждение их относится к моей жене, что допустила, чтобы муж «сам» стирал рубашки».

Иногда получается перегиб в противоположную сторону, и уже женщина старается перебросить все домашние заботы на плечи мужчины. Тов. М. Б. из Ленинграда пишет: «Я знаю одну семью, где муж, видя, что жена устает, старался помогать ей во всех домашних делах. Соседи по коммунальной квартире окружили его насмешками, и, как ни странно, особенно усердствовали женщины.

— Шляпа... Тряпка... — говорили они.

Прошло четыре года, и сама жена стала смотреть на своего мужа, как на скучного, мелочного человека, погрязшего в домашних делах».

На очень существенную сторону вопроса указывает читательница из Коми. Она пишет: «Я живу одиночкой, на свой заработок, и наблюдаю жизнь мужчин-одиночек на такую же и бо́льшую зарплату. В то время как я живу на своем обслуживании, они нуждаются в чьем-то уходе, заботе. Мне зарплаты хватает и на лучшее питание и на все стороны жизни, включая курортное лечение, им же — только на текущие ежемесячные расходы, а на одежду уже надо приработать сверх зарплаты. Выходит, что женщина — более самостоятельное существо, чем мужчина».

Это правильно. Благодаря своей неумелости в домаш-

них работах мужчина часто оказывается в самом беспомощном положении. Правильно пишет московская читательница: «Кто виноват в том, что наши молодые люди, мужья, отцы не умеют сами себя обслуживать? Часто вина определенно падает на школу и семью. Почему нас всех, и мальчиков и девочек, не учили чинить носки, ставить заплатки, пришивать пуговицы? Тогда ребенок с детства мог бы себя обслуживать сам, он привык бы к этому так, как мы привыкаем каждый день чистить себе зубы».

Уже с детства мальчики у нас впитывают презрение к «женским» работам, они сочли бы для себя великим позором, если бы их кто-нибудь увидел стирающими белье или пришивающими заплатку, хотя нисколько не стыдились бы, например, колоть дрова. Вот в этом вся суть вопроса. Дело совершенно не в том,— как высказывались некоторые мои оппоненты на диспуте,— кому колоть дрова и кому штопать носки,— как вообще распределять работу между мужчиной и женщиной? Кто лучше — мужчина или женщина? Суть в том, что не должно быть каких-то особых «женских» работ, которые стыдно исполнять мужчине, суть в тех предрассудках, к которым мы не смеем отнестись критически. Один муж с опаской говорил своей жене: «Что сказали бы соседи, если бы увидели, что твой муж моет полы!» И во всех нас очень еще крепко сидят эти предрассудки. Нужно с корнем вырвать их и научиться видеть в женщине по-настоящему равноправного нашего товарища.

Интересна воспитательная роль, которую в этом отношении играет Красная Армия. Мною получен целый ряд писем от красноармейцев и младших командиров, в которых они пишут, что в армии у нас вопросы эти давно разрешены. «Здесь,— пишет один из них,— нет ни жен, ни сестер, ни матерей, которые бы ему зачинили гимнастерку, пришили пуговицу, выстирали обмундирование или носовой платок. Здесь приходится все делать самому. В Красной Армии мужчина привыкает к этому. Он учится делать все те «женские» работы, которых до прихода в Красную Армию никогда не делал и относился к ним презрительно и брезгливо».

Из Мурманской области пишет один военнослужащий: «Хочу рассказать, как помогла мне Ваша статья «Разрушение идолов». Во время боев с финской белогвардейщиной, вследствие отдаленности от железнодорожного транспорта, нашему подразделению не было возможности своевремен-

но получать стираное белье. Выход из положения один: чтобы не допускать заражения вшивостью бойцов, нужно было находу организовать стирку белья, хотя и стоял сильный мороз. По этому вопросу было проведено летучее собрание. Когда я с командиром подразделения задали вопрос, кто может стирать белье, поднял руку только один боец. Многие товарищи ответили, что они никогда еще не стирали, а часть из них заявила, что это «бабское» дело, а не мужчинское, поэтому они не должны стирать белье. К сожалению, в нашем подразделении женщин не было. Я начал разъяснять товарищам, что они в этом неправы, это является отрыжкой проклятого прошлого, подчеркивающей неравенство женщин. Для этой цели использовал Вашу статью. Все бойцы внимательно выслушали текст ее, зашевелились между собой, начали говорить:

— Правильно написано! «Святые горшки не лепят», мы можем постирать белье не хуже, чем женщины.

После этого не один человек руку поднял, а все бойцы заявили свое согласие постирать белье».

У Ибсена муж говорит уходящей от него Норе:

— И ты можешь пренебречь своими священнейшими обязанностями по отношению к мужу, к детям!

Нора отвечает:

— У меня есть еще более священная обязанность,— по отношению к самой себе.

Нора права, говоря так и уходя от мужа. Но каждый случай тут приходится рассматривать в отдельности. О, если бы жена Пушкина пожертвовала своею маленькою личностью и всю ее отдала бы на уход и заботы о муже и этим сберегла бы его для нас на десятки лет! Как бы благодарно чтили мы ее память!

Но подобного самопожертвования мы обычно ждем только от женщин. Айседора Дункан. Гениальная танцовщица. Она положила начало полному преобразованию танцевального искусства. Неестественным телодвижениям балерин в торчащих парашютиком юбочках она противопоставила свободные, гармонические движения свободного, одетого в прозрачную тунику тела. Она не танцевала под музыку, а танцевала музыку, воплощала музыку в танец.

В книге «Моя жизнь» Айседора рассказывает о своей первой любви к одному венгерскому актеру, восхитившему

ее своею красотою и игрою в роли Ромео. Он тоже был в восхищении от ее танцев. Сошлись. После нескольких недель бурной страсти Ромео заговорил о женитьбе. Она спросила, что они станут делать в Будапеште. Он, как деятель искусства и в подметки не годившийся ей, удивился.

— Как что? У тебя каждый вечер будет ложа, из нее ты будешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне реплики и помогать мне при разучивании роли.

Видя, что это ее совсем не прельщает, он разорвал с нею.

Через несколько лет Дункан сошлась с известным режиссером Гордоном Крэгом,— режиссером талантливым и оригинальным, но, конечно, и в сравнение не идущим с гениальною Айседорой.

Она рассказывает:

«После нескольких недель необузданных, страстных любовных ласк завязалась отчаянная борьба между гением (!) Гордона Крэга и моим искусством.

— Почему ты не бросишь театра? — говорил он.— Почему ты желаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему тебе не оставаться дома и не чинить мне карандашей?»

Из дневника. 13 февраля 1923 г.— На жизнь свою оглядываюсь с благодарностью. Судьба была ко мне благосклонна, даже больше,— баловала меня. И самый ценный дар: она дала мне способность знать свое место и не переоценивать себя. Поэтому я почти избавлен был от самых тяжелых страданий,— зависти и обид самолюбия. Смотрю вперед: много ждет радостного. Кончу роман, возьмусь за работу над Пушкиным.

И вот вдруг заметил в себе: еще чего-то радостно жду. Чего именно?

Смерти!

Как странно. Смерти я никогда не боялся, страха смерти никогда не мог понять. Но недавно почувствовал: жду ее, как большого, поднимающего, ослепительно-яркого события. Вовсе не в смысле избавления от жизненной тяготы,— жизнь я люблю. Просто сама по себе смерть сияет в сумрачной дали будущего яркою точкою.

А недавно заметил в себе еще вот что. Человек умер

неожиданно, сразу,— от разрыва сердца, или трамвай раздавил.

— Хорошо так умереть,— без мучений, без ожидания надвигающейся смерти!

Нет, по-моему, вовсе не хорошо. Смертные муки... Так ли они страшны? А может быть, при неожиданной смерти мы лишаемся переживания такого блаженства, перед которым ничтожны все смертные муки?

Из дневника. 10 декабря 1927 года. От врача.— Это было для меня совершенно неожиданно: сердце увеличено на три сантиметра, аорта поражена склерозом и расширена, общий артериосклероз. А я себя считал совсем здоровым! Хотя уже месяца три даже при обыкновенной ходьбе, не только при подъеме на лестницу, «чувствую» свое сердце. Но в общем очень гордился, что никто не дает мне моих лет,— по отсутствию седых волос, физической крепости, общей живости. Помню, несколько лет назад, в Академии художественных наук, стояли мы, разговаривали,— покойный М. О. Гершензон, проф. И. И. Гливенко и я. Гершензон говорил, что под старость все больше у него развивается склонность писать афоризмами и очень короткими, замкнутыми главками; соглашался с этим и Гливенко. Я сказал, что и у себя замечаю то же самое. Гливенко с некоторым даже высокомерием взглянул на меня:

— Ну, вам-то еще рано об этом говорить.

Я вскипел.

— Позвольте узнать, сколько вам лет?

Гливенко:

— Пятьдесят три.

Гершензон:

— Пятьдесят пять.

— Ну, а мне пятьдесят семь!

И вот теперь,— что же? Значит,— первый звонок? Странно: нисколько это меня не огорчает и не пугает. Никогда я не мог понять страха смерти, хотя все больше любил жизнь. И вот только одно неприятно: при такой болезни можно умереть неожиданно. Этого мне не хочется. Мне бы хотелось медленно подойти к смерти, хотя бы с мучениями. Я с замиранием жду этого, как чего-то безмерно сладостного и великого. И уж совсем, конечно, не хочу умереть с распавшеюся и разлагающеюся психикой.

Но другое горько. Мне кажется, я только теперь научился думать, писать, жить, обращаться с людьми. Теперь-то бы только и развернуть жизнь и работу. А артерии в мозгу уже склерозируются.

Когда-то она была изящна, очень красива. И талантлива. Странно было сейчас смотреть на нее и думать, что так еще недавно, лет пять назад, с нею можно было разговаривать, как с равной. Старушечье, сморщенное лицо, тусклые глаза,— и спрашивает голосом, каким говорят очень боящиеся маленькие дети:

— Правда, скоро будет война?

— Кто на это может ответить!

— Меня очень беспокоит. Я недавно в газетах читала: мы выпустили противогазы, а они на это — никакого ответа.

Дочь ее, сдерживая улыбку, спрашивает:

— Кто,— они?

— Ну, там... Польша, Англия... Румыния.

— Какой же может быть ответ на противогазы?

Все смеются, а она горестно вздыхает:

— Пишут, что архиепископ кентерберийский за войну с нами, а папа римский против. У меня теперь вся надежда только на папу.

— Мама, почему на папу?

— Он же против войны.

— Мама на папу надеется, папа — на маму.

Опять общий смех, а она с недоумевающею полуулыбкой оглядывает смеющихся.

У нее тысяча разных старческих болезней,— эмфизема, миокардит, печень, колит. Дочь ухаживает за нею самоотверженно. Постарела, подурнела от забот и бессонных ночей. А старуха полна к ней злобой и желанием сделать ей больно. Спрашивает меня:

— Не можете ли вы меня устроить в больницу?

— В больницу? Зачем вам?

— Я тут очень всех стесняю, Вера только и думает, как бы от меня избавиться.

— Мама, да что ты такое говоришь!

— Да-а, да-а, я отлично вижу. Я чувствую, что я всем тут в тягость. Как вы думаете, не написать ли мне прямо Семашке? Он, говорят, человек добрый...

Все время точит дочь за то, что мало о ней заботится, что не любит матери. Если дочь выйдет на полчаса пройтись, старуха встречает ее упреками, что она ее «бросила». Ночью вдруг начинает звать спящую дочь:

— Вера! Вера!

— Что ты, мама?

— Я н-е с-п-л-ю!

Как, дескать, ты можешь спокойно спать, раз я не сплю. И часто говорит дочери:

— Когда я умру, совесть будет тебя терзать, что ты была со мною такая эгоистка. Я буду приходить к тебе во сне.

И дочь мне говорила:

— Как я все время чувствую себя глубочайшей преступницей и не могу убедить себя, что это у мамы только от старческого слабоумия! Я же ведь помню, какая она ко мне всегда была любящая и самоотверженная.

И все с трепетом ужаса повторяли:

— Не дай бог никому такой старости!

1926 г.

Из дневника. 11 февраля 1929 года.— Я все возвращаюсь мыслью к тому же самому. Уже умер Южин, умер Сологуб. Но профессор Мануйлов все еще живет,— живой, отказывающийся умереть труп, уже не узнающий своих близких. Мария Александровна, вдова моего дяди по матери, вот уже четыре года не встает, полураздавленная параличом. Высшие духовные отправления все умерли, недержание мочи и кала, все время из нее течет; вонь и мокреть. Дочь измучилась с нею до отчаяния

Я хочу кричать, вопить: дайте мне право свободно распоряжаться собою! Примите мое завещание, исполните его. Если я окажусь негодным для жизни, если начнет разлагаться мое духовное существо,— вы, друзья, вы, кто любит меня,— докажите делом, что вы мне друзья и меня любите. Сделайте так, чтобы мне достойно уйти из жизни, если сам я буду лишен возможности сделать это!

— Бабка, пора тебе помирать!

— Батюшка, и рада бы, да ведь душу-то,— нешто ее выплюнешь?

Доктор X. Умирала его мать,— он ее очень любил. Паралич, отек легких, глубокие пролежни, полная деградация умственных способностей. Дышащий труп.

Сестра милосердия:

— Пульс падает,— вспрыснуть камфору?

— Вспрысните морфий.

Сестра изумленно раскрыла глаза:

— Морфий?

Он властно и раздельно повторил:

— Вспрысните морфий!

Мать умерла.

У меня к нему — тайное восхищение, любовь и надежда. И раз я ему сказал:

— Самый для меня безмерный ужас, это жить, разбитым параличом. А у меня в роду и со стороны отца, и со стороны матери многие умерли от удара. Если меня разобьет паралич, то обещайте мне... Да?

Мы поглядели друг другу в глаза, он с молчаливым обещанием опустил веки.

Тут самое главное: человеку должна быть дана возможность встретить смерть достойно.

Из дневника.— 18 июля 1929 года. Коктебель.— Последний автопортрет Рембрандта. В биографии его читаю описание портрета: «весь сгорбленный, седой, исхудалый, он кажется тенью прежнего атлета — Рембрандта». Ему в это время было 61 год. Давид Юм в автобиографии своей пишет: «я нахожу, что человек, умирающий шестидесяти пяти лет, только освобождается от нескольких лет дряхлости,— почему и трудно найти человека, который был бы привязан к жизни меньше меня».

Да, все это очень внушительно. Мне идет шестьдесят третий год. Но я еще не чувствую надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать. Играю в теннис. Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867 и что вот эти дряхлые, сгорбленные, такие бесспорные старики — мои ровесники?

А все-таки все это уже очень близко и передо мною. Вчера ходил у себя по саду, подвязывал виноградные лозы к тычкам и думал: скоро, скоро уже придется жить «на пенсии»,— на духовной пенсии, с «заслуженным правом не работать». И не мог себе представить: как же это я тогда буду жить? Греться на солнышке, вспоминать былое и вот так ходить по саду, дрожащими руками подвязывать лозы. И больше ничего. Какая нелепость!

И умереть на солнце и на воле
Душистой смертью скошенной травы.
(Мое)

Умирал один мой знакомый, человек глубоко верующий. Пошел его проведать. Иссох, оброс седою бородою. Жена все силы на него кладет. Лицо у нее бледное от бессонных ночей и хлопот. Что-то мне рассказывает, улыбаясь. Он враждебно посмотрел на нее и сказал:

— Вот! Я умираю, а она каким тоном говорит!

---

9 сент. 1940 г.— Давление крови у меня непрерывно растет, и все меры мало помогают. Сейчас — 210. Совершенно не могу физически работать, что меня всегда так живило. Мало и трудно могу работать умственно: сейчас же начинаются боли в голове. Что ж! Семьдесят три года. Пора и честь знать. Удивительно, как смерть меня мало пугает!

Последним желанием Анаксагора было, чтобы в день его кончины ежегодно устраивались детские игры. Я на это не имею права, потому что для детей ничего не сделал. Но я бы хотел, чтобы при моей смерти звучал детский смех, чтобы все кругом улыбались, чтобы не было похоронного настроения, люди не ходили бы с повешенными носами, не вздыхали бы скорбно. Пусть не стоит надо мною шубертовский «Wilder Knochenmann» — «дикий костяной человек» с косою. Пусть реет благостный Thanatos, брат-близнец Сна.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. Над этой книгой В. Вересаев работал около двадцати пяти лет: он начал ее в 1921—1922 годах очерком о Леониде Андрееве и занят был ею вплоть до последних дней жизни, то есть до 1945 года.

Воспоминания очень увлекли писателя, одно время он даже подумывал вообще оставить художественную литературу и целиком отдаться литературоведческим исследованиям и мемуарам.

К 1925—1927 годам мемуары В. Вересаева настолько разрослись, что он разделил их на две книги. Первую из них должны были составить воспоминания о детстве, юности, студенчестве — «В юные годы» и «В студенческие годы». В. Вересаев закончил ее в 1935 году.

В другую книгу, названную «Без плана», он собирался включить наряду с «Литературными воспоминаниями» заметки о писательском труде, «невыдуманные» рассказы, отрывки из дневников, записных книжек и т. п. Эта несколько разноликая по своему составу книга очень скоро так разбухла, что в середине 1930-х годов В. Вересаев выделяет «Литературные воспоминания» в самостоятельный цикл. И в 1936 году писатель выпускает единую книгу «Воспоминания», состоящую из трех частей: «В юные годы», «В студенческие годы», «Литературные воспоминания».

В конце 1930 — начале 1940-х годов В. Вересаев продолжает наращивать цикл «Литературных воспоминаний». Находясь уже в преклонном возрасте, больной, он торопится записать все сколько-нибудь интересное, что сохранила память о тех бурных годах в истории нашей литературы, в которые ему довелось жить. Порой не хватало сил писать самому, и тогда он диктует близким. Поэтому некоторые его воспоминания носят характер черновых набросков, не отделаны, иногда частично повторяют друг друга.

Незадолго до смерти В. Вересаев решил окончательно определить состав трех циклов, выросших из книги «Без плана»: «Литературные воспоминания», «Невыдуманные рассказы о прошлом» и «Записи для себя». Их жанровая и тематическая близость привела к тому, что порой одни и те же сценки, очерки, заметки автор включал во все три цикла; в настоящем издании они печатаются только в «Невыдуманных рассказах о прошлом» (см. т. 4) и не повторяются в «Литературных воспоминаниях» и «Записях для себя».

Состав цикла «Литературных воспоминаний», подготовленный В. Вересаевым в 1944—1945 годах и опубликованный уже после его смерти, в 1946 году, был такой: *Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский, Н. Г. Гарин-Михайловский, Вера Засулич, Вера Фигнер, П. С. Ивановская, «Баронесса Доротея Эртман...», Два побега, П. Г. Смидович, Сальвини — Отелло («В конце, кажется, девяностых годов...», «Говорят, «ревнив, как Отелло»...») Молодой*

художественный театр в Петербурге («Весною 1901 года...»), Орленев, Бравич («В девяностых годах в Петербурге...»), Певцы («В восьмидесятых — девяностых годах в Петербурге...», «В те же годы...»), Московский литературно-художественный кружок, Ф. Н. Плевако («Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако...»), С. Т. Коненков, Волнухин («Скульптор Волнухин...»), Леонид Андреев, Туча и зорька, Около литературы, Около шампанского, Р. М. Крин, Лев Толстой, «Последние годы совместной жизни...», «Я сказал А. И. Куприну...», А. П. Чехов «Записки врача»[1]

Кроме того, в архиве писателя обнаружен ряд незавершенных мемуарных очерков. Четыре таких очерка и публикуются в настоящем томе. Хотя В. Вересаев всегда очень строго относился к своей литературной работе и просил близких ему людей не печатать те его произведения, которые он не успел тщательно отделать, все же некоторые его воспоминания настолько интересны, что оставлять их навсегда покоиться в архивах явно несправедливо.

В. Вересаев отдал книге воспоминаний не только треть своей жизни, но и всю силу отпущенного ему таланта. Он писал ее с той же тщательностью, что и лучшие свои рассказы и повести. В. Вересаев говорил, что и в мемуарах он развивает основную тему своего творчества, повествует о сложном периоде созревания человека, о том, как трудно вырабатываются взгляды и убеждения и как важно это учитывать всем, кому доводится иметь дело с молодежью: придирчиво суровая оценка ошибок молодости может навсегда искалечить душу юноши или девушки.

Приступив к работе над воспоминаниями, В. Вересаев с самого начала стремился четко уяснить себе специфику мемуарной литературы, принципы изображения в ней жизни, советовался с М. Горьким, проявлявшим живейший интерес к воспоминаниям В. Вересаева. «Ужасно трудно определить свой подход к лицам,— писал он М. Горькому 30 июня 1925 года.— «Иконописать», как большинство вспоминателей, противно, а говорить черное,— спрашиваешь себя: почему же ты этого не говорил, когда человек был жив, когда мог протестовать, опровергать, объяснять свой поступок... Вот передо мною редакция «Жизни», мы яро спорим о Бернштейне, а Андреевич сидит, развалившись, пьет пиво и цинично заявляет: «А публика сейчас за него? За Бернштейна? Ну, и я за Бернштейна!» При жизни это рассказать было совершенно невозможно» (Архив А. М. Горького).

А через несколько недель, в письме к М. Горькому от 21 августа 1925 года, В. Вересаев уже категорически заявляет, что мемуарист обязан писать только правду, не прикрашивая и не упрощая людей, о которых рассказывает: «Хочу знать, как было в действительности. Да что я, институтка, чтоб впасть в отчаяние и разочароваться в «человеке» от того, что, напр., нежный, целомудренный, тонко чувствующий художник Ив. Бунин — человек с мелкою и дрянною душонкою?» (Архив А. М. Горького).

Много размышлял В. Вересаев и над самой манерой повествования. Он приходит к выводу, что для мемуарной литературы, как и для литературы художественной, пагубна подмена изобра-

[1] В скобках указываются названия, под которыми воспоминания вошли в «Невыдуманные рассказы о прошлом».

жения событий и людей авторскими рассуждениями, пагубно описательство и велика роль художественной детали. Развивая эту мысль, В. Вересаев писал М. Горькому: «В прошлом году В. Н. Фигнер спросила меня о своем «Запечатленном труде»,— я сказал, что, по-моему, слишком в ее описаниях мало быта будничной жизни, повседневности, слишком парадны ее революционеры. «Напр.,— говорю,— позвольте узнать, почему ваши товарищи называли вас «Топни-Ножкой»? У вас это не объяснено».— «Почему! Потому что хорошенькая женщина, когда что не по ней, топает ножкой». Разве это не прелестно, разве это не ценно? Истинно-соколиная душа, одна из самых трагических фигур русской революции (что она должна была пережить после 1 марта до своего ареста, когда весь мир изумлялся могуществу Исп Комитета, а весь Исп. Ком-т была она одна! И ничего уже не могла сделать!) и извольте видеть — «Топни-Ножкой»! Да за эту черточку что угодно можно отдать, живого человека видишь». (Письмо от 21 августа 1925 года. Архив А. М. Горького)[1].

В мемуарах В. Вересаева подчас встречаются односторонние, а то и просто ошибочные оценки событий и явлений прошлого. Современный читатель легко в них разберется. Но воспоминания В. Вересаева прежде всего отличаются беспощадной правдивостью и высокой художественностью. Вспоминая, например, свое детство и юность, писатель не побоялся рассказать о самых интимных движениях души, о неблаговидных поступках, которые он по тем или иным причинам совершил, о том, что редко рассказывают даже самым близким друзьям. В. Вересаев и в мемуарах продолжал самозабвенно служить науке «человековедения»,— как метко назвал литературу М. Горький,— а потому его мало заботило, насколько выигрышно будет выглядеть он сам — Витя Смидович, герой воспоминаний. Писателю интересно было разобраться в душе мальчика, которую довелось «наблюдать ближе, чем чью-либо иную», и он стремился рассказать о ней все, что знал.

Именно беспредельную писательскую честность, мастерство В. Вересаева-мемуариста отмечала и критика 1920-х годов, когда появились в печати первые страницы его воспоминаний. Так, журнал «Молодая гвардия» (1928, № 3), рецензируя «В юные годы», писал: «...воспоминания Вересаева оказываются в одном ряду с лучшими художественными произведениями, посвященными описанию детства».

Ниже приводятся сведения о первых публикациях воспоминаний, источниках текста, а также те даты написания, которые удалось установить.

I. В юные годы. Первоначально печаталось частями: «Мои литературные дебюты», журнал «Тридцать дней», 1926, № 1; «Три», журнал «Новый мир», 1926, № 5; «Из детских лет», журнал «Новый мир», 1927, №№4, 5; «Из детских лет», сборник «Недра», книга восьмая, М., 1925; «Из отроческих лет», сборник «Недра», книга десятая, М., 1927; «Из отроческих лет», сборник «Недра», книга одиннадцатая, М., 1927. Полностью текст впервые опубликован в издании: В. Вересаев, В юные годы (Воспоминания), изд. «Недра», М, 1927.

Часть воспоминаний, напечатанная в сборнике «Недра», книга восьмая, 1925 (до слов «...ничего у меня не отпечаталось в душе, как это за-

[1] Этот эпизод писатель включил в свои воспоминания о Вере Фигнер.

вещание», стр. 79 наст. тома), датирована автором: «Ай-Тодор. Лето 1925 г.». К этому же времени относятся и отрывки, опубликованные в 1926 году журналами «Тридцать дней» и «Новый мир». Остальное написано в 1926 году.

Переиздавая «В юные годы», В. Вересаев несколько сокращал и стилистически правил текст.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

II В студенческие годы. Начало воспоминаний (до слов «...Что чудный кумир тот — моими же создан руками!», стр. 230 наст. тома) впервые опубликовано в сборнике «Недра», книга шестнадцатая, М., 1929. Полностью — в издании: В. Вересаев, Воспоминания, М., 1936.

Часть воспоминаний, напечатанная в сборнике «Недра», датирована автором: «Коктебель 1928». В издании 1936 года и позже В. Вересаев ошибочно относил начало работы над воспоминаниями «В студенческие годы» к 1930 году.

Переиздавая «В студенческие годы», писатель несколько сокращал и стилистически правил текст.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

III. Литературные воспоминания.

Н. К. Михайловский. Отрывок со слов «Однажды среди обычных посетителей...» и до слов «Он скорбно качал головою и сморкался» (стр. 347—349 наст. тома) опубликован под названием «Редактор» в сборнике «Литературные отклики», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1923. Начало воспоминаний, рассказывающее о том, как попала в печать повесть «Без дороги», опубликовано в составе «Моих литературных дебютов», журнал «Тридцать дней», 1926, № 1. Полностью очерк о Н. К. Михайловском впервые появился в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М., 1936.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л, 1946.

Михайловский, Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист и литературный критик, идеолог либерального народничества.

В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский. Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1926, № 1.

Переиздавая очерк, В. Вересаев подвергал стилистической правке.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

Анненский, Николай Федорович (1843—1912) — публицист, экономист-статистик, деятель народнического движения.

Н. Г. Гарин-Михайловский. Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М., 1936.

Печатается по изданию: В Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

Вера Засулич. Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М., 1936.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

Засулич, Вера Ивановна (1851—1919) — в конце 1860-х годов и в 1870-е годы активно участвовала в народническом движении, затем порвала с народничеством, была одним из основателей первой

русской марксистской группы «Освобождение труда», в позднейшие годы оказалась в рядах меньшевиков.

Вера Фигнер. Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М.-Л., 1946, по тексту которых и печатается.

Фигнер, Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка-народница, один из руководителей «Народной воли». В советское время занималась литературной работой

Леонид Андреев. Впервые опубликовано (неполностью) в сборнике «Утренники», кн. 1, 1922. Полностью — в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М., 1936.

Печатается по изданию. В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

Р. М. Хин. Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М.-Л., 1946, по тексту которых и печатается.

Очерк посвящен писательнице-беллетристке Рашель Мироновне Хин, выступавшей в литературе с конца 1880-х годов.

Лев Толстой. Впервые опубликовано в связи с 15-летием со дня смерти Л Толстого в журнале «Красная нива», 1925, № 48, 22 ноября, под названием «У Льва Толстого».

В. Вересаев посетил Л Толстого 15 августа 1903 года.

Переиздавая очерк, автор подвергал его незначительной стилистической правке.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

А. П. Чехов. Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М., 1936.

Печатается по изданию: В. Вересаев, Воспоминания, М.-Л., 1946.

«Записки врача». Впервые опубликовано в «Воспоминаниях» В. Вересаева, М.-Л., 1946, по тексту которых и печатается.

В очерке частично использовано письмо В. Вересаева в редакцию петербургской газеты «Россия», напечатанное ею в 1901 году (№ 941, 7/20 декабря) под названием «Моим критикам».

Данные воспоминания включены автором и в «Записи для себя».

«Книгоиздательство писателей в Москве». Публикуется впервые (с небольшими сокращениями) по авторизованной рукописи неустановленного лица, писавшего под диктовку В. Вересаева (хранится у В. М. Нольде).

В рукописи после слов «...Торговый Дом Д. Я. Голубев и С. Д. Махалов...» (стр. 446 наст. тома) поставлена дата: «8/III 39.» В конце всего текста — еще одна дата: «7/V—39. Киев.»

«Март 1917 года...» Публикуется впервые по авторизованной рукописи неустановленного лица, писавшего под диктовку В. Вересаева (хранится у В. М. Нольде).

Рукопись датирована: «25/X-39 г.».

Как я не стал почетным академиком. Публикуется впервые по авторизованной машинописи, хранящейся в Центральном Государственном Архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ).

Воспоминания написаны в 1930-е годы.

Коктебель. Публикуется впервые (с небольшими сокращениями) по авторизованной рукописи неустановленного лица, писавшего под диктовку В. Вересаева (хранится у В. М. Нольде).

После слов «...я так же буду поступать с вашими врагами» (стр. 468 наст. тома) в рукописи стоит дата: «10/V 39 г. Киев», в конце еще одна дата — «Киев. 23/X—1939 г.».

В воспоминаниях использован «невыдуманный рассказ» «Дачный поселок Коктебель...» (см. т. 4).

Волошин, Максимилиан Александрович (1877—1931) — поэт-символист.

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСИ ДЛЯ СЕБЯ». Цикл «Записи для себя», как и «Литературные воспоминания» и «Невыдуманные рассказы о прошлом», первоначально входил в книгу «Без плана», над которой В. Вересаев начал работу в середине 1920-х годов. В 1930 году в восемнадцатой книге сборника «Недра» писатель опубликовал подборку, имевшую общее название «Sopra la morte» и подзаголовок «Мысли, факты, выписки, дневниковые записи». Это первая значительная публикация материалов книги «Записи для себя».

Особенно много работал В. Вересаев над циклом во второй половине 1930-х годов, когда уже выделил «Записи для себя» из состава «Без плана» в самостоятельную книгу. В январе 1936 года в беседе с корреспондентом «Книжных новостей» писатель рассказывал: «...я веду свои заметки, нечто вроде записной книжки, куда входят афоризмы, отрывки из воспоминаний, различные записи интересных эпизодов» («Книжные новости», 1936, № 4, 10 февраля).

Писатель довольно широко использовал материалы книги в своих статьях, воспоминаниях, рассказах, некоторые записи публиковал в виде самостоятельных произведений, но книга в целом, да и ее название при жизни писателя в печати не появлялись.

Незадолго до смерти В. Вересаев приступил к окончательной отработке книги, дал ей название «Записи для себя» и подзаголовок «Мысли, факты, выписки, дневниковые записи». Но завершить работу не успел: многие записи стилистически не отделаны, не доведена до конца систематизация материала.

Впервые фрагменты из этой книги, объединенные названием «Записи для себя», были опубликованы уже после смерти В. Вересаева в журнале «Новый мир», 1960, № 1. В настоящем томе дается значительно больший свод записей. Печатаются они по авторизованной машинописи и рукописи, хранящимся в ЦГАЛИ и у В. М. Нольде.

Ниже приводятся сведения о первых публикациях, причем использование отдельных записей в статьях, рассказах и воспоминаниях В. Вересаева, а также в работах различных исследователей (Г. Бровмана, В. Нольде и др.) не отмечается.

«Из дневника. 13 февраля 1923 г...», «Из дневника. 10 декабря 1927 года...», «Когда-то она была изящна, очень красива...», «Из дневника. 11 февраля 1929 года...», «Бабка, пора тебе помирать!..», «Доктор X. Умирала его мать...», «Тут самое главное...», «Из дневника.— 18 июля 1929 года...», «И умереть на солнце и на воле...» — Сборник «Недра», книга восемнадцатая, М, 1930.

У художника, Истинный.— В. Вересаев, Рассказы, М., 1936.

«Великим хочешь быть,— умей сжиматься...» — «Литературная газета», 1939, № 32, 10 июня (неполностью). Полностью—впервые.

Разрушение идолов.— Газета «Известия», 1940, № 45, 24 февраля.

«Статья эта была напечатана...» — Газета «Комсомольская правда», 1940, № 155, 7 июля, под названием «Об идолах» (с сокращениями).

«Когда новый переводчик...». — Журнал «Тридцать дней», 1941, № 3 (неполностью). Полностью — Гомер «Илиада», М.-Л., 1949 («Предисловие переводчика»).

«Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик...», «Писатель — это человек, специальность которого — писать...», «Не люблю римскую литературу...», «Каким неотесанным самоучкой кажется Гомер рядом с Вергилием!..», «Художество делает самое малое большим...», «У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»...», «Зачем оригинальному художнику стараться быть оригинальным?..», «— Epatez le bourgeois!..», «Я не знаю, было ли это напечатано...», «Как легко было так писать!..», «Когда вы описываете мужчину...», «Нужно кончать описывать природу раньше...», «У настоящего художника...», «Дворянские беллетристы шестидесятых—семидесятых годов. .», «Совсем не страшны и очень мало вредят писателю...», «Трудное это и запутанное дело — писательство...», «Когда в загорающемся сиянии славы...», «И вот это еще...», «Автор одного произведения» ..», «Странная судьба скульптора Ф. Ф. Каменского ..», «Лет тридцать назад...», «Молитва писателя...», «Через каждые пять лет перечитывай «Фауста»...», «Меня спросила одна девушка...», «Мы разучивали с тремя ребятами...», «До чего глуп...», «Если хочешь ценить человека ..», «Одно из великолепных исключений...», «Молодой Гете...», «Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия...», «Искренность — дело трудное и очень тонкое...», «Глаза — зеркало души...», «Умное лицо...», «— О чем вы задумались?..», «Нет ничего отвратительнее...», «Совет лицемерам...», «Есть какие-то свои законы и в психологии лжи...», «Гомер...», «Буриданов осел...», «Мне говорил один очень хороший и наблюдательный хирург...», «Четвертушкою бумаги...», «Декабрист М. С. Лукин. .», «Умирал один мой знакомый...», «9 сент. 1940 г.. » — Журнал «Новый мир», 1960, № 1.

«На фоне яркой весенней зелени...», На баррикаде, «Из всего — самое потрясающее...», «Как будто совсем одно и то же...», «Очень труден вот какой вопрос...», «Лет десять назад...», «Эмиль Золя...», «Бунин...», «Иван Петрович подошел к столу...», «Наглость писательского невежества...», «Удивительна и совершенно фантастична психология тщеславия...», «Идешь по улице...», «Самая плохая из всех моих вещей...», «Воспоминание всегда прикрашивает дорогого нам человека...», «Когда у человека большое горе...», «Брезгливые люди...», «Чем серее и однообразнее жизнь...», «В человеческой глупости...», «Мы ждем будущего...», «Самое трудное в науке счастья...», «Всякий двухлетний ребенок — гений...», «Совет красавицам...», «— Зачем вы губы себе мажете?..», «Меня трогает, когда люди благодарны мне...», «В Крыму, в Коктебеле...», «Студентом-медиком...», «Часто рассказывают...», «Мне рассказывал моряк...», «Вот что удивительно...», «А рядом с этим...», «Это была сумасшедшая ночь...», «У меня был товарищ...», «Любовь»...», «Брак по любви...», «Скажи мне...», «Женщина мала в малых делах...», «У женщин свои, во многом совсем особенные свойства ума...», «Женщины плохо пишут романы. .», «У Ибсена...» — Публикуются впервые.

В. Нольде, Ю. Бабушкин

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

В. ВЕРЕСАЕВ
Собрание сочинений
в 5 томах. Том V
Оформление художника
В. Левинсона
Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 23/II 1961 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 406. Зак. 3593.
Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 8,38. Печ. л. 27,47+6 вкл. (0,61 печ л.).
Учетн.-изд. л. 30,13. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

